Антология Сатиры и Юмора России XX века
Аркадий Аверченко

Аркадий Аверченко

Король смеха

«Public Domain»

Аверченко А. Т.

Король смеха / А. Т. Аверченко — «Public Domain»,

ISBN 978-5-699-00932-9

Некоторые древние мыслители считали, что человека можно определить как «животное, умеющее смеяться». И думается, в какой-то степени были правы, ибо не только умение ходить на двух ногах и трудовая деятельность выделили людей из животного мира, помогли выжить и пройти через все мыслимые и немыслимые испытания многотысячелетней истории, но и способность смеяться. Потому-то умевшие рассмешить пользовались популярностью во все века и у всех народов. Короли могли себе позволить держать при дворе шутов, а простой люд собирался на площадях, чтобы посмотреть представления странствующих комедиантов или скоморохов.Интересно, что со временем появился титул короля смеха. Им награждали тех, кто достигал наибольших успехов в этом искусстве.С конца первого десятилетия нашего века в России нигде официально не утвержденный титул короля смеха принадлежал Аркадию Аверченко.

ISBN 978-5-699-00932-9

© Аверченко А. Т.
© Public Domain

Содержание

«Король смеха» 12
Автобиография 17
Король смеха 23
- Веселые устрицы 23
  - Кто ее продал… 23
    - I 23
    - II 23
    - III 25
  - Бедствие 25
    - I 25
    - II 26
    - III 26
    - IV 27
  - Люди 27
  - Робинзоны 29
  - Спермин 31
  - Господин Цацкин 33
  - «Аполлон» 35
  - Еще воспоминания о Чехове 38
    - I 38
    - II 39
  - Воспоминания о Чехове 39
  - Неизлечимые 40
  - Золотой век 42
    - I 42
    - II 43
    - III 43
    - IV 44
    - V 44
  - Четверг 45
  - Мозаика 49
    - I 49
    - II 52
    - III 52
    - IV 53
  - Четверо 54
    - I 54
    - II 55
    - III 55
    - IV 56
  - Ложь 58
- Круги по воде 62
  - Граждане 62
    - I 62
    - II 63
    - III 63

Чад 65
Курильщики опиума 69
I 69
II 71
III 72
Язык 73
I 73
II 74
Цепная собака 77
I 77
II 78
III 79
IV 79
V 80
Как меня обворовывали 81
I 81
II 82
III 83
Дураки, которых я знал 84
I. Удивительный конкурс 84
II. Конкуренты 86
III. Итоги 87
Мокрица 88
II 89
III 90
Лакмусовая бумажка 91
I 91
II 92
III 94
Революционер 95
Призвание 98
II 99
III 100
IV 101
О хороших, в сущности, людях! 103
Юмор для дураков 103
Одиннадцать слонов 105
I 105
II 107
III 107
IV 109
Наслаждение жизнью 110
I 110
II 111
Фат 112
Сельскохозяйственный рассказ 113
II 115
III 115
Слабая струна 117

Я – как адвокат 120
I 120
II 121
III 121
IV 122
Телеграфист Надькин 124
I 124
II 125
III 125
IV 126
V 126
Сорные травы 128
Жвачка 128
Гордиев узел 129
Золотые часы 131
Виктор Поликарпович 133
Хлопотливая нация 135
Специалист по военному делу 137
Юмористические рассказы 141
В ресторане 141
Сплетня 142
Поездка в театр 145
Поэт 147
Страшный человек 150
I 150
II 151
III 152
IV 152
V 154
VI 154
VII 155
VIII 156
IX 156
X 157
Люди четырех измерений 157
I 157
II 158
III 158
IV 159
История одной картины 159
Отец 161
Полевые работы 165
Черным по белому 168
Клусачев и Туркин 168
Бельмесов 172
I 172
II 173
III 174
Стихийная натура 176

I 176
II 177
III 177
IV 179
V 179
Функельман и сын 181
Случай из жизни 184
I 185
II 186
Человек, которому повезло 188
I 188
II 189
III 190
IV 190
V 191
VI 191
VII 192
Рассказы для выздоравливающих 194
Человек, у которого были идеи 194
I 194
II 195
III 196
IV 197
Сердце под скальпелем 197
Глава 1 197
Руководство для лентяев 200
Слепцы 202
I 202
II 203
III 204
Конец графа Звенигородцева 205
Опора порядка 208
I 208
II 210
Пылесос 211
Маленькая Лениниана 215
Вся власть – мне 215
Декрет 215
Моя симпатия и сочувствие Ленину 217
Приятельское письмо Ленину от Аркадия Аверченко 220
Чудеса в решете 223
Американец 223
Обыкновенная женщина 225
Резная работа 229
Семь часов вечера 232
Первый анекдот обо мне 235
Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» 238
Новая история 238
Введение 238

Эпоха изобретений, открытий и завоеваний 239
1. Книгопечатание и бумага 239
2. Магнитная стрелка 240
3. Порох 240
4. Открытие Америки 241
5. Завоевание Мексики и Перу 243
6. Торговля неграми 243
Раздоры и драки из-за Италии и проч. 244
Религиозная путаница в Германии 245
Иезуитский орден 247
Франция и гугеноты 247
Варфоломеевская ночь 249
Генрих Наваррский 249
Кардиналы 250
Тюдоры, Стюарты и К° 250
Великие люди 251
Дания, Швеция и Норвегия 251
Польша 252
Тридцатилетняя война 252
Результаты 253
Людовик XIV и XV во франции 253
Первые банкиры 254
Североамериканские штаты 255
Германские правители XVIII века 255
Семилетняя война (1756 – 1763) 256
Результаты Семилетней войны 256
Великая французская революция 257
Король Людовик XVI 257
Террор 258
Наполеон Бонапарт 258
Рецепт успеха 259
Наполеон – император 260
Конец Наполеона 262
Заключение 263
Король в изгнании 264
Нечистая сила 264
Несколько слов по поводу этого, которое 264
Наваждение 265
Добрые друзья за рамсом 269
Слабая голова 272
Миша Троцкий 275
Перед лицом смерти 277
Античные раскопки 279
Мой первый дебют 281
Белая ворона 285
Дюжина ножей в спину революции 289
Предисловие 289
Фокус великого кино 291
Поэма о голодном человеке 293

Трава, примятая сапогом 295
Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина 297
Короли у себя дома 298
Хлебушко 300
Эволюция русской книги 301
Этап первый (1916 год) 301
Этап второй (1920 год) 302
Этап третий 302
Этап четвертый 302
Этап пятый 303
Этап шестой 303
Русский в европах 303
Записки простодушного 306
Предисловие простодушного (как я уехал) 306
Первый день в Константинополе 307
Галантная жизнь Константинополя 309
Деловая жизнь 310
Русские женщины в Константинополе 311
Русское искусство 314
Константинопольский зверинец 317
О гробах, тараканах и пустых внутри бабах 319
Еще гроб 320
Русские в Византии 322
Аргонавты и золотое руно 325
Развороченный муравейник 328
Трагедия русского писателя 329
О русском писателе 329
Язык богов 331
Дела 333
Заключение 335
Чехо-Словакия 336
Прага 336
Чехи 338
Кнедлики 339
Самый страшный притон Праги 340
Русский беженец в Праге 342
Кипящий котел 345
Зачем я выпускаю «Кипящий котел»? 345
Старый Сакс и Вертгейм 346
Страна без мошенников 348
Русская сказка 349
Володька 351
Разговоры в гостиной 353
XX век. Года 1910 – 1913 353
XIII век. Год 1920 354
Век – черт его знает какой… 355
Леденящая душу история 356
Борцы 358
Торговый дом «Петя Козырьков» 360

Дневник одного портного 363
Сентиментальный роман 365
Смешное в страшном 368
Извинение автора 368
Голодный пикник 368
Глава I. С визитом 368
Глава II. Causerie[35] о голоде 369
Глава III. Голодный обед 370
Атташе Канторович 371
Контроль над производством 373
Собачьи мемуары 374
Теория Эйнштейна и теория Ползункова 376
Мурка 377
Люди-братья 379
История двух чемоданов 381
Новая русская хрестоматия 382
Добрый пудель 382
Примеры для диктанта 383
Детская песня 383
Наивный Ваня 383
Стихи 383
Пословицы 383
Ось и чека 384
Пословицы 384
Еще об уме чекистов 384
Примеры для списывания 384
Поликратов перстень 384
Наука расширяет кругозор 384
Рассказ, который противно читать 385
Уники 387
Опыт 388
Скорая помощь 390
Гибель Козявкиных 392
Советский словарь 394
Двенадцать портретов (В формате «Будуар») 396
От автора 396
Мадам ЛеНина 396
Мадам Троцкая 398
Феликс Дзержинский 399
Петерс 401
Максим Горький 402
Федор Шаляпин 404
Керенский 407
Керенский 409
Керенский 411
Балтийский матрос 414
Пантеон советов молодым людям 418
От автора 418
Умение держать себя в обществе и на званом обеде 418

Приглашение на обед 419
Как держать себя на свадьбе 420
Как держать себя на похоронах 423
Советы начинающим полководцам 426
Введение 426
Как найти средства для ведения войны 427
Как обезопасить свою страну от вторжения врага 427
Первый способ ведения войны 427
Второй способ ведения войны (бескровный) 427
Морской бой 428
Самый хитрый способ ведения войны 428
Средство против аэропланов 428
Заключение 428
Хозяйственные советы 429
Вообще научные сведения 429
Этнографические штришки 430
Удивительные курьезы природы 430
Успехи техники 432
Об американских миллиардерах 432
Еще об уме животных 433
Странности великих людей 433
Полезные советы 434
Приложение к «Пантеону советов молодым людям» 435
Пасхальные советы 435
Введение 435
Праздничные подарки 435
Устройство пасхального стола 436
Как изготовить дешевый сытный обед 437
Как сэкономить на чаевых 438
Искусство рассказывать анекдоты 438
Советы, как иметь успех у прекрасного пола 442
Современники об Аркадии Аверченко 446
Н. Тэффи 446
Петр Пильский 453
Библиография 456

Аркадий Аверченко
Антология Сатиры и Юмора
России XX века. Том 20.

«Король смеха»

Некоторые древние мыслители считали, что человека можно определить как «животное, умеющее смеяться». И думается, в какой-то степени были правы, ибо не только умение ходить на двух ногах и трудовая деятельность выделили людей из животного мира, помогли выжить и пройти через все мыслимые и немыслимые испытания многотысячелетней истории, но и способность смеяться. Потому-то умевшие рассмешить пользовались популярностью во все века и у всех народов. Короли могли себе позволить держать при дворе шутов, а простой люд собирался на площадях, чтобы посмотреть представления странствующих комедиантов или скоморохов.

Интересно, что со временем появился титул короля смеха. Им награждали тех, кто достигал наибольших успехов в этом искусстве.

С конца первого десятилетия нашего века в России нигде официально не утвержденный титул короля смеха принадлежал Аркадию Аверченко.

Первые годы жизни, отрочество и юность Аверченко, казалось, не оставляли никаких надежд на будущее. В смешной «Автобиографии», которой открывалась одна из первых книг писателя «Веселые устрицы», Аверченко дал несколько фрагментов своей долитературной жизни.

Некоторые дополнительные моменты мы находим в автобиографии, отправленной известному историку литературы Семену Афанасьевичу Венгерову в начале 1910 года: «Имя мое – Аркадий Тимофеевич Аверченко. Родился в Севастополе 1881 года 15 марта. Вероисповедания – православного. Отец был купцом, мать из мещан. Историю моего рода за недостаточностью данных проследить трудно. Известно только, что дед мой (по матери) был атаманом шайки разбойников, держал под Полтавой постоялый двор и безо всякого зазрения совести грабил проезжих по большой дороге. Мать моя – добрая, кроткая женщина – вспоминает об этом с ужасом… Мой отец был очень хорошим человеком, но крайне плохим купцом. Сочетание этих двух свойств привело к тому, что он совершенно разорился к тому времени, когда мне исполнилось 10 лет… Поэтому учиться пришлось дома, с помощью старших сестер – довольно скудно… Будучи пятнадцатилетним застенчивым мальчишкой, попал на Брянский каменноугольный рудник (около Луганска) писцом и служил в ужасной, кошмарной обстановке безвыходной ямы – три года. Потом переехал в Харьков на службу в той же акционерной компании». Отголоски детских и юношеских впечатлений мы находим в рассказах Аверченко «О пароходных гудках», «Молния», «Отец», «Смерть африканского охотника», «Ресторан «Венецианский карнавал», «Три желудя» и многих других. Обстановка, в которую окунулся пошедший «в люди» застенчивый мальчишка, едва ли давала много поводов для смеха. «То конторщик Паланкинов запьет и в пьяном виде получит выговор от директора, то штейгерова корова взбесится, то свиньи съедят сынишку кухарки чертежника. А однажды рудничный врач в пьяном виде отрезал рабочему совсем не ту ногу, которую следовало…» Это беспробудное пьянство сопровождалось унижением и оскорблением младших по службе старшими.

В стремлении вырваться из этого засасывающего болота повседневности, из этой беспросветности Аркадий Аверченко обращается к литературному труду (несколькими годами ранее сходный путь по ту сторону океана прошел Джек Лондон).

В Харькове Аверченко делает первые литературные шаги. «Самым значительным событием моей жизни считаю появление в печати моего первого литературного опыта – рассказа «Праведник» («Журнал для всех», апрель 1904 г., № 4), – сообщал Аверченко Венгерову. – Но писал я тогда мало и напечатал всего несколько жалких юмористических рассказов в «Харьковских губернских ведомостях».

В 1906 году писатель основал журнал сатирической литературы и юмора с рисунками в красках «Штык», который имел в Харькове и даже за его пределами крупный успех. «Я наполнял весь номер, пиша, редактируя и корректируя», – вспоминал Аверченко. Жизнь журнала оказалась недолговечной. На 9-м номере юного редактора оштрафовали на 500 рублей. Заплатить штраф он не смог, да и не хотел, и журнал закрыли.

Но, познав радость первых побед, Аверченко не складывает оружия и в 1907 году открывает новый журнал – «Меч». Впрочем, на третьем номере его постигает участь предшественника.

Революционный подъем кончился, возникшие в период 1905 – 1907 гг. многочисленные сатирические издания – «Пулемет», «Молот», «Сигнал», «Удаль», «Барабан» и др. – были закрыты.

И вот в эту пору Аверченко приезжает в Петербург, чтобы его покорить. Когда это произошло точно, установить нельзя. В автобиографии, посланной С.А. Венгерову, писатель сообщал, что приехал в Петербург 24 декабря 1907 г., в письме В. Быкову утверждал, что оказался в Петербурге в январе 1908 года. Несколько разнятся также сведения об обстоятельствах создания нового «еженедельного журнала сатиры и юмора» «Сатирикон». Зато точно известно, что первый его номер вышел 1 апреля 1908 года и что главная роль в его создании принадлежит Аверченко. Итак, «пришел, увидел, победил». Всего три месяца или и того менее прошло с момента приезда в Петербург, как безвестный провинциальный самодеятельный журналист становится ведущим сотрудником, а вскоре и редактором (спустя несколько лет основным владельцем) журнала, который в течение последующего десятилетия станет самым популярным изданием дореволюционной России.

Начав сотрудничество в отживавшей свой век «Стрекозе», Аверченко сумел организовать и сплотить вокруг себя группу единомышленников, которые и приняли решение о создании нового журнала, а с 1 июня 1908 года о слиянии «Сатирикона» и «Стрекозы» в один журнал – «Сатирикон».

Аркадий Аверченко прекрасно понимал значение созданного им журнала и того дела, которым он занимается. И сказал об этом прямо на страницах уже «Нового Сатирикона» в 1913 году в статье «Мы за пять лет». Лаконично, в нескольких строчках, он рисует крах революционных надежд после 1905 г. и наступление реакции: «Когда я приехал в Петербург (это было в начале 1908 года) – в окна редакций уже заглядывали зловещие лица «тещи», «купца, подвыпившего на маскараде», «дачника, угнетенного дачей» – и тому подобных персонажей русских юмористических листков, десятки лет питавшихся этой полусгнившей дрянью».

Уже из этих строк ясно, что Аверченко привлекали отнюдь не гастрономические и обывательские темы, как это упорно и по сию пору ему вменяют в вину. Тематика журнала была чрезвычайно широкой. Несмотря на цензурные рогатки. В той же статье, объясняя читателю отсутствие материалов на определенные темы, Аверченко отмечает: «Перечислю только то, чего нам категорически запрещено касаться:

1) Военных (даже бытовые рисунки).

2) Голодающих крестьян.

3) Монахов (даже самых скверных).

4) Министров (даже самых бездарных).

А в последнем номере не пропущена даже карикатура, осмеивающая «Новое Время».

Из многих номеров цензурой изымались фельетоны и карикатуры, редактора (Аверченко) неоднократно штрафовали. Все это говорит об определенной общественной позиции писателя. Эта позиция отражена и в его собственном литературном творчестве.

Время работы в «Сатириконе» (и «Новом Сатириконе») явилось самым плодотворным для таких писателей, поэтов, художников, как Тэффи, Петр Потемкин, Саша Черный, Осип Дымов, Георгий Ландау, Аркадий Бухов, Александр Радаков, Александр Рославлев, Ре-Ми, Василий Князев, ну и, конечно же, сам Аверченко.

Атмосфера доброжелательности, которую сумел создать Аверченко в журнале, общие интересы сплачивали коллектив.

Талант человеческого общения счастливо сочетался у Аверченко с его природным литературным даром, и это сочетание находило живой отклик и пробуждало лучшие качества у тех, кто с ним встречался, влекло к нему. Известный критик Петр Пильский, хорошо знавший Аверченко, отмечал: «…все, что он делал, было неизменно овеяно какой-то сердечной легкостью, окружено радостным дружелюбием, всегда сопровождалось удачами и счастьем.

В нем жила какая-то внутренняя свобода. С первых же слов он производил ясное впечатление смелости и прямоты. Казался очень уравновешенным и спокойным. Был насмешлив, но не дерзок, был выдержан, никогда не лгал, умел быть снисходительным к другим, внутренне строгим к себе, не растил в своей душе цветов зла и отместки…»

Надежда Александровна Тэффи была одной из наиболее талантливых сотрудниц «Сатирикона». Ее рассказы и фельетоны появлялись на страницах журнала чуть ли не еженедельно, а сборники рассказов, умных и проникнутых тонким юмором, расходились мгновенно и большими тиражами.

Помимо постоянных авторов «Сатирикона» и «Нового Сатирикона» Аверченко сумел привлечь к сотрудничеству таких замечательных поэтов и прозаиков, как Л. Андреев, А. Грин, А. Куприн, Н. Гумилев, О. Мандельштам, С. Маршак, В. Маяковский, А.Н. Толстой, П. Орешин, С. Городецкий…

Нельзя сказать, что Аверченко был безразлично ровным со всеми, с кем ему приходилось общаться. В середине 1913 года в результате расхождений во взглядах на направленность журнала (и в связи с денежными делами) редакция «Сатирикона» раскололась. Тогда и возник «Новый Сатирикон». И большинство пошло за Аверченко в «Новый Сатирикон».

Его личность, его внутренняя сила, самобытность выделяли его из писательской среды. И вызывали уважение. Посредственности и графомании Аверченко не терпел (достаточно только почитать его отповеди в «Почтовом ящике» журнала), но стоило ему увидеть в начинающем писателе хоть крупицу таланта, он готов был всячески поощрять и поддерживать. Свидетельств тому масса. В «Сатириконе» и «Новом Сатириконе» начинали многие авторы, ставшие потом известными писателями, причем их произведения не лежали месяцами и годами в редакторском столе, а печатались в течение двух-трех недель.

В 1910 году вышли три первых сборника Аркадия Аверченко – «Юмористические рассказы», «Веселые устрицы» и «Зайчики на стене», а затем каждый год выходили две-три книги и переиздавались вышедшие ранее: «Круги по воде», «О хороших, в сущности, людях», «Черным по белому», «Рассказы для выздоравливающих», «Сорные травы», «Записки театраль-

ной крысы», «Шалуны и ротозеи», «О маленьких – для больших», «Позолоченные пилюли», «Синее с золотом», «Чудеса в решете»…

В 1911 году Аверченко и трое его сотрудников (писатель Георгий Ландау, художники Радаков и Ре-Ми) предприняли длительное путешествие в Западную Европу. Несколько месяцев они колесили по Европе, побывали в Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Франции, Испании, Португалии, заезжали на Капри к Горькому… По приезде выпустили большую книгу с иллюстрациями – «Экспедиция в Западную Европу». Однако даже вдали от родины Аверченко не мог отвлечься от русских тем и сюжетов. Рассказы, появлявшиеся в журнале с пометкой: «Рим», «Мюнхен» или «Тироль», повествовали вовсе не об альпийских красотах или ласковых водах Тирренского моря, а о событиях в каком-нибудь Старом Овраге или Нижней Гоголевке…

Февральскую революцию вся редакция «Нового Сатирикона» встретила с восторгом. Сатириконцы приветствовали падение прогнившего царского режима и ожидаемые демократические реформы. Однако вскоре после первых восторгов наступает разочарование, и на страницах «Нового Сатирикона» высмеивается временное правительство, бездарность его министров, беспринципность и беспомощность, неумение овладеть обстановкой. Крах временного правительства представляется Аверченко и его сотрудникам вполне закономерным. Но и победа большевиков вовсе его не радует. Обостряющиеся классовые схватки, углубление разрухи, вызванной мировой войной, экономические тяготы и трудности быта, которые, разумеется, нельзя было быстро преодолеть в условиях начавшейся гражданской войны, вызывают неприятие у писателя. «Новый Сатирикон» еще существует, но он доживает последние дни. Его позиция слишком разительно расходится с позицией большевистских изданий. Аверченко применяет к происходящему общечеловеческие, гуманистические критерии, тогда как победившие классы требуют резкого определения классовых позиций. Разумеется, Аркадий Аверченко, боровшийся всегда за справедливость и демократическую законность, не может принять таких явлений, как, скажем, расстрел в 1918 году 500 заложников (представителей бывших так называемых эксплуататорских классов) за убийство председателя Петроградской ВЧК Урицкого. Подобно В. Г. Короленко, осуждавшему в письмах к А.В. Луначарскому аналогичные методы классовой борьбы, применявшиеся новой властью, Аверченко выступает в своем журнале с резкой критикой тех эксцессов, свидетелем которых неоднократно был сам: расстрелов без суда и следствия прямо на улице, неизвестно кем санкционированных и необоснованных обысков, арестов, экспроприации имущества. Аверченко полагает, что происходящие эксцессы не имеют ничего общего с марксизмом, и на обложке юбилейного номера журнала, посвященного столетию со дня рождения Маркса, рядом с портретом основоположника научного коммунизма идут надписи: «Карл Маркс. 1818. Родился в Германии. 1918. Похоронен в России».

Революция оказалась не такой, как ее себе представлял писатель. Она не принесла сразу изобилия. Рушился привычный, налаженный быт, под угрозой было дело жизни Аверченко – «Новый Сатирикон». Царское правительство его штрафовало и снимало наиболее острые материалы из журнала. Новое правительство во второй половине 1918 года вообще закрыло журнал, потому что антисоветская направленность его становилась все более очевидной.

Вместе с группой работников журнала Аверченко отправился на юг. Сначала он в Ростове-на-Дону сотрудничал в газетах «Приазовский край» и «Юг России», а в конце октября 1920 года вместе с остатками врангелевских войск отплыл в Константинополь.

Ни в Севастополе, где он провел почти год до эмиграции, ни в Константинополе Аверченко не переставал писать. Писал о деградации культуры в условиях гражданской войны, о бесприютности, обнищании, писал о беспросветном, трагикомическом бытии выброшенных на константинопольский берег бывших российских граждан.

Активности, работоспособности Аверченко не теряет. «Кипящий котел», «Записки Простодушного. Я в Европе», «Дюжина ножей в спину революции», «Дети», «Смешное в страшном», «Отдых на крапиве», «Записки циника» – эти и другие новые книги писателя выходят в Берлине, Константинополе, Праге, Париже, Варшаве, Загребе. С основанным им в Константинополе эстрадным театром «Гнездо перелетных птиц» Аверченко побывал на гастролях во многих странах Европы.

Наконец писатель поселяется в Праге, где после революции собралась большая русская колония. В конце 1924 года Аверченко тяжело заболел. Он лечился в санатории, и казалось, дело пошло на поправку. И все же вскоре после возвращения с курорта, 28 января 1925 года писатель попадает в Пражскую городскую больницу. И здесь, «на постели 2516, белой железной больничной постели, утром 12 марта скончался Аркадий Тимофеевич Аверченко…»

СТАНИСЛАВ НИКОНЕНКО[1]

Необходимое пояснение читателям Антологии: том составлен по принципу хронологии появления в свет книг А.Т. Аверченко, названия которых и вынесены в оглавление. Кроме одного – «Маленькая лениниана»: эти эссе объединены составителем в единый цикл по тематическому признаку, хотя и написаны в разное время.

[1] Станислав Степанович Никоненко – поэт, прозаик, литературовед. Первым в советское время составил и выпустил (1964 г.) сборник А. Аверченко «Оккультные науки». Впоследствии, кроме сборников Аверченко, им были составлены и выпущены книги Тэффи, Ю. Слезкина, Пантелеймона Романова, М. Арцыбашева, собрание сочинений Гайто Газданова и др.

Автобиография

Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну, вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

– Держу пари на золотой, что это мальчишка!

«Старая лисица! – подумал я, внутренне усмехнувшись. – Ты играешь наверняка».

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе – и мы вышли на улицу.

– Куда это нас черти несут? – спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

– Тебе надо учиться.

– Очень нужно! Не хочу учиться.

– Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

– Я болен.

– Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

– Глаза.

– Гм… Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.

– Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?

– Ничего, – ответил я, утаив хвост фразы, который докончил в уме: «…хорошего в ученье».

Так я и не занимался науками.

* * *

Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами: каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость – добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно

и планомерно в долг, и – пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.

Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль: заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили в рукопашную, и результат схватки – вывихнутый палец – нисколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.

Так – на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей – совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.

* * *

Когда мне исполнилось пятнадцать лет, отец, с сожалением распростившийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:

– Надо тебе служить.

– Да я не умею, – возразил я, по своему обыкновению выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.

– Вздор! – возразил отец. – Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

– Посмотри на Сережу, – говорила печально мать. – Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет… А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался «держаться свободнее», шаркая ногами по стенам, но все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосягаем!

– Сережа служит, а ты еще не служишь… – упрекнул меня отец.

– Сережа, может быть, дома лягушек ест, – возразил я, подумав. – Так и мне прикажете?

– Прикажу, если понадобится! – гаркнул отец, стуча кулаком по столу. – Чер-рт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.

* * *

Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.

Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека в жилете без пиджака, очень приветливого и скромного.

«Это, наверное, и есть главный агент», – подумал я.

– Здравствуйте! – сказал я, крепко пожимая ему руку. – Как делишки?

– Ничего себе. Садитесь, поболтаем!

Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.

Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:

– Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!

Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самим главным агентом.

– Здравствуйте, – сказал я. – Как живете-можете? (Общительность и светскость по Сереже Зельцеру.)

– Ничего, – сказал молодой господин. – Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!

Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:

– Так-то вы, дьявольский дармоед, заготовляете реестра? Выгоню я вас, если будете лодырничать!

Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал приватно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.

«Дурак я, – думал я про себя. – Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники? Вот этот начальник – так начальник! Сразу уж видно!»

В это время в передней послышалась возня.

– Посмотрите, кто там? – попросил меня главный агент. Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:

– Какой-то плюгавый старичишка стягивает пальто.

Плюгавый старичишка вошел и закричал:

– Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!

Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч, а молодой господин, названный им до того «лодырем», предупредительно сообщил мне на ухо:

– Главный агент притащился.

Так я начал свою службу.

* * *

Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился до 25 рублей, – ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука…

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать – это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца…

Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время – ниже.

И все обитатели этого места пили как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.

Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой непременной принад-

лежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе – целым морем водки.

Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой – ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.

Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые двадцать шагов.

– Что это такое? – изумился я…

– А шахтеры, – улыбнулся сочувственно возница. – Горилку куповалы у селе. Для божьего праздничку.

– Ну?

– Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!

Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала. И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчик на всем пути.

Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения – бутылка водки) съесть динамитный патрон. Проделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.

По миновании же этого странного карантина – был он жестоко избит.

Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.

Занесенные сюда гигантской метлой божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить как бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались прежестокими отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое, тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество.

В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы в колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.

* * *

Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом…

По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах – месте, которое восхищало меня сначала до глубины души.

Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.

Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядящим на широкий божий мир человеком, с готовностью откладывавшим работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрязгах.

* * *

Литературная моя деятельность была начата в 1904[2] году и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во-первых, я написал рассказ… Во-вторых, я отнес его в «Южный край». И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоилась…

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской войны.

Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина…

Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы, и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил как щепку.

Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу… Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал, и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были: отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня! Тогда он, обидевшись, сказал:

– Один из нас должен уехать из Харькова!

– Ваше превосходительство! – возразил я. – Давайте предложим харьковцам: кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить три номера журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.

[2] В «Автобиографии», предпосланной сборнику «Веселые устрицы» (1910), первое выступление Аверченко в печати ошибочно датируется 1905 годом. В 24-м издании сборника, по которому воспроизводится текст, сам автор исправляет дату на 1904 год. В действительности же, как это явствует из дальнейшего текста и подтверждается разысканиями О. Михайлова, наиболее вероятен 1903 год. (*Примеч. сост.*)

* * *

В Петроград я приехал как раз на Новый год. Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу! Помолчу.

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я – могу дать честное слово, – увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город… Скромно, инкогнито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни. И вот – начал я ее.

Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 8 руб., на полгода 4 руб.).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона» (на год 8 руб., на полгода 4 руб.).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.

Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности я умолкаю.

* * *

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение…

Король смеха

Веселые устрицы

Кто ее продал…

I

Не так давно «Русское знамя» разоблачило кадетскую газету «Речь»… «Русское знамя» доказало, что вышеозначенная беспринципная газета открыто и нагло продает Россию Финляндии, получая за это от финляндцев большие деньги.

Совсем недавно беспощадный ослепительный прожектор «Русского знамени» перешел с газет на частных лиц, попал на меня, осветил все мои дела и поступки и обнаружил, что я, в качестве еврействующего журналиста, тоже подкуплен – и продаю свою отчизну оптом и в розницу, систематически ведя ее к распаду и гибели.

Узнав, что маска с меня сорвана, я сначала хотел было увернуться, скрыть свое участие в этом деле, замаскировать как-нибудь те факты, которые вопиюще громко кричат против меня, но ведь все равно: рано или поздно все выплывет наружу, и для меня это будет еще тяжелее, еще позорнее.

Лучше же я расскажу все сам.

Добровольное признание – это все, что может если не спасти меня, то, хотя частью, облегчить мою вину…

Дело было так.

II

Однажды служанка сообщила мне, что меня хотят видеть два господина по очень важному делу.

– Кто же они такие? – полюбопытствовал я.

– Будто иностранцы. Один как будто из чухонцев, такой белесый, а другой маленький, косой, черный. Не иначе – японец.

Два господина вошли и, подозрительно оглядев комнату, поздоровались со мной.

– Чем могу служить?

– Я – прикомандированный к японскому посольству маркиз Оцупа.

– А я, – сказал блондин, небрежно играя финским ножом, – уполномоченный от финляндской революционной партии «Войма». Моя фамилия Муляйнен.

– Я вас слушаю, – кивнул я головой.

Маркиз толкнул своего соседа локтем, нагнулся ко мне и, пронзительно глядя мне в глаза, прошептал:

– Скажите… Вы не согласились бы продать нам Россию?

Мой отец был купцом, и у меня на всю жизнь осталась от него наследственная коммерческая жилка.

– Это смотря как… – прищурился я. – Продать можно. Отчего не продать?.. Только какая ваша цена будет?

– Цену мы дадим вам хорошую, – отвечал маркиз Оцупа. – Не обидим. Только уж и вы не запрашивайте.

– Запрашивать я не буду, – хладнокровно пожал я плечами. – Но ведь нужно же понимать и то, что я вам продаю. Согласитесь сами, что это не мешок картофеля, а целая громадная страна. И притом – нужно добавить – горячо мною любимая.

– Ну, уж и страна!.. – иронически усмехнулся Муляйнен.

– Да-с! Страна! – горячо вскричал я. – Побольше вашей, во всяком случае… Свыше пятидесяти губерний, две столицы, реки какие! Железные дороги! Громадное народонаселение, занимающееся хлебопашеством! Пойдите-ка, поищите в другом месте.

– Так-то так, – обменявшись взглядом с Муляйненом, возразил японец, – да ведь страна-то разорена… сплошное нищенство…

– Как хотите, – холодно проворчал я. – Не нравится – не берите!

– Нет, мы бы взяли, все-таки… Нам она нужна. Вы назовите вашу цену.

Я взял карандаш, придвинул бумагу и стал долго и тщательно высчитывать. Потом поднял от бумаги голову и решительно сказал:

– Десять миллионов.

Оба вскочили и в один голос воскликнули:

– Десять миллионов?!

– Да.

– За Россию?!

– Да.

– Десять миллионов рублей?!

– Да. Именно рублей. Не пфенингов, не франков, а рублей.

– Это сумасшедшая цена.

– Сами вы сумасшедшие! – сердито закричал я. – Этакая страна за десять миллионов – это почти даром. За эти деньги вы имеете чуть не десяток морей, уйму рек, пути сообщения… Не забывайте, что за эту же цену вы получаете и Сибирь – эту громадную богатейшую страну!

Маркиз Оцупа слушал меня, призадумавшись.

– Хотите пять миллионов?

– Пять миллионов? – рассмеялся я. – Вы бы мне еще пять рублей предложили! Впрочем, если хотите, я вам за пять рублей отдам другую Россию, только поплоше. В кавычках.

– Нет, – покачал головой Муляйнен. – Эту и за пять копеек не надо. Вот что… хотите семь миллионов – ни копейки больше!

– Очень даже странно, что вы торгуетесь, – обидчиво поежился я. – Покупают то, что самое дорогое для истинного патриота, да еще торгуются!

– Как угодно, – сказал Муляйнен, вставая. – Пойдем, Оцупа.

– Куда же вы? – закричал я. – Постойте. Я вам, так и быть, миллион сброшу. Да и то не следовало бы – уж очень страна-то хорошая. Я бы всегда на эту цену покупателя нашел… Но для первого знакомства – извольте – миллион сброшу.

– Три сбросьте!

– Держите руку, – сказал я, хлопая по протянутой руке. – Последнее слово, два сбрасываю! За восемь. Идет?

Японец придержал мою руку и сосредоточенно спросил:

– С Польшей и Кавказом?

– С Польшей и Кавказом!

– Покупаем.

Сердце мое отчего-то пребольно сжалось.

– Продано! – вскричал я, искусственным оживлением стараясь замаскировать тяжелое чувство. – Забирайте.

– Как… забирайте? – недоумевающе покосился на меня Оцупа. – Что значит забирайте? Мы платим вам деньги, главным образом, за то, чтобы вы своими фельетонами погубили Россию.

– Да для чего вам это нужно? – удивился я.

– Это уж не ваше дело. Нужно – и нужно. Так – погубите?

– Хорошо, погублю.

III

На другой день, поздно вечером, к моему дому подъехало несколько подвод, и ломовики, кряхтя, стали таскать в квартиру тяжелые, битком набитые мешки.

Служанка моя присматривала за ними, записывая количество привезенных мешков с золотом и изредка уличая ломовика в том, что он потихоньку пытался засунуть в карман сто или двести тысяч; а я сидел за письменным столом и, быстро строча фельетон, добросовестно губил проданную мною родину…

* * *

Теперь – когда я окончил свою искреннюю тяжелую исповедь – у меня легче на сердце. Пусть я бессердечный торгаш, пусть я Иуда-предатель, продавший свою родину… Но ведь – ха-ха! – восемь-то миллиончиков – ха-ха! – которые у меня в кармане, – не шутка.

И теперь, в ночной тиши, когда я просыпаюсь, терзаемый странными видениями, передо мной встает и меня пугает только один страшный, кошмарный вопрос:

Не продешевил ли я?!

Бедствие

«Неожиданный урожай тек… года поставил в большое затруднение – как м-во путей сообщения, так и сельских хозяев, принужденных продавать хлеб почти даром».

«Торгово-промышл. газета».

I

Перед директором департамента стоял чиновник и смущенно докладывал:

– Мы получили самые верные сведения… Сомнений больше нет никаких! Так и лезут из земли.

– Что ж это они так… Недоглядели, что ли?

– Да что ж тут доглядывать, ваше пр-во. Дело божье!

– Конечно, божье… Но ведь и пословица говорит: на бога надейся, а сам не плошай. А вы говорите – лезут?! Что же лезет больше?

– Многое лезет, ваше пр-во… Рожь, пшеница…

– Но я не понимаю… Теперь, когда агрономическая культура сделала такие шаги, неужели нельзя принять какие-нибудь меры?

– Какие меры, ваше пр-во?

– Чтоб они не лезли, эти самые пшеницы, ржи и прочее.

– Тут уж ничего не поделаешь. Раз полезло из земли – с ним не справишься. Зерно маленькое-маленькое, а силища в нем громадная! Нет уж, видно, судьба такая, чтобы быть урожаю!

– Ну, а мужики что?

– Да что ж мужики – плачут. Сколько лет уже, говорят, не было этих самых урожаев, а тут – разгневался господь – послал.

Директор осмотрел уныло свои ногти и вздохнул:

– Мужиков жаль!

– Да-с. Сюрпризец! Вот уж правду говорят: многострадальный русский народ.

– Э?

– Многострадальный, говорю. И они многострадальные, и мы… Нам-то еще хуже, ваше пр-во! Как начнут это вагоны требовать, пробки разные устраивать, в газетах нас ругать – чистейшей воды драма.

– А может… еще и недород будет?

– Нет ни малейшей надежды. Я наводил справки. В один голос все – урожай!

– Опять эта кутерьма пойдет: бесплатные столовые, общеземские организации на местах, пострадавших от урожая, крестьянское разорение. Эх ты, русский народ!

В голосе директора послышались лирические нотки.

– Эх ты, русский народ! Кто тебя выдумал, как говорит незабвенный Гоголь… До того ты темен и дик, что от простого урожая отвертеться не можешь.

– Трудно отвертеться, ваше пр-во. Лезет.

– Кто лезет?

– Все, что в земле есть. Поверите – в некоторых местах опасаются, что и фрукты могут дать урожай!!

– Что вы говорите! Эх, хорошо говорил покойный Гоголь: урожай, кто тебя выдумал?

II

Мужик Савельев стоял у межи своего поля и ругался:

– Ишь ты! Ишь ты, подлая! Так и прет! У людей как у людей – или градом побьет и скот вытопчет, а у нас – хучь ты ее сам лаптем приколачивай!

– Что ты, кум, ворчишь? – спросил, подойдя к Савельеву, мужик Парфен Парфенов.

– Да что, брат дядя, рожь у меня из земли лезет. И недоглядишь, как урожай будет.

– Ну? – сказал Парфен Парфенов. – Влопаешься ты, кум!

– И то! Сколько лет по-хорошему было: и о прошлом годе – недород, и о позапрошлом – недород, а тут – накося! Урожай. Пойтить в кусочки потом и больше никаких апельцинов!

– А во, брат, тучка оттеда идет. Помочить может, – на корню она, подлая, подгниет. Все лучше, чем потом по двугривенному за пуд расторговываться.

Глаза Савелия Савельева загорелись надеждой.

– Где? Где туча?..

– Во. Гляди, может, градом осыплется.

– Вашими бы устами, Парфен Лукич, – сказал повеселевший Савельев, – да мед пить!

Задрав рыжие бороды кверху, долго стояли кумовья и следили за ползущей тучей.

III

Газета «Голос мудрости» писала в передовой статье:

«Мы давно призывали общество к более тесному единению и борьбе со страшным бичом русского крестьянина – урожаем! Что мы видим: в нормальное, спокойное время, когда ряд недородов усыпляет общественное внимание, все забывают, что коварный враг не спит и в это же самое время, может быть, продирает ростками землю, чтобы выбиться наружу зловещими длинными колосьями, словно рядом бичей, угрожающих нашему сельскому хозяйству. А потом ахают и охают, беспомощно мечась перед призраком бедствия:

– Ах, урожай! Ох, урожай!..

И нищает сельское хозяйство, и забиваются железные дороги пробками, тормозя нормальное развитие отечественной промышленности. Сельские хозяева! Помните: враг не дремлет!»

IV

По улице большого города шел прохожий.

Истомленные оборванные люди, держа на руках двух ребят, подошли к нему и зашептали голодными голосами:

– Господин! Помогите пострадавшим от урожая!

– Неужели вы пострадавшие? Может, вы только симулируете пострадавших от урожая? – спросил сердобольный прохожий.

– Де там! Хворменный был урожай!

– И много у вас уродилось?

– Сам-двадцать!

– Несчастные! – ахнул прохожий. – Нате вам три рубля. Может, поправитесь.

Люди

Иван Васильевич Сицилистов приподнялся на одном локте и прислушался…

– Это к нам, – сказал он задремавшей уже жене. – Наконец-то!

– Пойди, открой им. Намокши на дожде, тоже не очень приятно стоять на лестнице.

Сицилистов вскочил и, полуодетый, быстро зашагал в переднюю.

Открыв дверь, он выглянул на лестницу. Лицо его расплылось в широкую, радостную улыбку.

– Ба, ба!! А я-то – позавчера ждал, вчера… Рад. Очень рад! Милости прошу к нашему шалашу.

Вошедший впереди всех жандармский офицер зажмурился от света. Лицо его выражало самое искреннее недоумение.

– Пардон!.. Но вы, вероятно… не поняли. Мы к вам с обыском!

Хозяин залился смехом так, что закашлялся.

– Оригинал… открыл Америку! Ведь не буду же я думать, что вы пришли со мной в преферанс перекинуться.

Он весело захлопотал около пришедших.

– Позвольте пальтецо… Вам трудно снять. Ишь, как оно намокло! Теперь я вам посвечу… Осторожнее: тут порог.

Жандармский офицер и пристав недоумевающе переглянулись, и первый, потоптавшись, сказал нерешительно:

– Разрешите приступить. Вот предписание.

– Ни-ни-ни! И думать не могите! Из-под дождя, с измокшими ногами прямо за дело – этак нетрудно и насморк схватить… А вот мы сейчас застрахуемся! А предписание ваше можете бабушке подарить: неужели порядочный человек не может верить порядочному человеку без предписания? Присядьте, господа! Виноват, ваше имя, отчество?

Офицер пожал плечами, отнеся этот жест к улыбавшемуся уже в усы приставу, и сказал, стараясь придать своим словам леденящий тон:

– Будучи официально уполномочен для производства обыска…

Хозяин замахал на него руками:

– Знаю, знаю!! Ах ты, господи… Ну неужели обыск от вас уйдет? Разве же я не понимаю! Сам помогу! Но почему нам чуждаться хороших человеческих отношений?.. не правда ли,

Никодим Иванович, кажется?! да? хе-хе! Узнал-с, узнал-с!! И никогда не догадаетесь – откуда?! На донышке фуражки вашей в передней прочел!! Ха-ха-ха!! Так вот… Лизочка! (Это моя жена… Превосходнейшая женщина!.. Я вас познакомлю.) Лизочка, дай нам чего-нибудь, – господам офицерам с дождя погреться!.. Ни-ни! Откажетесь – безумно меня обидите!!

Из соседней комнаты вышла прехорошенькая молодая женщина. Приводя мимоходом в порядок пышные волосы, она улыбнулась и сказала, щуря заспанные еще глазки:

– Отказать мужчине вы еще могли, но даме – фи! Это будет не по-джентльменски!

Муж представил:

– Моя жена Елизавета Григорьевна – Никодим Иваныч! Господин пристав… виноват, не имею чести…

Пристав так растерялся при виде вошедшей красавицы, что вскочил и, щелкнув каблуками, преувеличенно громко отрекомендовался:

– Крутилов, Валериан Петрович!

– Да что вы?! Очень рада. У меня сына одного Валей зовут. Лукерья!

Явившейся кухарке она приказала:

– Проведи понятых и городовых пока на кухню! Разогрей пирог, достань колбасы, огурцов… Водки там, кажется, есть с полчетверти… Одним словом, займись ими… А я похлопочу насчет их благородий!

Улыбнувшись смотревшему на нее во все глаза приставу, она выпорхнула.

Жандармский офицер, ошеломленный, открыл рот и начал:

– Извините, но…

За дверью послышался шум, возня, детские голоса, и в комнату ворвались два ликующих сорванца лет пяти– шести.

– Обыск, обыск! У нас обыск! – подпевали они в такт прыжкам таким тоном, будто радовались принесенному пирожному.

Один, топая босыми ножонками, подбежал к офицеру и ухватил его за палец:

– Здравствуй! Покатай меня на ноге, так: гоп, гоп!

Отец сокрушенно покачал головой:

– Ах вы, экспроприаторы этакие! Вы уж извините их… Это их в Одессе у меня разбаловали. Обыски у меня бывали чуть не два раза в неделю… ну, для них и не было лучшего удовольствия. Подружились со всеми… Верите – шоколад стали им носить, игрушки…

Видя, что мальчик тянется губками к его рыжим длинным усам, жандармский офицер нагнулся и поцеловал его.

Другой сидел верхом на колене пристава и, рассматривая погоны, деловым тоном спрашивал:

– Сколько у тебя звездочек? А сабля – вынимается? Я в Одессе сам вынимал – ей-богу!

Вошедшая с подносом, на котором стояли разноцветные бутылки и закуски, мать искусственно-строго заметила:

– Сколько раз я тебе говорила, что божиться – дурная привычка! Он надоедает вам – спустите его на пол.

– Ничего-с… Помилуйте! Тебя как зовут, крыса, а?

– Митей. А тебя?

Пристав рассмеялся:

– Валей. Будем знакомы.

Мать, улыбаясь гостям, наливала в рюмки коньяк и, подвигая офицеру икру, говорила:

– Милости прошу. Согрейтесь! Нам так совестно, что из-за нас вы обеспокоили себя в эту дурную погоду.

– Валя! Дай мне икры, – потребовал Митя, царапая пальцем пуговицу на сюртуке пристава.

Через час жандармский офицер, подперев кулаком щеку, курил предложенную ему хозяином сигару и слушал.

– Разногласие с меньшевиками, – объяснял хозяин, – происходит у нас, главным образом, из-за тактических вопросов… Затем, наше отношение к террору…

Покачивая на руках уснувшего ребенка и стараясь не шуметь, пристав пытался сесть так, чтоб спящего не раздражал свет лампы.

Городовой Харлампов муслил толстый палец и потом, хлопая картой по столу, говорил:

– А вот мы вашего короля прихлопнем! Теперича дворник – принц, а вы, Лукерья Абрамовна, – королевой будете. Вроде как бы английская Виктория. Хе-хе!

Лукерья застенчиво улыбалась, наливая пиво в пустые стаканы.

– Тоже ведь придумает эдакое… Уж сказано про вас – бюрократический режим.

Робинзоны

Когда корабль тонул, спаслись только двое:

Павел Нарымский – интеллигент.

Пров Иванович Акациев – бывший шпик…

Раздевшись догола, оба спрыгнули с тонувшего корабля и быстро заработали руками по направлению к далекому берегу.

Пров доплыл первым. Он вылез на скалистый берег, подождал Нарымского и, когда тот, задыхаясь, стал вскарабкиваться по мокрым камням, строго спросил его:

– Ваш паспорт!

Голый Нарымский развел мокрыми руками:

– Нету паспорта. Потонул.

Акациев нахмурился:

– В таком случае я буду принужден…

Нарымский ехидно улыбнулся.

– Ага… Некуда!

Пров зачесал затылок, застонал от тоски и бессилия и потом молча, голый и грустный, побрел в глубь острова.

Понемногу Нарымский стал устраиваться. Собрал на берегу выброшенные бурей обломки и некоторые вещи с корабля и стал устраивать из обломков – дом.

Пров сумрачно следил за ним, прячась за соседним утесом и потирая голые худые руки. Увидев, что Нарымский уже возводит деревянные стены, Акациев, крадучись, приблизился к нему и громко закричал:

– Ага! Попался! Вы это что делаете?

Нарымский улыбнулся:

– Предварилку строю.

– Нет, нет… Это вы дом строите! Хорошо-с!.. А вы строительный устав знаете?

– Ничего я не знаю.

– А разрешение строительной комиссии в рассуждении пожара у вас имеется?

– Отстанете вы от меня?..

– Нет-с, не отстану. Я вам запрещаю возводить эту постройку без разрешения.

Нарымский, уже не обращая на Прова внимания, усмехнулся и стал прилаживать дверь.

Акациев тяжко вздохнул, постоял и потом тихо поплелся в глубь острова.

Выстроив дом, Нарымский стал устраиваться в нем как можно удобнее. На берегу он нашел ящик с книгами, ружье и бочонок солонины.

Однажды, когда Нарымскому надоела вечная солонина, он взял ружье и углубился в девственный лес с целью настрелять дичи.

Все время сзади себя он чувствовал молчаливую, бесшумно перебегавшую от дерева к дереву фигуру, прячущуюся за толстыми стволами, но не обращал на это никакого внимания. Увидев пробегавшую козу, приложился и выстрелил.

Из-за дерева выскочил Пров, схватил Нарымского за руку и закричал:

– Ага! Попался… Вы имеете разрешение на право ношения оружия?

Обдирая убитую козу, Нарымский досадливо пожал плечами:

– Чего вы пристаете? Занимались бы лучше своими делами.

– Да я и занимаюсь своими делами, – обиженно возразил Акациев. – Потрудитесь сдать мне оружие под расписку на хранение, впредь до разбора дела.

– Так я вам отдал! Ружье-то я нашел, а не вы!

– За находку вы имеете право лишь на одну треть… – начал было Пров, но почувствовал всю нелепость этих слов, оборвал и сердито закончил: – Вы еще не имеете права охотиться!

– Почему это?

– Еще Петрова дня не было! Закону не знаете, что ли?

– А у вас календарь есть? – ехидно спросил Нарымский.

Пров подумал, переступил с ноги на ногу и сурово сказал:

– В таком случае я арестую вас за нарушение выстрелами тишины и спокойствия.

– Арестуйте! Вам придется дать мне помещение, кормить, ухаживать за мной и водить на прогулки!

Акациев заморгал глазами, передернул плечами и скрылся между деревьями.

Возвращался Нарымский другой дорогой.

Переходя по сваленному бурей стволу дерева маленькую речку, он увидел на другом берегу столбик с какой-то надписью.

Приблизившись, прочел: «Езда по мосту шагом».

Пожав плечами, наклонился, чтоб утолить чистой, прозрачной водой жажду, и на прибрежном камне прочел надпись:

«Не пейте сырой воды! За нарушение сего постановления виновные подвергаются…»

Заснув после сытного ужина на своей теплой постели из сухих листьев, Нарымский среди ночи услышал вдруг какой-то стук и, отворив дверь, увидел перед собою мрачного и решительного Прова Акациева.

– Что вам угодно?

– Потрудитесь впустить меня для производства обыска. На основании агентурных сведений…

– А предписание вы имеете? – лукаво спросил Нарымский.

Акациев тяжело застонал, схватился за голову и с криком тоски и печали бросился вон из комнаты.

Часа через два, перед рассветом, стучался в окно и кричал:

– Имейте в виду, что я видел у вас книги. Если они предосудительного содержания и вы не заявили о хранении их начальству – виновные подвергаются…

Нарымский сладко спал.

Однажды, купаясь в теплом, дремавшем от зноя море, Нарымский отплыл так далеко, что ослабел и стал тонуть.

Чувствуя в ногах предательские судороги, он собрал последние силы и инстинктивно закричал. В ту же минуту он увидел, как вечно торчавшая за утесом и следившая за Нарымским фигура поспешно выскочила и, бросившись в море, быстро поплыла к утопающему.

Нарымский очнулся на песчаном берегу. Голова его лежала на коленях Прова Акациева, который заботливой рукой растирал грудь и руки утопленника.

– Вы… живы? – с тревогой спросил Пров, наклоняясь к нему.

– Жив. – Теплое чувство благодарности и жалости шевельнулось в душе Нарымского. – Скажите… Вот вы рисковали из-за меня жизнью… Спасли меня… Вероятно, я все-таки дорог вам, а?

Пров Акациев вздохнул, обвел ввалившимися глазами беспредельный морской горизонт, охваченный пламенем красного заката, – и, просто, без рисовки, ответил:

– Конечно, дороги. По возвращении в Россию вам придется заплатить около ста десяти тысяч штрафов или сидеть около полутораста лет.

И, помолчав, добавил искренним тоном:

– Дай вам бог здоровья, долголетия и богатства.

Спермин

Это была самая скучная, самая тоскливая сессия Думы.

Вначале еще попадались некоторые неугомонные читатели газет, которые после долгого сладкого зевка оборачивались к соседу по месту в трамвае и спрашивали:

– Ну, как Дума?

А потом и эти закоренелые политики как-то вывелись…

Голодным, оборванным газетчикам приходилось долго и упорно бежать за прохожим, заскакивая вперед, растопыривая руки и с мольбой в голосе крича:

– Интересная газета!! Бурное заседание Государственной думы!!

– Врешь ты все, брат, – брезгливо говорил прохожий. – Ну, какое там еще бурное?..

– Купите, ваше сиятельство!

– Знаем мы эти штуки!..

Отодвинув рукой ослабевшего от голода, истомленного нуждой газетчика, прохожий шагал дальше, а газетчик в слепой, предсмертной тоске метался по улице, подкатывался под извозчиков и, хрипло стеная, кричал:

– Интересная газета! На Малой Охте чухонка любовника топором зарубила!! Купите, сделайте милость!

И жалко их было, и досадно.

* * *

Неожиданно среди общего сна и скуки, как удар грома, грянул небывалый скандал в Думе.

Скандал был дикий, нелепый, ни на чем не основанный, но все ожило, зашевелилось, заговорило, как будто вспрыснутое живительным летним дождиком.

Негодованию газет не было предела:

«После долгой спячки и пережевывания никому не нужной вермишели Дума наконец проснулась довольно своеобразно и самобытно: правый депутат Карнаухий закатил такой скандал, подобного которому еще не бывало… Встреченный во время произнесения своей возмутительной речи с трибуны общим шиканьем и протестами, Карнаухий выругался непечатными словами, снял с ноги сапог и запустил им в председательствующего… Когда к нему бросились депутаты, он выругал всех хамами и дохлыми верблюдами, и потом, схватив стул, разбил

голову депутату Рыбешкину. Когда же наконец прекратятся эти возмутительные бесчинства черносотенной своры?! Исключение наглого хулигана всего на пять заседаний должно подлить лишь масла в огонь, т.к. ободрит других и подвигнет на подобные же бесчинства! Самая лучшая мера воздействия на подобных господ – суд и лишение депутатского звания!»

Газетчики уже не бегали, стеная, за прохожими. Голодное выражение сверкавших глаз сменилось сытым, благодушным…

* * *

Издателю большой ежедневной газеты Хваткину доложили, что к нему явился депутат Карнаухий и требует личного с ним свидания.

– Какой Карнаухий? Что ему надо? – поморщился издатель. – Ну, черт с ним, проси.

Рассыльный ушел. Дверь скрипнула, и в кабинет, озираясь, тихо вошел депутат Карнаухий.

Он подошел к столу, придвинув к себе стул, сел лицом к лицу с издателем и, прищурившись, молча стал смотреть в издателево лицо.

Издатель подпер голову руками, облокотился на стол и тоже долго, будто любуясь, смотрел в красное широкое лицо своего гостя.

– Ха-ха-ха! – раскатился издатель неожиданным хохотом.

– Хо-хо-хо! – затрясся всем своим грузным телом Карнаухий.

– Хи-хи-хи!

– Го-го-го!

– Хе!

– Гы!

– Да и ловкач же ты, Карнаухий!

Сквозь душивший его хохот Карнаухий скромно заявил:

– Чего ж ловкач… Как условлено, так и сделано. Доне муа того кельк-шозу, который в той железной щикатулке лежит!

Издатель улыбнулся.

– Как условлено?

– А то ж!

Издатель встал, открыл шкапчик, вынул несколько кредиток и, осмотревшись, сунул их в руку Карнаухому.

– Эге! Да тут четвертной не хватает!

– А ты министрам кулак показывал, как я просил? Нет? То-то и оно, брат. Ежели бы показал, так я, тово… Я честный – получай полностью! А раз не показал – согласись сам, брат Карнаухий…

– Да их никого и не было в ложе.

– Ну, что ж делать – значит, мое такое счастье!

Карнаухий крякнул, покачал укоризненно головой, сунул деньги в карман и взялся за шапку.

– Постой, брат, – остановил его издатель, потирая лоб. – Ты ведь, тово… Исключен на пять заседаний? Это хорошо, брат… Так и нужно. Пока ты забудешься. А там я б тебе еще работку дал. Скажи… не мог бы ты какого-нибудь октябриста на дуэль вызвать?

– Так я его лучше просто отдую, – добродушно сказал Карнаухий.

– Ну, вот… Придумал тоже! Дуэль – это дело благородное, а то – черт знает что – драка.

Карнаухий пощелкал пальцами, почесал темя и согласился:

– Что ж, можно и дуэль. На дуэль своя цена будет. Сами знаете…

– Не обижу. Только ты какой-нибудь благовидный предлог придумай… Подойди, например, к нему и привяжись: «Ты чего мне вчера на пиджак плюнул? Дрянь ты октябристская!» Можешь толкнуть его даже.

– А ежели он не обидится?

– Ну, как не обидится. Обидится. А потом, значит, ты сделай так…

* * *

Долго в кабинете слышался шепот издателя и гудящий бас Карнаухого.

Провожая его, издатель сделал страшное лицо и сказал:

– Только ради Создателя – чтобы ни редактор, ни сотрудники ничего не знали… Они меня съедят.

– Эге!

Когда Карнаухий вышел на улицу, к нему подскочил веселый, сытый газетчик и крикнул:

– Грандиозный скандал! Исключение депутата Карнаухого на пять заседаний!!

Карнаухий улыбнулся и добродушно проворчал:

– Тоже кормитесь, черти?!

Господин Цацкин

Мое первое с ним знакомство произошло после того, как он, вылетев из окна второго этажа, пролетел мимо окна первого этажа, где я в это время жил, и упал на мостовую.

Я выглянул из своего окна и участливо спросил неизвестного, потиравшего ушибленную спину:

– Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным?

– Почему же не можете? – добродушно кивнул он головой, в то же время укоризненно погрозив пальцем по направлению окна второго этажа. – Конечно же, можете.

– Зайдите ко мне в таком случае! – сказал я, отходя от окна.

Он вошел веселый, улыбающийся. Протянул мне руку и сказал:

– Цацкин.

– Очень рад. Не ушиблись ли вы?

– Чтобы сказать вам да – так нет. Чистейшей воды пустяки.

– Наверное, из-за какой-нибудь хорошенькой женщины? – сказал я, подмигивая. – Хи-хи!

– Хе-хе! А вы, вероятно, любитель этих сюжетцев? Хе-хе! Не желаете ли, могу предложить серию любопытных открыточек? Немецкий жанр. Понимающие люди считают его выше французского.

– Нет, зачем же? – удивленно сказал я, всматриваясь в него. – Послушайте, ваше лицо кажется мне знакомым. Это не вас ли вчера какой-то господин столкнул с трамвая?

– Ничего подобного. Это было третьего дня. А вчера меня спустили с черной лестницы по вашей же улице. Но, правду сказать, какая это лестница? Какие-то семь паршивых ступенек.

Заметив мой недоумевающий взгляд, господин Цацкин потупился и укоризненно сказал:

– Все это за то, что я хочу застраховать им жизнь. Хороший народ: я хлопочу об их жизни, а они суетятся о моей смерти.

– Так вы агент по страхованию жизни! – сухо заметил я. – Чем же я могу быть вам полезным?

– Вы мне можете быть полезны одним малюсеньким ответиком на вопросик: как вы хотите у нас застраховаться? На дожитие или с уплатой премии вашим близким после, – дай вам бог здоровья, – вашей смерти?

– Никак я не хочу страховаться, – замотал я головой. – Ни на дожитие, ни на что другое. А близких у меня нет. Я одинок.

– А супруга?

– Я холост.

– Так вам нужно жениться. Очень просто! Могу вам предложить девушку: пальчики оближете. Двенадцать тысяч приданого, отец две лавки имеет. Хотя брат шарлатан, но она такая брюнетка, что даже удивительно. Вы завтра свободны? Можно завтра же и поехать посмотреть. Сюртук, белый жилет… Если нет – можно купить готовые. Адрес: магазин «Оборот», наша фирма…

– Господин Цацкин! – возразил я. – Ей же богу, я не хочу и не могу жениться! Я вовсе не создан для семейной жизни.

– Ой, не созданы! Почему? Может, вы до этого очень шумно жили? Так вы не бойтесь. Это сущий, поправимый пустяк. Могу предложить вам средство, которое несет собой радость каждому меланхоличному мужчине: шесть тысяч книг бесплатно. Имеет массу благодарностей. Пробный флакончик…

– Оставьте ваши пробные флакончики при себе! – раздражительно сказал я. – Мне их не надо. Не такая у меня наружность, чтобы внушать к себе любовь. На голове порядочная лысина, уши оттопырены, морщины, маленький рост…

– Что такое лысина? Если вы ее помажете средством, которого я состою представителем, так обрастете волосами так, как, извините, кокосовый орех, а морщины, а уши… Возьмите наш усовершенствованный аппарат, который можно надевать ночью… Всякие уши как рукой снимет. Рост… Наш гимнастический прибор через шесть месяцев увеличивает рост на два вершка. Через два года вы уже можете будете жениться, а через пять лет вас уже можно будет показывать. А вы мне говорите: рост!

– Ничего мне не нужно, – сказал я, сжимая виски. – Простите, но вы мне действуете на нервы.

– На нервы! Так он молчал… Патентованные холодные души, могущие складываться и раскладываться. Есть с краном, есть с разбрызгивателем. Вы – человек интеллигентный и очень мне симпатичный… Поэтому могу посоветовать взять лучше разбрызгиватель… но…

Я схватился за голову.

– Чего вы хватаетесь? Голова болит? Вы только скажите, сколько вам надо тюбиков нашей пасты «Мигренин»? Фирма уже сама доставит вам на дом.

– Извините, – сказал я, закусывая губу, – но прошу вас оставить меня. Мне некогда. Я очень устал, а мне предстоит еще утомительная работа: писать статью…

– Утомительная? – сочувственно спросил господин Цацкин. – Я вам скажу, что она утомительная потому, что вы до сих пор не приобрели нашего раздвижного пюпитра для чтения и письма. Нормальное положение, удобный наклон… За две штуки 7 рублей, а за три – 10…

– Пошел вон! – закричал я, дрожа от бешенства. – Или я проломлю голову тебе этим пресс-папье!

– Этим пресс-папье! – презрительно сказал господин Цацкин, ощупывая пресс-папье на моем письменном столе. – Этим пресс-папье… Вы на него дуньте, оно улетит! Нет, если вы хотите иметь настоящее, тяжелое пресс-папье, так я могу вам предложить целый прибор из малахита.

Я нажал кнопку электрического звонка.

– Вот сейчас придет человек, – прикажу ему вывести вас.

Скромно склонив голову, господин Цацкин сидел и молчал, будто ожидая исполнения моего приказания.

Прошло две минуты. Я позвонил еще.

– Хороши звонки, нечего сказать! – покачал головой господин Цацкин. – Разве можно такие безобразные звонки иметь, которые не звонят? Позвольте вам предложить звонки с установкой и элементами за 7 рублей 60 копеек. Изящная кнопка…

Я вскочил, схватил господина Цацкина за рукав и потащил к двери:

– Идите, или у меня сейчас будет разрыв сердца!..

– Это не дай бог, но вы не беспокойтесь! Мы вас довольно прилично похороним по второму разряду. Правда, не будет той пышности, как первый, но катафалк…

Я захлопнул за господином Цацкиным дверь, повернул в замке ключ и вернулся к столу.

Через минуту я обратил внимание, что дверная ручка зашевелилась и дверь вздрогнула от осторожного напора и распахнулась.

Господин Цацкин робко вошел в комнату и, прищурясь, сказал:

– В крайнем случае, могу вам доложить, что ваши дверные замки никуда не годятся… Они отворяются от простого нажима. Хорошие английские замки вы можете иметь через меня: один прибор 2 рубля 40 копеек, а пять штук…

Я вынул из ящика письменного стола револьвер и, заскрежетав зубами, закричал:

– Сейчас я буду стрелять в вас!

Господин Цацкин с довольной миной улыбнулся и сказал:

– Я буду очень рад, так как это даст вам возможность убедиться в превосходном качестве панциря от пуль, который надет на мне для образца и который могу вам предложить. Одна штука 18 рублей, две – дешевле, а три – еще дешевле. Прошу вас убедиться!

Я отложил револьвер и, схватив господина Цацкина поперек туловища, с бешеным ревом выбросил в окно.

Падая, он успел крикнуть мне:

– У вас очень непрактичные запонки. Острые углы, рвущие платье и оцарапавшие мне щеку. Могу предложить африканского золота с инкрустацией. Пара – 2 рубля, три – че…

Я захлопнул окно.

«Аполлон»

Однажды в витрине книжного магазина я увидел книгу… По наружному виду она походила на солидный, серьезный каталог технической конторы, что меня и соблазнило, так как я очень интересуюсь новинками в области техники.

А когда мне ее показали ближе, я увидел, что это не каталог, а литературный ежемесячный журнал.

– Как же он… называется? – растерянно спросил я.

– Да ведь заглавие-то на обложке!

Я внимательно всмотрелся в заглавие, перевернул книгу боком, потом вниз головой и, заинтересованный, сказал:

– Не знаю! Может быть, вы будете так любезны посвятить меня в заглавие, если, конечно, оно вам известно?.. Со своей стороны, могу дать вам слово, что, если то, что вы мне сообщите, секрет, – я буду свято хранить его.

– Здесь нет секрета, – сказал приказчик. – Журнал называется «Аполлон», а если буквы греческие, то это ничего… Следующий номер вам дастся гораздо легче, третий еще легче, а дальше все пойдет как по маслу.

– Почему же журнал называется «Аполлон», а на рисунке изображена пронзенная стрелами ящерица?..

Приказчик призадумался.

– Аполлон – бог красоты и света, а ящерица – символ чего-то скользкого, противного… Вот она, очевидно, и пронзена богом света.

Мне понравилась эта замысловатость.

Когда я издам книгу своих рассказов под названием «Скрежет», то на обложке попрошу нарисовать барышню, входящую в здание зубоврачебных курсов…

Заинтересованный диковинным «Аполлоном», я купил журнал и ушел.

* * *

Первая статья, которую я начал читать, – Иннокентия Анненского, – называлась «О современном лиризме».

Первая фраза была такая:

«Жасминовые тирсы наших первых мэнад примахались быстро…»

Мне отчасти до боли сделалось жаль наш бестолковый русский народ, а отчасти было досадно: ничего нельзя поручить русскому человеку… Дали ему в руки жасминовый тирс, а он обрадовался и ну – махать им, пока примахал этот инструмент окончательно.

Фраза, случайно выхваченная мною из середины «лиризма», тоже не развеселила меня:

«В русской поэзии носятся частицы теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов…»

Это было до боли обидно.

Я так расстроился, что дальше даже не мог читать статьи «О современном лиризме»…

* * *

Неприятное чувство сгладила другая статья: «В ожидании гимна Аполлону».

Я человек очень жизнерадостный, и веселье бьет во мне ключом, так что мне совершенно по вкусу пришлось предложение автора:

«Так как танец есть прекраснейшее явление в жизни, то нужно сплетаться всем людям в хороводы и танцевать. Люди должны сделаться прекрасными, непрестанно во всех своих действиях, и танец будет законом жизни».

Последующие слова автора относительно зажжения алтарей, учреждения обетных шествий и плясов привели меня в решительный восторг.

«Действительно! – думал я. – Как мы живем… Ни тебе удовольствия, ни тебе веселья. Все ползают на земле, как умирающие черви, уныние сковывает костенеющие члены… Нет, решительно, обетные шествия и плясы – вот то, что выведет нас на новую дорогу».

Дальше автор говорил:

«Не случайно происходит за последние годы повышение интереса к танцу…»

«Вот оно! – подумал я. – Начинается!»

У меня захватило дыхание от предвкушения близкого веселья, и я должен был сделать усилие, чтобы заставить себя перейти к следующей статье:

«О театре».

* * *

Автор статьи о театре видел единственное спасение и возрождение театра в том, чтобы публика участвовала в действии наравне с актерами.

Идея мне понравилась, но многое показалось неясным: будет ли публика на жалованье у дирекции театра или актеры будут уравнены с публикой в правах тем, что им придется приобретать в кассе билеты «на право игры»… И как отнесутся актеры к той ленивой, инертной части публики, которая предпочтет участию в игре – простое глазение на все происходящее?..

Впрочем, я вполне согласен с автором, что важна идея, а детали можно разработать после.

* * *

Вечером я поехал к одним знакомым и застал у них гостей.

Все сидели в гостиной небольшими группами и вели разговор о бюрократическом засилье, указывая на примеры Англии и Америки.

– Господа! – предложил я. – Не лучше ли нам сплестись в радостный хоровод и понестись в обетном плясе к Дионису?!

Мое предложение вызвало недоумение.

– То есть?..

– В нашей повседневности есть плясовой ритм. Сплетенный хоровод должен нестись даже в будничной жизни, перейдя с подмостков в жизнь… Позвольте вашу руку, мадам!.. Вот так… Господа! Ну, зачем быть такими унылыми?.. Возьмите вашу соседку за руку. Что вы смотрите на меня так недоумевающе? Готово? Ну, теперь можете нестись в радостном хороводе. Господа… Нельзя же так!..

Гости растерянно опустили сплетенные по моему указанию руки и робко уселись на свои места.

– Почему вам взбрела в голову такая идея – танцевать? – сухо спросил хозяин дома. – Когда будет танцевальный вечер, там молодежь и потанцует. А людям солидным ни с того ни с сего выкидывать козла – согласитесь сами…

Желая смягчить неловкую паузу, хозяйка сказала:

– А поэта Бунина в академики выбрали… Слышали?

Я пожал плечами.

– Ах, уж эта русская поэзия! В ней носятся частицы теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов…

Хозяйка побледнела.

А хозяин взял меня под руку, отвел в сторону и сурово шепнул:

– Надеюсь, после всего вами сказанного вы сами поймете, что бывать вам у нас неудобно…

Я укоризненно покачал головой и похлопал его по плечу:

– То-то и оно! Быстро примахались жасминовые тирсы наших первых мэнад. Вам только поручи какое-нибудь дело… Благодарю вас, не беспокойтесь… Я сам спущусь! Тут всего несколько ступенек…

* * *

По улице я шагал с тяжелым чувством.

Вот и устраивай с таким народом обетные плясы, вот и води хороводы! Дай ему жасминовый тирс, так он его не только примахает, да еще, в извозчичий кнут обратив, тебя же им и оттузит! Дионисы!

Огорченный, я зашел в театр.

На сцене стоял, сжав кулаки, городничий, а перед ним на коленях купцы.

– Так – жаловаться?! – гремел городничий.

Я решил попытаться провести в жизнь так понравившуюся мне идею слияния публики со сценой.

– …Жаловаться? Архиплуты, протобестии…

Я встал с места и, изобразив на лице возмущение, со своей стороны, продолжал:

– …Надувалы морские! Да знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что…

Оказалось, что идея участия публики в актерской игре еще не вошла в жизнь…

Когда околоточный надзиратель, сидя в конторе театра, писал протокол, он поднял на меня глаза и спросил:

– Что побудило вас вмешаться в действие пьесы?..

Я попытался оправдаться:

– Тирсы уж очень примахались, господин околоточный…

– Знаем мы вас, – скептически сказал околоточный. – Напьются, а потом – тирсы!..

Еще воспоминания о Чехове

Сей труд автор благоговейно посвящает Н. Ежову… как автору остроумного труда о Чехове, напечатанного в «Историческом вестнике».

I

Однажды мы с Антоном Павловичем сидели в его саду и тихо беседовали.

– Вас спрашивают… Можно вас видеть? – доложил старый слуга.

Непосредственно за этими словами из-за спины слуги раздался веселый голос:

– Чего там спрашивают?! Хо-хо! Смерть не люблю этих китайских церемоний! Доложи, да прими, да еще, пожалуй, визитые карточки потребуешь – терпеть не могу цирлих-манирлих. Здравствуй, Антоша!

Антон Павлович привстал и недоумевающе посмотрел на веселого господина в лихо надетом набекрень котелке, с жизнерадостными, но немного мутными глазами и с манерами красиво развязными и размашистыми…

– Простите… – недоумевая, сказал Антон Павлович.

– Не узнаешь, шельмец?! Славой… как это говорится… обуянъ? Загордился? Хо-хо! Смерть не люблю, когда эдакое вот… двуногое – нос задирает!!!

– Не будете ли добры, – мягко сказал Чехов, юмористически взглянув на меня, – назвать себя, чтобы я мог вспомнить. С годами, знаете… память слабеет.

– Хо-хо! Как это говорится: Изабелла – ослабела! А ты, брат, изменился, похудел. Ну, что твоя чахотка? Небось, кровью харкаешь уже?

– Будьте добры, – вмешался я, выступая вперед, – сказать, кто вы такой, потому что Антон Павлович вас не может узнать.

– А! И вы здесь… господин хороший! Как поживаете? Небось тоже пишете? Много развелось теперь пишущей братии… и всякий о себе мнит, что гений. Правильно, Антоша? Помнишь, как я тебя в былое время называл: Антошка-картошка? Да, брат, было времечко…

Веселый господин сел на мое место и, задумчиво сбивая суковатой палкой головки цветов на куртинах, продолжал:

– Вот видишь, Антоша… ты меня забыл, а я тебя помню. Забыл Колю, шельмец?! А ведь в одной газете работали. Я о кораблекрушениях разных, о бешеных собаках писал, а ты рассказы мастачил. Хо-хо! Ловкач ты, брат! Нос у тебя есть. Потому и выдвинулся, что нос есть. Умеешь по ветру… А я тоже, брат… стал уже разные фельетонные фигли-мигли разводить. Читал, небось, как я на днях отцов города за городские скверы продернул? Ванька Арепьев часто говорил: бойкое у тебя, Коля, перо… Ох, бойкое! Помнишь Ваньку Арепьева?

Чехов наморщил лоб.

– Что-то не помню… Фельетончика вашего о скверах, к сожалению, тоже не читал.

Веселый господин протяжно свистнул.

– Да ты что, Антоша… В самом деле в знаменитости продираешься? За литературой не следишь, бывших друзей не признаешь… Оттого и вид у тебя такой… туберкулезный! А я,

брат, тебе одну штукенцию притащил. Замечательная повесть. Сам и писал, милый Антуан, собственными руками. Прочти и скажи свое вещее слово. Может, в «Русское богатство» пристроишь.

Антон Павлович со вздохом взял пожелтевшую, растрепанную, видавшую виды рукопись и развернул ее.

– Она у вас… гм… не обработана.

– Как не обработана? Врешь, брат, до последней запятой обработана!

– Да вот тут… первая же фраза: «К высокому гроту подъехал мужчина, который зиял темным загадочным отверстием…» Кто зиял?

– Конечно, грот. Всякий по смыслу догадается. А я уже вижу, брат, что ты подкапываешься. Нехорошо, Антоша… Неискренно! Конечно, с таким отношением к товарищу – никакое «Русское богатство» не напечатает. Ну, бог с тобой! У меня есть к тебе другая дружеская просьба… дай мне пятьсот рублей!

– Как – пятьсот рублей?

– Взаймы. Потом сосчитаемся.

– Да у меня такой суммы, право, нет…

– Полно врать-то! Небось в год зарабатываешь в пять раз больше. Ну, нет пятисот, дай триста. Я тебе оставлю мою рукопись… За нее всякий издатель даст в десять раз больше!

– Уверяю вас… У меня при себе рублей тридцать-сорок есть. И на те я должен жить всю неделю. Впрочем, половину – могу.

– Эх, Антоша! Засушила тебя слава! Мелок ты стал: товарищам завидуешь, в денежных отношениях потерял широту русской души… Жмешься, брат! А ведь все равно – кашляешь, кашляешь, да и помрешь скоро… Кому свои миллионы оставишь?

Веселый господин похлопал меня по плечу, как бы призывая в свидетели своего утверждения, покачал головой и, обиженный, исчез так же неожиданно, как явился.

Больше мы с ним не встречались…

II

Когда в печати появились воспоминания Куприна, Бунина и Горького – о Чехове, веселый господин решил, что настала его очередь.

«Что ж… – подумал он… – Недаром Ванька Арепьев частенько говорил, что у меня бойкое перо. Попробуем!»

Веселый господин отодвинул начатый фельетон о непозволительном отношении отцов города к водопроводному вопросу и начал:

Воспоминания о Чехове

Должен сказать, что Чехова я знал очень близко… Начинали мы с ним в одной газете, и я по-приятельски даже называл его Антошей.

«Эх, ты, – говорю, – Антошка-картошка!»

Зная его близко, должен сказать, что дружественная критика окружила его совершенно незаслуженным ореолом и каким-то идолопоклонническим отношением…

Мало кому известно, что слухи о доброте и деликатности Антона Петровича были сильно преувеличены. Наоборот, покойный писатель к своим бывшим товарищам по работе относился с невыносимым пренебрежением, еле узнавал их при встрече.

Кроме того, угасший писатель был скупенек и часто, позванивая в кармане сторублевками, отказывал в займе даже своим близким нуждающимся друзьям.

Отличительной чертой незабвенного покойника была грубость, доходящая порой до наглости… Так, например, пишущий эти строки был свидетелем того, как Антон Павлович раскритиковал прекрасную повесть маститого писателя, который находился тут же. Нужно ли говорить, что эта грубая критика была совершенно несправедлива, являясь результатом болезненной зависти к более талантливым коллегам чахоточного писателя…

Покойный, конечно, понимал, что его нудные, тягучие измышления, лишенные элементарного знания жизни, сразу тускнели и терялись рядом с прекрасными, полными жизненной правды произведениями маститого автора. «Чего же спят наши отцы города, не обращая внимания на позорное состояние городской канализации».

К числу отрицательных свойств дорогого всем покойника нужно отнести также его известную близким приверженность к алкоголю и полнейшее неуменье отличать свое от чужого. (Пишущий эти строки хорошо помнит, как незабвенный писатель обменял свои старые калоши на его новые и спрятал однажды, якобы по рассеянности, вместо носового платка – совсем новенькую салфетку.)

В будущем автор настоящих воспоминаний о Чехове постарается глубже и полнее очертить физическую и моральную физиономию писателя, так безвременно угасшего (настолько безвременно, что он забыл возвратить автору этих воспоминаний серебряный портсигар и три рубля денег, похищенных тайком знаменитым певцом русских сумерек)…

Неизлечимые

«Спрос на порнографическую литературу упал. Публика начинает интересоваться сочинениями по истории и естествознанию».
(«Книжн. известия»)

Писатель Кукушкин вошел, веселый, радостный, к издателю Залежалову и, усмехнувшись, ткнул его игриво кулаком в бок.

– В чем дело?

– Вещь!

– Которая?

– Ага! Разгорелись глазки? Вот тут у меня лежит в кармане. Если будете паинькой в рассуждении аванса – так и быть, отдам!

Издатель нахмурил брови.

– Повесть?

– Она. Ха-ха! То есть такую машину закрутил, такую, что небо содрогнется! Вот вам наудачу две-три выдержки.

Писатель развернул рукопись.

«…Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лампочки была видна полная волнующаяся грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте…»

– Еще что? – сухо спросил издатель.

– Еще я такую штучку вывернул: «Дирижабль плавно взмахнул крыльями и взлетел… На руле сидел Маевич и жадным взором смотрел на Лидию, полная грудь которой волновалась и упругие выпуклые бедра дразнили своей близостью. Не помня себя, Маевич бросил руль, остановил пружину, прижал ее к груди, и все заверте…»

– Еще что? – спросил издатель так сухо, что писатель Кукушкин в ужасе и смятении посмотрел на него и опустил глаза.

– А… еще… вот… Ззаб… бавно! «Линевич и Лидия, стесненные тяжестью водолазных костюмов, жадно смотрели друг на друга сквозь круглые стеклянные окошечки в головных

шлемах… Над их головами шмыгали пароходы и броненосцы, но они не чувствовали этого. Сквозь неуклюжую, мешковатую одежду водолаза Линевич угадывал полную волнующуюся грудь Лидии и ее упругие выпуклые бедра. Не помня себя, Линевич взмахнул в воде руками, бросился к Лидии, и все заверте…»

– Не надо, – сказал издатель.

– Что не надо? – вздрогнул писатель Кукушкин.

– Не надо. Идите, идите с богом.

– В-вам… не нравится? У… у меня другие места есть… Внучек увидел бабушку в купальне… А она еще была молодая.

– Ладно, ладно. Знаем! «Не помня себя он бросился к ней, схватил ее в объятия, и все заверте…»

– Откуда вы узнали? – ахнул, удивившись, писатель Кукушкин. – Действительно, так и есть у меня.

– Штука не хитрая. Младенец догадается! Теперь это, брат Кукушкин, уже не читается. Ау! Ищи, брат Кукушкин, новых путей.

Писатель Кукушкин с отчаянием в глазах почесал затылок и огляделся:

– А где тут у вас корзина?

– Вот она, – указал издатель.

Писатель Кукушкин бросил свою рукопись в корзину, вытер носовым платком мокрое лицо и лаконично спросил:

– О чем нужно?

– Первее всего теперь читается естествознание и исторические книги. Пиши, брат Кукушкин, что-нибудь там о боярах, о жизни мух разных…

– А аванс дадите?

– Под боярина дам. Под муху дам. А под упругие бедра не дам! И под «все завертелось» не дам!!!

– Давайте под муху, – вздохнул писатель Кукушкин.

* * *

Через неделю издатель Залежалов получил две рукописи. Были они такие:

I. Боярская проруха

Боярышня Лидия, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги сарафан, но в это время распахнулась старинная дверь и вошел молодой князь Курбский.

Затуманенным взором, молча, смотрел он на высокую волнующуюся грудь девушки и ее упругие выпуклые бедра.

– Ой ты, гой еси! – воскликнул он на старинном языке того времени.

– Ой ты, гой еси, исполать тебе, добрый молодец! – воскликнула боярышня, падая князю на грудь, и – все заверте…

II. Мухи и их привычки

(Очерки из жизни насекомых)

Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бедрами ползла по откосу запыленного окна.

Звали ее по-мушиному – Лидия.

Из-за угла вылетела большая черная муха, села против первой и с еле сдерживаемым порывом страсти стала потирать над головой стройными мускулистыми лапками. Высокая волнующаяся грудь Лидии ударила в голову черной мухи чем-то пьянящим… Простерши лапки, она крепко прижала Лидию к своей груди, и все заверте…

Золотой век

I

По приезде в Петербург я явился к старому другу, репортеру Стремглавову, и сказал ему так:

– Стремглавов! Я хочу быть знаменитым.

Стремглавов кивнул одобрительно головой, побарабанил пальцами по столу, закурил папиросу, закрутил на столе пепельницу, поболтал ногой – он всегда делал несколько дел сразу – и отвечал:

– Нынче многие хотят сделаться знаменитыми.

– Я не «многий», – скромно возразил я. – Василиев, чтоб они были Максимычами и в то же время Кандыбиными – встретишь, брат, не каждый день. Это очень редкая комбинация!

– Ты давно пишешь? – спросил Стремглавов.

– Что… пишу?

– Ну, вообще – сочиняешь!

– Да я ничего и не сочиняю.

– Ага! Значит – другая специальность. Рубенсом думаешь сделаться?

– У меня нет слуха, – откровенно сознался я.

– На что слуха?

– Чтобы быть этим вот… как ты его там назвал?.. Музыкантом…

– Ну, брат, это ты слишком. Рубенс не музыкант, а художник.

Так как я не интересовался живописью, то не мог упомнить всех русских художников, о чем Стремглавову и заявил, добавив:

– Я умею рисовать метки для белья.

– Не надо. На сцене играл?

– Играл. Но когда я начинал объясняться героине в любви, у меня получался такой тон, будто бы я требую за переноску рояля на водку. Антрепренер и сказал, что лучше уж пусть я на самом деле таскаю на спине рояли. И выгнал меня.

– И ты все-таки хочешь стать знаменитостью?

– Хочу. Не забывай, что я умею рисовать метки!

Стремглавов почесал затылок и сразу же сделал несколько дел: взял спичку, откусил половину, завернул ее в бумажку, бросил в корзину, вынул часы и, засвистав, сказал:

– Хорошо. Придется сделать тебя знаменитостью. Отчасти, знаешь, даже хорошо, что ты мешаешь Рубенса с Робинзоном Крузо и таскаешь на спине рояли – это придает тебе оттенок непосредственности.

Он дружески похлопал меня по плечу и обещал сделать все, что от него зависит.

II

На другой день я увидел в двух газетах в отделе «Новости искусства» такую странную строку:

– «Здоровье Кандыбина поправляется».

– Послушай, Стремглавов, – спросил я, приехав к нему, – почему мое здоровье поправляется? Я и не был болен.

– Это так надо, – сказал Стремглавов. – Первое известие, которое сообщается о тебе, должно быть благоприятным… Публика любит, когда кто-нибудь поправляется.

– А она знает – кто такой Кандыбин?

– Нет. Но она теперь уже заинтересовалась твоим здоровьем, и все будут при встречах сообщать друг другу: «А здоровье Кандыбина поправляется».

– А если тот спросит: «Какого Кандыбина?»

– Не спросит. Тот скажет только: «Да? А я думал, что ему хуже».

– Стремглавов! Ведь они сейчас же и забудут обо мне!

– Забудут. А я завтра пущу еще такую заметку: «В здоровье нашего маститого»… Ты чем хочешь быть: писателем? художником?..

– Можно писателем.

«В здоровье нашего маститого писателя Кандыбина наступило временное ухудшение. Вчера он съел только одну котлетку и два яйца всмятку. Температура 39,7».

– А портрета еще не нужно?

– Рано. Ты меня извини, я должен сейчас ехать давать заметку о котлете.

И он, озабоченный, убежал.

III

Я с лихорадочным любопытством следил за своей новой жизнью.

Поправлялся я медленно, но верно. Температура падала, количество котлет, нашедших приют в моем желудке, все увеличивалось, а яйца я рисковал уже съесть не только всмятку, но и вкрутую.

Наконец я не только выздоровел, но даже пустился в авантюры.

– «Вчера, – писала одна газета, – на вокзале произошло печальное столкновение, которое может окончиться дуэлью. Известный Кандыбин, возмущенный резким отзывом капитана в отставке о русской литературе, дал последнему пощечину. Противники обменялись карточками».

Этот инцидент вызвал в газетах шум.

Некоторые писали, что я должен отказаться от всякой дуэли, так как в пощечине не было состава оскорбления, и что общество должно беречь русские таланты, находящиеся в расцвете сил.

Одна газета говорила:

«Вечная история Пушкина и Дантеса повторяется в нашей полной несообразностей стране. Скоро, вероятно, Кандыбин подставит свой лоб под пулю какого-то капитана Ч*. И мы

спрашиваем – справедливо ли это? С одной стороны – Кандыбин, с другой – какой-то никому не ведомый капитан Ч*».

«Мы уверены, – писала другая газета, – что друзья Кандыбина не допустят его до дуэли.

Большое впечатление произвело известие, что Стремглавов (ближайший друг писателя) дал клятву, в случае несчастного исхода дуэли, драться самому с капитаном Ч*».

Ко мне заезжали репортеры.

– Скажите, – спросили они, – что побудило вас дать капитану пощечину?

– Да ведь вы читали, – сказал я. – Он резко отзывался о русской литературе. Наглец сказал, что Айвазовский был бездарным писакой.

– Но ведь Айвазовский – художник! – изумленно воскликнул репортер.

– Все равно. Великие имена должны быть святыней, – строго отвечал я.

IV

Сегодня я узнал, что капитан Ч* позорно отказался от дуэли, а я уезжаю в Ялту.

При встрече со Стремглавовым я спросил его:

– Что, я тебе надоел, что ты меня сплавляешь?

– Это надо. Пусть публика немного отдохнет от тебя. И потом это шикарно: «Кандыбин едет в Ялту, надеясь окончить среди чудной природы юга большую, начатую им вещь».

– А какую вещь я начал?

– Драму «Грани смерти».

– Антрепренеры не будут просить ее для постановки?

– Конечно, будут. Ты скажешь, что, закончив, остался ею недоволен и сжег три акта. Для публики это канальски эффектно!

Через неделю я узнал, что в Ялте со мной случилось несчастье: взбираясь по горной круче, я упал в долину и вывихнул себе ногу. Опять началась длинная и утомительная история с сидением на куриных котлетках и яйцах.

Потом я выздоровел и для чего-то поехал в Рим… Дальнейшие мои поступки страдали полным отсутствием всякой последовательности и логики.

В Ницце я купил виллу, но не остался в ней жить, а отправился в Бретань кончать комедию «На заре жизни». Пожар моего дома уничтожил рукопись, и поэтому (совершенно идиотский поступок) я приобрел клочок земли под Нюрнбергом.

Мне так надоели бессмысленные мытарства по белу свету и непроизводительная трата денег, что я отправился к Стремглавову и категорически заявил:

– Надоело! Хочу, чтобы юбилей.

– Какой юбилей?

– Двадцатипятилетний.

– Много. Ты всего-то три месяца в Петербурге. Хочешь десятилетний?

– Ладно, – сказал я. – Хорошо проработанные 10 лет дороже бессмысленно прожитых 25.

– Ты рассуждаешь, как Толстой! – восхищенно вскричал Стремглавов.

– Даже лучше. Потому что я о Толстом ничего не знаю, а он обо мне узнает.

V

Сегодня справлял десятилетний юбилей своей литературной и научно-просветительной деятельности…

На торжественном обеде один маститый литератор (не знаю его фамилии) сказал речь.

– Вас приветствовали, как носителя идеалов молодежи, как певца родной скорби и нищеты, – я же скажу только два слова, но которые рвутся из самой глубины наших душ: здравствуй, Кандыбин!

– А, здравствуйте, – приветливо отвечал я, польщенный. – Как вы поживаете?

Все целовали меня.

Четверг

В восемь часов вечера Ляписов заехал к Андромахскому и спросил его:

– Едете к Пылинкиным?

– А что? – спросил, покривившись, Андромахский. – Разве сегодня четверг?

– Конечно, четверг. Сколько четвергов вы у них бывали и все еще не можете запомнить.

Андромахский саркастически улыбнулся:

– Зато я твердо знаю, что мы будем там делать. Когда мы войдем, m-me Пылинкина сделает радостно-изумленное лицо: «Господи! Андрей Павлович! Павел Иванович! Как это мило с вашей стороны!» Что мило? Что мило, черт ее возьми, эту тощую бабу, меняющую любовников – не скажу даже, как перчатки, потому что перчатки она меняет гораздо реже! Что мило? То ли мило, что мы являемся всего один раз в неделю, или то – что, войдя, не разгоняем сразу пинками всех ее глупых гостей? «Садитесь, пожалуйста. Чашечку чаю?» Ох, эта мне чашечка чаю! И потом начинается: «Были на лекции о Ведекинде?» А эти проклятые лекции, нужно вам сказать, читаются чуть ли не каждый день! Нет, скажешь, не был. «Не были? Как же это вы так?» Ну, что, если после этого взять, стать перед ней на колени, заплакать и сказать: «Простите меня, что я не был на лекции о Ведекинде. Я всю жизнь посвящу на то, чтобы замолить этот грех. Детям своим завещаю бывать от двух до трех раз на Ведекинде, кухарку вместо бани буду посылать на Ведекинда и на смертном одре завещаю все свое состояние лекторам, читающим о Ведекинде. Простите меня, умная барыня, и кланяйтесь от меня всем вашим любовникам!»

Ляписов засмеялся:

– Не скажете!

– Конечно, не скажу. В том-то и ужас, что не скажу. И еще в том ужас, что и она, и все ее гости моментально и бесследно забывают о Ведекинде, о лекциях и с лихорадочным любопытством набрасываются на какую-то босоножку. «Видели танцы новой босоножки? Мне нравится». А другой осел скажет: «А мне не нравится». А третий отвечает: «Не скажите! Это танцы будущего, и они мне нравятся. Когда я был в Берлине, в кафешантане…» – «Ах, – скажет игриво m-me Пылинкина, – вам, мужчинам, только бы все кафешантаны!» Конечно – нужно было бы сказать ей, – кафешантаны. А тебе бы все любовники да любовники. «Семен Семеныч! Чашечку чаю с печеньицем, а? Пожалуйста! Читали статью о Вейнингере?» А чаишко-то у нее, признаться, скверный, да и печеньице тленом попахивает… И вы замечаете? Замечаете? Уже о босоножке забыто, танцы будущего провалились бесследно до будущего четверга, разговор о кафешантане держится две минуты, увядает, осыпается, и на его месте пышно расцветает беседа о новой пьесе, причем одному она нравится, другому не нравится, а третий выражает мнение, что она так себе. Да ведь он ее не видел?! Не видел, уверяю вас, шут этакий, мошенник, мелкий хам!! А ты должен сидеть, пить чашечку чаю и говорить, что босоножка тебе нравится, новая пьеса производит впечатление слабой, а кафешантаны скучны, потому что все номера однообразны.

Ляписов вынул часы:

– Однако уже скоро девять!

– Сейчас. Я в минутку оденусь. Да ведь там только к девяти и собираются… Одну минуточку.

* * *

В девять часов вечера Андромахский и Ляписов приехали к Пылинкиным.

М-me Пылинкина увидела их еще в дверях и с радостным изумлением воскликнула:

– Боже ты мой, Павел Иваныч! Андрей Павлыч! Садитесь. Очень мило с вашей стороны, что заехали. Чашечку чаю?

– Благодарю вас! – ласково наклонил голову Андромахский. – Не откажусь.

– А мы с мужем думали, что встретим вас вчера…

– Где? – спросил Андромахский.

– Как же! В Соляном Городке! Грудастов читал о Пшебышевском.

На лице Андромахского изобразилось неподдельное отчаяние.

– Так это было вчера?! Экая жалость! Я мельком видел в газетах и, представьте, думал, что она будет еще не скоро. Я теперь газеты вообще мельком просматриваю.

– В газетах теперь нет ничего интересного, – сказал из-за угла чей-то голос.

– Репрессии, – вздохнула хозяйка. – Обо всем запрещают писать. Чашечку чаю?

– Не откажусь, – поклонился Ляписов.

– Мы выписали две газеты и жалеем. Можно бы одну выписать.

– Ну, иногда в газетах можно натолкнуться на что-нибудь интересное… Читали на днях, как одна дама гипнотизмом выманила у домовладельца тридцать тысяч?

– Хорошенькая? – игриво спросил Андромахский.

Хозяйка кокетливо махнула на него салфеточкой:

– Ох, эти мужчины! Им бы все только – хорошенькая! Ужасно вы испорченный народ.

– Ну, нет, – сказал Ляписов. – Вейнингер держится обратного мнения… У него ужасное мнение о женщинах…

– Есть разные женщины и разные мужчины, – послышался из полутемного угла тот же голос, который говорил, что в газетах нет ничего интересного. – Есть хорошие женщины и хорошие мужчины. И плохие есть там и там.

– У меня был один знакомый, – сказала полная дама. – Он был кассиром. Служил себе, служил, и – представьте – ничего. А потом познакомился с какой-то кокоткой, растратил казенные деньги и бежал в Англию. Вот вам и мужчины ваши!

– А я против женского равноправия! – сказал господин с густыми бровями. – Что это такое? Женщина должна быть матерью! Ее сфера – кухня!

– Извините-с! – возразила хозяйка. – Женщина такой же человек, как и мужчина! А ей ничего не позволяют делать!

– Как не позволяют? Все позволяют! Вот одна на днях в театре танцевала с голыми ногами. Очень было мило. Сфера женщины – все изящное, женственное.

– А по-моему, она вовсе не изящна. Что это такое – ноги толстые и сама скачет, как козел!

– А мне нравится! – сказал маленький лысый человек. – Это танцы будущего, и они открывают новую эру в искусстве.

– Чашечку чаю! – предложила хозяйка Андромахскому. – Может быть, желаете рюмочку коньяку туда?

– Мерси. Я вообще не пью. Спиртные напитки вредны.

Голос из угла сказал:

– Если спиртные напитки употреблять в большом количестве, то они, конечно, вредны. А если иногда выпить рюмочку – это не может быть вредным.

– Ничем не надо злоупотреблять, – сказала толстая дама.

– Безусловно. Все должно быть в меру, – уверенно ответил Ляписов.

Андромахский встал, вздохнул и сказал извиняющимся тоном:

– Однако я должен спешить. Позвольте, Марья Игнатьевна, откланяться.

На лице хозяйки выразился ужас.

– Уже?!! Посидели бы еще…

– Право, не могу.

– Ну, одну минутку!

– С наслаждением бы, но…

– Какой вы, право, нехороший… До свиданья. Не забывайте! Очень будем рады с мужем видеть вас.

Ласковая, немного извиняющаяся улыбка бродила на лице Андромахского до тех пор, пока он не вышел в переднюю. Когда нога его перешагнула порог – лицо приняло выражение холодной злости, скуки и бешенства.

Он оделся и вышел.

* * *

Захлопнув за собой дверь, Андромахский остановился на полутемной площадке лестницы и прислушался.

До него явственно донеслись голоса: его приятеля Ляписова, толстой дамы и m-me Пылинкиной.

– Что за черт?

Он огляделся. Над его головой тускло светило узенькое верхнее окно, выходившее, очевидно, из пылинкинской гостиной. Слышно было всякое слово – так отчетливо, что Андромахский, уловив свою фамилию, прислонился к перилам и застыл…

– Куда это он так вскочил? – спросил голос толстой дамы.

– К жене, – отвечал голос Ляписова.

M-me Пылинкина засмеялась:

– К жене! С какой стороны?!

– Что вы! – удивилась толстая дама. – Разве он такой?..

– Он?! – сказал господин с густыми бровями. – Я его считал бы добродетельнейшим человеком, если бы он изменял только жене с любовницей. Но он изменяет любовнице с горничной, горничной – с белошвейкой, шьющей у жены, и так далее. Разве вы не знаете?

– В его защиту я должен сказать, что у него есть одна неизменная привязанность, – сказал лысый старичок.

– К кому?

– Не к кому, а к чему… К пиву! Он выпивает в день около двадцати бутылок!

Все рассмеялись.

– Куда же вы? – послышался голос хозяйки.

– Я и так уже засиделся, – отвечал голос Ляписова. – Нужно спешить.

– Посидите еще! Ну, одну минуточку! Недобрый, недобрый! До свиданья. Не забывайте нашего шалаша.

* * *

Когда Ляписов вышел, захлопнув дверь, на площадку, он увидел прислонившегося к перилам Андромахского и еле сдержал восклицание удивления.

– Тсс!.. – прошептал Андромахский, указывая на окно. – Слушайте! Это очень любопытно…

– Какой симпатичный этот Ляписов, – сказала хозяйка. – Не правда ли?

– Очень милый, – отвечал господин с густыми бровями. – Только вид у него сегодня был очень расстроенный.

– Неприятности! – послышался сочувственный голос толстой дамы.

– Семейные?

– Нет, по службе. Все игра проклятая!

– А что, разве?..

– Да, про него стали ходить тревожные слухи. Получает в месяц двести рублей, а проигрывает в клубе в вечер по тысяче. Вы заметили, как он изменился в лице, когда я ввернула о кассире, растратившем деньги и бежавшем в Англию?

– Проклятая баба, – прошептал изумленный Ляписов. – Что она такое говорит!

– Хорошее оконце! – улыбнулся Андромахский.

– …Куда же вы? Посидели бы еще!

– Не могу-с! Время уже позднее, – послышался голос лысого господина. – А ложусь-то я, знаете, рано.

– Какая жалость, право!

* * *

На площадку лестницы вышел лысый господин, закутанный в шубу, и испуганно отшатнулся при виде Ляписова и Андромахского.

Андромахский сделал ему знак, указал на окно и в двух словах объяснил преимущество занятой ими позиции.

– Сейчас о вас будет. Слушайте!

– Я никогда не встречала у вас этого господина, – донесся голос толстой дамы. – Кто это такой?

– Это удивительная история, – отвечала хозяйка. – Я удивляюсь, вообще… Представили его мне в театре, а я и не знаю, кто и что он такое. Познакомил нас Дерябин. Я говорю Дерябину между разговором: «Отчего вы не были у нас в прошлый четверг?» А этот лысый и говорит мне: «А у вас четверги? Спасибо, буду». Никто его и не звал, я даже и не намекала. Поразительно некоторые люди толстокожи и назойливы! Пришлось с приятной улыбкой сказать: «Пожалуйста! Буду рада».

– Ах ты, дрянь этакая, – прошептал огорченно лысый старичок. – Если бы знал – никогда бы к тебе не пришел. Вы ведь знаете, молодой человек, – обратился он к Андромахскому, – эта худая выдра в интимных отношениях с тем самым Дерябиным, который нас познакомил. Ей-богу! Мне Дерябин сам и признался. Чистая уморушка!

– А вы зачем соврали там, в гостиной, что я выпиваю двадцать бутылок пива в день? – сурово спросил старичка Андромахский.

– А вы мне очень понравились, молодой человек, – виновато улыбнулся старичок. – Когда зашел о вас разговор – я и думаю: дай вверну словечко!

– Пожалуйста, никогда не ввертывайте обо мне словечка. О чем они там сейчас говорят?

– Опять обо мне, – сказал Ляписов. – Толстая дама выражает опасение, что я не сегодня-завтра сбегу с казенными деньгами.

– Проклятая лягушка! – проворчал Андромахский. – Если бы вы ее самое знали! Устраивает благотворительные вечера и ворует все деньги. Одну дочку свою буквально продала сибирскому золотопромышленнику!

– Ха-ха! – злобно засмеялся старичок. – А вы заметили этого кретиновидного супруга хозяйки, сидевшего в углу?..

– Как же! – усмехнулся Андромахский. – Он сказал ряд очень циничных афоризмов: что в газетах нет ничего интересного, что женщины и мужчины бывают плохие и хорошие и что если пить напитков много, то это скверно, а мало – ничего…

Старичок, Ляписов и Андромахский уселись для удобства на верхней ступеньке площадки, и Андромахский продолжал:

– И он так глуп, что не замечал, как старуха Пылинкина подмигивала несколько раз этому густобровому молодцу. Очевидно, дело с новеньким лямиделямезончиком на мази!

– Хе-хе! – тихонько засмеялся Ляписов. – А вы знаете, старче, как Андромахский сегодня скаламбурил насчет этой Мессалины: она не меняет любовников, как перчатки, только потому, что не меняет перчаток.

Лысый старичок усмехнулся:

– Заметили, чай у них мышами пахнет! Хоть бы людей постыдились…

* * *

Когда госпожа Пылинкина, провожая толстую даму, услышала на площадке голоса и выглянула из передней, она с изумлением увидела рассевшуюся на ступеньках лестницы компанию…

– Я уверен, – говорил увлеченный разговором Ляписов, – что эта дура Пылинкина не только не читала Ведекинда, но, вероятно, путает его с редерером, который она распивает по отдельным кабинетам с любовниками.

– Ну да! – возражал Андромахский. – Станут любовники поить ее редерером. Бутылка клюквенного квасу, бутерброд с чайной колбасой – и m-me Пылинкина, соблазненная этой царской роскошью, готова на все!..

Госпожа Пылинкина кашлянула, сделала вид, что вышла только сейчас, и с деланым удивлением сказала:

– А вы, господа, еще здесь! Заговорились? Не забудьте же – в будущий четверг!

Мозаика

I

– Я несчастный человек – вот что!

– Что за вздор?! Никогда я этому не поверю.

– Уверяю тебя.

– Ты можешь уверять меня целую неделю, и все-таки я скажу, что ты городишь самый отчаянный вздор. Чего тебе недостает? Ты имеешь ровный, мягкий характер, деньги, кучу друзей и, главное, – пользуешься вниманием и успехом у женщин.

Вглядываясь печальными глазами в неосвещенный угол комнаты, Кораблев тихо сказал:

– Я пользуюсь успехом у женщин…

Посмотрел на меня исподлобья и смущенно сказал:

– Знаешь ли ты, что у меня шесть возлюбленных?!

– Ты хочешь сказать – было шесть возлюбленных? В разное время? Я, признаться, думал, что больше.

– Нет, не в разное время, – вскричал с неожиданным одушевлением в голосе Кораблев, – не в разное время!! Они сейчас у меня есть! Все!

Я в изумлении всплеснул руками.

– Кораблев! Зачем же тебе столько?

Он опустил голову.

– Оказывается, меньше никак нельзя. Да… Ах, если бы ты знал, что это за беспокойная, хлопотливая штука… Нужно держать в памяти целый ряд фактов, уйму имен, запоминать всякие пустяки, случайно оброненные слова, изворачиваться и каждый день, с самого утра, лежа в постели, придумывать целый воз тонкой, хитроумной лжи на текущий день.

– Кораблев! Для чего же… шесть?

Он положил руку на грудь.

– Должен тебе сказать, что я вовсе не испорченный человек. Если бы я нашел женщину по своему вкусу, которая наполнила бы все мое сердце, – я женился бы завтра. Но со мной происходит странная вещь: свой идеал женщины я нашел не в одном человеке, а в шести. Это, знаешь, вроде мозаики.

– Мо-за-ики?

– Ну да, знаешь, такое – из разноцветных кусочков складывается. А потом картина выходит. Мне принадлежит прекрасная идеальная женщина, но куски ее разбросаны в шести персонах…

– Как же это вышло? – в ужасе спросил я.

– Да так. Я, видишь ли, не из того сорта людей, которые, встретившись с женщиной, влюбляются в нее, не обращая внимания на многое отрицательное, что есть в ней. Я не согласен с тем, что любовь слепа. Я знал таких простаков, которые до безумия влюблялись в женщин за их прекрасные глаза и серебристый голосок, не обращая внимания на слишком низкую талию или большие красные руки. Я в таких случаях поступаю не так. Я влюбляюсь в красивые глаза и великолепный голос, но так как женщина без талии и рук существовать не может – отправляюсь на поиски всего этого. Нахожу вторую женщину – стройную, как Венера, с обворожительными ручками. Но у нее сентиментальный, плаксивый характер. Это, может быть, хорошо, но очень и очень изредка… Что из этого следует? Что я должен отыскать женщину с искрометным прекрасным характером и широким душевным размахом! Иду, ищу… Так их и набралось шестеро!

Я серьезно взглянул на него.

– Да, это действительно похоже на мозаику.

– Не правда ли? Форменная. У меня, таким образом, составилась лучшая, может быть, женщина в мире, но если бы ты знал – как это тяжело! Как это дорого мне обходится!..

Со стоном он схватил себя руками за волосы и закачал головой направо и налево.

– Все время я должен висеть на волоске. У меня плохая память, я очень рассеянный, а у меня в голове должен находиться целый арсенал таких вещей, которые, если тебе рассказать, привели бы тебя в изумление. Кое-что я, правда, записываю, но это помогает лишь отчасти.

– Как записываешь?

– В записной книжке. Хочешь? У меня сейчас минута откровенности, и я без утайки тебе все рассказываю. Поэтому могу показать и свою книжку. Только ты не смейся надо мной.

Я пожал ему руку:

– Не буду смеяться. Это слишком серьезно… Какие уж тут шутки!

– Спасибо. Вот видишь – скелет всего дела у меня отмечен довольно подробно. Смотри: «Елена Николаевна. Ровный, добрый характер, чудесные зубы, стройная. Поет. Играет на фортепиано».

Он почесал углом книжки лоб.

– Я, видишь ли, люблю очень музыку. Потом, когда она смеется – я получаю истинное наслаждение; очень люблю ее! Здесь есть подробности: «Любит, чтобы называли ее Лялей. Любит желтые розы. Во мне ей нравится веселье и юмор. Люб. шампанск. Аи. Набожн. Остерег. своб. рассужд. о религ. вопр. Остерег. спрашив. о подруге Китти. Подозрев., что подруга Китти неравнодушна ко мне»… Теперь дальше: «Китти… Сорванец, способный на всякую шалость. Рост маленький. Не люб., когда ее целуют в ухо. Кричит. Остерег. целов. при посторонн. Из цветов люб. гиацинты. Шамп. только рейнское. Гибкая, как лоза, чудесно танц. матчиш. Люб. засахар. каштаны и ненавид. музыку. Остерег. музыки и упоминания об Елене Ник. Подозрев.»…

Кораблев поднял от книжки измученное, страдальческое лицо.

– И так далее. Понимаешь ли – я очень хитер, увертлив, но иногда бывают моменты, когда я чувствую себя летящим в пропасть… Частенько случалось, что я Китти называл «дорогой

единственной своей Настей», а Надежду Павловну просил, чтобы славная Маруся не забывала своего верного возлюбленного. В тех слезах, которые исторгались после подобных случаев, можно было бы с пользой выкупаться.

Однажды Лялю я назвал Соней и избежал скандала только тем, что указал на это слово, как на производное от слова «спать». И хотя она ни капельки не была сонная, но я победил ее своей правдивостью. Потом уже я решил всех поголовно называть дусями, без имени, благо, что около того времени пришлось мне встретиться с девицей по имени Дуся (прекрасные волосы и крошечные ножки. Люб. театр. Автомоб. ненавидит. Остерег. автомоб. и упомин. о Насте. Подозрев.).

Я помолчал.

– А они… тебе верны?

– Конечно. Так же, как я им. И каждую из них я люблю по-своему за то, что есть у нее хорошего. Но шестеро – это тяжело до обморока. Это напоминает мне человека, который когда собирается обедать, то суп у него находится на одной улице, хлеб на другой, а за солью ему приходится бегать на дальний конец города, возвращаясь опять за жарким и десертом в разные стороны. Такому человеку, так же как и мне, приходилось бы день-деньской носиться как угорелому по всему городу, всюду опаздывать, слышать упреки и насмешки прохожих… И во имя чего?!

Я был подавлен его рассказом. Помолчав, встал и сказал:

– Ну, мне пора. Ты остаешься здесь, у себя?

– Нет, – отвечал Кораблев, безнадежно смотря на часы. – Сегодня мне в половине седьмого нужно провести вечер по обещанию у Елены Николаевны, а в семь – у Насти, которая живет на другом конце города.

– Как же ты устроишься?

– Я придумал сегодня утром. Заеду на минутку к Елене Николаевне и осыплю ее градом упреков за то, что на прошлой неделе знакомые видели ее в театре с каким-то блондином. Так как это сплошная выдумка, то она ответит мне в резком, возмущенном тоне, – я обижусь, хлопну дверью и уйду. Поеду к Насте.

Беседуя со мной таким образом, Кораблев взял палку, надел шляпу и остановился, задумчивый, что-то соображающий.

– Что с тобой?

Молча снял он с пальца кольцо с рубином, спрятал его в карман, вынул часы, перевел стрелки и затем стал возиться около письменного стола.

– Что ты делаешь?

– Видишь, тут у меня стоит фотографическая карточка Насти, подаренная мне с обязательством всегда держать ее на столе. Так как Настя сегодня ждет меня у себя и ко мне, следовательно, никоим образом не заедет, то я без всякого риска могу спрятать портрет в стол. Ты спросишь – почему я это делаю? Да потому, что ко мне может забежать маленький сорванец Китти и, не застав меня, захочет написать два-три слова о своем огорчении. Хорошо ли будет, если я оставлю на столе портрет соперницы? Лучше же я поставлю на это время карточку Китти.

– А если заедет не Китти, а Маруся… И вдруг она увидит на столе Киттин портрет?

Кораблев потер голову.

– Я уже думал об этом… Маруся ее в лицо не знает, и я скажу, что это портрет моей замужней сестры.

– А зачем ты кольцо снял с пальца?

– Это подарок Насти. Елена Николаевна однажды приревновала меня к этому кольцу и взяла слово, чтоб я его не носил. Я, конечно, обещал. И теперь перед Еленой Николаевной я его снимаю, а когда предстоит встреча с Настей – надеваю. Помимо этого мне приходится

регулировать запахи своих духов, цвет галстуков, переводить стрелки часов, подкупать швейцаров, извозчиков и держать в памяти не только все сказанные слова, но и то – кому они сказаны и по какому поводу.

– Несчастный ты человек, – участливо прошептал я.

– Я же тебе и говорил! Конечно, несчастный.

II

Расставшись на улице с Кораблевым, я потерял его из виду на целый месяц. Дважды за это время мною получаемы были от него странные телеграммы:

«2 и 3 числа настоящего месяца мы ездили с тобой в Финляндию. Смотри, не ошибись. При встрече с Еленой сообщи ей это».

И:

«Кольцо с рубином у тебя. Ты отдал его ювелиру, чтобы изготовить такое же. Напиши об этом Насте. Остерег. Елены».

Очевидно, мой друг непрерывно кипел в том страшном котле, который был им сотворен в угоду своему идеалу женщины; очевидно, все это время он как угорелый носился по городу, подкупал швейцаров, жонглировал кольцами, портретами и вел ту странную, нелепую бухгалтерию, которая его только и спасала от крушения всего предприятия.

Встретившись однажды с Настей, я вскользь упомянул, что взял на время у Кораблева прекрасное кольцо, которое теперь у ювелира – для изготовления такого же другого.

Настя расцвела.

– Правда? Так это верно? Бедняжка он… Напрасно я так его терзала. Кстати, вы знаете – его нет в городе! Он на две недели уехал к родным в Москву.

Я этого не знал, да и вообще был уверен, что это один из сложных бухгалтерских приемов Кораблева; но все-таки тут же счел долгом поспешно воскликнуть:

– Как же, как же! Я уверен, что он в Москве.

Скоро я, однако, узнал, что Кораблев действительно был в Москве и что с ним там случилось страшное несчастье.

Узнал я об этом по возвращении Кораблева – от него самого.

III

– Как же это случилось?

– Бог его знает! Ума не приложу. Очевидно, вместо бумажника жулики вытащили. Я делал публикации, обещал большие деньги – все тщетно! Погиб я теперь окончательно.

– А по памяти восстановить не можешь?

– Да… попробуй-ка! Ведь там было, в этой книжке, все до мельчайших деталей – целая литература! Да еще за две недели отсутствия я все забыл, все перепуталось в голове, и я не знаю – нужно ли мне сейчас поднести Марусе букет желтых роз или она их терпеть не может? И кому я обещал привезти из Москвы духи «Лотос» – Насте или Елене? Кому-то из них я обещал духи, а кому-то полдюжины перчаток номер шесть с четвертью… А может – пять три четверти? Кому? Кто швырнет мне в физиономию духи? И кто – перчатки? Кто подарил мне галстук, с обязательством надевать его при свиданиях? Соня? Или Соня именно и требовала, чтобы я не надевал никогда этой темно-зеленой дряни, подаренной – «я знаю кем!». Кто из них не бывал у меня на квартире никогда? И кто бывал? И чьи фотографии я должен прятать? И когда?

Он сидел с непередаваемым отчаянием во взоре. Сердце мое сжалось.

– Бедняга ты! – сочувственно прошептал я. – Дай-ка, может быть, я кое-что вспомню… Кольцо подарено Настей. Значит, «остерег. Елены»… Затем карточки… Если приходит Китти,

то Марусю можно прятать, так как она ее знает, Настю – не прятать? Или, нет – Настю прятать? Кто из них сходил за твою сестру? Кто из них кого знает?

– Не знаю, – простонал он, сжимая виски. – Ничего не помню! Э, черт! Будь что будет.

Он вскочил и схватился за шляпу.

– Еду к ней!

– Сними кольцо, – посоветовал я.

– Не стоит. Маруся к кольцу равнодушна.

– Тогда надень темно-зеленый галстук.

– Если бы я знал! Если бы знать – кто его подарил и кто его ненавидит… Э, все равно!.. Прощай, друг.

IV

Всю ночь я беспокоился, боясь за моего несчастного друга. На другой день утром я был у него. Желтый, измученный, сидел он у стола и писал какое-то письмо.

– Ну, что? Как дела?

Он устало помотал в воздухе рукой.

– Все кончено. Все погибло. Я опять почти одинок!..

– Что же случилось?

– Дрянь случилась, бессмыслица. Я хотел действовать на авось… Захватил перчатки и поехал к Соне. «Вот, дорогая моя Ляля, – сказал я ласково, – то, что ты хотела иметь! Кстати, я взял билеты в оперу. Мы пойдем, хочешь? Я знаю, это доставит тебе удовольствие»… Она взяла коробку, бросила ее в угол и, упавши ничком на диван, зарыдала. «Поезжайте, – сказала она, – к вашей Ляле и отдайте ей эту дрянь. Кстати, с ней же можете прослушать ту отвратительную оперную какофонию, которую я так ненавижу». «Маруся, – сказал я, – это недоразумение!»… «Конечно, – закричала она, – недоразумение, потому что я с детства – не Маруся, а Соня! Уходите отсюда!» От нее я поехал к Елене Николаевне… Забыл снять кольцо, которое обещал ей уничтожить, привез засахаренные каштаны, от которых ее тошнит и которые, по ее словам, так любит ее подруга Китти… Спросил у нее: «Почему у моей Китти такие печальные глазки?..», лепетал, растерявшись, что-то о том, что Китти – это производное от слова «спать» и, изгнанный, помчался к Китти спасать обломки своего благополучия. У Китти были гости… Я отвел ее за портьеру и, по своему обыкновению, поцеловал в ухо, отчего произошел крик, шум и тяжелый скандал. Только после я вспомнил, что для нее это хуже острого ножа… Ухо-то. Ежели его поцеловать…

– А остальные? – тихо спросил я.

– Остались двое: Маруся и Дуся. Но это – ничто. Или почти ничто. Я понимаю, что можно быть счастливым с целой гармоничной женщиной, но если эту женщину разрезают на куски, дают тебе только ноги, волосы, пару голосовых связок и красивые уши – будешь ли ты любить эти разрозненные мертвые куски?.. Где же женщина? Где гармония?

– Как так? – вскричал я.

– Да так… Из моего идеала остались теперь две крохотных ножки, волосы (Дуся) да хороший голос с парой прекрасных, сводивших меня с ума ушей (Маруся). Вот и все.

– Что же ты теперь думаешь делать?

– Что?

В глазах его засветился огонек надежды.

– Что? Скажи, милый, с кем ты был позавчера в театре? Такая высокая, с чудесными глазами и прекрасной, гибкой фигурой.

Я призадумался.

– Кто?.. Ах да! Это я был со своей кузиной. Жена инспектора страхового общества.

– Милый! Познакомь!

Четверо

I

В купе второго класса курьерского поезда ехало трое: чиновник казенной палаты Четвероруков, его молодая жена – Симочка и представитель фирмы «Эванс и Крумбель» – Василий Абрамович Сандомирский…

А на одной из остановок к ним в купе подсел незнакомец в косматом пальто и дорожной шапочке. Он внимательно оглядел супругов Четвероруковых, представителя фирмы «Эванс и Крумбель» и, вынув газету, погрузился в чтение.

Особенная – дорожная – скука повисла над всеми. Четвероруков вертел в руках портсигар, Симочка постукивала каблучками и переводила рассеянный взгляд с незначительной физиономии Сандомирского на подсевшего к ним незнакомца, а Сандомирский в десятый раз перелистывал скверный юмористический журнал, в котором он прочел все, вплоть до фамилии типографщика и приема подписки.

– Нам еще ехать пять часов, – сказала Симочка, сладко зевая. – Пять часов отчаянной скуки!

– Езда на железных дорогах однообразна, чем и утомляет пассажиров, – наставительно отвечал муж.

А Сандомирский сказал:

– И железные дороги невыносимо дорого стоят. Вы подумайте: какой-нибудь билет стоит двенадцать рублей.

И, пересмотрев еще раз свой юмористический журнал, добавил:

– Уже я не говорю о плацкарте!

– Главное, что скучно! – стукнула ботинком Симочка.

Сидевший у дверей незнакомец сложил газету, обвел снова всю компанию странным взглядом и засмеялся.

И смех его был странный, клокочущий, придушенный, и последующие слова его несказанно всех удивили.

– Вам скучно? Я знаю, отчего происходит скука… От того, что все вы – не те, которыми притворяетесь, а это ужасно скучно.

– То есть как мы не те? – обиженно возразил Сандомирский. – Мы вовсе – те. Я, как человек интеллигентный…

Незнакомец улыбнулся и сказал:

– Мы все не те, которыми притворяемся. Вот вы – кто вы такой?

– Я? – поднял брови Сандомирский. – Я представитель фирмы «Эванс и Крумбель», сукна, трико и бумазеи.

– Ах-ха-ха-ха! – закатился смехом незнакомец. – Так я и знал, что вы придумаете самое нелепое! Ну, зачем же вы лжете себе и другим? Ведь вы кардинал при папском дворе в Ватикане и нарочно прячетесь под личиной какого-то Крумбеля!

– Ватикан? – пролепетал испуганный и удивленный Сандомирский. – Я Ватикан?

– Не Ватикан, а кардинал! Не притворяйтесь дураком. Я знаю, что вы одна из умнейших и хитрейших личностей современности! Я слышал кое-что о вас!

– Извините, – сказал Сандомирский. – Но эти шутки мне не надо!

II

– Джузеппе! – серьезно проворчал незнакомец, кладя обе руки на плечи представителя фирмы «Эванс и Крумбель». – Ты меня не обманешь! Вместо глупых разговоров я бы хотел послушать от тебя что-нибудь о Ватикане, о тамошних порядках и о твоих успехах среди набожных знатных итальянок…

– Пустите меня! – в ужасе закричал Сандомирский. – Что это такое?!

– Тссс! – зашипел незнакомец, закрывая ладонью рот коммивояжера. – Не надо кричать. Здесь дама.

Он сел на свое место у дверей, потом засунул руку в карман и, вынув револьвер, навел его на Сандомирского.

– Джузеппе! Я человек предобрый, но если около меня сидит притворщик, я этого не переношу!

Симочка ахнула и откинулась в самый угол. Четвероруков поерзал на диване, попытался встать, но решительный жест незнакомца пригвоздил его к месту.

– Господа! – сказал странный пассажир. – Я вам ничего дурного не делаю. Будьте спокойны. Я только требую от этого человека, чтобы он признался – кто он такой?

– Я Сандомирский! – прошептал белыми губами коммивояжер.

– Лжешь, Джузеппе! Ты кардинал.

Дуло револьвера смотрело на Сандомирского одиноким черным глазом.

Четвероруков испуганно покосился на незнакомца и шепнул Сандомирскому:

– Вы видите, с кем вы имеете дело… Скажите ему, что вы кардинал. Что вам стоит?

– Я же не кардинал!! – в отчаянии прошептал Сандомирский.

– Он стесняется сказать вам, что он кардинал, – заискивающе обратился к незнакомому господину Четвероруков. – Но, вероятно, он кардинал.

– Не правда ли?! – подхватил незнакомец. – Вы не находите, что в его лице есть что-то кардинальное?

– Есть! – с готовностью отвечал Четвероруков. – Но… стоит ли вам так волноваться из-за этого?..

– Пусть он скажет! – капризно потребовал пассажир, играя револьвером.

– Ну, хорошо! – закричал Сандомирский. – Хорошо! Ну, я кардинал.

III

– Видите! – сделал незнакомец торжествующий жест. – Я вам говорил… Все люди не те, кем они кажутся! Благословите меня, ваше преподобие!

Коммивояжер нерешительно пожал плечами, протянул обе руки и помахал ими над головой незнакомца.

Симочка фыркнула.

– При чем тут смех? – обиделся Сандомирский. – Позвольте мне, господин, на минутку выйти.

– Нет, я вас не пущу, – сказал пассажир. – Я хочу, чтобы вы нам рассказали о какой-нибудь забавной интрижке с вашими прихожанками.

– Какие прихожанки? Какая может быть интриж…?!

При взгляде на револьвер коммивояжер понизил голос и уныло сказал:

– Ну, были интрижки, – стоит об этом говорить…

– Говорите!! – бешено закричал незнакомец.

– Уберите ваш пистолет – тогда расскажу. Ну, что вам рассказать… Однажды в меня влюбилась одна итальянская дама…

– Графиня? – спросил пассажир.

– Ну, графиня. «Вася, – говорит, – я тебя так люблю, что ужас». Целовались.

– Нет, вы подробнее… Где вы с ней встретились и как впервые возникло в вас это чувство?..

Представитель фирмы «Эванс и Крумбель» наморщил лоб и, взглянув с тоской на Четверорукова, продолжал:

– Она была на балу. Такое белое платье с розами. Нас познакомил посланник какой-то. Я говорю: «Ой, графиня, какая вы хорошень..!»

– Что вы путаете, – сурово перебил пассажир. – Разве можно вам, духовному лицу, быть на балу?

– Ну, какой это бал! Маленькая домашняя вечеринка. Она мне говорит: «Джузеппе, я несчастна! Я хотела бы перед вами причаститься».

– Исповедаться! – поправил незнакомец.

– Ну, исповедаться. «Хорошо, – говорю я. – Приезжайте». А она приехала и говорит: «Джузеппе, извините меня, но я вас люблю».

– Ужасно глупый роман! – бесцеремонно заявил незнакомец. – Ваши соседи выслушали его без всякого интереса. Если у папы все такие кардиналы, я ему не завидую!

IV

Он благосклонно взглянул на Четверорукова и вежливо сказал:

– Я не понимаю, как вы можете оставлять вашу жену скучающей, когда у вас есть такой прекрасный дар…

Четвероруков побледнел и робко спросил:

– Ка…кой д-дар?

– Господи! Да пение же! Ведь вы хитрец! Думаете, если около вас висит форменная фуражка, так уж никто и не догадается, что вы знаменитый баритон, пожинавший такие лавры в столицах?..

– Вы ошиблись, – насильственно улыбнулся Четвероруков. – Я чиновник Четвероруков, а это моя жена Симочка.

– Кардинал! – воскликнул незнакомец, переведя дуло револьвера на чиновника. – Как ты думаешь, кто он: чиновник или знаменитый баритон?

Сандомирский злорадно взглянул на Четверорукова и, пожав плечами, сказал:

– Наверное, баритон!

– Видите! Устами кардиналов глаголет истина. Спойте что-нибудь, маэстро! Я вас умоляю.

– Я не умею! – беспомощно пролепетал Четвероруков. – Уверяю вас, у меня голос противный, скрипучий!

– Ах-хах-ха! – засмеялся незнакомец. – Скромность истинного таланта! Прошу вас – пойте!

– Уверяю вас…

– Пойте! Пойте, черт возьми!!!

Четвероруков конфузливо взглянул на нахмуренное лицо жены и, спрятав руки в карманы, робко и фальшиво запел:

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах…

Подперев голову рукой, незнакомец внимательно, с интересом, слушал пение. Время от времени он подщелкивал пальцами и подпевал.

– Хорошо поете! Тысяч шесть получаете? Наверное, больше! Знаете, что там ни говори, а музыка смягчает нравы. Не правда ли, кардинал?

– Еще как! – нерешительно сказал Сандомирский.

– Вот видите, господа! Едва вы перестали притворяться, стали сами собою, как настроение ваше улучшилось и скуки как не бывало. Ведь вы не скучаете?

– Какая тут скука! – вздохнул представитель фирмы «Эванс и Крумбель». – Сплошное веселье.

– Я очень рад. Я замечаю, сударыня, что и ваше личико изменило свое выражение. Самое ужасное в жизни, господа, это фальшь, притворство. И если смело, энергично за это взяться – все фальшивое и притворное рассеется. Ведь вы раньше считали, вероятно, этого господина коммивояжером, а вашего мужа чиновником. Считали, может быть, всю жизнь… А я в два приема снял с них личину. Один оказался кардиналом, другой – баритоном. Не правда ли, кардинал?

– Вы говорите, как какая-нибудь книга, – печально сказал Сандомирский.

– И самое ужасное, что ложь во всем. Она окружает нас с пеленок, сопровождает на каждом шагу, мы ею дышим, носим ее на своем лице, на теле. Вот, сударыня, вы одеты в светлое платье, корсет и ботинки с высокими каблуками. Я ненавижу все лживое, обманчивое. Сударыня! Осмелюсь почтительнейше попросить вас – снимите платье! Оно скрывает прекраснейшее, что есть в природе, – тело!

Странный пассажир галантно направил револьвер на мужа Симочки и, глядя на нее в упор, мягко продолжал:

– Будьте добры раздеться… Ведь ваш супруг ничего не будет иметь против этого?..

Супруг Симочки взглянул потускневшими глазами на дуло револьвера и, стуча зубами, отвечал:

– Я… нич-чего… Я сам люб-блю красоту. Немножко раздеться можно, хе, хе…

Глаза Симочки метали молнии. Она с отвращением посмотрела на бледного Четверорукова, на притихшего Сандомирского, энергично вскочила и сказала, истерически смеясь:

– Я тоже люблю красоту и ненавижу трусость. Я для вас разденусь! Прикажите только вашему кардиналу отвернуться.

– Кардинал! – строго сказал незнакомец. – Вам, как духовному лицу, нельзя смотреть на сцену сцен. Закройтесь газетой!

– Симочка… – пролепетал Четвероруков. – Ты… немножко.

– Отстань, без тебя знаю!

Она расстегнула лиф, спустила юбку и, ни на кого не смотря, продолжала раздеваться, бледная, с нахмуренными бровями.

– Не правда ли, я интересная? – задорно сказала она, улыбаясь углами рта. – Если вы желаете меня поцеловать, можете попросить разрешения у мужа – он, вероятно, позволит.

– Баритон! Разреши мне почтительнейше прикоснуться к одной из лучших женщин, которых я знал. Многие считают меня ненормальным, но я разбираюсь в людях!

Четвероруков, молча, с прыгающей нижней челюстью и ужасом в глазах, смотрел на страшного пассажира.

– Сударыня! Он, очевидно, ничего не имеет против. Я почтительнейше поцелую вашу руку…

Поезд замедлял ход, подходя к вокзалу большого губернского города.

– Зачем же руку? – болезненно улыбнулась Симочка. – Мы просто поцелуемся! Ведь я вам нравлюсь?

Незнакомец посмотрел на ее стройные ноги в черных чулках, обнаженные руки и воскликнул:

– Я буду счастлив!

Не сводя с мужа пылающего взгляда, Симочка обняла голыми руками незнакомца и крепко его поцеловала.

Поезд остановился.

Незнакомец поцеловал Симочкину руку, забрал свои вещи и сказал:

– Вы, кардинал, и вы, баритон! Поезд стоит здесь пять минут. Эти пять минут я тоже буду стоять на перроне с револьвером в кармане. Если кто-нибудь из вас выйдет – я застрелю того. Ладно?

– Идите уж себе! – простонал Сандомирский.

Когда поезд двинулся, дверцы купе приоткрылись, и в отверстие просунулась рука кондуктора с запиской.

Четвероруков взял ее и с недоумением прочел:

«Сознайтесь, что мы не проскучали… Этот оригинальный, но действенный способ сокращать дорожное время имеет еще то преимущество, что всякий показывает себя в натуральную величину. Нас было четверо: дурак, трус, мужественная женщина и я – весельчак, душа общества. Баритон! Поцелуйте от меня кардинала…»

Ложь

Трудно понять китайцев и женщин.

Я знал китайцев, которые два-три года терпеливо просиживали над кусочком слоновой кости величиной с орех. Из этого бесформенного куска китаец с помощью целой армии крохотных ножичков и пилочек вырезывал корабль – чудо хитроумия и терпения: корабль имел все снасти, паруса, нес на себе соответствующее количество команды, причем каждый из матросов был величиной с маковое зерно, а канаты были так тонки, что даже не отбрасывали тени – и все это было ни к чему… Не говоря уже о том, что на таком судне нельзя было сделать самой незначительной поездки – сам корабль был настолько хрупок и непрочен, что одно легкое нажатие ладони уничтожало сатанинский труд глупого китайца.

Женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех – масса терпения, хитрости – и все это совершенно бесцельно, безрезультатно, все гибнет от простого прикосновения.

* * *

Чтение пьесы было назначено в 12 часов ночи.

Я приехал немного раньше и, куря сигару, убивал ленивое время в болтовне с хозяином дома адвокатом Лязговым.

Вскоре после меня в кабинет, где мы сидели, влетела розовая, оживленная жена Лязгова, которую час тому назад я мельком видел в театре сидящей рядом с нашей общей знакомой Таней Черножуковой.

– Что же это, – весело вскричала жена Лязгова. – Около двенадцати, а публики еще нет?!

– Подойдут, – сказал Лязгов. – Откуда ты, Симочка?

– Я… была на катке, что на Бассейной, с сестрой Тарского.

Медленно, осторожно повернулся я в кресле и посмотрел в лицо Серафимы Петровны.

Зачем она солгала? Что это значит?

Я задумался.

Зачем она солгала? Трудно предположить, что здесь был замешан любовник… В театре она все время сидела с Таней Черножуковой и из театра, судя по времени, прямо поехала домой. Значит, она хотела скрыть или свое пребывание в театре, или – встречу с Таней Черножуковой.

Тут же я вспомнил, что Лязгов раза два-три при мне просил жену реже встречаться с Черножуковой, которая, по его словам, была глупой, напыщенной дурой и имела на жену дурное влияние… И тут же я подивился: какая пустяковая, ничтожная причина может иногда заставить женщину солгать…

* * *

Приехал студент Конякин. Поздоровавшись с нами, он обернулся к жене Лязгова и спросил:

– Ну, как сегодняшняя пьеса в театре… Интересна?

Серафима Петровна удивленно вскинула плечами.

– С чего вы взяли, что я знаю об этом? Я же не была в театре.

– Как же не были? А я заезжал к Черножуковым – мне сказали, что вы с Татьяной Викторовной уехали в театр.

Серафима Петровна опустила голову и, разглаживая юбку на коленях, усмехнулась:

– В таком случае я не виновата, что Таня такая глупая; когда она уезжала из дому, то могла солгать как-нибудь иначе.

Лязгов, заинтересованный, взглянул на жену.

– Почему она должна была солгать?

– Неужели ты не догадываешься? Наверное, поехала к своему поэту!

Студент Конякин живо обернулся к Серафиме Петровне.

– К поэту? К Гагарову? Но этого не может быть! Гагаров на днях уехал в Москву, и я сам его провожал.

Серафима Петровна упрямо качнула головой и, с видом человека, прыгающего в пропасть, сказала:

– А он все-таки здесь!

– Не понимаю… – пожал плечами студент Конякин. – Мы с Гагаровым друзья, и он, если бы вернулся, первым долгом известил бы меня.

– Он, кажется, скрывается, – постукивая носком ботинка о ковер, сообщила Серафима Петровна. – За ним следят.

Последняя фраза, очевидно, была сказана просто так, чтобы прекратить скользкий разговор о Гагарове.

Но студент Конякин забеспокоился.

– Следят??! Кто следит?

– Эти, вот… Сыщики.

– Позвольте, Серафима Петровна… Вы говорите что-то странное: с какой стати сыщикам следить за Гагаровым, когда он не революционер и политикой никогда не занимался?!

Серафима Петровна окинула студента враждебным взглядом и, проведя языком по запекшимся губам, раздельно ответила:

– Не занимался, а теперь занимается. Впрочем, что мы все: Гагаров да Гагаров. Хотите, господа, чаю?

* * *

Пришел еще один гость – газетный рецензент Блюхин.

– Мороз, – заявил он, – а хорошо! Холодно до гадости. Я сейчас часа два на коньках катался. Прекрасный на Бассейной каток.

– А жена тоже сейчас только оттуда, – прихлебывая чай из стакана, сообщил Лязгов. – Встретились?

– Что вы говорите?! – изумился Блюхин. – Я все время катался и вас, Серафима Петровна, не видел.

Серафима Петровна улыбнулась.

– Однако я там была. С Марьей Александровной Шемшуриной.

– Удивительно… Ни вас, ни ее я не видел. Это тем более странно, что каток ведь крошечный – все как на ладони.

– Мы больше сидели все… около музыки, – сказала Серафима Петровна. – У меня винт на коньке расшатался.

– Ах, так! Хотите, я вам сейчас исправлю? Я мастер на эти дела. Где он у вас?

Нога нервно застучала по ковру.

– Я уже отдала его слесарю.

– Как же это ты ухитрилась отдать слесарю, когда теперь ночь? – спросил Лязгов.

Серафима Петровна рассердилась.

– Так и отдала! Что ты пристал? Слесарная, по случаю срочной работы, была открыта. Я и отдала. Слесаря Матвеем зовут.

* * *

Наконец явился давно ожидаемый драматург Селиванский с пьесой, свернутой в трубку и перевязанной ленточкой.

– Извиняюсь, что опоздал, – раскланялся он. – Задержал прекрасный пол.

– На драматурга большой спрос, – улыбнулся Лязгов. – Кто же это тебя задержал?

– Шемшурина, Марья Александровна. Читал ей пьесу.

Лязгов захлопал в ладоши.

– Соврал, соврал драматург! Драматург скрывает свои любовные похождения! Никакой Шемшуриной ты не мог читать пьесу!

– Как не читал? – обводя компанию недоуменным, подозрительным взглядом, вскричал Селиванский. – Читал! Именно ей читал.

– Ха-ха! – засмеялся Лязгов. – Скажи же ему, Симочка, что он попался с поличным: ведь Шемшурина была с тобой на катке.

– Да, она со мной была, – кивнула головой Серафима Петровна, осматривая всех нас холодным взглядом,

– Когда?! Я с половины девятого до двенадцати сидел у нее и читал свою «Комету».

– Вы что-нибудь спутали, – пожала плечами Серафима Петровна.

– Что? Что я мог спутать? Часы я мог спутать, Шемшурину мог спутать с кем-нибудь или свою пьесу с отрывным календарем?! Как так – спутать?

– Хотите чаю? – предложила Серафима Петровна.

– Да нет, разберемся: когда Шемшурина была с вами на катке?

– Часов в десять, одиннадцать.

Драматург всплеснул руками.

– Так поздравляю вас: в это самое время я читал ей дома пьесу.

Серафима Петровна подняла язвительно одну бровь:

– Да? Может быть, на свете существуют две Шемшуриных? Или я незнакомую даму приняла за Марью Александровну? Или, может, я была на катке вчера… Ха-ха!..

– Ничего не понимаю! – изумился Селиванский.

– То-то и оно, – засмеялась Серафима Петровна. – То-то и оно! Ах, Селиванский, Селиванский…

Селиванский пожал плечами и стал разворачивать рукопись.

Когда мы переходили в гостиную, я задержался на минуту в кабинете и, сделав рукой знак Серафиме Петровне, остался с ней наедине.

– Вы сегодня были на катке? – спросил я равнодушно.

– Да. С Шемшуриной.

– А я вас в театре сегодня видел. С Таней Черножуковой.

Она вспыхнула.

– Не может быть. Что же, я лгу, что ли?

– Конечно, лжете. Я вас прекрасно видел.

– Вы приняли за меня кого-нибудь другого…

– Нет. Вы лжете неумело, впутываете массу лиц, попадаетесь и опять нагромождаете одну ложь на другую… Для чего вы солгали мужу о катке?

Ее нога застучала по ковру.

– Он не любит, когда я встречаюсь с Таней.

– А я сейчас пойду и скажу всем, что видел вас с Таней в театре.

Она схватила меня за руку, испуганная, с трясущимися губами.

– Вы этого не сделаете?!

– Отчего же не сделать?.. Сделаю!

– Ну, милый, ну, хороший… Вы не скажете… да? Ведь не скажете?

– Скажу.

Она вскинула свои руки мне на плечи, крепко поцеловала меня и, прижимаясь, прерывисто прошептала:

– А теперь не скажете? Нет?

* * *

После чтения драмы – ужинали.

Серафима Петровна все время упорно избегала моего взгляда и держалась около мужа.

Среди разговора она спросила его:

– А где ты был сегодня вечером? Тебя ведь не было с трех часов.

Я с любопытством ждал ответа. Лязгов, когда мы были вдвоем в кабинете, откровенно рассказал мне, что этот день он провел довольно беспутно: из Одессы к нему приехала знакомая француженка, кафешантанная певица, с которой он обедал у Контана, в кабинете; после обеда катались на автомобиле, потом он был у нее в «Гранд-отеле», а вечером завез ее в «Буфф», где и оставил.

– Где ты был сегодня?

Лязгов обернулся к жене и, подумав несколько секунд, ответил:

– Я был у Контана. Обедали. Один клиент из Одессы с женой француженкой и я. Потом я заехал за моей доверительницей по усачевскому делу, и мы разъезжали в ее автомобиле – она очень богатая – по делу об освобождении имения от описи. Затем я был в «Гранд-отеле» у одного помещика, а вечером заехал на минутку в «Буфф» повидаться с знакомым. Вот и все.

Я улыбнулся про себя и подумал:

«Да. Вот это ложь!»

Круги по воде

Граждане

…Матушка! Матушка! Пожалей своего бедного сына.
Гоголь

I

Хозяин дома Хохряков сидел, склонив голову набок, и слушал…

– Нет, это что, – говорил один из гостей. – А вы помните студента Ивкова, которого в прошлом году арестовали?.. Оказывается, этажом ошиблись. Правда, через три дня выпустили…

– Что ваш Ивков! Мою знакомую барышню Матусевич в Харькове выслали из города за то, что она не знала галантерейного приказчика Файнберга.

– Как так? – лениво спросил один из гостей.

– Очень просто. Изловили за какие-то книжки Файнберга, а потом спросили вскользь: «Не знаете курсистки Матусевич?» – «Не помню. Впрочем, фамилия знакомая». Тогда вызывают Матусевич. «Не знаете ли приказчика Файнберга?» – «Не помню. Впрочем, фамилия незнакомая…» Ага! Явное противоречие! Он говорит – знакомая, она говорит – незнакомая…

– Ну?

– Вот вам и «ну»!

– Это что! – сказал тот гость, который уже рассказывал об Ивкове. – В Севастополе одному книгопродавцу грозили каторжные работы за то, что у какого-то человека при обыске нашли записочку: «Явка к книгопродавцу такому-то. Получишь 500 рублей. Пароль – Александр». А тот – ни сном ни духом! Насилу адвокат отстоял.

– Страшно! – сказал Хохряков.

Все удивленно оглянулись на него.

– Чего вам страшно?

– Ничего… Пойдем, господа, ужинать.

Гости поужинали и, рассказав еще пару-другую забавных случаев, разошлись…

Хохряков остался один.

Подойдя к письменному столу в кабинете, он увидел прислоненное к свече письмо с заграничным штемпелем и с адресом, написанным рукой его друга Плясовицкого. Распечатал, прочел:

«Дружище Хохряков! Я в Швейцарии, классической, как говорится, стране свободы. Ах, свобода, свобода!.. Помнишь, как мы ходили с тобой в девятьсот пятом году, начиненные трескучими прокламациями, как колбасы… Ты тогда еще толковал об активной работе и на две ночи дал приют какому-то заблудшему эсдеку, а я пожертвовал на организацию милиции одиннадцать рублей… Смех, как вспомнишь! Воздух здесь чудный и гор…»

Губы Хохрякова побелели.

Он скомкал письмо, бросил его в корзину и прошептал, дрожа всем телом:

– Он… сумасшедший…

Направился к себе в спальню, но сейчас же вернулся, отыскал в корзине скомканное письмо из Швейцарии, порвал его на мелкие кусочки, перемешал их, после чего, потоптавшись по кабинету, отправился спать.

Спал он беспокойно. Забылся к утру, но и утром помешали… Из шкапа вылез неизвестный старик с белой бородой, побряцал какими-то штуками, надетыми на руки, покачал головой и, сказав Хохрякову внушительно: «Кусочки, бывает, и склеивают», снова уполз в шкап – постоянное, как решил Хохряков, его местопребывание…

Было восемь часов утра.

Хохряков вскрикнул, спрыгнул с кровати, побежал в кабинет и заглянул в корзину. Она была пуста.

– Свершилось! – подумал Хохряков и скрипнул зубами.

II

Слуга Викентий, суетясь по кабинету, стирал пыль с мебели, а Хохряков смотрел на него из спальни в замочную скважину и думал:

«Большое самообладание. Отметим… Издалека к тебе не подойдешь… Нужно или следить за тобой – или огорошить сразу. Поборемся, поборемся».

Странно: ужаса, страха перед будущим пока не ощущалось…

Даже какая-то бодрость и предприимчивость вливалась в усталый от дум и тревог мозг.

Хохряков распахнул внезапно дверь и, стараясь, чтобы не задрожал голос, спросил:

– Как погода?

– Солнечно, – отвечал, повернувшись, Викентий.

«Солнечно? – мысленно прищурился Хохряков. – А письмецо где? А швейцарские кусочки куда дел?»

Вслух спросил:

– Скоро кончишь уборку?

– Сейчас.

– А из корзины выбросил сор?

– Выбросил.

«О-о, – подумал, нервничая, Хохряков. – Ты, милый мой, опаснее, чем я думал. Ишь ты, ишь ты! Ни один мускул, ни одна жилка не задрожала. А? Это что? Губы? Губы-то и поджал, губы и поджал… На губах и попался… Хе-хе! Ага! А ведь пустяк…»

Хохряков прошелся по кабинету и, равнодушно смотря в окно, тихо уронил:

– Кусочки все были?

– Как-с?

– Небось, с подбором повозился…

– Чего-с?

Хохряков нагнулся к нему и взял за плечо:

– А там-то, там… Хорошо поблагодарили? Есть на молочишко?.. Знаем-с! Не проведешь.

Викентий странно посмотрел на него и, отвернувшись к креслу, спросил:

– Чай сюда подать прикажете?

– Сюда! – напряженно засмеялся Хохряков. – А к чаю дай мне… швейцарского шоколада. Дашь, милый?

– Слушаю-с, – сказал Викентий и выбежал из кабинета.

Когда Хохряков остался один – силы его покинули. Он опустился в кресло и, стирая пот со лба, прошептал:

– Хорошо владеете собой, Викентий Ильич! Пре-крас– ное само-обла-дание… Это и понятно! Барина своего с нервами не продашь. Хе-хе! Ну, да мы-то поборемся!

III

Викентий действительно прекрасно владел собой…

На другой день Хохряков после разговора о погоде в упор спросил его:

– Что, если бы я случайно разорвал письмо – ты мог бы подобрать обрывки и склеить?

Викентий скользнул по Хохрякову взглядом и сказал:

– Попробую.

– Так, так… (Не вздрогнул даже! Не пошевелился!) Я, знаешь, голубчик Викентий… Что, наш участок – далеко отсюда?

Хохряков наклонился к лицу Викентия и громко, хрипло дыша, вонзился в него взглядом.

– На том квартале. На углу.

– Ага! Прекрасно! Я пойду сегодня в участок – потолковать с приставом. Хе-хе! Понимаешь, милуша Викентий, потолковать…

– О чем-с? – спросил Викентий, переступая с ноги на ногу.

«Ага! Вот оно! Заинтересовался парень. Не выдержало ретивое… А вот мы вас…»

Хохряков помедлил.

– О чем? О Швейцарии. Об эсдеках… О письмах, чудесно воскресающих… Что ты так на меня смотришь?! Понял? Понял?

Хохряков пронзительно крикнул и, оттолкнув Викентия, выбежал из комнаты.

По дороге в участок Хохряков криво улыбался и думал:

«Я даже знаю, что произойдет… Я приду пощупать почву, только пощупаю ее, матушку! Но произойдет сцена в участке из «Преступления и наказания» Достоевского… Ха-ха… Поборемся, Порфирий, поборемся!!»

Когда Хохряков вошел в приемную, он увидел стоящего у дверей пристава, который распекал оборванного простолюдина.

– Ты говоришь, подлец, что золотые часы купил? Ты? Ты? Ты их мог купить?!

– Да и купил, – возражал простолюдин. – Захотел узнать, который час, – и купил.

Пристав мельком взглянул на вошедшего Хохрякова и обратился к оборванцу:

– Ведь часы ты украл! Где ты мог взять 200 рублей? Ну? Ну?

– Нашел, ваше благородие… В уголочку лежали.

Хохряков приблизился к приставу и внушительно, серьезно глядя в его глаза, прошептал:

– Я Хохряков.

– Хорошо. Потрудитесь обождать.

«Эге, – болезненно покривился про себя Хохряков. – Да и ты, брат, я вижу, дока!.. И ты нервы свои, чтоб не разгулялись, в карман прячешь. О-о… Ну что ж – походим… Походим друг около друга».

– В уголочку лежали? Просто украл ты их, и больше ничего!

«Ошеломил я его, – внутренне усмехнулся Хохряков. – Наверное, втайне прийти в себя не может… Понимаем-с! На оборванце успокаивается, а сам про себя думает: «Зачем Хохряков сам объявился? Извещения ему еще не было?» Не-ет, брат. А Хохряков-то и пришел. Хохряков сам с усам».

Пристав подошел к Хохрякову и, рассматривая какую-то бумагу, спросил:

– Чем могу служить?

– Насчет Швейцарии я…

– Какой Швейцарии?

«Хладнокровничаешь? – подумал Хохряков. – А зачем головы не поднимаешь? Голос мой изучить тебе хочется, повадки… Просты уж больно ваши хитрости, господин пристав!»

– В Швейцарию хочу ехать. Зашел узнать, как можно в наикратчайший срок получить заграничный паспорт…

– Это нужно через градоначальство, – пожал плечами пристав.

Хохряков стал нервничать. Хладнокровие противника повергло его в дрожь и неизведанный еще страх…

Он встал и резко сказал:

– Прощайте, ваше благородие… Поклон вам от Викентия. Карпикова… Хе-хе!

– Какого… Карпикова?

– Знаете что, господин пристав, – серьезно сказал Хохряков, наклоняясь вперед. – Бросим все эти штуки, уловки, будем говорить, как два умных человека: когда?

– Что – когда? Что с вами?

– Когда меня возьмете? – покорно прошептал Хохряков.

– Куда?!!

– Хе-хе… Кусочки как подклеивали? На прозрачную кальку? Чтоб обратную сторону можно было прочесть? А Викентий молодец! Твердокаменный!.. Я – и так, и этак…

Пристав внимательно глядел на Хохрякова и наконец ласково засуетился.

– Сейчас, сейчас… Вы позволите мне, господин Хохряков, поехать с вами домой? Вы недалеко живете?

– Кусочков не хватает? – бледно улыбнулся Хохряков. – Ищите… Все равно. Мне теперь уже все равно… Ищите! Всюду ищите! Мучители мои! Кровопийцы! Инквизиторы… Сибирь? Давайте ее, вашу Сибирь… Лучше Сибирь, чем так… Душу? Душу мою вы вынули за эти два дня – так Сибирью ли вам запугать меня?!

Он обрушился на стол и затрясся от долго сдерживаемых рыданий.

– Ефремов! – сказал пристав, придерживая голову Хохрякова. – Позвони семнадцать ноль восемь: карету и двух служителей!.. Успокойтесь, господин Хохряков… Мы все это разберем и сейчас же отвезем вас в Швейцарию… Не плачьте… Хорошо там будет, тепло…

– Суда не надо, – попросил, вздрагивая нижней челюстью, Хохряков. – Не правда ли? Зачем суд? Прямо и отправляйте.

– О, конечно, – согласился поспешно пристав. – Конечно. Прямо и отправим.

– Прямо и отправляйте. Зачем еще мучить?

Карета увозила Хохрякова. Полузакрыв глаза, он изредка судорожно всхлипывал и повторял:

– Бедные мы, русские! Бедные…

Чад

План у меня был такой: зайти в близлежащий ресторан, наскоро позавтракать, после завтрака прогуляться с полчаса по улице, потом поехать домой и до обеда засесть за работу. Кроме того, за час до обеда принять ванну, вздремнуть немного, а вечером поехать к другу, который в этот день праздновал какой-то свой юбилей. От друга – постараться вернуться пораньше, чтобы выспаться как следует и на другое утро со свежими силами засесть за работу.

Так я и начал: забежал в маленький ресторан и, не снимая пальто, подошел к буфетной стойке.

Сзади меня послышался голос:

– Освежиться? На скорую руку?

Оглянувшись, я увидел моего юбилейного друга, сидевшего в углу за столиком в компании с театральным рецензентом Буйносовым.

Все мы обрадовались чрезвычайно.

– Я тоже зашел на минутку, – сообщил юбилейный друг. – И вот столкнулся с этим буйносным человеком. Садись с нами. Сейчас хорошо по рюмке хватить.

– Можно не снимая пальто?..

– Пожалуйста!

Юбиляр налил три рюмки водки, но Буйносов схватил его за руку и решительно заявил:

– Мне не наливай. Мне еще рецензию на завтра писать нужно.

– Да выпей! Какая там еще рецензия…

– Нет, братцы, не могу. Мне вообще пить запретили. С почками неладно.

– Глупости, – сказал я, закусывая первую рюмку икрой. – Какие там еще почки?

– Молодец, Сережа! – похвалил меня юбилейный друг. – За что я тебя люблю: за то, что никогда ты от рюмки не откажешься.

Именно я и хотел отказаться от второй рюмки. Но друг с таким категорическим видом налил нам по второй, что я безропотно чокнулся и влил в себя вторую рюмку.

И сейчас же мне чрезвычайно захотелось, чтобы и Буйносов тоже выпил.

– Да выпей! – умоляюще протянул я. – Ну, что тебе стоит? Ведь это свинство: мы пьем, а ты не пьешь!

– Почему же свинство? У меня почки…

– А у нас нет почек? А у юбиляра нет почек? У всякого человека есть почки. Это уж, брат, свыше…

– Ну, я только одну…

– Не извиняйся! Можешь и две выпить.

Буйносов выпил первую, а мы по третьей.

Я обернулся направо и увидел свое лицо в зеркале. Внимательно всмотрелся и радостно подумал: «Какой я красивый!»

Волна большой радости залила мое сердце. Я почувствовал себя молодым, сильным, любимым друзьями и женщинами – и безудержная удаль и нежность к людям проснулась в душе моей.

Я ласково взглянул на юбиляра и сказал:

– Я хочу выпить за тебя. Чтобы ты дождался еще одного юбилея и чтобы мы были и тогда молоды так же, как теперь.

– Браво! Спасибо, милый. Выпьем. Спасибо. Буйнос! Пей – не хами.

– Я не хам… хамлю, – осторожно произнес странное слово Буйносов. – А только мне нельзя. Рецензию нужно писать со свежей головой.

– Вздор! После напишешь.

– Когда же после… Ведь ее в четверть часа не напишешь.

– Ты?! – с радостным изумлением воскликнул юбилейный друг. – Да ты в десять минут отхватаешь такую рецензию, что все охнут!

– Где там… – просиял сконфуженный Буйносов и, чтобы отплатить другу любезностью за любезность, выпил вторую рюмку.

– Ай да мы! Вот ты смотри: скромненький, скромненький, а ведь он потихонечку нас за пояс заткнет…

– А вы что же думали, – засмеялся Буйносов. – И заткну. Эх, пивали мы в прежнее время! Чертям тошно было! Э-э!.. Сережа, Сережа! А ты почему же свою не выпил?

– Я… сейчас, – смутился я, будто бы меня поймали на краже носового платка. – Дай ветчину прожевать.

– Не хами, Сережа, – сказал юбилейный друг. – Не задерживай чарки.

Я вспомнил о своей работе.

– Мне бы домой нужно… Дельце одно.

К моему удивлению, возмутился Буйносов:

– Какое там еще дельце? Вздор – дельце! А у меня дела нет?! А юбиляру на вечере хлопот мало? Посидим минутку. Черт с ним, с дельцем.

«А действительно, – подумал я, любуясь в зеркало на свои блестящие глаза. – Черт с ним, с дельцем!..»

Вслух сказал:

– Так я пальто сниму, что ли. А то жарко.

– Вот! Молодец! Хорошо, что не хамишь. Снимай пальто!

– …И пива я бы кружку выпил…

– Вот! Так. Освежиться нужно.

Мы выпили по кружке пива и разнеженно посмотрели друг на друга.

– Сережа… милый… – сказал Буйносов. – Я так вас двух люблю, что черт с ней, с рецензией. Сережа! Стой! Я хочу выпить с тобой на «ты».

– Да ведь мы и так на «ты»! – засмеялся я.

– Э, черт. Действительно. Ну, давай на «вы» выпьем.

Затея показалась такой забавной, что мы решили привести ее в исполнение.

– Графинчик водки! – крикнул Буйносов.

– Водку? – удивился я. – После пива?

– Это освежает. Освежимся!

– Неужели водка освежить может? – удивился я.

– Еще как! Об этом даже где-то писали… Сгорание углерода и желтков… Не помню.

– Обедать будете? – спросил слуга.

– Как? Разве уже… обед?..

– Да-с. Семь часов.

Я вспомнил, что потерял уже свою работу, небольшой сон и ванну. Сердце мое сжалось, но сейчас же я успокоился, вспомнив, что и Буйносов пропустил срочную рецензию. Никогда я не чувствовал так остро справедливости пословицы: «На миру и смерть красна».

– Семь часов?! – всплеснул руками юбиляр. – Черт возьми! А мой юбилей?

Буйносов сказал:

– Ну куда тебе спешить? Времени еще вагон. Посидим! Черт с ней, с рецензией.

– Да, брат… – поддержал и я. – Ты посиди с нами. На юбилей еще успеешь.

– Мне распорядиться нужно…

– Распорядись! Скажи, чтобы дали нам сейчас обед и белого винца.

Юбиляр подмигнул:

– Вот! Идея… Освежает!

Лицо его неожиданно засияло ласковой улыбкой.

– Люблю молодцов. Люблю, когда не хамят.

Когда нам подали кофе и ликер, я бросил косой взгляд на Буйносова и сказал юбиляру:

– Слушай! Плюнь ты на сегодняшний юбилей. Ведь это пошлятина: соберутся идиоты, будут говорить тривиальности. Не надо! Посиди с нами. Жена твоя и одна управится.

– Да как же: юбилей, а юбиляра нет.

Буйносов задергался, заерзал на своем месте, засуетился:

– Это хорошо! Это-то и оригинально! Жизнь однообразна! Юбилеи однообразны! А это свежо, это молодо: юбилей идет своим чередом, а юбиляра нет. Где юбиляр? Да он променял общество тупиц на двух друзей… которые его искренне любят.

– Поцелуемся! – вскричал воодушевленно юбиляр. – Верно! Вот. Будем освежаться бенедиктином.

– Вот это яркий человек! Вот это порыв, – воодушевился Буйносов. – В тебе есть что-то такое… большое, оригинальное. Правда, Сережа?

– Да… У него так мило выходит, когда он говорит: «Не хами!»

– Не хамите! – с готовностью сказал юбиляр. – Сейчас бы кюрассо был к месту.

– Почему?

– Освежает.

Я уже понимал всю беспочвенность и иллюзорность этого слова, но в нем было столько уюта, столько оправдания каждой новой рюмке, каждой перемене напитка, что кюрассо был признан единственным могущим освежить нас напитком…

– Извините, господа, сейчас гасим свет… Ресторан закрывается.

– Вздор! – сказал бывший юбиляр. – Не хами!

– Извините-с. Я сейчас счет подам.

– Ну, дай нам бутылку вина.

– Не могу-с. Буфет закрыт.

Буйносов поднял голову и воскликнул:

– Ах, черт! А мне ведь сегодня вечером нужно было в театр на премьеру…

– Завтра пойдешь. Ну, господа… Куда же мы? Теперь бы нужно освежиться.

В мою затуманенную голову давно уже просачивалась мысль, что лучше всего – поехать домой и хоть отчасти выспаться.

Мы уже стояли на улице, осыпаемые липким снегом, и вопросительно поглядывали друг на друга.

Есть во всякой подвыпившей компании такой психологический момент, когда все смертельно надоедают друг другу и каждый жаждет уйти, убежать от пьяных друзей, приехать домой, принять ванну, очиститься от ресторанной пьяной грязи, от табачной копоти, переодеться и лечь в чистую, свежую постель, под толстое уютное одеяло… Но обыкновенно такой момент всеми упускается. Каждый думает, что его уход смертельно оскорбит, обездолит других, и поэтому все топчутся на месте, не зная, что еще устроить, какой еще предпринять шаг в глухую темную полночь.

Мы выжидательно обернули друг к другу усталые, истомленные попойкой лица.

– Пойдем ко мне, – неожиданно для себя предложил я. – У меня еще есть дома ликер и вино. Слугу можно заставить сварить кофе.

– Освежиться? – спросил юбиляр.

«Как попугай заладил, – с отвращением подумал я. – Хоть бы вы все сейчас провалились – ни капельки бы не огорчился. Все вы виноваты… Не встреть я вас – все было бы хорошо, и я сейчас бы уже спал».

Единственное, что меня утешало, это – что Буйносов не написал рецензии, не попал на премьеру в театр, а юбиляр пропьянствовал свой юбилей.

– Ну, освежаться так освежаться, – со вздохом сказал юбиляр (ему, кажется, очень не хотелось идти ко мне), – к тебе так к тебе.

Мы повернули назад и побрели. Буйносов молча, безропотно шел за нами и тяжело сопел. Идти предстояло далеко, а извозчиков не было. Юбиляр шатался от усталости, но тем не менее в одном подходящем случае показал веселость своего нрава; именно: разбудил дремавшего ночного сторожа, погрозил ему пальцем, сказал знаменитое «Не хами!» – и с хохотом побежал за нами…

– Вот дурак, – шепнул я Буйносову. – Как так можно свой юбилей пропустить?

– Да уж… Не дал господь умишка человеку.

«А тебе, – подумал я, – влетит завтра от редактора… Покажет он, как рецензии не писать. Будет тебе здорово за то, что я пропустил сегодняшнюю работу и испортил завтрашнее утречко…»

Я долго возился в передней, пока зажег электричество и разбудил слугу. Буйносов опрокинул и разбил какую-то вазу, а юбиляр предупредил слугу, чтобы он вообще не хамил.

Было смертельно скучно и как-то особенно сонно… противно. Заварили кофе, но оно пахло мылом, а я, кроме того, залил пиджак ликером. Руки сделались липкими, но идти умыться было лень.

Юбиляр сейчас же заснул на новом плюшевом диване. Я надеялся, что Буйносов последует его примеру (это развязало бы, по крайней мере, мне руки), но Буйносов сидел запрокинув голову и молчаливо рассматривал потолок.

– Может, спать хочешь? – спросил я.

– Хочу, но удерживаюсь.

– Почему?

– Что же я за дурак: пил-пил, а теперь вдруг засну – хмель-то весь и выйдет. Лучше уж я посижу.

И он остался сидеть, неподвижный, как китайский идол, как сосуд, хранящий в себе драгоценную влагу, ни одна капля которой не должна быть потеряна.

– Ну, а я пойду спать, – сухо проворчал я.

Проснулись поздно.

Все смотрели друг на друга с еле скрываемым презрением, ненавистью, отвращением.

– Здорово вчера дрызнули, – сказал Буйносов, из которого уже, вероятно, улетучилась вся драгоценная влага.

– Сейчас бы хорошо освежиться!

Я сделал мину любезного хозяина, послал за закуской и вином. Уселись трое с помятыми лицами…

Ели лениво, неохотно, устало.

«Как они не понимают, что нужно сейчас же встать, уйти и не встречаться! Не встречаться по крайней мере дня три!!!»

По их лицам я видел, что они думают то же самое, но ничего нельзя было поделать: вино спаяло всех троих самым непостижимым, самым отвратительным образом…

Курильщики опиума

I

В комнате происходил разговор.

– У нас с тобой нет ни копейки денег, есть нечего и за квартиру не заплачено за два месяца.

Я сказал:

– Да.

– Мы вчера не ужинали, сегодня не пили утреннего чая и впереди нам не предстоит ничего хорошего.

Я подтвердил и это. Андерс погладил себя по небритой щеке и сказал:

– А между тем, есть способ жить припеваючи. Только противно.

– Убийство?

– Нет.

– Работа?

– Не совсем. Впрочем, это противно, как ежедневное занятие… А один день для курьеза попробуем… А?

– Попробуем. Что нужно делать?

– Пустяки. То же, что и я. Одевайся, пойдем на воздух.

– Хозяин остановит.

– Пусть!

Когда мы вышли из комнаты и зашагали по коридору, я старался прошмыгнуть незаметно, не делая шуму, а Андерс, наоборот, бесстрашно ступал ногами, как лошадь.

В конце длиннейшего коридора нас нагнала юркая горничная.

– Господин Андерс, хозяин Григорий Григорьич очень просят вас зайти сейчас к ним.

– Свершилось! – прошептал я, прислонясь к стене.

– А-а… Очень кстати. С удовольствием. Пойдем, дружище.

Отвратительный старикашка, владелец меблированных комнат, помешанный на чистоте и тишине, встретил нас холодно:

– Извините, господа. По делу. Вероятно, в душе думаете: «Зачем мы понадобились этой старой скотине?»

Андерс укоризненно покачал головой и хладнокровно сказал:

– Мы все равно собирались сегодня зайти к вам.

В глазах старика сверкнула радость.

– Ну? Правда? В самом деле?

– Да… хотели вас искренно и горячо поблагодарить. Вы знаете, мне приходилось живать во многих меблированных комнатах, иногда очень дорогих и роскошных – но такой тишины, такой чистоты и порядка, я буду говорить откровенно: нигде не видел! Я каждый день спрашиваю его (Андерс указал на меня) – откуда Григорий Григорьич берет время вести такое громадное, сложное предприятие?..

– Он меня действительно спрашивал, – подтвердил я. – А я ему, помнится, отвечал: «Не постигаю. Тут какое-то колдовство!»

– Да, – сказал старик с самодовольным хохотом. – Трудно соблюдать чистоту, тишину и порядок.

– Но вы их соблюдаете идеально!! – горячо вскричал Андерс. – Откуда такой такт, такое чутье!.. Помню, у вас в прошлом году жил один пьяница и один самоубийца. Что ж они, спрашивается, посмели нарушить тишину и порядок? Нет! Пьяница, когда его привозили друзья, не издавал ни одного звука, потому что был смертельно пьян, и, брошенный на постель, сейчас же бесшумно засыпал… А самоубийца – помните? – взял себе, потихоньку повесился и висел терпеливо, без криков и воплей, пока о нем не вспомнили на другой день.

– А ревнивые супруги! – подхватил я. – Помнишь их, Андерс? Когда она застала мужа с горничной – что было? Где крики? Где ссора и скандал? Ни звука! Просто взяла она горничную и с мягкой улыбкой выбросила в открытое окно. Правда, та сломала себе ногу, но…

– …Но ведь это было на улице, – ревниво подхватил старикашка. – То, что на улице, к моему меблированному дому не относится…

– Конечно!! При чем вы тут? Мало ли кому придет охота ломать на улице ноги – касается это вас? Нет!

– Да… много вам нужно силы воли и твердости, чтобы вести так дело! Эта складочка у вас между бровями, характеризующая твердость и непреклонную волю…

– Вы, вероятно, в молодости были очень красивы?

– Да и теперь еще… – подмигнул Андерс. – Ой-ой!.. Если был бы я женат, подальше прятал бы от вас свою же… Ой, заболтались с вами! Извиняюсь, что отнял время. Пойдем, товарищ. Еще раз, дорогой Григорий Григорьич, приносим от имени всех квартирантов самые искренние, горячие… Пойдем!

Повеселевший старик проводил нас, приветственно размахивая дряхлыми руками. В коридоре нам опять встретилась горничная.

– Надя! – остановил ее Андерс. – Я хочу спросить у вас одну вещь. Скажите, что это за офицер был у вас вчера в гостях… Я видел – он выходил от вас…

Надя весело засмеялась.

– Это мой жених. Только он не офицер, а писарь… военный писарь… в штабе служит.

– Шутите! Совсем как офицер! И какой красавец… умное такое лицо… Вот что, Надичка… Дайте-ка нам на рубль мелочи. Извозчики, знаете… То да другое.

– Есть ли? – озабоченно сказала Надя, шаря в карманах. – Есть. Вот! А вы заметили, какие у него щеки? Розовые-розовые…

– Чудесные щеки! Прямо нечто изумительное. Пойдем.

Когда мы выходили из дому, я остановился около сидевшего у дверей за газетой швейцара и сказал:

– А вы все политикой занимаетесь? Как приятно видеть умного, интеллиг…

– Пойдем, – сказал Андерс. – Тут не надо… Не стоит…

– Не стоит так не стоит.

Я круто повернулся и покорно зашагал за Андерсом.

II

Прямо на нас шел худой, изношенный жизнью человек с согнутой спиной, впалой грудью и такой походкой, что каждая нога, поставленная на землю, долго колебалась в колене и ходила во все стороны, пока не успокаивалась и не давала место другой, не уверенной в себе, ноге. Тащился он наподобие кузнечика с переломанными ногами.

– А! – вскричал Андерс. – Коля Магнатов! Познакомьтесь… Где вчера были, Коля?

– На борьбе был, – отвечал полуразрушенный Коля. – Как обыкновенно. Ах, если бы вы видели, Андерс, как Хабибула боролся со шведом Аренстремом. Хабибула тяжеловес, гиревик, а тот, стройный, изящный…

– А вы сами, Коля, боретесь? – серьезно спросил Андерс.

– Я? Где мне? Я ведь не особенно сильный.

– Ну да… не особенно! Такие-то, как вы, сухие, нервные, жилистые, и обладают нечеловеческой силой… Как ваш гриф? А ну, сожмите мою руку.

Изможденный Коля взял Андерсову руку, натужился, выпучил глаза и прохрипел:

– Ну что?

– Ой! Пустите!.. – с болезненным стоном вскричал Андерс. – Вот дьявол… как железо!.. Вот свяжись с таким чертом… Он те покажет! Вся рука затекла.

Андерс стал приплясывать от боли, размахивая рукой, а я дотронулся до впалой груди Коли и спросил:

– Вы гимнастикой занимаетесь с детства?

– Знайте же! – торжествующе захихикал Коля. – Что я гимнастикой не занимался никогда…

– Но это не может быть! – изумился я. – Наверное, когда-нибудь занимались физическим трудом?..

– Никогда!

– Не может быть. Вспомните!

– Однажды, действительно, лет семь тому назад я для забавы копал грядки на огороде.

– Вот оно! – вскричал Андерс. – Ишь хитрец! То – грядки, а то – смотришь, еще что-нибудь… Вот они, скромники! Интересно бы посмотреть вашу мускулатуру поближе…

– А что, господа, – сказал Коля. – Вы еще не завтракали?

– Нет.

– В таком случае я приглашаю вас, Андерс, и вашего симпатичного товарища позавтракать. Тут есть недурной ресторан близко… Возьмем кабинет, я разденусь… Гм… Кое-какие мускулишки у меня-то есть…

– Мы сейчас без денег, – заявил я прямолинейно.

– О, какие пустяки. Я вчера только получил из имения… Дурные деньги. Право, пойдем…

В кабинете Коля сразу распорядился относительно вин, закуски и завтрака, а потом закрыл дверь и обнажил свой торс до пояса.

– Так я и думал, – сказал Андерс. – Сложение сухое, но страшно мускулистое и гибкое. Мало тренирован, но при хорошей тренировке получится такой дядя…

Он указал мне на какой-то прыщик у сгиба Колиной руки и сказал:

– Бицепс. Здоровый, черт!

III

Из ресторана мы выбрались около восьми часов вечера.

– Голова кружится… – пожаловался Андерс. – Поедем в театр. Это идея! Извозчик!!

Мы сели и поехали. Оба были задумчивы. Извозчик плелся ленивым, скверным шагом.

– Смотри, какая прекрасная лошадь, – сказал Андерс. – Такая лошадь может мчаться как вихрь. Это извозчик еще не разошелся, а сейчас он разойдется и покажет нам, какая такая быстрая езда бывает. Прямо лихач!

Действительно, извозчик, прислушавшись, поднялся на козлах, завопил что-то бешеным голосом, перетянул кнутом лошаденку – и мы понеслись.

Через десять минут, сидя в уборной премьера Аксарова, Андерс горячо говорил ему:

– Я испытал два потрясения в жизни: когда умерла моя мать и когда я видел вас в «Отелло». Ах, что это было!! Она даже и не пикнула.

– Ваша матушка? – спросил Аксаров.

– Нет, Дездемона. Когда вы ее душили… Это было потрясающее зрелище.

– А в «Ревизоре» Хлестаков!.. – вскричал я, захлебываясь.

– Виноват… Но я «Ревизора» ведь не играю. Не мое амплуа.

– Я и говорю: Хлестакова! Если бы вы сыграли Хлестакова… Пусть это не ваше амплуа, пусть, – но в горниле настоящего таланта, когда роль засверкает, как бриллиант, когда вы сделаете из нее то, чего не делал…

– Замолчи, – сказал Андерс. – Я предвкушаю сегодняшнее наслаждение…

– Посмотрите, посмотрите, – ласково сказал актер. – Вы, надеюсь, билетов еще не покупали?

– Мы… сейчас купим…

– Не надо! С какой стати… Мы это вам устроим. Митрофан! Снеси эту записку в кассу. Два в третьем ряду… Живо!..

В антракте, прогуливаясь в фойе, мы увидели купеческого сына Натугина, с которым были знакомы оба.

– А… коммерсант! – вскричал Андерс. – О вашем последнем вечере говорит весь город. Мы страшно смеялись, когда узнали о вашем трюке с цыганом из хора; ведь это нужно придумать: завернул цыгана в портьеру, приложил сургучные печати и отправил к матери на квартиру. Воображаю ее удивление. Остроумно, остроумно, да, пока в России есть еще такие живые люди, такое искреннее широкое веселье, Россия не погибла. Дайте нам пятьдесят рублей, на днях отдадим!

Хотя во всей андерсовской фразе не было ни одного знака препинания, но веселый купеческий сын сам был безграмотен, как вывеска, и поэтому последние слова принял как нечто должное.

Покорно вынул деньги, протянул их Андерсу и сказал, подмигивая:

– Так ловко это вышло… с портьерой?

* * *

Усталые, после обильного ужина возвращались мы ночью домой. Автомобиль мягко, бережно нес нас на своих пружинных подушках, и запах его бензина смешивался с дымом сигар, которые лениво дымили в наших зубах.

– Ты умный человек, Андерс, – сказал я. – У тебя есть чутье, такт и сообразительность…

– Ну, полно там… Ты только скромничаешь, но в тебе, именно в тебе есть та драгоценная ясность и чистота мысли, до которой мне далеко… Я уж не говорю о твоей внешности: никогда мне не случалось встречать более обаятельного, притягивающего лица, красивого какой-то странной красот…

Спохватившись, он махнул рукой, поморщился и едва не плюнул:

– Фи, какая это гадость!

Язык

I

Иногда так приятно поглядеть на людские страсти, поступки и стремления – со стороны, не будучи совершенно заинтересованным в происходящем. В созерцании человек кажется самому себе выше других, ибо он имеет право, не волнуясь, с доброй, немного иронической улыбкой следить за всем происходящим, и, если он мудр, такое созерцание должно доставить ему громадное наслаждение.

Не напоминает ли он тогда сам себе доброго, прекрасного бога, который так же беспристрастно следит за смешной суетней и курьезным столпотворением в человеческом муравейнике?

Я сидел на бульваре за буфетным столиком и, беззаботно поглядывая по сторонам, потягивал из стакана какую-то мудреную, прохладительную, мною самим изобретенную жидкость.

За соседним столиком сидела в одиночестве со стаканом чаю красивая молодая дама, по виду – иностранка. Одета она была скромно, но элегантно, и ее пышная, зрелая красота в этот томный весенний вечер вызвала со стороны бульварных фланеров не один поворот головы и жадный взгляд.

Но моя соседка рассеянно глядела по сторонам, прихлебывала чай и ни на кого не обращала особенного внимания.

Вдруг я заметил молодого человека в прекрасной панаме. Он два раза прошел мимо моего столика, чуть не задев его, и в то же время бросая красноречивые взгляды на сидевшую даму.

Молодой человек был тоже красив, имел нежные, юношеские губы, прекрасно очерченные, как на греческих статуях, и темные крохотные усики. Кроме того, у него были горячие, томные глаза и прекрасный рост, что давало ему много преимуществ перед другими гуляющими – золотушными чиновниками, вульгарными юнкерами и какими-то кривоногими телеграфистами.

Меня восхитила смелость этого молодца. Он, пройдя два раза мимо меня, неожиданно повернул назад, очутился лицом к лицу с пышной красавицей и, опустившись на какой-то отбившийся от пустого столика стул в одном шаге от моей соседки, спросил ее:

– Вероятно, вам сидеть так – тоска смертельная? А?

Есть разные типы ухаживателей. Некоторые, воспылав к женщине страстью, года три терзаются, не будучи представленными этой женщине, потом наконец находят общего знакомого, который, улучив минутку, знакомит их с предметом страсти, и тогда завязывается длинная, утомительная канитель: вздохи, пожатия – такие незаметные, что от них в случае чего можно отпереться, полунамеки и одинокие рыдания по ночам при свете задумчивой луны.

А есть и другой тип ухаживателя.

Увидев впервые на улице женщину, которая ему нравится, этот расторопный человек подлетит к ней, поспешно приподнимет шляпу и сразу перешагнет семь верст.

– Сударыня! – скажет он одним духом. – Куда изволите спешить? Жизнь коротка; нужно ею пользоваться и ловить подходящие сладкие моменты. Тут есть один очень укромный уголочек под вывеской «Византия», где нас не сыщет никакая собака, – пойдемте!

Удивительнее всего, что женщина часто так поражается этим предложением, что неожиданно для себя принимает его. Потом, конечно, плачет, мучается и терзается дня три, если не больше.

II

Молодой господин, за которым я наблюдал, напоминал больше второй тип, чем первый.

– Ну, признайтесь – ведь лучше было бы со мной убить несколько часочков, чем тосковать одной? Э?

Дама подняла на него серые, немного изумленные глаза и ответила с порозовевшим от смущения лицом, на чистом немецком языке:

– Простите, я немка и говорю только на немецком языке.

– Ах, вы по-русски не говорите, – огорченно заметил молодой человек, не знавший, очевидно, ни одного языка, кроме собственного – русского.

– Я недавно приехала в этот город, – печально сказала дама, – и почти никто не понимает меня.

– Я не с какой-нибудь гнусной целью, – возразил молодой человек, силясь понять странные, незнакомые слова. – Я просто прогуливаюсь. Компренэ? Променад!

– Да, да, – вздохнула дама. – Несколько месяцев тому назад я похоронила мужа и теперь совершенно одинока.

– Да уж, знаете… – сочувственно кивнул головой молодой господин. – Есть такие мужчины, от которых не скоро отстанешь.

– Что? – машинально переспросила немка.

– Да я не о себе говорю. Я такой скромник, что просто удивительно. А вот другие – прямо ужас.

– Так тяжело, когда нет в городе ни одной знакомой души, – сказала немка, и ее прекрасные серые глаза затуманились. – Если бы у меня здесь была подруга, я пришла бы к ней и проплакала всю ночь: так мне тяжело и грустно.

– Ничего, – успокоил ее молодой человек, – выучитесь. Один мой знакомый тоже так – ни в зуб толкнуть. А потом ничего.

– А если бы вы знали, как трудно мне устраивать дела покойного мужа… Он перед смертью служил тут в одной местной технической конторе.

Молодой господин внимательно выслушал собеседницу и, указав пальцем на ее стакан, сказал:

– Может быть, чего-нибудь другого выпьете? Позвольте вам предложить.

Дама взглянула на стакан.

– Да, чай пью. Ничего, он не остынет. Бывало, мой муж всегда любил холодный чай.

Она подняла свое красивое лицо, на которое падала тень модной шляпы, и долго смотрела на луну.

Вероятно, она думала:

«Вот эта милая, красивая луна везде одна – и здесь, и в Вене, – и она мне такая же родная… А люди разные, и никто тут не может меня развеселить».

– Вы очень красивы! – прошептал молодой господин, с восхищением глядя на нее. – Когда я смотрю на вас, у меня бьется сердце. Если бы было можно, я засыпал бы все ваше нежное тело поцелуями.

– Почему… – спросила дама, – почему я к вам чувствую такое доверие? Мне кажется, вы не позволите сказать вольного комплимента, вы сдержанны и скромны с женщиной… Мне это нравится. Впрочем, вы, вероятно, втайне слишком высокого мнения о своей наружности? А?

Печальные глаза ее сделались кокетливыми и засветились такой теплотой, что ее собеседник тихо взял ее руку в свою и тихо погладил.

– Какая чудесная рука!

Рука действительно была на редкость красивая – нежная, полная кисть с ямочками на тыльной части и выхоленными, блестевшими при лунном свете ноготками.

– Дома забыла, – улыбнулась дама. – А обыкновенно я всегда хожу в перчатках…

– Вы мне безумно нравитесь! – вскричал молодой господин. – А я… Послушайте, скажите – я, я! Я вам хоть немножко, хоть чуточку нравлюсь?

Даму удивила эта неожиданная горячность, так не вязавшаяся с предыдущим мирным разговором о перчатках.

Она недоумевающе взглянула на собеседника, с горячностью колотившего себя в грудь, и спросила, силясь понять:

– Вы? Что такое? Что – вы? Вы не носите перчаток? Ах, господи… В чем дело? Может быть, я вас чем-нибудь обидела?.. Как жаль, что мы не понимаем друг друга!..

Она в искреннем порыве положила свою руку на руку молодого человека и стала ее гладить.

– А, – расцвел он. – Значит, я вам тоже нравлюсь? Значит, вы немножко любите меня… Ах, вы, моя милая!

Несмотря на то, что он сказал это по-русски, дама ответила по-немецки:

– Вы мне очень нравитесь. У меня есть к вам какое-то странное доверие. Конечно, если бы вы понимали меня, я бы этого не сказала! Но вы мне нравитесь, мой пылкий незнакомец!

И она поглядела на него так ласково, что даже у меня, молча наблюдавшего эту сцену, забилось сердце…

Молодой господин схватил ее руку и стал целовать ее, не отрываясь.

Дама вздрогнула и деликатно высвободила руку.

– Что вы, что вы, мой милый мальчик, – улыбнулась она, укоризненно грозя ему, – ведь на нас же все смотрят.

– Что? Что вы говорите? Муж? Вероятно, о муже? Но подумайте – ведь вы же сейчас одна? Ведь ваш муж преступник, если такое сокровище, как вы, заставляет быть в одиночестве. Стоит ли думать и вспоминать о таком человеке?

И опять – удивительно – она почти поняла его, хотя говорили они на разных языках.

– Зачем? – сказала она с неожиданной грустью. – Зачем он умер, оставив меня одинокой, всем чужой тут? Не трогайте мою руку, милый ребенок. Вы знаете, я, вероятно, старше вас… Ну, сколько вам лет? Сколько, а?

Молодому господину, вероятно, было года двадцать два, а ей двадцать четыре. Но он не смог ответить ей на этот вопрос, хотя и видел, что она обращается к нему с каким-то вопросом.

– Что? – мучительно переспрашивал он. – Что?

– Сколько лет? Ну? Вам! Я спрашиваю – вам? – Она показала пальцем на его грудь и показала пальцами, что хочет узнать цифру его лет.

– У меня? – спросил молодой господин. – Часы? Есть. Еще очень рано. Я вам покажу.

Он вынул плоские золотые часы и протянул их даме.

Та наклонилась над циферблатом и с улыбкой показала две цифры.

– Вот! Десять и одиннадцать. Вам уже есть двадцать один год, а? Вам, вам! Ах, какой вы непонятливый.

Она рассмеялась – будто жемчуг рассыпался по тарелке.

– А, – сказал, кивая головой, юноша. – Понимаю. Домой? Нужно быть дома между десятью и одиннадцатью? Да, да! Но еще очень рано.

– Так? – захлопала в ладоши дама. – Значит, я угадала? 21 год. Вы, мой милый ребенок…

«Милый ребенок» придвинулся ближе к ней и, положив незаметно, в тени спинки стула, свою руку на ее талию, сказал:

– Поедем ко мне!

– Что вы! Сумасшедший! Увидят, – ахнула дама. – Примите руку.

– Я не могу! – горячо сказал юноша. – Я с ума сойду, если мы сегодня расстанемся. Если тебе нужно домой в одиннадцать часов, поедем ко мне! У нас еще два часа… Ведь я тебе тоже нравлюсь?

Рука его продолжала лежать на ее талии. Рука эта, очевидно, жгла тело молодой женщины. Трепет пробежал по ее плечам, и она, схватив свободную руку юноши, прошептала слабеющим голосом:

– Ради бога! Не надо… Я даже не знаю, что вы говорите.

И вот страсть молодого человека сделала чудо. Он напряг все силы своего ума и вспомнил:

– Аллон нах гауз! Ко мне. Хорошо?

Он указал пальцем на себя.

– Домой? – шаловливо засмеялась дама. – К вам? Милое дитя! Да о чем же мы там будем разговаривать? Впрочем… нужно идти… становится сыро…

Молодой господин постучал лакея, бросил ему рубль и, взяв красавицу под руку, повел ее, ловко лавируя между столиками, под восхищенными взглядами сидевших дам и мужчин.

И две стройные, сильные фигуры шли по аллее к выходу, освещенные, облитые одним и тем же светом луны, сковавшим их в единую серебряную группу.

И имя этой скульптурной серебряной группе было:

«Желание».

Я проследил с божественным хладнокровием за ними, до тех пор, пока они не скрылись в зеленой лунной пыли. И я, как бог, знал последующее, хотя не мог его видеть: недолгую борьбу красавицы с предприимчивым юношей, ее несогласие идти к нему, потом ее согласие, потом жаркие тесные объятия, тихие благодарные поцелуи, и свет луны на крохотных, беспорядочно брошенных туфельках, на висящей на спинке стула кофточке и шляпке, на которую бесцеремонно взгромоздился мужской жилет, не думавший о таком легкомыслии там, на бульваре, когда он облекал грудь своего хозяина.

Могу сказать – в этот вечер на бульваре я видел яркое подтверждение старой истины: есть в природе такой язык, который выше любого иностранного.

Цепная собака

I

Когда Зырянинов вошел в кабинет, полное добродушное лицо редактора журнала «Северное сияние» засияло радостью.

– Я в восторге, что вижу вас, – приветливо сказал он. – Одну минутку! Я только сейчас вот отпущу посетителя.

Посетителем был хилый молодец со скорбным видом и такими длинными волосами, что опущенная голова его напоминала плакучую иву. Он говорил:

– Почему же вы находите, что моя повесть не подходит? Неужели она слаба?

– Я нахожу? – воскликнул редактор. – Бог с вами! Я нахожу ее прелестной. Мы по этому поводу часа полтора спорили со вторым редактором «Сияния», Лиходеевым. Но он уперся, как бык, – и вот видите: приходится возвращать вам эту вещь. Верьте мне, я как будто с кровью отрываю ее от сердца. Ведь, между нами-то говоря, это лучшее, что вы написали!

– Спасибо… Вы меня хоть немного утешили. Виноват… Один вопрос: почему вы должны подчиняться мнению этого Лиходеева, а он вашему – нет?

– Иногда и он подчиняется. Лишний голос всегда принадлежит тому из нас, кто почему-либо против принятия произведения. Этим мы достигаем лучшего отбора материала в журнале.

– А что, если бы я… сходил к этому… Лиходееву. Поговорил бы… А?

– Пожалуйста! Это самое лучшее. Может быть, вы смягчите его сердце.

Хилый писатель тряхнул своей «плакучей ивой», поблагодарил редактора и исчез.

Редактор обратился к Зырянинову:

– Вы зашли за ответом?

– Да.

– Аванс? Пятьсот рублей?

– Да! Я же говорил.

– Гм… Я думаю, это можно устроить. Вот только не знаю, как Лиходеев. В этом деле нужно и его согласие.

– А вы думаете – он не согласится? – испуганно спросил Зырянинов.

Редактор улыбнулся.

– Ну, что вы… Это было бы слишком. Он не такой уж зверь, каким кажется. Правда, иногда бывает тяжеленек, душу всю своими капризами вымотает, но… в общем, дело с ним делать можно.

– Фамилия у него зловещая.

– Да уж… И характерец тоже не из первосортных. Иногда и меня до белого каления доводит. А вообще – пустяки! Сходите – ваше дело чистенькое. Если он даст согласие, идите прямо в кассу и получайте монеты. До свидания! Когда будете уходить – загляните.

Зырянинов вышел из кабинета редактора и, проходя через контору, обратился к экспедитору:

– Как зовут господина Лиходеева?

Экспедитор усмехнулся.

– За глаза? Малютой Скуратовым и Скотиной! А в глаза – Филиппом Ипатычем.

– А что он, скажите… действительно злой?

– Он? Мерзавец первой руки. Злобный скряга, палач, человек с камнем в груди вместо сердца! Его за глаза так и называют: «Малюта Скуратов»! Редактор Бильбокеев добрая душа,

но тряпка и всецело в руках этого проклятого старика. Бильбокеев, хотя наружно и храбрится, но втайне боится его как огня.

– Я не понимаю, – спросил Зырянинов, – для чего в одном журнале два редактора?

– Издательская глупость. Завел издатель эту моду, да и сам не рад. Малюта, кажется, и его в руки захватил. А у вас есть дело к этому мерзавцу?

– Да… аванс. Бильбокеев согласился, а теперь остановка за Лиходеевым.

– Не даст. Это уж не первый случай. А Бильбокеев обещал? Бедняга… И жалко его, и досадно, и смешно.

– Гм… – сказал Зырянинов. – Вы говорите: Филипп Ипатыч? Ну, посмотрим-с…

II

Кабинет Лиходеева был маленький, полутемный, запыленный и грязный – настоящее жилище паука, раз навсегда соткавшего себе уютную паутину.

Наружность Лиходеева представляла яркий контраст с его характером: это был маленький розовый старичок, с ясным взглядом голубых глаз и мягкими ласковыми жестами. Только иногда ласковые глаза прикрывались тяжелыми веками и голос делался жестким, неприятным.

Когда вошел Зырянинов, он, кроме Лиходеева, застал у этого зловещего старика еще одного человека – судя по разговору, начинающего поэта.

– Что мне Бильбокеев! – говорил, стуча маленьким кулаком по столу, Лиходеев. – Я сам себе Бильбокеев! Стихи ваши слабы – вот и все.

– Да почему же?

– Очень просто. Это какая-то рубленая капуста, а не стихи.

– Ну, например, например… Укажите хоть одно место?

– Не помню я там ваших стихов. Еще указывай…

– У меня есть и другой экземпляр. Вот он! будьте добры взглянуть.

Лиходеев нехотя взял бумажку и повертел ее в руках.

– Ну, вот это:

К ее ногам я нес свои мечты,
Безумье грез, росинки слез вечерних…
Я ей шептал: «Прими, поверь в них…

– Что это такое?

– Виноват… Что же вам не нравится?

– Грубо. «К ее ногам!» Почему не к «ножкам», не к «стопам»?

– У меня так вылилось…

– Плохо, что вылилось… Потом: «росинки слез вечерних». Зачем это? Кому это нужно? Что, вы хотите мир этим перевернуть? Стыдитесь! Да я бы на вашем месте утопился, со стыда сгорел бы. Взрослый мужчина! Прощайте, молодой человек! Хе-хе! Это вам не Бильбокеев! Притворяйте дверь, у меня ревматизм. Вам что угодно?

– Здравствуйте, Филипп Ипатыч. Я – Зырянинов. У меня принята вещь… Я хотел аванс. Бильбокеев направил к вам.

Лиходеев посмотрел на него добрыми глазами, покачал головой и поджал губы.

– Напечатана?

– Еще нет, но…

– Так как же вы хотите получить деньги под то, что еще не напечатано?

– Мне очень нужны деньги.

– Э, батенька… Кому они не нужны.

– Бильбокеев мне обещал.

Старик вздернул плечами.

– Удивляюсь я этому Бильбокееву! Это ребенок какой-то. «Обещал, обещал»! Обещать легко. Как это так: «Дайте мне аванс». Почему? «Деньги нужны»! Да мне-то, например, деньги не нужны, что ли?! Однако я не прошу. Сегодня вы аванс взяли, завтра жену у меня взяли…

– Извините! – резко перебил Зырянинов. – Это не одно и то же.

– Э, дорогой мой… Что там говорить. Теперь пошло всеобщее развращение.

Зырянинов сухо спросил:

– Так, значит, вы в авансе отказываете?

– Господи! Ведь я же доказал вам, как дважды два, что аванса мы не можем дать. Обращаюсь к вашей рассудительности.

«Старик-то, кроме того, что зол, – еще и глуп», – подумал Зырянинов, а вслух сказал ледяным тоном:

– Прощайте. Нам с вами кажется, разговаривать больше не о чем.

И отправился к Бильбокееву.

III

– Ну что? – спросил Бильбокеев, пожимая руку Зырянинову – Удачно?

– Это мерзавец какой-то! – злобно проскрежетал Зырянинов.

Бильбокеев вскочил и всплеснул руками:

– Неужто отказал?

– Да!

– О, черт возьми… Я всего ожидал от этого маньяка, но отказать в такой простой вещи…

– И вы знаете: он не только скуп, но и глуп до противного. Он при мне так раскритиковал стихотворение одного поэта…

– А что же он вам сказал?

– Сегодня, говорит, деньги возьмете, а завтра чужую жену…

– Вот кретин-то. Да вы бы ему сказали, что вам очень нужны…

– Говорил. «А мне, говорит, не нужны?»

Редактор переплел пальцы и со страдальческой миной сжал их так, что они хрустнули.

– Боже! Какой осел… О, когда мы только от него избавимся? Это будет счастливейший день моей жизни.

– Ваше положение, – сочувственно сказал Зырянинов, – тоже не из важных. Я это понимаю…

– Ах, как это все неприятно… Мне так хочется вам это устроить… Я понимаю – когда деньги нужны…

– А знаете что? Напишите ему записку, что вы категорически настаиваете на выдаче мне аванса. А я ее снесу ему.

– С удовольствием. Я буду рад, если дело выгорит. И паука, может быть, зазрит совесть.

Бильбокеев стал писать записку.

– Ха-ха! Пишу ему: «Дорогой мой Филипп Ипатыч», а хочется написать: «проклятое, тупое дерево, мерзавец Филька!..» Ну – вот-с. Записка готова. Я все-таки думаю, что он согласится. Скажите ему на словах, что я прошу сделать мне в личное одолжение.

– Я не знаю, как и благодарить вас! – в волнении воскликнул Зырянинов…

IV

Лиходеев распекал какого-то потрепанного человека.

– Зачем исторический роман? Кому это нужно? Что? Бильбокеев? А что мне ваш Бильбокеев! Бильбокеев мне не указ. Исторический роман из эпохи Самозванца… Ха-ха! Да вы что, были там? Видели эту эпоху? Нет? Так нечего вам и говорить. До свиданья. Притворяйте дверь. А! Вы опять пришли? Что вам угодно?

– Вот записка от Бильбокеева. Он еще просил передать, что согласие ваше будет личным ему одолжением.

– Ребенок! – сказал старик. – Сущий ребенок.

Одним глазом он скользнул по записке и, разорвав ее, бросил в корзину.

– Извините. Ничего не могу.

– Во-первых, – сказал Зырянинов, – я очень сожалею, что просьба моя удовлетворена вами быть не может, а во-вторых, ты не более и не менее как старый идиот, мерзавец, и когда черти заберут тебя в ад – на земле будет дышаться легче, солнце засияет ярче и птицы запоют громче!…

Лиходеев протянул к нему дрожащие руки и жалобно сказал:

– За что же вы… старика… обижаете?

– А за то, – в чрезмерном волнении вскричал Зырянинов, – что этот старик отказывает мне в деньгах, на которые можно было бы вернуть жизнь моей жене. У нее начало чахотки, и если повезти ее на юг, то спасти бы можно. А старику на это наплевать.

Лиходеев опустился на стул и схватился руками за голову…

Так он просидел минуты две. Потом поднял голову и, глядя на Зырянинова скорбными глазами, прошептал:

– Хорошо… Скажите в кассе… что я разрешаю. Там, вероятно, выдадут.

V

В третий раз вошел Зырянинов в кабинет Бильбокеева.

– Отказал?

– Наоборот, согласился. Я уже и денежки получил.

– Быть не может! Это так не похоже на нашего Малюту Скуратова.

– Представьте, разжалобился. Я его, впрочем, ругнул порядочно.

– Сердечно рад за вас! Поздравляю… Вы прямо маг и чародей. Чудесно, чудесно. Уходите? Ну, прощайте. Желаю вам повеселиться!

Оставшись один, Бильбокеев прошелся несколько раз по кабинету и позвонил.

– Скажите Филиппу Ипатычу, – обратился он к служителю, – что я очень извиняюсь за беспокойство, – и прошу, если он сейчас не занят, пожаловать ко мне по важному делу. Не забудьте извиниться за беспокойство.

Через минуту вошел Лиходеев. Он подошел к столу и стал неподвижный, с опущенной головой.

– Слушайте, Фиалкин! – сердито полушепотом начал Бильбокеев. – Это что еще за новости? Какое вы имеете право давать какие-то глупейшие разрешения на авансы?! Я не для того плачу вам сорок рублей ежемесячно, чтобы вы выкидывали подобные глупости. Во всяком благоустроенном дворе есть цепная собака, но если она начинает ласкаться к прохожим, вместо того чтобы рвать им штаны, – ее выбрасывают ко всем чертям! Зарубите себе это на носу.

Как меня обворовывали

I

Однажды я ехал в поезде, имея в кармане две тысячи рублей наличными. В купе вагона нас было двое: я и еще один господин – самого продувного вида.

Еще когда не зажигали огней, я уже решил, что этот господин не прочь обокрасть меня, а когда наступил вечер, я готов был дать голову на отсечение, что мой сосед не кто иной, как самый зловредный, опытный, хитрый вор без всяких твердых принципов и устоев.

«Хорошо-с, – думал я, свесившись с верхней койки, на которой мне предстояло провести ночь, и разглядывая подозрительного соседа. – Мы с тобой, братец, еще потягаемся!.. Ты хитер, да и я ведь человек не последнего сорта! Посмотрим…»

Голова моя усиленно заработала.

«Если я засну, – размышлял я, – то он сейчас же обшарит мои карманы, найдет в боковом кармане деньги и удерет… Значит – нужно или совсем не спать, или заснуть, спрятав предварительно деньги в надежное место. Не отдать ли их обер-кондуктору?.. Но кто может мне поручиться, что тот завтра утром не отопрется от всего, заявив, что никаких денег он и не видывал? Или сделать так: пойти в уборную и сунуть деньги до утра в умывальник или за электрический фонарь… Конечно, они могут сохраниться до утра. А вдруг кто-нибудь найдет их и заберет себе?..»

По зрелом размышлении, я признал все эти планы рискованными и негодными.

«Не спрятать ли деньги в чемодан, привязав потом его веревкой к ноге? Вор схватит чемодан, веревка дернет меня за ногу, я проснусь, наброшусь на вора и отколочу его…»

Это было бы очень недурно, если бы вор дал предварительную клятву не перерезывать ножом веревку, привязанную к ноге.

Но такую клятву, я был уверен, трудно у него вырвать, да и поклявшись, он мог бы нарушить данную клятву, потому что эти люди имеют о совести и религии самое смутное представление…

«А не предложить ли мне ему просто сто рублей, с условием, чтобы он соскочил на первой же станции? Неудобно. Спросит – почему? Раскричится…»

Я долго и тщетно ломал голову и в конце концов остановился на одной мысли, которая показалась мне наиболее подходящей.

«У меня много карманов в платье, – подумал я. – Если разложить деньги поровну по всем карманам, – вор вытащит деньги из одного кармана и удерет, не подозревая, что в каждом другом кармане лежит такая же сумма… Лучше потерять мне сто или полтораста рублей, чем две тысячи – это ясно. Лучше уменьшить риск в пятнадцать раз, чем рисковать всем!»

Я погрузился в расчеты.

«В пиджаке у меня пять карманов, да в жилете четыре… Нет, тоже пять – один внутренний. Итого десять. В брюках – два по бокам да один сзади, на пуговице… Если при этом надеть пальто, в котором пять карманов, – получится восемнадцать. Предположим, я размещаю в каждый карман по сотне рублей… Останется две сотни лишних. Куда же их сунуть? В ботинки разве? Самое лучшее место! Наиболее рискованными карманами являются наружные в пальто. Они так явно мозолят глаза, что даже честному человеку трудно удержаться, чтобы не заглянуть в них. Нельзя ли сделать так: из карманов пальто перевести одну сотню в брючный карман, а другую во внутренний жилетный (самое безопасное место). Или насовать в пальто по десяти рублей на карман – пусть берет, простофиля. Но тогда у меня останется лишних двести

пятьдесят. Можно в пиджак. Какой пиджак? Что за вздор… Это я хотел сказать – чемодан? Где чемодан?.. Вот он! Странно только – почему он шевелится?

Действительно, мой чемодан зашевелился, верхняя крышка отскочила и изнутри выползло нечто вроде змеи красивого изумрудного цвета. Меня страшно удивила особенность женщин притворяться: я сразу разгадал хитрость! Это была не змея, а рукав зеленой кофточки жены. Я увидел жену во весь рост. Она потрепала меня по плечу, опустилась на качалку и лениво сказала:

– Вот скучища-то! Хоть бы в театр куда-нибудь. Еще не поздно? Который час?

Я протянул руку к своим часам и, содрогнувшись, очнулся.

Никакой жены не было. Она исчезла, и даже не одна, а с моим подозрительным соседом.

Я огляделся. Купе было совершенно пусто.

Я схватился за карман. Он был пуст.

В отчаянии я схватился за голову. В ней тоже после крепкого тяжелого сна ощущалась пустота.

Так обокрали меня первый раз в жизни.

II

Вторая кража была на значительно меньшую сумму. Просто когда я жил в кавказском курорте и вышел однажды прогуляться по горам, откуда-то из-за утеса выскочили кавказские разбойники и украли меня. Повторяю – эта кража была для воров менее прибыльна, чем первая, в вагоне, потому что со мной не было ни копейки денег, а сам по себе я стоил немногого.

Разбойники схватили меня, связали, посадили на лошадь и заявили самым убедительным тоном:

– Если вздумаешь бежать – мы тебя убьем.

– Да для чего я вам понадобился? – с любопытством спросил я. – Вот еще, нашли тоже сокровище!

Моя скромность не произвела на них хорошего впечатления. Начальник толкнул меня в спину и сказал:

– Мы за тебя получим хороший выкуп.

Я был изумлен.

– За меня? Неужели я кому-нибудь нужен?

– Твои родственники выкупить тебя.

Абреки показались мне решительными дураками.

– Родственники? Только им и дела, что выкупать меня. Как же! Есть у меня один дядя, да и тот повесится прежде, чем заплатит за меня три рубля.

– Мы за тебя получим десять тысяч!

Впервые узнал я свою настоящую рыночную стоимость, и размер ее немало меня порадовал. Лично я был о себе более скромного мнения.

– Не буду с вами торговаться, – сказал я, качая головой, – потому что это меня унизит. Но если была бы малейшая возможность зашибить на мне деньгу, я первый сказал бы вам: «Просите двадцать тысяч. Мы оба по-братски заработаем на этом деле». Однако я не говорю этого. Почему? Совершенно безнадежное предприятие – за меня никто не даст ни копейки!

– У тебя есть друзья! – угрюмо сказал начальник.

Я горько засмеялся.

– Друзья! Я у них по уши в долгу! Я перехватывал деньги, где только мог… Когда ваш посланный явится к ним за выкупом, они поймают его, свяжут и потребуют уплаты всех моих долгов. Скажу вам откровенно: никогда вы не делали более глупой и менее удачной кражи, чем кража меня. Ваш торговый дом может лопнуть на мне, как мыльный пузырь. Я величина в

покупательском смысле не только положительная, не только нулевая, но даже отрицательная! Прогоните меня как можно скорее.

– Пиши письмо! – закричал сердито начальник. – Проси выкупа, или мы тебя зарежем как собаку.

– Кому? – вспылил и я. – Кому я буду писать? Ротшильду? Испанскому королю? Говорю же вам – ни одна душа в мире не даст за меня ни копейки. Что я такое? Писаный красавец, гений, за которого всякий отвалит какой угодно куш?! Украли… тоже! Не могли найти ничего лучшего… Где у вас глаза-то были?

Тон у меня был такой убедительный, что все сконфузились.

– В таком случае мы тебя зарежем, – предложил начальник.

– Тоже предприятие! Из одной глупости в другую. Такие вы умные интеллигентные разбойники, а рассуждаете, как… черт знает кто. Ну, вы меня зарежете – какая вам от этого польза? А если отпустите – я вернусь в город и буду расхваливать вас на всех перекрестках. Распишу, какие вы смелые, мужественные, благородные… Популярность ваша возрастет, и бедное население окружит вас ореолом героев. Богачи будут вдвойне бояться вас и беспрекословно выкупать друг друга. Кроме того, вернувшись в город, я постараюсь сам разбогатеть, обрасти, как говорится, шерстью, и, если когда-нибудь снова попадусь вам, за меня любой банк заплатит вам сколько пожелаете. Отпустите меня, а? Черт со мной, в самом деле!

– Черт с ним, в самом деле, – сказал, пожимая плечами, начальник. – Развяжите его. Пусть убирается на все четыре стороны.

Опьяненные моим дешевым красноречием, невежественные сыны гор развязали мне руки, и я пустился бежать по крутым утесам и камням с такой быстротой, что, если бы случилось мне споткнуться и упасть в пропасть, – от моего десятитысячнаго тела остались бы жалкие обломки, рублей на двадцать – двадцать пять по наивысшей оценке.

III

До сих пор я считаю самым гнусным делом третью кражу. Отчасти потому, что она была двойная, а отчасти – в ней был замешан один из моих лучших друзей.

Друга этого звали Фролов.

В дни нашей ранней молодости мы были неразлучны, но потом, когда в нашем городе появилась красавица-вдова Марфа Леонидовна, – наши отношения испортились. Ухаживали мы за ней оба, оба бывали у нее, но однажды Фролов в мое отсутствие совершенно необъяснимым образом взял надо мной перевес, и с тех пор красавица была для меня совсем потеряна. Я был так огорчен, взбешен и расстроен, что не являлся к ним (они поселились вместе) целый год, а потом однажды явился, чтобы высказать счастливым любовникам свое настоящее мнение об их отношении ко мне.

Когда я приехал к ним – Фролова не было и приняла меня Марфа Леонидовна.

Я уселся в кресло, угрюмо оглядел ее пышную великолепную фигуру и спросил сдавленным голосом:

– Счастливы?

Она улыбнулась:

– О, конечно.

– Послушайте, – сказал я, придвигаясь к ней в порыве неизъяснимого вдохновения. – Я через пять минут уйду и никогда больше, слышите ли, никогда не покажусь вам на глаза. И только об одном умоляю – объясните мне, как другу: за что вы его полюбили? Чем он покорил вас?

Она смотрела в окно, мечтательно улыбаясь и постукивая носком туфельки о ковер. Потом, после некоторого колебания, сказала:

– Вам это может показаться странным, но Володю я полюбила за одно стихотворение. Такое стихотворение мог написать только талантливый, безумно любящий человек. И когда он прочел его мне и посвятил – я дала ему первый поцелуй.

Я всплеснул руками.

– Володька написал хорошие стихи?! Полноте! Он способен рифмовать «село» и «колесо», «медведь» и «плетень» – я очень хорошо его знаю. Наверное, бездарные глупейшие стишонки написал он вам?

– Ошибаетесь, – нахмурилась она. – Стихи бесподобные. Так мог написать только большой поэт. Правда, такие стихи могла подсказать исключительно любовь ко мне – больше он стихов не писал.

– А как они… начинаются? Не помните?

Она обратила глаза кверху и тихо начала:

В ночь разлуки с тобою приснился мне сон.
Страшен был, непонятен был он…
Для него нет в уме объясненья —
Мне пригрезились волны забвенья
Мутной Леты, и он – этот дряхлый Харон
Вел ладью свою против теченья…

Я в ладье той сидел
И печально глядел…

Я вскочил с кресла и с громким криком схватил прекрасную вдову за руку.

– Слушайте! – вскричал я. – Да ведь это мое стихотворение!! Я его тогда же, помню, написал и показывал Фролову. Фролов пришел от него в неистовый восторг, просил даже переписать его…

Красавица побледнела, как бумага. Грудь ее вздымалась, подобно морской волне.

– Возможно ли это?

– Клянусь вам – это мои стихи.

Руки ее бессильно упали на колени.

– Что же… теперь делать?

Я заглянул ей в лицо и сказал:

– Первый ваш поцелуй принадлежал вору; отдайте второй – собственнику!

– Но ведь я целый год любила его за это стихотворение!

– В таком случае, – озабоченно сказал я, обнимая ее талию, – нам нужно как можно скорее наверстать этот украденный год!!

И эта честная женщина пожалела обворованного простака, и тихо улыбнулась ему, и поспешила согласиться с ним…

Дураки, которых я знал

I. Удивительный конкурс

Громов сосредоточенно взглянул на меня и сказал:

– В этом отношении люди напоминают устриц.

– В каком отношении и почему устриц? – спросили мы: я и толстый Клинков.

– В отношении глупости. Настоящая, драгоценная, кристальная глупость так же редка в человеке, как жемчужина в устрице.

– Не рискованно ли: сравнивать глупость с жемчужиной? – спросил рассудительный Клинков.

– Не рискованно!! Вы знаете, я уже второй год культивирую около себя дурака. Что это за прелесть! Сущая жемчужина. Нужен был тщательный половой подбор, несколько поколений глупых людей, чтобы произвести на свет такое сокровище. Зовут его Петенька.

– У меня тоже есть свой дурак, – похвастался Клинков. – Он, вероятно, лучше твоего. Это самый веселый восторженный дурак в свете. Я познакомился с ним в одном доме шесть месяцев тому назад и с тех пор полюбил его, как сына. Он восхищается всем, что я говорю, и от самых серьезных слов хохочет, как сумасшедший. Этот человек считает меня самым тонким остряком. Когда я однажды при нем рассказал о землетрясении в Мессине, он перегнулся пополам от хохота. «Ах, ты ж, господи! – восклицал он, задыхаясь. – Только этот плутишка Клинков может так рассказывать курьезные вещи с серьезным лицом».

– Позвольте! – хлопнул себя ладонью по лбу молчавший до того Подходцев. – Да ведь и у меня есть дурак. Правда, он хитер, как дикарь, и скрывает свою глупость, как скупой рыцарь – золото. Но иногда она – эта глупость – блеснет нечаянно сквозь какую-нибудь прореху и озарит тогда своим сиянием весь мир! Он служит в таможне и зовут его Эрастом.

– Красивое имечко, – завистливо проворчал Клинков. – Моего зовут просто Феодосий.

– А у меня… Нет своего дурака, – печально вздохнул я. – Боже ты мой! У всех других есть дураки, все живут – люди как люди, – а я совершенно одинок. Громов, подари мне своего дурака.

– Ни за что в свете. Вот еще!

– Ну, на что он тебе? Ты другого найдешь.

– Нет, нет, – сухо сказал Громов. – Не будем говорить об этом.

– Клинков! – обратился я к толстому другу. – Продай мне своего веселого дурака. Я тебе отвалил бы не маленькие деньги.

– Попроси у Подходцева.

– Зарежьте вы меня прежде, чем я отдам вам его! – закричал Подходцев. – Если я лишусь его, я не перенесу этого. Я умру от горя.

– Самый лучший дурак – мой, – хвастливо засмеялся Громов. – Мой славный кристальный Петенька.

– Ну, нет, – возразил, пыхтя, Клинков. – Твой сдаст перед моим.

Подходцев самоуверенно засмеялся.

– Оба они, вероятно, ничто перед моим Эрастом. Я уверен, что ваши дураки и не дураки вовсе. Так просто, самозванцы. А мой – стоит только посмотреть на его лицо – и всякий скажет: «Да, это он!»

Все трое счастливцев закричали, заволновались, заспорили.

– Чего проще, господа, – пожал я плечами. – Устройте конкурс своих дураков. Чей дурак лучше – тот возьмет первый приз.

– Прекрасно! – воскликнул Подходцев.

Все благодарили меня, а Клинков даже поцеловал.

Конкурс решено было устроить в моей квартире. Так как я не имел своего дурака («обездурачен» – как определил мое положение Подходцев) – меня и выбрали в качестве жюри.

В тот же день я получил от Подходцева, Клинкова и Громова адреса Эраста, Феодосия и Петеньки, поехал к ним и, после недолгой беседы, получил от каждого определенное обещание посетить меня. Чтобы все три дурака могли заранее освоиться друг с другом, я утром в день конкурса собрал их в маленьком ресторанчике, где мы позавтракали и обменялись мнениями по разным вопросам жизни.

Все трое действительно оказались на редкость дураками – все здоровый, отборный, неимоверно глупый народ.

От часовой беседы с ними голова моя так распухла, что при возвращении домой шапку пришлось нести в руках.

II. Конкуренты

К десяти часам вечера прихали все. Каждый приехал со своим дураком, подобно охотникам, которые являются к сборному пункту с собственной собакой на веревке…

Сразу же все прибывшие разбились на две группы: умные тихо шушукались в углу кабинета, а дураков я усадил за чайный стол и принялся энергично угощать чаем с коньяком.

Ко мне подкрался на цыпочках Подходцев с миной озабоченного родственника мертвеца, которого собираются отпевать, и шепнул:

– Ну, что ж… Можно начинать?

– Да. Я распоряжусь, чтобы дали закуску и вино.

Я ободрительно подмигнул насторожившимся дуракам и вышел из комнаты.

Подали ужин. Я посадил всех вразбивку: дурака между двумя умными и умного между двумя дураками. Мне же, как арбитру, пришлось сесть вне этого порядка.

Была минута напряженного молчания.

– Однако и жарко же здесь! – вздохнул Подходцев.

Подходцевский дурак Эраст укоризненно поглядел на своего хозяина и возразил:

– В доме повешенного не говорят о веревке.

– Почему, милый?

– Потому что потому.

– Нет, Эрастик, – захныкал Подходцев. – Вот ты сделал мне замечание, ты обидел меня, а за что? Где у тебя веревка и где повешенный? Если веревка – воздух, а повешенный – хозяин, то ты обидел и хозяина. Если же веревки – все присутствующие – ты обидел и присутствующих. Что ты, родной, думал сказать этой фразой?

– Не хотели ли вы сказать, что из нас можно веревки вить? – спросил обиженно Громов.

– Или что мы вешаемся всем на шею? – возвысил голос Клинков.

Дурак Клинкова, веселый Феодосий, услышав слова своего патрона, всплеснул руками и громко захохотал.

– Ну и Клинков! Ну и удружил же! Молодец, Клиночек. Очень зло сказано.

– Ваш спор, господа, отклонился в сторону, – заметил Петенька. – Я принужден указать на то…

– Тише, ребята! – зычно рявкнул Громов. – Мой Петя говорит.

– …На то, что сравнение разогретого воздуха с веревкой грешит неправильностью. Веревка, как известно, имеет два измерения.

– Одно, – тихо сказал Эраст.

– Почему, Эрастик? – прищурился Подходцев.

– Одна веревка, одно и измерение.

– Дайте Петечке договорить, – ревниво перебил его Громов. – Говори, Петечка.

– …Итак, я говорю: воздух есть нечто невесомое, нечто такое, нечто…

– Искомое! – подсказал Громов.

– Почему искомое?

– Потому что мы его ищем. Все люди ищут воздуха, потому что иначе они бы задохлись.

Эраст пожал плечами и сухо возразил:

– Однако же я никогда не ищу воздуха и – как видите – не задыхаюсь.

– Очень зло сказано! – усмехнулся, кивая головой, Феодосий.

– Мы опять отклонились от темы, – поморщился громовский дурак. – Сравнение воздуха с веревкой неправильно в самом корне.

– В корне чего? – переспросил методичный сухой таможенный Эраст. – Я говорю – в корне чего: воздуха или веревки?

– Веревки и воздуха.

– Очень зло сказано, – значительно сказал Феодосий.

– Значит, по-вашему, веревка и воздух имеют корни? – придирчиво подхватился Эраст. – Да? Может, веревка имеет и листья, да?

– Я не понимаю, – робко сказал громовский дурак Петенька, – чего он на меня кричит?

– Отчасти Петя прав, – вступился Клинков. – Если веревка не имеет листьев – она имеет ствол.

– Кто из вас, господа, был когда-нибудь влюблен? – спросил неожиданно Подходцев.

Его дурак Эраст прищурился:

– Это вы почему спросили?

– Так просто, Эрастик.

– Нет, позвольте… нельзя так спрашивать… Ведь всякий вопрос должен же иметь под собой какую-нибудь почву?

– Господа! У нас получается сад! – вскричал Клинков.

– Почему сад? – презрительно спросил непоколебимый дурак Эраст.

– У нас есть почва, есть стволы, есть листья и есть корни…

– Зло сказано!! – восторженно взвизгнул Феодосий. – Тонко сострено!

Но сейчас же под тяжелым взглядом таможенного Эраста съежился Феодосий и сконфуженно зашептал что-то Петеньке.

– Мы сейчас говорили одно, а Подходцев о какой-то любви спрашивает. Был разговор о вещественности воздуха, атмосферы…

– Воздух и атмосфера не одно и то же, – встрепенулся Петенька.

– А какая же разница?

– Атмосфера одна, а воздуху много, – подсказал Громов.

– Да? Вы так думаете? – заскулил, вертя головой, ядовитый подходцевский дурак Эраст. – Вы так полагаете? Таково ваше мнение?

– Так его, Эраст, так! – зааплодировал Подходцев. – Хватай его за ноги.

– Вы полагаете – атмосфера одна, а воздуху много? Да? Так? Так я скажу вам, миленький, что иногда в одном паровом котле помещается двадцать атмосфер.

– Ай да ловко! – загрохотал Феодосий. – Ловко подцепили Громова! Молодец Эраст! Остроумно! Осадили Громчика с атмосферой.

– Это называется атмосферический осадок, – добродушно вставил Петенька.

– Зло сказано! – похвалил и его восторженный Феодосий.

III. Итоги

– А не довольно ли? – шепнул мне Подходцев. – Кажется, физиономии выяснились.

– Господа! – громко сказал я. – Пойдем в кабинет. Туда нам дадут кофе. Эраст, Петенька, Феодосий! Идите в кабинет, мы скоро придем – сейчас только кое-какие счеты нужно выяснить.

Дураки переглянулись, подмигнули друг другу и, взявшись под руку, послушно зашагали в кабинет. Мы остались одни.

– Ну-с, – сказал гордо Громов. – Теперь вам ясно превосходство моего веселого Феодосия? Надеюсь…

– Ну, уж твой Феодосий… Обратили вы внимание, господа, какой у меня умный рассудительный дурак Эрастик? Как он методически рассуждает?

– Что?! Да мой Петенька на голову выше. Он, правда, не веселый, не методичный, но ведь его разговор о корне веревки и воздуха – это все! Это Шекспир.

– Тссс!.. – приложил я палец к губам. – Хотите слышать, о чем говорят дураки на свободе? Пойдем в спальню. Оттуда все слышно.

В спальне было темно. Мы на цыпочках подкрались к полуоткрытым в кабинет дверям и заглянули…

– Господа! – возбужденно говорил Петенька. – По справедливости, приз принадлежит мне за моего дурака! За Громова. Вы заметили, что он ляпнул насчет атмосферы?Я в душе чуть не помер со смеху.

– Па-азвольте. Па-азвольте, – перебил Эраст. – По-мо– ему, мой Подходцев в тысячу раз глупее Громова. Его бестактный разговор о любви, когда его никто и не спрашивал…

– Это зло сказано! – захохотал Феодосий. – Но, братцы, прошу вас! Ей-богу! Пусть мой Клинков будет первым. Он самый веселый, остроумный дурак современности. А? Братцы!

– Па-азвольте! Я стою за своего Подходцева! Впрочем, спросим хозяина, как мы с ним и условились. Пусть он скажет.

В спальне произошла возня. Это Подходцев схватил меня за шиворот и вытащил в столовую.

– Говори, что это все значит?

Я нахально засмеялся.

– То и значит, что конкурс был двойной. Я уверил ваших дураков, что они умные, а вы – дураки и что забавно бы устроить насчет вас конкурс. Вы думаете, что это вы их привезли, а они думают, что они вас привезли. Вы состязались на них, а они на вас.

– Проклятый! Ты испортил наших дураков!

– Зачем ты это сделал? – сурово спросил Громов.

Я сделал умильное лицо и пропищал:

– Что ж, братцы… У вас небось были дураки, а у меня не было. Я и сделал себе… целых шесть сразу!

Мокрица

Когда я дочитал до конца свою новую повесть – все присутствующие сказали:

– Очень хорошо! Прекрасное произведение!

Я скромно поклонился. Сзади кто-то тронул меня за плечо:

– Послушайте… извините меня за беспокойство… послушайте…

Я обернулся. Передо мной стоял маленький человек средних лет, ординарной наружности. Глаза скрывались громадными синими очками, усы уныло опускались книзу, бороденка была плохая, наполовину как будто осыпавшаяся.

– Что вам угодно?

– А то мне угодно, милостивый государь мой, что повесть ваша совершенно неправильная! Уж я-то знаток этих вещей…

Он самодовольно засмеялся.

– Вы… что же, критик?

– Бухгалтер.

– А… так… – нерешительно протянул я. – Но вообще-то вы знаток литературы?

– Бухгалтерии! – упрямо сказал он, глядя на меня громадными стеклами. – Уж в бухгалтерии-то, батенька, меня не поймаешь!

Он поежился и кокетливо захохотал с таким видом, будто я собирался его ловить.

– Вам не нравится моя повесть?

– Нет, ничего. Повесть как повесть. Только неправильная.

Заинтригованный, я отвел его в угол, сунул ему в руку рукопись и сказал:

– Укажите мне неправильные места.

Такое доверие польстило ему. Он вспыхнул до корней волос, застенчиво перелистал рукопись и, найдя какое-то место, отчеркнул его ногтем.

– Вот! Это неправильно: «Корчагин не показывал виду, что знает о проделках жены, но втайне все ее вольности, все измены и оскорбления записывал ей в кредит. Дебет же ее, в который он решил записывать ее ласки и поцелуи, – был пуст». Вот!

– Вам не нравится это место?

– Присядем, – сказал маленький бухгалтер.

Мы сели.

– Видите ли… Я взял на себя смелость сделать вам замечание потому, что вы впали в громадную ошибку… Вы знакомы с двойной итальянской бухгалтерией?

– Н-нет…

– Двойная итальянская бухгалтерия изобретена несколько сот лет тому назад монахом Лукой Пачиоло. Принцип ее заключается в двойной записи каждого счета, чем достигается механическое контролирование правильности записи. Если баланс счетов не сходится в цифрах – это показатель неправильности в частных записях. Записи в счетовых книгах отмечаются на двух сторонах развернутой книги: на левой и правой. На левой стороне счета или лица записывается так называемый дебет – это счет или лицо должны владельцу книги; на правой стороне записывается так называемый кредит – это владелец книги состоит в долгу у лица или счета. Поняли?

– Да… пожалуй…

– Теперь ясно, что вы совершили колоссальную, непростительную ошибку: Корчагин должен был измены и оскорбления жены записать ей не в кредит, а в дебет! А ласки ее – наоборот – не в дебет, а в кредит! У вас это перепутано.

Я горячо пожал бухгалтеру руку:

– Я вам очень, очень признателен. Я сейчас же исправлю эту досадную погрешность.

Моя горячая благодарность смутила его. Он махнул рукой и сказал:

– Помилуйте! Я всегда рад… Конечно, нужно хорошо знать бухгалтерию… Дебет – это что нам должны, кредит – то, что должны мы счету.

Я еще раз пожал ему руку и отошел.

Он озабоченно крикнул мне вслед:

– Так не забудьте же: дебет – нам должны, кредит – мы должны.

– Не забуду, не забуду,

II

Мы сидели в укромном уголку обширного кабинета и тихо разговаривали.

Ольга Васильевна положила свою руку на мою и ласково, задушевно сказала:

– Эта повесть – ваша лучшая вещь. Громадная изобразительная сила, яркие краски причудливо смешиваются на этих страницах с волшебными лирическими полутонами, мощный голос зрелого мужа сплетается с полудетским лепетом влюбленного юноши…

– А, вы здесь, – сказал бухгалтер, подходя к нам. – Ну, что… исправили?

– Исправил, – сказал я. – Спасибо.

– Что такое? – удивилась Ольга Васильевна.

Бухгалтер усмехнулся, снисходительно подергав плечом.

– Ах, уж эти писатели… Представьте, какую он штуку написал… Ну, хорошо, что я был тут, указал, исправили… А то что бы вышло? Неприятность! Скандал! Можете себе вообразить: он дебет написал там, где нужен кредит, а кредит – где дебет!

Укоризненно покачав головой, он прошел дальше, но потом круто повернулся и крикнул нам:

– А разница называется – сальдо!

– Что-о?

– Я хочу вас предупредить – если будете писать еще что-нибудь: предположим, что в дебете 100 рублей, а в кредите полтораста; разница – 50 рублей – и называется: сальдо! Сальдо в пользу кредитора.

– Ага… хорошо, хорошо, – сказал я, – запомню.

Бухгалтер снисходительно улыбнулся и добавил:

– А измены и оскорбления ваш Корчагин в кредит ее счета не мог записывать… Он записал их в дебет.

Он кивнул головой и исчез; вслед за ним ушла и Ольга Васильевна. Оставшись один, я побрел в гостиную.

В одном углу происходил оживленный разговор. До меня донеслись слова:

– Как услышал я – так будто бы меня палкой по голове треснули. Как-с, как-с, думаю? Она же его оскорбляла, она же ему изменяла, да он же ей это и в кредит пишет? Хорошая бухгалтерия… нечего сказать! Хорошо еще, что спохватились вовремя… исправили…

Один из гостей, заметив меня, подошел и сказал:

– Вы неисправимый пессимист. В вашей повести вы показываете такие бездны отчаяния и безысходности…

– Это что! – раздался сзади нас вкрадчивый голос. – Он еще лучше сделал: его Корчагин дурные стороны жены заносил в кредит ей, а хорошие в дебет. Помилуйте-с! Да я бухгалтерию как свои пять пальцев знаю. Как же… Вот если бы здесь была книга – я бы вам наглядно показал… Вот, предположим, этот альбом открыток: тут, где Кавальери, – это дебет… А тут… вот эта… Типы белорусов – это кредит. Я-то уж, слава тебе господи, знаю это как свои пять пальцев.

– Да, да, – нетерпеливо сказал я. – Хорошо. Ведь я уже исправил.

– Хорошо, что исправили, – добродушно согласился он. – А то бы… Ведь таких вещей никак нельзя допустить!.. Помилуйте… Дебет и кредит – это небо и земля.

– Пожалуйте ужинать, – сказал хозяин.

III

Все усаживались, шумно двигая стульями. Бухгалтер сел против меня… Посмотрел на меня, как заговорщик, сделал правой рукой предостерегающий знак и засмеялся.

– Да-с! – сказал он. – Бухгалтерия – это штука тонкая. Ее нужно знать. Я вам когда-нибудь дам почитать книжку «Популярный курс счетоводства». Там много чего есть.

Я сделал вид, что не слышу.

Сосед с левой стороны спросил меня:

– Если я не ошибаюсь, в основу вашей повести заложена большая отвлеченная мысль, но она затемнена повествовательной формой, которая…

– Была затемнена, – согласился бухгалтер. – Но теперь все исправлено. Все, как говорится, в порядке. Вы… вот что… Если еще что-нибудь будете писать и вам встретятся на пути какие-нибудь такие бухгалтерские штуки и экивоки – вы пожалуйста ко мне… без церемоний! Обсудим – как и что. Я выложу вам, как на ладони!

– Нет, зачем же, – сухо возразил я. – В этом, вероятно, не представится надобности. Ведь беллетристика и бухгалтерия – это две совершенно разные вещи.

Огорченный бухгалтер притих. Съел какую-то рыбку, подумал немного, потом приподнялся и, ударив меня через стол по плечу жестом старого знакомого, спросил:

– А вы знаете, что такое транспорт?

– Знаю.

– Нет, не знаете! Вы думаете, это просто собрание разных подвод для перевозки кладей? Да? Но в бухгалтерии это совсем другое: транспортом называется обыкновенный перенос итога с одной страницы на другую. Внизу подписывается итог страницы и переносится на следующую.

– Почему вы думаете, – спросил я левого соседа, – что повествовательная форма произведения должна затемнить общую отвлеченную мысль?

– Потому что художественные детали разбивают это впечатление.

– Это верно, – согласился бухгалтер, делая мне ободряющий жест. – Разбивает впечатление. Ведь это, если сказать какому-нибудь бухгалтеру, – он помрет со смеху. А? Хе-хе… Дебет поставить в кредит! А? Что такое, думаю? Это же невозможно!

Не дождавшись сладкого, я извинился и встал:

– Я пойду на минуту к письменному столу. Хочу не забыть исправить два-три места в повести.

Я сел и исправил.

Когда сзади раздался голос: «Ну что, исправили? Теперь уж не спутаете дебет с кредитом?» – я нахмурился и сказал:

– Да-с, я исправил. Вот, слушайте: «Корчагин не показывал виду, что дебет жены записан ему в сальдо. Он перенес большой кредит в транспорт, который вместе с сальдо давал перенос дебета на счет того лица, которому пришла идиотская затея заняться бухгалтерией; это заносим ему в кредит».

С жалобным криком, простирая дрожащие руки, бросился он ко мне, но я с отвращением отшвырнул его и, сунув рукопись в карман, ушел.

Лакмусовая бумажка

I

Я был в гостях у старого чудака Кабакевича, и мы занимались тем, что тихо беседовали о человеческих недостатках. Мы вели беседу главным образом о недостатках других людей, не касаясь себя, и это придавало всему разговору мирный, гармоничный оттенок.

– Вокруг меня, – благодушно говорил Кабакевич, – собралась преотличная музейная компания круглых дураков, лжецов, мошенников, корыстолюбцев, лентяев, развратников и развратниц – все мои добрые знакомые и друзья. Собираюсь заняться когда-нибудь составлением систематического каталога, на манер тех, которые продаются в паноптикумах по гривеннику штука. Если бы все эти людишки были маленькие, величиной с майского жука, и за них не нужно бы отвечать перед судом присяжных, я переловил бы их и, вздев на булавки, имел бы в коробке из-под сигар единственную в мире коллекцию! Жаль, что они такие большие и толстые… Куда мне с ними!

– Неужели, – удивился я, – нет около вас простых хороших, умных людей, без глупости, лжи и испорченности?

Мне казалось, – я этими словами так наглядно нарисовал свой портрет, что Кабакевич поспешит признать существование приятного исключения из общего правила – в лице его гостя и собеседника.

– Нет! – печально сказал он. – А вот, ей-богу, нет!

«Сам-то ты хорош, старый пьяница», – критически подумал я.

– Видишь, молодой человек, ты, может быть, не так наблюдателен, как я, и многое от тебя ускользает. Я строю мнение о человеке на основании таких микроскопических, незаметных черточек, которые вам при первом взгляде ничего не скажут. Вы увидите настоящее лицо рассматриваемого человека только тогда, когда его перенесли на исключительно благоприятную для его недостатка почву. Иными словами, вам нужна лакмусовая бумажка для определения присутствия кислоты, а мне эта бумажка не нужна. Я и так, миленький, все вижу!

– Это все бездоказательно, – возразил я. – Докажите на примере.

– Ладно. Назови имя.

– Чье?

– Какого-нибудь нашего знакомого, это безразлично.

– Ну, Прягин Илья Иванович. Идет?

– Идет. Корыстолюбие!

– Прягин корыстолюбив? Вот бы никогда не подумал – ха-ха! Прягин корыстолюбив?

– Конечно. Ты, молодой человек, этого не замечал, потому что не было случая, а мне случая не нужно.

Он умолк и долго сидел, что-то обдумывая.

– Хочешь, молодой человек, проверим меня. Показать тебе Прягина в натуральную величину?

– Показывайте.

– Сегодня? Сейчас?

– Ладно. Все равно делать нечего.

Кабакевич подошел к телефону.

– Центральная? 543-121. Спасибо. Квартира Прягина? Здравствуй, Илья. Ты свободен? Приезжай немедленно ко мне. Есть очень большое, важное дело… Что? Да, очень большое. Ждем!

Он повесил трубку и вернулся ко мне.

– Приедет. Теперь приготовим для него лакмусовую бумажку. Придумай, молодой человек, какое-нибудь предприятие, могущее принести миллиона два прибыли…

Я засмеялся.

– Поверьте, что, если бы я придумал такое предприятие, я держал бы его в секрете.

– Да нет… Можно выдумать что-нибудь самое глупое, но оглушительное. Какой-нибудь ослепительный мираж, грезу, закованную в колоссальные цифры.

– Ну, ладно… Гм… Что бы такое? Разве так: печатать объявления на петербургских тротуарах.

– Все равно. Великолепно!.. Оглушительно! Миллионный оборот! Сотни агентов! Струи золота, снег из кредитных бумажек! Браво! Только все-таки разработаем до его прихода цифры и встретим его с оружием в руках.

Мы энергично принялись за работу.

II

– Что такое стряслось? – спросил Прягин, пожимая нам руки. – Пожар у тебя случился или двести тысяч выиграл?

Кабакевич загадочно посмотрел на Прягина.

– Не шути, Прягин. Дело очень серьезное. Скажи, Прягин, мог бы ты вступить в дело, которое может дать до трех тысяч процентов дохода?

– Вы сумасшедшие, – засмеялся Прягин. – Такого дела не может быть.

Кабакевич схватил его за руку и, сжав ее до боли, прошептал:

– А если я докажу тебе, что такое дело есть?

– Тогда, значит, я сумасшедший.

– Хорошо, – спокойно сказал Кабакевич, пожимая плечами и опускаясь на диван. – Тогда извиняюсь, что побеспокоил тебя. Обойдемся как-нибудь сами. (Он помолчал.) Ну, что, был вчера на скачках?

– Да какое же вы дело затеваете?

– Дело? Ах, да… Это, видишь ли, большой секрет, и если ты относишься скептически, то зачем же…

– А ты расскажи! – нервно вскричал Прягин. – Не могу же я святым духом знать. Может, и возьмусь.

Кабакевич притворил обе двери, таинственно огляделся и сказал:

– Надеюсь на твою скромность и порядочность. Если дело тебе не понравится – ради бога, чтобы ни одна душа о нем не знала.

Он сел в кресло и замолчал.

– Ну?!

– Прягин! Ты обратил внимание на то, что дома главных улиц Петербурга сверху донизу покрыты тысячами вывесок и реклам? Кажется, больше уже некуда приткнуть самой крошечной вывесочки или объявления! А между тем есть место, которое совершенно никем не использовано, никого до сих пор не интересовало и мысль о котором никому не приходила в голову… Есть такое громадное, неизмеримое место!

– Небо? – спросил иронически Прягин.

– Земля! Знаешь ли ты, Прягин, что тротуары главных улиц Петербурга занимают площадь в четыре миллиона квадратных аршин?

– Может быть, но…

– Постой! Знаешь ли ты, что мы можем получить от города совершенно бесплатно право пользования главными тротуарами?

– Это неслыханно!

– Нет, слыхано! Я иду в городскую думу – и говорю: «Ежегодный ремонт тротуаров стоит городу сотни тысяч рублей. Хотите, я берусь делать это за вас? Правда, у меня на каждой тротуарной плите будет публикация какой-нибудь фирмы, но не все ли вам равно? Красота города не пострадает от этого, потому что стены домов все равно пестрят тысячами вывесок и афиш – никого это не шокирует… Я предлагаю вам еще более блестящую вещь: у вас тротуарные плиты из плохого гранита, а у меня они будут чистейшего мрамора!

Прягин наморщил лоб.

– Допустим, что они и согласятся, но это все-таки вздор и чепуха: где вы наберете такую уйму объявлений, чтобы окупить стоимость мрамора?

– Очень просто: мраморная плита стоит два рубля, а объявление, вечное, несмываемое объявление – двадцать пять рублей!

– Вздор! Кто вам даст объявления?

Кабакевич пожал плечами. Помолчал.

– А впрочем, как хочешь. Не подходит тебе – найду другого компаньона.

– Вздор! – взревел Прягин. – К черту другого компаньона. Но ты скажи мне – кто даст вам объявления?

– Кто? Все. Что нужно для купца? Чтобы его объявление читали. И чтобы читало наибольшее количество людей. А по главным улицам Петербурга ходят миллионы народу за день,

некоторые по нескольку раз, и все смотрят себе под ноги. Ясно, что – хочешь, не хочешь, – а какой-нибудь «Гуталин» намозолит прохожему глаза до тошноты.

– Какую же мы прибыль от этого получим? – нерешительно спросил Прягин. – Пустяки какие-нибудь? Тысяч сто, полтораста?

– Странный ты человек… Ты зарабатываешь полторы тысячи в год и говоришь о ста тысячах, как о пяти копейках. Но могу успокоить тебя: заработаем мы больше.

– Ну, сколько же все-таки? Сколько? Сколько?

– Считай: четыре миллиона квадратных аршин тротуара. Возьмем даже три миллиона (видишь, я беру все минимумы) и помножим на 25 рублей… Сколько получается? 75 миллионов! Хорошо-с. Какие у нас расходы? 30% агентам по сбору реклам – 25 миллионов. Стоимость плит с работой по вырезыванию на них фирмы – по три рубля… Ну, будем считать даже по четыре рубля – выйдет 16 миллионов! Пусть – больше! Посчитаем даже 20! На подмазку нужных человечков и содержание конторы – миллион. Выходит 46 миллионов. Ладно! Кладем еще на мелкие расходы 4 миллиона… И что же останется в нашу пользу? 25 миллионов чистоганом! Пусть мы не все плиты заполним – пусть половину! Пусть – треть! И тогда у нас будет прибыли 10 миллионов… А? Недурно, Прягин. По 5 миллионов на брата.

Прягин сидел мокрый, полураздавленный.

– Ну, что? – спросил хладнокровно Кабакевич. – Откажешься?

– По… подумаю, – хрипло, чужим голосом сказал Прягин. – Можно до завтра? Ах, черт возьми!..

III

Я вздохнул и заискивающе обратился к Кабакевичу и Прягину:

– Возьмите и меня в компанию…

– Пожалуй, – нерешительно сказал Кабакевич.

– Да зачем же, ведь дело не такое, чтобы требовало многих людей, – возразил Прягин. – Я думаю, и вдвоем управимся.

– Почему же вам меня не взять? Я тоже буду работать… Отчего вам не дать и мне заработочек?

– Нет, – покачал головой Прягин. – Это что ж тогда выйдет? Налезет десять человек, и каждому придется по копейке получить. Нет, не надо.

– Прягин!

Я схватил его за руку и умоляюще закричал:

– Прягин! Примите меня! Мы всегда были с вами в хороших отношениях, считались друзьями. Мой отец спас однажды вашему – жизнь. Возьмите меня!

– Мне даже странно, – криво улыбнулся Прягин. – Вы так странно просите… Нет! Это неудобно.

Я забегал по кабинету, хватаясь за голову и бормоча что-то.

– Прягин! – сказал я, глядя на него воспаленными глазами. – Если так – продайте мне ваше право участия в деле. Хотите десять тысяч?

Он презрительно пожал плечами:

– Десять тысяч! Вы не дурак, я вижу.

– Прягин! Я отдам вам свои двадцать тысяч – все, что у меня есть. Подумайте, Прягин: завтра утром мы едем с вами в банк, и я отдаю вам чистенькие, аккуратно сложенные двадцать тысяч рублей. Подумайте, Прягин: когда вы входили сюда, вы продали бы это дело за три рубля! А теперь – что изменилось в мире? Я предлагаю вам капитал – и вы отказываетесь! Бог его знает, как у вас еще выйдет это дело с тротуарами!.. Городская дума может отказать…

– Не может быть!! – бешено закричал Прягин. – Не смеет!! Ей это выгодно!!

– Торговые фирмы могут найти такой способ рекламы не достигающим цели…

– Идиотство!! Глупо! Это лучшая в мире реклама! Всякий смотрит себе под ноги и всякий читает ее…

– Прягин! У меня есть богатая тетка… Я возьму у нее еще двадцать тысяч и дам вам сорок… Уступите мне дело!!

– Перестанем говорить об этом, – сухо сказал Прягин. – Довольно!! Кабакевич… я завтра утром у тебя; условимся о подробностях, напишем проект договора…

– А, так!.. – злобно закричал я. – Так вот же вам: сегодня же пойду в одно место, расскажу все и составлю свою компанию… Я у вас из-под носа выдерну это дело!

Я вскочил и побежал к дверям, а Прягин одним прыжком догнал меня, повалил на ковер, уцепившись за горло, и стал душить.

– Нет, ты не уйдешь, негодяй… Каба… кевич… Помо… ги мне!..

Нечаянно, в пылу этой дурацкой борьбы, мои глаза встретились с глазами Прягина, и я прочел в них определенное, страшное, напряженное выражение…

Кабакевич был удивительный человек.

– Прочли, – догадался он, освобождая меня из-под Прягина. – Ну, довольно. У вас разорван галстук. – Не находите ли вы, что кислоты слишком подействовали на лакмусовую бумажку?

– Вот не ожидал я от него этого, – тяжело дыша, проворчал я.

– Ага! – засмеялся старый Кабакевич. – Ага? Прочли? Глаза-то, глаза – видели? Ха! Такую вещь приходится читать не каждый день!..

Революционер

В первый день св. Пасхи к Кутляевым пришел Птицын. Глава семьи Кутляевых был чиновник, и звали его Исидором Конычем, а Птицына называли Васенькой.

Птицын пришел, наряженный в смокинг и лакированные башмаки, с ярким, сверкающим цилиндром в руках.

– А! – закричал весело Кутляев, растопыривая руки. – Васенька! Христос воскресе!

– Здравствуйте, – вежливо поклонился Птицын. – Я, простите, не христосуюсь…

– Почему, Васенька? – кокетливо, склоняя голову набок, спросила жена Кутляева.

Васенька поздоровался с ней, поклонился сидевшей в углу старой тетке, опустился на предложенный стул и, обмахиваясь платочком, сказал:

– Видите ли… Я нахожу этот обычай отжившим. В нем, вы меня извините, нет логики. Будем рассуждать так: почему знакомые целуются при встречах на Пасху и не целуются на Рождество? Вы, конечно, возразите мне, что Пасха – это праздник любви, торжества и радости. Хорошо-с. Тогда, – спрошу я вас, – а Рождество, чем же хуже Рождество? Чем оно меньше по радости и торжеству? Да и вообще: я понимаю поцелуй как акт физического влечения одного пола к другому, что уже, конечно, есть простое требование природы. А, согласитесь сами, ведь указанных мною элементов в пасхальном поцелуе нет? Ведь нет?

Жена Кутляева задумчиво качнула головой и вздохнула. Муж сказал:

– Пожалуй, это и верно.

– Конечно же, верно!

Васенька говорил серьезно, подыскивая выражения, округляя периоды и внимательно поворачиваясь к собеседнику, который подавал реплику. Собеседник внимательно выслушивался и сейчас же получал ясный, точно формулированный ответ.

– Хотя, – возразила госпожа Кутляева, – я того мнения, что в этой радости, в этих поцелуях и дружеских объятиях есть что-то весеннее.

– Хорошо-с, – солидно, складывая руки на груди, сказал Васенька. – Хорошо. Но если это так, – то почему же не целоваться в июне или сентябре?

– Что вы говорите?! – вспыхнула Кутляева. – Разве можно?

– Вот то-то и оно. Нужно как можно дальше отходить от нашей затхлой традиции, от всего того, что «все делают».

– Однако, – сказал Кутляев, – вот вы же, Васенька, с визитом пришли?..

Васенька привстал.

– Я могу и уйти, если вам мое посещение не нравится…

– Что вы, что вы! Как вам не стыдно?.. Мы очень рады! Я только к тому говорю, что визиты тоже традиция.

– Да-с! Пошлейшая, никому не нужная традиция! И вот именно поэтому я решил всюду ходить и во всеуслышанье заявлять: господа! Бросьте этот глупый утомительный обычай! Станьте выше! Стремитесь быть сверхчеловеками!

– Вы водку пьете? – спросил Кутляев.

– Что? Какую водку? Ах, водку. Рюмочку я, конечно, выпью, но не потому, что это какой-то там праздник, а просто – небольшое количество алкоголя мне не повредит.

Кутляев налил две рюмки водки, а жена его сказала:

– Если вы, Васенька, это натощак – я вам дам сначала кусочек священого кулича. Хотите?

Васенька резко и строго обернулся к хозяйке.

– Нет-с, Наталья Павловна, не хочу. Нет, не хочу! Согласитесь сами – зачем? Что изменится в нашей будущей жизни от того, если я съем этот кусок желтого сладкого хлеба, а не тот? Если вы мне дадите именно тот, который был обрызган священником? Зачем это? Да и вообще, кулич… Почему вы меня не угощали им, когда я у вас был в декабре? Почему теперь мне должно хотеться, а тогда нет? Согласитесь сами – странно!

– Да бросьте вашу философию, – хлопнул его по плечу хозяин. – Ох, уж эта мне интеллигенция! За ваше здоровье!

– При чем тут здоровье? – поморщился Птицын. – Просто нам с вами хочется выпить – мы и пьем.

– Кулича нашего попробуете? – робко спросила хозяйка.

– Принципиально не попробую, уважаемая Наталья Павловна. Вот в сентябре будут именины вашей дочки, – тогда съем. А есть его сейчас, согласитесь сами, это ординарно.

Он обвел глазами стол, и взгляд его остановился на высоком куличе, увенчанном тремя сахарными розами и шоколадным барашком с крошечным зеленым флагом.

– Вы простите меня, Наталья Павловна, но… можно мне быть с вами откровенным?

– Пожалуйста, – съежившись, сказала хозяйка.

– Я уж такой человек, что всегда режу правду-матку в глаза! Это самое лучшее. Не правда ли? Скажите: неужели вы серьезно думаете, что эти сахарные розы и этот барашек на что-либо нужны? Ведь вкусу они вашим куличам не придадут, а…

– Ах, какой вы критик, – слабо усмехнулась хозяйка. – Я и не знала… На всякий пустяк обращаете внимание… Это сделано так только – для красоты.

Птицын горько улыбнулся.

– Для красоты… Красота – это Рафаэль, Мадонна, Веласкес какой-нибудь! Венера Милосская! Вы извините меня, но я так говорю, потому что считаю вас хорошими, умными людьми и знаю, что вы не обидитесь… А какая же красота – барашек с рынка стоимостью в пятиалтынный? Ни моего эстетического, ни моего морального чувства такая безвкусная вещь удовлетворить не может.

– Ха-ха! – засмеялся Кутляев, – вот не думал, что у покойного Павла Егорыча такой умный сынок будет. Ай да Васенька! Бог с ними, с барашками… Вы бы еще рюмочку! Красным яичком закусите или поросеночком.

Васенька нахмурился.

– Позвольте быть с вами откровенным: вы их для вкусу покрасили или для красоты?

– Черт его знает, для чего. Взял да и покрасил.

– Я думаю, краска, которой они выкрашены, не безвредна. В таком случае я очень попрошу вас, добрейшая Наталья Павловна, дать мне простое белое яйцо. Оно, правда, не так сияет, но ведь я же и не любоваться на него буду…

Птицын долго ел молча, опустив голову и о чем-то думая.

– Поросенок тоже, – закачал он укоризненно своей широкой черной костистой головой. – Ведь если крашеное кушанье вообще красиво, – почему бы и поросенка не выкрасить в голубой цвет или побронзировать золотым порошком? Однако этого не делают. Правда, для чего-то всунули ему в рот кусок петрушки, но, я думаю, никто этим не будет восторгаться. Всунули просто неизвестно для чего…

– Охота вам, Васенька, петь Лазаря, – нервно перебил его хозяин. – Ну и всунули! Ну и поросенок. Надо же чем-нибудь великий праздник отметить.

– Так, так, – покачал головой Васенька. – Подъем религиозного чувства знаменуется всовыванием в пасть мертвого животного пучка зелени… Логично!

* * *

В комнату влетел завитой, пронизанный насквозь праздничным настроением блондин, расшаркался и радостно, во всю мочь легких, заорал:

– Христос воскресе! Исидор Коныч, троекратно! Наталья Павловна, троекратно! Мой молодой товарищ, – троек…

– Простите, не целуюсь, – сказал твердо и значительно Птицын. – Устаревший пережиток. Форма без содержания…

– Фу-ты ну-ты, – пропел молодой блондин. – А то бы лобызнулись. Не хотите? Как хотите.

Склонив голову набок и смотря укоризненными глазами на пришедшего, Птицын ехидно спросил:

– Визиты делаете?

Блондин склонил голову направо и юмористически пропищал:

– Визиты делаю! Мученик естества.

– Выпейте чего-нибудь.

– С восторгом в душе! Боже ты мой! Какие красивые яйца!! И зелененькие, и розовенькие. И лиловые!

– Вам нравится? – иронически спросил Птицын. – А мне, представьте, не нравится. Это не есть вечная красота… Вечная красота – это Рафаэль, Мадонна… Знаменитая статуя Венеры Милосской, находящаяся в одном из заграничных музеев, – вот что должно нравиться.

– Эх, куда заехали, – засмеялся молодой человек и молящим голосом попросил: – Можно съесть лиловенькое? Мне нравится лиловенькое!

– Да какое угодно, – радушно сказала хозяйка.

– Вечные самообманы в жизни, – печально прогудел Птицын. – Гонимся мы за лиловыми яйцами и забываем, что внутри они такие же, как и красные, как и белые… Слепое человечество!

– Где вы были у заутрени? – спросила хозяйка.

– В десяти местах! Носился как вихрь. Весело, ей-богу! Радостно! Колокола звонят вовсю. Дилим-бом! Бам-бам! То тоненькие. То такие большие густые дяди! Гу-у! Гу-у!

– Красота не в этом, – сказал Птицын, внимательно, по своему обыкновению, выслушав собеседника. – Не в том, что по одному куску металла бьют другим куском металла… И не в том, что яйца красивые и голубые… И не в том, что у вас на сюртуке атласные отвороты.

Красота – это Бетховен, симфония какая-нибудь… Кельнский собор! Микеланджело! Слепое человечество…

Хозяйка вздохнула и сказала блондину:

– Садитесь! Чего же вы стоите?

– Мерси. С удовольствием, – расшаркался представитель слепого человечества.

Повернулся к столу и сел.

– Что вы делаете! – закричал болезненно и пронзительно Птицын. – Вы сели на мой цилиндр!

– Ну? – удивился блондин. – В самом деле!

Птицын вертел в руках сплющенный, весь в крупных изломах и складках цилиндр и, со слезами в голосе, говорил:

– Ну что теперь делать! Сели на цилиндр. Ну куда он теперь годится… Кто вас просил садиться на мой цилиндр?!

– Я нечаянно, – оправдывался блондин, пряча в усах неудержимое желание рассмеяться. – Да это пустяки. Его можно выпрямить и по-прежнему носить.

– Да-а… – злобно смотря на блондина, плаксиво протянул Птицын. – Сами вы носите! Разве в нем можно показаться на улице?!

– Почему же? – усмехнулся гость. – Красота не в этом. Красота – это Рембрандт, Айвазовский, Шиллер какой-нибудь… Мадонна!

На глазах Птицына стояли слезы бешенства и обиды.

– Полез… Прямо на шляпу!

– Слепое человечество, – захохотал блондин. – Ну, если не хотите так ее носить, я вам заплачу. Ладно?

Птицын сжал губы, получил от блондина пятнадцать рублей и, ни с кем не прощаясь, угрюмо ушел.

Поросенок, держа в зубах пучок зелени, заливался беззвучным смехом.

Призвание

Угадать призвание в человеке, направить его на настоящий путь – что может быть прекраснее этого?

Издатель газеты «Суета сует» критически оглядел мою фигуру и сказал:

– Гм… Что же вы можете у нас делать?.. Гм… Василий Васильевич очень просил за вас, а мне хотелось бы сделать ему приятное. Знаете что? Поступайте к нам на вырезки.

– На вырезки так на вырезки, – равнодушно согласился я. – На какие вырезки?

– Это очень несложное дело. Вы берете пачку только что полученных чужих газет и начинаете проглядывать их, вырезывая ножницами самое интересное и сенсационное. Потом наклеиваете эти вырезки на бумагу и, сопроводив их соответствующими примечаниями, отсылаете в типографию. Справитесь с этим?

– Всякий дурак справился бы с этим.

– Ну а вы?

– Тем более я справлюсь, – скромно подтвердил я.

– Ну, с богом.

Я сел на указанное мне место и прилежно занялся своим новым делом. Я читал газеты, резал их ножницами, мазал клеем, наклеивал, приписывал и, хотя устал как собака, но зато с честью выполнил свою задачу.

На другой день утром редактор подошел ко мне и решительно сказал:

– Не делайте больше вырезок!

– Почему?

– Потому что у вас получается черт знает что.

– Рассказывайте! – недоверчиво возразил я. – Приснилось это вам, что ли?

– Нет, не приснилось… Ну посмотрите, что вы навырезывали! Ну прочтите сами, своими глазами, что напечатано в нашей газете благодаря вам! Можно это допустить?

Я пожал плечами и, развернув газету, просмотрел свою вчерашнюю работу.

«Обзор печати. Газета «Тамбовский голос» сообщает очень интересное сведение: вице-губернатор Мохначев выехал в Петербург. К сожалению, причина выезда этого администратора не указана…

В «Калужских ведомостях» читаем: «Вчера его пр-во господин губернатор присутствовал на панихиде по усопшем правителе канцелярии. Вечером его пр-во отбыл в имение».

Небезынтересное для наших читателей сведение сообщает «Акмолинское эхо»: Акмолинский архиерей собирается в поездку по епархии. Степной генерал-губернатор вчера, по недосугу, обычного приема у себя не делал. Городской голова возвращается 15-го.

«Минскому листку» удалось узнать, что вчера предводитель дворянства праздновал обручение своей дочери с полковником Дзедушецким. Его сиятельство собирается за границу».

Я внимательно прочел все до конца и спросил редактора:

– А разве плохо?

– Не плохо, а бессмысленно. Кому интересны ваши поездки вице-губернаторов, семейные радости предводителей дворянства и экскурсии архиереев? Неужели кому-нибудь из нас интересно, что акмолинсюй городской голова вернется 15-го. Начхать нам на него!

– Ну вы поосторожнее… Ведь он все-таки начальство.

– Вы не годитесь для вырезок, – категорически заявил редактор. – Вы слишком рабо-лепны.

– Ну, попробуем что-нибудь другое, – равнодушно согласился я. – В самом деле, вырезки мне не по душе. Дайте мне что-нибудь повыше.

Редактор задумался.

– У нас как раз нет заведующего театром. Хотите попробовать? Вы понимаете что-нибудь в театре?

– Что ж тут понимать? Тут и понимать-то нечего.

– Ну, попробуем вас. Займитесь пока назначением рецензентов в театры на сегодня – кому куда идти. А потом составьте хронику. Ну, с богом.

II

Оставшись один, я первым долгом ознакомился с отделом зрелищ и, после краткого раздумья, решил остановиться на самом интересном:

1) опера;

2) симфонический концерт;

3) борьба.

Когда я разобрал редакционные билеты, ко мне постучались.

– Войдите!

В комнату вошел один из рецензентов.

Он опрокинул попавшееся на его пути кресло, вежливо поклонился портрету Толстого и, обратившись к печке, спросил ее:

– Вы, кажется, заведуете теперь театром? Куда я сегодня должен пойти?

Сразу же я выяснил, что в словах рецензента не было никакой иронии. Просто он был преотчаянно близорук, почти слеп. Когда я окликнул его, он обернулся, наткнулся на другое кресло и, добродушно извинившись, пожал ручку этого кресла.

– Куда мне этого калеку? – пробормотал я. – Хорошие сотрудники, нечего сказать. Ну как я пошлю его куда-нибудь в ответственное место?..

Я выбрал билет похуже и сказал:

– Эй, вы! Вот вам, нате билет на сегодня. Дайте отчет. Да только, смотрите, хорошо!

Он взял билет и побрел обратно, натыкаясь на все стулья и путаясь ногами в ковре.

Потом зашел другой рецензент и тоже осведомился насчет вечера.

– Надеюсь, у вас зрение в порядке? – спросил я.

– Что?

– Видите-то вы хорошо?

– Что?!

Я открыл рот и заревел во все горло:

– Я говорю – глаза хорошие?!

Он прислушался к моему голосу и нерешительно отвечал:

– Да уж, если этот дождик зарядит, так держись.

– Какой же вы рецензент, – спросил я, – если вы глухи, как бревно? Зачем вы лезете в это дело, черти вас побери?!

– Были у меня калоши, – печально отвечал рецензент, – да их украл кто-то.

– В оперу я тебя не пошлю, – сказал я вслух, разглядывая его. – Это слишком серьезное дело. Возьми-ка, братец, этот билетик. Это не так опасно…

Он ушел с самым бессмысленным выражением лица, а я позвал третьего рецензента и спросил его:

– Глаза хорошие?

– Прекрасные.

– А уши?

– Помилуйте! Я могу расслышать топот лошади за три версты.

«Вот это настоящий!» – подумал я, удовлетворенный.

– Вот что, голубчик… Берите этот билет и отправляйтесь в театр. Я вам приберег самый лучший.

Он взглянул на билет и нерешительно сказал:

– Должен вам заметить…

– Вы? Мне? Заметить? Этого только недоставало! Кто здесь заведующий? Вы или я? Это я могу вам заметить, а не вы мне. Ступайте!

III

После окончания театров, около двенадцати часов ночи, моя команда съехалась, и через час я имел уже в своих руках три добросовестные талантливые рецензии. Оригинальность замысла сквозила в каждой из них и придавала всем трем ту своеобразную прелесть, которой не найдешь и днем с огнем в других шаблонных измышлениях рецензентов. Рецензии были таковы:

«Французская борьба… Сегодняшняя борьба проходила под аккомпанемент духового оркестра, который, к сожалению, нас совсем не удовлетворил. Ремесленность исполнения, отсутствие властности и такта в дирижерской палочке, некоторая сбивчивость деревянных инструментов в групповых местах и упорное преобладание меди – все это показывало абсолютное неумение дирижера справиться со своей задачей… Отсутствие воздушности, неумелая нюансировка, ломанность общей линии, прерываемой нелогичными по смыслу пьесы барабанными ударами, – это не называется серьезным отношением к музыке! Убожество репертуара сквозило в каждой исполняемой вещи… Где прекрасные шумановские откровения, где Григ,

где хотя бы наш Чайковский? Разве это можно назвать репертуаром: «Китаянка» сменяется «Ой-рой», а «Ой-ра» – «Хиоватой» – и так три эти вещи до бесконечности. И еще говорят, что серьезная музыка завоевывает себе прочное положение… Ха-ха!»

«Симфонический концерт. Прекрасное помещение, в котором давался отчетный концерт, вполне удовлетворило нас. На эстраде сидела целая уйма музыкантов – я насчитал шестьдесят пять человек. Впрочем, по порядку. Ровно в девять часов вечера на эстраду вышел какой-то человек, раскланялся с публикой и, схватив палочку, стал ею размахивать. Сначала он делал это лениво, еле заметно, а потом разошелся, и палочка сверкала в его руке как бешеная. Он изгибался, вертел во все стороны свободной рукой, вертел палочкой, мотал головой и даже приплясывал. Потом, очевидно, утомился… Палочка снова лениво заколебалась, изогнутая спина выпрямилась, руки поднялись кверху – и он, усталый, положил палочку на пюпитр. Музыканты тогда занялись каждый по своему вкусу: кто натирал канифолью смычок, кто выливал из трубы слюну. Передохнув, снова принялись за прежнее. Начальник размахивал палочкой и плавно, и бешено, и еле заметно, а все не сводили с него глаз, следя внимательно за его движениями. Через некоторое время симфонический концерт был таким путем закончен, и поднялась невообразимая толкотня публики…»

«Опера. Хорошая погода собрала массу спортсменов. Большое число записавшихся певцов делало невозможным угадывание фаворита, и первый заезд или, как здесь говорят, – акт, – поэтому прошел особенно оживленно. Состязались в первом заезде князь Игорь (камзол красный, рукава синие), княгиня Ярославна (камзол серебристый, рукава белые) и Владимир Галицкий (голубое с черным). Первой весьма заметно стала выдвигаться в дуэтах с Игорем Ярославна, но на прямой Игорь вырвался, стал ее догонять, и к концу дуэта оба пришли голова в голову. Приятное впечатление произвело появление настоящей лошади (гнедая кобыла зав. Битягина, от Васьки и Снежинки, как нам удалось узнать за кулисами, на паддоке). Скакал на ней Игорь (камзол красный, рукава синие)…

IV

На другое утро, когда эти оригинальные, бойкие рецензии появились в свет, редактор подошел ко мне и сказал:

– Можете больше театром не заведывать.

– Неужели нехорошо?..

– Нехорошо?! Вас убить мало за такое распределение рецензентов. Вы послали симфонического рецензента на борьбу! Полуслепой человек, вместо музыки, должен был писать черт знает о чем!! Вы могли на борьбу послать глухого, потому что в борьбе важен не слух, а зрение… Нет! Вам понадобилось погнать его на симфонию, которую он так же слышал, как тот видел борьбу. Спортивного обозревателя вы погнали в оперу, которую он понимает не лучше конюшенного мальчика!! Ну чего же вы молчите?

– Да как же я мог знать, кто из них куда годен!!

– Вы не знали? А я вот знаю, куда и на что вы годны!! О, я это теперь хорошо знаю!!

– Куда? – с любопытством спросил я.

– Идите в редакционные сторожа!! Вы подобострастны, тупы и исполнительны!! Подавайте сотрудникам чай и подметайте по утрам комнаты!!

– Ну хорошо, – согласился я.

Теперь иногда, внося редактору чай на подносе, я с уважением гляжу на этого проницательного человека, вспоминаю свои неудачные шаги в оценке театральных резензентов и думаю:

«Угадать призвание в человеке, направить его на настоящий путь, – что может быть прекраснее этого?..»

О хороших, в сущности, людях!

Юмор для дураков

Это был солидный господин с легкой наклонностью к полноте, с лицом, на котором отражались уверенность в себе и спокойствие, с глазами немного сонными, с манерами, полными достоинства, и с голосом, в котором изредка прорывались ласково-покровительственные нотки.

– Вот вы писатель, – сказал он мне, познакомившись, – писатель-юморист. Так. Наверное, знаете много смешного. Да?..

– О, помилуйте… – скромно возразил я.

– Нечего там скромничать. Расскажите мне какую– нибудь смешную штуку… Я это ужасно люблю.

– Позвольте… Что вы называете «смешной штукой»?

– Ну, что-нибудь такое… юмористическое. Я думаю, вы не ударите лицом в грязь. Слава богу – специалист, кажется! Ну, ну… не скромничайте!

– Видите ли… Я бы мог просто порекомендовать вам прочесть книгу моих рассказов. Но, конечно, не ручаюсь, что вы непременно наткнетесь в них на «смешные штуки».

– Да нет, нет! Вы мне расскажите! Мне хочется послушать, как вы рассказываете… Ну, что-нибудь коротенькое. Вот, наверное, за бока схватишься!..

Я незаметно пожал плечами и неохотно сказал:

– Ну слушайте… Мать послала маленького сына за гулякой-отцом, который удрал в трактир. Сын вернулся один, без отца, – и на вопрос матери: «Где же отец и что он там делает?» – ответил: «Я его видел в трактире… Он сидит там с пеной у рта». – «Сердится, что ли?» – «Нет, ему подали новую кружку пива».

Не скажу, чтобы эта «смешная штука» была особенно блестящей. Но на какой-нибудь знак внимания со стороны моего нового знакомого я все-таки мог надеяться. Он мог бы засмеяться, или просто безмолвно усмехнуться, или даже, в крайнем случае, покачать одобрительно головой.

Нет. Он поднял на меня ясные, немного сонные глаза и поощрительно спросил:

– Ну?

– Что «ну»?

– Что же дальше?

– Да это все.

– Что же отец… вернулся домой?

– Да это неважно. Вернулся – не вернулся… Все дело в ответе мальчика.

– А что, вы говорите, он ответил?

– Он ответил: отец сидит там с пеной у рта.

– Ну?

– Видите ли… Соль этого анекдота, сочиненного мною, заключается в том, что мальчик ответил, что называется, буквально. Он видел кружку пива с пеной, кружку, которую отец держал у рта, и поэтому ответил в простоте душевной: «Отец сидит с пеной у рта». А мать думала, что это – фигуральное выражение, сказанное по поводу человека, которого что-нибудь взбесило.

– Фигуральное?

– Да.

– Взбесило?

– Да!

– Ну?

– Что еще такое – «ну»?

– Значит, мать думала, что отец за что-нибудь сердится, а он вовсе не сердится, а просто пьет себе преспокойно пиво.

– Ну да.

– Вот-то ловко! Ха-ха! Ну и здорово же: она думает, что он сердится, а он вовсе и не сердится… Хо-хо! Вообще, знаете, эти трактиры…

– Что-о?..

– Я говорю – трактиры. Если еще холостой человек ходит, так ничего, а уж женатому, да если еще нет средств – так трудновато… Не до трактиров тут. Тут, как говорится, не до жиру, быть бы живу.

Я молчал, глядя на него сурово, с замкнутым видом.

Человек он был, очевидно, вежливый, понимавший, что в благодарность за рассказанное автор имеет право на некоторое поощрение.

Поэтому он принялся смеяться:

– Ха-ха-ха! Уморил! Ей-богу, уморил. Папа, говорит, в трактире пену пьет, сердится… А мать-то, мать-то! В каких дурах… О-ох-хо-хо! Ну еще что-нибудь расскажите.

«Э, милый, – подумал я. – Тебя такой вещью не проберешь. Тебе нужно что-нибудь потолще».

– Ну я вас прошу, расскажите еще что-нибудь…

– Ладно. В один ресторан пришел посетитель. Оставив в передней свой зонтик и боясь, чтобы его кто-нибудь не украл, он прикрепил к ручке зонтика такую записку: «Владелец этого зонтика поднимает одной рукой семь пудов… Попробуйте-ка украсть зонтик!» Пообедав, владелец зонтика вышел в переднюю – и что же он видит! Зонтик исчез, а на том месте, где он стоял, приколота записка: «Я пробегаю в час пятнадцать верст – попробуйте-ка догнать».

Любитель «смешных штучек» поощрительно взглянул на меня и сказал:

– Ну и что же? Догнал он похитителя или нет?

Я вздохнул и начал терпеливо:

– Нет, он его не догнал. Да тут и неважно дальнейшее. Вся соль анекдота заключается именно в курьезном совпадении этих двух записок. Автор первой, видите ли, думал, что он непобедим, рассчитывая на свои здоровые руки, и никак он не рассчитывал, что здоровые ноги гораздо важнее.

– Важнее?

– Да.

– Сколько он там написал, что пробежит в час?

– Пятнадцать верст.

– Это много считается?

– Порядочно.

– А ведь поймай этот первый-то владелец зонтика похитителя в то время, как тот писал записку, он бы ему задал перцу, а? Тут и ноги не помогут, а?

– Не знаю.

– Это, наверное, было давно, я думаю? В прежнее время? Теперь-то ведь в передних ресторанов всюду швейцары, которые и отвечают за пропажу вещей.

– Да.

– Теперь все как-то сделалось культурнее. Положим, раньше-то и воровства было меньше. А?

– Да.

Мы помолчали.

– Вопрос еще, догнал ли бы он похитителя, если бы даже и умел бегать быстрее его. Потому что раньше нужно узнать, в какую сторону он побежал, да не свернул ли с дороги, а то мог просто припрятать зонтик, да и отпереться от всего: «Знать не знаю, ведать не ведаю – никакого зонтика не воровал и никакой записки не писал».

– Да.

По моим сухим, сердитым репликам любитель анекдотов почуял, что я им не совсем доволен, и, решив, по своему обыкновению, щедро вознаградить меня смехом, – неожиданно захохотал.

– Ха-ха! Ох-хо-хо! Ну и уморил. Выходит он – где зонтик? Хвать-похвать, ан зонтика-то и нет. Ну и ловкие ребята бывают. Прямо-таки пальца в рот не клади. И откуда вы столько смешных штучек знаете?! Ну расскажите еще что-нибудь. Ну, пожалуйста, ну, миленький…

– Рассказать? – прищурился я. – Извольте! Один господин, явившись на обед к родителям своей невесты и страдая от тесной обуви, снял потихоньку под столом с ноги башмак, но в это время собачонка схватила башмак да бежать, а жених испугался, вскочил, опрокинул стол, причем миска с горячим супом опрокинулась на тещу, – и помчался за собачонкой. По дороге он разбил дорогую вазу, а потом, желая достать для разутой ноги какой-нибудь башмак, ударил тестя ногой в живот, повалил его и стал стаскивать с ноги ботинок. Но оказалось, что у тестя одна нога была искусственная, и вдруг она отрывается вместе с ботинком, и наш жених грохается на пол, обрывая портьеру; но в это время собачонка, с башмаком во рту…

Дальше я не мог продолжать: нечеловеческий страшный хохот душил моего нового знакомого. Он буквально катался по дивану, отмахиваясь руками, ногами, задыхаясь и кашляя. Лицо побагровело, и на глазах выступили слезы.

– О-ох, – визжал он тонким голосом. – Довольно! Ради бога, довольно! Вы меня убьете вашим рассказом!..

* * *

Раньше я не понимал: для чего и кому нужны десятки тысяч метров кинематографических лент, на которых изображены: солдат, попавший в барабан и заснувший там; рассеянный прохожий, опрокидывающий на своем пути детские колясочки и влюбленные парочки; свадебный обед, участникам которого шутник насыпает за ворот «порошок для чесания», молодой человек, которого кусает блоха во время объяснения с невестой и который начинает бегать по комнате, ловя эту блоху; пьяный, залезший в матрац и катающийся в таком положении по людной улице, – для чего и кому все это нужно? – Я не понимал.

Теперь – понимаю.

Одиннадцать слонов

I

Схватив меня за руку, Стряпухин быстро спросил:

– В котором ухе звенит? Ну! Ну! Скорее!!

– У кого звенит в ухе? – удивился я.

– Да у меня! Ах ты, господи! У меня же!! Скорее! Говори!

Я прислушался.

– В котором? Что-то я не слышу… А ты сам сразу не можешь разобрать?

– Да ты угадай, понимаешь? Угадай! Какой ты бестолковый!..

– Да угадать-то нетрудно, – согласился я. – Если бы ушей было много – ну, тогда другое дело… А то два уха – это пустяки. Левое, что ли?

– Верно, молодец!

Я самодовольно улыбнулся.

– Еще бы! Я могу это – и вообще… многое другое… А зачем тебе нужно было, чтобы я угадал?..

– А как же! Такая примета есть… Я что-то задумал. Если ты угадал, значит, исполнится.

– А что ты задумал?

– Нельзя сказать. Если скажу – оно не исполнится.

– Откуда ты знаешь?

– Такая примета есть.

– Ну тогда прощай, – проворчал я, немного обиженный. – Пойду домой.

– Уже уходишь? Да который теперь час?

– Не могу сказать, – упрямо ухмыльнулся я.

– Почему?

– Такая примета есть.

Его лицо выразило беспокойство.

– Неужели есть такая примета?

– Еще бы… Самая верная. Несчастье приносит.

– А ты знаешь, я ведь часто отвечал на вопрос: «Который час?»

– Ну вот, – улыбнулся я зловеще. – И пеняй сам на себя. Обязательно это к худу.

Он призадумался:

– Постой, постой… И верно ведь! Вчера у меня шапку украли в театре.

– Каракулевую? – спросил я.

– Нет, котиковую.

– Ну тогда это ничего.

– А что?

– Примета такая есть. Пропажа котиковой шапки – в доме радость.

Он даже не спросил: в чьем доме радость – в его или воровском. Просиял.

– Я тоже с тобой выйду. Прислуга побежала за ворота – дай я тебе пальто подержу.

Я натянул с его помощью пальто, а когда он снял с вешалки свое, я сказал:

– Ты прости, но я тебе тем же услужить не могу.

– Почему?

– Такая примета есть: если гость хозяину пальто подает – в доме умереть должны.

Стряпухин отскочил от меня и наскоро натянул в углу сам на себя пальто.

Когда мы шагали по улице, он задумчиво сказал:

– Да, приметы есть удивительные. Есть счастливые, есть несчастливые. Но на днях я узнал удивительную штуку, которая приносит счастье и застраховывает от всяких неудач.

– Это еще что?

– Слоны. Одиннадцать слонов. Нужно купить одиннадцать штук от самого большого до самого маленького и держать их в доме. Поразительная примета.

– Что ж ты, уже купил их?

– Девять штук. Двух еще нет. Самых больших. Да они дорогие, большие-то. Рублей по тридцати… Кстати, ты не можешь одолжить мне пятьдесят рублей? Я бы завтра комплект уже имел.

– Что ты! Разве можно одалживать деньги в пятницу?! Есть такая приме…

– Да сегодня разве пятница? Нынче ведь четверг, – возразил он.

Сначала я растерялся, а потом улыбнулся с видом превосходства.

– Я знаю, что четверг. Но ведь четверг – это у нас?

– Ну да.

– А в Индии-то что теперь? Пятница!

– Пятница, – машинально подтвердил он, приоткрыв от недоумения рот.

– Ну вот. А слоны-то ведь индийские?

– Какие слоны?

– Да которых ты собираешься покупать!

– Предположим.

– То-то и оно. Как же можно в пятницу деньги давать взаймы? Несчастье… Страшная примета есть.

Он замолчал.

II

Стряпухин исчез на долгое время. Но однажды пришел ко мне расстроенный, с явными признаками на лице и в костюме целого ряда жизненных неудач.

– Эге, – сочувственно встретил я его. – Твои дела, вижу, неважные. Как поживаешь?

– Да, брат, плохо… У жены чахотка.

– Гнусная вещь, – согласился я. – Впрочем, вези ее на юг. Теперь это легко поправить можно.

– Да откуда же я денег-то возьму?

– А у жены-то были ведь деньги… я знаю… Несколько тысчонок.

– Были да сплыли. На бирже проиграл.

– Эх, ты, Фалалей! Ну, на службе возьми аванс.

– Хватился! Со службы уволили. За биржевую игру. Вы, говорят, еще наши деньги проиграете, казенные.

– Однако! А что же твой дядя какой-то? Помнишь, ты говорил: собирался умереть и тебе дом оставить.

– Да и умер. Только не тот дядя, а другой. Вдовец с двумя детьми. Детей мне оставил… Прямо беда!

– Так ты бы продал что-нибудь из обстановки… У тебя ведь обстановка хорошая, я помню, была…

Он тоскливым взглядом посмотрел на меня.

– Продано, брат. Почти все. Кроме слонов.

– Каких слонов? – удивился я.

– Да тех, что я, помнишь, говорил.

– А они дорогие?

– Рублей полтораста…

– Так ты бы их и пустил в оборот. Это ведь жене месяц жизни в Крыму.

Стряпухин откинулся назад и всплеснул руками:

– Что ты! Как же я могу их продать, когда они приносят счастье!

III

Я долго прохаживался по кабинету, бормоча себе под нос всякие рассуждения.

Остановился перед Стряпухиным и сказал:

– Дурак ты, дурак, братец!

– Почему?

– Такая примета есть.

Он бледно, насильственно улыбнулся.

– Вот ты теперь уже и ругаешься. Ругаться-то легко.

– И ругаюсь! Обрати внимание: не было у тебя этих слонов – жена была здорова, деньги в банке лежали, и служба была. Появились слоны, которые, ты говорил, счастье приносят, – и что же?

– А ведь верно! – охнул он, побледнев. – Я совсем не обратил на это внимания… Действительно… Знаешь, тут есть какой-то секрет. Может быть, не одиннадцать слонов нужно, а какое-нибудь другое количество?

Я кивнул головой:

– Весьма возможно… И может быть, нужно было не слонов покупать, а каких-нибудь верблюдов или зайцев.

– А в самом деле! – ахнул он, приоткрыв по своей привычке от изумления рот.

– И может быть, не покупать их, а украсть нужно было…

– Да, да!..

– …и держать не в доме, а в погребе.

Оба мы замолчали. Он поднял опущенную голову и несмело спросил:

– Ну, как ты думаешь – верблюда или зайца?

Я пожал плечами:

– Конечно, верблюда.

– Почему?

– Примета такая есть.

– А сколько их надо?..

– Тридцать восемь штук.

– Ого! – с оттенком уважения в голосе пробормотал Стряпухин. – Вот это число! Что же их… покупать нужно?

– Украсть! Только украсть! И держать в погребе на бочке с огурцами. Такая примета есть.

Он внимательно разглядывал выражение лица моего, и в глазах его я прочел легкое колебание.

– Что это ты?.. – робко заметил он. – Не то говоришь серьезно… не то насмехаешься надо мной.

Я горячо воскликнул:

– Что ты, что ты! Я говорю совершенно серьезно. Слоны ведь тебе не помогли, а? Одиннадцать слонов мал мала меньше. Ведь не помогли? Так?

– Не помогли, – вздохнул он.

– Ну вот! Попробуем верблюдов. Тридцать восемь верблюдов! Не купим их, а стащим в магазине: это и дешевле и практичнее. Поставим в погреб и посмотрим – не повернется ли фортуна к тебе лицом? Если все будет по-прежнему плохо – верблюдов к черту, купим лисиц или лягушек, индийских болванчиков, крокодилов, черта, дьявола лысого купим! Попробуем покупать по семнадцать, по тридцать три, по шестьдесят штук, будем держать их под полом, на крыше, в печной трубе – все испробуем, все испытаем!! Как только тебе повезет – стоп! Вот, значит, скажем мы, это и есть настоящая примета!

– Да ты это… серьезно?

– А то как же, братец? Слоны твои провалились – нужно искать других путей. Какой-то немец-профессор сделал свыше девятисот комбинаций лекарства, пока не наткнулся на настоящую. У нас будет девять тысяч комбинаций – но ничего! Ведь он открывал только новое лекарство, а мы ищем секрет счастья… Разрешить проблему счастья – какая это великая миссия!!

– Да ведь этак всю жизнь провозишься…

– А ты что же думал? И провозишься.

Он устало опустил голову.

– Боже, как все это неопределенно… А может быть, вся штука в том, что слонов нужно не одиннадцать, а двенадцать. Прикупим еще одного…

– Может быть! Жаль, что это не ослы. Если бы ты имел одиннадцать ослов, – то двенадцатого и прикупать бы не стоило.

С видом человека, окончательно запутавшегося в сложной тине жизни, он поднял на меня глаза:

– Почему?

IV

Уходя, он небрежно спросил, боясь выказать интерес к ответу и вызвать тем новые мои насмешки:

– Сколько, ты сказал, верблюдов?

– Тридцать восемь, – ехидно улыбнулся я. – Думаешь купить?

– Нет, не то. А вот нужно бы запомнить цифру тридцать восемь. Буду нынче в клубе, возьму карту лото с этой цифрой.

– Ага! Ты и этим занимаешься? Что же, везет?

– Пока нет.

И в глазах его светилось отчаяние.

– Почему? – допрашивал я безжалостно. – На какую, например, цифру ты вчера брал карту?

– Восемьдесят шесть. Счастливое число. Мой кузен Гриша на эту цифру в лотерею корову выиграл.

– Значит, и ты выиграл?!!

– Нет, – робко прошептал он, запуганный моим криком, моими оскорблениями, моей иронией.

Я схватил его за шиворот.

– Так как же ты, каналья, находишь это число счастливым?!

– Постой… Пусти! Я бы, может быть, и выиграл, а только, уходя из дому, забыл ключ и с дороги вернулся. А это считается очень нехорошо. Примета…

* * *

Рассказанную мною правдивую историю я считаю очень нравоучительной.

Тем не менее я уверен, что среди моих читателей найдется пара-другая людей, которые запомнят цифры 38 и 86.

И подумают они: «Что ты там себе ни говори, а мы на эти цифры возьмем карточку и сыграем в лото».

Так и быть, сообщу я для них еще одну, самую верную счастливую цифру: 59.

Играйте на нее… Замечательная цифра.

А проиграете, – значит, покойника встретили или кошка дорогу перебежала.

Так вам и надо! Мне все равно вас не жаль.

Наслаждение жизнью

I

Скупость – одно, а бережливость – совсем другое: насколько мы все относимся с брезгливостью и презрением к скупому человеку, настолько мы обязаны относиться с уважением к человеку бережливому, к человеку, который не повесится из-за копейки, но и не швырнет ни за что даром, куда попало, лишний рубль.

Именно о таком человеке, о студенте ветеринарного института, неизвестном мне по фамилии, – и расскажу я.

Зайдя однажды жарким днем в прохладную полутемную пивную, я сел за угловой столик и потребовал себе пива.

Кроме меня, в пивной сидели за целой батареей бутылок два студента: ветеринар – бережливый и универсант – простой, обыкновенный, безличный.

Вели они такой разговор.

– А вот ты не разобьешь еще один бокал, – говорил безличный студент, улыбаясь с самым провокаторским видом. – Ни за что не разобьешь.

– Я? Не разобью?

– Конечно, не разобьешь. Где тебе!..

– А как же я первый стакан разбил?..

– Ну, первый ты разбил нечаянно… Это что! Это всякий может разбить. А ты специально разбей.

Ветеринар с минуту подумал.

– Нешто разбить? Постой… Эй, человек!

Бледный тупой слуга, с окаменевшим от скуки и бессонницы лицом, приблизился…

– Послушай, человек… Сколько вы берете за стакан, если его разбить?

– Десять копеек.

– Только-то?! Господи! А я думал, полтинник или еще больше. Да за эти деньги я могу хоть шесть стаканов разбить…

На столе стояли четыре стакана, до половины наполненные темным и светлым пивом.

– Эхе! – сказал ветеринар. – Позволить себе, что ли?

И легким движением руки сбросил стаканы на пол.

– Сорок копеек, – автоматично отметил слуга.

– Черт с ним, – залихватски сказал ветеринар. – Плачивали и побольше. Люблю кутнуть!

Потом в голову ему пришла какая-то другая мысль.

– Эй, человеке! А пустую бутылку если разбить – сколько стоит?

– Пять копеек-с.

Ветеринар приятно изумился:

– Смотри, как странно: маленький стакан – гривенник, большая бутылка – пятак.

– А вот ты не разобьешь сразу шесть бутылок, – усмехнулся безличный студент.

– Я? Не разобью?..

– Конечно. Где тебе!

– Шесть бутылок? Плохо ж ты меня знаешь! Эхма!

Со звоном, треском и лязгом полетели бутылки на пол.

Хозяин вышел из-за стойки и упрекнул:

– Нельзя, господа студенты, безобразить. Что же это такое – посуду бить!..

– Вы не бойтесь, мы заплатим, – успокоительно сказал ветеринар.

– Я не к тому, а вот посетителю, может быть, беспокойно.

Я пожал плечами:

– Мне все равно.

– Мерси, – общительно обратился ко мне студент. – Вы подумайте, какая дешевка: гривенник за бокал!

– Да, – подтвердил его товарищ. – Хоть целый день бей.

– В дорогом ресторане не очень-то разойдешься, – сказал ветеринар с видом экономной хозяйки, страдающей от дороговизны продуктов для стряпни. – Дерут там, наверное, семь шкур. Хм!.. А тут – гривенник.

Он повертел в руках стакан, подробно осмотрел его и бросил на пол.

– Во французском ресторане за бокал с вас рупь возьмут, – отозвался из-за стойки хозяин.

– Подумайте, а? А тут за эти деньги десять разбить можно. Брось, Миша, свой стакан… Чего там! В кои веки разойдешься… Вот так… Молодец. Человек! Еще полдесяточка.

Нельзя сказать, чтобы у амфитриона был вид беззаботного пьяного кутилы, безрассудно крушащего все на своем пути. Было заметно, что он не выходит из бюджета, доставляя себе и своему другу только ту порцию удовольствия, которую позволяли средства.

– Человек! Сколько за посуду?

– Девяносто копеек.

– Вот тебе – видишь, Миша! А ты говорил: «Пойдем в ресторан». Там бы с нас содрали… Хо-хо! А тут… Девяносто? Получай рубль. Постой… Дай-ка еще стакан… Ну вот. Теперь сдачи не надо. Ровно рубль.

Довольный, он откинулся на спинку стула и с благодушным видом стал осматривать комнату.

II

Пошептавшись с товарищем, ветеринар встал, подошел к стойке и спросил хозяина:

– Сколько этот увражик стоит?

«Увражиком» он назвал гипсового раскрашенного негра высотой в аршин, стоявшего на стойке и держащего в руках какую-то корзину.

– Это-с? Четыре рубля.

– Да что вы! В уме ли? За такую чепуху – четыре рубля!

– Помилуйте – настоящий негр.

– Какой он там настоящий!.. Тут, я думаю, матерьялу не больше чем на целковый…

– А работа-с? Не цените?

– Ну и работа – целковый. Предовольно с вас будет два рублика. Хотите?

– Не могу-с. Обратите внимание на глаза – белки-то… вво! Материал? Настоящий гипс!

– Ну – два с полтиной. Никто вам за него больше не даст. Негритишка-то подержанный.

– Помилуйте, это и ценится: старинная вещь – третий год стоит. Обратите внимание на фартук – настоящего голубого цвета.

– Вы отвлекаетесь, хозяин. Хотите три рубля? Больше – ей-ей гроша не дам. Миша, как ты думаешь?

– Конечно, уступите, – отозвался Миша. – Чего там! Другого купите, лучше этого.

– Ну знаете что, – сказал хозяин. – Ладно. Три с полтиной – забирайте.

– За этого негра?! – фальшиво удивился ветеринар. – Ну, знаете ли. Еще вопрос – настоящий ли это гипс?! Вы бы еще пять рублей запросили… ха-ха! Берете три? А то и не надо – в другом месте дешевле уступят.

– Да накиньте хоть двугривенный, – простонал корыстолюбивый хозяин.

– Позвольте-ка, я его еще осмотрю. Гм! Ну ладно. Куда ни шел еще двугривенный. Верно, Миша?

– Верно.

– Значит – три двадцать?

– Три двадцать.

– Эхма! – дико вскричал ветеринар, поднимая над головой негра. – Кутить так кутить. Ур-ра!

Он хватил негра об пол, оттолкнул ногой подкатившуюся к нему гипсовую голову и вынул из кармана кошелек.

– Дайте с пяти рублей сдачи.

Потом он расплачивался со слугой за пиво.

– Сколько?

– Два с полтиной.

Он повертел в руках трехрублевую бумажку и наклонился к товарищу:

– Я думаю, ему за два с полтиной – полтинник на чай – много?

– Много, – кивнул головой товарищ. – Нужно десять процентов.

– Верно. Постой… (Оопустив голову, он погрузился в какие-то расчеты.) Ну вот!

Он смел рукой на пол два стакана, бутылку и отдал слуге три рубля.

– Теперь правильно и сдачи не надо. Пойдем, Миша.

И они ушли оба, напялив на лохматые головы фуражки, – тот, что казался безличным, – универсант Миша, и ветеринар – бережливый, хозяйственный человек, рассчитывающий каждый грош.

Фат

Подслушивать – стыдно.

Отделение первого класса в вагоне Финляндской железной дороги было совершенно пусто.

Я развернул газету, улегся на крайний у стены диван и, придвинувшись ближе к окну, погрузился в чтение.

С другой стороны хлопнула дверь, и сейчас же я услышал голоса двух вошедших в отделение дам:

– Ну вот видите… Тут совершенно пусто. Я вам говорила, что крайний вагон совсем пустой… По крайней мере, можем держать себя совершенно свободно. Садитесь вот сюда. Вы заметили, как на меня посмотрел этот черный офицер на перроне?

Бархатное контральто ответило:

– Да… В нем что-то есть.

– Могли бы вы с таким человеком изменить мужу?

– Что вы, что вы! – возмутилось контральто. – Разве можно задавать такие вопросы?! А в-третьих, я бы никогда ни с кем не изменила своему мужу!!

– А я бы, знаете… изменила. Ей-богу. Чего там, – с подкупающей искренностью сознался другой голос, повыше. – Неужели вы в таком восторге от мужа? Он, мне кажется, не из особенных. Вы меня простите, Елена Григорьевна!..

– О, пожалуйста, пожалуйста. Но дело тут не в восторге. А в том, что я твердо помню, что такое долг!

– Да ну-у?..

– Честное слово. Я умерла бы от стыда, если бы что– нибудь подобное могло случиться. И потом, мне кажется таким ужасным одно это понятие: «измена мужу»!

– Ну, понятие как понятие. Не хуже других.

И, помолчав, этот же голос сказал с невыразимым лукавством:

– А я знаю кого-то, кто от вас просто без ума!

– А я даже знать не хочу. Кто это? Синицын?

– Нет, не Синицын!

– А кто же? Ну, голубушка… Кто?

– Мукосеев.

– Ах, этот…

– Вы меня простите, милая Елена Григорьевна, но я не понимаю вашего равнодушного тона… Ну можно ли сказать про Мукосеева: «Ах, этот»… Красавец, зарабатывает, размашистая натура, успех у женщин поразительный.

– Нет, нет… ни за что!

– Что «ни за что»?

– Не изменю мужу. Тем более с ним.

– Почему же «тем более»?

– Да так. Во-вторых, он за всеми юбками бегает. Его любить, я думаю, одно мученье.

– Да ежели вы к нему отнесетесь благосклонно – он ни за какой юбкой не побежит.

– Нет, не надо. И потом он уж чересчур избалован успехом. Такие люди капризничают, ломаются…

– Да что вы говорите такое! Это дурак только способен ломаться, а Николай Алексеевич умный человек. Я бы на вашем месте…

– Не надо!! И не говорите мне ничего. Человек, который ночи проводит в ресторанах, пьет, играет в карты…

– Милая моя! Да что же он, должен дома сидеть да чулки вязать? Молодой человек…

– И не молодой он вовсе! У него уже темя просвечивает…

– Где оно там просвечивает… А если и просвечивает, так это не от старости. Просто молодой человек любил, жил, видел свет…

Контральто помедлило немного и потом, после раздумья, бросило категорически:

– Нет! Уж вы о нем мне не говорите. Никогда бы я не могла полюбить такого человека… И в-третьих, он фат!

– Он… фат? Миленькая Елена Григорьевна, что вы говорите? Да вы знаете, что такое фат?

– Фат, фат и фат! Вы бы посмотрели, какое у него белье, – прямо как у шансонетной певицы!.. Черное, шелковое – чуть не с кружевами… А вы говорите – не фат! Да я…

* * *

И сразу оба голоса замолчали: и контральто, и тот, что повыше. Как будто кто ножницами нитку обрезал. И молчали оба голоса так минут шесть-семь, до самой станции, когда поезд остановился.

И вышли контральто и сопрано молча, не глядя друг на друга и не заметив меня, прижавшегося к углу дивана…

Сельскохозяйственный рассказ

Мы – любимая мною женщина и я – вышли из лесу, подошли к обрыву и замерли в немом благоговейном восхищении.

Я нашел ее руку и тихо сжал в своей.

Потом прошептал:

– Как хорошо вышло, что мы заблудились в лесу… Не заблудись мы – никогда бы нам не пришлось наткнуться на эту красоту. Погляди-ка, каким чудесным пятном на сочном темно-зеленом фоне выделяется эта белая рубаха мальчишки-рыболова. А река – какая чудесная голубая лента!..

– О, молчи, молчи, – шепнула она, прижимаясь щекой к моему плечу.

И мы погрузились в молчаливое созерцание…

– Это еще что такое? Кто такие? Вы чего тут делаете? – раздался пискливый голос за нашими спинами.

– Ах!

Около нас стоял маленький человек в чесучовом пиджаке и в черных длиннейших, покрытых до колен пылью брюках, которые чудовищно широкими складками ложились на маленькие сапоги.

Глаза неприязненно шныряли по сторонам из-под дымчатых очков, а бурые волосы бахромой прилипли к громадному вспотевшему лбу. Жокейская фуражечка сбилась на затылок, а в маленьких руках прыгал и извивался, как живой, желтый хлыст.

– Вы зачем здесь? Что вы тут делаете? А? Почему такое?

– Да вам-то какое дело? – грубо оборвал я.

– Это мне нравится! – злобно-торжествующе всплеснул он руками. – «Мне какое дело!?» Да земля-то эта чья? Лес-то это чей? Речушка эта – чья? Обрыв этот – китайского короля, что ли? Мой!! Все мое.

– Очень возможно, – сухо возразил я, – но мы ведь не съедим всего этого?

– Еще бы вы съели, еще бы съели! А разве по чужой-то земле можно ходить?

– А вы бы на ней написали, что она ваша.

– Да как же на ней написать?

– Да вот так по земле бы и расписали, как на географических картах пишется: «Земля Черт Иваныча».

– Ага! Черт Иваныча? Так зачем же вы прилезли к Черту Иванычу?!

– Мы заблудились.

– «Заблудились»!.. Если люди заблудятся, они сейчас же ищут способ найти настоящую дорогу, а вы вместо этого целых полчаса видом любовались.

– Да скажите, пожалуйста, – с сердцем огрызнулся я, – что, вам какой-нибудь убыток от того, что мы полюбовались вашим пейзажем?..

– Не убыток, но ведь и прибыли никакой я пока не вижу…

– Господи! Да какую же вам нужно прибыль?!

– Позвольте, молодой человек, позвольте, – пропищал он, усаживаясь на не замеченную нами до тех пор скамейку, скрытую в сиреневых кустах. – Как это вы так рассуждаете?.. Эта земля, эта река, эта вот рощица мне при покупке – стоила денег?

– Ну стоила.

– Так. Вы теперь от созерцания ее получаете совершенно определенное удовольствие или не получаете?

– Да что ж… Вид, нужно сознаться, очаровательный.

– Ага! Так почему же вы можете прийти, когда вам заблагорассудится, стать столбом и начать восхищаться всем этим?! Почему вы, когда приходите в театр смотреть красивую пьесу или балет, – вы платите антрепренеру деньги? Какая разница? Почему то зрелище стоит денег, а это не стоит?

– Сравнили! Там очень солидные суммы затрачены на постановку, декорации, плату актерам…

– Да тут-то, тут – это вот все мне даром досталось, что ли? Я денег не платил? «Актеры»! Я тоже понимаю, что красиво, что некрасиво: вон тот мальчишка на противоположном берегу, белым пятном выделяется на фоне сочной темной зелени – это красиво! Верно… Пятно! Да ведь я этому пятну жалованье-то шесть рублей в месяц плачу или не плачу?

Я возразил, нетерпеливо дернув плечом:

– Не за то же вы ему платите жалованье, чтобы он выделялся на темно-зеленом фоне?

– Верно. Он у меня кучеренок. Да ведь рубашка-то эта от меня дадена, или как? Да если бы он, паршивец, в розовой или оранжевой рубашке рыбу удил – ведь он бы вам весь пейзаж испортил. Было бы разве такое пятно?

– Послушайте, вы, – сказал я, выйдя из себя. – Что вам надо? Чего вы хотите? Я стою здесь с этой дамой и любуюсь видом, расстилающимся перед нами. Это ваш вид? Вы за него хотите получить деньги? Пожалуйста, подайте нам счет!!

– И подам! – выпятил он грудь, с видом общипанного, но бодрящегося петуха. – И подам!

– Ну вот. Самое лучшее. А сейчас оставьте нас в покое. Дайте нам быть одним. Когда нужно будет, мы позовем.

Ворча что-то себе под нос, он криво поклонился моей спутнице, развел руками и исчез в кустах.

II

Хотя настроение уже было сбито, скомкано, растоптано, но я попытался овладеть собой:

– Ушел? Ну и слава богу. Вот навязчивое животное. А хорошо тут… Действительно замечательно! Посмотри, милая, на этот перелесок. Он в теневых местах кажется совсем голубым, а по голубому разбросаны какие пышные, какие горячие желтые пятна освещенных солнцем ветвей. А полюбуйся, как чудесно вьется эта белая полоска дороги среди буйной разноцветной вакханалии полевых цветов. И как уютна, как хороша вон та красная крыша домика, белая стена которого так ослепительно сверкает на солнце. Домик – он как-то успокаивает, он как-то подчеркивает, что это не безотрадная пустыня… И эта, как будто вырезанная на горизонте, потемневшая серая мельница… Ее крылья так лениво шевелятся в ленивом воздухе, что самому хочется лечь в траву и глядеть так долго-долго, ни о чем не думая… И вдыхать этот головокружительный медовый запах цветов.

Мы долго стояли, притихшие, завороженные.

III

– Пойдем… Пора, – тихо шепнула мне моя спутница.

– Сейчас. Эй, человек, – насмешливо крикнул я. – Счет!

Тотчас же послышался сзади нас треск кустов, и мы снова увидели нелепого землевладельца, который подходил к нам, размахивая какой-то бумажкой.

– Готов счет? – дерзко крикнул я.

– Готов, – сухо отвечал он. – Вот, извольте.

На бумажке стояло:

> СЧЕТ
>
> от помещика Кокуркова на виды местности, расположенной на его земле, купленной у купца Семипалова по купчей крепости, явленной у нотариуса Безбородько.
>
> За стояние у обрыва, покрытого цветами, испускающими головокружительный медовый запах – 2 руб. ___ к.

Река, так называемая голубая лента – 1 руб. ___ к.

Яркое белое пятно мальчика на темно-зеленом фоне кустов – __ руб. 50 к.

Голубой перелесок, покрытый желтыми пятнами, ввиду дальности расстояния на сумму – __ руб. 30 к.

Белая полоска дороги, среди буйной вакханалии цветов; в общем за все – __ руб. 60 к.

Успокаивающий ослепительный домик с уютной красной крышей, подчеркивающий, что это не безотрадная пустыня – 1 руб. 70 к.

Потемневшая серая мельница крестьянина Кривых, будто вырезанная на горизонте (настоящая! Это так только кажется) – __ руб. 70 к.

_____

Итого всего вида на – 6 руб. 60 к.

Скривив губы, я педантически проверил счет и заявил, придавая своим словам оттенок презрения:

– К счету приписано.

– Где? Где? Не может быть.

– Да вот вы под шумок ввернули тут семь гривен за мельницу какого-то крестьянина Кривых. Ведь это не ваша мельница, а Кривых… Как же вы так это, а?

– Позвольте-с! Да она только с этого обрыва и хороша. А подойдите ближе – чепуха, дрянь, корявая мельничонка.

– Да ведь не ваша же?

– Да я ведь вам и не ее самое продаю, а только вид на нее. Вид отсюда. Понимэ? Это разница. Ей от этого не убудет, а вы получили удовольствие…

– Э, э! Это что такое? За этот паршивый домишко вы поставили полтора рубля?! Это грабеж, знаете ли.

– Помилуйте! Чудесный домик. Вы сами же говорили: «Домик, он как-то успокаивает, как-то подчеркивает…»

– Черт его знает, что он там подчеркивает, только за него вы три шкуры дерете. Предовольно с вас и целковый.

– Не могу. Верьте совести, не могу. Обратите внимание, как белая стена ослепительно сверкает на солнце. И не только сверкает, но и подчеркивает, что это не безотрадная пустыня. Мало вам этого?

Я решил вытянуть из него жилы.

– И за дорогу содрали. Разве это цена – шесть гривен? Мы на нее почти и не смотрели. Скверная дорожка, кривая какая-то.

– Да ведь тут за все вместе: и за дорогу, и за буйную вакханалию цветов. Извольте обратить ваше внимание: ежели оценить по-настоящему вакханалию, то на дорогу не больше двугривенного придется. Пусть вам в другом месте покажут такую дорогу за двугривенный с обрыва…

Я повернул счет в руках и придирчиво заявил:

– Нет, я этого счета не могу оплатить.

– Почему же-с? Как смотреть, так можно, а платить – так в кусты?!

– Счет не по форме. Должен быть оплачен гербовым сбором.

– Да-с? Вы так думаете? Это по какому такому закону?

– По обыкновенному. Счета на сумму свыше пяти рублей должны быть оплачены гербовым сбором.

– Ах, вы вот как заговорили?! Пожалуйста! Вычеркиваю вам мельницу крестьянина Кривых и речку. Черт с ней, все равно, зря течет. А уж четыре девяносто – это вы мне подайте.

Вот вам и Черт Иваныч!

Я вынул кошелек, сунул ему в руку пятирублевую бумажку и, сделав величественный жест: «Сдачи не надо», взял свою спутницу под руку.

По дороге от обрыва мы наткнулись на очень красивую пышную липу, но я уж воздержался от выражения громогласного восторга.

Слабая струна

Я сидел у Красавиных. Горничная пришла и сказала:

– Вас к телефону просят.

Я удивился:

– Меня? Это ошибка. Кто меня может просить, если я никому не говорил, что буду здесь!

– Не знаю-с.

Я вышел в переднюю, снял телефонную трубку и с любопытством приложил ее к уху:

– Алло! Кто говорит?

– Это я, Чебаков. Послушай, мы сейчас в «Альгамбре» и ждем тебя. Приезжай.

Я отвечал:

– Во-первых, приехать я не могу, так как должен возвратиться домой; дома никого нет, и даже прислуга отпущена в больницу; а во-вторых – кто тебе мог сказать, что я сейчас у Красавиных?

– Врешь, врешь! Как же так у тебя дома никого нет, когда из дому мне и ответили по телефону, что ты здесь.

– Не знаю! Может быть, я сошел с ума, или ты меня мистифицируешь… Квартира заперта на ключ, и ключ у меня в кармане. Кто с тобой говорил?

– Понятия не имею. Какой-то незнакомый мужской голос. Прямо сказал: «Он сейчас у Красавиных»… И сейчас же повесил трубку. Я думал – твой родственник…

– Непостижимо!! Сейчас же лечу домой. Через двадцать минут все узнаю.

– Пока ты еще доберешься домой, – возразил заинтересованный Чебаков. – Ты лучше сейчас позвони к себе. Тогда сейчас же узнаешь.

С лихорадочной поспешностью я дал отбой, вызвал центральную и попросил номер своей квартиры.

Через полминуты после звонка кто-то снял в моем кабинете трубку, и мужской голос нетерпеливо сказал:

– Ну?! Кто там еще?

– Это номер 233-20?

– Да, да, да!! Что нужно?

– Кто вы такой? – спросил я.

Около полминуты там царило молчанье. Потом тот же голос неуверенно заявил:

– Хозяина нет дома.

– Еще бы! – сердито вскричал я. – Конечно, нет дома, когда я и есть хозяин!! Кто вы такой и что вы там делаете?

– Нас двое. Постойте, я сейчас позову товарища. Гриша, пойди-ка к телефону.

Другой голос донесся до меня:

– Ну что там еще? Все время звонят, то один, то другой. Работать не дают!! Что нужно?

– Что вы делаете в моей квартире?!! – взревел я.

– Ах, это вы… Хозяин? Послушайте, хозяин… Где у вас ключи от письменного стола?!! Искали, искали – голову сломать можно.

– Какие ключи?! Зачем?

– Да ведь не ломать же нам всех одиннадцати ящиков! – ответил рассудительный голос. – Конечно, если не найдем ключей, придется взломать замки, но это много возни. Да и вы должны бы пожалеть стол. Столик-то небось недешевый. Рублей, поди, двести? Коверкать его – что толку?..

– Ах вы, мерзавцы, мерзавцы, – вскричал я с горечью. – Это вы, значит, забрались обокрасть меня!.. Хорошо же!.. Не успеете убежать, как я подниму на ноги весь дом.

– Ну, улита едет, когда-то будет, – произнес рассудительный голос. – Мы десять раз как уйти успеем. Так как же, барин, а? Ключи-то от стола – дома или где?

– Жулики вы проклятые, собачье отродье! – бросал я в трубку жестокие слова, стараясь вложить в них как можно больше яду и обидного смысла. – Сгниете вы в тюрьме, как черви. Чтоб у вас руки поотсыхали, разбойники вы анафемские! Давно, вероятно, по вас веревка плачет.

– Дурак ты, дурак, барин, – произнес тот же голос, убивавший меня своей рассудительностью. – Мы к тебе по-человечески… Просто жалко зря добро портить – мы и спросили… Что ж, тебе трудно сказать, где ключи? Должен бы понимать…

– Не желаю я с такими жуликами в разговоры пускаться! – с сердцем крикнул я.

– Эх, барин… Что ж ты думаешь, за такие твои слова так тебе ничего и не будет? Да вот сейчас возьму, выну перочинный ножик и всю мягкую мебель в один момент изрежу. И стол изрежу, и шкаф. К черту будет годиться твой кабинет… Ну хочешь?

– Страшный вы человек, ей-богу, – сказал я примирительно. – Должны бы, кажется, войти в мое положение. Забираетесь ко мне в дом, разоряете меня, да еще хотите, чтобы я с вами, как с маркизами, разговаривал.

– Милый человек! Кто тебя разоряет? Подумаешь, большая важность, если чего-нибудь недосчитаешься. Нам-то ведь тоже жить нужно.

– Я это прекрасно понимаю. Очень даже прекрасно, – согласился я, перекладывая трубку в левую руку и прижимая правую, для большей убедительности, к сердцу. – Очень хорошо я все это понимаю. Но одного не могу понять: для чего вам бесцельно портить мои вещи? Какая вам от этого прибыль?

– А ты не ругайся!

– Я и не ругаюсь. Я вижу – вы умные, рассудительные люди. Согласен также с тем, что вы должны что-нибудь получить за свои хлопоты. Ведь небось несколько дней следили за мной, а?

– А еще бы!.. Ты думаешь, что все так сразу делается?

– Понимаю! Милые! Прекрасно понимаю! Только одного не могу постичь: для чего вам ключи от письменного стола?

– Да деньги-то… Разве не в столе?

– Ничего подобного! Напрасный труд! Заверяю вас честным словом.

– А где же?

– Да, признаться, деньги у меня припрятаны довольно прочно, только денег немного. Вы, собственно, на что рассчитываете, скажите мне, пожалуйста?

– То есть как?

– Ну… что вы хотите взять?

– Да что ж!.. Много ведь не унесешь, – сказал голос с искренним сожалением. – Сами знаете, дворник всегда с узлом зацепить может. Взяли мы, значит, кое-что из столового серебра, пальто, шапку, часы-будильник, пресс-папье серебряное…

– Оно не серебряное, – дружески предостерег я.

– Ну тогда шкатулочку возьмем. Она, поди, недешевая. А?

– Послушайте… братцы! – воскликнул я, вкладывая в эти слова всю силу убеждения. – Я вхожу в ваше положение и становлюсь на вашу точку зрения… Ну повезло вам, выследили,

забрались… Ваше счастье! Предположим, заберете вы эти вещи и даже пронесете их мимо дворника. Что же дальше?! Понесете вы их, конечно, к скупщику краденого и, конечно, получите за это гроши. Ведь я же знаю этих вампиров. На вашу долю приходится риск, опасность, побои, даже тюрьма, а они сидят сложа руки и забирают себе львиную долю.

– Это верно, – сочувственно поддакнул голос.

– А еще бы же не верно! – вскричал я в экстазе. – Конечно, верно. Это проклятый капиталистический принцип – жить на счет труда… Поймите: разве вы грабите? Вас грабят! Вы разве наносите вред? Нет, эти вампиры в тысячу раз вреднее!! Товарищ! Дорогой друг! Я вам сейчас говорю от чистого сердца: мне эти вещи дороги по разным причинам, а без будильника я даже завтра просплю. А что вы выручите за них? Гроши!! Вздор. Ведь вам и полсотни не дадут за них.

– Где там! – послышался сокрушенный вздох. – Дай бог четвертную выцарапать.

– Дорогие друзья!! Я вижу, что мы уже понимаем друг друга. У меня дома лежат деньги – это верно – сто пятнадцать рублей. Без меня вы их все равно не найдете. А я вам скажу, где они. Забирайте себе сто рублей (пятнадцать мне завтра на расходы нужно) и уходите. Ни заявлений в полицию, ни розысков не будет. Это просто наше частное товарищеское дело, которое никого не касается. Хотите?

– Странно это как-то, – нерешительно сказал вор (если бы я его видел, то добавил бы: «Почесывая затылок», потому что у него был тон человека, почесывающего затылок). – Ведь мы уже все серебро увязали.

– Ну что ж делать… Оставьте его так, как есть… Я потом разберу.

– Эх, барин, – странно колеблясь, промолвил вор. – А ежели мы и деньги ваши заберем, и вещи унесем, а?

– Милые мои! Да что вы, звери, что ли? Тигры? Я уверен, что вы оба в глубине души очень порядочные люди… Ведь так, а?

– Да ведь знаете… Жизнь наша такая собачья.

– А разве ж я не понимаю?! Господи! Истинно сказали: собачья. Но я вам верю, понимаете – верю. Вот если вы мне дадите честное слово, что вещей не тронете, – я вам прямо и скажу: деньги там-то. Только вы же мне оставьте пятнадцать рублей. Мне завтра нужно. Оставите, а?

Вор сконфуженно засмеялся и сказал:

– Да ладно. Оставим.

– И вещей не возьмете?

– Да уж ладно. Пусть себе лежат. Это верно, что с ними наплачешься.

– Ну вот и спасибо. На письменном столе стоит коробка для конвертов, голубая. Сверху там конверты и бумага, а внизу деньги. Четыре двадцатипятирублевки и три по пяти. Согласитесь, что вам бы и в голову не пришло заглянуть в эту коробку. Ну вот. Не забудьте погасить электричество, когда уйдете. Вы через черный ход прошли?

– Так точно.

– Ну вот. Так вы, уходя, заприте все-таки дверь на ключ, чтобы кто-нибудь не забрался. Ежели дворник наткнется на лестнице – скажите: «Корректуру приносили». Ко мне часто носят. Ну теперь, кажется, все. Прощайте, всего вам хорошего.

– А ключ куда положить от дверей?

– В левый угол, под вторую ступеньку. Будильник не испортили?

– Нет, в исправности.

– Ну и слава богу. Спокойной ночи вам.

* * *

Когда я вернулся домой, в столовой на столе лежал узел с вещами, возле него – три пятирублевые бумажки и записка:

«Будильник поставили в спальню. На пальто воротник моль съела. Взбутеньте прислугу. Смотрите же – обещали не заявлять! Гриша и Сергей».

* * *

Все друзья мои в один голос говорят, что я умею прекрасно устраиваться в своей обычной жизни. Не знаю. Может быть. Может быть.

Я – как адвокат

I

– Поздравьте меня! – сказал мне один знакомый – жизнерадостный, улыбающийся юноша. – Я уже помощник присяжного поверенного… Адвокат!

– Да что вы говорите!

– Вот вам и да что! Настоящий адвокат!

Лицо его приняло серьезное, значительное выражение.

– Не шутите?

– Милый мой… Люди, стоящие на страже законов, не шутят. Защитники угнетенных, хранители священных заветов Александра Второго, судебные деятели не имеют права шутить. Нет ли дельца какого-нибудь?

– Как не быть дельцу! У литератора, у редактора журнала дела всегда есть. Вот, например, через неделю назначено мое дело. Привлекают к ответственности за то, что я перепечатал заметку о полицеймейстере, избившем еврея.

– Он что же?.. Не бил его, что ли?

– Он-то бил. А только говорят, что этого нельзя было разглашать в печати. Он бил его, так сказать, доверительно, не для печати.

– Хорошо, – сказал молодой адвокат. – Я беру это дело. Дело это трудное, запутанное дело, но я его беру.

– Берите. Какое вы хотите вознаграждение за ведение дела?

– Господи! Как обыкновенно.

– А как обыкновенно?

– Ребенок! (Он с покровительственным видом потрепал меня по плечу.) Неужели вы не знаете обычного адвокатского гонорара? Из десяти процентов! Понимаете?

– Понимаю. Значит, если я получу три месяца тюрьмы, то на вашу долю придется девять дней? Знаете, я согласен работать с вами даже на тридцати процентах.

Он немного смутился.

– Гм! Тут что-то не так… Действительно, из чего я должен получить десять процентов? У вас какой иск?

– Никакого иска нет.

– Значит, – воскликнул он с отчаянным выражением лица, – я буду вести дело и ничего за это с вас не получу?

– Не знаю, – пожал я плечами с невинным видом. – Как у вас там, у адвокатов полагается?

Облачко задумчивости слетело с его лица. Лицо это озарилось солнцем.

– Знаю! – воскликнул он. – Это дело ведь – политическое?

– Позвольте… Разберемся, из каких элементов оно состоит: из русского еврея, русского полицеймейстера и русского редактора! Да, дело, несомненно, политическое.

– Ну вот. А какой же уважающий себя адвокат возьмет деньги за политическое дело?!

Он сделал широкий жест.

– Отказываюсь! Кладу эти рубли на алтарь свободы!

Я горячо пожал ему руку.

II

– Систему защиты мы выберем такую: вы просто заявите, что вы этой заметки не печатали.

– Как так? – изумился я. – У них ведь есть номер журнала, в котором эта заметка напечатана.

– Да? Ах, какая неосторожность! Так вы вот что: вы просто заявите, что это не ваш журнал.

– Позвольте… Там стоит моя подпись.

– Скажите, что поддельная. Кто-то, мол, подделал. А? Идея?

– Что вы, милый мой! Да ведь весь Петербург знает, что я редактирую журнал.

– Вы, значит, думаете, что они вызовут свидетелей?

– Да, любой человек скажет им это!

– Ну, один человек, – это еще не беда. Можно оспорить. Testis unus testis nullus… Я-то эти закавыки знаю. Вот если много свидетелей – тогда плохо. А нельзя сказать, что вы спали, или уехали на дачу, а ваш помощник напился пьян и выпустил номер?

– Дача в декабре? Сон без просыпу неделю? Пьяный помощник? Нет, это не годится. Заметка об избиении полицеймейстером еврея помещена, а я за нее отвечаю как редактор.

– Есть! Знаете, что вы покажете? Что вы видели, как полицмейстер бил еврея.

– Да я не видел!!

– Послушайте… Я понимаю, что подсудимый должен быть откровенен со своим защитником. Но им-то вы можете сказать, чего и на свете не было.

– Да как же я это скажу?

– А так: поехал, мол, я по своим делам в город Витебск (сестру замуж выдавать или дочку хоронить), ну, иду, мол, по улице, вдруг смотрю: полицеймейстер еврея бьет. Какое, думаю, он имеет право?! Взял да и написал.

– Нельзя так. Бил-то он его в закрытом помещении. В гостинице.

– О господи! Да кто-нибудь же видел, как он его бил? Были же свидетели?

– Были. Швейцар видел.

Юный крючкотвор задумался.

– Ну хорошо, – поднял он голову очень решительно. – Будьте покойны, – я уже знаю, что делать. Выкрутимся!

III

Когда мы вошли в зал суда, мой адвокат так побледнел, что я взял его под руку и дружески шепнул:

– Мужайтесь.

Он обвел глазами скамьи для публики и, чтобы замаскировать свой ужас перед незнакомым ему местом, заметил:

– Странно, что публики так мало. Кажется, дело сенсационное, громкий политический процесс, а любопытных нет.

Действительно, на местах для публики сидели только два гимназиста, прочитавшие, очевидно, в газетах заметку о моем деле и пришедшие поглазеть на меня.

В глазах их читалось явно выраженное сочувствие по моему адресу, возмущение по адресу тяжелого русского режима, и сверкала в этих открытых чистых глазах явная решимость в случае моего осуждения отбить меня от конвойных (которых, к сожалению, не было), посадить на мустанга и ускакать в прерии, где я должен был прославиться под кличкой кровавого мстителя Железные Очки…

Я невнимательно прослушал чтение обвинительного акта, рассеянно ответил на заданные мне вопросы и вообще, все свое внимание сосредоточил на бедном адвокате, который сидел с видом героя повести Гюго «Последний день приговоренного к смерти».

Когда председатель сказал: «Слово принадлежит защитнику», – мой защитник притворился, что это его не касается. Со всем возможным вниманием он углубился в разложенные перед ним бумаги, поглядывая одним глазом на председателя.

– Слово принадлежит защитнику!

Я толкнул его в бок.

– Ну что же вы… начинайте!

– А? Да, да… Я скажу…

Он, шатаясь, поднялся.

– Прошу суд дело отложить до вызова новых свидетелей.

Председатель удивленно спросил:

– Каких свидетелей?

– Которые бы удостоверили, что мой обвиняемый…

– Подзащитный!

– Да… Что мой этот… подзащитный не был в городе в тот момент, когда вышел номер журнала.

– Это лишнее, – сказал председатель. – Обвиняемый – ответственный редактор и все равно отвечает за все, что помещено в журнале.

– Бросьте! – шепнул я. – Говорите просто вашу речь.

– А? Ну-ну. Господа судьи и вы, присяжные заседатели!..

Я снова дернул его за руку.

– Что вы! Где вы видите присяжных заседателей?

– А эти вот, – шепнул он мне. – Кто такие?

– Это ведь коронный суд. Без участия присяжных.

– Вот оно что! То-то я смотрю, что их так мало. Думал, заболели…

– Или спят, – сказал я. – Или на даче, да?

– Защитник, – заметил председатель, – раз вы начали речь, прошу с обвиняемым не перешептываться.

– В деле открылись новые обстоятельства, – заявил мой защитник, глядя на председателя взглядом утопающего.

– Говорите.

IV

– Господа судьи и вы… вот эти… коронные… тоже судьи. Мой обвиняемый вовсе даже не виноват. Я его знаю как высоконравственного человека, который на какие-нибудь подлости не способен…

Он жадно проглотил стакан воды.

– Ей-богу. Вспомните великого основателя судебных уставов… Мой защищаемый видел своими глазами, как полицеймейстер бил этого жалкого, бесправного еврея, положение которых в России…

– Опомнитесь! – шепнул я. – Ничего я не видел. Я перепечатал из газет. Там только один швейцар и был свидетелем избиения.

Адвокат – шепотом:

– Тссс! Не мешайте… Я нашел лазейку…

Вслух:

– Господа судьи и вы, коронные представители… Все мы знаем, каково живется руководителю русского прогрессивного издания. Штрафы, конфискации, аресты сыплются на него, как из ведра… изобилия! Свободных средств обыкновенно нет, а штрафы плати, а за все отдай! Что остается делать такому прогрессивному неудачнику? Он должен искать себе заработка на стороне, не стесняясь его сущностью и формой. Лишь бы честный заработок, господа судьи, и вы, присяжн… присяжные поверенные! Человек без предрассудков, мой защищаемый в свободное от редакционной работы время снискивал себе пропитание, чем мог. Конечно, мизерная должность швейцара второстепенной витебской гостиницы – это мало, слишком мало… Но нужно же жить и питаться, господа присяжные! И вот, мой защищаемый, находясь временно в должности такого швейцара в витебской гостинице, – сам, своими глазами, видел, как зарвавшийся представитель власти избивал бедного бесправного пасынка великой нашей матушки России, того пасынка, который, по выражению одного популярного писателя,

…создал песню, подобную стону,
И навеки духовно почил.

– Виноват, – заметил потрясенный председатель.

– Нет, уж вы позвольте мне кончить. И вот я спрашиваю: неужели правдивое, безыскусственное изложение виденного есть преступление?! Я должен указать на то, что юридическая природа всякого преступления должна иметь… исходить… выражать… наличность злой воли. Имела ли она место в этом случае? Нет! Положа сердце на руку – тысячу раз нет. Видел человек и написал. Но ведь и Тургенев, и Толстой, и Достоевский писали то, что видели. Посадите же и их рядом с моим подзащищаемым! Почему же я не вижу их рядом с ним?! И вот, господа судьи, и вы… тоже… другие судьи, – я прошу вас, основываясь на вышесказанном, вынести обвинительный приговор насильнику-полицеймейстеру, удовлетворив гражданский иск моего обвиняемого и за ведение дел издержки, потому что он не виноват, потому что правда да милость да царствуют в судах, потому что он продукт создавшихся условий, потому что он надежда молодой русской литературы!!!

Председатель, пряча в густых, нависших усах предательское дрожание уголков рта, шепнул что-то своему соседу и обратился к «надежде молодой русской литературы»:

– Обвиняемому предоставляется последнее слово.

Я встал и сказал, ясным взором глядя перед собою:

– Господа судьи! Позвольте мне сказать несколько слов в защиту моего адвоката. Вот перед вами сидит это молодое существо, только что сошедшее с университетской скамьи. Что оно видело, чему его там учили? Знает оно несколько юридических оборотов, пару-другую цитат, и с этим крохотным, микроскопическим багажом, который поместился бы в узелке, завязанном в углу носового платка, – вышло оно на широкий жизненный путь. Неужели ни на одну минуту жалость к несчастному и милосердие – этот дар нашего христианского учения – не тронули ваших сердец?! Не судите его строго, господа судьи, он еще молод, он еще исправится, перед ним вся жизнь. И это дает мне право просить не только о снисхождении, но и о полном его оправдании!

Судьи были, видимо, растроганы. Мой подзащитный адвокат плакал, тихонько сморкаясь в платок.

* * *

Когда судьи вышли из совещательной комнаты, председатель громко возгласил:

– Нет, не виновен!

Я, как человек обстоятельный, спросил:

– Кто?

– И вы признаны невиновным, и он. Можете идти.

Все окружили моего адвоката, жали ему руки, поздравляли…

– Боялся я за вас, – признался один из публики, пожимая руку моему адвокату. – Вдруг, думаю, закатают вас месяцев на шесть.

Выйдя из суда, зашли на телеграф, и мой адвокат дал телеграмму:

«Дорогая мама! Сегодня была моя первая защита. Поздравь – меня оправдали. Твой Ника».

Телеграфист Надькин

I

Солнце еще не припекало. Только грело. Его лучи еще не ласкали жгучими ласками, подобно жадным рукам любовницы; скорее нежная материнская ласка чувствовалась в теплых касаниях нагретого воздуха.

На опушке чахлого леса, раскинувшись под кустом на пригорке, благодушествовали двое: бывший телеграфист Надькин и Неизвестный человек, профессия которого заключалась в продаже горожанам колоссальных миллионных лесных участков в Ленкорани на границе Персии. Так как для реализации этого дела требовались сразу сотни тысяч, а у горожан были в карманах, банках и чулках лишь десятки и сотни рублей, то ни одна сделка до сих пор еще не была заключена, кроме взятых Неизвестным человеком двугривенных и полтинников заимообразно от лиц, ослепленных ленкоранскими миллионами.

Поэтому Неизвестный человек всегда ходил в сапогах, подметки которых отваливались у носка, как челюсти старых развратников, а конец пояса, которым он перетягивал свой стан, облаченный в фантастический бешмет, – этот конец делался все длиннее и длиннее, хлюпая даже по коленям подвижного Неизвестного человека.

В противовес своему энергичному приятелю бывший телеграфист Надькин выказывал себя человеком ленивым, малоподвижным, с определенной склонностью к философским размышлениям.

Может быть, если бы он учился, из него вышел бы приличный приват-доцент.

А теперь, хотя он и любил поговорить, но слов у него вообще не хватало, и он этот недостаток восполнял такой страшной жестикуляцией, что его жилистые, грязные кулаки, кое-как прикрепленные к двум вялым рукам-плетям, во время движения издавали даже свист, как камни, выпущенные из пращи.

Грязная форменная тужурка, обтрепанные, с громадными вздутиями на тощих коленях брюки и фуражка с полуоторванным козырьком – все это, как пожар – Москве, служило украшением Надькину.

II

Сегодня, в ясный пасхальный день, друзья наслаждались в полном объеме: солнце грело, бока нежила светлая весенняя, немного примятая травка, а на разостланной газете были разложены и расставлены, не без уклона в сторону буржуазности, полдюжины крашеных яиц, жареная курица, с пол-аршина свернутой бубликом «малороссийской» колбасы, покрывившийся от рахита кулич, увенчанный сахарным розаном, и бутылка водки.

Ели и пили истово, как мастера этого дела. Спешить было некуда; отдаленный перезвон колоколов навевал на душу тихую задумчивость, и, кроме того, оба чувствовали себя по-праздничному, так как голову Неизвестного человека украшала новая барашковая шапка, выменянная у ошалевшего горожанина чуть ли не на сто десятин ленкоранского леса, а телеграфист Надькин украсил грудь букетом подснежников и, кроме того, еще с утра вымыл руки и лицо.

Поэтому оба и были так умилительно-спокойны и неторопливы.

Прекрасное должно быть величаво…

Поели…

Телеграфист Надькин перевернулся на спину, подставил солнечным лучам сразу сбежавшуюся в мелкие складки прищуренную физиономию и с негой в голосе простонал:

– Хо-ро-шо!

– Это что, – мотнул головой Неизвестный человек, шлепая ради забавы отклеившейся подметкой. – Разве так бывает хорошо? Вот когда я свои ленкоранские леса сплавлю, – вот жизнь пойдет. Оба, брат, из фрака не вылезем… На шампанское чихать будем. Впрочем, продавать не все нужно: я тебе оставлю весь участок, который на море, а себе возьму на большой дороге, которая на Тавриз. Ба-альшие дела накрутим.

– Спасибо, брат, – разнеженно поблагодарил Надькин. – Я тебе тоже… Гм!.. Хочешь папироску?

– Дело. Але! Гоп!

Неизвестный поймал брошенную ему папироску, лег около Надькина, и синий дымок поплыл, сливаясь с синим небом…

III

– Хо-ррро-шо! Верно?

– Да.

– А я, брат, так вот лежу и думаю: что будет, если я помру?

– Что будет? – хладнокровно усмехнулся Неизвестный человек. – Землетрясение будет!.. Потоп! Скандал!.. Ничего не будет!!

– Я тоже думаю, что ничего, – подтвердил Надькин. – Все тоже сейчас же должно исчезнуть – солнце, земной шар, пароходы разные – ничего не останется!

Неизвестный человек поднялся на одном локте и тревожно спросил:

– То есть… Как же это?

– Да так. Пока я жив, все это для меня и нужно, а раз помру, – на кой оно тогда черт!

– Постой, брат, постой… Что это ты за такая важная птица, что раз помрешь, так ничего и не нужно?

Со всем простодушием настоящего эгоиста Надькин повернул голову к другу и спросил:

– А на что же оно тогда?

– Да ведь другие-то останутся?!

– Кто другие?

– Ну, люди разные… Там, скажем, чиновники, женщины, министры, лошади… Ведь им жить надо?

– А на что?

– «На что, на что»! Плевать им на тебя, что ты умер. Будут себе жить, да и все.

– Чудак! – усмехнулся телеграфист Надькин, нисколько не обидясь. – Да на что же им жить, раз меня уже нет?

– Да что ж они, для тебя только и живут, что ли? – с горечью и обидой в голосе вскричал продавец ленкоранских лесов.

– А то как же? Вот чудак – больше им жить для чего же?

– Ты это… Серьезно?

Злоба, досада на наглость и развязность Надькина закипели в душе Неизвестного. Он даже не мог подобрать слов, чтобы выразить свое возмущение, кроме короткой мрачной фразы:

– Вот сволочь!

Надькин молчал.

Сознание своей правоты ясно виднелось на лице его.

IV

– Вот нахал! Да что ж ты, значит, скажешь: что вот сейчас там в Петербурге или в Москве – генералы разные, сенаторы, писатели, театры – все это для тебя?

– Для меня. Только их там сейчас никого нет. Ни генералов, ни театров. Не требуется.

– А где же они?! Где?!!

– Где? Нигде.

– ?!! ?!!

– А вот если я, скажем, собрался, в Петербург приехал, – все бы они сразу и появились на своих местах. Приехал, значит, Надькин, и все сразу оживилось: дома выскочили из земли, извозчики забегали, дамочки, генералы, театры заиграли… А как уеду – опять ничего не будет. Все исчезнет.

– Ах, подлец!.. Ну и подлец же… Бить тебя за такие слова – мало. Станут ради тебя генералов, министров затруднять. Что ты за цаца такая?

Тень задумчивости легла на лицо Надькина.

– Я уже с детства об этом думаю: что ни до меня ничего не было, ни после меня ничего не будет… Зачем? Жил Надькин – все было для Надькина. Нет Надькина – ничего не надо.

– Так почему же ты, если ты такая важная персона, – не король какой-нибудь или князь?!

– А зачем? Должен быть порядок. И король нужен для меня, и князь. Это, брат, все предусмотрено.

Тысяча мыслей терзала немного охмелевшую голову Неизвестного человека.

– Что ж, по-твоему, – сказал он срывающимся от гнева голосом, – сейчас и города нашего нет, если ты из него вышел?

– Конечно, нет.

– А посмотри, вон колокольня… Откуда она взялась?

– Ну, раз я на нее смотрю, – она, конечно, и появляется. А раз отвернусь – зачем ей быть? Для чего?

– Вот свинья! А вот ты отвернись, а я буду смотреть – посмотрим, исчезнет она или нет?

– Незачем это, – холодно отвечал Надькин. – Разве мне не все равно – будет тебе казаться эта колокольня или нет?

Оба замолчали.

V

– Постой, постой, – вдруг горячо замахал руками Неизвестный человек. – А я, что ж, по-твоему, если умру… Если раньше тебя – тоже все тогда исчезнет?

– Зачем же ему исчезать, – удивился Надькин, – раз я останусь жить?! Если ты помрешь – значит, помер, просто чтобы я это чувствовал и чтоб я поплакал над тобой.

И, встав с земли и стоя на коленях, спросил ленкоранский лесоторговец сурово:

– Значит, выходит, что и я только для тебя существую, значит, и меня нет, ежели ты на меня не смотришь?

– Ты? – нерешительно промямлил Надькин.

В душе его боролись два чувства: нежелание обидеть друга и стремление продолжить до конца, сохранить всю стройность своей философской системы.

Философская сторона победила.

– Да! – твердо сказал Надькин. – Ты тоже. Может, ты и появился на свет для того, чтобы для меня достать кулич, курицу и водку и составить мне компанию.

Вскочил на ноги ленкоранский продавец… Глаза его метали молнии. Хрипло вскричал:

– Подлец ты, подлец, Надькин! Знать я тебя больше не хочу! Извольте видеть – мать меня на что рожала, мучилась, грудью кормила, а потом беспокоилась и страдала за меня?! Зачем? Для чего? С какой радости?.. Да для того, видите ли, чтобы я компанию составил безработному телеграфистишке Надькину! А? Для него я рос, учился, с ленкоранскими лесами дело придумал, у Гигикина курицу и водку на счет лесов скомбинировал. Для тебя? Провались ты! Не товарищ я тебе больше, чтобы тебе лопнуть!

Нахлобучив шапку на самые брови и цепляясь полуоторванной подметкой о кочки, стал спускаться Неизвестный человек с пригорка, направляясь к городу.

А Надькин печально глядел ему вслед и, сдвинув упрямо брови, думал по-прежнему, как всегда он думал:

«Спустится с пригорка, зайдет за перелесок и исчезнет… Потому, раз он от меня ушел – зачем ему существовать? Какая цель? Хо!»

И сатанинская гордость расширила болезненное, хилое сердце Надькина и освещала лицо его адским светом.

Сорные травы

Жвачка

Однажды на обеде в память Чехова несколько критиков говорили речи. Один сказал:

– Чехов был поэтом сумерек, изобразителем безвольной интеллигенции…

– Браво! – зааплодировали присутствующие.

Другой критик заявил, что и он тоже хочет сказать речь…

Подумав немного, он сказал:

– Изобразитель российских сумерек, Чехов в то же время был певцом интеллигентского безволия.

Третий критик объявил, что если присутствующие ничего не имеют против, то и он готов возложить скромный словесный венок на могилу «певца сумерек».

– Браво!

Критик поклонился и начал:

– В дополнение к прекрасным характеристикам Чехова, сделанным моими коллегами, я скажу, что талант Чехова расцветал в сумерках русской жизни, в которых текла и жизнь безвольной интеллигенции… Да, господа! Чехов, если так можно выразиться, поэт сумерек…

И встал четвертый критик.

– Говоря о Чехове, многие забывают указать на ту внешнюю обстановку, в которой жил великий писатель. Время тогда было серенькое, и это отражалось на героях его произведений. Все они были серенькие, сумеречные, ибо то время было время сумерек, и Чехов был его поэтом. Безвольная, рыхлая интеллигенция того времени нашла в нем своего бытописателя; и, подводя итоги деятельности Чехова, о нем можно выразиться в заключительных словах: «Чехов был настоящим поэтом сумерек, изобразителем безвольной интеллигенции…»

* * *

Я отозвал этого четвертого критика в сторону и спросил:

– Откуда вы узнали, что Чехов был поэтом сумерек?

Он тупо посмотрел на меня.

– Я знаю это из достоверных источников.

– Изумительно! Так-таки – поэт сумерек?

– Ей-богу. И еще – певец безвольной интеллигенции.

– Да?!

Я потихоньку подводил его к открытому по случаю духоты окну и в то же время с интересом говорил:

– Как вы все это ловко и оригинально подмечаете!..

Опершись на подоконник, он сказал:

– Интеллигентское безволие, расцветшее в сумерках чеховск…

Кивая сочувственно головой, я неожиданно схватил его за ноги и выбросил в окно.

Оно находилось на высоте четвертого этажа.

Одним глупым критиком сделалось меньше.

* * *

Это была моя жертва на алтарь прекрасного, чуткого писателя…

Певца сумерек…

Гордиев узел

Однажды в вагоне второго класса пассажирского поезда толстый добродушный пассажир вынул сигару и закурил.

Глаза у него были маленькие, хитрые, улыбка мягкая, чрезвычайно добрая, а манеры грубоватые, с оттенком фамильярного дружелюбия.

Против него сидели три пассажира, сбоку еще два – и все пятеро посмотрели на него с ненавистью, угрожающе, как только он выпустил изо рта первый залп тяжелого дыма.

– Это вагон для некурящих, – сдержанно заметил рыжий человек.

Толстяк затянулся второй раз и зажмурил глаза от удовольствия.

– Слушайте! Здесь нельзя курить: это вагон для некурящих!

– Ну-у?

– Да вот вам и ну! Потрудитесь или бросить сигару, или выйти на площадку.

– Да нет… Я уж лучше тут докурю.

– Как – тут? Почему – тут? Ясно вам говорят, что здесь нельзя курить!

– Кто говорит?

– Я говорю. И мои соседи… И все…

– Да почему?

– Мы дыму не переносим!

Курильщик выразил на своем лице изумление, смешанное с иронией.

– Что… Не любите? Дыму испугались? Как же вы на войну пойдете, если дыму боитесь? Эх, публика! Вот оттого-то вас японцы…

Он сделал длительный перерыв, сладко затянувшись сигарой.

– …И побили… что мы дыму боимся.

– При чем тут японцы? Ясно здесь написано на табличке: «Просят не курить!»

Лицо толстяка выразило искреннюю печаль и огорчение.

– Боже мой! Как в этой фразе, в этих словах выразился весь русский человек – раб по призванию. Весь пресловутый русский дух сидит в этой фразе! Для него «написано», значит – свято. Печатное слово для него жупел, страшилище, и он перед ним распластывается, как дикарь перед строгим божеством.

– Сами вы дикарь!

– Нет, милостивые государи, не дикарь я. Не дикарь я, потому что…

Он затянулся.

– …Потому что я рассуждаю и этим являю собою высший интеллект.

– Хороший интеллигент! Интеллигент, а поступает, как нахал.

– Извините меня, сударыня, но вы смешали два разных понятия: интеллигент и интеллект. Это именно и подтверждает мою мысль: дикарь – тот, кто слепо преклоняется перед печатными словами, не зная их подлинного смысла.

Рыжий пассажир, ошеломленный этими словами, потряс головой, подумал немного и сказал:

– Куренье вредно для здоровья.

– Вот оно, вот, – страдальчески поморщился курильщик. – Вот с помощью этих понятий вы и воспитываете будущее поколение, хилое, слабое, не обкуренное дымом и не закаленное суровой жизнью!..

– Категорически умоляю вас: бросьте курить! Как не стыдно, право.

– Да чего там просить его, – поднял от газеты голову чиновник. – Заставить надо.

– Что ж… пожалуйста… Заставьте! Конечно, сила на вашей стороне: вас много, а я один. Но не позор ли для нашего века, когда люди не пускают, как оружие, моральную силу убеждения, а пользуются для этого силой физической, кулаком… Чем же после этого будем мы отличаться от наших предков, бродивших с каменными топорами и стукавших ими по голове каждого встречного?

Человек, по виду артельщик, отозвался из угла:

– Склизкий.

Толстяк сделал вкусную, глубокую затяжку и, как Везувий, выбросил целый столб дыма.

– Чего-с? – спросил он равнодушно.

– Склизкий ты, говорю. Между пальцев проворишь.

– Я вас не понимаю, – недоуменно улыбнулся толстяк.

– Вот когда жандарма со станции позовем, тогда поймете.

– Тогда я пойму одно: русскому человеку свобода не нужна, конституция не для него! Посадите ему на шею жандарма, и он будет счастлив, как светская красавица, шея которой украшена драгоценным бриллиантовым…

Снова он затянулся.

– …колье! Да-с, колье. Настаиваю на этом уподоблении.

– Кондуктор! Кондуктор!!

Толстяк благожелательно усмехнулся и, вынув изо рта сигару, принялся вопить вместе с другими:

– Конду-у-уктор!

Когда явился кондуктор, курильщик снова взял сигару в рот и пожаловался:

– Кондуктор! Почему эти пассажиры запрещают мне курить?

– Здесь нельзя, господин. Видите вон, написано.

– Кто же это написал?

– Да кто ж мог… Дорога.

– А если мне все-таки хочется курить?

– Тогда пожалуйте на площадку.

– Люди! – засмеялся толстый пассажир. – Как вы смешны и беспомощны! Как вы заблудились между трех сосен!! Вы, представитель дороги, приглашаете меня на площадку, а на этой же стене красуется другая надпись: «Во время хода поезда просят на площадке не стоять». Как же это совместить? Как можно совместить два совершенно противоположных постановления?!

Кондуктор вздохнул и с беспросветным отчаянием во взоре почесал затылок.

– Как же быть? – пролепетал он.

– Да ничего, милый. Вот докурю сигару и брошу ее.

– Нет-с, – крикнул злобно чиновник, комкая газету, – мы этого не позволим! Раз вагон для некурящих – он не имеет права курить! Пусть идет на площадку.

– Я не имею права курить, по-вашему… Хорошо-с. Но я же не имею права и выходить на площадку! Одно взаимно исключает другое. Поэтому я имею право выбирать любое.

Он стряхнул пепел с кончика сигары и взял ее в рот, ласково улыбаясь:

– Выбираю.

– Кондуктор!! – взревел чиновник. – Ведь это незаконно!! Неужели вы не можете прекратить это безобразие?!

Кондуктору очень хотелось прекратить это безобразие. Он стремился к этому всеми силами, что было заметно по напряженности выражения лица и решимости, сверкнувшей в глазах; он имел твердое намерение урегулировать сложный вопрос одним ударом, как развязан был в свое время гордиев узел.

Сделал он это так: коснулся кончиком сапога скамьи, приподнялся и одним движением руки перевернул табличку с надписью «просят не курить».

И табличка, перевернувшись, выказала другую свою сторону, с надписью:

«Вагон для курящих».

Пассажиры выругались, а толстяк покачал головой и окутал себя таким облаком дыма, что исчез совершенно.

И, невидимый, сказал из облака добродушным тоном:

– Всякий закон оборотную сторону имеет.

Золотые часы

История о том, как Мендель Кантарович покупал у Абрама Гендельмана золотые часы для подарка своему сыну Мосе, – наделала в свое время очень много шуму. Все местечко Мардоховка волновалось целых две недели и волновалось бы еще месяц, если бы урядник не заявил, что это действует ему на нервы.

Тогда перестали волноваться.

Все местечко Мардоховка чувствовало, что и Гендельман и Кантарович – каждый по-своему прав, что у того и другого были веские основания относиться скептически к людской честности, и тем не менее эти два еврея завели остальных в такой тупик, из которого никак нельзя было выбраться.

– Они не правы?! – кричал, тряся седой бородой, рыбник Блюмберг. – Так я вам скажу: да, они правы. В сущности. Их не обманывали? Их не надували за их жизнь? Сколько пожелаете! Ну, и они перестали верить.

– Что такое двадцатый век? – обиженно возражал Яша Мельник. – Они говорят, двадцатый век – жульничество! Какое там жульничество? Просто два еврея с ума сошли.

– Они разочаровались людьми – нужно вам сказать. Они… как это говорится?.. О! вот как: скептики. Вот они что.

– Скептики? А по-моему, это гениальные люди!

– Шарлатаны!

Дело заключалось в следующем.

Между Кантаровичем и Гендельманом давно уже шли переговоры о покупке золотых часов. У Гендельмана были золотые часы стоимостью в двести рублей. Кантарович сначала предлагал за них полтораста рублей, потом сто семьдесят, сто девяносто пять, двести без рубля и наконец, махнув рукой, сказал:

– Вы, Гендельман, упрямый, как осел. Ну так получайте эти двести рублей.

– Где же они? – осведомился Гендельман, вертя в руках свои прекрасные золотые часы.

– Деньги? Вот смотрите. Я их вынимаю. Двести настоящих рублей.

– Так что же вы их держите в руках? Дайте – я их пересчитаю.

– Хорошо, но вы же дайте мне часы.

– Что значит – часы? Что, вы их разве не видите в моих руках?

– Ну да. Так я хочу лучше их видеть в моих руках.

– Не могу же я вам отдать часы, когда еще не имею денег?

– А, спрашивается, за что же я буду платить деньги, когда часов не имею?

– Кантарович! Вы мне не доверяете?!

– А что такое доверие? Если бы знали, сколько раз меня уже обманывали: и евреи, и русские, и французы разные. Я теперь уже разуверился в человеческих поступках.

– Кантарович!!! Вы мне не доверяете?!

– Не кричите. Зачем делать скандал? Ну, впрочем, ведь и вы мне не доверяете?

– Я доверяю, но только – двестирублевые часы, а?! Вы подумайте!

– Что мне думать? Мало я думал! Ну давайте так: вы покладите на стол часы, а я деньги. Потом вы хватайте деньги, а я часы.

– Гм… Вы предлагаете так? Кантарович! Вы думаете, меня и немцы не обманывали? И немцы, и… татары всякие. Малороссы. Ой, Кантарович, Кантарович… Я теперь уже ничему не верю.

– Что же вы думаете: что я схвачу и часы, и деньги и убежу?

– Боже меня сохрани! Я ничего не думаю. Но вы знаете, если я потеряю часы и не получу денег – это будет самый печальный факт.

– Ну хорошо… смотрите в окно: водовоз Никита привез воду. Это очень честный человек. Дайте ему ваши часы, а я деньги. Пусть он нам раздаст потом наоборот.

– Гм!.. Это ваша рекомендация… А не хотите ли моей рекомендации: пойдем к лавочнику Агафонову, и он нам сделает то же самое.

– Смотрите-ка! Вы не доверяете водовозу Никите? Так знайте: я торжественно не доверяю лавочнику Агафонову!!

– Так бог с вами, если вы такой – разойдемся!

– Лучше разойдемся. Только мне очень жаль, что я не получаю этих часов.

– А вы думаете, мне было не нужно этих двухсот рублей? О, еще как!

– Так мы сделаем вот что, – сказал Кантарович, почесывая затылок. – Пойдем к господину уряднику и попросим его посредничества. Оно лицо официальное!

– Ну это еще так-сяк.

Гендельман и Кантарович оделись и пошли к уряднику. Шли задумчивые.

– Стойте! – крикнул вдруг Кантарович. – Мы идем к уряднику. Но ведь урядник – тоже человек!

– Еще какой! Мы дадим ему часы, деньги, а он спрячет их в карман и скажет: пошли вон к чертям.

Оба приостановились и погрузились в раздумье.

По улице шли двое: Яша Мельник и старик Блюмберг. Они увидели Кантаровича и Гендельмана и спросили их:

– Что с вами?

– Я покупаю у него часы. Он не дает мне часов, пока я не дам ему денег, а я не даю ему денег, так как не вижу в своих руках часов. Мы хотели эту сделку доверить уряднику, но какой же урядник доверитель? Спрашивается?

– Доверьте становому приставу.

– Благодарю вас, – усмехнулся Кантарович, – сами доверяйте становому приставу.

– Это, положим, верно. Можно было бы доверить губернатору, но он как только увидит евреев, – сейчас же и вышлет. Знаете что? Доверьте мне!

– Тебе? Яша Мельник! Тебе? Хорошо. Мы тебе доверим, так дай нам вексель на четыреста рублей.

– Это верно, – подтвердил старый Блюмберг, – без векселя никак нельзя!

– Ой! Неужели я, по-вашему, жулик?

– Вы, Яша, не жулик, – возразил Гендельман. – Но почему я должен верить вам больше, чем Кантаровичу?

– Да, – подтвердил недоверчивый Кантарович. – Почему?

Через час все население местечка узнало о затруднительном положении Гендельмана и Кантаровича.

Знакомые приняли в них большое участие, суетились, советовали, но все советы были крайне однообразны.

– Доверьте мне! Я сейчас же передам вам с рук на руки.

– Мы вам доверяем, Григорий Соломонович… Но ведь тут же двести рублей деньгами и двести – часами. Подумайте сами.

– Положим, верно… Ну тогда поезжайте в город к нотариусу.

– Нате вам! К нотариусу. А нотариус – машина, что ли? Он тоже человек! Ведь это не солома, а двести рублей!

Комбинаций предлагалось много, но так как сумма – двести рублей – была действительно неслыханная, – все комбинации рушились.

* * *

Прошло три месяца, потом шесть месяцев, потом год… Часы были как будто заколдованные: их нельзя было ни купить, ни продать.

О сложном запутанном деле Кантаровича и Гендельмана все стали понемногу забывать… Сам факт постепенно изгладился из памяти, и только из всего этого осталась одна фраза, одна крошечная фраза, которую применяли мардоховцы, попав в затруднительное положение:

– Гм!.. Это так же трудно, как купить часы за наличные деньги.

Виктор Поликарпович

В один город приехала ревизия… Главный ревизор был суровый, прямолинейный, справедливый человек с громким, властным голосом и решительными поступками, приводившими в трепет всех окружающих.

Главный ревизор начал ревизию так: подошел к столу, заваленному документами и книгами, нагнулся каменным, бесстрастным, как сама судьба, лицом к какой-то бумажке, лежавшей сверху, и лязгнул отрывистым, как стук гильотинного ножа, голосом:

– Приступим-с.

Содержание первой бумажки заключалось в том, что обыватели города жаловались на городового Дымбу, взыскавшего с них незаконно и неправильно триста рублей «портового сбора на предмет морского улучшения».

«Во-первых, – заявляли обыватели, – никакого моря у нас нет… Ближайшее море за шестьсот верст через две губернии, и никакого нам улучшения не нужно; во-вторых, никакой бумаги на это взыскание упомянутый Дымба не предъявил, а когда у него потребовали документы – показал кулак, что, как известно по городовому положению, не может служить документом на право взыскания городских повинностей; и, в-третьих, вместо расписки в получении означенной суммы он, Дымба, оставил окурок папиросы, который при сем прилагается».

Главный ревизор потер руки и сладострастно засмеялся. Говорят, при каждом человеке состоит ангел, который его охраняет. Когда ревизор так засмеялся, ангел городового Дымбы заплакал.

– Позвать Дымбу! – распорядился ревизор. Позвали Дымбу.

– Здравия желаю, ваше превосходительство!

– Ты не кричи, брат, так, – зловеще остановил его ревизор. – Кричать после будешь. Взятки брал?

– Никак нет.

– А морской сбор?

– Который морской, то взыскивал по приказанию начальства. Сполнял, ваше-ство, службу. Их высокородие приказывали.

Ревизор потер руки профессиональным жестом ревизующего сенатора и залился тихим смешком.

– Превосходно… Попросите-ка сюда его высокородие. Никифоров, напишите бумагу об аресте городового Дымбы как соучастника.

Городового увели.

Когда его уводили, явился и его высокородие… Теперь уже заливались слезами два ангела: городового и его высокородия.

– И-зволили звать?

– Ох, изволил. Как фамилия? Пальцын? А скажите, господин Пальцын, что это такое за триста рублей морского сбора? Ась?

– По распоряжению Павла Захарыча, – приободрившись, отвечал Пальцын. – Они приказали.

– А-а. – И с головокружительной быстротой замелькали трущиеся одна об другую ревизоровы руки. – Прекрасно-с. Дельце-то начинает разгораться. Узелок увеличивается, вспухает… Хе-хе… Никифоров! Этому – бумагу об аресте, а Павла Захарыча сюда ко мне… Живо!

Пришел и Павел Захарыч.

Ангел его плакал так жалобно и потрясающе, что мог тронуть даже хладнокровного ревизорова ангела.

– Павел Захарович? Здравствуйте, здравствуйте… Не объясните ли вы нам, Павел Захарович, что это такое «портовый сбор на предмет морского улучшения»?

– Гм… Это взыскание-с.

– Знаю, что взыскание. Но – какое?

– Это-с… во исполнение распоряжения его превосходительства.

– А-а-а… Вот как? Никифоров! Бумагу! Взять! Попросить его превосходительство!

Ангел его превосходительства плакал солидно, с таким видом, что нельзя было со стороны разобрать: плачет он или снисходительно улыбается.

– Позвольте предложить вам стул… Садитесь, ваше превосходительство.

– Успею. Зачем это я вам понадобился?

– Справочка одна. Не знаете ли вы, как это понимать: взыскание морского сбора в здешнем городе?

– Как понимать? Очень просто.

– Да ведь моря-то тут нет!

– Неужели? Гм… А ведь в самом деле, кажется, нет. Действительно нет.

– Так как же так – «морской сбор»? Почему без расписок, документов?

– А?

– Я спрашиваю – почему «морской сбор»?!

– Не кричите. Я не глухой.

Помолчали. Ангел его превосходительства притих и смотрел на все происходящее широко открытыми глазами, выжидательно и спокойно.

– Ну?

– Что «ну»?

– Какое море вы улучшали на эти триста рублей?

– Никакого моря не улучшали. Это так говорится – «море».

– Ага. А деньги-то куда делись?

– На секретные расходы пошли.

– На какие именно?

– Вот чудак человек! Да как же я скажу, если они секретные!

– Так-с…

Ревизор часто-часто потер руки одна о другую.

– Так-с. В таком случае, ваше превосходительство, вы меня извините, обязанности службы… я принужден буду вас, как это говорится, арестовать. Никифоров!

Его превосходительство обидчиво усмехнулся.

– Очень странно: проект морского сбора разрабатывало нас двое, а арестовывают меня одного.

Руки ревизора замелькали, как две юрких белых мыши.

– Ага! Так, так… Вместе разрабатывал?! С кем?

Его превосходительство улыбнулся.

– С одним человеком. Не здешний. Питерский, чиновник.

– Да-а? Кто же этот человечек?

Его превосходительство помолчал и потом внятно сказал, прищурившись в потолок:

– Виктор Поликарпович.

Была тишина. Семь минут.

Нахмурив брови, ревизор разглядывал с пытливостью и интересом свои руки… И нарушил молчание:

– Так, так… А какие были деньги получены: золотом или бумажками?

– Бумажками.

– Ну раз бумажками – тогда ничего. Извиняюсь за беспокойство, ваше превосходительство. Гм… гм…

Ангел его превосходительства усмехнулся ласково-ласково.

– Могу идти?

Ревизор вздохнул:

– Что ж делать… Можете идти.

Потом свернул в трубку жалобу на Дымбу и, приставив ее к глазу, посмотрел на стол с документами. Подошел Никифоров.

– Как с арестованными быть?

– Отпустите всех… Впрочем, нет! Городового Дымбу на семь суток ареста за курение при исполнении служебных обязанностей. Пусть не курит… Кан-налья!

И все ангелы засмеялись, кроме Дымбиного.

Хлопотливая нация

Когда я был маленьким, совсем крошечным мальчуганом, у меня были свои собственные, иногда очень своеобразные представления и толкования слов, слышанных от взрослых.

Слово «хлопоты» я представлял себе так: человек бегает из угла в угол, взмахивает руками, кричит и, нагибаясь, тычется носом в стулья, окна и столы.

«Это и есть хлопоты», – думал я.

И иногда, оставшись один, я от безделья принимался хлопотать. Носился из угла в угол, бормотал часто-часто какие-то слова, размахивал руками и озабоченно почесывал затылок.

Пользы от этого занятия я не видел ни малейшей, и мне казалось, что вся польза и цель так и заключаются в самом процессе хлопот – в бегстве и бормотании.

С тех пор много воды утекло. Многие мои взгляды, понятия и мнения подверглись основательной переработке и кристаллизации.

Но представление о слове «хлопоты» так и осталось у меня детское.

Недавно я сообщил своим друзьям, что хочу поехать на Южный берег Крыма.

– Идея, – похвалили друзья. – Только ты похлопочи заранее о разрешении жить там.

– Похлопочи? Как так похлопочи?

– Очень просто. Ты писатель, а не всякому писателю удается жить в Крыму. Нужно хлопотать. Арцыбашев хлопочет, Куприн тоже хлопочет.

– Как же они хлопочут? – заинтересовался я.

– Да так. Как обыкновенно хлопочут.

Мне живо представилось, как Куприн и Арцыбашев суетливо бегают по берегу Крыма, бормочут, размахивают руками и тычутся носами во все углы… У меня осталось детское представление о хлопотах, и иначе я не мог себе вообразить поведение вышеназванных писателей.

– Ну что ж, – вздохнул я. – Похлопочу и я.

С этим решением я и поехал в Крым.

* * *

Когда я шел в канцелярию ялтинского генерал-губернатора, мне казалось непонятным и странным: неужели о таком пустяке, как проживание в Крыму, – нужно еще хлопотать? Я православный русский гражданин, имею прекрасный непросроченный экземпляр паспорта – и мне же еще нужно хлопотать! Стоит после этого делать честь нации и быть русским… Гораздо выгоднее и приятнее для собственного самолюбия быть французом или американцем.

В канцелярии генерал-губернатора, когда узнали, зачем я пришел, то ответили:

– Вам нельзя здесь жить. Или уезжайте немедленно, или будете высланы.

– По какой причине?

– На основании чрезвычайной охраны.

– А по какой причине?

– На основании чрезвычайной охраны!

– Да по ка-кой при-чи-не?!!

– На осно-ва-нии чрез-вы-чай-ной ох-ра-ны!!!

Мы стояли друг против друга и кричали, открыв рты, как два разозленных осла.

Я приблизил свое лицо к побагровевшему лицу чиновника и завопил:

– Да поймите же вы, черт возьми, что это не причина!!! Что это – какая-нибудь заразительная болезнь, которой я болен, что ли, – ваша чрезвычайная охрана?!! Ведь я не болен чрезвычайной охраной – за что же вы меня высылаете? Или это такая вещь, которая дает вам право развести меня с женой?! Можете вы развести меня с женой на основании чрезвычайной охраны?

Он подумал. По лицу его было видно, что он хотел сказать: «Могу».

Но вместо этого сказал:

– Удивительная публика… Не хотят понять самых простых вещей. Имеем ли мы право выслать вас на основании охраны? Имеем. Ну вот и высылаем.

– Послушайте, – смиренно возразил я. – За что же? Я никого не убивал и не буду убивать. Я никому в своей жизни не давал даже хорошей затрещины, хотя некоторые очень ее заслуживали. Буду я себе каждый день гулять тут по бережку, смирненько смотреть на птичек, собирать цветные камушки… Плюньте на вашу охрану, разрешите жить, а?

– Нельзя, – сказал губернаторский чиновник.

Я зачесал затылок, забегал из угла в угол и забормотал:

– Ну разрешите, ну, пожалуйста. Я не такой, как другие писатели, которые, может быть, каждый день по человеку режут и бросают бомбы так часто, что даже развивают себе мускулатуру… Я тихий. Разрешите? Можно жить?

Я думал, что то, что я сейчас делаю и говорю, и есть хлопоты.

Но крепкоголовый чиновник замотал тем аппаратом, который возвышался у него над плечами. И заявил:

– Тогда – если вы так хотите – начните хлопотать об этом.

Я с суеверным ужасом поглядел на него.

Как? Значит, все то, что я старался вдолбить ему в голову – не хлопоты? Значит, существуют еще какие-то другие загадочные, неведомые мне хлопоты, сложные, утомительные, которые мне надлежит взвалить себе на плечи, чтобы добиться права побродить по этим пыльным берегам?..

Да ну вас к…

Я уехал.

* * *

Теперь я совсем сбился.

Человек хочет полетать на аэроплане.

Об этом нужно «хлопотать».

Несколько человек хотят устроить писательский съезд.

Нужно хлопотать и об этом.

И лекцию хотят прочесть о радии – тоже хлопочут.

И револьвер купить – тоже.

Хорошо-с. Ну а я захотел пойти в театр? Почему – мне говорят – об этом не надо хлопотать? Галстук хочу купить! И об этом, говорят, хлопотать не стоит!

Да, я хочу хлопотать!

Почему револьвер купить – нужно хлопотать, а галстук – не нужно? Лекцию о радии прочесть – нужно похлопотать, а на «Веселую вдову» пойти – не нужно. Откуда я знаю разницу между тем, о чем нужно хлопотать и – о чем не нужно? Почему просто «о радии» – нельзя, а «Радий в чужой постели» – можно?

И сижу я дома в уголке на диване (кстати, нужно будет похлопотать: можно ли сидеть дома в уголке на диване?) – сижу и думаю:

«Если бы человек захотел себе ярко представить Россию – как она ему представится?

Вот как:

Огромный человеческий русский муравейник «хлопочет».

Никакой никому от этого пользы нет, никому это не нужно, но все обязаны хлопотать: бегают из угла в угол, часто почесывают затылок, размахивают руками, наклеивают какие-то марки и о чем-то бормочут, бормочут.

Хорошо бы это все взять да изменить…

Нужно будет похлопотать об этом».

– За что? Чем я хуже других?

Специалист по военному делу (*из сборника «Волчьи ямы»*)

(Из жизни малой прессы)

Прежний «военный обозреватель» поссорился с редактором и ушел.

Он обиделся на редактора за то, что последний сказал ему:

– Какую вы написали странность: «Австрийцы беспрерывно стреляли в русских из блиндажей, направляя их в них». Что значит «их в них»?

– Что же тут непонятного? Направляя их в них – значит направляя блиндажи в русских!

– Да разве блиндаж можно направлять?

– Отчего же, – пожал плечами военный обозреватель, – ведь он же подвижен. Если из него нужно прицелиться, то он поворачивается в необходимую сторону.

– Вы, значит, думаете, что из блиндажа можно выстрельнуть?

– Отчего же… – конечно, кто хочет – может выстрелить, а кто не хочет – может не стрелять.

– Спасибо. Значит, по-вашему, блиндаж – нечто вроде пушки?

– Не по-моему это, а по-военному! – вспылил обозреватель. – Что вы, издеваетесь надо мной, что ли? Во всякой газете встретите фразы: «Русские стреляли из блиндажей», «немцы стреляли из блиндажей»… Осел только не поймет, что такое блиндаж!

Редактор догадался, на кого намекает обозреватель, и обиделся.

– Не знаю, кто из нас осел. Почему же в «Военном скакуне» обозреватель пишет такую фразу: «Немцы прятались в блиндажах». Что ж они, значит, по-вашему, в пушках прятались, что ли?

– Почему же нет? Если орудие, скажем, восемнадцатидюймовое, а средний солдат, имея объем груди, согласно правил воинского распорядка частей внутреннего согласования армий, которое… которое… Э, черт! Взял просто человек и залез в пушку.

– Сел в лужу наш военный обозреватель, – вступил в разговор корреспондент из Копенгагена. – Блиндаж – это нечто вроде солдатской галеты. Иностранное слово. Происходит с русинского. Блин даже. Так сказать, даже блин, и тот идет в ход. Я сам читал корреспонденцию, что немцы без блиндажа ни на шаг. Ясно – галеты. Любят, черти, покушать. Хотите, я сегодня из Копенгагена напишу об этом?

– Пожалуйста, – скривился военный обозреватель. – Если вы в военных вопросах понимаете больше меня, ведите сами военный отдел. А я вам больше не писарь.

Взял он свое пальто, шляпу, два рубля долгу из конторы и ушел.

* * *

Редактор привез нового военного обозревателя.

Все сотрудники высыпали смотреть на него.

Поглядывали с тайным страхом – вдруг человек возьмет да и начнет стрелять в них. Все-таки военный обозреватель, имеющий дело с разными шрапнелями, мортирами и блиндажами.

Но новоприбывший военный обозреватель оказался на редкость милым, скромным человеком.

Улыбнулся всем, а молодому секретарю сказал даже комплимент:

– Какие у вас хорошие ботиночки!

– Да, – самодовольно согласился секретарь. – Почти новые. Второй год всего ношу.

– О чем будете писать нынче? – спросил редактор.

– Об Италии.

– Почему именно об Италии?

– Да давно хотелось написать. Тем более что она имеет на карте такую забавную форму.

* * *

Появилась статья военного обозревателя об Италии.

Она начиналась так:

«Италия имеет форму сапога. Капо-Спартивенто – это его носок, Капо-С. Мария – его каблук. Средняя часть подметки образуется из залива Таренто. К сожалению, мы не можем точно обрисовать верхнюю часть сапога, так как верхушка голенища сливается с материком,

а ушки должны быть где-нибудь между Сицилией и Венецией. Что же касается подъема этого сапога, то…» и т. д. и т. п.

Статья была очень оригинальная и в редакции произвела известное впечатление.

* * *

– А о чем вы нынче думаете? – спросил редактор.

– Написать о чем? Думаю написать статью о состоянии обуви во французской армии.

– Разве это такой важный вопрос?

– Обувь-то? Это – все. Обуйте солдата как следует, и он сделает чудеса.

На следующий день появилась новая статья нашего военного обозревателя.

Она начиналась словами:

«Многим, вероятно, интересно, как обута французская армия. Обувь французов состоит из…» и т. д. и т. п.

Эта статья оставила у всех какое-то странное впечатление узости освещения затронутого вопроса и поразила обилием специальных непонятных терминов. Впрочем, редактор утешил себя:

– Ничего не поделаешь – специалист.

А вечером спросил:

– А завтра о чем будет?

– Думаю коснуться состояния обуви в австрийской армии.

– Что вы все обувь да обувь? – нервно возразил редактор. – Напишите что-нибудь другое.

– Именно? – пугливо спросил новый обозреватель, огорченный редакторской нервностью.

– Ну… например, напишите о расположении австрийской армии…

– Слушаю-с.

* * *

На следующий день появилась статья:

«Расположение австрийской армии».

Начиналась так:

«Австрийская армия расположена сейчас в виде дамского ботинка, причем левый фланг образует собой как бы носок, а правый как бы верх ботинка. 3-й корпус стоит в виде высокого каблука, причем рантом его является…» и т. д. и т. п.

* * *

Прочтя эту статью, редактор рассвирепел. Долго кричал на военного обозревателя:

– Что вы всюду тычете ваши сапоги, туфли и башмаки? Что это за военные статьи, ни одна из которых не обходится без каблука, ранта, подъема и носка? На плане расположение австрийской армии похоже на кочергу, а вы всюду хватаетесь за свой излюбленный сапог. Понимаете? Кочерга, а не сапог!

– Извините! – обиженно возразил новый обозреватель. – Я не кухарка какая-нибудь, чтобы сравнивать положение армии с кочергой.

– Но и не сапожник же, – завизжал редактор, – чтобы сравнивать армии с сапогом!

– Извините, – угрюмо прошептал новый обозреватель, – как не сапожник? Мне своей профессии стыдиться нечего. Сейчас я, конечно, приглашен вами на пост военного обозревателя, но раньше я действительно работал подмастерьем у сапожного мастера Василия Хромоногого.

* * *

И когда он, получив расчет и собрав свои вещи (пучок дратвы, две колодки и коробку вару), уходил, – в глазах его читался кроткий упрек.

Юмористические рассказы

В ресторане

– Фокусы! Это колдовство! – услышал я фразу за соседним столиком.

Произнес ее мрачный человек с черными обмокшими усами и стеклянным недоумевающим взглядом.

Черные мокрые усы, волосы, сползшие чуть не на брови, и стеклянный взгляд непоколебимо доказывали, что обладатель перечисленных сокровищ был дурак.

Был дурак в прямом и ясном смысле этого слова.

Один из его собеседников налил себе пива, потер руки и сказал:

– Не более как ловкость и проворство рук.

– Это колдовство! – упрямо стоял на своем черный, обсасывая свой ус.

Человек, стоявший за проворство рук, сатирически посмотрел на третьего из компании и воскликнул:

– Хорошо! Что здесь нет колдовства, хотите, я докажу?

Черный мрачно улыбнулся.

– Да разве вы, как его… пре-сти-ди-жи-да-тор?

– Вероятно, если я это говорю! Ну хотите, я предлагаю пари на сто рублей, что отрежу в пять минут все ваши пуговицы и пришью их?

Черный подергал для чего-то жилетную пуговицу и сказал:

– За пять минут? Отрезать и пришить? Это непостижимо!

– Вполне постижимо! Ну идет – сто рублей?

– Нет, это много! У меня есть только пять.

– Да ведь мне все равно… Можно меньше – хотите три бутылки пива?

Черный ядовито подмигнул.

– Да ведь проиграете?

– Кто, я? Увидим!..

Он протянул руку, пожал худые пальцы черного человека, а третий из компании развел руки.

– Ну смотрите на часы и следите, чтобы не было больше пяти минут!

Все мы были заинтригованы, и даже сонный лакей, которого послали за тарелкой и острым ножом, расстался со своим оцепенелым видом.

– Раз, два, три! Начинаю!

Человек, объявивший себя фокусником, взял нож, поставил тарелку, срезал в нее все жилетные пуговицы.

– На пиджаке тоже есть?

– Как же!.. Сзади, на рукавах, около карманов.

Пуговицы со стуком сыпались в тарелку.

– У меня и на брюках есть! – корчась от смеха, говорил черный. – И на ботинках!

– Ладно, ладно! Что же, я хочу у вас зажилить какую– нибудь пуговицу?.. Не беспокойтесь, все будет отрезано!

Так как верхнее платье лишилось сдерживающего элемента, то явилась возможность перейти на нижнее.

Когда осыпались последние пуговицы на брюках, черный злорадно положил ноги на стол.

– На ботинках по восьми пуговиц. Посмотрим, как это вы успеете пришить их обратно?

Фокусник, уже не отвечая, лихорадочно работал своим ножом.

Скоро он вытер мокрый лоб и, поставивши на стол тарелку, на которой, подобно неведомым ягодам, лежали разноцветные пуговицы и запонки, проворчал:

– Готово, все!

Лакей восхищенно всплеснул руками:

– 82 штуки. Ловко!

– Теперь пойди принеси мне иголку и ниток! – скомандовал фокусник. – Живо, ну!

Собутыльник их помахал в воздухе часами и неожиданно захлопнул крышку.

– Поздно! Есть! Пять минут прошло. Вы проиграли!

Тот, к кому это относилось, с досадой бросил нож.

– Черт меня возьми! Проиграл!.. Ну, нечего делать!.. Человек! Принеси за мой счет этим господам три бутылки пива и, кстати, скажи, сколько с меня следует?

Черный человек побледнел.

– Ку-куда же вы?

Фокусник зевнул.

– На боковую… Спать хочется, как собаке. Намаешься за день…

– А пуговицы… пришить?

– Что? Чего же я их буду пришивать, если проиграл… Не успел, моя вина. Проигрыш поставлен… Всех благ, господа!

Черный человек умоляюще потянулся руками за уходящим, и при этом движении все его одежды упали, как скорлупа с вылупившегося цыпленка. Он стыдливо подтянул обратно брюки и с ужасом заморгал глазами:

– Гос-по-ди! Что же теперь будет?

Что с ним было, я не знаю.

Я вышел вместе с третьим из компании, который, вероятно, покинул человека без пуговиц.

Не будучи знакомы, мы стали на углу улицы друг против друга и долго без слов хохотали.

Сплетня

Контролер чайно-рассыпочного отделения Федор Иванович Аквинский шел в купальню, находящуюся в двух верстах от нанимаемой им собачьей будки, которую только разгоряченная фантазия владельца могла считать «дачей»…

Войдя в купальню, Аквинский быстро разделся и, вздрагивая от мягкого утреннего холодка, осторожно спустился по ветхой шаткой лесенке к воде. Солнце светлое, только что омытое предрассветной росой, бросало слабые теплые блики на тихую, как зеркало, воду.

Какая-то не совсем проснувшаяся мошка очертя голову взлетела над самой водой и, едва коснувшись ее крылом, вызвала медленные, ленивые круги, тихо расплывшиеся по поверхности.

Аквинский попробовал голой ногой температуру воды и отдернул, будто обжегшись. Купался он каждый день и каждый же день по полчаса собирался с духом, не решаясь броситься в холодную прозрачную влагу…

И только что он затаил дыхание и вытянул руки, чтобы нелепо, по-лягушачьи прыгнуть, как в стороне женской купальни послышались всплески воды и чья-то возня.

Аквинский остановился и посмотрел налево.

Из-за серой позеленевшей внизу от воды перегородки показалась сначала женская рука, потом голова, и наконец выплыла полная рослая блондинка в голубом купальном костюме. Ее красивое белое лицо от холода порозовело, и когда она сильно, по-мужски, взмахивала рукой, то из воды четко показывалась высокая пышная грудь, чуть прикрытая голубой материей.

Аквинский, смотря на нее, почему-то вздохнул, потрепал голой рукой съеденную молью бородку и сказал сам себе:

– Это жена нашего члена таможни купается. Ишь ты, какой костюм! Читал я, что за границей, в какой-то там Ривьере, и женщины, и мужчины купаются вместе… Ну и штука!

Когда он, выкупавшись, натягивал на тощие ноги панталоны, то подумал:

«Ну хорошо… скажем, купаются вместе… а раздеваться как же? Значит, все-таки, как ни вертись, нужно два помещения. Выдумают тоже!»

Придя на службу в таможню, он после обычной возни в пакгаузе сел на ящик из-под чаю и, спросив у коллеги Ниткина папиросу, с наслаждением затянулся скверным дешевым дымом…

– Купался я сегодня, Ниткин, утром и смотрю – из женской купальни наша членша Тарасиха выплывает… Ну, думаю, увидит меня да мужу скажет… Смех! Уж очень близко было. А вот за границей, в Ривьере, говорят, мужчины и бабы вместе купаются… Гы!.. Вот бы поехать!

Когда,через полчаса после этого разговора, Ниткин пил в архиве с канцеляристами водку, то, накладывая на ломоть хлеба кусок ветчины, сказал, ни к кому не обращаясь:

– Вот-то штука! Аквинский сегодня с женой нашего члена Тарасова в реке купался… Говорит, что в какой-то там Ривьере все вместе – и мужчины и женщины купаются. Говорит – поеду в Ривьеру. Поедешь, как же… На это деньги надо, голубчик!

– Отчего же! – вмешался пакгаузный Нибелунгов. – У него тетка, говорят, богатая; может у тетки взять…

Послышались шаги секретаря, и вся закусывающая компания, как мыши, разбежалась в разные стороны.

А за обедом экспедитор Портупеев, наливая борщ в тарелку, говорил жене, маленькой, сухонькой женщине с колючими глазками и синими жилистыми руками:

– Вот дела-то какие, Петровна, у нас в таможне! Аквинский, чтоб ему пусто было, собрался к черту на кулички в Ривьеру ехать и Тарасова жену с собой сманил… Деньги у тетки берет! А Тарасиха с ним вместе сегодня купалась и рассказывала ему, что за границей так принято… Хе-хе!

– Ах, бесстыдники! – целомудренно потупилась Петровна. – Ну и езжали бы себе подальше, а то – нако, здесь разврат заводят! Только куда ему с ней… Она баба здоровая, а он так – тьфу!

На другой день, когда горничная Тарасовых, живших недалеко от Портупеевых, пришла к Петровне просить по-соседски утюги для барыниных юбок, душа госпожи Портупеевой не выдержала:

– Это что же, для Ривьеры глаженые юбки понадобились?

– Ах, что вы! Слова такие! – усмехнулась, стрельнув глазами, горничная, истолковавшая фразу Петровны совершенно неведомым образом.

– Ну да! Небось тебе-то, да не знать…

Она скорбно помолчала.

– Эхма, дурость бабья наша… И чего нашла она в нем?

Горничная, все-таки не понимавшая, в чем дело, вытаращила глаза…

– Да, ваша Марья Григорьевна – хороша, нечего сказать! С пакгаузной крысой Аквинским снюхалась! Хорош любовничек! Да-с. Сговорились в какую-то дурацкую Ривьеру на купанье бежать, и деньги у тетки он достать посулился… Достанет, как же! Скрадет у тетки деньги, вот и все!

Горничная всплеснула руками:

– Да правда ли это, Анисья Петровна?

– Врать тебе буду. Весь город шуршит об этом.

– Ах, ужасти!

Горничная опрометью, позабывши об утюгах, бросилась домой и на пороге кухни столкнулась с самим членом таможни, который без сюртука и жилета нес в стаканчике воду для канарейки.

– Что с вами, Миликтриса Кирбитьевна? – прищурив глаза и взяв горничную за пухлый локоть, пропел Тарасов. – Вы так летите, будто спасаетесь от привидений ваших погубленных поклонников…

– Оставьте! – огрызнулась горничная, не особенно церемонившаяся во время этих случайных tête-a-tête[3]. – Вечно вы проходу не дадите!.. Лучше бы за барыней смотрели покрепче, чем руками…

Пухлое невозмутимое лицо члена таможни приобрело сразу совсем другое выражение.

Господин Тарасов принадлежал к тому общеизвестному типу мужей, которые не пропустят ни одной хорошенькой, чтобы не ущипнуть ее, зевая в то же время в обществе жены до вывиха челюстей и стараясь при всяком удобном случае заменить домашний очаг неизбежным винтом или chemin de fer'om[4].

Но, учуяв какой-нибудь намек на супружескую неверность жены, эти кроткие, безобидные люди превращаются в Отелло с теми особенностями и отклонениями от этого типа, которые налагаются пыльными канцеляриями и присутственными местами.

Тарасов выронил стаканчик с водой и опять схватил горничную за локоть, но уже другим образом.

– Что? Что ты говоришь, п-подлая? Повтори-ка?!!

Испуганная этим неожиданным превращением члена таможни, горничная слезливо заморгала глазами и потупилась:

– Барин, Павел Ефимович, вот вам крест, я тут ни при чем! Мое дело сторона! А как весь город уже говорит, то, чтоб после на меня чего не было… Скажут – ты помогала! А я как перед господом!..

Тарасов выпил воды из кувшина, стоявшего на столе, и, потупив голову, сказал:

– Рассказывай: с кем, как и когда?..

Горничная почуяла под собой почву.

– Да все с этим же… трухлявым! Федором Ивановичем, что в прошлом году раков вам в подарок принес… Вот тебе и раки! И как они это ловко… Уже все и уговорено: он у тетки деньги из комода скрадет – тетка евонная богатая, – и вместе купаться поедут в Ривьеру куда-то… Срам-то, срам какой! Надо думать, завтра с вечерним поездом и двинут, голубчики!..

* * *

Сидя за покосившимся столиком в нескольких шагах от своей собачьей будки, контролер чайно-рассыпочного отделения Аквинский что-то писал, склонив набок голову и любовно выводя каждое слово.

Дерево, под которым стоял столик, иронически помахивало пыльными ветвями, и пятна света скользили по столику, бумаге и серой голове Аквинского… Бородка его, как будто приклеенная, шевелилась от ветра, и общий вид казался измученным и вялым.

Похоже было, что кто-то по небрежности забыл пересыпать никому не нужную вещь – Аквинского – нафталином и сложить на лето в сундук… Моль и поела Аквинского.

Он писал:

«Милая тетенька! Осмелюсь вас уведомить, что я нахожусь в полнейшем недоумении… За что же? Я вас спрашиваю. Впрочем, вот передаю, как было дело… Вчера досмотрщик Сыче-

[3] Здесь: свиданий наедине (*фр.*).

[4] Железной дорогой (*фр.*).

вой сказал, подойдя к моему столику, что меня требуют член таможни господин Тарасов, тот самый, которому я в прошлом году от усердия поднес сотню раков. Я пошел, ничего не думая, и, вообразите, он наговорил мне столько странных и ужасных вещей, что я ничего не понял… Сначала говорит: «Вы, – говорит, – Аквинский, кажется, в Ривьеру собираетесь?» – «Никак нет», – отвечаю… А он как закричит: «Так вот как!!! Не лгите! Вы, – говорит, – попрали самые священные законы естества и супружества! Вы устои колеблете!! Вы ворвались в нормальный очаг и произвели водоворот, в котором – предупреждаю – вы же и захлебнетесь!!» Ужасно эти ученые люди туманно говорят… Потом и про вас, тетенька… «Вы, – говорит, – вашу тетку порешили ограбить… вашу старую тетку, а это стыдно! безнравственно!!» Откуда он мог узнать, что я уже второй месяц не посылаю вам обычных десяти рублей на содержание? Как я уже вам объяснял – это произошло потому, что я заплатил за дачу вперед на все лето. Завтра я постараюсь выслать вам сразу за два месяца. Но все-таки – не понимаю. Обидно! Вот я теперь уволен со службы… А за что? Какие-то устои, водоворот… Насчет же семейной жизни, что он говорил, так это совсем непостижимо! Как вам известно, тетенька, я не женат…»

Поездка в театр

Ловким, грациозным движением Коля Кинжалов подсадил Лизочку Миловидову на площадку трамвая, а потом, вслед за ней, так же грациозно вскочил и сам.

Коля Кинжалов в этот вечер чувствовал себя в особенном ударе. Был он в новом смокинге, лаковых ботинках, купленных по чрезвычайно удачному случаю, и теперь ехал с Лизочкой в театр, что сулило ему много впечатлений, прекрасных и захватывающе интересных.

– Пардон-с, пардон-с, – вежливо, но твердо говорил он стоявшей в проходе публике, – позвольте даме пройти вперед!

У него в уме уже назревала остроумная шутка, которую он скажет, получая от кондуктора билет. Это должно было рассмешить Лизочку, а, развеселившись, она будет еще плотнее прижиматься к его плечу и еще более мягким взглядом будет смотреть на него, сильного и умного Колю Кинжалова…

– Господа, пардон! Позвольте даме пройти вперед и, ради бога, не толкайтесь.

Вагон неожиданно остановился.

Сделав испуганное лицо, Коля Кинжалов пошатнулся, растопырил руки, подпрыгнул и сел на колени какому-то дремавшему человеку в меховой куртке, пребольно наступив ему на ногу.

Господин встрепенулся, столкнул с себя Колю и сурово сказал:

– А чтобы тебя черти взяли! Медведь!!

Сердце Коли Кинжалова колыхнулось и провалилось куда-то далеко-далеко…

Он сразу, с ужасающей ясностью, почувствовал, что сейчас, после этого оскорбления, должно произойти что-то такое ужасное, такое неотвратимое и такое ничем уже не поправимое, после чего сотрется и исчезнет их поездка, театр, новый смокинг, купленные по чрезвычайно удачному случаю лаковые ботинки и даже сама Лизочка Миловидова – его первая благоуханная любовь.

Он оставил руку Лизочки, обернул свое пылавшее жаром лицо к господину в меховой куртке и тонким, срывающимся голосом, чувствуя за спиной Лизочку, вскричал:

– То есть… Это кто же медведь?!

– Вы – медведь, черти бы вас разорвали! Своей лапой вы совсем в лепешку расплющили мою ногу!

«Сейчас надо ударить, – лихорадочно быстро пронеслось в голове Коли Кинжалова. – Кулаком или ладошкой? Ладошкой лучше, потому что это считается пощечиной… Благороднее и оскорбительнее…»

Коля вынул правую руку из кармана и дрожащим голосом сказал:

– Если вы смеете оскорбляться, то я… смею драться!! Я вам покажу сейчас.

Немедленно же Коля пожалел, что не ударил своего противника сразу: в таких случаях обыкновенно не разговаривают.

– Вы у меня узнаете, как оскорбляться!!

– Чего-с?

Господин вскочил, двинулся на Колю, и Коля сразу увидел, что господин выше его на целую голову…

– За такие оскорбления бьют… – болезненным шепотом вырвалось у Коли.

– Неужели? – иронически протянул вскочивший, расстегивая меховую куртку. – Неужели? А что, если я выдеру сейчас твои красные ушонки и засуну тебя под скамейку, как паршивого зайчонка! А?!

Кто-то из публики, с наслаждением дожидавшейся начала драки, засмеялся.

Мастеровой в издерганной шапчонке восторженно хлопнул себя по животу и взвизгнул:

– Бейтесь, братцы!

Истинный художник – он интересовался не результатом дела, а его процессом…

Двумя звонкими пощечинами прозвенели в ушах Коли Кинжалова незабываемые на всю жизнь слова:

– Красные ушонки… паршивый зайчонок…

Падая в бездну, Коля, сам не зная для чего, схватил господина за руку и жалобно пролепетал:

– Нет… этого я так не оставлю…

Но тот уже странно, устало сгорбился, с оскорбительным равнодушием зевнул в самое лицо Коли и небрежно обратился к кондуктору:

– Конюшенная скоро?

– Сейчас остановка.

Господин стряхнул с себя Колину руку и, насвистывая, направился к выходу.

Цепляясь за меховую куртку, Коля шел за уходящим и плачущим голосом кричал, теряя по дороге остатки рыцарства:

– Нет, вы так не уйдете… Вы меня оскорбили…

– Ну!! – угрожающе обернулся тот. – Что нужно?!

– Вы ругались, вы оскорбляли меня, хорошо же…

Одной рукой Коля держал господина за рукав, а другой неуклюже шарил в смокинге одеревеневшими пальцами бумажник.

– Ага… Вот! Если вы порядочный человек!

Коля вынул карточку и подал ее господину в меховой куртке. Ощущение чего-то невыносимо позорного и скверного стало исчезать, уступив место сознанию, что сейчас Коля думает и поступает, как решительный человек и джентльмен с твердыми правилами.

– Это что еще за комедия?

– Это не комедия… это моя карточка, с помощью которой я вызываю вас на дуэль!

– На дуэ-эль?!

Господин, не читая, потрепал карточкой по пальцам своей левой руки, скомкал карточку, бросил карточку на пол, сказал громко и раздельно:

– Ду-рак!

И вышел на площадку, ловко соскочил потом со ступеньки, еще до остановки вагона.

Коля двинулся вслед за ним и, перевесившись через перила, закричал:

– А, что, испугался, негодяй?! То-то! А то бы я переломал твои кривые ножонки! Трус, трус, подлец!!

Странно: Коля Кинжалов сделал, кажется, все, что полагалось порядочному человеку, но возвращался он к Лизочке со странным и неприятным ощущением высеченного человека…

И она его встретила странно: отдернула руку и нервно сказала:

– Садитесь уж!.. Вон свободное место.

Ехали молча.

Коля пожевал губами, проглотил обильную слюну и непринужденно начал:

– Его счастье, что удрал!.. А то бы…

Потом небрежно улыбнулся:

– Был у меня в Ялте тоже подобный случай, только с более печальным для того человека исходом… Сажусь я тоже таким же родом в трамвай и, представьте…

Коля говорил нарочно громко, чтобы его слышала и посторонняя публика.

– Сажусь я в трамвай и, представьте…

Сосед Лизы, отставной военный, улыбнулся и сказал, обращаясь более к Лизе:

– Жаль только, что в Ялте нет трамвая!

Восторженный мастеровой захохотал. Усмехнулись и другие.

Коля наклонил голову и стал застегивать уже застегнутую пуговицу пальто.

– То есть не трамвай… а этот самый… как его…

– Дирижабль? – подсказал кто-то из угла. Лизочка звонко расхохоталась. Коля насильственно улыбнулся и пошутил:

– Ну вот… вы еще скажите: воздушный шар! Да… сажусь в дилижанс, а он меня ка-ак толкнет! «Извинитесь!» – «Не желаю». – «Извинитесь!» – «Не желаю». – «Ага… не желаете?» Схватил его да в запертое окно – трах! – и выбросил. Двенадцать рублей потом взыскали с меня за разбитое стекло! Хе-хе-хе…

Все сконфуженно молчали.

Толстый купец, сосед Коли, закашлялся и, наклонившись, сплюнул. Плевок описал полукруг, попал на лакированный ботинок Коли и застыл на нем.

Лизочка это видела и заметила, что это видел и Коля. Коля, в свою очередь, чувствовал, что Лизочке известно позорное состояние его ботинка, но вместо того, чтобы потребовать от купца извинения, он потихоньку пододвинул ногу под скамейку и угрюмо, злобно проговорил:

– А то еще был со мной такой забавный слу…

– Ладно, пойдем, – нервно вскочила Лизочка. – Нам здесь сходить.

* * *

Коля Кинжалов и Лизочка, съежившись под мелким дождем, молча шли к театру.

Коля ненавидел и театр, и ботинок, и Лизочку, и себя – главным образом себя.

Сзади их кто-то догонял.

Мокрый мастеровой внезапно выпрыгнул из тьмы около электрического фонаря и, подойдя боком к Коле, негодующе и презрительно ткнул пальцем в его щеку.

– Эх, ты! Курица… Туда же… Отчего ты не свистнул ему по уху? Интеллигенты!

Обиженный мастеровой вздохнул и скрылся во тьме.

А Коля оперся плечом об электрический столб и, не стесняясь уже присутствия Лизочки, беззвучно плакал.

Поэт

– Господин редактор, – сказал мне посетитель, смущенно потупив глаза на свои ботинки, – мне очень совестно, что я беспокою вас. Когда я подумаю, что отнимаю у вас

минутку драгоценного времени, мысли мои ввергаются в пучину мрачного отчаяния… Ради бога, простите меня!

– Ничего, ничего, – ласково сказал я, – не извиняйтесь.

Он печально свесил голову на грудь.

– Нет, что уж там… Знаю, что обеспокоил вас. Для меня, не привыкшего быть назойливым, это вдвойне тяжело.

– Да вы не стесняйтесь! Я очень рад. К сожалению только, ваши стишки не подошли.

– Э?

Разинув рот, он изумленно посмотрел на меня.

– Эти стишки не подошли??!

– Да, да. Эти самые.

– Эти стишки??!! Начинающиеся:

Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать…

Эти стихи, говорите вы, не пойдут?!

– К сожалению, должен сказать, что не пойдут именно эти стихи, а не какие-нибудь другие. Именно начинающиеся словами:

Хотел бы я ей черный локон…

– Почему же, господин редактор? Ведь они хорошие.

– Согласен. Лично я очень ими позабавился, но… для журнала они не подходят.

– Да вы бы их еще раз прочли!

– Да зачем же? Ведь я читал.

– Еще разик!

Я прочел в угоду посетителю еще разик и выразил одной половиной лица восхищение, а другой – сожаление, что стихи все-таки не подойдут.

– Гм… Тогда позвольте их… Я прочту! «Хотел бы я ей черный локон…»

Я терпеливо выслушал эти стихи еще раз, но потом твердо и сухо сказал:

– Стихи не подходят.

– Удивительно. Знаете что: я вам оставлю рукопись, а вы после вчитайтесь в нее. Вдруг да подойдет.

– Нет, зачем же оставлять?!

– Право, оставлю. Вы бы посоветовались с кем-нибудь, а?

– Не надо. Оставьте их у себя.

– Я в отчаянии, что отнимаю у вас секундочку времени, но…

– До свиданья!

Он ушел, а я взялся за книгу, которую читал до этого. Развернув ее, я увидел положенную между страниц бумажку. Прочел:

Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполл…

– Ах, черт его возьми! Забыл свою белиберду… Опять будет шляться! Николай! Догони того человека, что был у меня, и отдай ему эту бумагу.

Николай помчался вдогонку за поэтом и удачно выполнил мое поручение.

В пять часов я поехал домой обедать.

Расплачиваясь с извозчиком, сунул руку в карман пальто и нащупал там какую-то бумажку, неизвестно как в карман попавшую.

Вынул, развернул и прочел:

Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать…

и т. д.

Недоумевая, как эта штука попала ко мне в карман, я пожал плечами, выбросил ее на тротуар и пошел обедать.

Когда горничная внесла суп, то, помявшись, подошла ко мне и сказала:

– Кухарка чичас нашла на полу кухни бумажку с написанным. Может, нужное.

– Покажи.

Я взял бумажку и прочел:

– «Хотел бы я ей черный ло…» Ничего не понимаю! Ты говоришь, в кухне, на полу? Черт его знает… Кошмар какой-то!

Я изорвал странные стихи в клочья и в скверном настроении сел обедать.

– Чего ты такой задумчивый? – спросила жена.

– Хотел бы я ей черный ло… Фу ты, черт!! Ничего, милая. Устал я.

За десертом в передней позвонили и вызвали меня… В дверях стоял швейцар и таинственно манил меня пальцем.

– Что такое?

– Тс… Письмо вам! Велено сказать, что от одной барышни… Что оне очень, мол, на вас надеются и что вы их ожидания удовлетворите!..

Швейцар дружелюбно подмигнул мне и хихикнул в кулак.

В недоумении я взял письмо и осмотрел его. Оно пахло духами, было запечатано розовым сургучом, а когда я, пожав плечами, распечатал его, там оказалась бумажка, на которой было написано:

«Хотел бы я ей черный локон…»

Все от первой до последней строчки.

В бешенстве изорвал я письмо в клочья и бросил на пол. Из-за моей спины выдвинулась жена и в зловещем молчании подобрала несколько обрывков письма.

– От кого это?

– Брось! Это так… глупости. Один очень надоедливый человек.

– Да? А что это тут написано?.. Гм… «Целовать»… «аждое утро»… «черны… локон…» Негодяй!

В лицо мне полетели клочки письма. Было не особенно больно, но обидно.

Так как обед был испорчен, то я оделся и, печальный, пошел побродить по улицам. На углу я заметил около себя мальчишку, который вертелся у моих ног, пытаясь всунуть в карман пальто что-то беленькое, сложенное в комочек. Я дал ему тумака и, заскрежетав зубами, убежал.

На душе было тоскливо. Потолкавшись по шумным улицам, я вернулся домой и на пороге парадных дверей столкнулся с нянькой, которая возвращалась с четырехлетним Володей из кинематографа.

– Папочка! – радостно закричал Володя. – Меня дядя держал на руках! Незнакомый… дал шоколадку… бумажечку дал… Передай, говорит, папе. Я, папочка, шоколадку съел, а бумажечку тебе принес.

– Я тебя высеку, – злобно закричал я, вырывая из его рук бумажку со знакомыми словами: «Хотел бы я ей черный локон»… – Ты у меня будешь знать!..

Жена встретила меня пренебрежительно и с презрением, но все-таки сочла нужным сообщить:

– Был один господин здесь без тебя. Очень извинялся за беспокойство, что принес рукопись на дом. Он оставил ее тебе для прочтения. Наговорил мне массу комплиментов, – вот это настоящий человек, умеющий ценить то, что другие не ценят, меняя это «то» на продажных тварей, – и просил замолвить словечко за его стихи. По-моему, что ж, стихи как стихи… Ах! Когда он читал о локонах, то так смотрел на меня…

Я пожал плечами и пошел в кабинет. На столе лежало знакомое мне желание автора целовать чьи-то власы. Это желание я обнаружил и в ящике с сигарами, который стоял на этажерке. Затем это желание было обнаружено внутри холодной курицы, которую с обеда осудили служить нам ужином. Как это желание туда попало, кухарка толком объяснить не могла.

Желание чесать чьи-то власы было усмотрено мной и тогда, когда я откинул одеяло с целью лечь спать. Я поправил подушку. Из нее выпало то же желание.

* * *

Утром после бессонной ночи я встал и, взявши вычищенные кухаркой ботинки, пытался натянуть их на ноги, но не мог, так как в каждом лежало по идиотскому желанию целовать чьи-то власы.

Я вышел в кабинет и, севши за стол, написал издателю письмо с просьбой об освобождении меня от редакторских обязанностей.

Письмо пришлось переписывать, так как, сворачивая его, я заметил на обороте знакомый почерк:

«Хотел бы я ей черный локон…»

Страшный человек

I

В одной транспортной конторе (перевозка и застрахование грузов) служил помощником счетовода мещанин Матвей Петрович Химиков.

Снаружи это был человек маленького роста, с кривыми ногами, бледными, грязноватого цвета глазами и большими красными руками. Рыжеватая растительность напоминала редкий мох, скупо покрывающий какую-нибудь северную скалу, а грудь была такая впалая, что коснуться спины ей мешали только ребра, распиравшие бока Химикова с таким упорством, которое характеризует ребра всех тощих людей.

Это было снаружи. А внутри Химиков имел сердце благородного убийцы, аристократа духа и обольстителя прекрасных женщин. Какая-нибудь заблудившаяся душа рыцаря прежних времен, добывавшего себе средства к жизни шпагой, а расположение духа – любовью женщин,

набрела на Химикова и поселилась в нем, мешая несчастному помощнику счетовода жить так, как живут тысячи других помощников счетовода.

Химикову грезились странные приключения, бешеная скачка на лошадях при лунном свете, стрельба из мушкетов, ограбление проезжих дилижансов, мрачные таверны, наполненные подозрительными личностями с нахлобученными на глаза шляпами и какие-то красавицы, которых Химиков неизменно щадил, тронутый их молодостью и слезами. В это же самое время Химикову кричали с другого стола:

– Одно место домашних вещей. Напишите квитанцию, два пуда три фунта.

Химиков писал квитанцию, но, когда занятия в конторе кончались, он набрасывал на плечи длинный плащ, нахлобучивал на глаза широкополую шляпу и, озираясь, шагал по улице, похожий на странного, дурацкого вида разбойника.

Под плащом он всегда держал на всякий случай кинжал, и если бы по дороге на него было произведено нападение, помощник счетовода захохотал бы жутким, зловещим смехом и всадил бы кинжал в грудь негодяя по самую рукоять.

Но или негодяям было не до него, или людные улицы, по которым он гордо шагал, вызывая всеобщее удивление, не заключали в себе того сорта негодяев, которые набрасываются среди тьмы народа на путников.

II

Химиков благополучно добирался домой, с отвращением съедал обед из двух блюд с вечным киселем на сладкое. Из-за обеда у него с хозяйкой шла вечная, упорная борьба.

– Я не хочу вашего супа с битком, – говорил он обиженно. – Разве нельзя когда-нибудь дать мне простую яичницу, кусок жаренного на вертеле мяса и добрый глоток вина?

О жаренном на вертеле мясе и яичнице он мечтал давно, но бестолковая хозяйка не понимала его идеалов, оправдываясь непитательностью такого меню.

Он хотел сделать так.

Съесть, надвинув на глаза шляпу, мясо, запить добрым глотком вина, закутаться в плащ и лечь на ковер у кровати, чтобы выспаться перед вечерними приключениями.

Но, раз не было жаренного на вертеле мяса и прочего, эффектный отдых в плаще на полу не имел смысла, и помощник счетовода отправлялся на вечерние приключения без этого.

Вечерние приключения состояли в том, что Химиков брал свой вечный кинжал, кутался в плащ и шел, озираясь, в трактир «Черный лебедь».

Этот трактир он избрал потому, что ему очень нравилось его название «Черный лебедь», что там собирались подонки населения города и что низкие, закопченные комнаты трактира располагали к разного рода мечтам о приключениях.

Химиков пробирался в дальний угол, садился, драпируясь в свой плащ, и старался сверкать глазами из-под надвинутой на них шляпы.

И всегда он таинственно озирался, хотя за ним никто не следил и мало кто интересовался этой маленькой фигуркой в театральном черном плаще и шляпе, с выглядывающими из-под нее тусклыми глазами, которые никак не могли засверкать, несмотря на героические усилия их обладателя.

Усевшись, помощник счетовода хлопал в ладоши и кричал срывающимся голосом:

– Эй, паренек, позови ко мне трактирщика! Что там у него есть?

– Их нет-с, – говорил обычно слуга. – Они редко бывают. Что прикажете? Я могу подать.

– Дай ты мне пива, только не в бутылке, а вылей в какой-нибудь кувшин. Да прикажи там повару зажарить добрую яичницу. Ха-ха! – грубо смеялся он, хлопая себя по карману. – Старый Матвей хочет сегодня погулять: он сделал сегодня недурное дельце.

Слуга в изумлении смотрел на него и потом, приняв прежний апатичный вид, шел заказывать яичницу.

«Дельце» Химикова состояло в том, что он продал какому-то из купцов-клиентов имевшееся у него на комиссии деревянное масло, но со стороны казалось, что заработанные Химиковым три рубля обрызганы кровью ограбленного ночного путника.

Когда приносили яичницу и пиво, он брал кувшин, смотрел его на свет и с видом записного пьяницы приговаривал:

– Доброе пиво! Есть чем Матвею промочить глотку.

И в это время он, маленький, худой, забывал о конторе, «домашних местах» и квитанциях, сидя под своей громадной шляпой и уничтожая добрую яичницу, в полной уверенности, что на него все смотрят с некоторым страхом и суеверным почтением.

III

Вокруг него шумела и ругалась городская голытьба, он думал: «Хорошо бы набрать шаечку человек в сорок да и навести ужас на все окрестности. Кто, будут со страхом спрашивать, стоит во главе? Вы не знаете? Старый Матвей. Это страшный человек! Потом княжну какую-нибудь украсть…»

Он шарил под плащом находившийся там между складками кинжал и, найдя, судорожно сжимал рукоятку.

Покончив с яичницей и пивом, расплачивался, небрежно бросал слуге на чай и, драпируясь в плащ, удалялся.

«Хорошо бы, – думал он, – если бы у дверей трактира была привязана лошадь. Вскочил бы и ускакал».

И помощник счетовода чувствовал такой прилив смелости, что мог идти на грабеж, убийство, кражу, но непременно у богатого человека («эти деньги я все равно отдал бы нуждающимся»).

Если по пути попадался нищий, Химиков вынимал из кармана серебряную монету (несмотря на скудость бюджета, он никогда не вынул бы медной монеты) и, бросая ее барским жестом, говорил:

– Вот… возьми себе.

При этом монету бросал он на землю, что доставляло нищему большие хлопоты и вызывало утомительные поиски, но Химиков понимал благотворительность только при помощи этого эффектного жеста, никогда не давая монету в руку попрошайке.

IV

У помощника счетовода был один только друг – сын квартирной хозяйки Мотька, в глазах которого раз навсегда застыл ужас и преклонение перед помощником счетовода.

Было ему девять лет. Каждый вечер с нетерпением ждал он той минуты, когда Химиков, вернувшись из трактира, постучит к его матери в дверь и крикнет:

– Мотя! Хочешь ко мне?

Замирая от страха и любопытства, Мотька робко входил в комнату Химикова и садился в уголок.

Химиков в задумчивости шагал из угла в угол, не снимая своего плаща, и наконец останавливался перед Мотькой.

– Ну, тезка… Было сегодня жаркое дело.

– Бы-ло? – спрашивал Мотька, дрожа всем телом.

Химиков зловеще хохотал, качал головой и, вынув из кармана кинжал, делал вид, что стирает с него кровь.

– Да, брат… Купчишку одного маленько пощипали. Золота было немного, но шелковые ткани, парча – чудо что такое.

– А что же вы с купцом сделали? – тихо спрашивал бледный Мотька.

– Купец? Ха-ха! Если бы он не сопротивлялся, я бы, пожалуй, отпустил бы его. Но этот негодяй уложил лучшего из моих молодцов – Лорендо, и я, ха-ха, поквитался с ним!

– Кричал? – умирающим шепотом спрашивал Мотька, чувствуя, как волосы тихо шевелятся у него на голове.

– Не цыкнул. Нет, это что… Это забава сравнительно с делом старухи Монморанси.

– Какой… старухи? – прижимаясь к печке, спрашивал Мотька.

– Была, брат, такая старуха… Мои молодцы пронюхали, что у нее водятся деньжата. Хорошо-с… Отравили мы ее пса, один из моей шайки подпоил старого слугу этой ведьмы и открыл нам двери… Но каким-то образом полицейские ищейки пронюхали. Ха-ха! Вот то была потеха! Я четырех уложил… Ну и мне попало! Две недели мои молодцы меня в овраге отхаживали.

Мотька смотрел на помощника счетовода глазами, полными любви и пугливого преклонения, и шептал пересохшими губами:

– А сколько… вы вообще человек… уложили?

Химиков задумывался:

– Человек… Двадцать – двадцать пять. Не помню, право. А что?

– Мне жалко вас, что вы будете на том свете в котле кипеть…

Химиков подмигивал и бил себя кулаками по худым бедрам.

– Ничего, брат, зато я здесь, на этом свете, натешусь всласть… а потом можно и покаяться перед смертью. Отдам все свое состояние на монастыри и пойду босой в Иерусалим…

Химиков кутался в плащ и мрачно шагал из угла в угол.

– Покажите мне еще раз ваш кинжал, – просил Мотька.

– Вот он, старый друг, – оживлялся Химиков, вынимая из-под плаща кинжал. – Я таки частенько утоляю его жажду. Ха-ха! Любит он свежее мясо… Ха-ха!

И он, зловеще вертя кинжалом, озирался, закидывая конец плаща на плечо и худым пальцем указывал на ржавчину, выступившую на клинке от сырости и потных рук.

Потом Химиков говорил:

– Ну, Мотя, устал я после всех этих передряг. Лягу спать.

И, закутавшись в плащ, ложился, маленький, бледный, на ковер у кровати.

– Зачем вы предпочитаете пол? – почтительно спрашивал Мотька.

– Э-э, брат! Надо привыкать… Это еще хорошо. После ночей в болотах или на ветвях деревьев это – царская постель.

И он, не дождавшись ухода Мотьки, засыпал тяжелым сном.

Мотька долго сидел подле него, глядя с любовью и страхом в скупо покрытое рыжими волосами лицо.

И вдвойне ужасным казалось ему то, что весь Химиков – такой маленький, жалкий и незначительный. И что под этой незначительностью скрывается опасный убийца, искатель приключений и азартный игрок в кости.

Насмотревшись на лицо спящего помощника счетовода, Мотька заботливо прикрывал его сверх плаща одеялом, гасил лампу и на цыпочках, стараясь не потревожить тяжелый сон убийцы, уходил к себе.

V

Помощник счетовода Химиков, благородный авантюрист, рыцарь и искатель приключений, всей душой привязанный к отошедшему в вечность – закопченным тавернам, нападениям на дилижансы и мастерским ударам кинжала, – влюбился.

Его идеал – бледная, стройная графиня, сидящая на козетке в старинном барском доме, – нашел воплощение в девице без определенных занятий – Полине Козловой, если иногда и бледной, то не от благородного происхождения, а от бессонных ночей, проводимых ею не совсем согласно с кодексом обычной добродетели.

Однажды, когда дико живописный Химиков шагал аршинными решительными шагами по улице, закутанный в свой вечный плащ и прикрытый сверху чудовищной шляпой, он услышал впереди себя разговор:

– Очень даже это нетактично приставать к незнакомым девушкам.

– Сударыня, Маруся… Я уверен, что такое очаровательное существо может именоваться только Марусей… Маруся! Не вносите аккорда в диссонанс нашей мимолетной встречи. Позвольте быть вам проводимой мной. Где вы живете?

– Ишь, чего захотели. Никогда я не скажу вам, хотя бы вы проводили меня до самого дома на Московской улице, номер семь… Ах, что я сказала! Я, кажется, проговорилась… Нет, забудьте, забудьте, что я вам сказала!

Подслушивание Химиков считал самым неблагородным делом, но, когда до него донесся этот разговор, его мужественное сердце наполнилось состраданием к преследуемой и бешеным негодованием против гнусного преследователя.

– Милостивый государь! – загремел он, приблизившись к донжуану и смотря на него снизу вверх. – Оставьте эту беззащитную девушку, или вы будете иметь дело со мной!

Беззащитная девушка с некоторым неудовольствием взглянула на мужественного Химикова, а ее кавалер сердито вырвал руку и закричал:

– Кто вы такой, черти вас раздери?

– Негодяй! Я тот, которого провидение нашло нужным послать в критическую для этого существа минуту. Защищайся!

Противник Химикова, громадный, толстый блондин, сжал кулак, но вид маленького Химикова, бешено извивавшегося у его ног с кинжалом в руке, заставил его отступить.

– Ч-черт з-знает, что такое, – пробормотал он, отскакивая от бледной худой руки, которая бешено чертила кинжалом вокруг него замысловатые круги и восьмерки. – Черт знает… решительно не понимаю… – оторопело промычал блондин и стал быстрыми шагами удаляться от Химикова, оставшегося около девицы.

VI

– Сударыня, – сказал Химиков, снимая свою черную странную шляпу и опуская ее до самой земли. – Прошу извинений, если ваше ухо было оскорблено несколькими грубыми словами, произнести которые вынудила меня необходимость. Ха-ха! – зловеще захохотал Химиков. – Парень, очевидно, боится запаха крови и ловко избежал маленького кровопускания… Ха-ха-ха!

– Кто вы такой? – спросила изумленная Полина Козлова, осматривая Химикова.

– Я…

Химикову неловко было сказать, что его фамилия Химиков и что он служит помощником счетовода в транспортной конторе. Он опустил голову, забросил конец плаща на плечо и, как будто стряхнувши с себя что-то, сказал:

– Когда-нибудь… когда будет возможно, человек с черной бородой явится к вам, покажет этот кинжал и сообщит, кто я… Пока же… сударыня, не забывайте, что город этот страшен. Он таит совершенно неизвестные вам опасности, и нужно иметь мою звериную хитрость и ловкость, чтобы избежать их. Но вы… Как ваши престарелые родители рискуют отпустить вас в эту страшную ночь… Не найдете ли вы удобным соблаговолить дать мне милостивое разрешение предложить сопутствоватъ вам до вашего дома.

– Ну что ж, можно, – усмехнулась Полина Козлова.

Химиков взял девушку под руку и, свирепо озираясь на встречных прохожих, бережно повел ее по улице. Через сто шагов он уже узнал, что у его спутницы нет родителей и что она носит фамилию – Полина Козлова.

– Так молоды и, увы, беззащитны, – прошептал Химиков, тронутый ее историей. – Скорбь об утрате ваших почтенных родителей смешивается в моей душе со сладкой надеждой быть вам чем-нибудь полезным и принять на свою грудь направленные на вас удары злобной интриги и происки вра…

– Покатайте меня на автомобиле, – сказала девушка, щуря на Химикова глаза.

По своим убеждениям Химиков ненавидел автомобили, предпочитая им старые добрые дилижансы. Но желание женщины было для него законом.

– Сударыня, вашу руку…

Они долго катались на автомобиле, а потом девушка проголодалась и заявила, что хочет в ресторан.

Химиков не возражал ей ни слова, но про себя решил, что, если в ресторане у него не хватит денег, он выйдет в переднюю и там заколется кинжалом. Пусть лучше над ним нависнет роковая тайна, чем прозаический отказ в ужине. В кабинете ресторана девушка поправила растрепавшуюся прическу, подошла к Химикову и, севши на его худые, неверные колени, поцеловала помощника счетовода в щеку.

Сердце Химикова затрепетало и оборвалось.

– Суд… Полина. Вв… вы… меня… полюбили! О, пусть эта неожиданно вспыхнувшая страсть будет залогом моего стремления посвятить вам отныне мою жизнь.

– Дайте папиросу, – попросила Полина, разглаживая его редкие рыжие волосы.

– Грациозная шалунья! Резвящаяся сирота! – в экстазе воскликнул Химиков и прижал девушку к своей груди.

После ужина Химиков проводил Полину домой, у подъезда ее дома снял шляпу, низко, почтительно поклонился и, поцеловав руку, удалился, закутанный в свой длинный плащ.

Сбитая с толку девушка удивленно посмотрела ему вслед, улыбнулась и сказала:

– Сегодня я сплю одна.

Это был самый редкий и курьезный случай в ее жизни.

VII

Химиков зажил странной жизнью.

Транспортную контору, трактир «Черный лебедь», добрый кувшин пива – все это поглотило молодое поэтичное чувство, загоревшееся в его тощей груди.

Он часто встречался с Полиной и, рыцарски вежливый, рабски исполнял все капризы девушки, очень полюбившей автомобили и театральные представления. Долги зловещего авантюриста росли с головокружительной быстротой, и ряд прозаических неприятностей обрушился на его бедную голову. В конторе стали коситься на его небрежность в писании квитанций и вечные просьбы жалованья вперед. Хозяйка перестала получать за квартиру и почти не кормила иссохшего от страсти и лишений Химикова.

И Химиков, голодный, лишенный даже «доброй яичницы» в трактире «Черный лебедь», ждал с нетерпением вечера, когда можно было накинуть плащ и, захватив кинжал и маску (маска появилась в самое последнее время как атрибут любовного похождения), отправиться на свидание.

Полина Козлова была нехорошей девушкой.

Химикову изменяли – он не замечал этого. Над Химиковым смеялись – он считал это оригинальным выражением любви, Химикова разоряли – он был слишком поэтичной натурой, чтобы обратить на это внимание…

И наступило крушение.

VIII

Как всякому авантюристу, Химикову дороже всего было его оружие, и Химиков берег кинжал как зеницу ока. Но однажды Полина сказала:

– Принесите завтра конфект.

И разоренный Химиков на другой день без колебаний завернул кинжал в бумагу и понес его торговцу старинными вещами.

– Что это? – спросил удивленный торговец.

– Кинжал. Это мой старый друг, сослуживший мне не одну службу, – печально сказал Химиков, запахиваясь в плащ.

– Это простой нож для разрезывания книг, а не кинжал, – улыбнулся торговец. – С чего вы взяли, что он кинжал? Таких можно купить по семи гривен где угодно. Даже более новых, не заржавленных.

Изумленный Химиков взял свой кинжал и побрел домой. В голове его мелькала мысль, что сегодня можно к Полине не пойти, а завтра сказать, что с ним случилось странное приключение: какие-то неизвестные люди похитили его, увезли в карете и продержали сутки в таинственном подземелье.

IX

А на другой день, так как вопрос о конфектах не разрешился, Химиков решил ограбить кого-нибудь на улице.

Решил он это без всяких колебаний и сомнений. Ограбить богатого человека он считал вовсе не позорным делом, твердо стоя на точке зрения рыцарей прошлых веков, не особенно разборчивых в сложных вопросах морали.

Тут же он решил, если ограбит большую сумму, отдать излишек бедным.

Закутанный в плащ, с кинжалом в руке, Химиков в тот же вечер отправился на улицы города, зорко оглядываясь по сторонам.

Все было как следует. Ветер рвал полы его плаща, луна пряталась за тучами, и прохожих было немного. Химиков притаился в какой-то впадине стены и стал ждать.

Гулкие шаги по пустынной улице возвестили помощнику счетовода о приближении добычи. Вдали показался господин, одетый в дорогое пальто и лоснящийся цилиндр. Химиков судорожно сжал кинжал, выскользнул из засады и предстал – маленький, в громадной шляпе, как чудовищный гриб, – перед прохожим.

– Ха-ха-ха! – жутким смехом захохотал он. – Нет ли денег?

– Бедняга! – сострадательно сказал господин, приостанавливаясь. – В такую холодную ночь просить милостыню… Это ужасно. На тебе двугривенный, пойди, обогрейся!

Химиков зажал в кулак всунутый ему в руку двугривенный и, лихорадочно стуча зубами, пустился бежать по улице. Голова его кружилась, и так странно окончившийся грабеж напол-

нял сердце обидой. Черной, странной птицей несся он по улице, а ветер, как крыльями, шлепал полами его плаща и продувал удивительного помощника счетовода.

X

Химиков лежал на своей убогой кровати, смотря остановившимся взглядом в потолок.

Около него сидел неутешный хозяйский сын Мотька и, со слезами на грязном лице, гладил бледную руку Химикова.

– Да… брат… Мотя, – подмигнул ему Химиков, – много я грешил на своем веку, и вот теперь расплата.

– Мама говорила, что, может, не умрете, – попытался обрадовать страшного счетовода Мотька.

– Нет уж, брат… Пожито, пограблено, выпущено крови довольно. Мотя, у меня не было друзей, кроме тебя. Хочешь, я тебе подарю, что мне дороже всего, – мой кинжал?

На минуту Мотькины глаза засверкали радостью.

– Спасибо, Матвей Петрович! Я тоже, когда вырасту, буду им убивать.

– Ха-ха-ха! – зловеще засмеялся Химиков. – Вот он, мой наследник и продолжатель моего дела! Мотя, жди, когда придут к тебе трое людей в плащах, с винтовками в руках, – тогда начинайте действовать. Пусть льется кровь сильных в защиту слабых.

Он оборвал разговор и затих.

Уже несколько времени Химиков ломал голову над разрешением одного вопроса: какие сказать ему последние предсмертные слова: было много красивых фраз, но все они не нравились Химикову.

И он мучительно думал.

Над Химиковым склонился доктор и Мотькина мать.

– Кто он такой? – шепотом спросил доктор, удивленно смотря на висевшую в углу громадную шляпу и плащ.

– Лекарь, – с трудом сказал Химиков, открывая глаза, – тебе не удастся проникнуть в тайну моего рождения. Ха-ха-ха!

Он схватился за грудь и прохрипел:

– Души загубленных мной толпятся перед моими глазами длинной вереницей… Но дам я за них ответ только перед престолом всевыш… Засни, Красный Матвей!

И затих.

Люди четырех измерений

I

– Удивительно они забавные! – сказала она, улыбаясь мечтательно и рассеянно.

Не зная, хвалит ли женщина в подобных случаях или порицает, я ответил, стараясь быть неопределенным:

– Совершенно верно. – Это частенько можно утверждать, не рискуя впасть в ошибку.

– Иногда они смешат меня.

– Это мило с их стороны, – осторожно заметил я, усиливаясь ее понять.

– Вы знаете, он – настоящий Отелло.

Так как до сих пор мы говорили о старике-докторе, их домашнем враче, то я, удивленный этим странным его свойством, возразил:

– Никогда этого нельзя было подумать!

Она вздохнула.

– Да. И ужасно сознавать, что ты в полной власти такого человека. Иногда я жалею, что вышла за него замуж. Я уверена, что у него голова расшиблена до сих пор.

– Ах, вы говорите о муже! Но ведь он…

Она удивленно посмотрела на меня.

– Голова расшиблена не у мужа. Он ее сам расшиб.

– Упал, что ли?

– Да нет. Он ее расшиб этому молодому человеку.

Так как последний раз разговор о молодых людях был у нас недели три тому назад, то «этот молодой человек», если она не называла так доктора, был, очевидно, для меня личностью совершенно неизвестной.

Я беспомощно взглянул на нее и сказал:

– До тех пор, пока вы не разъясните причины несчастья с «молодым человеком», судьба этого незнакомца будет чужда моему сердцу.

– Ах, я и забыла, что вы не знаете этого случая! Недели три тому назад мы шли с ним из гостей, знаете, через сквер. А он сидел на скамейке, пока мы не попали на полосу электрического света. Бледный такой, черноволосый. Эти мужчины иногда бывают удивительно безрассудны. На мне тогда была большая черная шляпа, которая мне так к лицу, и от ходьбы я очень разрумянилась. Этот сумасброд внимательно посмотрел на меня и вдруг, вставши со скамьи, подходит к нам. Вы понимаете – я с мужем. Это сумасшествие. Молоденький такой. А муж, как я вам уже говорила, – настоящий Отелло. Подходит, берет мужа за рукав. «Позвольте, – говорит, – закурить». Александр выдергивает у него руку, быстрее молнии наклоняется к земле и каким-то кирпичом его по голове – трах! И молодой человек, как этот самый… сноп, – падает. Ужас!

– Неужели он его приревновал ни с того ни с сего?!

Она пожала плечами.

– Я же вам говорю, – они удивительно забавные!

II

Простившись с ней, я вышел из дому и на углу улицы столкнулся с мужем.

– Ба! Вот неожиданная встреча! Что это вы и глаз не кажете?

– И не покажусь, – пошутил я. – Говорят, вы кирпичами ломаете головы, как каленые орехи.

Он захохотал.

– Жена рассказала? Хорошо, что мне под руку кирпич подвернулся. А то, – подумайте, – у меня было тысячи полторы денег при себе, на жене бриллиантовые серьги…

Я отшатнулся от него.

– Но… при чем здесь серьги?

– Ведь он их с мясом мог. Сквер пустой, и глушь отчаянная.

– Вы думаете, что это грабитель?

– Нет, атташе французского посольства! Подходит в глухом месте человек, просит закурить и хватает за руку – ясно, кажется.

Он обиженно замолчал.

– Так вы его… кирпичом?

– По голове. Не пискнул даже… Мы тоже эти дела понимаем.

Недоумевая, я простился и пошел дальше.

III

– За вами не поспеешь! – раздался сзади меня голос.

Я оглянулся и увидел своего приятеля, которого не видел недели три.

Вглядевшись в него, я всплеснул руками и не удержался от крика.

– Боже! Что с вами сделалось?!

– Сегодня только из больницы вышел, слаб еще.

– Но… ради бога! Чем вы были больны?

Он слабо улыбнулся и спросил в свою очередь:

– Скажите, вы не слышали: в последние три недели в нашем городе не было побегов из дома умалишенных?

– Не знаю. А что?

– Ну… не было случаев нападения бежавшего сумасшедшего на мирных прохожих?

– Охота вам таким вздором интересоваться!.. Расскажите лучше о себе.

– Да что! Был я три недели между жизнью и смертью. До сих пор шрам.

Я схватил его за руку и с неожиданным интересом воскликнул:

– Вы говорите – шрам? Три недели назад? Не сидели ли вы тогда в сквере?

– Ну да. Вы, вероятно, прочли в газете? Это самый нелепый случай моей жизни… Сижу я как-то теплым, тихим вечером в сквере. Лень, истома. Хочу закурить папиросу, – черт возьми! Нет спичек… Ну, думаю, будет проходить добрая душа, – попрошу. Как раз минут через десять проходит господин с дамой. Ее я не рассмотрел – рожа, кажется. Но он курил. Подхожу, трогаю его самым вежливым образом за рукав: «Позвольте закурить». И что же вы думаете! Этот бесноватый наклоняется к земле, поднимает что-то – и я, с разбитой головой, без памяти, лечу на землю. Подумать только, что эта несчастная беззащитная женщина шла с ним, даже не подозревая, вероятно, что это за птица.

Я посмотрел ему в глаза и строго спросил:

– Вы… действительно думаете, что имели дело с сумасшедшим?

– Я в этом уверен.

IV

Через полтора часа я лихорадочно рылся в старых номерах местной газеты и наконец нашел, что мне требовалось. Это была небольшая заметка в хронике происшествий: «Под парами алкоголя. Вчера утром сторожами, убиравшими сквер, был замечен неизвестный молодой человек, оказавшийся по паспорту дворянином, который, будучи в сильном опьянении, упал на дорожке сквера так неудачно, что разбил себе о лежавший неподалеку кирпич голову. Горе несчастных родителей этого заблудшего молодого человека не поддается описанию…»

Я сейчас стою на соборной колокольне, смотрю на движущиеся по улице кучки серых людей, напоминающих муравьев, которые сходятся, расходятся, сталкиваются и опять без всякой цели и плана расползаются во все стороны…

И смеюсь, смеюсь.

История одной картины
Из выставочных встреч

До сих пор, при случайных встречах с модернистами, я смотрел на них с некоторым страхом: мне казалось, что такой художник-модернист среди разговора или неожиданно укусит меня за плечо, или попросит взаймы.

Но это странное чувство улетучилось после первого же ближайшего знакомства с таким художником.

Он оказался человеком крайне миролюбивого характера и джентльменом, хотя и с примесью бесстыдного лганья.

Я тогда был на одной из картинных выставок, сезон которых теперь в полном разгаре, – и тратил вторые полчаса на созерцание висевшей передо мной странной картины. Картина эта не возбуждала во мне веселого настроения… Через все полотно шла желтая полоса, по одну сторону которой были наставлены маленькие закорючки черного цвета. Такие же закорючки, но лилового цвета, приятно разнообразили тон внизу картины. Сбоку висело солнце, которое было бы очень недурным астрономическим светилом, если бы не было односторонним и притом – голубого цвета.

Первое предположение, которое мелькнуло во мне при взгляде на эту картину, – что предо мной морской вид. Но черные закорючки сверху разрушали это предположение самым безжалостным образом.

«Э! – сказал я сам себе. – Ловкач-художник просто изобразил внутренность нормандской хижины…»

Но одностороннее солнце всем своим видом и положением отрицало эту несложную версию.

Я попробовал взглянуть на картину в кулак: впечатление сконцентрировалось, и удивительная картина стала еще непонятнее…

Я пустился на хитрость – крепко зажмурил глаза и потом, поболтав головой, сразу широко открыл их…

Одностороннее солнце по-прежнему пузырилось выпуклой стороной и закорючки с утомительной стойкостью висели – каждая на своем месте.

Около меня вертелся уже минут десять незнакомый молодой господин с зеленоватым лицом и таким широким галстуком, что я должен был все время вежливо от него сторониться. Молодой господин заглядывал мне в лицо, подергивал плечом и вообще выражал живейшее удовольствие по поводу всего его окружающего.

– Черт возьми! – проворчал я, наконец потеряв терпение. – Хотелось бы мне знать автора этой картины… Я б ему…

Молодой господин радостно закивал головой.

– Правда? Вам картина нравится?! Я очень рад, что вы оторваться от нее не можете. Другие ругались, а вы… Позвольте мне пожать вам руку.

– Кто вы такой? – отрывисто спросил я.

– Я? Автор этой картины! Какова штучка?!

– Да-а… Скажите, – сурово обратился я к нему. – Что это такое?

– Это? Господи боже мой… «Четырнадцатая скрипичная соната Бетховена, опус восемнадцатый». Самая простейшая соната.

Я еще раз внимательно осмотрел картину.

– Соната?

– Соната.

– Вы говорите, восемнадцатый? – мрачно переспросил я.

– Да-с, восемнадцатый.

– Не перепутали ли вы? Не есть ли это Пятая соната Бетховена, опус двадцать четвертый?

Он побледнел.

– Н-нет… Насколько я помню, это именно Четырнадцатая соната.

Я недоверчиво посмотрел на его зеленое лицо.

– Объясните мне… Какие бы изменения сделали вы, если бы вам пришлось переделать эту вещь опуса на два выше?.. Или дернуть даже Шестую сонату… А? Чего нам с вами, молодой человек, стесняться? Как вы думаете?

Он заволновался.

– Так нельзя… Вы вводите в настроение математическое начало… Это продукт моего личного переживания! Подходите к этому, как к Четырнадцатой сонате.

Я грустно улыбнулся.

– К сожалению, мне трудно исполнить ваше предложение… О-очень трудно! Четырнадцатой сонаты я не увижу.

– Почему?!!

– Потому что их всего десять. Скрипичных сонат Бетховена, к сожалению, всего десять. Старикашка был преленивым субъектом.

– Что вы ко мне пристаете?! Значит, эта вещь игралась не на скрипке, а на виолончели!.. Вот и все! На высоких нотах… Я и переживал.

– Старик как будто задался целью строить вам козни… Виолончельных-то сонат всего шесть им и состряпано.

Мой собеседник, удрученный, стоял, опустив голову, и отколупывал от статуи кусочки гипса.

– Не надо портить статуи, – попросил я.

Он вздохнул.

У него был такой вид, что я сжалился над заблудившимся импрессионистом.

– Вы знаете… Пусть это останется между нами. Но при условии, если вы дадите мне слово исправиться и начать вести новую честную жизнь. Вы не будете выставлять таких картин, а я буду помалкивать о вашем этом переживании. Ладно?

Он сморщил зеленое лицо в гримасу, но обещал.

* * *

Через неделю я увидел на другой выставке новую его картину: «Седьмая фуга Чайковского, оп. 9, изд. Ю.Г. Циммермана».

Он не сдержал обещания. Я – тоже.

Отец

Стоит мне только вспомнить об отце, как он представляется мне взбирающимся по лестнице, с оживленным озабоченным лицом и размашистыми движениями, сопровождаемый несколькими дюжими носильщиками, обременензными тяжелой ношей.

Это странное представление рождается в мозгу, вероятно, потому, что чаще всего мне приходилось видеть отца взбирающимся по лестнице, в сопровождении кряхтящих и ругающихся носильщиков.

Мой отец был удивительным человеком. Все в нем было какое-то оригинальное, не такое, как у других… Он знал несколько языков, но это были странные, не нужные никому другому языки: румынский, турецкий, болгарский, татарский. Ни французского, ни немецкого он не знал. Имел он голос, но когда пел, ничего нельзя было разобрать – такой это был густой, низкий голос. Слышалось какое-то удивительное громыхание и рокот, до того низкий, что казался он выходящим из-под его ног. Любил отец столярные работы – но тоже они были как-то ни к чему – делал он только деревянные пароходики. Возился над каждым пароходиком около года, делал его со всеми деталями, а когда кончал, то, удовлетворенный, говорил:

– Такую штуку можно продать не меньше чем за пятнадцать рублей!

– А матерьял стоил тридцать! – подхватывала мать.

– Молчи, Варя, – говорил отец. – Ты ничего не понимаешь…

– Конечно, – горько усмехаясь, возражала мать. – Ты много понимаешь…

Главным занятием отца была торговля. Но здесь он превосходил себя по странности и ненужности – с коммерческой точки зрения тех операций, которые в магазине происходили.

Для отца не было лучшего удовольствия, как отпустить кому-нибудь товар в долг. Покупатель, задолжавший отцу, делался его лучшим другом… Отец зазывал его в лавку, поил чаем, играл с ним в шашки и бывал обижен на мать до глубины души, если она, узнав об этом, говорила:

– Лучше бы он деньги отдал, чем в шашки играть.

– Ты ничего не понимаешь, Варя, – деликатно возражал отец. – Он очень хороший человек. Две дочери в гимназии учатся. Сам на войне был. Ты бы послушала, как он о военных порядках рассказывает.

– Да нам-то что от этого! Мало ли кто был на войне – так всем и давать в долг?

– Ты ничего не понимаешь, Варя, – печально говорил отец и шел в сарай делать пароход.

Со мной у него были хорошие отношения, но характеры мы имели различные. Я не мог понять его увлечений, скептически относился к пароходам и, когда он подарил мне один пароход, думая привести этим в восторг, я хладнокровно, со скучающим видом потрогал какую-то деревянную штучку на носу крошечного судна и отошел.

– Ты ничего не понимаешь, Васька, – сказал, сконфузившись, отец.

Я любил книжки, а он купил мне полдюжины каких-то голубей-трубачей. Почему я должен был восхищаться тем, что у них хвосты не плоские, а трубой, до сих пор считаю невыясненным. Мне приходилось вставать рано утром, давать этим голубям корм и воду, что вовсе не увлекало меня. Через три-четыре дня я привел в исполнение адский план – открыл дверцу голубиной будки, думая, что голуби сейчас же улетят. Но проклятые птицы вертели хвостами и мирно сидели на своем месте. Впрочем, открытая дверца принесла свою пользу: в ту же ночь кошка передушила всех трубачей, принеся мне облегчение, а отцу горе и тихие слезы.

Как все в отце было оригинально, так же была оригинальна и необычна его страсть – покупать редкие вещи. Требования, которые предъявлял он к этого рода операциям, были следующие: чтобы вещь приводила своим видом всех окружающих в удивление, чтобы она была монументальна и чтобы все думали, что вещь куплена за пятьсот рублей, когда за нее заплачено только тридцать.

* * *

Однажды на лестнице дома, где мы жили, послышалось топанье многочисленных ног, крики и кряхтенье. Мы выбежали на площадку лестницы и увидели отца, который вел за собою несколько носильщиков, обремененных большой, странного вида вещью.

– Что это такое? – с беспокойством спросила мать.

Лучезарное лицо отца сияло гордостью и скрытой радостью человека, замыслившего прехорошенький сюрприз.

– Увидите, – дрожа от нетерпения, говорил он. – Сейчас поставим его.

Когда «его» поставили и носильщики, облагодетельствованные отцом, удалились, «он» оказался колоссальной величины умывальником с мраморной лопнувшей пополам доской и красным потрескавшимся деревом.

– Ну? – торжествующе обратился отец к окружающим. – Во сколько вы оцените эту штуку?

– Да для чего она? – спросила мать.

– Ты ничего не понимаешь, Варя. Алеша, скажи-ка ты – сколько, по-твоему, стоит сей умывальник?

Алеша – льстец, гиперболист и фальшивая низкопоклонная душонка – всплеснул измазанными чернилами руками и ненатурально воскликнул:

– Какая прелесть! Сколько стоит? Четыреста двадцать пять рублей!

– Ха-ха-ха! – торжествующе захохотал отец. – А ты, Варя, сколько скажешь?

Мать скептически покачала головой.

– Да что ж… рублей пятнадцать за него еще можно дать.

– Много ты понимаешь! Можете представить – весь этот мрамор, красное дерево и все – стоит по случаю всего двадцать пять рублей. Вот сейчас мы его попробуем! Марья! Воды.

В монументальный рукомойник налили ведро воды… Нажатая ногой педаль не вызвала из крана ни одной капли жидкости, но зато, когда мы посмотрели вниз, ноги наши были окружены целым озером воды.

– Течет! – сказал отец. – Надо позвать слесаря. Марья! Сбегай.

Слесарь повозился с полчаса над умывальником, взял за это шесть рублей и, уходя, украл из передней шапку.

Умывальник поселился у нас.

Когда отца не было дома, все с наслаждением умывались из маленького стенного рукомойника, но если это происходило при отце, он кричал, ругался, заставлял всех умываться из его покупки и говорил:

– Вы ничего не понимаете!

У всех было основание избегать большого умывальника. У него был ехидный отвратительный нрав и непостоянство в симпатиях. Иногда он обнаруживал собачью привязанность к сестре Лизе и давался умываться из него нормальным, обычным способом. Или дружился с Алешей, был предупредителен к нему – покорный, как ребенок, лил прозрачную струю на черные Алешины руки и не позволял себе непристойных выходок.

Со всеми же другими поступал так. Стоило только нажать педаль, как из крана со свистом вылетала горизонтальная струя воды и попадала неосторожному человеку в живот или грудь; потом струя моментально опадала и, притаившись, ждала следующего нажатия педали. Человек нагибался и подставлял руки, надеясь поймать проклятую струю в том самом месте, куда она била.

Но струя не дремала…

Увидя склоненные плечи, она взлетала фонтаном вверх, обрушивалась вниз, обливала голову и затылок доверчивого человека, моментально пропадала и, нацелившись на ноги, орошала их так щедро, что человек, побежденный умывальником, с проклятием отскакивал в сторону и убегал.

Иногда же умывальник вертел струей, как змея головой, поворачивал ее, кривлялся, и тогда нужно было бегать вокруг этой монументальной дряни, чтобы поймать руками ускользающую увертливую струю. Потом уже мы придумали делать на нее форменную облаву: становились вокруг, протягивали десяток рук, и загнанная струя, как ни изворачивалась, а кому-нибудь попадала…

* * *

Однажды на лестнице раздался знакомый топот и кряхтенье… Это отец, предводительствуя армией носильщиков, вел новую покупку.

То была странная процессия.

Впереди три человека тащили громадный четырехугольник с отверстием посередине, за ними двое несли странный точеный стержень, а сзади замыкали шествие еще два человека с каким-то подобием громадного глобуса и стеклянным матовым полушарием, величиной с крышу небольшого сарайчика.

– Что это? – с тайным страхом спросила мать.

– Лампа, – весело отвечал отец.

– А я думала – тумба для афиш.

– Не правда ли, – подхватил отец, – прегромадная вещь. Я и торговался полчаса, пока мне не уступили.

Лампу установили рядом с умывальником. Она была ростом под потолок и вида самого странного, на редкость неудобного – тяжелая, некрасивая, похожая на какое-то чудовищное африканское растение.

– Ну как думаешь, Алеша… Сколько она стоит?

– Три тысячи! – уверенно сказал Алеша.

– Ха-ха! А ты что скажешь, Варя?

Мать, севши в уголку, беззвучно плакала. С отца весь восторг сразу слетел, и он, обескураженный, подошел к матери, нагнулся и нежно поцеловал ее в голову.

– Эх, Варя! Ты ничего не понимаешь! Васька! Сколько, по-твоему, должна стоить такая лампа?

– Семь тысяч, – сказал я, обойдя вокруг лампы. – По крайней мере, я дал бы за нее столько, лишь бы ее отсюда убрали.

– Много ты понимаешь! – растерялся отец.

Лампа оказалась из одного семейства с умывальником. Керосин (четырнадцать фунтов); налитый в нее, потек, отравил воздух, а когда слесарь исправил ее (тот самый, который украл шапку), то лампа втянула в себя громадный черный фитиль и ни за что не хотела выпустить его. Вытащенный какими-то щипцами, фитиль загорелся, но так начадил, что соседи пришли спасать нас от пожара, предлагая бесплатные услуги по выносу вещей и тушению огня.

А громадная необъятная лампа горела маленьким, микроскопическим огоньком, таким, какой теплится в лампадке у икон, тихо потрескивала и язвительно прищелкивала своим крохотным красным язычком.

Отец стоял перед ней в немом восторге.

* * *

Однажды на лестнице послышался такой же шум, грохот и крики.

– Что еще? – выскочила мать.

– Часы, – счастливо смеясь, сообщил отец.

Это было самое поразительное, самое неслыханное из всего купленного отцом.

По громадному циферблату стремительно носились две стрелки, не считаясь ни с временем, ни с усилиями людей, которые вздумали бы удержать их от этого. Внизу грозно раскачивался колоссальный маятник, делая размах аршина четыре, а впереди весь механизм хрипло и тяжело дышал, как загнанный носорог или полузадушенный подушкой человек…

Кто их сделал? Какому пьяному, ненормальному, воспаленному алкоголем мозгу явилась мысль соорудить этот безобразный неуклюжий аппарат, со всеми частями, болезненно, как в бреду, преувеличенными, с ходом без логики и с пьяным отвратительным дыханием внутри, дыханием их творца, который, может быть, околел уже где-нибудь под забором, истерзанный белой горячкой, изгло– данный ревматизмом и подагрой.

Часы стали рядом с умывальником и лампой, перемигнулись и сразу поняли, как им вести себя в этом доме.

Маятник стремительно носился от стены к стене и все норовил сбить с ног нас, когда мы стремглав проскакивали у него сбоку… Механизм ворчал, кашлял и стонал, как умирающий, а стрелки резвились на циферблате, разбегаясь, сходясь и кружась в лихой вакхической пляске…

Отец вздумал подчинить нас времени, показываемому этими часами, но скоро убедился, что обедать придется ночью, спать в полдень и что нас через неделю исключат из училищ за появление на уроки в одиннадцать часов вечера.

Часы пригодились нам, как спортивный, не виданный доселе нигде аппарат… Мы брали трехлетнюю сестренку Олю, усаживали ее на колоссальный маятник, и она, уцепившись судорожно за стержень, носилась, трепещущая, испуганная, из стороны в сторону, возбуждая веселье окружающей молодежи.

Мать назвала эту комнату «Проклятой комнатой».

Целый день оттуда доносился удушливый запах керосина, журчали ручейки воды, вытекавшей из умывальника на пол, а по ночам нас будили и пугали страшные стоны, которые испускали часы, перемежая иногда эти стоны хриплым зловещим хохотом и ржанием.

Однажды, когда мы вернулись из школы и хлынули толпой в нашу любимую комнату повеселиться около часов, мы отступили, изумленные, испуганные: комната была пуста, и только три крашеных четырехугольника на полу показывали те места, где стояли отцовы покупки.

– Что ты с ними сделала? – спросили мы мать.

– Продала.

– Много дали? – спросил молчавший доселе отец.

– Три рубля. Только не они дали, а я… Чтобы их унесли. Никто не хотел связываться с ними даром…

Отец опустил голову, и по пустой комнате гулко прошелся его подавленный шепот:

– Много ты понимаешь!

Теперь он умер, мой отец.

Полевые работы
(*из сборника «Позолоченные пилюли»*)

– Это, наконец, черт знает, что такое!! Этому нет границ!!!

И редактор вцепился собственной рукой в собственные волосы.

– Что такое? – поинтересовался я. – Опять что-нибудь по Министерству народного просвещения?

– Да нет…

– Значит, Министерство финансов?

– Да нет же, нет!

– Понимаю. Конечно, Министерство внутренних дел?

– Позвольте… Междугородный телефон, это к чему относится?

– Ведомство почт и телеграфов.

– Ну вот… Чтоб им ни дна ни покрышки!! Представьте себе: опять из Москвы ни звука. Потому что у них там что-то такое случилось – газета должна выходить без московского телефона. О, пррр!.. Вот послушайте: если бы вы были настоящим журналистом – вы бы расследовали причины такого безобразия и довели бы об этом до сведения общества!!

– А что ж вы думаете… Не расследую? И расследую.

– Вот это мило. У них там, говорят, телефонную проволоку воруют.

– Кто ворует?

– Тамошние мужики.

– Нынче же и поеду. Я вам покажу, какой я настоящий журналист!

Было раннее холодное утро, когда я, выйдя на маленькой промежуточной между двумя столицами станции, тихо побрел по направлению к ближайшей деревушке.

Догнал какого-то одинокого мужичка.

– Здорово, дядя!

– Здорово, племянничек. Откудова будешь?

– С самого Питербурху, – отвечал я на прекраснейшем русском языке. – Ну как у вас тут народ… Ничего живет?

– Да будем говорить так, что ничего. Кормимся. Урожай, будем сказать, ничего. Первеющий урожай.

– Цены как на хлеб?

– Да цены средственные. Французские булки, как и допрежь, по пятаку, а сайки по три.

– Я не о том, дядя. Я спрашиваю, как урожай-то продали?

– Урожай-то? Да полтора рубля пуд.

– Это вы насчет ржи говорите?

– Со ржой дешевле. Да только ржи ведь на ней не бывает. Слава богу, оцинкованная.

– Что оцинкованная?

– Да проволока-то. На ней ржи не бывает.

– Фу ты господи! А хлеб-то вы сеете?

– Никак нет. Не балуемся.

Я вгляделся в даль. Несколько мужиков с косами за плечами брели по направлению к нам.

– Что это они?

– Косить идут.

Все представления о сельском хозяйстве зашатались в моем мозгу и перевернулись вверх ногами.

– Косить?! В январе-то?

– А им што ж. Как навесили, так, значит, и готово.

Поселяне между тем с песнями приблизились к нам. Пели, очевидно, старинную местную песню:

Эх ты, проволока —
Д-металлицкая,
Эх, кормилица
Ты мужицкая!..
Срежу я тебя
Со столба долой,
В городу продам —
Парень удалой!..

Увидев меня, все сняли шапки.

– Бог в помощь! – приветливо пожелал я.

– Спасибо на добром слове.

– Работать идете?

– Это уж так, барин.

– Нешто православному человеку возможно без работы. Не лодыри какие, слава тебе господи.

– Косить идете?

– А как же. На Еремином участке еще вчерась проволока взошла.

– Как же вы это делаете?

– Эх, барин, нешто сельских работ не знаешь? Спервоначалу, значит, ямы копают, потом столбы ставят. Мы, конечно, ждем, присматриваемся. А когда, значит, проволока взойдет на столбах, созреет – тут мы ее и косим. Девки в бунты скручивают, парни на подводы грузят, мы в город везем. Дело простое. Сельскохозяйственное.

– Вы бы лучше хлеб сеяли, чем такими «делами» заниматься, – несмело посоветовал я.

– Эва! Нешто можно сравнить. Тут тебе благодать: ни потравы, ни засухи; семян – ни боже мой.

– Замолол, – перебил строгий истовый старик. – Тоже ведь, господин, ежели сравнить с хлебным промыслом, то и наше дело тоже не мед. Перво-наперво у них целую зиму на печи лежи, пироги с морковью жуй. А мы круглый год работай, как окаянные. Да и то нынче такие дела пошли, что цены на проволоку падать стали. Потому весь крещеный народ этим заниматься стал.

– А то и еще худшее, – подхватил корявый мужичонка. – Этак иногда по три, по пяти ден проволоку не навешивают. Нешто возможно?

– Это верно: одно безобразие, – поддержал третий мужик. – Нам ведь тоже есть-пить нужно. Выйдешь иногда за околицу на линию, посмотришь – какой тут, к черту, урожай: одни столбы торчат. Пока еще там они соберутся проволоку подвесить…

– А что же ваша администрация смотрит? – спросил я. – Сельские власти за чем смотрят?!

– Аны смотрят.

– Ого! Еще как… Рази от них укроишься. Теперь такое пошло утеснение, что хучь ложись да помирай. Строгости пошли большие.

– От кого?

– Да от начальства.

– Какие же?

– Да промысловое свидетельство требует, чтоб выбирали в управе. На предмет срезки, как говорится, телефонной проволоки.

– Да еще и такие слухи ходят, что будто начальство в аренду будет участки сдавать на срезку. Не слышали, барин? Как в Питербурхе на этот счет?

– Не знаю.

Седой старикашка нагнулся к моему уху и прохрипел:

– А что, не слышно там – супсидии нам не дадут? Больно уж круто приходится.

– А что? Недород?

– Недорез. Народ-то размножается, а линия все одна.

– В Думе там тоже сидят, – ядовито скривившись, заметил чернобородый, – а чего делают – и неизвестно. Хучь бы еще одну линию провели. Все ж таки послободнее было бы.

– Им что! Свое брюхо только набивают, а о крестьянском горбе нешто вспомнят?

– Ну айда, ребята. Что там зря языки чесать. Еще засветло нужно убраться. А то и в бунты не сложим.

И поселяне бодро зашагали к столбам, на которых тонкой, едва заметной паутиной вырисовывались проволочные нити.

Хор грянул, отбивая такт:

Э-эх ты, проволока
Д-металлицкая.
Э-эх, кормилица
Ты мужицкая!..

Солнышко выглянуло из-за сизого облака и осветило трудовую, черноземную, сермяжную Русь.

Черным по белому

Клусачев и Туркин
(*Верх автомобиля*)

Вглядитесь повнимательнее в мой портрет… В уголках губ и в уголках глаз вы заметите выражение мягкости и доброты, которая, очевидно, свила себе чрезвычайно прочное гнездо. Доброты здесь столько, что ее с избытком хватило бы на десяток других углов губ и глаз.

Очевидно, это качество, эти черточки доброты не случайные, а прирожденные, потому что от воды и мыла они не сходят, и сколько ни тер я эти места полотенцем – доброта сияла из уголков губ и уголков глаз еще ярче. Так вода может замесить придорожную пыль в грязь, но та же вода заставляет блестеть и сверкать свежие изумрудные листочки на придорожных кустах.

Мне хочется, чтобы всем вокруг было хорошо, и если бы наше правительство пригласило меня на должность бесплатного советчика, может быть, из наших общих стараний что-нибудь бы и вышло.

В частной жизни я стремлюсь к тому же: чтобы всем было хорошо. Откуда у меня эта маниловская черта – я и сам хорошенько не разберусь.

* * *

Однажды весной мой приятель Туркин сказал мне вскользь во время нашего катанья на туркинском автомобиле:

– Вот скоро лето. Нужно подумать о том, чтобы снять этот тяжелый автомобильный верх и сделать летний откидной, парусиновый.

– Парусиновый? – переспросил я, думая о чем-то другом.

– Парусиновый.

– Автомобильный, парусиновый?

– Ну конечно.

– Вот прекрасный случай! – обрадовался я. – Как раз вчера я встретился с приятелем, которого не видел года два. Теперь он управляющий автомобильным заводом, здесь же, в Петербурге. Закажите ему!

Мысль у меня была простая и самая христианская: Туркин хороший человек, и Клусачев хороший человек. У Туркина есть нужда в верхе, у Клусачева – возможность это сделать. Пусть Клусачев сделает это Туркину, они познакомятся, и вообще все будет приятно. И всякий из них втайне будет думать:

«Вишь ты, какой хороший человек этот Аверченко. Как хорошо все устроил: один из нас имеет верх, другой заработал на этом, и, кроме того, каждый из нас приобрел по очень симпатичному знакомому».

Все эти соображения чрезвычайно меня утешили.

– Право, закажите Клусачеву, – посоветовал я.

Туркин задумчиво вытянул губы трубочкой, будто для поцелуя.

– Клусачеву? Право, не знаю. Может быть, он сдерет за это?.. Впрочем, если это ваша рекомендация – хорошо! Так я и сделаю, как вы настаиваете.

Дело сразу потеряло вкус и приняло странный оборот: вовсе я ни на чем не настаивал; лично мне это не приносило никакой пользы и являлось затеей чисто филантропической. А

выходило так, будто Туркин сделал мне какое-то одолжение, а я за это, со своей стороны, должен взвалить на свои плечи ответственность за Клусачева.

Я промолчал, а про себя подумал:

«Бог с ними. Зачем мне возиться… Туркин пусть забудет об этом разговоре и закажет этот верх кому-нибудь другому».

Но Туркин относился ко мне поразительно хорошо: через неделю, встретившись со мной, он озабоченно взял меня за плечо и сказал:

– Ну что же вы? Я никому не заказывал автомобильного верха и жду вашего приятеля Трепачева. Где же ваш Трепачев?

– Клусачев, а не Трепачев.

– Пусть Клусачев, но мерку-то он должен снять? Я из-за него никому не заказал, а уже на днях лето.

– Хорошо, – сказал я. – Я увижусь с ним и скажу.

– Да, но вы должны увидеться как можно раньше. Не могу же я, согласитесь, париться под этой тяжелой душной крышкой.

* * *

В тот день я был чем-то занят, а на другой день мне позвонили по телефону:

– Алло! Это я, Аверченко.

– Слушайте, голубчик… Ну что, были вы уже у вашего Муртачева?

– Клусачева, вы хотите сказать.

– Ну да. Не могу же я ждать, согласитесь сами. Вы уже были у него?

– Только вот собираюсь. Ведь этот завод на краю города. Уж у меня и извозчик заказан. Сейчас еду.

Действительно, нужно было ехать. Клусачев был хороший человек и встретил меня тепло.

– А, здравствуйте! Вот приятный гость!

– Ну скажите мне спасибо: я вам заказик принес.

– А что такое?

– Верх для автомобиля одному моему приятелю.

– У него ландолэ?

– Н-не знаю. Может, оно действительно так и называется. Беретесь?

– Взяться-то можно, только ведь эта штука не дешевая. Обыкновенно думают, что она дешевая, а она не дешевая.

– Ну вы бы по знакомству скидку сделали.

– Скидку? Ну, для вас можно сделать по своей цене. Ладно! Обыкновенно эти заказы не особенно интересны, но раз вы просите – какие же могут быть разговоры…

Все краски в моих глазах сразу потускнели и сделались серыми… Эти люди не видели в моих хлопотах простого желания сделать им приятное, а упорно придавали всему делу вид личного мне одолжения.

Едучи обратно, я думал: что стоило бы мне просто промолчать в то время, когда Туркин начал разговор об этом верхе… Он бы заказал его в другом месте, а Клусачев, конечно, прожил бы сам по себе и без этого заказа.

Некоторые писатели глубокомысленно сравнивают жизнь с быстро мелькающим кинематографом. Но кинематограф, если картина не нравится, можно пустить в обратную сторону, а проклятая жизнь, как бешеный бык, прет и ломит вперед, не возвращаясь обратно. Хорошо бы (думал я) повернуть несколько дней моей жизни обратно до того места, когда Туркин сказал:

«Нужно сделать откидной верх»… Взять бы после этого и промолчать о Клусачеве.

Не течет река обратно…

* * *

– Алло, вы?

– Да, это я.

– Слушайте, голубчик! Уже прошло три дня, а от вашего Кумачева ни слуху ни духу.

– Клусачева, а не Кумачева.

– Ну да! Дело не в этом, а в том, что уже пошли жаркие дни, и мы с женой буквально варимся в автомобиле.

– Да я был у него. Он обещал позвонить по телефону.

– Обещал, обещал! Обещанного три года ждут.

Я насильственно засмеялся и сказал успокоительно:

– Зато он ради меня дешево взял. По своей цене. Всего 200 руб.

– Да? Гм!.. Странная у них своя цена… А мне в Невском гараже брались сделать за 180, и с подъемным стеклом… Ну да ладно… Раз вы уже заварили эту кашу – приходится ее расхлебывать.

Сердце мое похолодело: подъемное стекло! А вдруг этот Клусачев делал свои расчеты без подъемного стекла?

– Хорошо, – ласково сказал я. – Я с ним… гм… поговорю… ускорю… Всего хорошего.

* * *

– Алло! Это вы, Клусачев?

– Я?

– Слушайте! Что же с Туркиным?

– А что такое?

– Вы, оказывается, до сих пор не сняли мерки?

– Да, все некогда. У нас теперь масса работы по ремонту. Собственно говоря, мы бы за этот верх и совсем не взялись, но раз вы просили, я сделал это для вас. Завтра сниму мерку…

* * *

– Алло! Вы?

– Да, я. Аверченко.

– Слушайте, что же это ваш Крысачев – снял мерку, да и провалился. Уже неделя прошла. Я не понимаю такого поведения: не можешь, так и не берись… Наверное, он какой-нибудь аферист…

– Да нет же, нет, – сказал я умиротворяюще. – Это прекрасный человек! Редкий отец семейства. Это и хорошо, что он так долго не появляется. Значит, уже делает.

– О господи! Он, вероятно, к осени сделает этот злосчастный верх? Имейте в виду, если через три дня верха не будет – не приму его потом. И то эту отсрочку делаю только для вас.

* * *

– Алло! Вы, Клусачев?

– Я.

– Слушайте, милый! Ведь меня Туркин ест за этот верх. Когда же…

– А, пусть ваш Туркин провалится! Он думает, что только один его верх и существует на свете. Вот навязали вы мне на шею горе злосчастное. Прибыли никакой, а минутки свободной дохнуть не дадут.

– А он говорил, – несмело возразил я, – что у него брались сделать этот верх за 180 рублей…

– Так и отдавал бы! Странные люди, ей-богу. В другом месте им золотые горы сулят, а они сюда лезут!

* * *

На моем письменном столе прозвенел телефонный звонок. Я снял трубку, приложил ее к уху и предусмотрительно пропищал тоненьким женским голосом:

– Алло? Кто говорит?

Сердце мое чуяло: говорил Туркин.

– Барин дома?

– Нетути, – пропищал я. – Уехамши.

– Куда-а-а?

– В Финляндию.

– А чтоб его черти забрали, твоего глупого барина. Надолго?

– На пять дён.

– Послушай, передай ему, что так порядочные люди не поступают! Чуть не тридцать градусов жары, а я по его милости должен жариться в проклятой душной коробке.

– Слушаюсь, – пропищал я. – Хорошо-с.

* * *

Я дал отбой и, переждав минуту, позвонил Клусачеву.

– Алло! – сказал я. – Квартира Клусачева?

– Да, – сказал женский голос. – Вам кого?

– Клусачев дома?

– Дома. А кто говорит?

– Аверченко.

– Аверченко говорит, – сказал женский голос кому-то в сторону.

– А, ну его к черту! – послышался отдаленный мужской голос. – Скажи, что только что я ушел.

– Вы слушаете? Только что вышел барин. Сию минутку. Я-то думала, что он дома, а он, гляди, вышел.

– Когда же он вернется? – терпеливо спросил я.

– Когда вернетесь? – справился женский голос.

– Скажи ему, что я… ну, уехал в Финляндию; вернусь через три дня, что ли.

– Уехали в Финляндию, – повторил рабски женский голос… – через три дня.

Я швырнул трубку, бросился на диван и закрыл лицо руками: мне представлялся Туркин, несущийся в своем глухом закрытом автомобиле по жарким душным городским улицам, и редкие прохожие, заглянув в автомобильное окно, в ужасе шарахаются при виде чьего-то красного, мокрого, обваренного жгучей духотой лица, черты которого искажены бешенством и злобой.

С этого часа я безмерно полюбил столь редкую летом холодную сырую погоду. Дождь, ветер облегчали и освежали меня. Наоборот, жара действовала на меня ужасно: красное иско-

верканное бешенством призрачное лицо, выглядывающее из черного мрачного гробообразного автомобиля, чудилось мне.

* * *

В этот жаркий день я был именинником, хотя в календаре Аркадий и не значился: гуляя по улице, я увидел открытый автомобиль с прекрасным парусиновым верхом. В нем сидел Туркин.

– А, – приветливо сказал я. – Поздравляю! Довольны?

– Ну знаете, не могу сказать. Тянул, тянул этот Чертачев ваш.

– Клусачев, – печально улыбнулся я.

– Клусачев он или кто, но содрал за парусиновый верх без подъемного стекла 200 рублей – это грабеж! Удружили вы мне, нечего сказать.

Я вздохнул, похлопал рукой по кузову автомобиля и бесцельно спросил:

– Ландолэ?

– Ландолэ. Порекомендовали вы мне, нечего сказать.

* * *

– Алло! Клусачев?

– Да, я. Кто говорит?

– Аверченко. Хорошо съездили?

– Куда?

– В Финляндию.

– В какую там Финляндию?! Ах, да… Как вам сказать… Уж больно я истрепался за последнее время. Один ваш этот Туркин все жилы вымотал. Работа хлопотливая, прибыли ни копейки, да еще из-за этого выгодный заказ один утеряли. Порекомендовали, нечего сказать!..

Бельмесов

I

– Иван Демьяныч Бельмесов, – представила хозяйка.

Я назвал себя и пожал руку человека неопределенной наружности – сероватого блондина, с усами, прокопченными у верхней губы табачным дымом, и густыми бровями, из-под которых вяло глядели на божий мир сухие, без блеска, глаза тоже табачного цвета, будто дым от вечной папиросы прокоптил и их. Голова – шишом, покрытая очень редкими толстыми волосами, похожими на пеньки срубленного, но не выкорчеванного леса. Все – и волосы, и лицо, и борода – было выжжено, обесцвечено – солнцем не солнцем, а просто сам по себе человек уж уродился таким тусклым, невыразительным. Первые слова его, обращенные ко мне, были такие:

– Фу, жара! Вы думаете, я как пишусь?

– Что такое?

– Вы думаете, как писать мою фамилию?

– Да как же: Бельмесов.

– Сколько «с»?

– Я полагаю – одно.

– Нет-с, два. Моя фамилия полуфранцузская. Бельмессов. В переводе – прекрасная обедня.

– Почему же русское окончание?

– Потому что я все-таки русский, как же! Ах, Марья Игнатьевна, – обратился он, всплеснув руками, к хозяйке. – Я сейчас только с дачи, и у нас там, представьте, выпал град величиной с орех. Прямо ужас! Я захватил даже с собой несколько градин, чтобы показать вам. Где, бишь, они?.. Вот тут в кармане у меня в спичечной коробке. Гм!.. Что бы это значило? Мокрая…

Он вынул из кармана совершенно размокшую спичечную коробку, брезгливо открыл ее и с любопытством заглянул внутрь.

– Кой черт! Куда же они подевались? Я сам положил шесть штук. Гм!.. И в кармане мокро.

– Очень просто, – засмеялась хозяйка. – Ваши градины растаяли. Нельзя же в такую жару безнаказанно протаскать в кармане два часа кусочки льду.

– Ах, как это жалко, – сказал Бельмесов, опечаленный. – А я-то думал вам показать.

Я взглянул на него внимательнее и сказал про себя: «Однако же, и хороший ты гусь, братец мой. Очень интересно, чем такой дурак может заниматься?»

Я спросил по возможности деликатно:

– У вас свое имение? Вы помещик?

– Где там, – махнул он костистой, с ревматическими узлами на пальцах рукой. – Служу, государь мой. Состою на службе.

Очень у меня чесался язык спросить: «На какой?» – но не хотелось быть назойливым.

Я взглянул на часы, попрощался и ушел.

II

О Бельмесове я совершенно забыл, но на днях, придя к Марье Игнатьевне, застал его за чаем, окруженного тремя стариками, которым он что-то оживленно рассказывал:

– Франция, Франция! Что мне ваша Франция! Да у нас в России есть такие капиталы, обретаются такие богачи, которые Франции и не снились. Только потому, что мы скромнее, никуда не лезем, ничего не кричим – о нас и не знают. А во Франции этот Ротшильд, что ли, все время на том и стоит, чтоб какую-нибудь штуку позаковыристее выкинуть. Купит тысячу каких-нибудь там белых собак, напишет краской на брюхе у каждой «Вив ля Франс!» да и выпустит на улицу. А парижане и рады. Или яхту купит, приделает к ней колеса да по Нотр-Даму и катается с неграми. Этак, конечно, всякий обратит внимание… А у нас народ тихий, без выдумки, без скандалу. Хе! Богачи, богачи… Слышал ли, например, кто-нибудь из вас о таком волжском помещике – Щербакине?

– Нет, не слышали, – отозвался один из стариков. – А что?

– Да как же… Расскажу я вам такой случай: еду я пароходом по Волге. Проезжаем мы однажды, приблизительно, этак по Мамадышскому уезду. Выхожу я утром, умывшись и напившись чаю, на палубу, смотрю на берег, спрашиваю: «Чья земля?» – «Помещика Щербакина». Хорошо-с. Проходит этак часа два. Я уже успел позавтракать. Брожу по палубе, взглянул на берег: «Чья земля?» Отвечают тамошние волжские пассажиры: «Помещика Щербакина». Ого, думаю, эк тебя разбросало. Сел я обедать, съел что полагалось, выпил две рюмки водки, пошел для моциону бродить по пароходу. Спрашиваю: «Чья земля?» – «Помещика Щербакина». Что за черт, думаю. Очевидно, миллионер, а я о нем ничего не слышал. Спрашиваю: «Богатый?» «Нет, говорят, так… средней руки». Что ж вы думаете? И ночью я спрашивал: «Чья земля?» – и на другой день утром – все говорят: «Помещика Щербакина». И это у них называется «помещик средней руки»… Вот это – края! Какие же у них должны быть «помещики большой руки»?

– Что ж, долго еще тянулись «земли помещика Щербакина»? – недоверчиво спросил я.

– Да до самого обеда следующего дня. Тут как раз другой пароход подошел, нас с мели снял, поехали мы – тут скоро щербакинские земли и кончились.

– А вы долго на мели просидели? – спросил рыжий старик.

– Да сутки с лишним. Чуть не два дня. Волга-то летом в некоторых местах так мелеет, что хоть плачь. Чуть пароход мелко сидит в воде – сразу же и сядет. Которые глубоко сидят в воде, тем легче…

– То есть, наоборот, – поправил рыжий.

– Ну да, то есть наоборот, которые мельче пароходы, тем труднее, а глубокие ничего… Да-с. Вот вам и Ротшильд!

Я встал, отозвал хозяйку в сторону и сказал:

– Ради бога! Откуда у нас появился этот осел?

Марья Игнатьевна немного обиделась:

– Почему же осел? Человек как человек.

– Но ведь у него мозги чугунные.

– Не всем же быть писателями и сочинять рассказы, – сухо заметила она. – Во всяком случае, он приличный человек, хотя звезд с неба и не хватает.

Я пожал плечами, отошел от нее и подошел сейчас же к отбившемуся от компании старичку в вицмундире с какой-то белой звездой, выглядывавшей из-под лацкана вицмундира.

– Кто такой этот Бельмесов? – нетерпеливо спросил я.

– А как же! У нас же служит.

– Да кем? Что он делает?

– А как же. Инспектором у нас в уездном училище. Где я директором состою. Дока.

– Это он-то дока?

– Он. Вы бы посмотрели, как он на экзаменах учеников спрашивает. Любо-дорого посмотреть. Уж его не надуешь, не проведешь за нос. Он, как говорится, достанет. Посмотрели бы вы, каким он орлом на экзамене…

– Много бы я дал, чтобы посмотреть! – вырвалось у меня.

– В самом деле хотите? Это можно устроить. Завтра у нас как раз экзамены – приходите. Посторонним, правда, нельзя, но мы вас за какого-нибудь почетного попечителя выдадим. Вы же, кстати, и пишете – вам любопытно будет… Среди учеников такие типы встречаются… Умора! Смотрите, только нас не опишите! Хе-хе! Вот вам и адресок. Право, приезжайте завтра. Мы гласности не боимся.

III

За длинным столом, покрытым синим сукном, сидело пятеро. Посредине любезный старик с белой звездой, а справа от него торжественный, свеженакрахмаленный Бельмесов, Иван Демьяныч. Я вскользь осмотрел остальных и скромно уселся сбоку на стул.

Солнце бегало золотыми зайчиками по столу, по потолку и по круглым, стриженым головенкам учеников. В открытое окно заглядывали темно-зеленые ветки старых деревьев и приветливо, ободрительно кивали детям: «Ничего, мол. Все на свете перемелется – мука будет. Бодритесь, детки…»

– Кувшинников, Иван, – сказал Бельмесов. – А подойди к нам сюда, Иван Кувшинников… Вот так. Сколько будет пятью шесть, Кувшинников, а?

– Тридцать.

– Правильно, молодец. Ну а сколько будет, если помножить пять деревьев на шесть лошадей?

Мучительная складка перерезала загорелый лоб Кувшинникова Ивана.

– Пять деревьев на шесть лошадей? Тоже тридцать.

– Правильно. Но тридцать – чего?

Молчал Кувшинников.

– Ну чего же – тридцать? Тридцать деревьев или тридцать лошадей?

У Кувшинникова зашевелились губы, волосы на голове и даже уши тихо затрепетали.

– Тридцать… лошадей.

– А куда же девались деревья? – иронически прищурился Бельмесов. – Нехорошо, тёзка, нехорошо… Было всего шесть лошадей, было пять деревьев, и вдруг – на тебе! – тридцать лошадей и ни одного дерева… Куда же ты их дел?! С кашей съел или лодку себе из них сделал?

Кто-то на задней парте печально хихикнул. В смехе слышалось тоскливое предчувствие собственной гибели.

Ободренный успехом своей остроты, Иван Демьяныч продолжал:

– Или ты думаешь, что из пяти деревьев выйдут двадцать четыре лошади? Ну хорошо: я тебе дам одно дерево – сделай ты мне из него четыре лошади. Тебе это, очевидно, легко, Кувшинников, Иван, а? Что ж ты молчишь, Иван, а? Печально, печально. Плохо твое дело, Иван. Ступай, брат!

– Я знаю, – тоскливо промямлил Кувшинников. – Я учил.

– Верю, милый. Учил, но как? Плохо учил. Бессмысленно. Без рассуждения. Садись, брат Иван. Кулебякин, Илья! Ну… ты нам скажешь, что такое дробь?

– Дробью называется часть какого-нибудь числа.

– Да? Ты так думаешь? Ну а если я набью ружье дробью, это будет часть какого числа?

– То дробь не такая, – улыбнулся бледными губами Кулебякин. – То другая.

– Откуда же ты знаешь, о какой дроби я тебя спросил? Может быть, я тебя спросил о ружейной дроби? Вот если бы ты был, Кулебякин, умнее, ты бы спросил, о какой дроби я хочу знать: о простой или арифметической?.. И на мой утвердительный ответ, что о последней, – ты должен был ответить: «Арифметической дробью называется – и так далее»… Ну теперь скажи ты нам, какие бывают дроби?

– Простые бывают дроби, – вздохнул обескураженный Кулебякин, – а также десятичные.

– А еще? Какая еще бывает дробь, а? Ну скажи-ка?

– Больше нет, – развел руками Кулебякин, будто искренне сожалея, что не может удовлетворить еще какой-нибудь дробью ненасытного экзаменатора.

– Да? Больше нет? А вот если человек танцует и ногами дробь выделывает – это как же? По-твоему, не дробь? Видишь ли что, мой милый… Ты, может быть, и знаешь арифметику, но русского языка – нашего великого, разнообразного и могучего русского языка – ты не знаешь. И это нам всем печально. Ступай, брат Кулебякин, и на свободе кое о чем подумай, брат Кулебякин… Лысенко! Вот ты, Лысенко, Кондратий, скажешь нам, что тебе известно о цепном правиле? Ты знаешь цепное правило?

– Знаю.

– Очень хорошо-с. Ну а цепное исключение тебе известно?

Лысенко метнул в сторону товарищей испуганным глазом и, повесив голову, умолк.

– Ну что же ты, Лысенко? Ведь говорят же: нет правила без исключений. Ну вот ты мне и ответь, есть в цепном правиле цепное исключение?

* * *

Стараясь не шуметь, я отодвинул стул, тихонько встал и, сделав общий поклон, направился к выходу.

Любезный директор с белой звездой тоже встал, догнал меня в передней и сказал, подмигивая на экзаменационную комнату:

– Ну как?.. Не говорил ли, что дока? Так и хапает, так и режет. Орел! Да только жалко, не жилец он у нас… Переводят с повышением в Харьков. А жалко… Я уж не знаю, что мы без него и делать будем?.. Без орла-то!

Стихийная натура

I

Я приезжаю в Москву очень редко, но всегда, когда приезжаю, – мне попадается на глаза москвич Тугоуздов.

Знакомы мы с ним недавно – всего лишь несколько месяцев, но, выпивши однажды больше, чем нужно, перешли на «ты».

Недавно, узнав, что я в Москве, он отыскал меня, влетел в номер гостиницы и с порога закричал:

– Брось, брось! К черту твой письменный стол! Нынче у меня хорошее настроение, и я хочу глотнуть порцию свежего воздуха! Э, черт! Живешь-то ведь один раз!

Меня очень трудно уговорить присесть за письменный стол; но увести от письменного стола – самое легкое, беспроигрышное дело…

– Глотнем воздуху, – радушно согласился я. – Это можно.

– Эхма! – кричал оживленный Тугоуздов, в то время как мы, усевшись на лихача, мчались в оперетку. – Ходи, изба, ходи, печь! Гоп, гоп! Хорошо жить на свете, а?

– Совершенно безвредно, – улыбнулся я, впадая в его тон. – Так мы в оперетку?

– В оперетку. Там, знаешь, есть такие разные женщиночки. Хорр…шо!

«Вот оно, – подумал я, – настоящая широкая московская душа».

Как будто догадавшись, Тугоуздов подтвердил вслух:

– Настоящая я, брат, московская душа! Тут нас таких много. Валяй, Петя, – пятерку на чай дам! Гоп-гоп!

В оперетке, во время антракта, мы встретили двух неизвестных мне людей: Васю и Мишунчика.

По крайней мере, Тугоуздов, столкнувшись с ними, так и крикнул:

– Вася! Мишунчик!

Тут же он с ними расцеловался.

– Как подпрыгиваешь, Мишунчик?

Оказалось, что Мишунчик «подпрыгивал» хорошо, потому что, не задумываясь, отвечал:

– Ничего. Подъелдониваем.

У русского человека считается высшим шиком пускать в ход такие слова, которых до него никто не слыхивал; да и он сам завтра на тот же вопрос ответит иначе… Что-нибудь вроде: «ничего, гапибонимся» или «ничего, тарарыкаем».

А в переводе на русский язык этот краткий диалог очень прост:

– Как поживаешь, Миша?

– Ничего, помаленьку.

Тугоуздов познакомил меня с Васей, познакомил с Мишунчиком и не успокоился до тех пор, пока не взял с них слово ехать вместе с нами ужинать к «Яру».

– Нет, нет, уж вы не отвертитесь. Поедем, чепурыхнем (или чебурахнем – не помню).

Когда мы вернулись и сели на место, я спросил Тугоуздова:

– Кто это такие, твои друзья?

– А черт их знает, – беззаботно отвечал он, не отрывая бинокля от глаз.

– Чем они занимаются?

– Так просто… Москвичи. Кажется, хорошие ребята. Впрочем, я фамилию-то ихнюю забыл. Не то Кертинг и Полосухин, не то Димитрюков и Звездич. Тот, что Звездич, очень хорошо анекдоты рассказывает.

И закончил несколько неожиданно:

– Деляга.

II

Когда приехали к «Яру» – нас уже ждал накрытый стол.

– Все как следует? – жизнерадостно спросил Тугоуздов склонившегося к нему метрдотеля.

– Извольте видеть!

– Чего там изволить! Коньячишку дрянь поставили. Ты, братец, дай чего-нибудь этакого… старенького.

– Извольте-с. Есть очень хорошие коньяки 1820 года – только должен предупредить, Николай Савич, – тово-с! Семьдесят пять монет бутылочка.

– Ты, братец, глуп, – поморщился Тугоуздов. – Скажи, Тугоуздов когда-нибудь торговался?!

– Никак нет.

– То-то и оно. Живешь-то ведь один раз! Верно, ребятки?

– Верно, – подтвердил Мишунчик.

Шумно уселись за стол.

– Эхма! Ходи, изба, ходи, печь! – кричал Тугоуздов. – Шире дорогу, коньяк в горло идет! Пейте разумное, доброе, вечное!

…Мальчишка подошел к нам, держа в руке три розы, и заявил Тугоуздову:

– Вот вам прислали… С того столика. Господа Шинкунёвы.

– Ге! Спасибо! Вспомнили старого Тугоуздова. Стой, паренек! Сколько у тебя этого товару есть?

– Да хоть десяток, хоть два.

– Ну вот и волоки два! Отнеси им с записочкой, поблагодари! Стой, напишу.

Цветы были отосланы с игривой запиской Тугоуздова: «Ку-ку! А вот и я, здравствуйте, как пошевеливаетесь? Пьем за ваше, с криками ура!»

Под запиской он заставил подписаться нас всех, несмотря на мои мольбы и указания, что это неудобно.

– Ничего, ничего! Живем-то один раз… Эх-ма!

Мне стал нравиться этот стихийный, широкий безудержный человек.

«Вот он, московский-то размах, – подумал я. – Москва кутит, дым столбом!»

– Что там у вас еще? – спросил Тугоуздов метрдотеля.

– Еще горячая закуска заказана, потом уха, потом котлетки валлеруа…

– К черту твои закуски. Давай нам ухи… Эх-ма! Настоящей русской стерляжьей ушицы с расстегайчиками. Гоп-гоп! Настоящие исконные расстегайчики!

– Виноват, закуска заказана. Может, подать?

– Подай-ка, я тебе на голову ее выложу. Да ты вот что: и закуску к черту, и валлеруа твое к черту. Ты нам дай кабинетик и тащи туда уху. Верно, господа? Ведь все уже почти сыты.

– Конечно, – сказал я. – Напрасно ты эти котлеты и горячую закуску заказывал.

– Да, милый мой, черт с ним! Обеднеем от этого, что ли? Живешь-то ведь один раз. Ну дай я тебя поцелую!

Поцеловались.

III

В кабинете Тугоуздов предложил:

– Снимай, ребятки, сюртуки. Опростимся! Садись на пол, на ковре будем уху есть. Как рыбаки! Верно?

Ели уху на дорогом кабинетном ковре. Совсем как рыбаки.

– Постой, – забеспокоился Тугоуздов. – Ты какое вино-то открыл?

– Как же-с! «Клико энглянд».

– И дурак. Кто же с ухой «Клико» пьет? Дай посуше. Постой! А это оставь – сами не выпьем, фараоны выпьют.

– Какие фараоны? – полюбопытствовал я.

– Какие? А вот какие. Эй, Никифор! Зови сюда кочующее племя. Пусть споют! Эх-ма! – вдохновенно крикнул он. – Живешь-то…

– …ведь один раз, – докончил я.

– Верно! Откуда ты догадался?

Пришли цыгане. Сразу стало шумно, дымно и неуютно; всюду взор наталкивался на незнакомые, алчные лица, на открытые рты и ревущие глотки.

– Гоп, гоп! – кричал Тугоуздов, дирижируя хором и приплясывая. – Сыпь, накаливай (или «наяривай» – точно я не расслышал)! Барыни, налегайте на фрукту, пейте желтенькое! Эх-эх, тра-ла-ла!

Лицо его сияло весельем.

«Вот оно, – подумал я, – московский тысячник кутит! Что за забубенная головушка! Сколько в этом своеобразной, дикой красоты. Знают ли еще где-нибудь в России секрет такого разудалого, беззаветного веселья?!»

– Довольно! – кричал Тугоуздов. – Вот, нате вам! Очищайте арену! Едем, ребята!

– Домой? – спросил я.

– Что-о-о? С ума ты сошел! Кто ж теперь домой едет? В «Стрельну»! Под тропики! Кофе с абрикотинской мазью выпьем. Егор! Скажи, чтобы Семен подавал. Да позови Евграфа – пусть он звякнет Ивану Парфенычу, чтоб Алексей нам кофию сварганил. Эхма! Высыпай, ребятки.

В «Стрельне» пили кофе. Опять пели цыгане, потому что Тугоуздов хотел сравнить: «чья кишка толще»?

Оказалось, что «ярцам не выстоять».

В пятом часу утра стали собираться уходить.

– Ну, я домой, – робко сказал я.

– Ни-ни! Мы еще дернем в «Золотой якорь» – гуляй, душа! Ни за что не пущу. Мы еще должны по бокалу разгонного выпить.

– Да почему должны? Где такой закон, что должны?

– Нет, нет, ты уж и не говори. Поедем! Григорий! Скажи Савелию, чтоб он Семена кликнул. Да позови Ивана Маркелыча. Тебе чего? Цветы?! А ну тебя… Впрочем – ладно! Братцы, бери этот злак! Всадим в петлицы с двух сторон – то-то в «Якоре» смеяться будут! Хе-хе, почудим! Получайте, барышня! Адьюс. Егорррррр!

В «Якорь» нас не пустили. Мы долго стояли на морозе, переминаясь с ноги на ногу и униженно просили, приводя разные резоны, – «Якорь» был непреклонен.

– Нельзя, господа, – солидно говорил швейцар. – Поздно. Теперь разве к нам? Теперь к Жану время ехать.

– А, действительно, – спохватился Тугоуздов. – Что ж это мы, братцы, бобы разводим, когда уже шесть часов.

– А что?

– Да уже ведь к Жану можно ехать. Блинков поедим, водочки. Все равно, спать-то уж где же.

– Какой уж сон, – резонно подтвердил Вася, – седьмой час.

– Люди вот уже на рынок идут, а мы – спать? – подхватил и Мишунчик. (Кстати, он оказался не Кертингом и не Димитрюковым, а Жбанниковым, а Вася – Сычугом. Его национальность выяснить не удалось.)

IV

У Жана лениво ели блины с икрой и пили водку. День смотрел в окно, и мне было както стыдно за наше беспутство. Тугоуздов заявил, что он может бутылку шампанского открыть ладонью, хлопнув ею по донышку бутылки. Разбил две бутылки и стал плясать с Васей неприличный танец.

Я, еле ворочая языком, прожевывал толстый блин и все время силился открыть тяжелые, будто чужие, веки.

И сам себя упрекал я:

«Нет, не годишься ты, брат. Нет в тебе этакого непосредственного веселья… Ко всему относишься ты с критикой, с придиркой. Нет в тебе этакого… русского. Вот они, настоящие русские люди!»

Настоящие русские люди выбрались на свежий воздух только в десять часов утра; притом Вася и Мишунчик куда-то исчезли, а мы остались с Тугоуздовым посреди залитой солнцем улицы; солнечный свет слепил воспаленные глаза.

– Хорошо погуляли, – хрипло засмеялся Тугоуздов. – Я к тебе в гостиницу – спать. Можно?

Дома, в гостинице, он захотел черного кофе с коньяком и улегся только в двенадцатом часу.

Заснул и я.

V

Проснулся я около шести часов вечера. Тугоуздов сидел за столом и что-то подсчитывал карандашом.

– Что ты? – спросил я.

Он обернул ко мне недовольное лицо.

– Вот, черт меня побери! Шестьсот рублей как корова языком слизала.

– Ну что ты говоришь? Положим, я тоже больше двухсот истратил. Ну да ничего, – успокоил я осунувшегося Тугоуздова. – Живешь-то ведь один раз.

– Черт меня дернул этих двух прощелыг потащить… Пили, ели, хоть бы целковый кому на смех бросили…

– Да ведь ты же их сам тащил?

– Да уж… До старости доживу – все дураком останусь. Эти идиотские цветы еще. У Яра тридцать целковых отдал, да в «Стрельне» двадцать четыре. Кому это надо? Те тоже идиоты, Шинкунёвы – нужно им было свои паршивые цветы присылать… Они-то мне три розочки, а я – накося! На эти тридцать рублей три дня жить можно… И вот я теперь убедился: никогда сразу не нужно заказывать закуску и ужин. Закуской-то налопаешься, а ужина никто и не ест. А в счет-то его ставят… Не подарят!

– Ну что ж, – вздохнул я. – Что с возу упало, то и пропало. Постарайся забыть и начни новую жизнь.

– Да, тебе легко говорить… Ты цыган-то не приглашал – я приглашал!.. Ведь я им, подлецам, почти триста рублей роздал. За что, спрашивается? Поорали, накричали в уши разных бессмысленностей и пошлостей – а ты за это же и денежки плати…

Он опустил голову и долго смотрел на какую-то бумажку, лежавшую на столе.

– За ковер пятьдесят рублей поставили. Вот безумие-то! Это мы ухой ковер залили. И дернула это меня нелегкая – на ковер лезть уху лопать… Тоже – рыбак выискался! Такого рыбака высечь нужно как следует, чтобы он знал.

– Ходи, изба, ходи, печь, – напомнил я.

– Что? Да!.. – криво улыбнулся он. – Этой бы печью да по мордасам меня. Тоже – широкая душа! Первобытная натура. Кому нужны были эти блины у Жана? Шестьдесят рублей заплатили – за что? Лучше бы домой поехали.

– Да ведь я говорил, чтобы домой!

– Я тебя и не упрекаю. А от цветов в «Стрельне» мог бы меня и удержать… На кой черт эти цветы нам были. Тоже, подумаешь, натыкали в петлицы и думают, что остроумно,

– Ты же сам предвкушал, как, дескать, в «Золотом якоре» смеяться будут.

– Кто? Кто бы там смеялся?! Дурак швейцар да пара размалеванных баб? Удивишь ты их этими розами!

Он потер ладонью голову.

– Я одного только не понимаю: за что я в «Стрельне» заплатил сто рублей, не считая цыган. За что с меня они сто рублей взяли?.. Даже, помню, сто десять рублей с копейками. Не иначе как эти два жулика попросили метрдотеля приписать их старые счета! Обрадовались!

– Какие жулики?

– Да эти: Симакович и Перепентьев.

– Они вовсе не Симакович и Перепентьев. Они Жбанников и Сычуг.

– А черт с ними! Сычуг – не Сычуг. Шофер тоже свинья – сорок два рубля содрал – за что, спрашивается? Какой-то Григорий тоже или Пантелей… Дал я ему целковый на чай, просил пять рублей разменять, а он возьми да и исчезни с золотым! Как бы теперь эти пять рублей пригодились… Швейцару тоже у Жана… Три рубля дал. Тысячу раз говорил себе: нужно иметь всегда мелкие. Предовольно с него было бы и полтинника.

Вспомнив еще что-то, он злобно схватил себя за голову.

– Валлеруа! Знают, черти, что подсунуть! По три с полтиной порция! Так четырнадцать рублей и ухнули. С какой радости, спрашивается?

– Ну чего там хныкать, – сказал я, решительно поднимаясь с дивана. – Поедем в «Прагу», пообедаем, придем в себя.

– В «Прагу»? – охнул Тугоуздов. – Не-ет, братец… я теперь неделю буду сосисками с пивом поддерживаться. Мы хотя не нищие, дорогой мой, а нам тоже соображаться надо… Хочешь, пойдем, тут такой ресторанчик есть «Неаполь», за углом. Графинчик водки с закуской 30 копеек, обед из трех блюд шесть гривен…

– Котлет валлеруа не будет?

– Зачем? – не понял он.

– Да как же. Может, цыган позовешь, а? Ходи, изба, ходи, печь…

– Молчи, чтоб ты пропал!

Он бросился на диван и простонал:

– А у Жана почти полкоробки икры осталось… не доели! А ведь он за нее двенадцать рублей поставил… Водки графин оставили… Семги три куска…

И эта широкая московская натура, этот размашистый гуляка заплакал от беспросветного отчаяния и скорби.

Функельман и сын
(*Рассказ матери*)

Я еще с прошлого года стала замечать, что мой мальчик ходит бледный, задумчивый. А когда еврейский мальчик начинает задумываться – это уже плохо. Что вы думаете, мне обыск нужен, что ли, или что?

– Мотя, – говорю я ему, – Мотя, мальчик мой! Чего тебе так каламитно?

Так он поднимет на меня свои глазки и скажет:

– Что значит – каламитно! Ничего мне не каламитно!

– Мотя! Чего ты крутишь? Ведь я же вижу…

– Ой, – говорит, – отстань ты от меня, мама! У меня скоро экзамен на аттестат зрелости, а потом у меня есть запросы.

Обрадовал! Когда у еврейского мальчика появляются запросы, так господин околоточный целую ночь не спит.

– Мотя! Зачем тебе запросы? Что их, на ноги наденешь, когда башмаков нет, или на хлеб намажешь вместо масла? Запросы, запросы. Отцу твоему сорок шестой год – он даже этих запросов и не нюхал. И плохо, ты думаешь, вышло? Пойди поищи другой такой галантерейный магазин, как у Якова Функельмана! Нужны ему твои запросы! Он даже картоночки маленькие по всему магазину развесил! «Цены без запроса».

– Мама, не мешай мне! Я читаю.

Он читает! Когда он читает, так уже мать родную слушать не может. Я через тебя, может, сорок две болячки в жизни имела, а ты нос в книжку всунул и думаешь, что умный, как раввин. Гениальный ребенок.

Вижу – мой Мотя все крутит и крутит.

– Что ты крутишь?

– Ничего я не кручу. Не мешай читать.

Что это он там такое читает? Ой! Разве сердце матери это камень, или что? Я же так и знала! «Записки Крапоткина»! Тебе очень нужно знать записки Крапоткина, да? Ты будешь больной, если ты их не прочтешь? Брось сейчас же!

– Мама, оставь, не трогай. Я же тебя не трогаю.

Еще бы он родную мать тронул, шейгец паршивый!

И так мне в сердце ударило, будто с камнем.

Куда, вы думаете, я сейчас же побежала? Конечно, до отца.

– Яков! Что ты тут перекладываешь сорочки? Убежат они, что ли, от тебя, или что? Он должен обязательно сорочки перекладывать…

– А что?

– Ты бы лучше на Мотю посмотрел.

– А что?

– Ему надо читать «Записки Крапоткина», да?

– А что?

– Яков! Ты мне не крути. Что ты мне крутишь! Скандала захотел, обыска у тебя не было, да?

– А что?

Это не человек, а дурак какой-то. Еще он мне должен голову крутить!

– Что, тебе нужно, чтобы твой сын в тюрьме сидел? Тебе для него другого места нет? Надевайся, пойдем домой!

Вы думаете, что он делал, этот Мотя, когда мы пришли? Он читал себе «Записки Крапоткина».

– Мотька! – кричит Яков. – Брось книгу.

– А вы, – говорит, – ее подымете?

– Брось, или я тебя сию минуту по морде ударю.

И как вы думаете, что ответил этот Мотя?

– Попробуй! А я отравлюсь.

Это запросы называется!

– А, чтоб ты пропал! Тебе для матери книжку жалко. Тебя кто рожал – мать или Крапоткин?

– А что вы, – говорит Мотя, – думаете? Может, я благодаря ему второй раз на свет родился.

Ой, мое горе! Я заплакала, Яша заплакал, и Мотя тоже заплакал. Прямо маскарад!

Вышли мы с Яшей в спальню, смотрим друг на друга.

– Хороший мальчик, а? Ему еще в носу нужно ковырять, а он уже Крапоткина читает.

– Ну что же?

– Яша! Ты знаешь, что? Нашего мальчика нужно спасти. Это невозможно.

Так Яша мне говорит:

– Что, я его спасу? Как я его спасу? По морде ему дам? Так он отравится.

– Тебе сейчас – морда. Интеллигентный человек, а рассуждает, как разбойник. Для своего ребенка головой пошевелить трудно. Думай!

Яков сел, стал думать. Я села, стала думать. Ум хорошо, а два еще лучше.

Думаем, думаем, хоть святых вон выноси.

– Яша!

– А что?

– Знаешь, что? Нашего ребенка нужно отвлечь.

– Ой, какая ты умная – отвлечь! Чем я его отвлеку? По морде ему дам?

– Ты же другого не можешь! Для тебя Мотькина морда – это идеал!.. Он ребенок живой – его чем-нибудь другим заинтересовать нужно… Нехай он влюбится, или что?

– Какая ты, подумаешь, гениальная женщина! А в кого?

– Ну пусть он побывает в свете! Поведи его в кинематограф или еще куда! Что, ты не можешь повести его в ресторан?!

– Нашла учителя! Что, я бывал когда-нибудь в ресторане? Даже не знаю, как там отворять дверей.

– Что ты крутишь! Что ты мине крутишь? Тебе это чужой ребенок? Это крапоткинское дите, а не твое? Такой большой дурак и не может мальчика развлекать.

Так пошел он к Моте, стал крутить:

– Ну, Мотечка, не сердись на нас. Пойди с отцом немного пройдись. Я ведь же тебя люблю – ты такой бледненький.

Ну, Мотька туда-сюда – стал крутить: то дайте ему главу дочитать, то у него ноги болят.

– Хороший ребенок! Книжку читать – ноги не болят, а с отцом пройтись – откуда ноги взялись. Надевай картузик, Мотенька, ну же!

Похныкал мой Мотенька, покапризничал – пошел с папой.

Они только за двери – я сейчас же к нему в ящик… Боже ты мой! И как это у нас до сих пор обыска не было – не понимаю! За что только, извините, полиция деньги получает?.. И Крапоткины у него, и Бебели, и Мебели, и Малинины, и Буренины – прямо пороховой склад. Эрфуртских программ – так целых три штуки! Как у ребенка голова не лопнула от всего этого?!

Ой, как оно у меня в печке горело, если бы вы знали! Быка можно было зажарить.

В одиннадцать часов вечера вернулись Яша с Мотей, а на другое утро такой визг по дому пошел, как будто его резали.

– Где мои книги?! Кто имел право брать чужую собственность! Это насилие! Я протестуюсь!!

Функельманы, это верно, любят молчать, но когда они уже начинают кричать – так скандал выходит на всю улицу.

– Что ты кричишь, как дурак, – говорит Яков. – От этого книжка не появится обратно. Пойдем лучше контру сыграем.

– Не желаю я вашу контру, отдайте мне моего Энгельса и Каутского!

– Мотя, ты совсем сумасшедший! Я же тебе дам фору – будем играть на три рубля. Если выиграешь, покупай себе хоть десяток новых книг.

– Потому только, – говорит Мотя, – и пойду с тобой, чтобы свои книги вернуть.

Ушли они. Пришли вечером в половине двенадцатого.

– Ну что, Мотя, – спрашиваю. – Как твои дела?

– Хорошие дела, когда папаша играет, как маркер. Разве можно при такой форе кончать в последнем шаре? Конечно же, он выиграет. Я не успею подойти к биллиарду, как у него партия сделана.

Ну, утром встали они. Мотя и говорит:

– Папаша, хочешь контру?

– А почему нет?

Ушли. Слава богу! Бог всегда слушает еврейские молитвы. Уже Мотя о книжках и не вспоминает.

Раньше у него только и слышишь:

– Классовые перегородки, добавочная стоимость, кооперативные начала…

А теперь такие хорошие русские слова:

– Красный по борту в лузу, фора, очко, алагер.

Прямо сердце радовалось.

Ну пришли они в двенадцать часов ночи – оба веселые, легли спать.

Пиджаки в мелу, взяла я почистить – что-то торчит из кармана. Э, программа кинематографа: хе-хе! После эрфуртской программы, это, знаете, недурно. Бог таки поворачивает ухо к еврейским молитвам!

Ну, так у них так и пошло: сегодня биллиард, завтра биллиард, и послезавтра тоже биллиард.

– Ну, – говорю я как-то, – слава богу, Яша… Отвлек ты мальчика. Уже пусть он немного позанимается. И ты свой магазин забросил.

– Рано, – говорит Яша. – Еще он вчера хотел открытку с видом на Маркса купить.

Ну, рано так рано.

Уже они кинематограф забросили – уже программки цирка у них в кармане.

Еще проходит неделя – кажется, довольно, мальчик отвлекся.

– Мотя, что же с экзаменом? Яша, что же с магазином?

– Еще не совсем хорошо, – говорит Яша, – подождем недельку. Ты думаешь, запросы так легко из человека выходят?!

Недельку так недельку. Уже у них по карманам не цирковая программа, а от кафешантана – ужасно бойкий этот Яша оказался..

– Ну довольно, Яша, хватит! Гораздо бы лучше, чтобы Мотя за свои книги засел.

– Сегодня, – говорит Яша, – нельзя еще, мы одному человечку в одном месте быть обещали.

Сегодня одному человечку, завтра одному человечку… Вижу я, Яков мой крутить начинает.

А один раз оба этих дурака в десять часов утра явились.

– Где вы были, шарлатаны?

– У товарища ночевали. Уже было поздно, и дождик шел, так мы остались.

Странный этот дождик, который на их улице шел, а на нашей улице не шел.

– Я, – говорит Яша, – спать лягу, у меня голова болит. И у Моти тоже голова болит; пусть и он ложится.

Так вы знаете что? Взяла я их костюмы, и там лежало в карманах такое, что ужас: у Мотьки черепаховая шпилька, а у Яши черный ажурный чулок.

Это тоже дождик?!

То эрфуртская программа, потом кинематографическая, потом от цирка, потом от шантана, а теперь такая программа, что плюнуть хочется.

– Яша! Это что значит?

– Что? Чулок! Что ты, чулков не видала?

– Где же ты его взял?

– У коммивояжера для образца.

– А зачем же он надеванный? А зачем ты пьяный? А зачем у Мотьки женская шпилька?

– Это тоже для образца.

– Что ты крутишь? Что ты мне крутишь? А отчего Мотька спать хочет? А отчего в твоей чековой книжке одни корешки? Ты с корешков жить будешь? Чтоб вас громом убило, паршивцев!

И теперь вот так оно и пошло: Мотька днем за биллиардом, а ночью его по шантанам черти таскают. Яшка днем за биллиардом, а ночью с Мотькой по шантанам бегает. Такая дружба, будто черт с веревкой их связал. Отец хоть изредка в магазин за деньгами придет, а Мотька совсем исчез! Приедет, переменит воротничок – и опять назад.

Наш еврейский бог услышал еврейскую молитву, но только слишком; он сделал больше, чем надо. Так Мотька отвлекся, что я день и ночь плачу.

Уже Мотька отца на биллиарде обыгрывает и фору ему дает, а этот старый осел на него не надыхается.

И так они оба отвлекаются, что плакать хочется. Уже и экзаменов нет, и магазина нет. Все они из дому тащут, а в дом ничего. Разве что иногда принесут в кармане кусок раздавленного ананаса или половинку шелкового корсета. И уж они крутят, уж они крутят…

Вы извините меня, что я отнимаю время разговорами, но я у вас хотела одну вещь спросить… Тут никого нет поблизости? Слушайте! Нет ли у вас свободной эрфуртской программы или Крапоткина? Что вы знаете, утопающий за соломинку хватается, так я бы, может быть, попробовала бы… Вы знаете что? Положу Моте под подушку, может, он найдет и отвлечется немного… А тому старому ослу – сплошное ему горе – даже отвлекаться нечем! Он уже будет крутить, и крутить, и крутить до самой смерти…

Случай из жизни

Некоторые критики упрекают меня в том, что я никогда не описываю действительной жизни, а «выдумываю из головы» сюжеты своих рассказов.

Ну хорошо.

Ну, вот этот рассказ я наконец решил написать не «из головы»; я решил добросовестно передать все, ничего не преувеличивая, не преуменьшая, – всю ту адски перепутанную нить действительной жизни, рассмотрением которой я был занят вчера.

Да и сегодня тоже занят (вот – пишу).

I

Едва я спустился вчера, в 3 часа дня, в низок кавказского ресторанчика, как сразу же увидел толстого смуглолицего человека, сидевшего в углу с понуренным видом.

Мы узнали друг друга.

– Ага! – улыбнулся я. – Живы, здоровы? Вы меня помните?

– Еще бы! Если бы не вы, до сих пор пришлось бы мне сидеть «за въезд в магазин на автомобиле через оконное стекло». Что говорить – шофер я плохой.

Я познакомил пришедшего со мной товарища с «шофером», и мы, усевшись за соседним столиком, дружески разговорились.

– Со мной всегда какие-нибудь дурацкие истории случаются, – с невыразимо печальным видом признался этот человек. – То я на автомобиле в магазин въеду, то меня в театре ночью забудут и запрут, то я прыгаю в реку, чтобы спасти гладильную доску, похожую, по моему мнению, на погибающего.

Он огляделся и наклонился к нам с загадочным видом:

– А теперь… Вы знаете что? Ко мне покойник стал являться.

– Ну? – удивились мы, тоже понизив голос до шепота. – Является? Ночью?

– Да нет, не ночью. Днем.

– Что вы говорите! – удивился я. – Что за странное существо! Днем пугать человека…

– Да он меня не пугает. Он триста рублей требует.

– Какая меркантильность! За что же это он?

– За гроб и за ногу. Никакой у людей благодарности.

Мы из деликатности постеснялись начать расспросы, но он сам спросил, вздыхая:

– Рассказать?

– Конечно, конечно. Это очень… любопытно. Настоящий покойник, являющийся днем…

– Да он, как бы сказать… не настоящий. Был действительно покойник, а потом… Прямо-таки сущая чепуха!

– Ну? Ну?

– Вы знаете, где я служил последнее время?

– Вероятно, при посольстве? – высказал вежливое предположение мой товарищ.

– Да, как же! Держите карман шире… То есть так мне не повезло, так не повезло, что просто ужас. Подумать: учился я в свое время в гимназии, окончил три класса и дошел до того, что последнее время служил вагоновожатым трамвая!!

– Какая трагедия! – вздохнул мой товарищ. – Ну?

– Видите ли, я больше привык к интеллигентному труду. Шофер я плохой и вагоновожатый был препаршивый. Вместо того чтобы следить за своим делом, я считал количество окон в домах, старался обгонять, ради спорта, экипажи или читал вывески наоборот.

– Как это? – заинтересовался мой товарищ.

– А так: написано, например, «Магазин Бурцева», а наоборот читаешь: «Авецруб нипзагам».

– Авецруб низагам, – прошептал я. – Это действительно замечательно. Забавно! Онвабаз…

– Чего?

– Онвабаз! Забавно.

– Да, да. Так вот я и говорю: вместо того чтобы дело делать, я ворон считал. Ну вот… Недавно еду – вдруг из-за угла погребальная процессия. Эх, думаю, успею проскочить. Трах! Что же вы думаете?! Вагон мой налетает на катафалк, гроб с покойником летит на рельсы,

вагон наскакивает на гроб – и не успевает никто оглянуться, как гроб – на куски, а покойнику колесом кусочек ноги отхватило… Да вот, не он ли это сюда ковыляет?

Мы в ужасе вскочили и обернули лица к дверям, в которые кто-то вошел.

– Нет, не он! Да уж вы не беспокойтесь… Он явится, проклятый! И здесь меня найдет. Притащится!

– Амус лешос, – сказал я своему другу, из деликатности затемнив фразу.

Но опытное ухо бывшего вагоновожатого уловило смысл этих слов.

– Ничего я не сошел с ума. Вот увидите – явится! Слушайте же, что дальше было. Едва только колесо наехало на лапу покойника, как он зашевелился, задергал руками – и ну орать что есть мочи! Эти дураки доктора так и не разглядели, что усопший-то спал в летаргическом сне.

– Изумительный случай! – ахнули мы.

– Ничего не изумительный. Самый обыкновенный. Говорю же я вам: со мной каждый день что-нибудь подобное случается.

– Что же дальше было?

– Ничего хорошего. Факельщики, разумеется, удрали, лошади с катафалком умчались вскачь – потеха! – а родственники этого летаргического на меня же набросились и давай меня костить, как самого последнего человека.

– За что же? – удивился мой товарищ. – Ведь вы прямо-таки воскресили мертвеца!

– То-то и оно. Я говорю то же самое. А он ко мне потом пристал: зачем гроб поломал? Зачем ногу попортил?

Вагоновожатый погладил усы и свесил голову на грудь с видом злейшего меланхолика.

– Теперь вот ходит ко мне. Триста рублей требует. Трамвайное общество отвертелось с помощью своих адвокатов… а у меня адвокатов-то нет. Что я теперь буду делать? Ходит и ходит этот колченогий. Каждый день ходит. Я, говорит, через тебя трудоспособность потерял.

– А вы бы ему указали на то, что если бы не вы – так бы его живого и закопали в могилушку.

– Да говорил я ему! Уперся, как бык: не твое дело, говорит. Может быть, я и без тебя бы, когда речи над гробом начали говорить – проснулся бы. И ноги, говорит, были бы целы. Я, говорит… А чтоб тебя на том свете так таскало! Слышите? Идет! Я уж по костылю слышу. Пронюхал, что я здесь! Опять будет тут нюнить, падаль этакая!

Действительно, со стороны входа до нас донесся отчетливый стук костыля о каменный пол.

Он приближался и приближался…

II

Покойник выглядел еще не старым мужчиной, с желтым лицом и брезгливо выдвинутой нижней губой. Под мышкой он держал костыль. Голос имел скрипучий, ворчливый.

– А! Вот оно что! Вы тут вина распиваете, шашлыками закусываете – лучше бы денежки мои отдали. А приятелей шашлыками пичкать можете тогда, когда свободные деньги будут.

– Эй, вы там – потише! – грубо крикнул я. – Чего вы пристаете к этому почтенному человеку? Что вам надо?

– А это вы видели? – указал он на ногу. – Тоже они мастера людей зря калечить.

– «Людей», – презрительно расхохотался вагоновожатый. – Тоже человек выискался! В гробу по улицам раскатывает.

– Все равно, брат! Давить никого не полагается.

– Если вы покойник, так нечего ко мне приставать, а если не покойник, то сами могли бы лошадьми править. Небось я звонки-то давал.

– Ну так что ж, что давал?

– А вы разлеглись и в ус не дуете. Трамвая нужно остерегаться.

Последнюю фразу вагоновожатый произнес крайне нравоучительно.

– Вы, братец мой, рассуждаете, как глупый человек: если бы я мог сам править катафалочными лошадьми, кто бы, какой бы дурак повез меня на кладбище.

– Ну а если вы покойник, то и нечего было просыпаться!

– Я не виноват, что у меня летаргический сон. А вы уж обрадовались, думаете – всякого летаргического можно трамваем давить?

– «Триста рублей», – пожал плечами вагоновожатый. – А то, что меня со службы выгнали и жалованье в штраф удержали – это кто мне заплатит?

– Виноват, – перебил мой товарищ, очень рассудительный человек. – Скажите, господин вагоновожатый, а если бы вы налетели на настоящего покойника, – вас бы тоже уволили?

– В том-то и дело, что тогда бы не уволили! Мало ли какой человек на погребальную процессию наехать может. А тут уволили за то, что живого человека изувечил. Все-таки – скандал, разговоры!

– В таком случае, милостивый государь, – серьезно сказал мой товарищ, обращаясь к покойнику, – вы сами виноваты во всем происшедшем. Вам не нужно было просыпаться. Вы сами понимаете – небольшая беда, если покойника немножко изувечат. А вы сделали очень некрасиво – к рельсам подъехали, крадучись, втихомолку, как покойник, а потом, когда вас, так сказать, вышибли из седла, вы подняли крик, подчеркнув этим, что пострадали как живой человек. Неудобно-с.

– Ну хорошо. Если даже так, – согласился покойник после долгого размышления. – А гроб-то он все-таки поломал? Гроб-то тоже денег стоил?

– Но ведь он вам сейчас не нужен?!

– Да ведь когда-нибудь понадобится?

– Тогда он вам его и купит.

Бывший покойник обернулся к вагоновожатому:

– Купишь?

– С удовольствием!

– Ну то-то. Ты хоть бы вином-то меня угостил. А то одни от тебя только неприятности,

– Сделайте одолжение!

Восхищенный красноречием моего товарища, покойник развеселился, и даже легкое подобие улыбки – как солнце сквозь облака – прорезало его лицо.

– За здоровье новорожденного! – провозгласил мой товарищ.

– Ногу он мне только попортил – вот жалко!

– Ничего! Одни появляются на свете божием без зубов и волос, другие без ноги – такова воля Зиждителя.

– Ура! – крикнул вагоновожатый:

Было весело.

Между моим товарищем и покойником наметился уже легкий абрис будущей дружбы.

Когда мы, расплатившись, неуверенно брели по узенькой улице, я сказал вагоновожатому на его обратном языке:

– Акчинйокоп иламолу! Ех-ех!

– Обисапс, – с чувством ответил вагоновожатый, пожимая мне руку…

Вот вам и жизнь!

Ей-богу, ни одного слова не прибавил, не убавил. Честное слово.

Человек, которому повезло

I

В этом не было ничего чудесного.

Это все равно, как если бы человек, переходя каждый день в течение десяти лет через шумную улицу, твердил бы ежедневно:

– Вот сегодня меня непременно раздавит автомобиль! Сегодня уж наверное.

И если бы автомобиль когда-нибудь действительно задавил его – в этом не было бы ничего удивительного. Не было бы чудесного пророчества, предчувствия.

То же самое можно было сказать и об Акиме Васильевиче Цыркунове – конторщике большого дровяного склада братьев Перетягиных (доски, дрова, уголь, каменный и деревянный; оптовый отпуск).

Если когда-нибудь Аким Цыркунов, переписывая корешки накладных, поднимал от книги сморщившийся нос, открывал рот и, глядя в потолок искаженным от сладкого ожидания взглядом, наконец аппетитно и оглушительно чихал – его товарищ и сподвижник по службе Ванечка Сырых неизменно подсказывал ему:

– Двести тысяч на мелкие расходы!

– Спасибо, – неизменно отвечал Аким Цыркунов и сейчас же неизменно впадал в мечтательное настроение.

– О, действительно, – говорил он, подперев кулаком щеку. – Если бы мне двести тысяч… Уж я бы знал, как распорядиться ими.

– А что бы вы сделали?

– Да уж будьте покойны – знал бы что сделать. Я бы показал настоящую жизнь-то.

– Ну если бы и мне такую цифру, – говорил и худосочный Сырых, – я бы тоже…

– Ну а вы бы что сделали?

– Я купил бы пароход и отправился бы по разным странам. Пил бы ром, сражался с индейцами и подал бы на высочайшее имя прошение о перемене фамилии. Ходатайствовал бы о назначении мне фамилии Джек Смит.

Цыркунов пожимал плечами:

– И это все?

– Конечно, не все. Купил бы себе еще зверинец – я очень зверей люблю диких. И стал бы упражняться гирями. По маскарадам ходил бы…

– Зачем?

– Чтобы всех интриговать. Ну а что бы вы сделали все-таки, если бы вдруг на ваш билет пал выигрыш двести тысяч?

– Да уж знал бы что – будьте покойны! Слава богу, тоже понимаем, как жить по-настоящему… хе-хе! Без денег не знаешь, как быть, а с деньгами… ап… ап… чхи!

– Вот! Значит – ваша правда.

– Ап… чхи!

– Двести тысяч на мелкие расходы!

– Спасибо вам!

Эти разговоры повторялись почти каждый день – в зависимости от силы хронического насморка Акима Цыркунова.

– Апчхи!!!

– Двести тысяч на мелкие расходы!

В один из первых весенних дней Аким Цыркунов выиграл на свой билет двести тысяч.

Выиграл так, как это обыкновенно делается – не прилагая к этому никаких усилий и даже ни разу не чихнув в этот знаменательный день, что, конечно, вызвало бы традиционную беседу о «двухстах тысячах на мелкие расходы» и придало бы факту выигрыша особый привкус чудесного.

II

Может ли человек за свою долгую жизнь забыть тот день, когда он, не имея накануне ничего, – сегодня вышел из банкирской конторы, ощущая в кармане около ста девяноста тысяч новенькими плотными пятисотрублевками.

Нет! Трудно забыть такой день.

По выходе из банкирской конторы план ближайших мероприятий был уже составлен богачом Цыркуновым.

Именно: он зашел в гастрономический магазин и, робея с непривычки, попросил:

– Фунт зернистой икры, самой лучшей. И потом ананас.

– Слушаю-с. Из напитков ничего не прикажете?

– Да, конечно… Гм!.. Дайте шампанского. Шампанское есть у вас?

– Помилуйте! Какой марки прикажете?

– Что-о?

– Какой сорт позволите?

– А какие сорта вы имеете? – осторожно осведомился Цыркунов.

– Кордон-с руж, кордон-с вер, вайт-стар, монополь-сек, мум-экстра-дри-с.

– Ага… У вас монополь-сек хороший?

– Будьте покойны – французская фирма.

– Я думаю! Стану я пить русскую дрянь. Вообще ты, братец, тово… Скажи мальчику вашему, чтобы он вызвал мне автомобиль.

Выйдя из магазина, Цыркунов заметил нищего, который, прислонившись к выступу стены, смотрел в другую сторону, не обращая никакого внимания на Цыркунова.

У бывшего конторщика был уже составлен обширный, хорошо разработанный план «оглушения», и он начал немедленно его осуществление с нищего.

– Эй, нищий, – сказал он, дергая его за рукав. – Ты милостыню просишь, да?

– Подайте, барин, – очнулся задумавшийся оборванец. – Хучь пятачок… ночевать негде… хлеба… три дня… больница… хучь две копейки…

– Ладно, ладно, – сановито остановил его Цыркунов. – Вот тебе десять рублей. Помни – хе-хе! – Акима Цыркунова!

И он умчался на автомобиле.

Приехав домой на свою холостую квартиру, он сразу же окунулся в роскошную привольную жизнь: выложил свежую икру на большую тарелку, достал столовую ложку, хлеб и, вытерев чайный стакан, стал открывать шампанское.

Это дело было потруднее: штопор не ввинчивался в пробку, потому что на верхушке ее торчала какая-то металлическая нашлепка; кроме того, горлышко было опутано целой сетью проволоки, совершенно не нужной, по мнению хозяина. Пришлось горлышко отбить кочергой и пить вино осторожно, чтобы не подавиться осколком стекла.

Все было чрезвычайно вкусно: и икра, и ананас. Завтрак – хоть куда.

«Надо, – решил настроившийся гастрономически Цыркунов, – попробовать еще омара и выпить рому. А на сладкое куплю уж торт. Эх, хорошо жить на свете!»

После завтрака Цыркунов решил ехать в магазины. Он осмотрел в зеркало свой потертый засаленный галстук и прошептал, подмигивая самому себе:

– Я знаю, что мне надо делать.

III

В галстучном магазине перед ним выставили целую гору коробок.

– Да вы, собственно, какие хотели?

– Самые лучшие.

– Вот извольте – эти самые настоящие английские. Один адвокат у нас по полдюжины сразу их берет.

Цыркунов ухмыльнулся в усы с хитрым видом.

– Полдюжины? Ну а мне, знаете, заверните-ка… полсотенки!

Ожидаемый эффект разразился. Хозяин магазина был оглушен.

Он истерически заметался, запрыгал, как обезьяна, по полкам и выставил перед Цыркуновым другую гору.

– Белых не прикажете ли, фрачных? Черных атласных для смокинга…

– Да, да… мне, конечно, нужно, – благосклонно кивнул головой Цыркунов. – Все нужно. Заверните вот этих и этих… и этих.

Выйдя из магазина, Цыркунов сел в тот же автомобиль (с шофером у него уже установились хорошие отношения) и стал размышлять так:

– Смокинг… оказывается, что галстуки не под каждый костюм оденешь. Смокинг… га! Шофер! Везите меня к портному, какой получше.

У портного Цыркунову открылся новый мир.

– Вот-с это покосматей будет – для жакетов… Бирмингамские сорта. Это трико-с – для смокингов.

– Черное?

– Да.

– А… других цветов нет?

– Помилуйте… смокинги только черные шьются.

– Ну что вы мне говорите! Я думаю, коричневый будет гораздо наряднее.

– Извольте, – сказал портной. – Сделаем коричневый. На отвороты поставим коричневый атлас. Брюки внизу сделаем не особо широкие, потому слегка на туфлю падает, не на ботинок.

– Вы полагаете, на туфлю? – задумчиво переспросил Цыркунов. – Значит, придется к смокингу туфли покупать.

– Да уж… Мода – ничего не поделаешь.

И оба склонили головы перед суровыми требованиями капризной богини – моды.

И так оно и пошло.

Галстучник силой вещей толкнул его к портному, портной перекинул его в объятия обувного торговца, а тот ловким ударом перенес сразу бывшего конторщика в цепкие лапы француза, который снискивал себе солидное пропитание продажей мужского белья «все лучший сорт, сюпериор»…

Тароватому Цыркунову удалось «оглушить» даже видавшего виды француза; количества носков, купленного им, хватило бы даже самой капризной сороконожке на целый год.

Но главное «оглушение» было впереди.

IV

Приехав в свою дровяную контору, Цыркунов скромно вошел в первую комнату, поздоровался и сказал:

– Извините, что так опоздал. У меня дома случай там один вышел.

Бухгалтер обернулся, кивнул ему головой и стал продолжать разговор по телефону:

– Алло! Что? Господин Миркин! Как не можете прислать? Да ведь мы на эти восемь тысяч нынче рассчитывали! У нас срочные платежи!! Вы не имеете права нас подводить… Что? Конечно! Да позвольте!..

Цыркунов приблизился к бухгалтеру и деликатно вынул у него из рук телефонную трубку.

– Оставьте, Николай Иваныч… Стоит ли волноваться вам, портить кровь из-за таких пустяков… Если сейчас так нужны деньги – вот! Нате. Отдадите, когда Миркин пришлет.

«Оглушение» было страшное, чудовищное, ни с чем не сравнимое. Только тогда нашел Цыркунов, что бывают минуты, когда сердце может разорваться от восторга.

Бухгалтер остолбенел, конторщик Сырых опрокинул чернильницу, а сторож Мокренко бросился чистить Цыркунову метелочкой пиджак.

Расслабленный Цыркунов опустился на стул и заговорил томно и ласково:

– О, господа, какие пустяки. Тут нет ничего такого… Господин Сырых! Я знаю, вы нуждаетесь в некоторых суммах для того, чтобы ваша жизнь могла быть урегулирована с достаточной полнотой. Будьте добры принять от меня на память эту тысячу рублей. Мокренко! А ты, братец, тоже тово… Как говорится, а? Вот тебе пятьдесят рублей – будь себе здоров.

Оглушение было невероятное, потрясающее, не убившее никого только потому, что от удивления не умирают.

V

– А что, братец, – обратился, едучи обратно, Цыркунов к своему приятелю шоферу. – Мог бы ты пойти ко мне служить?

– А у вас есть мотор? – спросил шофер.

– Нет, но я думаю, что можно купить. Ты купишь?

– Отчего же-с! Купим лимузин обыкновенный, или из мерседесов, можно что-нибудь подобрать, или, может, нравится электрический без запаху, только что он подороже.

– Ну и прекрасно! Заезжай ко мне завтра утром, и поедем.

По пути Цыркунов заехал в магазин и купил припасов на обед: целого омара, балык, страсбургский паштет, рому и шампанского. Взял, кстати, и два десятка устриц, но, приехав домой, не ел их.

А так как поручить их прислуге выбросить было как-то стыдно и странно, Цыркунов завернул устрицы в старую газету и поздно вечером, выйдя из дому, забросил на двор в дрова.

Утром купили с шофером автомобиль. Шофер так понравился Цыркунову своим чутьем, вкусом и здравым смыслом, что в компании с ним была отыскана большая, в девять комнат, квартира, куплена меблировка, ковры, картины и скульптура.

Целый день, проведенный вместе, очень сблизил скромного богача Цыркунова с умным, веселым шофером. Поэтому не было ничего удивительного в том, что вечером все покупки были спрыснуты в отдельном кабинете второразрядного ресторана, метрдотеля которого Цыркунов не преминул «ошеломить» заказом громадной стерляди и полдюжины шампанского. Из дичи же было заказано: руанская утка – Цыркунову (12 руб.) и седло барашка – шоферу (6 руб.). Деликатный шофер этим очень тонко подчеркнул иерархическую разницу между собой и своим патроном.

VI

Жизнь протекала так: просыпался Цыркунов в своей монументальной спальне довольно поздно – часов в двенадцать; проснувшись, читал около часу какой-нибудь роман из французской или английской жизни; потом вставал, надевал смокинг, атласный галстук, лаковые туфли и долго бродил по комнатам, рассматривая картины и статуи, выбранные им в компа-

нии со знатоком великосветского быта шофером; полюбовавшись на картины, на букеты свежих цветов, в изобилии расставленных по всем комнатам, Цыркунов усаживался в кабинете за письменный стол и, развернув несколько листов чистой бумаги, с карандашом в руках, звонил камердинера, обрусевшего испанца Игнацио, который получал жалованье ровно в три раза больше, чем Цыркунов в свое время в дровяной конторе Перетягиных.

– Игаадиус! – солидно говорил Цыркунов, делая на листах бумаги отметки с самым деловым видом. – Позовите шофера – мне надо с ним переговорить… Да велите подать мне закусить чего-нибудь и бутылку шампанского. Пожалуйста, сделайте все это!..

Приносили разные закуски, вино, являлся шофер.

– Здравствуй, Аким, – говорил он, ласково хлопая по плечу хозяина. – Как, вообще, ползаешь?

– Ничего, спасибо. Садись, закусим.

– Опять это пойло? Ты бы водочки лучше, а?..

– Ну чего там водочки… Пей шампанское. Самое, брат, лучшее вино.

Чокались, пили. Закусывали икрой, балыком и холодной руанской уткой, которая чрезвычайно понравилась Цыркунову со времени ужина в ресторане.

После завтрака оба приятеля садились на мотор и уезжали, катаясь по городу и забавляясь тем, что изредка «оглушали» прохожих или лавочников.

Цыркунов очень любил разные сюрпризы: то он покупал в три слова бакалейную лавку со всем товаром и дарил ее нищему, который назойливо его преследовал; то нанимал несколько десятков порожних извозчиков и велел им ехать за собой цугом, что приводило городового в крайнее изумление; однажды оба приятеля сговорились купить все билеты в оперетке и вечером сосредоточенно прослушали всю пьесу в пустом зале, в присутствии только заинтригованного околоточного, которому Цыркунов подарил на память об этой затее золотой портсигар.

В этот же курьезный вечер Цыркунов познакомился с опереточной певицей Незабудковой.

Незабудкова сразу оценила и коричневый смокинг, и шофера, и шикарные замашки бывшего конторщика. Сначала дело ограничилось цветами, потом ужином и цветами; потом ужином, цветами и бриллиантовой штучкой, которую Цыркунов называл очень нерешительно, боясь ошибиться: «колье», потом ужины, цветы и «колье» свили прочное гнездышко в очень уютной квартирке, которую Незабудкова обставила даже без советов опытного шофера, а потом…

VII

– Сколько вы даете процентов, если положить на год восемь тысяч? – спросил Цыркунов (это были те самые восемь тысяч, которые были даны, «чтобы бухгалтер не портил себе кровь»).

Заведующий вкладами в банке отвечал:

– Шесть. Будете получать 480 рублей в год.

– Это значит… 40 рублей в месяц? «Ого, – подумал Цыркунов, на 15 рублей больше, чем получал у Перетягиных. Значит, проживу. Хватит!»

Цыркунов разыскал свою старую квартиру, поселился в ней и зажил тихой спокойной жизнью, без коричневых смокингов, руанской утки, шампанского и «оглушений» – забирая очень аккуратно свои сорок рублей в месяц…

Шофер, однако, не покинул своего друга в его скромной жизни. Они частенько сидят за бутылкой пива в комнате Цыркунова, и, если хозяин, изредка подняв голову к потолку, откроет рот и звучно чихнет: «Апчхи!» – шофер не преминет благожелательно посулить:

– Двести тысяч на мелкие расходы!

– Спасибо, – скажет хозяин, но уже не прибавит, как бывало: «Если бы мне действительно двести тысяч, уж я знал бы, что мне делать!..»

А склонит свою бедную фантазией голову и подумает:

«Эх, Сырых, Сырых! А может быть, и действительно, прав ты был, и действительно, лучше бы купить пароход да отправиться в чужие страны, исходатайствуя себе фамилию Джек Смит, попивая в пути ром и сражаясь с индейцами…»

Рассказы для выздоравливающих

Человек, у которого были идеи

Посвящается Н.А. Тэффи

I

Его звали Калакуций – он сам сказал мне это. Называю его фамилию для того, чтобы всякий знал, кто такой Калакуций, если Калакуций появится на горизонте. Если появится на горизонте человек с озабоченным выражением лица, маленький, крепкий, худой, черноволосый, с энергичными жестами и бодрым взглядом на будущее, человек в потертом костюме, но имеющий в одном из его карманов ключ к богатству, – если он появится, то это и будет Калакуций.

Он и ко мне пришел, этот Калакуций – человек с усталым, но энергичным и озабоченным выражением лица, носивший, вероятно, еще недавно глубокий траур по одному из своих родственников и снявший на днях этот траур со всего себя, кроме одного места – ногтей, вид которых доказывал, что обладатель их никак не мог утешиться, потеряв родственника.

– Давно собираюсь к вам. – сказал он, – да все был занят. Я – Калакуций. Много слышал о вас как о способном человеке и поэтому пришел к вам, ибо такой человек должен оценить меня.

Он сделал передышку.

– Я могу быть вам очень полезен.

– Да? Чем?

– А, видите ли, я с ног до головы набит различными идеями; я, так сказать, ящик Пандоры, с тою лишь разницей, что содержимое ящика Пандоры было – змеи, а я – вместилище идей.

– Чего же вы хотите?

– Поделиться с вами. Вдвоем мы сможем завоевать весь мир.

– Это идея, – усмехнулся я.

Он энергично потер ладони одну о другую.

– Видите – первая идея уже дана. Но серьезно, когда вы увидите, что я за человек, вы должны меня прямо с руками оторвать.

– От чего?

– Как это так – от чего?

– От чего оторвать? Вы к чему-нибудь прикреплены?

– Увы, теперь нет. Служил в контроле сборов, но ушел, потому что служить где-нибудь мне равносильно, как если бы алмазом резать кисель. И вот теперь я свободен – пользуйтесь.

– Гм… Ну давайте-ка на пробу какую-нибудь идею…

– Идею? Пополам, конечно?.. Слушайте! Прежде всего журнал! Мы должны издавать журнал совершенно нового типа и новых задач. Такого журнала, ручаюсь вам, еще не было и, держу пари, – не будет. Были журналы для актеров, для художников, даже для каких-то резчиков по металлу и текстильных рабочих… А такого не было.

– Для кого же будет ваш журнал?

Калакуций сложил руки на груди и, глядя на меня в упор, отчеканил:

– Журнал специально для потерпевших кораблекрушение!

Я вскочил с места.

– Ага! Вы поражены… Не удивительно ли, что до этого никто до сих пор не додумался. В самом деле, посмотрите-ка – кто больше всего нуждается в своем органе, как не эти заброшенные люди, для которых мой журнал будет другом, советником и помощником. Я думаю завести такие отделы: легкое чтение. В долгие томительные вечера, когда ветер шумит и свистит между прибрежных скал, а океан поет свою вечную песню, – это чтение даст бедняге отдых и успокоение… Затем отдел второй – практические советы. Как построить себе хижину, как находить съедобные сорта растений, а также способы охоты за животными. Третий отдел – почтовый ящик. Ответы на читательские вопросы по поводу…

– Один вопрос, – перебил я. – Где предполагается местопребывание ваших будущих подписчиков? Я полагаю, на необитаемом острове?

Он осторожно спросил:

– Почему именно на необитаемом?

– Да потому, что на обитаемых ему ваш журнал не нужен. Он найдет там все – от жилища до журналов – и без вас. Значить, остров необитаемый? Хорошо. Теперь предположим, человек путешествует на корабле; пока он не потерпел кораблекрушение – он и думать не будет о вашем журнале; пока этот журнал абсолютно не для него. Теперь: если он потерпел кораблекрушение – как он подпишется на этот журнал? Поймает птицу, привяжет к ней подписной билет и деньги и пустит ее лететь в вашу редакцию? А вдруг она не долетит? Вдруг ее убьют или ограбят любители чужого? Ну, скажем, она долетела по адресу. Как же вы будете рассылать ваш журнал по назначению?

– Я уже думал об этом, – сказал с легким беспокойством Калакуций. – Можно соорудить такие маленькие пакетботы, которые развозили бы…

– Да поймите вы, что если такой пакетбот пристанет к острову, то самое простое не вручать подписчику вашего журнала, а просто забрать беднягу на борт и привезти в Европу…

II

Калакуций, огорченный, долго молчал.

– Пожалуй, вы и правы. Ну да ведь я вам сказал идею этого журнала к примеру. Математически она все-таки хороша и проста. Вот только практически… Гм!..

Он согнал со своего лица задумчивость, встрепенулся и бодро сказал:

– Хотите, я вам скажу настоящую идею? Я долго ее вынашивал и обдумал так, что, как говорится, комар носу не подточит. Конечно, я надеюсь на вашу порядочность, и если мы, скажем, в условиях не сойдемся, то вы даете мне слово, что не воспользуетесь моей идеей без меня?

– Даю. Конечно, даю.

– Вы задавали себе вопрос: почему наши извозчики бедствуют? Очень просто – их разоряет лошадь. Ее нужно сначала приобрести, потом кормить, иметь для нее конюшню, подковывать и тратиться на ремонт сбруи. О кнуте я уже не говорю. Что же делаю я? Лошадь к черту! Оглобли к черту! Просто я приделаю впереди большое колесо, педали для ног извозчика, как на велосипеде, и мой извозчик начинает, ничтоже сумняшеся, ездить без лошади, овса и сбруи. О кнуте я уже и не говорю.

– Позвольте, – подумав, возразил я. – О кнуте вы уже и не говорите… При наличности двух седоков, общий вес будет пудов шестнадцать-семнадцать. Одному человеку не сдвинуть этого, хоть вы приделайте десять колес.

– Я уже думал об этом. Если даже это и так – оно не важно. Важен принцип. Математически он прост и осуществим. А движение?.. Если извозчиковы ноги не годятся, ведь можно сделать и механический двигатель. Па́ром там, или электричеством.

– Да, да, – подхватил я. – Поставить бензиновый двигатель, и конец.

– Ну конечно! – радостно согласился Калакуций. – Вот вы меня и поняли.

– А для управления приделать руль!

– Ну да! Верно!!

– А двигатель сделать посильнее, да и устроить экипаж на четырех пассажиров. Да! Ей-богу! И тогда… (я злорадно помедлил) и тогда вы будете иметь обыкновенный автомобиль, изобретенный несколько лет тому назад, и который вы можете видеть на улицах в числе нескольких тысяч экземпляров.

III

Если бы кто-нибудь хотел видеть человека, раздавленного в лепешку – ему нужно было бы посмотреть на Калакуция.

Свесив голову, он тяжело дышал. Лицо его было изборождено страдальческими морщинами, как у человека, который неожиданно увидел свою заветную мечту разрушенной и втоптанной в грязь. Он вздыхал и вертел головой… Он чуть не плакал.

– А ведь как было математически просто… – скорбно сказал он.

Я спросил его:

– Больше у вас ничего нет?

– Ах, конечно же, есть. Я сверху донизу, как колбаса, набит разными идеями. У вас есть издатель?

– Есть.

– Не купите ли вы в компании с ним у меня одну книжку? Можно хорошо нажиться.

– Какую книжку?

– Мою. Стихи. Я издал месяц тому назад книжку, ухлопал на нее все денежки, а так как у меня нет охоты возиться с ней, то я бы уступил ее за полцены. Около десяти тысяч книжек.

– Что вы! Когда же стихи печатались в таком количестве?!

– Почему же? Тут уж наверное мой способ математически прост и осуществим… Я рассчитывал так: чем больше я напечатаю книжек, тем больше можно заработать.

– А если книжка не пойдет?

– Почему же ей не пойти? Слава богу, стихи, кажется, хорошие. Повторяю – мой расчет математически прост: за один месяц я продал двести книг. Значит, в год я продам (или вы продадите) две тысячи четыреста, а в четыре года и два месяца – все, до последней книжечки.

Я встал с кресла:

– Довольно! Еще два слова, и мы закончим наш разговор. Я вам приведу другой расчет – он так же «математически прост и осуществим». Если человек в две минуты съедает одну котлету, то в час он, значит, съест тридцать котлет? А в рабочий восьмичасовой день 240 котлет? Отвечайте, черт возьми!

– Почему вы это говорите? – растерялся Калакуций.

– Потому что можно съесть две котлеты, можно купить двести книжек, но не больше! Слышите вы – не больше!

– Однако же, раз двести покупателей нашлось, почему же не найтись еще нескольким тысячам?

– Почему? Да потому, что нет такой самой скверной, самой ледащей книжонки, которая бы не продалась в этом фатальном количестве – «двести экземпляров». Это издательское правило. Кто эти двести покупателей, двести чудаков? Неизвестно. Их никто не видал. Брюнеты они, блондины или рыжие, бородатые или бритые – бог весть. Их никто не знает. Я бы дорого дал, чтобы лично взглянуть хоть на одного из этой таинственной секты «двухсот». Чем они занимаются? Домовладельцы ли, антрепренеры, библиотекари или конокрады? Это не узнано

и, вероятно, никогда не узнается. Но они неуклонно продолжают свое нелепое дело, эти двести безумцев, – и своими деяниями сбивают с толку таких простаков, как вы.

IV

Калакуций выслушал меня, встал, стер ладонью пот со лба и сказал:

– В таком случае я у вас попрошу маленького одолжения. Мне нужно немножко денег, так рублей пятьдесят… для одного дела. Через две недели я вам отдам хоть сто.

Он был бледен и худ от голода.

Призадумавшись немного, я кивнул головой и предложил этому человеку, набитому с ног до головы идеями, свою идею.

– Знаете, что? Я вам не дам пятидесяти рублей с условием получения обратно ста, а я предложу вам десять рублей, но зато без всякого возврата.

Очевидно, он нашел мою идею «математически простой и легко осуществимой», потому что взял золотую монету. И ушел.

Я думаю, что ушел он от меня довольный мною.

Человеку, потерпевшему кораблекрушение, так приятно встретить на необитаемом острове другого человека.

Сердце под скальпелем

Глава 1
Замечательный попутчик

Стройная красивая дама вошла на остановке в наше купе, положила на диван небольшой ручной сак и сейчас же вышла, – вероятно, с целью проститься с провожавшими ее друзьями. Мой сосед кивнул в мою сторону с плутовской улыбкой и сказал:

– Занятная штучка. Я думаю, на номер четвертый ее можно было бы поймать.

Я не знал этого человека – мы с ним только что познакомились. Наружность его была самая ординарная и незначительная. Никто не мог бы предположить в нем удивительной, оригинальной натуры: среднего роста, худощавый, с черными, опущенными книзу усиками и лицом, темным, будто от загара; глаза быстрые, искательные.

Я, признаться, не понял сразу, что это за номер четвертый, на который, по словам моего соседа, «можно поймать» даму.

Такой термин мог быть у коммивояжера – торговца дамскими вещами, у сыщика охранного отделения или, еще проще, – у вора, милого добродушного экземпляра, почему-либо принявшего меня за одного из своих.

– Вы говорите, четвертый номер? – неопределенно спросил я.

– Да. А вы не согласны? Не думаете же вы, что с ней можно обойтись первым или вторым номером – это слишком для нее примитивно!

Надеясь что-нибудь выведать у него, я спросил, заинтересованный:

– Второй номер – работа без инструментов?

– О господи! Все номера – работа без инструментов. Какие там, к черту, инструменты!

– Так вы больше склоняетесь к четвертому номеру?

– К четвертому. Э, чертова работа! Да вы, вероятно, не знаете четвертого номера?

Я не знал ни одного номера – от первого до последнего – и мог признаться в этом с чистой совестью.

Но, не желая показать себя неопытным простаком, заявил:

– Четвертого, действительно, я как будто не знаю.

Незнакомец заговорил монотонным деловым тоном:

– Исключительная заботливость и предупредительность. Подчеркивается, что вы знаете обычаи света, и если берете ее за руку после десяти фраз и целуете, то это якобы простая фамильярность, в дороге допустимая. Номер четвертый основан на том, что все ваши подходы и любезности как будто кем-то где-то уже установлены и против них нельзя возражать, боясь прослыть смешной и синим чулком. Тем более что предыдущая заботливость и предупредительность обязывают к снисходительности. К номеру четвертому существует небесполезное примечание: «Полезно при первой встрече принять вид человека, остолбеневшего от удивления и восторга перед красотой обрабатываемого объекта. Можно быть даже неловким от смущения в первый момент – это всегда прощается».

– Это что же… – спросил я, ошеломленный. – Нечто вроде «Кодекса волокитства»?

– Ну конечно. Я же Волокита и есть.

Он это сказал таким тоном, каким говорят: «Я инженер путей сообщения» или «Я служащий кредитного общества».

– Кто же выработал этот… гм… любопытный кодекс?

– Кто выработал! Жизнь выработала! Я его только анализировал, систематизировал научным путем и стал применять в обработанном, очищенном от ненужного виде. Согласны вы, что номер первый, как примитив, восхитителен?

Как всякий ученый, он думал, что весь мир знаком с его трудами и знает их наизусть.

– Первый номер? Не можете ли вы, во избежание путаницы, освежить эти номера в моей памяти по порядку?

Он пожал плечами и с готовностью начал тем же деловым, немного однообразным тоном:

– Номер первый. Это не тонкая столярная работа, а если можно так выразиться – грубая, плотничья. Говорится просто: «Сударыня! Жизнь так прекрасна, надо торопиться. Второй раз молодости уже не будет. Надо ловить момент! Мы оба молоды и прекрасны – пойдемте ко мне на квартиру». Если она скажет, что это «грех», можно возразить самым небрежным тоном: «Какой там, к черту, грех, все пустяки и трын-трава, а рая никакого и нет!» После чего других возражений уже не предвидится. Но повторяю – номер первый это базарный грубый номер для первых встречных дурочек.

Номер второй. Ошеломляющая грубость. Вы говорите: «Послушайте, ну что там ломаться, ведь я знаю, что я вам нравлюсь. Вы сейчас же должны меня поцеловать, слышите?» Тут даже уместен переход на «ты». «Мы, миленькая, я вижу, одного поля ягоды, а если ты будешь кочевряжиться, то мне недолго тебя и придушить. Иди же сюда, пока я не оттрепал тебя хорошенько!» Это так называемая работа «под апаша», и ее может недурно провести самый благомыслящий почтенный человек, который в другое время мухи не обидит. Увы! Женщина чаще, чем думают, любит свирепые страсти.

Номер третий. Равнодушие, смешанное с пренебрежением. Вы стараетесь говорить женщине все время колкости и вообще подчеркиваете, что она самая ординарная натура, которых вы видывали сотнями. Ничто так не разжигает женщину, как это. Она в слепой злобе сейчас же захочет показать, что она не такая, захочет покорить под нози своя такого строптивого мужчину, такая победа кажется ей сладкой – и вот уже она бьется, бедненькая, в расставленных вами сетях.

Номер четвертый вы уже знаете, а номер пятый, действие на ревность, – так уже избит, что его не нужно и комментировать. Приемы старые, как мир. Вы или делаете вид, что разговариваете с кем-нибудь по телефону, или, якобы случайно, роняете на пол какое-нибудь письмо от женщины, схватываете и рвете на мелкие кусочки. Нужно только остерегаться проделывать этот прием со счетами от портных и обойщиков, потому что на одном из подобранных впоследствии клочков может оказаться кусок гербовой марки…

С шестого номера начинается уже более тонкая деликатная работа. Прием с «чем-то роковым, что предопределено», требует известной интеллигентности и чутья. Подходить нужно издалека. Вы спрашиваете: «Послушайте, вам не кажется странным, что нас судьба свела вместе?» – «Почему же странно? Мало ли кто с кем знакомится?» – «О нет, вы знаете, что такое Ананке?» – «Не знаю». Вы молчите долго, долго, а потом начинаете говорить каким-то глухим, надтреснутым голосом, будто издалека: «Все на свете предопределено роком, и ни один человек не избежит его. Если человеку что и дано в этом случае – так только знать иногда заранее об этом роковом предопределении… дано чувствовать неизбывную силу руки Ананке…» Тут вы наклоняетесь к самому ее лицу и шепчете с горящими таинственным светом глазами: «И вот я чувствую всеми своими фибрами, что эта встреча для нас не окончится простым знакомством, что мы предназначены друг другу. Может быть, вы будете бороться, будете стараться убежать, но – ха! ха! ха! – это бесполезно. От Ананке еще никто не убегал. Понимаете – это уже решено там где-то! Сопротивляться? О, неужели вы не слышите таинственно гудящего сверху рокового колокола: поздно! Поздно! Поздно! К чему же тогда борьба? Ха-ха-ха! С Ананке не борются!!» Ну конечно, бедняжка, видя, что раз уж так где-то решено и что борьба бесполезна, сама заражается духом мистического начала и подходит к вожделенному концу. Ловко?

– Скажите! – спросил я, потрясенный. – Откуда же вы все это так хорошо знаете?

Мой спутник скромно вздохнул и покачал головой.

– Откуда? О господи! Посмотрите на какого-нибудь ученого, отыскивающего чудодейственное средство для пользы человечества… Он делает сотни лабораторных и практических опытов, натыкается на неудачи, разочарования и опять ищет и ищет. Сегодня у этого фанатика ничего не вышло, завтра не вышло, послезавтра у него взорвало колбу и опалило руки, – там, гляди, невежественная толпа, заподозрив в нем колдуна, избила ученого, там от него отказалась семья и сбежала жена, – и все-таки, в конце концов, этот фанатик, этот апостол науки добивается света во тьме своих изысканий и выносит ослепленной восторгом толпе чудодейственное перо жар-птицы! Забыты разочарования, забыта взорвавшаяся и опалившая руки колба.

– А скажите, – деликатно спросил я. – До того, как вы обрели настоящее перо жар-птицы, у вас часто… гм… взрывались колбы?

Под гнетом воспоминаний он опустил голову.

– Бывало! Ой, бывало. Самая ужасная колба разорвалась в моих руках в Ростове: муж нанес мне ножом две раны в шею, облил кипятком и сбросил в пролет лестницы. Сколько ошибок, сколько разочарований! В Москве какой-то дрянью обливали, к счастью, неудачно, в Армавире полтора часа под балконом на зацепившемся пиджаке провисел, пока проходивший водонос не снял… Моя жизнь – это сплошной дневник происшествий: чем-то обливали, чем-то колотили, откуда-то сбрасывали и из чего-то стреляли. Впрочем – я не ожесточился. Дубленая кожа всегда мягче. И, кроме того, я всегда вхожу в положение обманутого мужа – конечно, ему обидно. Ведь он, чудак, не знает, что за женой все равно не усмотреть. Так-то, молодой человек…

Меня удивлял и восхищал этот скромный господин, с таким незначительным лицом и вялыми движениями. И однако, несмотря на скромность, в его словах, когда он говорил о своей жизни, горела неподдельная энергия и неукротимый дух подлинного апостола.

– Ко всякому незнакомому городу я подъезжаю со странным чувством: «Что-то здесь мне предстоит? Что будет?» И если рассчитываю прожить побольше, то первым долгом разбиваю мысленно город на участки и начинаю работу планомерно, от участка к участку, не спеша, не суетясь, но и без лишней потери драгоценного времени.

Помолчав, я осведомился:

– У вас только шесть номеров и есть?

– Главных? Нет, семь. Седьмого я вам еще не досказал… Это самый гениальный, самый поразительный номер! Бывало, там, где уже нужно бы прийти в отчаяние, где руки совершенно

опускались, я хватался за этот драгоценный номер, за эту жемчужину моей коллекции – и через полчаса неприступная недотрога уже склоняла голову на мое плечо. Неудивительно, что прием номера седьмого действует почти на всех. Схема номера седьмого чрезвычайно проста и портативна, как все гениальное…

– Надеюсь, вы мне сообщите ее, – перебил я, дернув головой от неожиданной остановки поезда.

– Конечно! С удовольствием. «Седьмой номер»!.. Вы… Э, черт! Поезд, кажется, остановился? Какая это станция?

– Разбишаки, поезд стоит три минуты.

– О, дьявол! Да ведь мне здесь сходить нужно. Чуть не прозевал. Прощайте! До приятного свидания, спасибо за компанию.

Он схватил свой чемодан и, наскоро пожав мне руку, выскочил. Звонок зазвенел. Поезд засвистал и двинулся.

Я принялся ругать сам себя за то, что, отвлекши внимание Волокиты разными расспросами, так и не узнал номера седьмого – но в этот момент в вагон вошла та самая дама, с которой, по предложению Волокиты, «надо было работать номером четвертым».

Я вскочил с места и, основываясь на примечании к номеру четвертому, застыл перед ней с бессмысленно изумленным видом, опершись, как будто в полуобморочном состоянии, на спинку дивана.

Руководство для лентяев

– Заказное письмо – штука опасная, а с простым я всегда справлюсь.

– Как же ты справишься?

– А это смотря по тому: если мне его посылают или если я?

– Ну если ты?

– Ага… Видишь ли: я его совсем не посылаю. Ты ведь знаешь – нет ничего труднее, как написать письмо. Ты можешь несколько часов потерять на чтение глупейшей книжонки, можешь ночь проиграть в шахматы; наконец, можешь просто, сидя в кресле и уставившись бессмысленным взором в ковер, размышлять целый час, есть ли рифма к слову «барышня»? Но у тебя никогда не найдется двадцати минут, чтобы ответить на письмо. В манере отвечать на письма есть какая-то особая психология: получив письмо, ты думаешь: «Эге, уж на это-то письмо я отвечу. Обязательно нужно немедля написать!» И вот, если ты не присел сейчас же, сию минуту, сию секунду к письменному столу – ты на это письмо никогда не ответишь. Ни-ког-да! Конечно, тебе и в голову не придет отвечать в ту же минуту… Ты думаешь: «Успеется завтра!» И кладешь письмо в боковой карман, где уже лежат несколько сиротливых «безответных» писем, края которых истерлись и бумага на сгибах разваливается. «Положу, – думаешь ты, – поближе, чтобы завтра вспомнить». Но у «завтра» есть свой рок. У всякого «завтра» есть свое «завтра», такое уютное, спокойное, отодвигающее на один день проклятую каторжную работу писания ответа на письмо. Проходит три– четыре «завтра», и тебя начинают грызть упреки совести. Они могут тебя грызть, как тигры, но письма ты все-таки не напишешь. Почему? Какое проклятие сидит в этом правиле? Постепенно ты начинаешь ненавидеть письмо, которое причиняет такие муки твоей совести. Перебирая завалявшуюся в кармане пачку, перемешанную со сбившимися в комок шерстинками твоего суконного пиджака, – ты думаешь: «Отвечать на это проклятое письмо уже поздно… Выброшу-ка я его, чтобы оно не смущало моей душеньки…» Письмо вместе с другими, уже отслужившими свою странную службу – мучить адресата укорами совести, – выбрасывается, и пустой карман пиджака жадно раскрывает свою пасть для новой серии безответных писем.

– Как же ты оправдываешься перед человеком, пославшим письмо?

– Заказное или простое?

– Все равно…

– Э, нет! Тут целая пропасть. Заказное письмо – вещь предательская, пославший его всегда спокоен, если у него в кармане имеется расписка. Правда, расписки эти иногда теряются, но на это рассчитывать рискованно. А тут еще завели моду посылать важные письма с обратными расписками. От такого письма никак не отопрешься.

– А от простого?

– Сколько угодно. Встречаешься ты спустя три-четыре месяца со своим корреспондентом. Развязно радуешься: «А, здравствуйте! Как поживаете? Что это о вас ни слуху ни духу?» Он смотрит на тебя с негодованием и сурово говорит: «Свинья вы, свинья! Я вам три письма послал, и хоть бы на одно был ответ! Простая вежливость должна бы…» Ты моментально делаешь лицо человека, не могущего в себя прийти от изумления и ужаса: «Вы?! Мне?! Три письма?!!» «Да-с. Я. Вам. Три письма». Тут требуется, чтобы в голосе твоем дрожала обида: «Слушайте… Вы, конечно, знаете, как я люблю своего покойного отца. Так вот клянусь вам его жизнью, что ни одного вашего письма не получал!» – «Но этого не может быть! – говорит пораженный простак. – Я ведь три письма послал!..» Горькая улыбка старого либерала искажает твои черты. «Ах, русский почтамт… Вы же знаете… Разве на него можно положиться? Вообще, наш режим»… Яд сомнения уже влит в его душу. Он думает: «Черт его знает – может быть, в самом деле на почте крадут. Человек отцом клянется, что не получал, да и физиономия у него честная». Лед сломан… Вы дружески садитесь на диван и принимаетесь взапуски ругать русские почтовые порядки.

– Ну да. Это понятно. Ну а как же ты поступаешь, если тебе не ответ нужно было кому-нибудь написать, а просто этакое какое-нибудь важное извещение или справки, которые ты клятвенно обещал выслать уезжающему человеку через три дня.

– Как я поступаю? Я собираюсь их ему выслать, потому что я честный человек и люблю держать слово… Но в первый день я не высылаю, потому что есть второй и третий день, на второй день у меня есть в запасе третий, третий распадается на утро, день и вечер, а вечер распадается, в свою очередь, на две части: когда еще можно послать письмо, но я не успеваю, и когда уже нельзя послать письмо – и я его поэтому не посылаю. Вот почему мой адресат не получает письма.

– Понимаю; когда он возвращается из поездки, ты начинаешь прятаться, избегать встречи…

– Наоборот! Я еду прямо к нему и, смело глядя ему в глаза, первым долгом бросаю саркастическое: «Нечего сказать! Хорошо… Очень хорошо!» Конечно, он уже приготовился обрушиться на меня целой тучей упреков и брани, но мой тон сбивает его с толку. «В чем дело, – беспокойно говорит он, – что такое хорошо?» – «Да вы-то… Хоть бы открыточку забросили мне с благодарностью за исполненное поручение…» Негодованию его нет пределов. «Вам? Благодарность? За то, что вы проманежили меня зря несколько дней, справок не выслали, данных не сообщили и вообще подвели меня самым жестоким образом?» Тут уж вскипаю и я: «Как? Вы осмелитесь утверждать, что не получили моего письма с подробными справками? Голубенького конверта в четверть листа с письмом, написанным на бумаге, окаймленной сиреневым бордюром? Еще у меня не было десятикопеечной марки и я наклеил несколько копеечных…» Эти подробности ошеломляют его. «Вы говорите, голубенький конверт и копеечные марки?..» – «Ну да. Желтенькие такие. Зубчики по краям». Бьет себя в грудь: «Ну ей-богу же не получал! Честное слово». Я немного успокаиваюсь: «Вы даете честное слово, что не получали?» – «Даю!» – «В таком случае, ничего не понимаю. Сам написал ответ, не доверяя прислуге, и опустил в почтовый ящик. Еще желтые такие ящики… Правда?» – «Ну да, желтые», – устало говорит он. «Ну вот видите! Ох, эта наша российская почта! Вот оно, всеобщее разгильдяйство и неуважение к чужой собственности. Вы подумайте: из-за того, что какой-нибудь

там почтальон, зайдя в трактир, забыл под столом сумку с письмами, – я должен волноваться, подозревать вас в том, что вы скрыли из каких-то целей получение письма… Прямо холодный ужас!..» После этого ему уже не до укоров и нападок на меня – впору хоть самому оправдаться и извиниться передо мной.

– Гм… да! Я вижу – это целая наука. И ты со всеми письмами так делаешь?

– Увы!

– Вот оно что! Теперь я понимаю, куда пропало письмо, которое ты, по твоим словам, писал мне в прошлом году.

– Ей-богу, писал! Уж тебе-то я, брат, написал. Я честный человек и даром честного слова не дам. Других – это верно, надувал – но тебе как раз написал. И если уж оно пропало, то в этом не в шутку, а самым серьезным образом виновата почта. Правда, это было не год тому назад, а четырнадцать месяцев. Еще помню, бумага не подходила к конверту и пришлось край бумаги срезать. Да вот тебе смешная подробность, которая до сих пор у меня в памяти: срезывая край бумаги, я отрезал и несколько слов письма, так что получилась курьезная фраза: «Прижимаю тебя»… а «к груди» – отрезано. Хи-хи. И еще помню, чтобы подшутить над тобой, я в адресе написал: «Его превосходительству». Нет уж, это письмо, брат, верное, обещал написать и написал.

Человек, упрекавший своего друга в том, что он обманул его, как и других, с помощью своей системы, – посмотрел – на этого друга, улыбнулся и сказал:

– Ну успокойся. Ты мне никакого письма не обещал написать год тому назад и о пропаже его мне не говорил. Я это сейчас только придумал…

Слепцы

Посвящается А.Я. Садовской

I

Королевский сад в эту пору дня был открыт, и молодой писатель А-е беспрепятственно вошел туда. Побродив немного по песчаным дорожкам, он лениво опустился на скамью, на которой уже сидел пожилой господин с приветливым лицом.

Пожилой приветливый господин обернулся к А-е и после некоторого колебания спросил:

– Кто вы такой?

– Я? А-е. Писатель.

– Хорошая профессия, – одобрительно улыбнулся незнакомец. – Интересная и почетная.

– А вы кто? – спросил простодушный А-е.

– Я-то? Да король.

– Этой страны?

– Конечно. А то какой же…

В свою очередь, А-е сказал не менее благожелательно:

– Тоже хорошая профессия. Интересная и почетная.

– Ох, и не говорите, – вздохнул король. – Почетная-то она почетная, но интересного в ней ничего нет. Нужно вам сказать молодой человек, королевствование не такой мед, как многие думают.

А-е всплеснул руками и изумленно вскричал:

– Это даже удивительно! Я не встречал ни одного человека, который был бы доволен своей судьбой.

– А вы довольны? – иронически прищурился король.

– Не совсем. Иногда какой-нибудь критик так выругает, что плакать хочется.

– Вот видите! Для вас существует не более десятка-другого критиков, а у меня критиков миллионы.

– Я бы на вашем месте не боялся никакой критики, – возразил задумчиво А-е и, качнув головой, добавил с осанкой видавшего виды опытного короля: – Вся штука в том, чтобы сочинять хорошие законы.

Король махнул рукой:

– Ничего не выйдет! Все равно никакого толку.

– Пробовали?

– Пробовал.

– Я бы на вашем месте…

– Э, на моем месте! – нервно вскричал старый король. – Я знал многих королей, которые были сносными писателями, но я не знаю ни одного писателя, который был хотя бы третьесортным, последнего разряда, королем. На моем месте… Посадил бы я вас на недельку, посмотрел бы, что из вас выйдет…

– Куда… посадил бы? – осторожно спросил обстоятельный А-е.

– На свое место!

– А! На свое место… Разве это возможно?

– Отчего же! Хотя бы для того это нужно сделать, чтобы нам, королям, поменьше завидовали… чтобы поменьше и потолковее критиковали нас, королей!

А-е скромно сказал:

– Ну что ж… Я, пожалуй, попробую. Только должен предупредить: мне это случается делать впервые, и если я с непривычки покажусь вам немного… гм… смешным – не осуждайте меня.

– Ничего, – добродушно улыбнулся король. – Не думаю, чтобы за неделю вы наделали особенно много глупостей… Итак, хотите?

– Попробую. Кстати, у меня есть в голове один небольшой, но очень симпатичный закон. Сегодня бы его можно и обнародовать.

– С богом! – кивнул головой король. – Пойдемте во дворец. А для меня, кстати, это будет недельку отдыха. Какой же это закон? Не секрет?

– Сегодня, проходя по улице, я видел слепого старика… Он шел, ощупывая руками и палкой дома и ежеминутно рисковал попасть под колеса экипажей.

И никому не было до него дела… Я хотел бы издать закон, по которому в слепых прохожих должна принимать участие городская полиция. Полисмен, заметив идущего слепца, обязан взять его за руки и заботливо проводить до дому, охраняя от экипажей, ям и рытвин. Нравится вам мой закон?

– Вы добрый парень, – устало улыбнулся король. – Да поможет вам бог. А я пойду спать. – И, уходя, загадочно добавил: – Бедные слепцы…

II

Уже три дня королевствовал скромный писатель А-е. Нужно отдать ему справедливость – он не пользовался своей властью и преимуществом своего положения. Всякий другой человек нА-его месте засадил бы критиков и других писателей в тюрьму, а народонаселение обязал бы покупать только свои книги – и не менее одной книги в день на каждую душу вместо утренних булок…

А-е поборол соблазн издать такой закон. Дебютировал он, как и обещал королю, «законом о провожании полисменами слепцов и об охранении сих последних от разрушительного действия внешних сил, как то: экипажи, лошади, ямы и проч.».

Однажды (это было на четвертый день утром) А-е стоял в своем королевском кабинете у окна и рассеянно смотрел на улицу.

Неожиданно внимание его было привлечено странным зрелищем: два полисмена тащили за шиворот прохожего, а третий пинками ноги подгонял его сзади.

С юношеским проворством выбежал А-е из кабинета, слетел с лестницы и через минуту очутился на улице.

– Куда вы его тащите? За что бьете? Что сделал этот человек? Скольких человек он убил?

– Ничего он не сделал, – ответил полисмен.

– За что же вы его и куда гоните?

– Да ведь он, ваша милость, слепой. Мы его по закону в участок и волокем.

– По за-ко-ну? Неужели есть такой закон?

– А как же! Три дня тому назад обнародован и вступил в силу.

А-е, потрясенный, схватился за голову и взвизгнул:

– Мой закон?!

Сзади какой-то солидный прохожий пробормотал проклятие и сказал:

– Ну и законы нынче издаются! О чем они только думают? Чего хотят?

– Да уж, – поддержал другой голос, – умный закончик: «Всякого замеченного на улице слепца хватать за шиворот и тащить в участок, награждая по дороге пинками и колотушками». Очень умно! Чрезвычайно добросердечно!! Изумительная заботливость!!

Как вихрь, влетел А-е в свой королевский кабинет и крикнул:

– Министра сюда! Разыщите его и сейчас же пригласите в кабинет!! Я должен сам расследовать дело!

III

По расследовании загадочный случай с законом «об охране слепцов от внешних сил» разъяснился.

Дело обстояло так.

В первый день своего королевствования А-е призвал министра и сказал ему:

– Нужно издать закон «о заботливом отношении полисменов к прохожим слепцам, о провожании их домой и об охране сих последних от разрушительного действия внешних сил, как то: экипажи, лошади, ямы и проч.».

Министр поклонился и вышел. Сейчас же вызвал к себе начальника города и сказал ему:

– Объявите закон: не допускать слепцов ходить по улицам без провожатых, а если таковых нет, то заменять их полисменами, на обязанности которых должна лежать доставка по месту назначения.

Выйдя от министра, начальник города пригласил к себе начальника полиции и распорядился:

– Там слепцы по городу, говорят, ходят без провожатых. Этого не допускать! Пусть ваши полисмены берут одиноких слепцов за руку и ведут куда надо.

– Слушаю-с.

Начальник полиции созвал в тот же день начальников частей и сказал им:

– Вот что, господа. Нам сообщили о новом законе, по которому всякий слепец, замеченный в шатании по улице без провожатого, забирается полицией и доставляется куда следует. Поняли?

– Так точно, г. начальник!

Начальники частей разъехались по своим местам и, созвав полицейских сержантов, сказали:

– Господа! Разъясните полисменам новый закон: «Всякого слепца, который шатается без толку по улицам, мешая экипажному и пешему движению, хватать и тащить куда следует».

– Что значит «куда следует»? – спрашивали потом сержанты друг у друга.

– Вероятно, в участок. На высидку… Куда ж еще…

– Наверно, так.

– Ребята! – говорили сержанты, обходя полисменов. – Если вами будут замечены слепцы, бродящие по улицам, хватайте этих каналий за шиворот и волоките в участок!

– А если они не захотят идти в участок?

– Как не захотят? Пара хороших подзатыльников, затрещина, крепкий пинок сзади – небось побегут!

Выяснив дело «об охранении слепцов от внешних влияний», А-е сел за свой роскошный королевский стол и заплакал.

Чья-то рука ласково легла ему на голову.

– Ну что? Не сказал ли я, узнав впервые о законе «охранения слепцов», – «бедные слепцы!»? Видите, во всей этой истории бедные слепцы проиграли, а я выиграл.

– Что вы выиграли? – спросил А-е, отыскивая свою шапку.

– Да как же? Одним моим критиком меньше. Прощайте, милый. Если еще вздумаете провести какую-нибудь реформу – заходите.

«Дожидайся!» – подумал А-е и, перепрыгивая через десять ступенек роскошной королевской лестницы, убежал.

Конец графа Звенигородцева
(*Рассказ из жизни большого света*)

Граф Звенигородцев проснулся в своем роскошном особняке, отделанном инкрустацией, и сладко потянулся. Позвонил…

– Вот что… – сказал он вошедшему камердинеру. – Приготовь мне самое дорогое шелковое белье и платье от английского портного… Я через час пойду в баню. Никогда не был в бане: посмотрю, что это такое.

Прислуга в доме графа была вышколена удивительно: камердинер действительно пошел и сделал все так, как приказал граф.

Через час граф Звенигородцев вышел из своего роскошного особняка и, вскочив в дорогой, отделанный инкрустацией автомобиль, крикнул шоферу:

– В самые лучшие бани! В дворянские!

…Облака пара застилали глаза… Мелькали голые тела, слышался плеск горячей воды, гоготанье… Брезгливо посматривая на эту неприглядную картину, граф лежал на скамье и морщился, когда высокий долговязый парень слишком сильно тер ему шею.

Этот долговязый парень давно уже не нравился графу своей непринужденностью и фамильярным обращением! Он хватал графа за руки, за ноги, мылил ему голову и часто выкрикивал какое-то непонятное слово: «эхма»!

«Боже ты мой! – думал граф. – Где этот человек получил воспитание?.. Прямо-таки ужасно».

Мытье подходило уже к концу. Граф предполагал сейчас же встать и, даже не поклонившись долговязому человеку, – уйти, чтобы этим подчеркнуть в деликатной форме свое неудовольствие.

Уже граф, поддерживаемый парнем, поднялся со скамьи… Уже он, окаченный горячей водой, взмахнул руками и отряхнул миллион светлых брызг… Уже.. Как вдруг произошло что-то до того тяжелое, до того кошмарное – чего не могло бы предположить самое разнузданное

воображение: парень неожиданно изловчился и, хлопнув графа по белой изящной спине, с хладнокровием истого бреттера сказал:

– Будьте здоровы!

Граф вздрогнул, как благородный конь, которому вонзили в бока шпоры, повернул свое исковерканное гневом лицо и грозно вскричал:

– Эт-то что такое?!!

– Будьте здоровы, говорю, ваше сиятельство! – повторил негодяй, делая иронический поклон.

– А-а, негодный!.. Зная, кто я такой, ты позволяешь себе то, что смывается только кровью?!! Я не убиваю тебя, как собаку, только потому…

И, сделав над собой страшное усилие, граф отчеканил более спокойным голосом:

– Милостивый государь! Завтра мои свидетели будут у вас. Ваше имя?

– Алеша, ваше сиятельство. Так пусть меня и спросят, если помыться али что. В это время я завсегда тут. На чаек бы с вас.

Эта убийственная ирония, это последнее оскорбление уже не произвело на графа никакого впечатления… Он молча повернулся и вышел в предбанник. Вызов был сделан, и все неприличие и бестактность противника не могли задеть теперь графа.

Сжав губы и нахмурившись, граф быстро оделся, вышел, вскочил в свой элегантный автомобиль и помчался к своему другу барону Сержу фон Шмит.

Барон фон Шмит тоже жил в богатом особняке, отделанном мореным дубом и бронзой.

– Серж, – с наружным спокойствием сказал граф, хотя подергиванье губ выдавало его внутреннее волнение. – Серж! Я сегодня был оскорблен самым тяжелым образом и вызвал оскорбителя на дуэль. Ты будешь моим секундантом?

– Буду.

Граф рассказал все происшедшее барону, который молча выслушал его и потом спросил:

– Слушай… А вдруг он не дворянин?

Граф похолодел.

– Неужели… Ты думаешь…

– Весьма возможно… Тогда ясно – тебе с ним драться нельзя.

– Боже! Но что же мне делать?!

– Видишь ли… если он не дворянин – тебе нужно было сейчас же после нанесения оскорбления выхватить шпагу и убить подлого хама на месте, как бешеную собаку…

– Что ты такое говоришь: выхватить шпагу! Откуда же выхватить – если я был совершенно голый? Да если бы я был одет – не могу же я носить шпагу при сюртуке от лучшего английского портного?

– Тебе нужно было задушить его голыми руками, как собаку.

– О господи! – застонал граф, хватаясь за голову холеными руками. – Но, может быть, он дворянин? Ведь бани-то дворянские?

– Будем надеяться, мой бедный друг, – качая головой, прошептал барон.

На другой день барон поехал по данному графом адресу, нашел оскорбителя и, сухо поздоровавшись, имел с ним долгий горячий разговор.

Когда он возвращался в свой особняк к ожидавшему его графу, лицо его было сурово, губы сжаты, а брови нахмурены.

Он легко взбежал по лестнице, остановился на секунду у дверей своего роскошного кабинета мореного дуба, пригладил волосы и с холодным лицом вошел…

– Ну что?! – бросился к нему граф, протягивая трепещущие руки.

Барон отстранил его руки, свои засунул в карманы и медленно отчеканил:

– Вы получили оскорбление действием от наглого мещанина и не сделали того, что должен был сделать человек вашего происхождения: не убили его, как собаку.

– Он мещанин? – болезненно вскричал граф, закрывая лицо руками.

– Да-с! Мещанин… И трус вдобавок. По крайней мере, он сейчас же испугался, струсил и стал просить извинения. Говорил, что у них такой обычай – хлопнуть по спине на прощанье… Вы не убили его, как собаку, на вашей спине еще горит оскорбительный удар… Граф! Прошу оставить мой дом… Не считайте больше меня своим другом. Я не могу протянуть руки опозоренному человеку.

Граф застонал, схватился изящными руками за голову и, не оправдываясь, выбежал из кабинета…

Он долго бродил по городу, потрясенный, уничтоженный, с искаженным горем и страданием лицом. Запекшиеся губы шептали:

– За что? За что на меня это обрушилось?

Потом его потянуло к людям.

Он кликнул извозчика и велел ехать в роскошный особняк княгини Р.

…Лакей, одетый в дорогую ливрею, расшитую золотом и инкрустацией, преградил ему путь:

– Не принимают!

Граф удивился.

– Как не принимают? Сегодня же приемный день?

– Да-с, – нагло сказал сытый лакей, перебирая инкрустации на своей ливрее. – Приемный день, но вас не приказано принимать.

Граф застонал.

– Вот что, голубчик. На́ тебе сто рублей – только скажи правду: барон фон Шмит был сейчас у вас?

– И сейчас сидят, – осклабился лакей. – Эх, ваше сиятельство… Нешто можно так? Нужно было убить его, как собаку!.. А еще дворяне…

– И этот знает, – болезненно улыбнулся граф, вскочил на извозчика и, взглянув на свои золотые часы с инкрустацией, крикнул извозчику:

– К невесте!

Невеста графа, княжна Нелли Глинская, жила с родителями в изящном особняке и очень любила графа.

– Нелли, – шептал граф, подгоняя извозчика. – Милая Нелли… Только ты меня поймешь, не осудишь…

Он подъехал к воротам изящного особняка князей Глинских и радостно вскрикнул: из ворот как раз выходила Нелли.

– Нелли! Нелли! – крикнул граф гармоничным голосом. – Нелли!..

Невеста радостно вскрикнула, но сейчас же отступила и, подняв руки на уровень лица, пролепетала:

– Нет, нет… не подходите ко мне… я не могу быть вашей…

– Нелли?!! Почему?!!

Она сказала дрожащими губами:

– Я могла принадлежать чистому незапятнанному человеку, но вам… на теле которого горит несмываемое оскорбление… Не оправдывайтесь! Барон мне все рассказал…

– Нелли! Нелли!! Пойми меня… Что же я мог сделать?!

– Что? Вы должны были выхватить шпагу и заколоть оскорбителя, как бешеную собаку!!

– Нелли! Какую шпагу? Я ведь был совсем без всего…

С криком ужаса и возмущения закрыла ручками пылающее лицо Нелли – и скрылась в воротах.

– Один… – с горькой улыбкой прошептал граф. – Всеми брошенный, оставленный, презираемый… Кровно оскорбленный…

На лице его засияла решимость.

Пробило полночь… Роскошный особняк графа Звенигородцева был погружен в сон, кроме самого графа.

Он сидел за старинным письменным столом, украшенным инкрустацией, и что-то писал… На губах его блуждала усталая улыбка.

– Нелли, – шептал он. – Нелли… Может быть, сейчас ты поймешь меня и… простишь!

Он заклеил письмо, запечатал его изящной золотой печатью и поднес руку с револьвером к виску… Грянул выстрел… Граф, как сноп, рухнул на ковер, сжимая в руках дорогой револьвер с инкрустацией…

Опора порядка

I

Вольнонаемный шпик Терентий Макаронов с раннего утра начал готовиться к выходу из дому. Он напялил на голову рыжий, плохо, по-домашнему сработанный парик, нарумянил щеки и потом долго возился с наклеиванием окладистой бороды.

– Вот, – сказал он, тонко улыбнувшись сам себе в кривое зеркало. – Так будет восхитительно. Родная мать не узнает. Любопытная штука – наша работа… Приходится тратить столько хитрости, сообразительности и увертливости, что на десять Холмсов хватит. Теперь будем рассуждать так: я иду к адвокату Манькину, которого уже достаточно изучил и выследил. Иду предложить себя на место его письмоводителя. (Ему такой, я слышал, нужен. А если я вотрусь к нему – остальное сделано.) Итак, письмоводитель. Спрашивается: как одеваются письмоводители? Мы, конечно, не Шерлоки Холмсы, а кое-что соображаем: мягкая цветная сорочка, потертый пиджак и брюки, хотя и крепкие, но с бахромой. Вот так! Теперь всякий за версту скажет: письмоводитель!

Макаронов натянул пальто с барашковым воротником и, выйдя из дому, крадучись зашагал по направлению к квартире адвоката Манькина.

– Так-то, – бормотал он сам себе под нос. – Без индийской хитрости с этими людьми ничего не сделаешь. Умные, шельмы… Да Терентий Макаронов поумнее вас будет. Хе-хе!

У подъезда Манькина он смело нажал кнопку звонка; горничная впустила его в переднюю и спросила:

– Как о вас сказать?

– Скажите: Петр Сидоров. Ищет место письмоводителя.

– Подождите тут, в передней.

Горничная ушла, и через несколько секунд из кабинета донесся ее голос:

– Там к вам шпик пришел, что под воротами допреж все торчал. Я, говорит, Петр Сидоров и хочу наниматься в письмоводители. Бородищу наклеил, подмазался – прямо умора,

– Сейчас я к нему выйду, – сказал Манькин. – Ты его где оставила, в передней?

– В передней.

– После посмотришь под диваном или за вешалкой – не сунул ли чего? Если найдешь, выброси.

– Как давеча?

– Ну да! Учить тебя, что ли. Как обыкновенно.

Адвокат вышел из кабинета и, осмотрев понурившегося Макаронова, спросил:

– Ко мне?

– Так точно.

– А знаешь, братец, тебе борода не идет. Такое чучело получилось…

– Да разве вы меня знаете? – с наружним удивлением воскликнул Макаронов.

– Тебя-то? Да мои дети по тебе, брат, в гимназию ходят. Как утро, они глядят в окно: «Вон, говорят, папин шпик пришел… Девять часов, значит. Пора в гимназию собираться».

– Что вы, господин, – всплеснул руками Макаронов. – Какой же я шпик?! Это даже очень обидно. Я вовсе письмоводитель – Петр Сидоров.

– Лизавета! – крикнул адвокат. – Дай мне пальто. Ну что у вас в охранке… Все по-старому?

– Мне бы местечко письмоводителя… – сказал Макаронов, хитрыми глазами поглядывая на адвоката. – По письменной части.

Адвокат засмеялся.

– А простой вы, хороший народ, в сущности. Славные людишки. Ты что же сейчас: за мной, конечно?

– Местечка бы, – упрямо сказал Макаронов.

– Лизавета! Выпусти нас.

Вышли вместе.

– Ну, я в эту сторону, – сказал адвокат. – А ты куда?

– Мне сюда. В обратную сторону.

Макаронов подождал немного и потом, опустив голову, опечаленный, поплелся за Маныкиным. Он потихоньку, как тень, крался за адвокатом, и единственное, что тешило его, – это что адвокат его не замечает.

Адвокат приостановился и спросил, обернувшись вполоборота к Макаронову:

– Как ты думаешь, этим переулком пройти на Московскую ближе?

– Ах, как это странно, что мы встретились! – с искусно разыгранным удивлением вскричал Макаронов. – Я было решил идти в ту сторону, а потом вспомнил, что мне сюда нужно. К тетке зайти.

«Ловко это я про тетку ввернул», – думал, усмехаясь внутренно, Макаронов.

– Ладно уж. Пойдем рядом. А то, смотри, еще потеряешь меня…

– Нет ли у вас места письмоводителя? – спросил Макаронов.

– Ну и надоел же ты мне, ваше благородие, – нервно вскричал адвокат. – Впрочем, знаешь что? Я как будто устал. Поеду-ка я на извозчике.

– Поезжайте, – пожал плечами Макаронов. («Ага! Следы хочет замести… Понимаем-с»). – А я тут к одному приятелю заверну.

Маныкин нанял извозчика, сел в пролетку и, оглянувшись, увидел, что Макаронов нанимает другого извозчика.

– Эй, – закричал он, высовываясь. – Как вас… письмоводитель! Пойди-ка сюда. Хочешь, братец, мы экономно сделаем?

– Я вас не понимаю, – солидно возразил Макаронов.

– Чем нам на двух извозчиках трепаться – поедем на одном. Все равно ты ведь от меня не отвяжешься. А расходы пополам. Идет?

Макаронов некоторое время колебался, потом пожал плечами и уселся рядом, решив про себя: «Так даже, пожалуй, лучше. Можно что-нибудь от него выведать».

– Ужасно тяжело, знаете, быть без места, – сказал он с напускным равнодушием, садясь в пролетку. – Чуть не голодал я, вдруг – вижу ваше объявление в газетах насчет письмоводителя. Дай, думаю, зайду.

Адвокат вынул папиросу.

– Есть спичка?

– Пожалуйста. Вы что же, адвокатурой только занимаетесь или еще чем?

– Бомбы делаю еще, – подмигнул ему адвокат.

Сердце Макаронова радостно забилось.

– Для чего? – спросил он, притворно зевая.

– Мало ли. Знакомым раздаю. Послушайте… У вас борода слева отклеилась. Поправьте. Да не так! Ну вот, еще хуже сделали. Давайте я вам ее подправлю. Ну теперь хорошо. Давно в охранном служите?

– Не понимаю, о чем вы говорите, – обиженно сказал Макаронов. – Жил я все время у дяди – дядя у меня мельник, – а теперь места приехал искать… Может, дадите бумаги какие-нибудь переписывать, или еще что?

– Отвяжись, братец. Надоел.

Макаронов помолчал.

– А из чего бомбы делаете?

– Из манной крупы.

«Хитрит, – подумал Макаронов. – Скрывает. Проговорился, а теперь сам и жалеет».

– Нет, серьезно, из чего?

– Заходи – рецептик дам.

II

Подъехали к большому дому.

– Мне сюда. Зайдешь со мной?

Понурившись, мрачно зашагал за адвокатом Макаронов.

Зашли к портному.

Маныкин стал примерять новый жакет, а Макаронов сел около брошенного на прилавок адвокатом старого пиджака и сделал незаметную попытку вынуть из адвокатова кармана лежавшие там письма и бумаги.

– Брось, – сказал ему адвокат, глядя в зеркало. – Ничего интересного. Как находишь – хорошо сидит жакет?

– Ничего, – сказал шпик, пряча руки в карманы брюк. – Тут только как будто морщит.

– Да, в самом деле, морщит. А жилет как?

– В груди широковат, – внимательно оглядывая адвоката, сказал шпик.

– Спасибо, братец. Ну, значит, вы тут кое-что переделаете, а мы пойдем.

После портного адвокат и Макаронов поехали на Михайловскую улицу.

– Налево, к подъезду! – крикнул адвокат. – Ну, милый мой, сюда тебе за мной не совсем удобно идти. Семейный дом. Ты уж подожди на извозчике.

– А вы скоро?

– Да тебе-то что? Ведь ты все равно около меня до вечера.

Адвокат скрылся в подъезде. Через пять минут в окне третьего этажа открылась форточка и показалась адвокатова голова.

– Эй, ты… письмоводитель, как тебя? Поднимись сюда, в номер десятый, на минутку.

«Клюет», – подумал радостно Макаронов и, соскочив с извозчика, вбежал наверх.

В переднюю высыпала встречать его целая компания: двое мужчин, три дамы и гимназист.

Адвокат тоже вышел и сказал:

– Ты, братец, извини, что я тебя побеспокоил. Дамы, видишь ли, никогда не встречали живых шпиков. Просили показать. Вот он, mesdames. Хорош?

– А борода у него, что это… Привязная?

– Да, наклеенная. И парик тоже. Поправь, братец, парик. Он на тебе широковат,

– Что, страшно быть шпиком? – спросила одна дама участливо.

– Нет ли места какого? – спросил, делая простодушное лицо, Макаронов. – Который месяц я без места.

– Насмотрелись, господа? – спросил адвокат. – Ну можешь идти, братец. Спасибо. Подожди меня на извозчике. Постой, постой.. Ты тут какие-то бумажки обронил. Забери их, забери… А теперь иди.

Когда адвокат вышел на улицу – Макаронова не было.

– А где этот фрукт, что со мной ездил? – спросил он извозчика

– Да тут за каким-то бородатым побег.

– Этого еще недоставало! Не ждать же мне его тут на морозе.

Из-за угла показалась растрепанная фигура Макаронова.

– Ты где же это шатаешься, братец? – строго прикрикнул Маныкин. – Раз тебе поручили за мной следить – ты не должен за другими бегать. Жди тебя тут! Поправь бороду. Другая сторона отклеилась. Эх, ты… На что ты годишься, если даже бороды наклеить не умеешь. Отдери ее лучше да спрячь, чтоб не потерялась. Вот так. Пригодится. Засунь ее дальше – из кармана торчит. Черт знает что! Извозчик! В ресторан «Слон».

Подъехали к ресторану.

– Ну ты сокровище, – спросил адвокат, – ты, вероятно, тоже проголодался? Пойдем, что ли.

– У меня денег маловато, – робко сказал сконфуженный шпик.

– Ничего, пустое. Я угощу. После сочтемся. Ведь не последний же день вместе. А?

«Пойду-ка я с ним, – подумал Макаронов. – Подпою его да и выведаю, что мне нужно. Пьяный всегда проболтается».

Было девять часов вечера. К дому, в котором помещалось охранное отделение, подъехали на извозчике двое: один мирно спал, свесив набок голову, другой заботливо поддерживал его за талию.

Тот, который поддерживал дремавшего, соскочил с пролетки и, позвонив у дверей, вызвал служителя.

– Вот, – сказал он ворчливо, – привез вам сокровище. Получайте… Ваш?

– Будто наш.

– Ну то-то. Тащите его, мне нужно дальше ехать. И как это он успел так быстро и основательно нарезаться… Постойте, осторожнее, осторожнее! Вы ему так голову расквасите. Берите под мышки! Постойте… У него из кармана что-то выпало. Записка какая-то литографированная… Гм!.. Возьмите… Ах, чуть не забыл… У меня его борода в кармане. Забирайте и бороду. Ну, прощайте. Когда проспится, скажите, что я завтра пораньше из дому выйду, – чтоб не опоздал. Извозчик, трогай!

Пылесос
(*Из сборника «Синее с золотом»*)

Все мы страдаем от дураков. Если бы вам когда-нибудь предложили на выбор: с кем вы желаете иметь дело – с дураком или мошенником? – смело выбирайте мошенника.

Против мошенника у вас есть собственная сообразительность, ум и такт, есть законы, которые вас защитят, есть ваша хитрость, которую вы можете обратить против его хитрости. В конце концов, это честная, достойная борьба.

Но что может вас защитить против дурака? Никогда в предыдущую минуту вы не знаете, что он выкинет в последующую. Упадет ли он вам с крыши на голову, бросится ли под ноги, укусит ли вас или заключит в объятия… – кто проникнет в тайны темной дурацкой психики?

Мошенник – математика, повинующаяся известным законам, дурак – лотерея, которая никаким законам и системам не повинуется.

Самый типичный дурак – это тот человек из детской хрестоматии, который зарезал курицу, несущую ему золотые яйца.

Все проиграли от этой комбинации: и курица, и ее владелец, и государство, на котором, конечно, отражается благосостояние ничтожнейшего из его подданных.

А вдумайтесь – так ли бы поступил с курицей мошенник? Да он бы ее на руках носил и пылинке бы не дал на нее сесть, кормил бы отборным зерном. Мошенник прекрасно знает, что зерно не отборное, пополам с разной дрянью – втрое дешевле… Осмелился ли бы он подсунуть своей курице такое зерно? Нет!

Он бы, может быть, подсунул торговцу зерном фальшивый двугривенный или обсчитал бы его, но обидеть свою курицу – на это не способен самый отъявленный мошенник.

Почти всякий из нас, читатели, – курица, несущая кому-нибудь золотые яйца, и потому всякий из нас рискует быть зарезанным рукой дурака.

Поэтому – долой дураков!

Видели вы когда-нибудь, как магнит, сунутый в кучу самых разнородных мелочей, вытягивает из всего этого только железные опилки, – как он чисто, ловко и аккуратно это делает! Всунули вы чистенький, гладкий, полированный стержень… момент – и вытаскивается из кучи густо облипший опилками и железной пылью, потерявший форму комок.

И еще: видели ли вы, как работает так называемый «пылесос»?

Прекрасное, волшебное зрелище.

Как будто одаренный человеческим умом и энергией, нащупывает хобот аппарата залежи пыли. Глядишь: только прикоснулся к ним – и уже сверкает белизной грязное, загаженное место… Ни одной пылинки не оставит жадный хобот, все втянет аппарат своими могучими легкими.

И ни чахотки не знает он, ни даже простого кашля.

Однажды, когда я, сидя на диване, наблюдал из другой комнаты работу чудесного аппарата, ко мне пришел знакомый и сказал:

– А я вчера очень заинтриговал Елену Сергеевну…

– Каким образом?

– Да сказал, что видел вас в «Аквариуме» с одной блондинкой. Она долго допытывалась, да я – не дурак ведь – помучил, помучил ее, однако не сказал. Очень было весело.

– Кто же вас просил говорить об этом?

– Никто. Я просто заинтриговать хотел. Она чуть не плакала, да я-то не дурак, слава богу, хе-хе… Не выдал вас.

Пылесос свистел и шумел, ощупывая хоботом своим пыльный карниз.

Я глядел на его работу и думал:

«Отчего никто не выдумает такой пылесос для дураков? Хорошо бы сразу высосать всех дураков из нашего города, втянуть их куда-нибудь всех до последней крошечки. Жизнь сразу бы посветлела, воздух очистился, и дышать сделалось бы легче».

Эта мысль – придумать пылесос для дураков – гвоздем засела во мне, и я часто к ней возвращался…

* * *

– Что я с ними буду делать, ты подумай! – плакался как-то, сидя у меня, один из моих друзей, получивший недавно наследство. – На что они мне, эти проклятые пятьсот десятин?! Место сырое, топкое, лесу нет, только песок и камень, вода за двадцать верст, дорог нет. Ближайший город – за двести верст.

Я потер рукой голову.

– Вот что… Садись за стол и пиши объявление в газеты…

Он сел.

– Ну?

– Пиши: «В сырой холодной местности, лишенной питьевой воды, продаются участки для постройки на них домов и усадеб. Полное отсутствие леса; почва – песок и глина. Ближайший город за двести верст. Полное бездорожье, отсутствие медицинской помощи, лихорадочная, малярийная местность. Квадратная сажень земли стоит 50 коп. При больших покупках – дороже. Лиц, желающих приобрести землю и поселиться в этом месте, просят обращаться туда-то. Контора по продаже земли в поселке Каруд».

– Господи Иисусе, – ахнул мой друг. – Кто же может откликнуться на это предложение?.. Разве только круглый дурак.

– Ну да же! Подумай, какая прелесть: это будет единственное место, где дураки соберутся в этакую плотную компактную массу. Твоя земля – это пылесос, который сразу вытянет всех дураков из нашей округи… То-то хорошо дышать будет.

– Да ведь они там помирать шибко будут. Жалко…

– Дураков-то? Да пусть мрут на здоровье. Боже ты мой!

– Ну так я хоть припишу, что летом там очень прохладно.

– Ни за что! Пиши так: «Холодная бесснежная зима, жаркое, душное лето, полное отсутствие растительности…» Есть?

– Есть. Да только уж и не знаю – выйдет ли что-нибудь из этого?

* * *

Вышло.

В «контору по продаже земель в поселке Каруд» посыпались письменные запросы.

Спрашивали:

«Действительно ли нет лесу поблизости, а если нет, то я прошу записать на мое имя четыре десятины, посырее, потому что у меня часто пересыхает горло, и вообще в лесу мало ли что может быть!»

Один господин писал:

«Если публикация говорит правду в параграфе о песчаной каменистой почве, то я покупаю 10 десятин: мне песок и камень нужны для постройки дома. Сообщите также, как понимать выражение «лихорадочная местность»? Не в смысле ли это «лихорадочной деятельности в этой местности»?»

Дама писала:

«Меня очень соблазняет отсутствие медицинской помощи. Действительно, эти доктора так дерут за визиты, а пользы ни на грош. Хорошо также, что нет воды: от нее страшно толстеешь; я пью лимонный сок и остаюсь с почтением Василиса Чиркина».

* * *

Через два месяца половина участков в поселке Каруд была распродана. Пылесос работал вовсю.

Маленькая Лениниана

Вся власть – мне

Уже несколько дней подряд я ходил как неприкаянный и все время не мог понять, что со мной делается…

– Что с тобой такое? – спрашивали друзья.

– И сам не понимаю что. Чего-то мне хочется, а чего, и сам не знаю.

– Может быть, ты жениться захотел?!

– Фи, какая гадость! Тоже подумаете… Нет, мне хочется чего-то этакого… Ну понимаете? Такого.

– Какого?

Я беспомощно вертел рукой:

– Ну, такого, знаете… большого. Важного.

– Родзянки, что ли?

– Глупо. Понимаете, чего-нибудь такого, чтоб оно было большое и приятное.

– Ну, это довольно расплывчато. Вагон белой муки под это подходит. Гарем египетского хедива подходит. Доходный дом на Невском. Бриллиант величиной с куриное яйцо. Жесточайшая подагра у твоего врага. Мало ли что бывает большое и приятное!

Однажды кто-то спросил:

– Может, тебе сладенького хочется?

– А чего бы, например? – задумчиво прищурился я.

– Скажем, земляничный торт. Да нет их теперь. Власти запретили.

Вдруг я, осененный, стукнул кулаком по столу.

– Есть! Вот чего я хочу!

– Торт? Но торты запретили власти.

– Нет! Вот этого именно я хочу: власти! Власти мне уже который день хочется!

Окружающие засмеялись.

– Ишь, чего захотел! Власти! Раньше была «вся власть советам», а теперь вся власть у большевиков. Опоздал, голубчик!

Снова я стукнул кулаком по столу.

– Так будет же по-моему! Товарищи пролетарии! Объединяйтесь под знаменем: «Вся власть Аркадию Аверченко!» На наш век пролетариев хватит.

Я был как в горячке. Вдохновение горело на челе моем.

– С чего же вы начнете? – спросили меня.

– Ясно с чего: с декрета.

Через день мой первый декрет был уже напечатан и расклеен.

Декрет

Главного сверхнародного комиссара, поставленного волей самых что ни на есть беднейших крестьян, невероятно солдатских солдат и поразительно матросских матросов…

Товарищи! Большевики вас обманули и обсчитали. Что они дали вам? Землю? А вы спросите их – кто будет ее обрабатывать, эту землю? Придется вам же! Очень весело, нечего сказать! Нет, товарищи! Если вы объединитесь под священным лозунгом нетрудящихся масс: «Вся власть

Аркадию Аверченко!» – то вы будете иметь землю и не вы будете ее обрабатывать. Дудки! Довольно вы уже поработали. Пусть другие работают на вас! И эти другие – буржуи и аристократы! Скажем так, Родзянко и Милюков впрягаются в плуг, а графиня Кантакузен идет сзади и подгоняет их. Косить будут Сумароковы-Эльстон – вся семья, а молоть – те же большевики. Это их дело! Довольно они попили вашей кровушки! Пусть коров пасет председатель сельскохозяйственного общества, а крыши чинят сами братья Тонет. Большевики глупо, как попугаи, повторяли: «Вся власть беднейшим крестьянам!« Почему? Я, наоборот, говорю: «Вся власть богатейшим крестьянам», потому что среди вас не будет бедных!

Вы, товарищи-рабочие! Большевики и вас обманули! Подумаешь, важное кушанье – контроль над производством. А заводы и фабрики все-таки у буржуев-капиталистов! Нет, я вам дам побольше! К нам пожалуйте, первый сорт – у нас покупали! Каждый рабочий у меня получит собственный небольшой завод или фабрику на сто персон, и пусть он отныне ходит по заводу, заложив руки в карманы, да только покрякивает – рабочими у него будут Крестовиков, Коновалов и прочие Рябушинские. Это тебе не контроль какой-нибудь паршивый! Итак, идите все на улицу и носите по улице писаную торбу, на которой должны быть начертаны великие слова: «Вся власть Аркадию Аверченко!», «Долой контрреволюционеров, – всех этих буржуев, Каледина, Керенского, Троцкого, Ленина и других, продавшихся капиталу!»

Товарищи солдаты и матросы! К вам слово мое! Вы так жадно хотите мира – разве его вам дали обманщики большевики? Что они сделали? Послали к немцам для переговоров какого-то несчастного Шнеура, да и тот оказался жуликом! Нет, вот у меня будет мир – так мир! За ухо от него не оттянешь. Такой скорый, что не успеете и оглянуться. И что это за скромность такая – без аннексий и контрибуций? С чьей стороны – это неважно.

Те же из вас, которые все равно не воевали и которым будет ли война или нет – ни тепло, ни холодно, – одним словом, петроградскому революционному гарнизону, – я обещаю на ухо пять словечек: 1) Государственный, 2) банк, 3) погреб, 4) Зимнего и 5) дворца!

Теперь, посчитайте: кто больше дает – я или большевики? За кем вы пойдете, за мной или за большевиками? Дураки вы, что ли, чтоб идти за ними, когда я даю втрое больше?

Итак, пусть перед вашими духовными очами ярко горят два огненных лозунга:

1) «Вся власть Аркадию Аверченко!»

2) «Господин, у нас покупали, – пожалуйте».

Подписано:

Сверхверховный сверхкомиссар

Аркадий Аверченко

Да здравствует углубление революции!

В борьбе обретешь ты лево свое!

* * *

Не прошло и нескольких часов, как ко мне в квартиру влетели бледные, растерянные Троцкий и Ленин.

– Что вы наделали? – с порога крикнули они. – С ума вы сошли?

– А что? – спросил я с невинным видом. – Садитесь, господа.

– Уже? – крикнул хрипло Троцкий. – Мы не хотим садиться! Вы не имеете права нас арестовывать!

Я вспыхнул.

– Это почему же, скажите, пожалуйста? – надменно спросил я. – Отныне вся власть перешла ко мне! Вся власть Аркадию Аверченко!

– Вас никто не выбирал.

– Выберут! Я таких обещаний в свой декретишко насовал, что все за мной побегут.

– Но ведь это ложь! – стукнул кулаком по столу Ленин. – Где вы возьмете столько фабрик, чтобы наделить каждого рабочего фабрикой? Где вы наберете столько Родзянко и Кантакузенов, чтобы пахать на них землю? Какой это мир можно в два дня заключить? Мы неделю не могли, а вы…

– За ним все равно никто не пойдет, – пробормотал дрожащими губами Троцкий.

Я ядовито улыбнулся.

– Вы думаете? А вы слышите уже эти крики на улице: «Вся власть Аркадию Аверченко! Долой капиталистов Троцкого и Ленина!»

– Пощадите! – застонал, простирая ко мне руки, Ленин. – Отступитесь!

– Поздно, – сказал я роковым голосом, показывая на появившихся в дверях красногвардейцев. – Арестуйте этих двух…

Я устало указал на Ленина и Троцкого.

– Куда их потом? – презрительно спросил красногвардеец.

– Ну как обыкновенно: в Петропавловку. Ступайте, господа. Все там будем.

* * *

И что же! Последняя моя фраза оказалась пророческой: я пошутил, а через три дня появилась новая власть, и я, сверхкомиссар, был сверхарестован и посажен в сверх-Петропавловку сверх всех министров.

Моим преемником по власти над страной оказался какой-то Федька Кныш, – он так и подписался под декретом, свалившим меня: «Федька Кныш, крючник калашниковской пристани».

И знаете, чем он взял в свои руки все нетрудящиеся массы, чем он победил?

Краткий лозунг был у Федьки, а крепкий, черт его побери!

Вот этот лозунг:

«Шантрапа! – писал грубый, невоспитанный Федька. – Делай что хошь! На шарап! Мой лозунг: «Всем – все!»

И долго ходили толпы по городу, с яркими плакатами в руках: «Вся власть Федьке».

* * *

Ничего не поделаешь. Федька оказался левее.

Моя симпатия и сочувствие Ленину

Я очень добрый человек.

Например: у меня нет ни злобы, ни ненависти к Ленину, Ульянову – тоже.

Мне только очень его жалко.

Чем дальше, тем больше я над ним, над его жизнью задумываюсь, и чем дальше, тем больше мне его жалко.

По-моему, всякий человек имеет право на личный уют в жизни (я, например, люблю уют больше всего на свете) – а у Ленина нет этого уюта.

И уюта в жизни его нет, и общественное положение его какое-то странное. В самом деле, ну что это за положение такое: «Председатель Советской республики»? Наверное, ему от этого скучно и для самолюбия нет никакого удовлетворения.

Я еще понимаю – быть царем: это уже что-то! Я бы сам, признаться, не отказался от этой должности и думаю, что царь из меня вышел бы неплохой.

Что такое нужно от царя? Здравый смысл и любовь к родине. Я звезд с неба не хватаю, но здравый смысл у меня есть и любовь к родине такая, что я, может быть, часто по ночам плачу, да никто этого не знает.

Ну так вот, царь – должность определенная, и писатель – должность определенная: знай себе платит штраф за газеты, и генерал – должность определенная: знай себе газеты продает на Невском, и князь – должность определенная: знай себе старые вещи продает.

А председатель Советской республики – это неуютно. В этом нет уклада. Нет привычного,

Мне очень интересно знать – как вообще живет Ленин: что он ест – и много ли, с удовольствием ли, что читает, когда ложится спать и смеется ли?

Я думаю, что не смеется. И ему самому скучно жить, и тем, кто около него, тоже скучно живется.

Я думаю, что Ленин очень сухой человек, и если даже он прочтет эти строки, то не поймет, что я жалею его по человечеству, как брат брата, а, я думаю, немного растеряется, пожмет плечами и скажет сухим, без интонации, голосом:

– Какой странный этот Аверченко! Читаешь, читаешь и совершенно не понимаешь – какая такая его партийная платформа?

А я безо всякой платформы, ей-богу… Ну вот, как бы два человека встретились в лесу, и один увидел, что другой спит на корявых сучьях, которые впиваются ему в бока. Ну вот этот первый и пожалел второго, по человечеству, беспартийно и совершенно внефракционно.

Слушайте, гражданин Ленин, – неужели вы мне никогда не позавидуете? Вы знаете, например, как я провел вчерашний день? Рассказать? Расскажу.

Встал утром рано – утро хорошее, теплое, солнечное. Думаю: вчера работал и позавчера работал – никто меня не заставит сегодня работать! Поболтаюсь нынче по белому свету так просто, безо всякой работы.

Умылся холодной водой, фыркая, как молодая лошадка.

Чай выпил с белой лепешкой, которую ужилил у петроградской коммуны. Прочел две газеты – левую и правую. В обеих разделывали советскую власть на обе корки – прямо неприятно было читать. Вышел на улицу – сколько света, сколько тепла, сколько солнца! Что значит – ненормированный продукт!

Купил у торговки букетик весенних фиалок. Нюхал. Разглядывал на дороге встречных девушек и дам. Вы знаете, господин Ленин, – прехорошенькие встречаются. Жаль, что вы никогда так на них не смотрите, без платформы. И я ведь не о каких-нибудь дурных мыслях говорю, а просто приятно посмотреть на свеженькое личико и стройную ногу, лихо обтянутую черным ажуром чулка,

Разглядывал также открытки в витринах. Оч-чень недурные попадаются. Нынче стали хорошо их печатать – все мазки переданы в точности. Фотографии разглядывал. Заинтересовался и кинематографическим плакатом. Картина называется «Человек, который убил». Играет актриса Лещинская. Красивая. Надо пойти посмотреть, что это за картина такая.

Завернул на Морскую. У Буша выставлен эстамп: лев огромный, с царственной гривой. Этому слово «председатель» никак не подходит – именно царь. Породистый, каналья. И вдруг потянуло меня в Зоологический сад – безмерно я люблю всяческое дикое зверье.

А кто мне указ? Набрал побольше теплого воздуху в легкие и бодро зашагал в Зоологический сад – как птица я свободен в пределах петроградской коммуны.

Обедал я в кавказском ресторанчике. Прихватил приятеля – ели шашлыки, осетрину на вертеле, и мошенник кавказец дал даже недурное винцо. Дорого только очень, ну да ничего – этим фельетоном покрою.

Кстати, господин Ленин, – частный вопрос: почему бы вам не разрешить свободной продажи вина? Ведь все равно, кто хочет, пьют, и плохо только то, что переплачивают громадные деньги. Я так полагаю, что и дороговизна вся оттого, что всем нужно много на вино заработать. Возьмите вы пьющего ремесленника. Раньше он зарабатывал пять рублей в день, и довольно, потому что полбутылки водки стоило 23 копейки. А теперь он грабит заказчика ста рублями, потому что бутылка спирту стоит 200 рублей… И хлеб будет у ремесленника, потому что хлебный мужичонко дерет 10 рублей за фунт муки по той же причине – на водку сотни уходят.

Право, уже можно бы разрешить вино – такое мое компетентное мнение.

Да и вообще, я бы пошел к вам в советчики – только ведь вы меня не будете слушать. Не стоится мне на партийной платформе – хоть кол на голове теши.

Однако вернемся к нашим баранам, как тонко выражались наши бывшие союзники.

После обеда отправились мы с приятелем в оперетку – очень мило играли, да и музыка приятная, легкая и пьянящая, как шампанское.

Вернулся домой пешком – такая приятная белая ночь, – слегка поужинал ужиленной у коммуны телятиной и сыром, запил доброй бутылкой контрабандного пива и лег в постель.

Вы думаете, удовольствия этого привольного дня кончились? Как бы не так!

Предстояло самое главное: лежит у меня на ночном столике томик «Замогильных записок Пиквикского клуба» – вот это, доложу вам, удовольствие! Нет ему равного в природе. В комнате тихо (нынче что-то мало стреляют), мирно горит покрытая голубым колпачком лампа над головой. Доносится легкий запах свежей сирени. Букет стоит на туалете – прислала какая-то скромная поклонница моего скромного таланта. Спасибо ей, спасибо Диккенсу, спасибо рабочим электрической станции, дай им бог доброго здоровья за то, что они освещают мне страницы Диккенса. Если когда-нибудь будет концерт в пользу электрических рабочих – обязательно выступлю в нем…

Как раз на этой мысли книга заботливо вываливается из ослабленных рук, я поворачиваюсь на другой бок и… желаю и вам, господин Ленин, искренно, от души такой же спокойной ночи.

Ну вот: разве плохо прожил я этот беззаботный денек? А вы? Как вы проводите ваши дни? Наверное, сплошная толчея и беспокойство. Все эти прямые провода, доклады, совдепы, бестолочь и неурядица. С утра – ни газету толком не прочесть, ни чаю как следует выпить. С утра, наверное, уже какой-нибудь Свердлов или Прошьян являются со скучными претензиями, заявлениями и разными центропродкомами. А там звонят, что в пригороде голодный бунт, а тут Мирбах через Чичерина подносит какую-нибудь обсахаренную гадость.

Ни к зверям не успеете пойти, ни Диккенса почитать. До Диккенса ли, когда красноармейцы требуют прибавки жалованья и пайка, когда рабочие требуют Учредительного собрания, а тут Скоропадский, а тут корниловцы, а тут немцы.

До открыток ли в витринах, до женских ли ножек в ажурных чулках, когда один флот загнан в Неву, другой в Новороссийск, а матросы при этом никого знать не хотят и требуют реставрации Дыбенки или еще чего, на что потянуло прихотливую матросскую душу.

Брат мой Ленин! Зачем вам это? Ведь все равно все идет вкривь и вкось и все недовольны.

Почему мы, простые граждане, имеем право на личную жизнь, а вы не имеете права на личную жизнь?

Да черт с ним, с этим социализмом, которого никто не хочет, от которого все отворачиваются, как ребята от ложки касторового масла.

Сбросьте с себя все эти скучные сухие обязанности, предоставьте их профессионалам, а сами сделайтесь таким же свободным, вольным человеком, такой же беззаботной птицей, как я… Будем вместе гулять по теплым улицам, разглядывать свежие женские личики, любоваться львами, медведями, есть шашлыки в кавказских погребках и читать великого мудрого Диккенса – этого доброго обывателя с улыбкой бога на устах.

Не примите моего предложения как обиду: а исключительно доброта сердца и сердечная симпатия водила рукой автора этого произведения —

Аркадия Тимофеевича Аверченко.

Приятельское письмо Ленину от Аркадия Аверченко

Николай Гумилев считал, что «словом разрушали города». Советская власть всегда боялась печатного слова, особенно того, что приходило из-за рубежа, и особенно принадлежавшего бывшим соотечественникам. Впрочем, всегда ли – боялась? В 1921 году Ленин получил изданную в Париже книгу Аркадия Аверченко «Дюжина ножей в спину революции». «До кипения дошедшая ненависть», – заметил он об этой книжке на страницах «Правды». Но рядом – «поразительный талант», «знание дела и искренность».

Дорогой Владимир Ильич!

Здравствуй, голубчик! Ну как поживаешь? Все ли у тебя в добром здоровье? Кстати, ты, захлопотавшись около государственных дел, вероятно, забыл меня?..

А я тебя помню.

Я тот самый твой коллега по журналистике Аверченко, который, если ты помнишь, топтался внизу, около дома Кшесинской, в то время, как ты стоял на балконе и кричал во все горло:

«Надо додушить буржуазию! Грабь награбленное!»

Я тот самый Аверченко, на которого, помнишь, тебе жаловался Луначарский, что я, дескать, в своем «Сатириконе» издеваюсь и смеюсь над вами.

Ты тогда же приказал Урицкому закрыть навсегда мой журнал, а меня доставить на Гороховую.

Прости, голубчик, что я за два дня до этой предполагаемой доставки на Гороховую уехал из Петербурга, даже не простившись с тобой. Захлопотался.

Ты тогда же отдал приказ задержать меня на ст. Зерново, но я совсем забыл тебе сказать перед отъездом, что поеду через Унечу.

Не ожидал ты этого?

Кстати, спасибо тебе. На Унече твои коммунисты приняли меня замечательно. Правда, комендант Унечи – знаменитая курсистка товарищ Хайкина сначала хотела меня расстрелять.

– За что? – спросил я.

– За то, что вы в своих фельетонах так ругали большевиков.

Я ударил себя в грудь и вскричал обиженно:

– А вы читали мои самые последние фельетоны?

– Нет, не читала.

– Вот то-то и оно! Так нечего и говорить!

А что «нечего и говорить», я, признаться, и сам не знаю, потому что в последних фельетонах – ты прости, голубчик, за резкость – я просто писал, что большевики – жулики, убийцы и маровихеры…

Очевидно, тов. Хайкина не поняла меня, а я ее не разубеждал.

Ну вот, братец ты мой, – так я и жил.

Выезжая из Унечи, я потребовал себе конвой, потому что надо было переезжать нейтральную зону, но это была самая странная зона, которую мне только приходилось видеть в жизни. Потому что по одну сторону нейтральной зоны грабили только большевики, по другую только немцы, а в нейтральной зоне грабили и большевики, и немцы, и украинцы, и все вообще, кому не лень.

Бог ее знает, почему она называлась нейтральной, эта зона.

Большое тебе спасибо, голубчик Володя, за конвой – если эту твою Хайкину еще не убили, награди ее орденом Красного Знамени за мой счет.

Много, много, дружище Вольдемар, за эти три года воды утекло. Я на тебя не сержусь, но ты гонял меня по всей России, как соленого зайца, из Киева в Харьков, из Харькова – в Ростов, потом Екатеринодар, Новороссийск, Севастополь, Мелитополь, опять Севастополь.

Это письмо я пишу тебе из Константинополя, куда прибыл по своим личным делам.

Впрочем, что же это я о себе да о себе. Поговорим и о тебе.

Ты за это время сделался большим человеком. Эка куда хватил неограниченный властитель всея России. Даже отсюда вижу твои плутоватые глазенки, даже отсюда слышу твое возражение:

– Не я властитель, а ЦИК.

Ну это, Володя, даже не по-приятельски. Брось ломаться – я ведь знаю, что тебе стоит только цикнуть и весь твой ЦИК полезет под стол и сделает все, что ты хочешь.

А ловко ты, шельмец, устроился – уверяю тебя, что даже при царе Государственная дума была в тысячу раз самостоятельнее и независимее. Согнул ты «рабоче-крестьянскую», можно сказать, в бараний рог.

Как настроение?

Ты знаешь, я часто думаю о тебе и должен сказать, что за последнее время совершенно перестал понимать тебя.

На кой черт тебе вся эта музыка? В то время когда ты кричал до хрипоты с балкона – тебе, отчасти, и кушать хотелось, отчасти, и мир, по молодости лет, собирался перестроить.

А теперь? Наелся ты досыта, а мира все равно не перестроил.

Доходят до меня слухи, что живется у вас там в России, перестроенной по твоему плану, – препротивно.

Никто у тебя не работает, все голодают, мрут, а ты, Володя, слышал я, так запутался, что у тебя и частная собственность начинает всплывать, и свободная торговля, и концессии.

Стоит огород городить, действительно?

Впрочем, дело даже не в том, а я боюсь, что ты просто скучаешь.

Я сам, знаешь ли, не прочь повластвовать, но власть хороша, когда кругом довольство, сияющие рожи и этакие хорошенькие бабеночки, вроде мадам Монтеспан при Людовике.

А какой ты, к черту, Людовик, прости за откровенность!

Окружил себя всякой дрянью, вроде башкир, китайцев – и нос боишься высунуть из Кремля. Это, брат, не власть. Даже Николай II частенько раньше показывался перед народом, и ему кричали «ура», а тебе что кричат?

– Жулики вы, – кричат тебе и Троцкому. – Чтобы вы подохли, коммунисты.

Ну что хорошего?

Я еще понимаю, если бы ты рожден был королем – ну, тогда ничего не поделаешь, профессия обязывает. Тогда сиди на башне – и сочиняй законы для подданных.

А ведь ты – я знаю тебя по Швейцарии, – ты без кафе, без «бока», без табачного дыма, плавающего под потолком, – жить не мог.

Небось хочется иногда снова посидеть в биргалле, поорать о политике, затянуться хорошим кнастером – да где уж там!

И из Кремля нельзя выйти, да и пивные ты все, неведомо на кой дьявол, позакрывал декретом № 215523.

Неуютно ты, брат, живешь, по-собачьему. Русский ты столбовой дворянин, а с башкирами все якшаешься, с китайцами. И друга себе нашел – Троцкого – совсем он тебе не пара. Я, конечно, Володя, не хочу сплетничать, но знаю, что он тебя подбивает на всякие глупости, а ты слушаешь.

Если хочешь иметь мой дружеский совет – выгони Троцкого, распусти этот идиотский ЦИК и издай свой последний декрет к русскому народу, что вот, дескать, ты ошибся, за что и приносишь извинения, что ты думал насадить социализм и коммунизм, но что для этой отсталой России «не по носу табак», так что ты приказываешь народу вернуться к старому, буржуазно-капиталистическому строю жизни, а сам уезжаешь отдыхать на курорт.

Просто и мило!

Ей-богу, плюнь ты на это дело, ведь сам видишь, что получилось, – дрянь, грязь и безобразие.

Не нужно ли деньжат? Лир пять-десять могу сколотить, вышлю.

Хочешь – приезжай ко мне, у меня отдохнешь, подлечишься, а там мы с тобой вместе какую-нибудь другую штуковину придумаем – поумней твоего марксизма.

Ну прощай, брат, кланяйся там!

Поцелуй Троцкого, если не противно.

Где летом на даче?

Неужели в Кремле?

С коммунистическим приветом
Аркадий Аверченко.

P. S. Если вздумаешь черкнуть два слова, пиши:
Париж, Елисейский дворец, Мильерану – для Аверченко.

Чудеса в решете

Американец

В этом месте река делала излучину, так что получалось нечто вроде полуострова.

Выйдя из лесной чащи и увидев вдали блестевшие на солнце куски реки, разорванной силуэтами древесных стволов, Стрекачев перебросил ружье на другое плечо и отер платком пот со лба.

Тут-то он и наткнулся на корявого мужичонку, который, сидя на пне сваленного дерева, весь ушел в чтение какого-то обрывка газеты.

Мужичонка, заслышав шаги, отложил в сторону газету, вздел на лоб громадные очки и, стащив с головы неопределенной формы и вида шляпчонку, поклонился Стрекачеву:

– Драсти.

– Здравствуй, братец. Заблудился я, кажется.

– А вы откуда будете?

– На даче я. В Овсянкине. Оттуда.

– Верстов восемь будет отселева…

Он пытливо взглянул на усталого охотника и спросил:

– Ничего вам не потребуется?

– А что?

– Да, может, что угодно вашей милости, так есть.

– Да ты кто такой?

– Арендатель, – солидно отвечал мужичонка, переступив с ноги на ногу.

– Эту землю арендуешь?

– Так точно.

– Что ж, хлеб тут сеешь, что ли?

– Где уж тут хлеб, ваша милость! И в заводе хлебов не было. Всякой дрянью поросло – ни тебе дерева́ настоящие, ни тебе луга настоящие. Бурелом все, валежник, сухостой.

– Да что ж ты тут… грибы собираешь, ягоды?

– Нету тут настоящего гриба. И ягоды тоже, к слову сказать, черт-ма.

– Вот чудак, – удивился Стрекачев. – Зачем же ты тогда эту землю арендуешь?

– А это как сказать, ваше благородие, всяка земля человеку на потребу дана, и ежели произрастание не происходит, то, как говорится, человек не мытьем, так катаньем должен хлеб свой соблюдать.

Эту невразумительную фразу мужичонка произнес очень внушительно и даже разгладил корявой рукой крайне скудную бороду, напоминавшую своим видом унылое «арендованное» место: ни тебе волосу, ни тебе гладкого места – один бурелом да сухостой.

– Так с чего ж ты живешь?

– Дачниками кормлюсь.

– Работаешь на них, что ли?

Хитрый смеющийся взгляд мужичонки обшарил лицо охотника, и ухмыльнулся мужичонка лукаво, но добродушно.

– Зачем мне на них работать! Они на меня работают.

– Врешь ты все, дядя, – недовольно пробормотал охотник Стрекачев, вскидывая на плечо ружье и собираясь уходить.

– Нам врать нельзя, – возразил мужичонка. – Зачем врать! За это тоже не похвалят. Баб обожаете?

– Что?

– Некоторые из нашего полу до удивления баб любят.

– Ну?

– Так вот я, можно сказать, по этой бабьей части.

– Кого?!!

– А это мы вам сейчас скажем – кого…

Мужичонка вынул из-за пазухи серебряные часы, открыл их и, приблизив к глазам, погрузился в задумчивость… Долго что-то соображал.

– Шестаковская барыня, должно, больны нынче, потому пять ден как не показываются, значит, что же сейчас выходит? Так что, я думаю, время сейчас Маслобоевым – дачницам и Огрызкиным; у Маслобоевых-то вам? кроме губернанки? профиту никакого, потому сама худа, как палка, а дочки опять же такая мелкота, что и внимания не стоющие. А вот Огрызкиной госпожой довольны останетесь. Дама в самой красоте, и костюмчик я им через горничную Агашу подсунул такой, что отдай все да и мало. Раньше-то у нее что-то такое надевывалось, что и не разберешь: не то армячок со сборочкой, не то как в пальте оно выходило. А ежели без обтяжки – мои господа очень даже как обижаются. Не антиресно, вишь. А мне что?.. Да моя бы воля, так я безо всего, как говорится. Убудет их, что ли? Верно я говорю?

– Черт тебя разберет, что ты говоришь, – рассердился охотник.

– Действительно, – согласился мужичонка. – Вам непонятно, как вы с дальних дач, а наши окромчеделовские меня ни в жисть не забывают. «Еремей, нет ли чего новенького? Еремей, не освежился ли лепретуарчик. Да я на эту, может, хочу глянуть, а на ту не хочу, да куда делась та, да что делает эта?» Одним словом, первый у них я человек.

– У кого?

– А у дачников.

– Вот у тех, что за рекой?

– Зачем у тех? Те ежели бы узнали – такую бы мятку мне задали, что до зеленых веников не забудешь. А я опять же говорю об окромчеделовских. Тут за этим бугром их штук сто, дач-то. Вот и кормлюсь от них.

– Да чем же ты кормишься, шут гороховый?!

Мужичонка почесал затылок.

– Экой ты непонятный! Как да что… Посадишь барина в яму – ну, значит, и живи в свое удовольствие. Смотря, конешно, за что и платят. За Огрызкинскую барыню я, брат, меньше целкового никак не возьму; Шесетеренкины девицы тоже – на всякий скус потрафют, – рупь с четвертаком грех взять за этакую видимость али нет? Дрягина госпожа, Семененко, Косого-рова, Лякина… Мало ли.

– Ты что же, значит, – сообразил Стрекачев, – купальщиц на своей земле показываешь?

– Во-во. Их, значит, тот берег, а мой, значит, этот. Им убытку никакого, а мне хлеб.

– Вот каналья, – рассмеялся Стрекачев. – Как же ты дошел до этого?

– Да ведь это, господин, кому какие мозги от бога дадены… Иду я о прошлом годе к реке рыбку поудить – гляжу, что за оказия! Под одним кустом дачник белеется, под другим кустом дачник белеется. И у всякого бинокль из глаз торчит. Сдурели они, думаю, что ли? Тогда-то я еще о биноклях и не слыхивал. Ну подхожу, значит, к реке поближе… Эге-ге, вижу. Тут тебе и блюнетки, и блондинки, и толстые, и тонкие, и старые, и малые. Вот оно что! Ну, как, значит, я во всю фигуру на берегу объявился – они и подняли визг: «Убирайся, такой-сякой, вон, как смеешь!..» И-и расстрекотались! С той поры я, значит, умом и вошел в соображение.

– Значит, ты специально для этого и землю заарендовал?

– Специяльно. Шестьдесят рублей в лето отвалил. Ловко? Да биноклей четыре штуки выправил, да кустов насажал, да ям нарыл – прямо удобство во какое. Сидишь эт-то в про-

хладе, в яме на скамеечке, слева пива бутылка (от себя держу: не желаете ли? Четвертак всего разговору), слева, значит, пива бутылка, справа папиросы… – живи не хочу!

Охотник Стрекачев постучал ружьем о свесившуюся ветку дерева и, как будто вскользь, спросил:

– А хорошо видно?

– Да уж ежели с биноклем, прямо вот – рукой достанешь! И кто только это бинокли выдумал, – памятник бы ему!.. Может, полюбопытствуете?

– Ну ты скажешь тоже, – ухмыльнулся конфузливо охотник. – А вдруг увидят оттуда?

– Никак это невозможно! Потому так уж у меня пристроено. Будто куст; а за кустом яма, а в яме скамеечка. Чего ж, господин… попробуйте. Всего разговору (он приложил руку щитком и воззрился острым взглядом на противоположный берег, где желтела купальня)… всего и разговору на рупь шестьдесят!

– Это еще что за расчет?!

– Расчеты простые, ваше благородие: Огрызкинская госпожа теперь купается – дамы замечательные, сами извольте взглянуть – рупь, потом Дрягина с дочкой, на пятиалтынный разговору, ну и за губернанку Лавровскую дешевле двух двугривенных положить никак не возможно. Хучь они и губернанки, а благородным ни в чем не уступят. Костюмишко такой, что все равно его бы и не было…

– А ну-ка… ты… тово…

– Вот сюда, ваше благородие, пожалуйте, здесь две ступенечки вниз… Головку тут наклоните, чтоб оттелева не приметили. Вот-с так. А теперь можете располагаться… Пивка не прикажете ли холодненького? Сей минутой бинокль протру, запотел что-то… Извольте взглянуть.

Смеркалось…

Усталый, проголодавшийся, выполз Стрекачев из своего убежища и, отыскав ружье, спросил корявого мужичонку, сладко дремавшего на поваленном дереве:

– Сколько с меня?

– Шесть рублей двадцать, ваше благородие, да за пиво полтинничек.

– Шесть рублей двадцать?! Это за что же такое столько? Наверно, жульничаешь.

– Помилуйте-с… Огрызкинскую госпожу положим рупь, да губернанка в полтинник у нас завсегда идет, да Дрягина – я уж мелюзги и не считаю, – да Синяковы трое с бабушкой, да…

– Ну ладно, ладно… Пошел высчитывать всякую чепуху!.. Получай!

– Счастливо оставаться! Благодарим покорниче!..

И подмигнув очень интимно, корявый мужичонка шепнул:

– А в третьем и пятом номере у меня с обеда наши окромчеделовские сидят. Уж и темно совсем, а их никак не выкуришь. Веселые люди, дай им бог здоровья. Счастливо оставаться!

Обыкновенная женщина

Звали эту женщину – Зоя, имя легкое, не имеющее веса, золотистое, все насквозь пронизанное желтыми лучами солнца, вызывающее мысль о светлых, коротко подстриженных кудрях и тонкой атласной коже с голубыми жилками; губки розовые, ножки маленькие, голосок, как серебряная ниточка.

Вот какое представление вызывает у меня имя – Зоя. А может быть, все это потому, что носительница имени Зоя – была действительно такова по внешности.

Мы с ней жили вместе, и не могу сказать, чтобы жили плохо…

Но я никак не мог отделаться от мысли, что она не настоящий человек, втайне смотрел на нее, как на забавную игрушку, и однажды, когда она, наморщив лоб, спросила меня в упор:

«Скажи, ты уважаешь меня?» – я упал с оттоманки на диван и стал корчиться от невыносимого смеха, отчасти утрированного, отчасти – настоящего.

– Чудак ты, человечина, – отвечал я ей, успокаиваясь. – На что тебе мое уважение? Ты бы ревела от муки и тоски, если бы я тебя уважал. Ну за что тебя уважать, скажи на милость?

– За что? – Она немного растерялась. – Как за что? Ну за то, что я… гм! Порядочный человек. За то, что я к тебе хорошо отношусь… Ну за то, что я… тебе нравлюсь.

– Замечательный ты человечина! Разве за это уважают? За это любят.

– Так ты меня любишь?

– Ну конечно.

– Значит, я лучше всех?

– Помилуй, как так ты лучше всех? Не дай бог, если бы ты была лучше всех… Тогда все мужчины повлюблялись бы в тебя, и я уж никак не мог бы протолпиться к твоему сердцу… Нет, конечно, есть на свете женщины лучше тебя.

Она опечалилась… Опустила голову и сказала, растерянно разглаживая пальчиком шов диванной подушки:

– Вот тебе и раз… я этого от тебя не ожидала…

А я рассматривал ее близко-близко, как естествоиспытатель – редкого зверька, и мне было смешно-смешно.

– Ну посуди сама, голубь мой золотой: не может же быть, чтобы ты была лучше всех… Есть женщины лучше тебя? Есть. Красивее? Есть. Обаятельнее? Есть.

Она криво усмехнулась:

– Ну, в таком случае я счастливее тебя: ты, по-моему, самый умный, самый красивый, самый обаятельный…

– Ты так думаешь? А по-моему, я вот что: я человек 35 лет, шатен, лицо приятное, особых примет нет, ум не государственный, а так, для домашнего обихода, а что касается обаяния, то почему же, черт возьми, меня окружают десятки женщин, которым даже в голову не придет обратить на меня благосклонное внимание?

– Господи ты мой, господи, какой вздор несет этот человек! Знаешь, какой ты? Я тебя опишу: у тебя глаза горят, как две звездочки, улыбка твоя туманит голову, а голос твой проникает в самое сердце и прямо переворачивает его. Знаешь, на кого ты похож? На серебряного тигра, вот на кого.

– Не видал таких. Они что ж, эти серебряные тигры, также носят визитку, темный галстук и по будним дням ходят на службу?

– Ты – глупый.

– Не скажу. Недалекий – пожалуй, но глупый – это уже крайность.

– Слушай, – прошелестела она мне на ухо, прижимаясь ко мне. – Я сказала тебе, какой ты…

– Ну?

– Теперь же скажи мне, какая я?

– Ты? Зовут тебя Зоя, ты ниже среднего женского роста, волосы у тебя очень хорошие, грудь немного полнее, чем бы следовало, а ноги немного короче, чем это требуется правилами женского сложения. Но и то и другое – следствие твоего роста. Таковы уж все маленькие женщины. Глаза красивые, но поставлены друг к другу ближе, чем следует. Ручка малюсенькая, но ногти, хотелось бы, чтобы были поуже.

Она встала и отшатнулась от меня, бледная, с широко раскрытыми, остановившимися глазами.

– Постой! И ты осмеливаешься говорить, что любишь меня?! Меня, с большой грудью, с короткими ногами, с широкими ногтями, – ты говоришь, что любишь меня?!!

Она упала на диван, и слезы, как вешние воды с гор, хлынули из глаз ее.

А я сидел, задумчиво опершись подбородком о свою спокойную холодную руку, и внимательно рассматривал плачущую женщину.

И думал:

«Понять женщину легко, но объяснить ее трудно. Какое это нечеловеческое, выдуманное чьей-то разгоряченной фантазией существо! Что может быть общего между мной и ею, кроме физической близости и примитивных домашних интересов?»

А она рыдала, исходила слезами, изредка ударяясь головой о собственные, сложенные на спинке дивана руки:

– А я-то, глупая, думала все время, что мы созданы друг для друга!! Еще давеча, когда к чаю подали печенье и ты выбирал только соленое, то я подумала: господи, как много между нами общего… хым… хым…

– Между нами – общее?! Что за ересь говоришь ты? С какой стороны мы похожи друг на друга? Я – большой, толстый, сильный, ты – маленькая, хрупкая, закутанная в кружевные тряпки и ленты. Я дымлю папиросами, как фабричная труба. Ты задыхаешься от этого дыма, как моль от нафталина. Попробуй надеть на меня то, что носите вы: туфли на высоченных каблуках, паутинные панталоны, кофточку из кисеи, корсет. Я сделаю несколько шагов и последовательно: упаду, простужусь насмерть и задохнусь от корсета, одним словом – погибну. Ну что же общего между нами? А попробуй надеть мужской костюм на хорошо сложенную женщину – и спереди и сзади это будет так нехудожественно, так неэстетично… Правда, худые женщины могут надевать мужской костюм, но это только тогда, когда у них нет ни груди, ни бедер, то есть когда они похожи на мужчину.

Она подняла на меня страдающие, заплаканные глаза…

– Это все пустяки, все внешние различия, а я говорю о духовном сродстве.

– Увы, где оно?.. Мужчина почти всегда духовно и умственно превосходит женщину…

Ее глаза засверкали.

– Да?!! Ты так думаешь? А что, если я тебе скажу, что у нас в Киеве были муж и жена Тиняковы, и – знаешь ли ты это? – она окончила университет, была адвокатом, а он имел рыбную торговлю!! Вот тебе!

– Дитя ты мое неразумное, – засмеялся я, ласково, как ребенка, усаживая ее на колени. – Да ведь ты сама сейчас подчеркнула разницу между нами. Заметь, что я, мужчина, всегда говорю о правиле, а ты – бедная логикой, обыкновенная женщина – сейчас же подносишь мне исключение. Бедная головушка! Все люди имеют на руках десять пальцев – и я говорю об этом… А ты видела в паноптикуме мальчишку с двенадцатью пальцами – и думаешь, что в этом мальчишке заключено опровержение всех моих теорий о десяти пальцах.

– Ну конечно, – удивилась она. – Как же можно говорить о том, что правило – десять пальцев, когда (ты же сам говоришь!) существуют люди с двенадцатью пальцами.

Говоря это, она деловито бегала по комнате, уже забыв о своих горьких слезах, и деловито переставляла какие-то фарфоровые фигурки и какие-то цветы в вазочках. И вся она в своих туфельках на высоких каблуках, в нечеловеческом пеньюаре из кружев и ленточек, с золотистой подстриженной кудрявой головкой и еще не высохшими от слез глазами, с ее покровительственным тоном, которым она произнесла последние слова, – вся она, эта спокойно чирикающая птица, не ведающая надвигающейся грозы моего к ней равнодушия, – вся она, как вихрем, неожиданно закружила мое сердце.

Лопнула какая-то плотина, и жалость к ней, острая и неизбывная жалость, которая сильнее любви, – затопила меня всего.

«Вот я сейчас только решил в душе своей, что не люблю ее и прогоню от себя… А куда пойдет она, эта глупая, жалкая, нелепая пичуга, которая видит в моих глазах звезды, а в манере держаться – какого-то не существующего в природе серебристого тигра? Что она знает? Каким

богам, кроме меня, она может молиться? Она, назвавшая меня вчера своим голубым сияющим принцем (и чина такого нет, прости ее, господи!)».

А она, постукивая каблучками, подошла ко мне, толкнула розовой ладонью в лоб и торжествующе сказала:

– Ага, задумался! Убедила я тебя? Такой большой – и так легко тебя переспорить…

Жалость, жалость, огромная жалость к ней огненными языками лизала мое черствое, одеревеневшее сердце.

Я привлек ее к себе и стал целовать. Никогда не целовал я ее более нежно и пламенно.

– Ой, оставь, – вдруг тихонько застонала она. – Больно.

– Что такое?!

– Вот видишь, какой ты большой и глупый… я хотела тебе сделать сюрприз, а ты… Ну да! Что ты так смотришь? Через семь месяцев нас будет уже трое… Ты доволен?

* * *

Я долго не мог опомниться.

Потом нежно посадил ее к себе на колени и, разглядывая ее лицо с тем же напряженным любопытством, с каким вивисектор разглядывает кролика, спросил недоверчиво:

– Слушай, и ты не боишься?

– Чего?..

– Да вот этого… ребенка… Ведь роды вообще опасная штука.

– Бояться твоего ребенка? – мягко, непривычно мягко усмехнулась она. – Что ты, опомнись… Ведь это же твой ребенок.

– Послушай… Можно еще устроить все это…

– Нет!

Это прозвучало как выстрел. Последующее было мягче, шутливее:

– А ты прав: между мужчиной и женщиной большая разница…

– Почему?

– Да я думаю так: если бы детей должны были рожать не женщины, а мужчины, – они бежали бы от женщин, как от чумы…

– Нет, – серьезно возразил я. – Мы бы от женщин, конечно, не бегали. Но детей бы у нас не было – это факт.

– О, я знаю. Мы, женщины, гораздо храбрее, мужественнее вас. И знаешь – это будет превесело: нас было двое – станет трое.

Потом она долго, испытующе поглядела на меня:

– Скажи, ты меня не прогонишь?

Я смутился:

– С чего ты это взяла? Разве я говорил тебе о чем-нибудь подобном?

– Ты не говорил, а подумал. Я это почувствовала.

– Когда?

– Когда переставляла цветы, а ты сидел тут на оттоманке и думал. Думал ты: на что она мне – прогоню-ка я ее.

Я промолчал, а про себя подумал другое: «Черт знает кто их сочинил, таких… Умом уверена, что люди о двенадцати пальцах, а чутьем знает то, что на секунду мелькнуло в темных глубинах моего мозга…»

– Ты опять задумался, но на этот раз хорошо. Вот теперь ты миляга.

Разгладила мои усы, поцеловала их кончики и в раздумье сказала:

– Пожалуй, что ты больше всего похож на зайца: у тебя такие же усики…

– Нет, уж извини: мне серебристый тигр больше по душе!..

– Ну не надо плакать, – покровительственно хлопнула она меня по плечу. – Конечно, ты тигр серебряный, а усики из золота с бриллиантами.

Я глядел на нее и думал:

«Ну кому она нужна такая? Нет, нельзя ее прогнать. Пусть живет со мной».

– Ну послушай… Ну посуди сам: разве это не весело? Нас сейчас двое, а через семь месяцев будет трое.

* * *

И тут она ошиблась, как ошибалась во многом: через семь месяцев нас было по-прежнему двое – я и сын. Она умерла от родов.

* * *

Мне очень жалко ее.

Резная работа

Недавно один петроградский профессор забыл после операции в прямой кишке больного В. трубку (дренаж) в пол-аршина длиной.

В операционной кипит работа.

– Зашивайте, – командует профессор. – А где ланцет? Только сейчас тут был.

– Не знаю. Нет ли под столом?

– Нет. Послушайте, не остался ли он там?..

– Где?

– Да там же. Где всегда.

– Ну где же?!!

– Да в полости желудка.

– Здравствуйте! Больного уже зашили, так он тогда только вспомнил. О чем вы раньше думали?!

– Придется расшить.

– Только нам и дела, что зашивать да расшивать. Впереди еще шесть операций. Несите его.

– А ланцет-то?

– Бог с ним, новый купим. Он недорогой.

– Я не к тому. Я к тому, что в желудке остался.

– Рассосется. Следующего! Первый раз оперируетесь, больная?

– Нет, господин профессор, я раньше у Дубинина оперировалась.

– Ага!.. Ложитесь. Накладывайте ей маску. Считайте! Ну? Держите тут, растягивайте. Что за странность! Прощупайте-ка, коллега… Странное затвердение. А ну-ка… Ну вот! Так я и думал… Пенсне! Оригинал этот Дубинин. Отошлите ему, скажите – нашлось.

– А жаль, что не ланцет. Мы бы им вместо пропавшего воспользовались… Зашивайте!

– А где марля? Я катушки что-то не вижу. Куда она закатилась?

– Куда, куда! Старая история. И что это у вас за мания – оставлять у больных внутри всякую дрянь.

– Хорошая дрянь! Марля, батенька, денег стоит.

– Расшивать?

– Ну из-за катушки… стоит ли?

– Я к тому, что марля… в животе…

– Рассосется. Я один раз губку в желудок зашил, и то ничего.

– Рассосалась?

– Нет, но оперированный горчайшим пьяницей сделался.

– Да что вы!

– Натурально! Выпивал он потом, представьте, целую бутылку водки – и ничего. Все губка впитывала. Но как только живот поясом потуже стянет – так сразу как сапожник пьян.

– Чудеса!

– Чудесного ничего. Научный факт. В гостях, где выпивка была бесплатная, он выпивал невероятное количество водки и вина и уходил домой совершенно трезвый. Потом дома уже – потрет руки, крякнет: «Ну-ка, рюмочку выпить, что ли!» И даванет себя кулаком в живот. Рюмку из губки выдавит, закусит огурцом, походит – опять: «Ну-ка, – говорит, – давнем еще рюмочку!..» Через час – лыка не вяжет. Так пил по мере надобности… Совсем как верблюд в пустыне.

– Любопытная исто… Что вы делаете? Что вы только делаете, поглядите!!! Ведь ему гланды нужно вырезать, а вы живот разрезали!!

– Гм… да… Заговорился. Ну все равно, раз разрезал – поглядим: нет ли там чего?..

– Нет?

– Ничего нет. Странно.

– Рассосалось.

– Зашивайте. Ффу! Устал. Закурить, что ли… Где мой портсигар?

– Да тут он был; недавно только держали. Куда он закатился?

– Неужто портсигар зашили?

– Оказия. Что же теперь делать?

– Что, что! Курить – смерть как хочется. И потом вещь серебряная. Расшивайте скорее, пока не рассосался!

– Есть?

– Нет. Пусто, как в кармане банкрота.

– Значит, у кого-нибудь другого зашили. Все оперированные здесь?

– Неужели всех и распарывать?

– Много ли их там – шесть человек! Порите.

– Всех перепороли?

– Всех.

– Странно. А вот тот молодой человек, что в двери выглядывает. Этого, кажется, пропустили. Эй, вы – как вас? – ложитесь!

– Да я…

– Нечего там, не «да я»… Ложитесь. Маску ему. Считайте.

– Да я…

– Нажимайте маску крепче. Так. Где нож? Спасибо.

– Ну? Есть?

– Нет. Ума не приложу, куда портсигар закатился. Ну очнулись, молодой человек?

– Да я…

– Что «вы», что «вы»?! Говорите скорей, некогда…

– Да я не за операцией пришел, а от вашей супруги… Со счетом из башмачного магазина.

– Что же вы лезете сюда? Только время отнимаете! Где же счет? Ложитесь, мы его сейчас извлечем.

– Что вы! Он у меня в кармане…

– Разрезывайте карман! Накладывайте на брюки маску…

– Господин профессор, опомнитесь!.. У меня счет и так вынимается из кармана. Вот извольте.

– Ага! Извлекли? Зашивайте ему карман.

– Да я…

– Следующий! – бодро кричит профессор. – Очистите стол. Это что тут такое валяется?

– Где?

– Да вот тут на столе.

– Гм! Чей-то сальник. Откуда он?

– Не знаю.

– Сергей Викторович, не ваш?

– Да почему ж мой?! – огрызается ассистент. – Не меня же вы оперировали. Наверное, того больного, у которого камни извлекали.

– Ах ты ж господи, – вот наказание! Верните его, скажите, пусть захватит.

– Молодой человек! Сальничек обронили…

– Это разве мой?

– Больше ничей, как ваш.

– Так что же я с ним буду делать? Не в руках же его носить… Вы вставьте его обратно!

– Эх, вот возня с этим народом! Ну ложитесь. Вы уже поролись?

– Нет, я только зашивался.

– Я у вас не забыл своего портсигара?

– Ей-богу, в глаза не видал… Зачем мне…

– Ну, что-то у вас глаза подозрительно бегают. Ложитесь! Маску! Считайте! Нажимайте! Растягивайте!

– Есть?

– Что-то такое нащупывается… Какое-то инородное тело. Дайте нож!

– Ну?

– Постойте… Что это? Нет, это не портсигар.

– Бумажка какая-то… Странно… Э, черт! Видите?

– Ломбардная квитанция!

– Ну конечно: «Подержанный серебряный портсигар с золотыми инициалами М.К.». Мой! Вот он куда закатился! Вот тебе и закатился… Хе-хе, вот тебе и рассосался.

– Оборотистый молодой человек!

– Одессит, не иначе!

– Вставьте ему его паршивый сальник и гоните вон. Больных больше нет?

– Нет.

– Сюртук мне! Ж-живо! Подайте сюртук.

– Ваш подать?

– А то чей же?

– Тут нет никакого сюртука.

– Чепуха! Тут же был.

– Нет!.. Неужели?..

– Черт возьми, какой неудачный день! Опять сызнова всех больных пороть придется. Скорее, пока не рассосался! Где фельдшерица?

– Нет ее…

– Только что была тут!

– Не зашили ли давеча ее в одессита?!

– Неужели рассосалась?..

– Ну и денек!..

Семь часов вечера

Иногда мы, большие взрослые люди, бородатые, усатые, суровые, с печатью важности на лице, вдруг ни с того ни с сего становимся жалкими, беспомощными, готовыми расплакаться оттого, что мама уехала в гости, а нянька ушла со двора, оставив нас в одиночестве в большой полутемной комнате.

Жалко нам себя, тоскливо до слез, и кажется нам, что мы одиноки и заброшены в этом странно молчащем мире, ограниченном четырьмя сумрачными стенами.

Почему-то это бывает в сумерки праздничного дня, когда все домашние разбредаются в гости или на прогулку, а вы остались один и долго сидите так, без всякого дела. Забившись в темный угол комнаты и остановив пристальный взгляд на двух светло-серых четырехугольниках окон, сидите вы с застывшими, как холодная лава, мыслями – тихий, покорный и бесконечно одинокий.

Заметьте: в это время непременно где-то этажом выше робкие женские руки трогают клавиши рояля, и вы вливаете свою застывшую грусть в эти неуверенные звуки, и эти неуверенные звуки крепко сплетаются с вашей грустью. Мелодия почти не слышна. До вас доносится только отчетливый аккомпанемент, и от этого одиночество еще больше. Оно, впрочем, от всего больше – и оттого, что улица за серыми окнами дремлет, молчаливая, и оттого, что улица вдруг оглашается недоступной вашему сердцу речью двух неведомых вам пешеходов, отчетливо стучащих четырьмя ногами и двумя палками по заснувшим тротуарным плитам.

– …А что же Спирька на это сказал?

– Вот еще, стану я считаться с мнением Спирьки, этого дурака, который…

И снова вы застываете, одинокий, так и не узнав, что сказал Спирька и почему с мнением Спирьки не следует считаться. И никогда вы ничего больше не узнаете о Спирьке… Кто он? Чиновник, клубный шулер или просто веснушчатый краснорукий гимназист выпускного класса?

Никому до вас нет дела. Интересы пешеходов поглощены Спирькой, все домашние ушли, а любимая женщина, наверное, забыла и думать о вас.

Сидите вы, согнувшись калачиком в углу дивана, сбоку или сверху у квартирантов робкие руки отбивают мерный, хватающий за сердце своей определенностью такт, а где-то внизу проходит еще одна пара, и оставляет в ваших мыслях она расплывающийся след, как от брошенного в мертвую воду камня.

– Нет, этого никогда не будет, Анисим Иваныч…

– Почему же не будет, Катенька? Очень даже обидно это от вас слышать…

– Если бы я еще не знала, что вас…

И прошли.

Роман, драма, фарс проплыл мимо вас, а вы в стороне, вы никому не нужны, о вас все забыли… Жизнь идет стороной, вы почти как в могиле.

Конечно, можно встать, встряхнуться, надеть пальто, пойти к приятелю, вытащить его и побродить по улицам, оставляя, в свою очередь, в чужих открытых окнах обрывки волнующих вас слов:

– Ты слишком мрачно глядишь на вещи.

– Это я-то?! Ну знаешь ли… Ведь она его не любит, ее просто забавляет то, что…

Конечно, можно самому превратиться в такого пешехода, вырваться из оцепенелых лап тихой печали и одиночества, но не хочется пошевелить рукой, не то что сдвинуться с места.

И сидишь, сидишь, а сердце обливается жалостью к самому себе.

– Забыли!.. Оставили!.. Никому нет до меня дела.

* * *

Я ли один переживаю это, или бывает такое же настроение у банкиров, железнодорожных бухгалтеров, цирковых артистов и магазинных продавщиц, оставшихся по случаю праздничных сумерек дома?

О чем же вам-то грустить, далекие неизвестные товарищи по временному одиночеству? Или никакой тут причины и не нужно, а все дело в сумерках, звуках рояля и голосах пешеходов под окнами?

Вот и сегодня: сижу я в сладком оцепенении печали и жалости к самому себе, и рояль рокочет басовыми нотами у верхних квартирантов, и неизвестные мне люди за окном переговариваются о далеких мне делах и интересах…

Все бросили меня, бедного, никому я не нужен, всеми забыт… Плакать хочется.

Даже горничная ушла куда-то. Наверное, подумала: брошу-ка я своего барина; на что он мне, у меня есть свои интересы, а мне до барина нет никакого дела. Пусть себе сидит на диване, как сыч.

Боже ж ты мой, как тоскливо, как обидно!

В передней звонок.

О счастье! Неужели обо мне кто-нибудь вспомнил? Неужели я еще не старая кляча, всеми позабытая и оставленная?

Незнакомая барыня в лиловой шляпке входит в мой кабинет, садится на стул, долго осматривает меня при свете зажженных мною ламп.

– Вот вы какой! – говорит она, внимательно меня оглядывая. – Как странно: читаю вас несколько лет, а вижу в первый раз.

Бодрое настроение возвращается ко мне (я не забыт!).

– Читаете несколько лет, а видите в первый раз? Печально, если бы было наоборот, – усмехаюсь я.

– Вы и в жизни такой же веселый, как в ваших рассказах?

– А разве мои рассказы веселые?

– Помилуйте! Иногда, читая их, просто как сумасшедшая смеешься.

– Вот не думал. Когда я пишу свои рассказы, я не подозреваю, что они могут рассмешить.

– Еще как! Вы знаете, почему я пришла к вам? Я пришла поблагодарить вас за хорошие минуты, которые вы доставили мне своими рассказами. Ах, вы так чудно, так чудно пишете…

Почему-то делается жаль уплывших сумерек, гулких шагов, и голосов неведомых пешеходов, и рояля, который тоже притих, будто сообразил, что он уже не в тоне сумерек и голосов за окном.

– Некоторые ваши рассказы я прямо наизусть знаю…

– Вы, право, избалуете меня… Ну, какой же рассказ запомнился вам?

– Я как-то не запомнила заглавий. Одним словом, о чиновнике, который хотел учиться кататься на лошади, а потом упал с нее, и его родственники смеялись над ним, и невеста тоже… отказалась выйти за него замуж.

– Позвольте, сударыня… Да у меня нет такого рассказа.

– Быть не может!

– Уверяю вас.

– Значит, я что-нибудь спутала. Ах, я, знаете, такая рассеянная! Совсем как та старушка в вашем рассказе, которая забыла надеть юбку да так и пошла по улице без юбки. Я страшно смеялась, когда читала этот рассказ.

– Сударыня! У меня и такого рассказа нет!

– Вы меня прямо удивляете! Какие же у вас рассказы есть, если того нет, этого нет!.. Ну, есть у вас такой рассказ, как еврейка выколола в шутку сыну глаз, а потом повезла его к зубному доктору?

– Вроде этого: она не выколола сыну глаз, а просто у него заболел глаз; бедная мать в суматохе схватила не того ребенка, завернула его в платок и повезла на последние деньги в другой город к доктору, у которого эта роковая для матери ошибка и обнаружилась.

– Ну да, что-то вроде этого. Мы с сестрой так смеялись…

– Простите, но этот рассказ не смешной; это очень печальная история.

– Да? А мы с сестрой смеялись…

– Напрасно.

Мы молчим.

– Я вам сейчас не помешала?

– Нет.

– Вам, наверное, надоели всякие поклонницы!..

– Нет, что вы! Ничего.

– И вы на меня не смотрите, как на сумасшедшую?..

– Почему же?..

– Вам нравится моя наружность?

– Хорошая наружность.

– Нет, серьезно? Или вы просто из вежливости говорите?

– Зачем же из вежливости?

– Ну вот, вы писатель… Скажите: можно было бы мною серьезно увлечься?

– Отчего же.

– А вдруг вы всем женщинам говорите одно и то же?

– Зачем же всем.

– Я вас видала недавно в театре, и вы мне безумно понравились. Я тогда же решила с вами познакомиться.

– Спасибо.

– В вас есть что-то притягательное. Садитесь сюда.

– Сейчас. В каком театре вы меня видели?

– Это неважно. Вы, наверное, очень избалованы женщинами?

– Нет.

– Вы меня не прогоните, если я еще раз приду? С вами так хорошо… Вы какой-то… особенный.

– Да, на это меня взять, – уныло соглашаюсь я.

– Я знакома еще и с другими писателями… С Белясовым.

– Не знаю Белясова.

– Серьезно? Странно. А он вас знает. Он вам страшно завидует. Говорил даже, что вы все ваши рассказы берете из какого-то английского журнала, но я не верю. Врет, я думаю.

– Белясов-то? Конечно, врет.

– Ну вот видите. Просто завидует. А я вас люблю. Вас можно любить?

– Можно.

– Спасибо. Вы такой чуткий. Я пойду… Ах, как не хочется от вас уходить. Век бы сидела…

* * *

Ушла.

И сказал я сам себе: будь же счастлив, не тоскуй. Ты не одинок. Сейчас ты вкусил славу, любовь женщин и зависть коллег. Тобой зачитываются, в тебя влюбляются, тебе завидуют. Будь же счастлив!! Ну? Чего же ты стонешь?

Я погасил огни, упал ничком на диван, закусил зубами угол подушки – и одиночество, уже грозное и суровое, – как рыхлая могильная земля, осыпаясь, покрывает гроб, – осыпалось и покрыло меня.

Сумерки сгустились в ночь, рояль глухо забарабанил сухими аккордами, а с улицы донеслись два голоса:

– Эх, напьюсь же я нынче!

– С чего это такое?

– Манька опять к своему слесарю побежала.

Прошли. Тишина. Вечер. Рояль.

Опасно, если в такой вечер близко бритва лежит. Зарезаться можно.

Первый анекдот обо мне

Недавно я с ужасом прочел два анекдота об известных людях.

Первый был о покойном генерале Драгомирове.

Вот он – буквально:

«Как известно, Драгомиров отличался остроумием и находчивостью.

Один знакомый как-то спросил его:

– Что бы вы сделали, если бы завтра получили известие, что турки перешли границу и находятся уже под Киевом?

Ни слова не говоря, Драгомиров снял с пальца дорогое обручальное кольцо с великолепным бриллиантом и сказал знакомому:

– Наденьте это кольцо себе на ногу.

– Но это невозможно! – отвечал, вскрикнув, удивленный знакомый.

– Вот так же невозможно, чтобы турки осмелились напасть на Россию, – хладнокровно ответил покойник.

Эта манера резко и прямолинейно, не стесняясь ничем, говорить то, что он думает, создала ему много врагов, чего нельзя сказать об окружающих».

* * *

Второй анекдот такой:

«Покойный поэт Минаев отличался замечательным искусством говорить экспромты.

Вот один из лучших его экспромтов, сказанный на похоронах известного в то время железнодорожного строителя М., отличавшегося всем известной слабостью к слабому полу, который имел несколько побочных семейств, кроме прямого.

Именно, увидев погребальную колесницу с трупом покойника, он сказал находившемуся тут же актеру Б., большому любителю кутнуть и приятелю начинавшего входить в моду Достоевского:

О, человече! Был ты глуп —
Теперь лежит пред нами труп.
Покойся, милый прах, до радостного утра,

Пока червяк не съел твое все нутро.

Остроумные экспромты известного поэта доставляли ему в свое время множество врагов».

* * *

Выше я сказал, что прочел эти два анекдота с ужасом.

Действительно – вдумайтесь в смысл всей этой полуграмотной чепухи: вплетает ли она новые лавры в чудесные венки, которыми увенчаны оба «известных покойника…»?

И, прочтя эти бессмысленные строки, я, по ассоциации, призадумался над своей будущей судьбой.

Действительно: вчера в одной из газет перед моим именем я впервые увидел пряное, щекочущее слово: «известный».

Странное слово… Странное ощущение…

Итак – я «известный»…

Неужели?

Я человек по характеру очень скромный и никогда не думал о себе этого…

Ну – пишу. Ну – читают.

Но чтобы все это было до такой степени – вот уж не представлял себе.

И тут же я понял – какую громадную ответственность налагает на меня это слово.

Действительно: когда я был неизвестный – пиши, как хочешь, о чем хочешь и когда хочешь. Ешь, как все люди едят, ходи в толпе, толкаясь, как и другие толкаются, и если на твоем пути завязалась между двумя прохожими драка – ты можешь остановиться, полюбоваться на эту драку или даже, в зависимости от темперамента, – принять в ней деятельное участие, защищая угнетенную, по твоему мнению, сторону.

А в новом положении с титулом «известный» попробуй-ка?!

Когда ешь – все смотрят тебе в рот. Вместо большого куска откусываешь маленький кусочек, мизинец отставляешь, стараясь держать руку изящнее, и косточки от цыпленка уже не выплевываешь беззаботно на край тарелки (скажут – некрасиво), а, давясь, жуешь и проглатываешь, как какой-нибудь оголодавший сеттер.

Съешь лишний кусок, все глазеющие скажут – обжора.

Покажешься под руку со знакомой барышней – развратник.

Заступишься в уличной драке за угнетенного – все закричат: буян, драчун! («Наверное, пьян был!… Вот они, культурные писатели… А еще известный! Нет, Добролюбов, Белинский и Писарев в драку бы не полезли».)

И благодаря этому столько народа, заслуживающего быть битым, останется не битым, что нравы грубеют и жизнь делается еще тяжелее.

Наибольшая же трагедия – это те анекдоты о моем уме, находчивости и сообразительности, которые будут рассказываться и приводиться в газетах (отдел «Смесь») после моей смерти…

Воображаю:

«Известный (раз другие писали, могу же и я написать?) писатель Аркадий Аверченко отличался дьявольской сообразительностью и находчивостью.

Один знакомый спросил его:

– Кто, по-вашему, выше – Шекспир или Гёте?

– Мой портной Кубакин, – отвечал остроумный писатель.

– Почему? – изумился ничего не подозревавший знакомый.

– Потому, – улыбнулся покойник, – что он чуть не трех аршин росту.

Такими язвительными ответами покойный юморист нажил массу врагов среди сильных мира сего».

* * *

Конечно, никто из нас не застрахован от таких «анекдотов», но я сделаю слабую попытку застраховаться от них.

Именно я решил записывать сам все те будущие анекдоты, которые должны печататься после моей смерти.

Для начала позволю себе привести один анекдот-факт обо мне, имевший место не более месяца тому назад.

Пишу его уже в готовом обработанном виде, чтобы безграмотные компиляторы не исказили его, не лишили его тех немногих достоинств, которые, я надеюсь, отыщет в нем благосклонный читатель.

Из воспоминаний о покойном Аверченко.

Как известно, покойный писатель любил в хорошую минуту весело подшутить над своим ближним, что доставляло ему много врагов и тайных недоброжелателей.

Приводим следующий случай, правдивость которого могут удостоверить многие пережившие бедного, безвременно погибшего писателя…

Однажды, будучи застигнут в пути снежными заносами и отсиживаясь на какой-то глухой станции, покойный писатель горько жаловался соседям по вагону на то, что если пройдут еще сутки, то всем придется голодать.

Один актер, сидевший около, стал подтрунивать над Аверченко и в конце концов заявил:

– Ведь завтра нам всем уже придется бросать жребий – кому из нас быть съеденным… Что вы скажете, Аркадий Тимофеевич, если жребий падет на вас и мы вас съедим?!

– Что я скажу? – ответил, улыбаясь, симпатичный покойник. – Я скажу, что в таком случае рискую очутиться в дураках.

В тот момент никто не понял этого загадочного ответа, но в последние годы он детально разъяснен комментаторами писателя.

* * *

Вот, читатели, единственный пока анекдот обо мне. Нравится анекдот или нет – это другой вопрос. Но что он правдив – за это ручаюсь. Приятно быть более предусмотрительным, чем такие умные люди, как генерал Драгомиров и поэт Минаев.

Всеобщая история, обработанная «Сатириконом»

Новая история
Из «Всеобщей истории, обработанной «Сатириконом»

История русского смеха очень коротка… В далеком прошлом русский смех культивировался только русалками, которые, поймав на берегу неопытного прохожего, начинали щекотать его до тех пор, пока он, корчась от смеха, не отдавал богу душу…

Последующие этапы русского смеха отличались такой же чарующей простотой и незамысловатостью: выставляли голого человека на мороз и обливали ледяной водой, что вызывало у вельмож того времени неудержимые приступы смеха. Покупали шутов, и если шут был горбатым – хорошее расположение духа покупателя считалось надолго обеспеченным.

Когда же русский смех оставил позади себя русалок, замороженных людей и веселых горбунов и понесся дальше к культурному идеалу, – он с размаху попал в объятия жирной, крикливой тещи, которая долго тискала этого горемыку в своих объятиях, а добрая цензура простирала над ними руки и благословляла такой противоестественный союз.

Исключив из своей программы все перечисленные этапы русского смеха – от смертельного щекотания читателей русалками до популярной тещи, – «САТИРИКОН» выбрал новый, свой собственный путь и, вступая в третий год своего существования, может смело сказать, что избранное им направление вызывает большее восхищение, чем смех замороженных людей и путников, безвременно скончавшихся от щекотки.

Все годовые подписчики получат в виде бесплатного приложения роскошно иллюстрированное издание: «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ», обработанная «Сатириконом» под углом его зрения, под редакцией А.Т. Аверченко.

Хотя наша «Всеобщая история» и не будет рекомендована ученым Комитетом, состоящим при м-ве народного просвещения, – как руководство для учебных заведений, но эта книга даст подписчикам единственный случай взглянуть на историческое прошлое народов – в совершенно новом и вполне оригинальном освещении…

«Сатирикон», 1909 г.

«Всеобщая история» вышла в таком составе: 1. Древняя история – Н.А. Тэффи. 2. Средняя история – Осипа Дымова. 3. Новая история – Аркадия Аверченко. 4. Русская история – О.Л. Д'Ора.

Книга выдержала несколько изданий.

Введение

История средних веков постепенно и незаметно переходила в «новую историю». Различие между этими двумя периодами заключается в том, что человечество, покончив со средними веками, сразу как-то поумнело и, устыдившись своей средневековой дикости, поспешило сделать ряд шагов, которым нельзя отказать в сообразительности и здравом смысле.

В средние века поступательное развитие культуры измерялось лишь количеством сожженных на площадях колдунов да опытами над превращением живых людей в кошек, волков и собак (опытами – принесшими ученым того времени полное разочарование). Новая история пошла по другому, более просвещенному пути. Правда, колдунов на кострах все еще продолжали сжигать, но делали это уже безо всякого одушевления и подъема, с единственной

целью заполнить хоть каким-нибудь развлечением зияющую пустоту пробуждающегося ума и души.

Таким образом, великие люди, положившие своим гением начало «новой истории», имели уже благодатную почву в жаждущих чего-то нового душах простых людей… Изобретатели и открыватели могли уже начать свое дело без жгучего риска быть сожженными на приветливых огнях костров ad majorem dei gloriam[5].

Человечество сделалось сразу таким культурным, что ни Гуттенберг, ни Колумб не были зажарены на костре: первый скончался просто от голодухи и бедности, второй – от тяжести тюремных оков, в которые заключил его удивленный его открытиями король Фердинанд.

В религиозных верованиях тоже пошла коренная ломка: как из мешка посыпались разные реформаторы, протестанты, Эразмы Роттердамские и Мартины Лютеры.

Монахи были в большой моде, а один из них – Бертольд Шварц – ухитрился даже выдумать порох, что не удавалось до него даже самым интеллигентным людям того времени.

Таким образом, при веселом грохоте пушек, скрипенье печатных станков и воплях новооткрытых краснокожих – человечество вступило в период «Новой Истории»!

Эпоха изобретений, открытий и завоеваний

1. Книгопечатание и бумага

Раньше, до изобретения книгопечатания, люди писали черт знает на чем: на коже животных, листьях, кирпичах – одним словом, на первом, что подвертывалось под руку.

Сношения между людьми были очень затруднительны… Для того, чтобы возлюбленный мог изложить как следует предмету своей любви волнующие его чувства, ему приходилось отправлять ей целую подводу кирпичей. Прочесть написанное представляло такую тяжелую неблагодарную работу, что терпение девицы лопалось, и она на десятом кирпиче выходила замуж за другого.

Кожа животных (пергамент) тоже была неудобна, главным образом своей дороговизною. Если один приятель просил у другого письменно на пергаменте взаймы до послезавтра сумму в два-три золотых, то он тратил на эту просьбу всю полученную заимообразно сумму, т. к. стоимость пергамента поглощала заем. Отношения портились, и происходили частые драки и войны, что ожесточало нравы.

Таким образом, можно с полным основанием сказать, что появление на рынке тряпичной бумаги смягчило нравы.

Первыми, кто научил европейцев делать бумагу, были – как это ни удивительно, арабы – народ, прославившийся до того лишь черным цветом лица и необузданным, лишенным логики поведением.

Кстати, у арабов же европейцы позаимствовались и другой, очень остроумной штукой: арабскими цифрами. До этого позаимствования в ходу были лишь римские цифры, очень неудобные и громоздкие… Способ начертания их был насколько прост, настолько же и неуклюж. Если нужно было написать цифру один, писали: I, два – II, три – III и т. д. – по величине цифры – количество палочек. Оперирование с однозначными цифрами еще не представляло затруднений… Но двузначные и трехзначные занимали целую страницу единиц, и чтобы сосчитать их, приходилось тратить непроизвольно уйму времени. А цифру «миллион» и совсем нельзя было написать: она занимала место, равное расстоянию от Парижа до Марселя.

[5] К вящей славе божией (*лат.*) – девиз ордена иезуитов.

Таким образом, ясно, какое громадное значение для культуры и торговли имели арабские цифры, и можно вообразить, как гордились своей выдумкой арабы, задирая кверху свои черные, сожженные солнцем носы…

Книгопечатание на первых порах стояло на самой жалкой низкой ступени. Если бы Иоганна Гуттенберга, изобретателя книгопечатания, привести теперь в самую ординарную типографию, печатающую свадебные приглашения и меню, и показать ему обыкновенную типографскую машину – он ничего бы в ней не понял и, пожалуй, выразил бы желание «покататься» на маховом колесе.

Во времена Гуттенберга печатали книги так: на деревянной доске вырезывали выпуклые буквы, намазывали черной краской и, положив на бумагу доску, садились на нее в роли подвижного энергичного пресса. От тяжести типографа и зависела чистота и четкость печати.

Вся заслуга Гуттенберга заключалась в том, что он напал на мысль вырезывать каждую букву отдельно и уже из этих подвижных букв складывать слова для печати. Кажется, – мысль пустяковая, а не приди она Гуттенбергу в голову, книгопечатание застряло бы на деревянных досках, и человечество до сих пор сидело бы в каком-нибудь семнадцатом веке, не догадываясь о причине своей отсталости. Ужас!

Будучи сообразительным человеком по части книгопечатания, Гуттенберг в жизни был сущим ребенком, и его не обманывал и не обсчитывал только ленивый… История говорит, что он вошел в компанию с каким-то золотых дел мастером Фаустом. Тот типографию забрал себе, а Гуттенберга прогнал. Гуттенберг опять нашел какого-то, как гласит история, «очень богатого отзывчивого человека». Отзывчивый человек тоже присвоил себе типографию, а Гуттенберга прогнал. В это время нашелся еще более отзывчивый человек – архиепископ Майнцский Адольф. Он принял Гуттенберга к себе, но не платил ему ни копейки жалованья, так что Гуттенберг избавился от голодной смерти только поспешным бегством. Так до конца жизни Гуттенберг бродил от одного мошенника к другому, пока не умер в бедности.

2. Магнитная стрелка

Что касается другого важного изобретения в истории человеческой культуры – магнитной стрелки, – то пишущий эти строки так и не добился толку: кем же, в сущности, магнитная стрелка выдумана?

По одним источникам, ее изобрел какой-то Флавио Джойо из Амальфи, по другим – она была известна еще во времена крестовых походов.

Вот и разберись тут.

На всякий случай Джойо соотечественники поставили памятник, и так как патент на эту остроумную выдумку (не на памятник, а на магнит) никем не заявлен, то магнитные стрелки теперь может изготовлять всякий, кому придет охота.

По мнению пишущего эти строки, все-таки для историков остался один путь, с помощью которого можно легко проверить, изобрел ли магнитную стрелку действительно Флавио Джойо?

Стоит только выяснить – умер ли он в нищете? Если это так, – значит, он и изобрел компас.

Примеры Гуттенберга, Колумба и других в достаточной мере подтверждают это правило.

3. Порох

Не менее загадочна история с изобретением пороха. Молва приписывает эту заслугу монаху Бертольду Шварцу, но так как нет данных, свидетельствующих о том, что он умер в нищете, то и причастность Шварца к делу «об изобретении пороха» довольно сомнительна.

Предлагаем читателю на выбор: Бертольда Шварца или еще одного монаха Роджера Бэкона, которому приписывалось изобретение пороха еще в XIII веке.

О последнем в истории сказано:

«…Он умел составлять порох, заподозрен в ереси, подвергся преследованию и умер в тюрьме».

Это показывает, что уже в те времена всеми сознавалась разрушительная сила пороха и против нее принимались радикальные меры.

Изобретение пороха произвело коренной переворот в военном искусстве.

Раньше опытные, закаленные в боях воины поступали так: заковывали себя с ног до головы в железо, вскарабкивались с помощью слуг на лошадь и бросались в битву. Враги наскакивали на такого воина, рубили его саблями, кололи ножами, а он сидел, как ни в чем не бывало, и иронически поглядывал на врагов. Если его стаскивали за ногу с лошади, он и тут не терялся: лежал себе на земле и иронически поглядывал на врагов. Те долго и тщетно хлопотали вокруг этой гигантской замкнутой устрицы, не зная, как открыть ее, как достать из-под железа хоть кусочек живого человеческого мяса… Провозившись бесплодно несколько часов над рыцарем, враги почесывали затылок и, выругавшись, бросались на других врагов, а к победителю приближались верные слуги и снова втаскивали его на коня.

Так и возили это бронированное чучело с места на место, пока враги не обламывали об него свое холодное оружие и не сдавались в плен.

С изобретением пороха дела храбрых замкнутых рыцарей совсем пришли в упадок. Стоило стащить такого рыцаря с лошади и подложить под него фунта два пороху, как он сейчас же размыкался, разлетался на части и приходил в совершенную негодность.

Таким образом, изобретение пороха повело к упразднению личной храбрости и силы… Военное дело было реорганизовано, появились ружья, пушки, укрепленные города затрещали, а дикари, незнакомые с употреблением огнестрельного оружия, впали в совершенное уныние. Европейцы их били, колотили и презирали на том основании, что они:

– Пороху не выдумали!

4. Открытие Америки

Очевидцы утверждают, что Америка была открыта Христофором Колумбом, прославившимся, кроме того, своей силой и сообразительностью; во время диспута с учеными Колумб, в доказательство шарообразной формы Земли, раздавил на глазах присутствующих – без всяких приспособлений – куриное яйцо. Все ахнули и поверили Колумбу.

Разрешение на открытие Америки Колумб получил условно, т. е. в договоре правительства с Колумбом было сказано буквально так:

«Мы, Фердинанд Аррагонский с одной стороны и Христофор Колумб с другой – заключили настоящий договор в том, что я, Фердинанд, обязуюсь дать ему, Колумбу, денежные средства и корабли, а он, Колумб, обязуется сесть на эти корабли и плыть, куда придется. Кроме того, упомянутый Колумб обязуется наткнуться на первую подвернувшуюся ему землю и открыть ее, за что он получает наместничество и десятую часть доходов с открытых земель».

Относясь чрезвычайно почтительно к памяти талантливого Колумба, мы тем не менее считаем себя обязанными осветить эту личность с совершенно новой стороны, непохожей на ту, которая была создана исторической рутиной.

Вот что мы утверждаем:

1) Выезжая впервые из гавани Палоса (в Испании), Колумб думал только об отыскании морского пути в Индию, не помышляя даже об открытии какой-то там Америки. Так что тут никакой заслуги с его стороны и не было.

2) Во-вторых, никакой Америки даже нельзя было и «открыть», потому что она уже была открыта в X веке скандинавскими мореходами.

3) И, в-третьих, если бы даже скандинавские мореходы не забежали вперед – Колумб все равно никакой Америки не открывал. Пусть проследят читатели все его поведение в деле «открытия Америки…». Он плыл, плыл по океану, пока один матрос не закричал во все горло: «Земля!» Вот кто и должен был бы по-настоящему считаться открывателем Америки – этот честный, незаметный труженик, этот серый герой… А Колумб оттер его, выдвинулся вперед, адмиральский напялил мундир, вылез на берег, утер лоб носовым фуляровым платком и облегченно вздохнул:

– Ф-фу! Наконец-то я открыл Америку!

Многие будут спорить с нами в этом пункте, многие отвергнут нашего матроса… Хорошо-с. Но у нас есть и другое возражение: в первый свой приезд Колумб никакой Америки не открывал. Вот что он сделал: наткнулся на остров Сан-Сальвадор (Гванагани), вызвал в туземцах удивление и уехал. Едучи, наткнулся на другой остров – Кубу, высадился, вызвал в туземцах удивление и уехал. Сейчас же наткнулся на третий остров Гаити – по своей, уже укоренившейся привычке высадился, вызвал в туземцах удивление и уехал домой в Испанию. Спрашивается, где же здесь открытие нового материка, если тщеславный моряк повертелся среди трех островов, вызвал в туземцах удивление и уехал?

Наш скептицизм разделялся многими даже в то время. По крайней мере, когда Колумб вернулся в Испанию и сообщил о своем открытии, – некоторые просвещенные люди, знавшие о посещении скандинавами новой страны еще в X веке, – пожимали плечами и, смеясь, язвили Колумба:

– Тоже! Открыл Америку.

С тех пор эта фраза и приобрела определенный смысл иронии и насмешки над людьми, сообщавшими с торжественным видом об общеизвестных фактах.

Что можно поставить Колумбу в заслугу – это его умение производить на туземцев впечатление и вызывать в них искреннее удивление. Правда, нужно признаться, что удивлялись обе стороны: красные индейцы при первой встрече с диким видом рассматривали белых европейцев, а белые европейцы с ошеломленными лицами глядели на красных безбородых людей, у которых вся одежда состояла из собственного скальпа, лихо сдвинутого набекрень.

Налюбовавшись в достаточной мере друг на друга, белые и красные приступили к торгу. Обе расы искренне считали друг друга круглыми дураками.

Белые удивлялись втихомолку:

– И что за идиоты эти дикари! Золотые серьги, кольца и целые слитки они отдают в обмен на грошовое зеркальце или десяток разноцветных стеклянных бус.

А дикари тоже тихонько подталкивали друг друга локтями, хихикали и качали головами с самым безнадежным видом:

– Эти белые смешат нас до упаду своей глупостью: за простой желтый кусочек, величиной не более кулака, они отдают целое не разбитое зеркало или целый аршин красного великолепного кумача!

С последующими посещениями Колумбом Америки меновая торговля росла и развивалась.

Испанцы привезли индейцам кожи, ружья, порох, рабство и склонность к грабежам и пьянству.

Благодарные индейцы отдарили их картофелем, табаком и сифилисом.

Обе стороны поквитались, и никто не мог упрекнуть друг друга в отсутствии щедрости: ни Европа, ни Америка.

После третьего плавания в Америку Колумб стал уже подумывать о тихой спокойной жизни без тревог и приключений… В этом ему пришел на помощь сам испанский король Фер-

динанд: он заковал Колумба в цепи и посадил в тюрьму. Так как в то время всех выдающихся чем-либо людей обыкновенно сжигали, то эта королевская милость Колумбу вызвала у последнего много завистников.

Из них в истории известен Кортес, завоевавший Испании Мексику и снискавший у добродушного короля такое же расположение, как Колумб…

5. Завоевание Мексики и Перу

Завоевание Мексики и Перу считалось в то время очень значительным событием, но совершилось оно очень просто…

Один храбрый офицер по имени Фердинанд Кортес несколько раз приставал к испанскому королю Карлу с просьбой послать его в какую-нибудь экспедицию. Кортес так надоел королю своим беспокойным характером, что тот однажды послал его к черту.

Придравшись к этому случаю, храбрый Кортес назвал себя посланником короля, взял отряд из 500 человек и явился в Мексику.

Дальнейшее пошло как по маслу: сначала испанцы поубивали многих туземцев, потом туземцы порядочно пощипали испанцев, убив мимоходом в увлечении дракой даже собственного короля Монтесуму.

Убедившись, что Монтесума не оживет, племянник его Гватемосин перескочил через мертвого дядю и уселся на престол с видом завзятого короля… Испанцы осадили столицу Мексики, взяли ее приступом, туземцев снова поубивали, а Гватемосина изжарили на угольях, чего он не мог простить победителям до самой смерти.

В то же время завоевательная лихорадка распространилась повсюду: завоевывал туземцев и новые страны всякий, кому было не лень.

Обыкновенно, если несколько друзей собирались за выпивкой, кто-нибудь сейчас же предлагал:

– А что, господа, не завоевать ли нам какую-нибудь страну?

– Ну что ж… можно, – соглашались гуляки, и все немедленно гурьбой ехали к робким запуганным индейцам.

Десяток нахальных, развязных завоевателей без труда убеждал многотысячное индейское войско, что для них самое лучшее – покориться.

Почему – в это никто не входил. И, конечно, индейцам ничего не оставалось, как покоряться. И они покорялись.

Таким образом, Писарро завоевал Перу, а его компаньон по выпивке какой-то Альмагро отбился на пути от компании, заблудился и, наткнувшись на страну Чили, покорил ее один-одинешенек. И страшно-то ему было, и странно, и скучно, да ничего не поделаешь – пришлось покорять.

6. Торговля неграми

Открыв Америку, испанцы стали заставлять индейцев работать в рудниках и плантациях. Нежные, не привыкшие к работе индейцы (до сих пор вся их работа сводилась к взаимному сдиранию скальпов, в чем некоторые отличались замечательным проворством и трудоспособностью) – умирали, как мухи.

Сердце одного доброго человека, по имени Лас Касас, разрывалось от жалости к несчастным индейцам.

Добрый Лас Касас стал усиленно хлопотать об освобождении индейцев.

– Какой вы чудак! – возразили ему плантаторы. – Кем же мы их заменим?

– Да африканскими неграми. Очень просто!

Совет был принят к сведению. Его исполняли так рьяно, что вся Африка скоро затрещала и почти опустела.

Освобожденные индейцы все равно вымирали, но теперь к ним присоединились и негры: они тоже вымирали.

Добрый находчивый Лас Касас особенной популярностью среди негров не пользовался, хотя история навсегда сохранила за ним титул «защитника угнетенных».

Теперь он уже умер.

Раздоры и драки из-за Италии и проч.

Французские короли, начиная с Карла VIII, давно уже точили зубы на Неаполитанское королевство. Дело в том, что с незапамятных времен в этой стране почему-то королевствовали французы. Гораздо проще было, конечно, если бы на итальянском престоле сидел итальянец, но народы того времени были так простодушны, что не входили в подобные тонкости.

– Сидит себе на престоле какой-то человек, ну и пусть сидит. Лишь бы не драл семь шкур с жителей, а довольствовался двумя-тремя…

Таким образом, однажды на престол сел француз Карл Анжуйский и немедленно сделал вид, что иначе и быть не может. Так тянулось много лет, но однажды какой-то его наследник отлучился на минутку, и этого было достаточно, чтобы на престол сейчас же села Арагонская фамилия. Французскому королю Карлу VIII это показалось обидным. Он набрал войско и пошел на Италию; Арагонская фамилия, видя, что дело нешуточное, убежала в Испанию, а неаполитанцы ограничились тем, что лениво осмотрели нового короля и пожали плечами.

– Ну садись ты. Тот король, правду сказать, был не особенный.

Но французский король оказался еще хуже: он грабил и притеснял неаполитанцев вовсю, как будто бы его готовили к этой профессии с детства.

Пришлось изгонять нового короля, возвращать старого.

Эта канитель тянулась довольно долго. Следующий король Людовик XII тоже косился на неаполитанский престол и даже заключил с Фердинандом Католиком договор с целью сообща стянуть у Арагонской фамилии этот престол.

Но Фердинанд Католик оказался таким пройдохой, которого свет не производил. При разделе завоеванного Неаполитанского королевства он обсчитал Людовика и вступил с ним в драку. Испанцы со стороны подошли, посмотрели на эту драку и потихоньку уселись сами на злосчастный неаполитанский престол.

Неаполитанцы согласились и с этим:

– Испанцы так испанцы.

Во время этих взаимных затрещин и потасовок выдвинулся один французский рыцарь – Баярд. Выдвинулся он своей храбростью и главным образом честностью.

Впрочем, выдвинуться последним качеством в то время было легко, так как мошенничество считалось самым обыкновенным делом и сидело даже в королевской крови (см. Иловайского «Новая История»).

Например, Людовик XII упрекал Фердинанда Католика в том, что тот обманул его два раза!

Самолюбивый Фердинанд обиделся, королевская его кровь закипела, и он воскликнул:

– Лжет он, пьяница! Я обманул его не три, а десять раз!

Конечно, Баярду легко было выдвинуться и прославиться при этих условиях… А в наше время был бы он обыкновенным, ординарным порядочным человеком, как мы с вами…

Людовику XII наследовал Франциск I. Жестоко ошибется тот, кто подумает, что Франциск не завоевывал Италии. История даже говорит так:

– Первым делом его был поход на Италию.

До сих пор непонятно, что, собственно, нужно было французским королям от Италии?

Конечно, Франциск взял Милан, конечно, новоиспеченный император германский Карл V сейчас же выгнал его оттуда с целью самому завладеть итальянским престолом. А Франциск снова вернулся в Милан и выгнал Карла. А Карл опять выгнал Франциска, разбил его наголову и захватил в плен.

Ну хорошо ли все это? Спрашивается, при чем здесь были все время несчастные посторонние итальянцы?

В истории эта неразбериха называется очень громко: «Борьба за Италию»!

Подводя итоги «Борьбы за Италию», мы удивляемся только одному: как присяжные историки разбираются во всех этих однообразных неинтересных именах. У народов того времени фантазии не было никакой: всякого короля они называли Карлом или Людовиком и разбирали их только по ничего не говорящим римским цифрам позади имени. Изредка давали им прозвища, но и то – самые нехарактерные:

– Фердинанд Католик, Филипп Красивый, Карл Испанский.

Что типичного в том, что Фердинанд был католик? А другие короли разве не были католиками?.. Филипп назывался Красивым. А остальные как же… Были, значит, некрасивыми. Тем более что одного Людовика тоже называли Красивым.

Можно было бы еще разобраться по национальностям, которые указывались около имен, но это было совсем рискованно и очень нескладно… Например, Карл Испанский на самом деле был не испанским, а германским императором. Почему он, в таком случае, Испанский? Почему Анна Австрийская была на самом деле французской королевой?

И много, много еще странного есть во всеобщей истории…

Религиозная путаница в Германии

Начало коренной ломки католичества положили так называемые гуманисты, прямой противоположностью которых являлись так называемые обскуранты.

Для ясности попробуем в двух-трех обыкновенных, понятных словах охарактеризовать тех и других, руководствуясь при этом тем впечатлением, которое осталось у нас после тщательного штудирования эпохи Реформации.

Так называемые гуманисты: порядочные, умные, интеллигентные люди, без косности и предрассудков.

Так называемые обскуранты: невежественные глупцы, темные и злые дураки.

Из этих душевных свойств вытекали и поступки тех и других…

Одни писали умные книги, другие сжигали их; одни говорили здравые человеческие слова, другие, возражая им, несли невозможную чушь, так что, по словам одного летописца того времени:

«Уши вянут, когда слушаешь обскуранта».

Правда, гуманисты тоже иногда впадали в ненужную крайность. Каждый гуманист думал, что умнее его никого и нет, и сейчас же выдумывал новое религиозное усовершенствование, проповедовал новую, свою собственную (остерегаться подделок!) веру…

Повторилась та же история, что с изобретениями и открытиями: появилась мода на изобретения – все бросились изобретать что попало: книгопечатание, порох, магнитную стрелку… Эту моду сменила другая: открывать. Все лихорадочно ринулись открывать, – что подвернется под руку, без всякого толку и смысла…

Понаоткрывали разных земель – мода устарела… Уже считалось признаком дурного тона, старомодным провинциализмом – открыть какую-нибудь новую землю. Проезжая мимо не открытых еще земель, мореплаватели делали вид, что не замечают их.

Образовалась в душах пустота – и пустота эта стала заполняться разными вероучениями.

Кажется, достаточно было того, что один умный религиозный человек, так наз. Мартин Лютер, исправил католическую религию, довел ее до простоты, очистил от многих ошибок и заблуждений. Нет! Появился еще какой-то Цвингли, который перевернул вверх дном всю Швейцарию, доказал, что Лютер – постепеновец, обвинил его чуть ли не в октябризме[6] и стал устраивать религию по-своему: запретил церковное пение, свечи и даже велел вынести из церквей все изображения святых.

Отсюда и пошла известная швейцарская поговорка: «Хоть святых вон выноси» (1531 г.).

Проповеднику по имени Кальвин не понравился ни Лютер, ни Цвингли. Он потер себе лоб и выдумал новое вероучение, сущность которого заключалась в предопределении. Кальвин уверял, что люди заранее назначены – одни к вечному спасению, другие к вечной гибели. Конечно, проповедуя это, Кальвин, по своей теории, ничем уже и не рисковал в будущей жизни. Раз ему заранее было назначено то или другое – Кальвин делал в текущей жизни, что ему вздумается.

По имени Кальвина его последователи стали называться гугенотами, но даже и этот псевдоним не спас их от истребления (см. оперу «Гугеноты»).

Некоторое время гугеноты под именем пуритан еще держались в Англии (Шотландия), но и там они постепенно вывелись. Теперь среди англичан и днем с огнем не найдешь пуританина – все едят кровавые ростбифы, ходят в кинематограф и даже изредка женятся друг на друге.

Так, по свидетельству беспристрастной истории, все религии постепенно вырождаются, мельчают и меркнут.

Личность Мартина Лютера. Как и большинство людей его сорта, Мартин Лютер имел «ввалившиеся горящие глаза, вдохновенный вид и говорил убедительно, смело, открыто и горячо».

Так, например, когда профессор Эк вызвал его на религиозный спор, Лютер стойко выдержал Эковы нападки и защищался, как лев. Выслушав мнение Лютера об Иоганне Гуссе, Эк сказал:

– С этих пор, достопочтенный отец, будьте вы мне, как язычник и мытарь.

– Сам-то ты хорош! – ответил ему Лютер (Шлезенг, II ч. стр. 143), чем этот исторический диспут и закончился.

Спрашивается: какая же причина побудила Лютера принять лютеранство? История отвечает на это: папские индульгенции!

Индульгенциями назывались свидетельства, вроде тех, которые выдаются теперь «о прививке оспы».

На первый взгляд это были простые продолговатые бумажки, но в них заключалась удивительная сила: стоило только купить такую бумажку, – и покупателю отпускались грехи, не только прошедшие, но и будущие.

Перед тем, как зарезать и ограбить семью, разбойник шел к монаху и, поторговавшись до седьмого поту, покупал индульгенцию…

Иногда, не имея денег, брал ее в кредит.

– Ничего, – говорил обыкновенно добродушный монах. – Отдашь после, когда зарежешь. Вы наши постоянные покупатели, как же-с!..

Если бы пишущий эти строки имел в кармане индульгенцию, которая отпустила бы ему нижеуказанный грех, он сказал бы: все католические монахи того времени были канальи и мошенники, а все разбойники круглые дураки.

---

[6] Октябризм – здесь автор намекает на политическое течение в дореволюционной России, представленное партией «Союз 17 октября», названной от царского манифеста 17 октября 1905 года. Октябристы в Государственной думе блокировались с кадетами и монархистами.

Как это ни удивительно, учение Лютера пришлось по вкусу именно влиятельным князьям и курфюрстам. В особенности нравилась им та часть учения, которая доказывала, что монастыри не нужны, что можно спасаться и без монастырей. В припадке религиозного фанатизма курфюрсты позакрывали все монастыри, а имущество монастырское и земли секуляризировали.

– Послушайте, – возражали монахи, – зачем же вы отнимаете у нас наше добро?

– Мы не отнимаем, – оправдывались курфюрсты, – а секуляризируем.

– А, тогда другое дело, – говорили успокоенные монахи и, убегая в горы, предавали курфюрстов и самого Лютера навеки нерушимому проклятию… (Комминг. «Начало реформации». С. 301.)

Таким образом, совершенно незаметно Лютер сделался официальным революционером при дворах курфюрстов и князей…

В этот период его жизни «ввалившиеся горящие глаза» перестали вваливаться и гореть, щеки округлились, и, хотя он по-прежнему говорил «смело, открыто и горячо», но вот уже каковы были его смелые горячие речи (после восстания крестьян, притесняемых дворянами):

– Этих мятежников нужно убивать, как бешеных собак.

Курфюрсты не могли нарадоваться на своего протеже…

Несмотря на все это, популярность лютеранства так возросла, что появились даже подделки.

Происходило то же, что теперь происходит с аэропланами.

Аэроплан придуман и усовершенствован был одним человеком… Но другие хватались за это изобретение, приделывали сбоку какой-нибудь пустяковый винтик или клапан – и выдавали весь аппарат за продукт своего творчества.

Так – появились анабаптисты… Это были те же лютеране, но имели свой собственный клапан: многоженство и вторичное крещение детей.

Мало этого – какой-то священник Меннон[7] заинтересовался анабаптизмом, ввел в него какой-то пустяк и основал секту меннонитов.

У Меннона уже никто не хотел заимствовать его изобретения – аппарат принадлежал к категории тех, которые не летают…

Иезуитский орден

Иезуитский орден – есть такой орден, который все человечество, помимо всякого желания, уже несколько веков носит на своей шее.

К сожалению, люди до сих пор не научились вешать этот орден как следует.

Франция и гугеноты

В наше время при спорах с противником приходится тратить много времени, ума и красноречия, чтобы убедить его или, по крайней мере, разбить его доводы. В прежние времена народ был проще, прямолинейнее, и когда, например, А вступал с Б в спор, то если А был сильнее и могущественнее – он сжигал Б на костре, а если более сильным оказывался Б – А немедленно попадал на костер и корчился там, и вопил, и жаловался на свою суровую судьбу, пока вкусный запах жареного мяса, донесшись до Б, не показывал ему, что А убежден совершенно в правоте своего противника.

Например, во время послеобеденной прогулки А ведет с Б дружеский разговор:

[7] Правильно: Менно Симоне. Меннониты проповедуют смирение, отказ от насилия, верят во «второе пришествие Христа».

А. Удивительно, как это просто: оказывается, что Земля имеет форму шара. Я сегодня только об этом узнал и, признаюсь, поражен гениальностью открытия…

Б. (иронически прищурившись). Да? Ты уверен в том, что Земля имеет форму шара?

А. Ну конечно! Это ясно даже младенцу.

Б. (иронически). Да? Ясно? Младенцу? А я тебе скажу, милый мой, что Земля совершенно плоская.

А. (еще более иронически). Не-у-же-ли? Где же она, в таком случае, кончается?

Б. (разгорячившись). Где? Да нигде!

А. Друг! Но ведь это же чушь. Ну тянется она на тысячу верст, ну еще на десять тысяч, но ведь конец-то где-нибудь должен быть?

Б. Черт его знает. Нету конца, да и все.

А. Слушай же! Земля имеет форму шара – и больше никаких! Если какой-нибудь старый осел возразит: почему же мы, в таком случае, не скатываемся? – то я, во-первых, спрошу этого кретина: куда? а во-вторых, сообщу этому чурбану: потому что существует земное притяжение!

Б. (горько). Да? Земное притяжение? А что ты скажешь, когда я тебя немножко погрею?

А. Я… тебя не понимаю.

Б. Где же тебе понять старого осла… Эй, люди! Тащи вязанку дров, веревок и огонь.

А. Ты этого не сделаешь!!!

Б. Бери его. Вяжи! Огонь принесли? Так. Внизу лучинок положите, чтобы разгорелось. Ну вот. Раздувай! (Опускается около костра на корточки и обиженно спрашивает.) Ты и теперь утверждаешь, что Земля круглая?..

А. (корчась). Ну… не совсем круглая, а такая… овальная!..

Б. (с горьким смехом). Овальная? А ну, ребятки, поддай.

А. (лязгая зубами). В сущности, «овальная» я употребил как метафору…

Через пять минут А начинает предполагать, что он ошибся: пожалуй, Земля и в самом деле плоская.

Б. (добродушно). Ну вот видишь! Я знаю, меня не переспоришь.

В те времена подобные диспуты назывались: попасть на огонек.

В настоящее время эта фраза имеет значение более идиллическое и употребляется преимущественно мелкими чиновниками, которые изредка заходят к приятелю убить мирно вечерок.

Король французский Франциск I считал себя человеком неглупым, понимающим, где раки зимуют, и поэтому жег на костре всякого, кто смотрел на религию другими глазами, чем он. Сын его Генрих II наследовал светлый ум отца, присоединив к нему изумительное трудолюбие (жег еретиков десятками там, где родитель ограничивался единицами). Кончил же Генрих II тем, что вызвал однажды на турнир капитана своей гвардии Монтгомери, – полагая, что король должен быть не только самым умным, но и самым сильным человеком. Но Монтгомери попал ему копьем не в бровь, а в глаз, и глубоко, до самого мозга, разочаровал своего повелителя в его способностях…

После Генриха II пошел народ мелкий, ничтожный, почти ничем не прославившийся… Например, Франциск II был известен только тем, что состоял мужем знаменитой Марии Стюарт. Таких «мужей знаменитости» и в наше время можно встретить сколько угодно в уборной певицы или драматической актрисы. Они, обыкновенно, смирненько сидят в уголку и ждут, когда жена окончит спектакль – чтобы, закутав ее в шубу, везти домой.

Брат Франциска II Карл IX был знаменит тем, что за него управляла мать, Екатерина Медичи.

Нужно сказать правду: это был такой период королевского владычества во Франции, который очень хорошо характеризовался меткой фразой летописца:

– Француз ума не имеет, и иметь таковой почитает величайшим для себя несчастьем.

В самом деле – даже теперь все удивляются: что нужно было французам? Одни были католиками – ну и пусть. Другие гугенотами – пожалуйста! Сидите смирно и занимайтесь своими делами. Так католик, изволите видеть, не мог заснуть спокойно, пока не зарежет на сон грядущий гугенота. А гугеноты (из тех, которые еще не были зарезаны) спали и видели, как бы подстроить гадость католику. Противно читать даже эту позорную страницу французской истории. Ведь все равно эти религиозные дураки, с ног до головы залитые чужой и своей кровью, столько же имели шансов на царствие небесное, как любой уличный негодяй и разбойник. И ни одного в то время откровенного слова об этом, ни одного умного человека! Пишущий эти строки иногда даже кусает себе губы от досады: отчего его там не было?..

Варфоломеевская ночь

Грубые, глупые, коварные католики истребляли глупых простодушных гугенотов, как ретивые горничные клопов в барской постели.

Например, если нужно было католикам поубивать гугенотов, они делали это просто:

– Гугеноты, – говорила Екатерина Медичи (женщина, которую теперь не уважает даже мальчишка из третьего класса гимназии). – Гугеноты! Хотите, я выдам замуж сестру короля за вашего Генриха Наваррского?.. Не бойтесь! Приезжайте в Париж. Мы вас не тронем. Наоборот, проведем с вами очень веселую Варфоломеевскую ночь (1572).

Гугеноты, конечно, еще не знали, что такое «Варфоломеевская ночь», обрадовались, приехали в Париж, и им там устроили такую ночь, что гугеноты до сих пор не могут вспомнить о ней без отвращения.

Это произошло при короле Карле IX – слабой, безвольной душонке. Летописец того времени характеризует его так:

– Это второй зять Мижуев из «Мертвых душ». После него царствовал Генрих III, о котором даже говорить не стоит – такой это был никчемный человек!

Генрих Наваррский

А следующим королем был Генрих IV Наваррский. Его считают самым порядочным из людей того времени. Отношение к религии у него было благодушное, с оттенком настоящей веротерпимости… Начал он с того, что был гугенотом. Но после Варфоломеевской ночи, пойманный королем, он имел с ним разговор (см. беседу А и Б о земном шаре), после которого перешел в католичество. Однако, стоило только гугенотам начать новую войну с католиками, как Генрих немедленно сделался гугенотом. Но тут вышла маленькая загвоздка: протестанты провозгласили его королем, а католики-парижане не хотели его признавать.

– Чего же вы хотите? – спросил их веселый Генрих.

– Если бы ты был католиком… – нерешительно возразили парижане.

– Только-то? Да господи! Где тут у вас церковь?

И, принятый в лоно католической церкви, сказал историческую фразу:

– Господа! Вот вам историческая фраза: «Париж стоит хорошей обедни».

Это был весельчак, не дурак выпить, любитель женщин и храбрый рубака. Нам он вообще очень симпатичен. Народ свой он очень любил. Ему принадлежит еще одна историческая фраза:

– Господа! Вот вам еще одна историческая фраза: «Я желал бы, чтобы каждый французский крестьянин мог по праздникам иметь в супе курицу…»

Узнав, что это историческая фраза, окружающие запомнили ее, и до сих пор французы, гордясь добрым королем, показывают в Луврском музее хорошо сохранившееся чучело той самой курицы, которую Генрих IV хотел видеть в супе своих крестьян.

К сожалению, этот прекрасный король был убит по наущению иезуитов (читатель! остерегайся иезуитов). Вообще, короли того времени умирали или от руки убийц (Генрих III, Генрих IV), или от угрызений совести (Карл IX, Людовик XIII и др.).

Кардиналы

После Генриха IV на престол вступил кардинал Ришелье и, как свежий человек, быстро привел дела Франции в порядок. Ему наследовал престол кардинал Мазарини, человек не менее свежий (настолько, что Анна Австрийская, женщина уже не первой молодости, тайком вышла за него замуж).

Около этих двух королей кормились еще два Людовика: XIII и XIV, – но они не мешались ни во что, и благодарная история пожимает им за это руки.

Мы бы рассказали подробнее о вышесказанном любопытнейшем периоде французской истории, но не хотим отбивать хлеб у нашего коллеги, который употребил на это всю свою жизнь (Александр Дюма. «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон»).

Дюма рассказывает об этом периоде гораздо подробнее – болтливый, как всякий француз… То, что можно сказать на двух страницах, – он растянул на три с половиной тысячи страниц.

Впрочем – бог с ним.

Всякому есть хочется.

Тюдоры, Стюарты и К°

Первым королем из фамилии Тюдоров в Англии был Генрих VII, а вторым – Генрих VIII.

Последний отличался семейными наклонностями. Женатый на принцессе Екатерине Арагонской, он через 20 лет супружеской жизни вспомнил, что жена его раньше была замужем за покойным братом, и развелся с ней. Женился на Анне Болейн. После нее – еще на одной девушке Иоанне Сеймур; и еще на одной; он даже не помнил ее имени… и еще на одной; и еще на одной. Таким образом, у него было шесть жен, – не хватало еще седьмой, чтобы борода его посинела.

История Тюдоров и Стюартов напоминает Ветхий Завет наизнанку… Там – Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков – и т. д.

А вот подлинная история Тюдоров и Стюартов: Генрих VIII казнил жену свою Анну Болейн. Мария Стюарт казнила своего мужа Дарнлея. Королева Елизавета казнила королеву Марию Стюарт.

Кромвель казнил короля Карла I. Иаков II казнил сына Карла II, герцога Монмута. И только на Иакове II прекратилась эта странная династия: Иакова II никто не казнил, а просто он, как гласит история: «забросил в Темзу государственную печать, а сам убежал».

В это же время в Англии несколько раз менялись религии: один король был ревностным католиком и насаждал католичество, убивая еретиков; другой король вспоминал, что Англия не хуже других стран, и вводил какую-нибудь новую веру, вроде англиканской, убивая еретиков. Опять приходилось прежних католиков переделывать на пуритан; но садился на престол следующий король… пуритане ему решительно не нравились. То ли дело католики!

И опять начиналась длинная процедура перекрещивания уже несколько раз перекрещенных англичан. Священники наживались на этих старых крестинах, а народ скучал в такой одно-

образной жизни, разорялся и бедствовал, – пока не пришел Кромвель. Это был хитрый мужичок, который хотя и обладал «голосом хриплым и монотонным, речью растянутою и грубою, а одевался небрежно», но когда он сказал своим хриплым монотонным голосом:

– Довольно!

Все поняли, что действительно «довольно». Кромвель ввел парламент, поднял английскую торговлю и мореплавание; за это благодарные англичане поднесли талантливому самородку титул «Оливера», который до сих пор красуется в истории рядом с его именем. Так отблагодарила Англия своего великого человека.

При Карле II возникла войнаториев и вигов. Кто же это, спрашивается, такие?

Понятнее всего для читателя будет, если мы прибегнем к приему, уже однажды нами использованному:

Тори – плохие, глупые, тупые, косные люди.

Виги – симпатичные, прогрессивные, очень хорошие люди.

Благодаря усилиям последних, в Англии был издан закон под названием habeas corpus[8]. У русского читателя потекли бы слюнки, если бы он узнал, что это такое… Но по цензурным условиям мы объяснить этого не можем.

Великие люди

Во время всех вышеприведенных передряг и смут появился в Англии Шекспир. Это был хотя и знаменитый писатель, но рост имел очень маленький, почему о нем впоследствии и говорили:

Сапоги выше Шекспира!

Другой знаменитый человек того времени был Бэкон, отец «опытной» философии. Он доказал, как дважды два, что единственный путь к достижению истины есть наблюдение над правдой, исследование действительности (Иловайский. «Нов. История»). Это учение имело такой успех, что Бэкона сделали государственным канцлером. Но однажды наехала в суды ревизионная комиссия, рассмотрела состояние судопроизводства в Англии и выяснила, что Бэкон брал взятки и, вообще, совершал всякие злоупотребления. Его посадили в тюрьму.

Таким образом, его же теория (наблюдение и исследование действительности) послужила ему только во вред.

Был еще в Англии в те времена Мильтон, но он был совершенно слепой.

Дания, Швеция и Норвегия

Об этих странах лучше всего ничего не писать… В самом деле: кто их знает? Кто ими интересуется? Решительно никто.

Появились там три великих человека: Ибсен, Бьёрнстьерне-Бьернсон и Гамсун, да и то в самое последнее время.

А раньше был только один Ваза[9].

И все у них было как-то несерьезно, по-детски – будто игра в куклы. Страны были маленькие, ничтожные, а тянулись за большими, подражали взрослым: так же устраивали политические восстания, казнили противников и, конечно, вводили Реформацию. Но все было у них на детский рост: вместо войн – стычки, вместо казней – пустяки.

---

[8] Habeas corpus (*лат.*) – название Закона о свободе личности, принятого английским парламентом в 1679 году. По этому закону никто без решения суда не мог подвергнуть кого-либо задержанию или аресту. Каждый гражданин в случае ареста имел право требовать, чтобы в течение суток ему было предъявлено судебное обвинение, а при отсутствии такового требовать освобождения из-под ареста.

[9] Ваза (Васа) – шведская королевская династия в 1523 – 1654. Основатель Густав I.

Да и Реформация была какая-то такая…

Что же это за история?

Польша

И Польша то же самое: никакого толку в ней не было. Кажется, и люди были умные, и воины храбрые – а все– таки ничего у них не клеилось…

Была, по моде того времени, взамен католической, своя собственная вера, но какая-то странная: антитринитарии[10]. Что это такое – и до сих пор никто не знает.

С королями тоже не ладилось.

Стоило только прекратиться роду королей Сигизмундов, как стали приглашать на престол кого попало: французского принца Генриха Анжуйского, давшего потом потихоньку тягу во Францию; какого-то седмиградского воеводу Батория; шведского принца Сигизмунда и многих других.

В газетах того времени нетрудно было встретить объявление такого рода:

> РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ
> ищет трезвого, хорошего поведения короля.
> Без аттестата от последнего места не являться.

Человеку ограниченному может показаться странным:

Как так не найти короля?

Дело объяснялось очень просто: «король» – было только такое слово, – и больше ничего. Никакой власти королю не давалось. Всякий делал, что хотел, и это называлось liberum veto[11]. И частенько по ночам плакали короли в подушку от этого liberum veto…

Удивительнее всего, что и парламент существовал у поляков (сейм), но никогда пишущему эти строки (да простит мне старая Польша!) не приходилось встречать более нелепого учреждения.

Например, собираются триста человек и решают вопрос о том, что нужно поднять благосостояние страны. Кажется – дело хорошее? 299 человек в восторге от проекта, а трехсотый, какой-нибудь скорбный главой шляхтич, неожиданно заявляет: «А я не хочу». – «Да почему?!» – «Вот не хочу, да и не хочу!» – «Но ведь должны же быть какие-нибудь основания?» – «Никаких! Не желаю!» И, благодаря этому трехсотому, решение проваливалось!! (Иловайский. С. 96.)

Можно ли писать историю такой страны? Конечно, нет. Это только Иловайский способен.

Тридцатилетняя война (1618 – 1648)

Как это ни скучно, но нам приходится опять возвращаться к борьбе католиков с протестантами.

Человеку нашего времени решительно непонятно: как можно воевать из-за религиозных убеждений?

Ведь в таком случае человечество могло пойти дальше: брюнеты резали бы блондинов, высокие – маленьких, умные – глупых…

---

[10] Антитринитарии – приверженцы течения, секта в христианстве, не принимающие один из основных догматов христианства – догмат Троицы.

[11] Liberum veto – свободное вето. Право наложения единоличного запрета на постановление законодательного собрания (*лат.*).

А в те времена религиозные войны были обычным и привычным делом. Целые полки под командой глупых, с тупыми физиономиями полководцев носились из страны в страну, орали, молились, поджигали, разоряли, славили бога (своего собственного), грабили, горланили гнусавыми голосами псалмы и вешали пойманных иноверцев с таким хладнокровием, как теперь вешают собственное пальто на гвоздик.

История говорит, что после Тридцатилетней войны Германия пришла в такой упадок, возник такой голод, что жители некоторых мест принуждены были питаться человеческим мясом… Жаль, что этим кончили; с этого нужно было начать: переловить до войны всех этих тупоголовых полководцев, курфюрстов, ландграфов – и, сделав над собой усилие, поесть их. И страна бы не разорилась, и ни в чем не повинные люди остались бы несъеденными.

До чего раньше одна часть человечества была проста и доверчива, видно из следующего: в сущности, ни немецкие католики ничего не имели против протестантов, ни немецкие протестанты против католиков.

Но появились за спиной герцога Фердинанда иезуиты и шепнули сладким голосом:

– Ка-ак? Чехи протестанты? Какое безобразие! Чего же вы смотрите? Бейте их!

А кардинал Ришелье с другой стороны обрушился на протестантов:

– Чего вы смотрите, дурачье! Бейте католиков по чем попало! Всыпьте им хорошенько.

Теперь таким образом можно стравить только две пьяные компании в трактире, причем драка может продолжиться максимум полчаса. А в те времена столь примитивный прием был действителен на тридцать лет, и уменьшил он народонаселение Германии на пятьдесят процентов.

И господь жестоко покарал протестантов и католиков за эту тридцатилетнюю глупость: предводитель католиков Валленштейн был убит в своей спальне, предводитель протестантов Густав Адольф убит на поле битвы, а разные Фридрихи, Фердинанды и курфюрсты тоже поумирали от разных причин – и ни одного не осталось до наших дней, чтобы поведать нам об этой бестактной войне.

Результаты

Изголодавшиеся страны, в конце концов, съехались и заключили мир в Вестфалии – родине знаменитых окороков.

Летописец того времени утверждает, что воюющие стороны набросились прежде всего не друг на друга, а на окорока, и впервые за тридцать лет поели как следует…

А потом, когда стали делиться землями – глупые немецкие католики и протестанты, конечно, остались с носом: самые лакомые куски забрали французы и шведы.

Рассказывают, что, разобрав, в чем дело, один курфюрст почесал затылок и воскликнул:

– Да! Теперь, когда я кончил войну, я вижу, что я старый дурак.

– А когда вы ее начинали, – засмеялся француз, – вы были молодым дураком.

И все присутствующие иностранцы долго и раскатисто хохотали…

Людовик XIV и XV во франции

У французских королей того времени был один и тот же обычай, переходивший от отца к сыну: вступая на престол, король брал первого министра и первую любовницу (или любимицу, как мягко выражается Иловайский). Министр всегда оставался первым, а любимицы были и вторые и третьи.

Например:

Короли

Людовик XIII
Анна Австрийская
Людовик XIV
Людовик XV

Перв. министры
кард. Ришелье
кардинал Мазарини
Кольбер
кардинал Флери

Любимицы
Несколько:
Ментенон и др.,
де ла Вальер,
Помпадур

Но все-таки это был красивый изящный век, век менуэта, пудреных париков, Версальских праздников и любовных приключений.

Короли умели жить в свое удовольствие…

Всякий из них был настолько умен, что оставлял после себя историческую фразу, и народ поэтому его не забывал.

Людовик XIV, например, сказал:

– L'état c'est moi! (Государство – это я.) Народ прозвал его «Король-солнце». И верно. Никогда над Францией не всходило более жаркого солнца. Оно так жарило, что все финансы у Кольбера испарились, и первый министр даже получил, в конце концов, настоящий солнечный удар…

Вторая знаменитая фраза Людовика XIV, сказанная по поводу отправления внука в Испанию:

– Нет более Пиренеев!

Гораздо хуже первой. Мы считаем ее пустой бессмысленной фразой. Эдак всякий вдруг вскочит с места да крикнет:

– Нет более Монблана! Нет более западных отрогов Кордильер!

Сказать хорошо… А ты попробуй сделать.

Что касается Людовика XV, то он прославился тоже одной фразой:

– Après nous le déluge!

Что в переводе на русский язык значит:

– Начхать мне на моих потомков. Лишь бы мне хорошо жилось.

Великая французская революция показала, что у короля были свои основания повторять эту фразу.

Первые банкиры

Кроме этой фразы и своей «любимицы» Помпадур, король прославился также и тем, что в его царствование один шотландец, Джон Ло, изобрел остроумный способ выпускать ассигнации, продавая их за настоящее золото.

К сожалению, Джон Ло, открыв по поручению регента для этих операций целый банк, смотрел на кредитные билеты глазами десятилетнего гимназиста, который думает, что если нужны деньги – их можно печатать на обыкновенной бумаге, сколько влезет…

Вы понимаете, что получилось? Джон Ло в компании с королевским регентом, герцогом Орлеанским, напечатали бумажек на несколько миллиардов и очень радовались: вот, дескать, ловко придумали.

Но когда держатели ассигнаций испугались количества появившихся на рынке бумаг и потребовали свое золото обратно – банк лопнул, а Джон Ло заплакал и заявил, что «он вовсе не знал, что так будет».

Североамериканские штаты

Американские колонисты были мирными трудолюбивыми людьми.

Англичане, считая американских колонистов своими подданными, понемногу стали стеснять их свободу в смысле торговли и мореплавания.

Колонисты молчали.

Англичане ввели гербовую бумагу и некоторые сборы.

Колонисты промолчали. Была гробовая тишина.

Англичане стали взыскивать пошлины за привозные товары.

Колонисты поежились, переступили с ноги на ногу и неожиданно сказали:

– А, пойдите вы к черту!

Самолюбивые англичане спросили:

– То есть как?

– Да так. Проваливайте с вашими пошлинами.

Сказав это, схватили изумленных англичан за шиворот, повернули лицом к Англии и вытолкали.

Началась война. Вот это была хорошая, честная, умная, вызванная необходимостью война, и мы ее очень одобряем. Это не протестанты с католиками, а умные люди схватились не на живот, а на смерть из-за своих прав.

Когда колонисты победили и выгнали англичан, те пожали плечами и обиженно сказали:

– И не надо. И без вас проживем (1783).

– Ступайте, ступайте, – поощрили их колонисты, – пока вам еще не попало… Ишь! (Брадлей. «Нов. История». С. 201).

Германские правители XVIII века

Истинным бичом для несчастных учеников являются германские правители XVIII века. Мы не видели ни одного ученика, который не получил бы самым жалким образом единицы за «германских правителей в XVIII веке».

Даже пишущий эти строки, который считает себя человеком способным и сообразительным, историком опытным и знающим – и он, отойдя от своих манускриптов и покрытых пылью пергаментов, сейчас же начинал путать «германских правителей в XVIII веке».

Пусть кто-нибудь попробует запомнить эту тарабарщину, годную только для сухих тевтонских мозгов: великому курфюрсту бранденбургскому Фридриху-Вильгельму наследовал сын его просто Фридрих. Этому Фридриху наследовал опять Фридрих-Вильгельм. Кажется, на этом можно бы и остановиться. Но нет! Фридриху-Вильгельму наследует опять Фридрих!!

У прилежного ученика усталый вид… Пот катится с него градом… Ф-фу! Ему чудится скучная проселочная дорога, мелкий осенний дождик и однообразные верстовые столбы, без конца мелькающие в двух надоедливых комбинациях:

– Фридрих-Вильгельм, просто Фридрих. Опять Фридрих-Вильгельм, просто Фридрих…

Когда же ученик узнает, что «опять Фридриху» наследовал его племянник Фридрих-Вильгельм, он долго и прилежно рыдает над стареньким, закапанным чернилами Иловайским…

«Боже ж мой, – думает он. – На что я убиваю свою юность, свою свежесть?»

Историк, пишущий эти строки, может еще раз повторить имена династии Фридрихов. Вот, пожалуйста… Пусть кто-нибудь запомнит…

У великого курфюрста Фридриха-Вильгельма был сын Фридрих. Последнему наследовал Фридрих-Вильгельм, которому, в свою очередь, наследовал Фридрих; Фридриху же наследовал Фридрих-Вильгельм… Этот список желающие могут продолжать.

Даже история, беспристрастная история, запуталась во Фридрихах; до сих пор неизвестно, при каком именно Фридрихе случилась Семилетняя война. Доподлинно известно только, что он не был Вильгельмом.

Семилетняя война (1756 – 1763)

По сравнению с Тридцатилетней войной Семилетняя война была совсем девчонка. Та годилась бы ей в матери.

Воевали так: с одной стороны Фридрих (какой – неизвестно), с другой – Франция, Россия, Австрия и Швеция.

Швеция, собственно, была союзникам ни к чему, но она тоже вслед за большими ввязалась в драку, семеня слабыми ножонками где-то позади взрослых…

Большие усатые союзники, ухмыляясь в усы, спрашивали ее:

– Тебе еще чего нужно?

– А я, дяденьки, – шмыгая носом, пролепетала Швеция, – тоже хочу повоевать (Броун. «Семилетняя война». С. 21).

Воевали плохо. Побеждал Фридрих – способом очень легким: он ссорил союзников и разбивал их. Нападают, например, на него русские и австрийцы. Он немедленно садится за стол и пишет австрийскому полководцу письмо:

«Дорогой коллега! Охота вам связываться с этими русскими свиньями… Вы и один прекрасно меня победите. Ей-богу! И как вы можете допускать, чтобы в вашей армии командовал еще кто-то. Вы человек умный, красивый, симпатичный, а ваш товарищ просто необразованный дурак. Прогоните его скорее, а сами начните командовать».

Не было ни одного полководца, который не попался бы на эту удочку: получив письмо, прогонял союзного генерала, нападал на Фридриха и потом, разбитый, стремительно убегал от него с остатками армии и обидой в душе.

Семилетняя война была закончена вовремя: как раз прошло семь лет со времени ее начала.

Чисто немецкая аккуратность в исполнении принятых на себя обязательств.

Результаты Семилетней войны

Когда же войну закончили, то увидели, что и воевать не следовало: союзники хотели оттягать у Фридриха Силезию, но когда заключили мир (в Губертсбурге), «Силезия осталась у Фридриха (как говорит Иловайский), и каждая держава осталась при своем». И жалко их всех и смешно.

Великая французская революция

Король Людовик XVI

Выше мы указывали на стройную систему, которой держались французские короли: у каждого из них был первый министр и фаворитка.

Людовик XVI первый нарушил эту традицию. Фаворитки у него не было, а с первыми министрами он поступал так: попался ему один очень симпатичный человек, Тюрго. Только что этот Тюрго взялся за полезные, насущные реформы, как Людовик XVI под давлением аристократов спохватился и прогнал Тюрго. После Тюрго он, под давлением общественного мнения, пригласил управляющим финансами банкира Неккера, тоже взявшегося за реформы, но в скором времени спохватился и под давлением аристократии прогнал его. Впрочем, через некоторое время он, под давлением народа, снова пригласил Неккера.

Из вышеизложенного видно, что это был король, на которого не давил только ленивый.

Под давлением же народа было созвано королем Национальное собрание. Но тут вмешалось давление аристократии и придворных. Король послал Национальному собранию приказ разойтись. Оратор собрания Мирабо вскочил и заявил:

– Мы здесь по воле народа, и только сила штыков разгонит нас.

В эту минуту случилось так, что никто не давил на короля. Он кивнул головой и добродушно сказал:

– Ну ладно. Сидите уж.

Впрочем, через несколько дней, под давлением придворной партии, король решил стянуть к Парижу войска из иностранных наемников.

Тогда-то Франция и возмутилась против своего короля.

Говорят, что муж последний узнает об измене жены.

То же происходит и с королями, причем роль жены играет страна.

До чего Людовик XVI был слеп, показывает следующий исторический факт.

Когда ему доложили, что Национальное собрание отказалось разойтись, он всплеснул руками и сказал:

– Да ведь это каприз!

– Нет, государь, – возразили ему, – это скандал.

Через несколько дней ему донесли, что парижские граждане организовывают милицию. Опять всплеснул руками король:

– Да ведь это скандал!

– Нет, государь, – возразили ему, – это уже бунт.

А через два дня, когда парижане взяли и разрушили Бастилию, король, узнав об этом, снова патетически всплеснул руками и воскликнул:

– Да ведь это бунт!

– Нет, государь… Это уже – революция!

Тогда король успокоился и даже переехал из Версаля в Париж.

У Людовика XVI оставался еще прекрасный выход, которым он мог спасти свое положение: стоило ему только выбросить за двери всех придворных, которые оказывали на него давление, – всех тунеядцев, ленивых и глупых негодяев.

Вместо этого он:

1) Под давлением приближенных задумал бежать за границу. Был пойман и привезен в Париж.

2) Под давлением придворных вступил в переговоры с иностранными государствами, прося у них помощи против Франции.

За это Франция приговорила короля к смерти.

Он умер 21 января 1793 года под ножом гильотины и перед смертью впервые держал себя твердо и спокойно… Вероятно, потому, что почти никто уже не оказывал на несчастного короля давления…

Умер король, искупив кровью все безумства своих пышных предшественников, искупив разорение и упадок страны, искупив страшную гнусно-пророческую фразу своего деда:

– После меня хоть потоп!

Террор

Национальное собрание передало власть Законодательному собранию, а Законодательное собрание – Национальному Конвенту.

Если можно так выразиться – Франция левела с каждым днем.

Сначала у власти стояли жирондисты, казнившие врагов свободы, но когда они оказались недостаточно левыми – их сменили монтаньяры.

Монтаньяры с Робеспьером, Дантоном и Маратом во главе, конечно, немедленно казнили жирондистов как врагов свободы.

Когда все жирондисты были казнены, Робеспьер остановил свой рассеянный взор на Дантоне и подумал:

«А не казнить ли Дантона как врага свободы?»

Когда он предложил это товарищам монтаньярам, те очень обрадовались и казнили товарища Дантона.

Впрочем, вскоре после этого монтаньяры задали сами себе вопрос:

«А не отрубить ли голову товарищу Робеспьеру?»

Сделали это. У Робеспьера был товарищ монтаньяр Сент-Жюст. Отрубили голову и Сент-Жюсту.

Таким образом, из всей компании один только Марат умер своей смертью. Он был убит в ванне Шарлоттой Корде – «одной мечтательной девушкой», как мягко выражается Иловайский.

Наполеон Бонапарт

В то время как жирондисты и монтаньяры потихоньку рубили друг другу головы, Наполеон Бонапарт потихоньку выдвигался вперед.

– Кто же такой был Наполеон Бонапарт? – спросит любопытный читатель.

Это был обыкновенный артиллерийский офицер, выдвинувшийся при осаде Тулона.

Здесь мы категорически должны опровергнуть утверждение некоторых историков, которые производят имя великого Бонапарта от его военных подвигов на поле брани (На поле он). Во-первых, если бы это было так, то простая грамотность требовала бы иной орфографии (Наполеон), а во-вторых, Наполеон был французом, более того, корсиканцем – корсиканцы же, как известно, по-русски не говорят, почему назвали бы Наполеона по-французски (Il est sur le champ); кроме того, имена обыкновенно даются еще при рождении, когда самый проницательный человек не может определить размера будущих ратных подвигов ребенка…

Вообще, солидный читатель, мы уверены, не придаст серьезного значения этой неосновательной гипотезе…

Секрет успеха Наполеона, если вдуматься в него, оказывается очень прост: армия была предана ему душой и телом, а добиться такой привязанности у простых честных солдат было очень легко.

Мы сообщим рецепт успеха Наполеона на тот случай, если кто-нибудь из главнокомандующих и вообще генералов пожелает им воспользоваться.

Рецепт успеха

Предположим, кто-нибудь из читателей попал со своим войском в Египет. Предстоит упорная битва… Вы, не отдавая никаких сухих приказов и кисло-сладких распоряжений (вроде: «братцы, постоим же за матушку-родину… братцы, лупи неприятеля в хвост и гриву – получите потом по чарке коньяку!») – просто выбираете пару-другую пирамид повыше и указываете на них пальцем:

– Солдаты! – кричите вы. – Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид!

Простодушные солдаты поражены.

– Так много! – шепчут они. – Бросимся же, братцы, в бой!!

Если разобраться в сказанной вами фразе – в ней не найдется ничего существенного. Но закаленный в боях воин нетребователен. Ему многого не надо. «Сорок веков» его восхищают.

Если вблизи нет пирамид, можно придраться к чему-нибудь другому и опять привести солдат в крайнее возбуждение.

Например: кругом пусто, а сверху светит обыкновенное солнце.

– Солдаты! – торжественно говорите вы. – Это – то самое солнце (как будто бы есть еще другое), которое светило во время побед Людовика XII.

Не нужно смущаться тем, что злосчастный Людовик XII не имел ни одной победы – всюду его гнали без всякого милосердия…

Неприхотливым воинам это неважно. Лишь бы фраза была звонкая, эффектная, как ракета.

Конечно, полководец должен сообразоваться с темпераментом и национальностью своих солдат.

Немца на пирамиду не поймаешь… Ему нужно что-нибудь солидное, основательное или сентиментальное. Немцу можно сказать так:

– Ребята! Нас сорок тысяч, а врагов – пятьдесят. Но они все малорослые, худые, в то время как вы – толстые, большие. Каждый враг весит в среднем около трех пудов, а вся ихняя армия – 150 000 пудов. В вас же, в каждом – около пяти пудов, т. е. вся наша армия на 50 000 пудов тяжелее ихней. Это составит 25%. Неужели же мы их не поколотим?

Кроме того, немец любит слезу.

– Солдатики! – говорите вы, сдерживая рыдания. – Что же это такое? Неужели ж мы не победим их? Если мы их не победим, – подумайте, как будут огорчены ваши добрые мамаши, вяжущие на завалинке шерстяной чулок, и ваши престарелые папаши, пьющие за газетой свой зейдель пива, и ваши дорогие невесты, которые плачут и портят свои голубые глазки.

И все заливаются слезами: полководец, солдаты… даже последний барабанщик плачет, утирая слезу барабанными палками. Потом все бросаются в бой и побеждают.

Легче всего разговаривать с китайскими солдатами. Им нужно привести такой аргумент:

– Эй, слушайте там: все равно, рано или поздно, подохнете, как собаки. Так не лучше ли подохнуть теперь, всыпав предварительно врагу по первое число.

Есть еще один прием, к которому Наполеон часто прибегал и который привязывал солдат к полководцу неразрывными цепями.

Холодное, туманное утро… Солдаты жмутся у костров, сумрачные, в ожидании битвы.

Наполеон выходит из палатки и отзывает от костра одного солдата.

– Э… послушай, братец!.. Как зовут того солдата с усами, которому ты давал прикуривать и который так весело смеется?

– Этот? Жан Дюпон из Бретани. Он вчера письмо получил от больной матери, которая уже выздоравливает – и поэтому сейчас рад, как теленок.

Наполеон направляется к указанному солдату:

– Здорово, Жан Дюпон!

Дюпон расцветает. Император знает его фамилию! Император его помнит!..

– А что, Жан Дюпон, ведь прекрасная страна ваша Бретань?!

Дюпон еле на ногах стоит от счастья. Император Франции знает даже, откуда он!

– Ну как твоей матери – лучше теперь? Выздоравливает?

Если бедный солдатик не сходит сразу с ума от удивления и восторга – он падает перед чудесным повелителем на колени, целует руки и потом пытается убежать с определенной целью раззвонить товарищам обо всем, что произошло. Но Наполеон удерживает его:

– Скажи, от кого ты сейчас закуривал папиросу? Такой рыжий.

– А! Этот? Мой товарищ парижанин Клод Потофэ. Сирота. Отца его убили во время взятия Бастилии, и у него теперь, кроме невесты, маленькой Жанны, никого нет в Париже.

Часа через два Наполеон натыкается на Клода Потофэ.

– Здорово, старый товарищ, Клод Потофэ! Небось, сам здесь, – хе-хе! – а мысли в Париже, около маленькой Жанны. Эх, ты, плутишка!!! Ну, посмотрим, такой ли ты забияка в сражении, как твой отец, который свихнул свою старую шею около Бастилии 14 июля.

Клод Потофэ падает от изумления в обморок, а когда приходит в чувство, говорит своим товарищам, захлебываясь:

– Вот это полководец! Нас у него двести тысяч, а он знает и помнит жизнь каждого солдата, как свою собственную…

Наполеон – император

Если изучить как следует жизнь и деятельность Наполеона I, то придется сознаться, что этот человек подорвал в нас всякое уважение к истории человечества, к солидности и постепенности в прохождении того величавого медлительного пути, который свыше намечен народам мира.

Этот бывший артиллерийский офицерик носился по всей Европе, как собака, которой привязали к хвосту гремящую жестянку-честолюбие, дрался, как лев, хитрил, как лисица, пролез сначала в генералы, потом в первые консулы, потом в императоры и споткнулся только тогда, когда дальше идти было некуда – вся нечеловеческая прыть и прекрасная в своем ослепительном блеске наглость были исчерпаны до конца.

Пишущий эти строки счастлив, что ему представляется возможность закончить Всеобщую Историю человечества жизнью Наполеона I, – таким могучим аккордом, таким грандиозным апофеозом, который с самой беспощадной ясностью подчеркивает тщету всего земного, эфемерность так называемых «исторических и прочих условий».

Маленький человечек в треугольной шляпе и сером походном сюртуке захотел сделаться французским императором.

Он им сделался. Это так легко.

У него не было никаких предков королевской крови, никакой предшествующей династии, никаких традиций. Вероятно, поэтому он стал поступать дальше с прямотой и бесцеремонностью варвара, попавшего в музей, наполненный драгоценными реликвиями старины, прекрасными обветшалыми тронами и портретами целых поколений королей, к которым он относился с ироническим пожатием плеч разбогатевшего лавочника – себе на уме…

Сделавшись императором, он на минутку приостановился, призадумался, положив палец на губы, и махнул рукой:

– Эх! Сделаюсь уж, кстати, и королем Италии.

Кстати, сделался и королем Италии.

Наместником туда назначил пасынка своего Евгения Богарнэ, который при других условиях торговал бы на Корсике прованским маслом в розницу или занимался корсиканской вендеттой – делом, не требовавшим больших расходов, но и не дававшим никакой прибыли.

Можно вообразить, как смеялся в тиши своего кабинета или походной палатки Наполеон, раздавая направо и налево своим бедным родственникам троны и королевства.

Это делалось с такой легкостью и простотой, с какой сытый буржуа дарит своим бедным друзьям и родственникам старые галстуки и жилеты, отслужившие хозяину свою службу.

Например, докладывают Наполеону:

– Вас там в передней спрашивают.

– Кто спрашивает?

– Говорит – ваш братец Иосиф. Да только подозрительно – правда ли это? Уж больно вид у них… подержанный.

– Ага! Зови его сюда.

Брат входит, мнется, переступая с ноги на ногу, мнет измызганную шапчонку в руках…

Добрый Наполеон лобызается с братом.

– Жозеф! Ты! Очень рад тебя видеть. Что это ты в таком непрезентабельном виде?

– Я к тебе… Нет ли местечка какого?

Наполеон трет лоб.

– Гм… Местечка… Можно было бы назначить тебя вице-королем в Италию, но туда я уже Женю посадил. Местечко занято. Разве вот что: как тебе улыбается Неаполитанское королевство?

– Ну что ж… У меня положение такое, что пойду и на это.

– Вот и прекрасно. Завтра же можешь и выехать. Скажи там, что я назначил тебя неаполитанским королем. Спроси, где трон, – тебе покажут. Да я лучше записочку напишу.

– Вас там спрашивают, в передней.

– Кто?

– Говорят, братец Людовик. Вид тоже… тово…

– Бедняга! Зовите его сюда! Здорово, Людовик! Небось, тоже за местечком… Ну-с – пораскинем мозгами. Что у нас занято и что свободно? В Италии королевствует Евгений, в Неаполе Жозеф… Гм… А, вот! Голландия!! Хочешь быть голландским королем?

– Голландским? Другого ничего нет?

– Пока не предвидится.

– Ну хочу.

– Ну ладно.

Впрочем, не только к своим родственникам относился тепло добрый Наполеон.

За короткое время он сделал совершенно посторонним людям такие одолжения: герцогу Баварскому дал титул короля.

– Вюртенбергскому —

Курфюрсту Саксонскому —

– Баденскому – великого герцога.

Однажды Наполеону взгрустнулось.

– Что бы такое сделать?

После недолгого размышления он образовал из западногерманских владений «Рейнский союз», а себя назвал «протектором» этого союза.

Сам себя назвал. Никто не называл. Но когда он назвал себя протектором – все без споров стали называть его протектором.

Случилось однажды так: был у Наполеона еще третий брат Иероним – а королевств свободных больше не было… Что же делает умный Наполеон? Были у Пруссии какие-то земли «к западу от Эльбы». Наполеон отнимает их у пруссаков, составляет из них Вестфальское королевство – и отдает брату.

– На, милый. Ты хоть и младший, но будь не хуже других. Тоже не лыком шит!

Когда у Наполеона не осталось больше свободных родственников – он принялся за своих генералов. Брата своего Иосифа перевел из Неаполя в Испанию («довольно тебе, плутишка, быть неаполитанским королем – будь испанским»), а генерала Мюрата посадил на очистившийся неаполитанский престол.

Тех же генералов, которые не пользовались его расположением, Наполеон без всякого сожаления сажал на второстепенные троны. Так, его маршал Бернадот был посажен на шведский престол.

Историки рассказывают, что по этому поводу между Бернадотом и Наполеоном произошла тяжелая сцена.

– Сами садитесь на этот престол, – орал несдержанный Бернадот. – На что он мне! Не видал я вашего шведского престола!..

– Ничего, голубчик, сядешь! Невелика птица, – посмеивался Наполеон.

– Другие люди как люди, – рыдал огорченный Бернадот, – у того неаполитанский престол, у того испанский. А мне… Конечно… Понимаем-с, понимаем-с… Мы уже не нужны!! Мы уже свое сделали!! Ха-ха!.. Шведский престол…

– О, милый мой, – говорил мечтательно притихший Наполеон, – было время, когда и я бы с радостью ухватился за шведский престол…

– Было время… Конечно! Было время, когда мы без штанов бегали. Но это в прошлом, это золотое детство! А теперь – раз человек вырос, сделался солидным – вы обязаны дать ему престол – и не какой-нибудь, а большой, хороший.

– Ну ладно, старый ворчун. Садись пока на то, что есть, а потом мы тебе подыщем что-нибудь получше… Что ты скажешь, например, об Австрии? Хе-хе…

Только этой хитростью и можно было сломить упрямого Бернадота.

История говорит, что Бернадот так и кончил свою опальную жизнь в тиши и неизвестности, всеми забытый на своем шведском престоле…

Конец Наполеона

Наполеона погубило то, что он вздумал вести победоносную войну с русскими. Удивительнее всего, что так оно и случилось: Наполеон действительно вел победоносную войну с русскими. Всюду русские отступали. Наполеон побеждал, русские уходили из Москвы, Наполеон вступал в Москву, русские терпели поражения, Наполеон терпел победы.

Кончилось тем, что Наполеон потерпел последнюю победу при Березине и ускакал в Париж.

Солнце склонилось к западу…

Собака с прикрепленной к хвосту жестянкой-честолюбием была затравлена, загнана – и погибла.

Наполеон был щедрее победивших его союзников. Он дарил последнему из своих маршалов целые королевства, а союзники подарили ему, императору, маленький островок Святой Елены и одного подданного – конвойного сторожа, ухаживавшего за императором.

Гордый император терпеливо улыбался, а потом согнал улыбку с лица и умер, сложив в последний раз по-наполеоновски руки, – те самые руки, которые долгое время жонглировали «исторически сложившимися государствами» без всякой церемонии и деликатности.

Заключение

Более философского, поучительного и мудрого заключения Всеобщей Истории, чем жизнь и деятельность Наполеона I, – придумать нельзя.

У Наполеона не было своего личного герба (за хлопотами он забыл обзавестись им), но если бы был у Наполеона личный герб – ему приличествовала бы такая надпись:

«Vanitas vanitatum et omnia vanitas…»[12]

Что значит в переводе:

Не боги горшки обжигают.

[12] Суета сует и все – суета *(лат.)* Библия. Экклезиаст, 1, 2.

Король в изгнании

Нечистая сила

Несколько слов по поводу этого, которое

Иногда усталому, притомившемуся путнику приходится на ночь остановиться в полуразрушенном замке, пользующемся в окрестностях дурной славой.

– Я вам, сударь, не советую искать ночлега в замке, – предостерегает путника встреченный на дороге поселянин. – Там нечистая сила пошаливает.

Но утомился путник, и не до того ему, чтобы разбирать, нечистая или чистая сила пошаливает в замке.

И вот всходит он по гулким каменным ступеням, покрытым щебнем и мягкой пылью… Луна заглядывает в огромные разбитые окна, а под покрытым черной паутиной потолком бесшумные летучие мыши чертят свои причудливые узоры… А внизу мышеписки, стрекотанье, вздохи и треск – не то рассохшихся половиц, не то неотпетых человечьих костей.

Завернулся усталый путник в свой плащ, лег – и пошло тут такое, от чего волосы наутро делаются белыми, взгляд надолго застывает стеклянным ужасом…

Много всякого выползло, вышагнуло, выпрыгнуло и закружилось около путника в безумном хороводе: незакопанные покойники с веревкой на шее, вурдалаки, нежить разносортная, синие некрещеные младенцы с огромными водяночными головами и тонкими цепкими лапками, похожие на пауков, – шишиги, упыри, чиганашки – все, что неразборчивая и небрезгливая ночь скрывает в своих темных складках.

И кажется путнику, что уж нельзя больше выносить этого ужаса, что еще минутка, еще секундочка одна – и разорвется сердце от бешеных толчков, от спазма леденящего страха… Но чу! Что это? В самый последний, в предсмертный момент – вдруг раздался крик петуха – предвестника зари, света, солнца и радости.

Слабый это крик, еле слышный – и куда что девалось: заметалась, зашелестела вся нечисть, вся нежить, запищала последним писком и скрылась – кто куда.

А свет разгорается все больше и больше, а петух поет все громче и громче…

Здравствуй, милый петух!

Это не тот страшный «красный петух», что прогулялся по России от края до края и спалил все живое, это не изысканный галльский шантеклер, возвещающий зарю только в том случае, если ему будут уплачены проценты по займам и признаны все долги; это и не тот петух, после пения которого ученик трижды отрекся от своего божественного Учителя.

Нет, это наш обыкновенный честный русский петух, который бодро и весело орет, приветствуя зарю и забивая своим простодушным криком осиновый кол в разыгравшуюся в ночи нечистую силу.

Еще клубятся повсюду синие некрещеные младенцы, вурдалаки, упыри и шишиги – но уже раскрыт клюв доброго русского петуха – вот-вот грянет победный крик его…

А что это за нечистая сила, разыгравшаяся на Руси, – тому следуют пункты:

Наваждение

Вы, которым шестьдесят лет, или даже вы, которым сорок лет, или даже вы, молокососы, которым только двадцать лет, – вы помните, как жила вся необъятная Россия совсем еще недавно?

Ну как же вам не помнить: ведь прежняя жизнь складывалась столетиями, и не скоро ее забудешь!

Каждый день вставало омытое росой солнышко, из труб одноэтажных домиков валил приветливый дымок, с рынка тащились хозяйки, тяжело нагруженные говядиной, рыбой, яйцами, хлебом, овощами и фруктами, – все это за рубль серебра, а если семья большая, примерно из 6 или 7 душ, – то и все полтора рубля оставляла хозяйка на грабительском рынке. Немало бывало и воркотни:

– Проклятые купчишки опять вздули цену на сахарный песок, вместо 13 с половиной дерут по 14 копеечек – мыслимо ли этакое? А к курице прямо и не приступись: шесть гривен за такую, что и смотреть не на что!

Веселой гурьбой рассыпались по городу школьники, и пока еще были 5 – 10 минут свободных до звонка – с озабоченными лицами производили покупки для своего многосложного обихода: покупали бублик за копейку, маковник за копейку, вареное яйцо за копейку, перо за копейку, – и только трехкопеечная тетрадь надолго расстраивала и расшатывала весь бюджет юного финансиста. Единственное, что служило ему утешением, – это что за те же три копейки тороватым продавцом к тетради прилагалась бесплатно переснимочная картинка; картинка эта очень скоро при помощи сложного химического процесса, в котором участвовала слюна и указательный палец, – занимала почетное место в углу первой страницы Малинина и Буренина.

Из всех кузниц, из всех слесарных мастерских с самого раннего утра неслось бодрое постукивание – не диво ли? Кузнецы, слесаря, медники работали! А в другом месте свистящий рубанок плотника ловко закручивал причудливую, вкусно пахнущую сосновую стружку, а в третьем месте замасленный извозчик до седьмого поту торговался с прижимистым седоком из-за медного – о, настоящего медного – пятака:

– Веришь совести, сударь мой – сено-то нониче почем? По сорок копеечек за пуд дерут, оглоеды!

А в четвертом месте каменщики на постройке дома уже успели пошабашить на обед, и – любо глядеть, как огромная корявая лапа, истово перекрестив лоб, тянет из общей миски ложку каши едва-едва не с полфунта весом.

А в пятом месте «грабители-купчишки», успев сделать неслыханное злодеяние – взвинтить на полкопейки цену за сахарный песок, уже выдули по громадному чайнику кипятку ценой в копейку и уже уселись за вечные шашки со своими «молодцами» или с соседним грабителем-купчишкой.

Из окон белого домика с зеленой крышей несутся волны фортепианных пассажей, причудливо смешиваясь с запахом поджаренного в масле лука и визгом ошпаренной кухаркой собачонки, – и даже полицеймейстер занят делом: приподнявшись с сиденья пролетки и стоя одной ногой на подножке, он распекает околоточного за беспорядок: у самой обочины тротуара лежит труп кошки с оскаленными зубами.

Да что там полицеймейстер? – даже городской сумасшедший, дурачок Трошка, выдумал себе работу: набрал в коробочку щепочек, обгорелых спичек, старых пуговиц и зычно кричит на всю площадь:

– А вот ягода садовая, а вот фрукта! Здравия желаем, ваше превосходительство!

Солнце парит, петухи, окруженные вечно голодным гаремом, чуть не по горло зарылись в пыль в поисках съестного – и только одни лентяи и оболтусы стрижи носятся в знойном воздухе безо всякого смысла и дела.

А в воскресный день картина была иная – помните?

Нет уж кузнечных и слесарных стуков, над городом нависла прозрачная стеклянная праздничная тишина, и тишину эту только изредка разбивает густой басистый звон колокола соборной церкви; и, пролетев над городом, звон этот долго еще стелется гудящими волнами над прозрачной, как стекло, застывшей в зное прозрачного дня речкой, окаймленной осокой и вербами…

Тихо тут, и даже терпеливый воскресный рыболов, имеющий свои виды на пескаря или ершишку, – и тот не нарушает мертвой торжественной тишины – разве что иногда звучно вздохнет от напряженного ожидания.

А в городе так празднично, что прямо сил нет: у школьников накрахмаленные парусиновые блузы топорщатся, у каменщиков кумачовые праздничные рубахи топорщатся, волосы смочены лучшим лампадным маслом, лица с утра, пока не выпито, деревянно-торжественно-благоговейные, и даже праздничный полицеймейстер в парадном праздничном мундире накрахмален вместе с лошадью, кучером и пролеткой.

Сегодня он не ругается – только что у обедни благоговейно приложился к кресту и к руке отца протопопа – шутка ли?

А девушка из зеленого домика ради праздника, вместо гамм и упражнений, разрешила себе не только «Молитву Девы», но даже кусочек «Риголетто». А юная сестра ее с томиком Тургенева в руке тихо и чинно шагает в тенистый городской сад, и золотая коса, украшенная пышным лиловым бантом, еще больше золотится и сверкает на летнем воскресном солнце, а лицо – под полями соломенной шляпы – в тени, и такое это милое девичье русское лицо, что хочется нежно прильнуть к нему губами или просто заплакать от тихой сладкой печали и налетевшей откуда-то тоски неизвестного, неведомого происхождения.

В трактире Огурцова душно, накурено, пахнет пролитой на прилавок водкой и прокисшим пивом, но весело необыкновенно!

Гудит машина, и весь рабочий народ, как рой пчел, сгрудился около прилавка и за столиками, уставленными неприхотливой снедью: жареной рыбой, огурцами, битками с луком, яичницей-глазуньей ценой в пятиалтынный, – и целым океаном хлеба: черного, белого, пеклеванного – на что душа потянет.

Тяжелые стаканчики толстого зеленого стекла то и дело опрокидываются в отверстые бородатые, усатые пасти… Пасти крякают, захлопываются, а через секунду огурец звучно хрустит на белых, как кипень, зубах.

Да позвольте! Как же рабочему человеку не выпить? Оно и не рабочему хорошо выпить, а уж рабочему и бог велел.

Благословляю вас, голубчики мои, – пейте! Отдыхайте. Может быть, гармошка есть у кого? А ну, ушкварь, Вася! Расступись шире ты, православный народ! А ну, Спирька Шорник, покажи им где раки зимуют – не жалей подметок – жарь вовсю – Фома Кривой за целковый новые подбросит. Эх, люди-братие! Поработали вы за недельку – так теперь-то хоть тряхните усталыми плечами так, чтобы чертям было тошно! Эй, заворачивай-разворачивай! Ой, жги-жги-жги, говори!!

Пляшет Спирька, как бес перед заутреней, свирепо терзает двухрядку Вася, так что она только знай поеживается, да хрюкает, да повизгивает, а из собора, отстояв позднюю обедню, важно бредет восвояси купец с золотой медалью на красной ленте у самого горла под рыжей бородой. Не менее важно рядом с ним вышагивает кум-посудник, приглашенный на рюмку смородиновки и на воскресный пирог с рыбой, визигой, рисом, яйцами – с чертом в стуле…

Праздничные сумерки тихо опустились над притихшим городом…

В садиках под грушей, под липой, под кленом – кое– кто пьет вечерний чай с вишневым, смородиновым или клубничным вареньем; тут же густые сливки, кусок пирога от обеда, пузатый графин наливки и тихий усталый говор… Через забор в другом садике наиболее неугомонные сговариваются насчет стуколки, а поэтичный казначейский чиновник сидит на деревянном крылечке и, вперив задумчивые глаза в первые робкие звезды, тихо нащипывает струны гитарные…

Тссс… засыпает городок. Пусть: не будите, завтра ведь рабочий день.

Так вот и жили мы – помните?

Даже вы, двадцатилетние молокососы – нечего там, – должны это помнить…

* * *

И вдруг – трах-тара-рах! Бабах!!!

Что такое? В чем дело? Угодники святые!

Кто это перед нами стоит, избочась и нагло поблескивая налитыми кровью глазами? Неужели ты, Спирька Шорник? Владычица Пресвятая, Казанская Божья Матерь!! В чем же дело?

– А у том, собственно, – цедит сквозь зубы пренебрежительный Спирька, – что никакой Владычицы, никакой Казанской и нет, и все это был один обман и народная тьма. А есть Циммервальд, и есть у нас один вождь красного пролетариата, краса и гордость авангарда мировой революции – Лев Давидович Троцкий! Отречемся от старого ми-и-ра…

Вот тебе и пирог с визигой!

Было праздничное богослужение, народ трепетно прикладывался к кресту, а теперь взяли ни с того ни с сего и вздернули пастыря на той самой липе, под которой так хорошо пили чай со сдобными булочками, с малиновым и смородиновым вареньем.

И какое там, к черту, малиновое варенье, когда кислое повидло с тараканами 1500 рубликов фунт стоит.

А Спирька уже не шорник, а председатель совдепа, назначенный самим Совнаркомом, и скоро, поговаривают, будет назначен главкомвоенмором.

Позвольте, при чем тут главкомвоенмор? А где та девушка с золотой косой и томиком Тургенева под мышкой? Помните, та, что шла воскресным утром в тенистый городской сад?

– А! Неужели не слышали? Ее вместе с отцом, председателем Казенной палаты, доставили за контрреволюцию в чрезвычайку, а когда она выразила несогласие с системой допроса избитого отца – ее, как говорит русская пословица: «при попытке бежать застрелили».

– Опомнитесь! Есть ли у вас бог в душе!

– Говорят же вам, что декретом совнаркома бог отменен за мелкобуржуазность, а вместо него – не хотите ли Карла Либкнехта плюс Роза Люксембург – многие одобряют!

Да, чуть не забыл! Казначейский-то чиновник… Помните, что еще играл по вечерам на гитаре…

– Ну? Ну?!!

– Уже не играет на гитаре. Разбили гитару об голову за отказ выдать ключи от казначейской кассы.

– Кто же это разбил?

– Председатель совнархоза.

– Это что еще за кушанье?!

– Помилуйте! Совет народного хозяйства. Всем продовольствием ведает.

– Да ведь продовольствия нет?!

– Это точно, что нет. А совнархоз есть, это тоже точно.

Дивны дела твои, господи. Тащила хозяйка за рубль серебра с рынка и говядину, и мучицу, и овощь всякую, и фрукту – и не было тогда совнархоза. Волос дыбом, когда подумаешь, как по-свински жили – безо всякого совнархоза, без Агитпросвета и Политкома обходились, как дикари какие-то… Убоину каждый день лопали, пироги, да поросенка, да курчонка ценой в полтину.

А нынче Спирька – главкомвоенмор, всюду агитпросветы и пролеткульты… У барышни, игравшей по воскресеньям «Молитву Девы», рояль реквизировали, школьники, бездумно переводившие намоченными пальцами переснимочные картинки, передохли от социалистической голодухи, а купца с медалью на красной ленте просто утопили в речке за то, что был «мелкий хозяйчик и саботировал Предком».

Каменщики уже не работают, плотничьи рубанки уже не завивают прихотливых стружек, а кузнецы если и постукивают, так не по наковальням, а по головам несогласного с их платформой буржуазиата.

И не стрижи уже весело вьются, носятся над тихим городом… Имя этим новым, весело порхающим по городу птичкам иное – вороны, коршуны-стервятники. Вот уж кто питается – так на совесть!

Вот уж кому обильный Продком устроен!

Суммируя все вышесказанное – что, собственно, случилось?

В лето 1917-е приехали из немецкой земли в запечатанном вагоне некие милостивые государи, захватили дом балерины, перемигнулись, спихнули многоглаголивого господина, одуревшего от красот Зимнего дворца, спихнули, значит, и, собрав около себя сотню-другую социалистически настроенных каторжников, в один год такой совдеп устроили, что в сто лет не расхлебаешь.

Сидел Спирька Шорник у себя в мастерской, мирно работал, никого не трогал – явились к нему:

– Брось, дурак, работу – мы тебя главкомвоенмором сделаем. Грабь награбленное!

– А ежели бог накажет?

– Эва! Да ведь бога-то нет.

– А начальство?

– Раков в речке кормит.

– Да как же, наша матушка Расея…

– Нету матушки Расеи. Есть батюшка интернационал.

– Да ну! Комиссия отца Денисия!

– Ну, брат, теперь комиссия без отца Денисия. Аки плод на древе, красуется колеблемый ветром отец Денисий.

Крякнул только Спирька, натянул на лохматую голову шапчонку и, замурлыкав пророческий псалом:

«Эх, яблочко… куда котишься?» – пошел служить в комиссию без отца Денисия.

Покатился.

* * *

Ну что, голубчики русские… Обокрали нас, а! Без отмычек обокрали, без ножа зарезали…

И когда при мне какой-нибудь слащавый многодумец скажет:

– Что ни говорите, а Ленин и Троцкий замечательные люди…

Мне хочется спихнуть его со стула и, дав пинка – ногой в бок, вежливо согласиться с ним:

– А что вы думаете! Действительно, замечательные люди! Такие же, как один из учеников Спасителя мира – тоже был замечательный человек: самого Христа предал.

Так уж если Христа, самого бога, человек предал, то предать глупую, доверчивую Россию куда легче.

* * *

И когда снова Спирька возьмется за свои седла и уздечки, когда снова ароматная сосновая стружка завьется под рубанком плотника, когда купец будет торговать, а не плавать, как тюлень, в проруби, когда тонкие девичьи пальцы коснутся клавиш не подлежащего реквизиции рояля, и хозяйки побредут с рынка, сгибаясь не под тяжестью ненужных кредиток, а под благодетельной тяжестью дешевых мяс, хлебов и овощей, когда неповешенный пастырь благословит с амвона свое трудящееся мирное стадо, когда в воскресном воздухе понесутся волны запахов пирогов с визигой, ароматной вишневки, когда вместо зловещего коршунья и воронья – в синем, теплом воздухе снова закружатся стрижи – я скажу:

– Велик бог земли Русской!.. Мы три года метались в страшном, кошмарном сне, и земной поклон, великое спасибо тем, которые, взяв сонного русака за шиворот, тряхнули его так, что весь сон как рукой сняло. Тряхнули так, что, как говорится, «аж черти посыпались».

Голубеет небо, носятся, как угорелые, стрижи, плывет святорусский звон колокола, и прекрасная белокурая девушка – символ новой, но вечно старой России – снова идет с книжкой в уютный тенистый сад, где ласково кивают ей зеленеющие ветви:

– Милости просим: отдохни, девушка! Слава в вышних богу, на земле мир, в человецех благоволение…

– Отдохни, девушка.

Ах, как мы все устали, и как нам нужно отдохнуть.

И тем нужно отдохнуть, что бежали, преследуемые, и тем, что по канавам валялись расстрелянные, и тем, что гнили по чрезвычайкам, избитые, оплеванные, униженные грязной продажной лапой комиссара.

И этим нужно отдохнуть – вот этим самым комиссарам – всем этим Лениным и Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Луначарским, Дыбенкам – имена же их ты, диаволе, веси – и они поработали усердно и имеют право на сладкий отдых…

И отдых им один, отдых до конца дней их, до тех пор, пока огонек жизни будет теплиться в них: «Отдых на крапиве!..»

Добрые друзья за рамсом

Мы, обыкновенные люди, так уж устроены, что не любим ничего абстрактного. Нам подавай конкретное, покажи нам такое, чтобы мы могли не только пощупать собственными руками, а, пожалуй, еще и понюхать, а, пожалуй, еще и лизнуть языком: «Сладко ли, мол? Не кисло ли?»

Вот только тогда мы, действительно, всеми чувствами нашими поймем, «що воно таке».

Например, я: сколько ни читал сухих, очень дельных исторических монографий об Екатерине Второй и Потемкине – все не мог себе живо представить: что это были за люди во плоти и крови?

Сухая передача их дел и подвигов ни капельки не волновала меня и не заставляла работать мое воображение.

И представились они мне ясно, во весь рост, только тогда, когда я прочитал следующие несколько строк, брошенных вскользь русским писателем.

О Потемкине… «Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немножко крив, на лице изображалась надменная величавость, во

всех движениях была привычка повелевать». И дальше: «Потемкин молчал и небрежно чистил небольшой щеточкой свои бриллианты, которыми были унизаны его руки».

То же и об Екатерине II: «…Вакула осмелился поднять голову и увидел стоящую перед собой небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом… – «Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я еще не видала», – говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев». И дальше: «Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца…»

Всего несколько пустяковых штрихов – и обе фигуры стоят передо мной как живые.

* * *

Сейчас – нет спору – в России две самые интересные фигуры – Ленин и Троцкий. И за ними еще две – Горький и Луначарский.

А как мы можем их себе представить конкретно, этих живых людей, которые ходят, говорят, едят и любят?

Не по сухим же советским сводкам, не по очередному же выступлению Троцкого в ЦИКе, не по бескровным же унылым и вялым фельетонам Горького и Луначарского.

Поэтому и отношение у нас к ним такое, как к героям отечественной сказки, происходящей в некотором царстве, в тридевятом государстве, где бесшумно и бесплотно бродят какие-то абстрактные символы.

Нет, ты возьми каркас, скелет их возьми, да обложи его мясом, да перетяни сухожилиями, да обтяни кожей, да наполни живой теплой кровью, да заставь их ходить и говорить – вот я тогда сразу представлю себе, что такое Троцкий и Луначарский.

Да моему сердцу одна пустяковая фраза Ленина, оброненная мимоходом: «Товарищ Марфушка, ты опять к столу теплый монополь-сек подала? Ну что мне с тобой, дурищей, делать?!» – скажет больше, чем целая его декларация о текущем моменте, произнесенная на съезде перед сотней партийных дураков!..

И поэтому я иногда сам, для собственного удовольствия, представляю – как они там себе живут?

Одно лицо, приехавшее из Совдепии и заслуживающее уважения, рассказывая о тамошнем житье-бытье, бросило вскользь фразу:

– С Горьким у них дружба. Луначарский по вечерам ездит к Горькому в рамс играть. Иногда и Троцкий заезжает. Выпьют, закусят… Жизнь самая обыкновенная.

Стоп! Довольно. Больше ничего не надо.

Схватываю двумя пальцами эту маленькую закорючку хвостика и вытаскиваю на свет божий целую конкретную картину.

* * *

Кабинет Максима Горького. Зимний вечер. По мягкому ковру большими неслышными шагами ходит Горький, и спустившаяся прядь длинных прямых волос в такт шагам прыгает, танцует на квадратном лбу. Руки спрятаны в карманы черной суконной куртки, наглухо застегнутой у ворота, весь вид задумчивый.

На оттоманке в углу уютно устроилась с вязаньем жена его – артистка Андреева, управляющая ныне всеми столичными театрами.

– О чем задумался? – спрашивает Андреева.

– Вообще, так… Сегодня на Моховой видел человека мертвого: не то замерз, не то от голода. И все проходят совершенно равнодушно, а многие, вероятно, думают: завтра свалюсь я – и пройдут другие мимо меня так же равнодушно. Ужас, а?

– Сегодня ждешь кого-нибудь?

– Да, Луначарский звонил, что заедет. Троцкий с заседания обещал завернуть. Кстати, у нас закусить чего-нибудь найдется?

– Телятина есть холодная, куском. Макароны могу велеть сварить с пармезаном. Рыба заливная… Ну, консервы можно открыть. Сыр есть.

– А вино?

– Вино только красное. Портвейну всего три бутылки. Впрочем, водки почти не начатая четверть, та, что на лимонной корке настоял… А! Анатолий Васильевич… Забыли вы нас: три дня и глаз не казали. Нехорошо, нехорошо.

В дверях стоял, сощурив темные близорукие глаза, Луначарский и, облизывая языком ледяную сосульку, повисшую на рыжеватом усе, – усиленно протирал запотевшее в жаркой комнате пенсне.

– Холодище, – пробормотал он хрипловатым баритоном. – Я думаю, градусов 20. Мерзнет святая Русь, хе-хе. Ну что ж нынче – сразимся? Только если вы мне вкатите такой же ремиз, как третьего дня, – прямо отказываюсь с вами играть.

– А что же ваша супруга? – любезно спросила Марья Федоровна, складывая рукоделие.

– Да приключение с ней неприятное. Так сказать: приключилось умаленькое инкоммодите![13] Пошла вчера вечером пешком из театра – прогуляться ей, вишь, захотелось, это при двух-то автомобилях! – в темноте споткнулась на какой-то трупище, валявшийся на тротуаре, упала и все плечо себе расшибла. Такой синяк, что…

– Какой ужас! Компресс надо.

– Не по Моховой шла? – задумчиво спросил Горький.

– Ну где именье, где Днепр!.. При чем тут Моховая? А Лев Давидыч будет?

– Обещал заехать после заседания. А здорово, знаете, он играет в рамс. Умная башка!

– А жарковато у вас тут! Ф-фу!

– Да… Маруся любит тепло. Это у нее еще из Италии осталось.

– Анатолий Васильевич! Могу сообщить вам новость по вашей части: у нас почти весь сахар кончился.

– Отложил для вас полтора пудика. А мука как, что вчера послал, – хороша?

– О, прелесть. Настоящая крупчатка. Где это вы такую достали?

– А мне знакомые латыши спроворили. Очень полезный народ. Все как из-под земли достают. Например, любите малороссийскую колбасу?..

– Злодей! Он еще спрашивает!

– Слушаюсь! Будет. А вот и наш Леон Дрей. По гудку узнаю его автомобиль.

В кабинет вошел, молодцевато подергивая обтянутыми в коричневый френч плечами, Лев Давидыч Троцкий. На крепких бритых щеках остался еще налет тающего инея, желтые щегольские гетры до колен весело поскрипывали при каждом шаге.

– Драгоценная Мария Федоровна! Ручку. Здорово, панове! А я, простите, задержался – на пожаре был.

– Где пожар?

– На Глазовой. Эти канальи от холода готовы даже дома жечь, чтобы согреться. Я двух все-таки приказал арестовать – типичные поджигатели.

[13] Недомогание (*фр.*).

– Ну не будем терять золотого времени, – хлопотливо пробормотал Луначарский, посматривая на золотые часы. – Кстати, Левушка, об аресте… Помнишь, я тебя просил за того старика профессора, что сдуру голодный бунт на Петроградской стороне устроил? Выпустили вы его?

– Ах, да! К сожалению, поздно ты за него попросил. Звоню я в чрезвычайку на другой день, а его только что израсходовали. Еще тепленький.

– А, черт бы вас разодрал! И куда вы так вечно спешите. Ведь совершенно безобидный старик. Три дочери от голодного тифа скапустились. Он и того… Кому сдавать? Вам, Алексей Максимыч. Так-с. Я не покупаю. Ну зайдем с валетика, что ли. А это как вам понравится? А это!! Хе-хе… Все пять – мои; пишите ремизы.

Вошла горничная.

– Домна спрашивает – телятину подогреть?

– Наоборот, – поднял голову от карт Алексей Максимыч. – Красное вино подогрей, а телятина пусть холодная. С огурчиком.

* * *

– Господа, пожалуйте закусить. Вам телятинки сначала, рыбки или макарон? Рюмочку лимонной! Сам настаивал, хе-хе.

* * *

Так они и живут, эти приятели, так дорого обошедшиеся России.

Слабая голова

Позвонили мне по телефону.

– Кто говорит? – спросил я.

– Из дома умалишенных.

– Ага. Здравствуйте. Я ведь ничего, я только так. Хи-хи. Ну, как поживают больные?

– Насчет одного из них мы и звоним. Вы знавали Павла Гречухина?

– Ну как же! Приятели были. Да ведь он, бедняга, в 1915 году с ума сошел…

– Поздравляем вас! Только что совершенно выздоровел. Просится, чтобы вы его забрали отсюда.

– Павлушу-то? Да с удовольствием!

Заехал я за ним, привез к себе.

* * *

– Ф-фу! – сказал он, опускаясь в кресло. – Будто я снова на свет божий народился. Ведь, ты знаешь, я за это время совершенно был отрезан от мира. Рассказывай мне все! Ну как Вильгельм?

– Ничего себе, спасибо.

– Ты мне прежде всего скажи вот что: кто кого победил – Германия Россию или Россия Германию?

– Союзники победили Германию.

– Слава богу! Значит, Россия – победительница?

– Нет, побежденная.

– Фу ты, дьявол, ничего не пойму. А как же союзники допустили?

– Видишь ли, это очень сложно. Ты на свежую голову не поймешь. Спрашивай о другом.

– Как поживает Распутин?

– Ничего себе, спасибо, убит.

– Сейчас в России монархия?

– А черт его знает. Четвертый год выясняем.

– Однако, образ правления…

– Образа нет. Безобразие.

– Так-с. Печально. Спички есть? Смерть курить хочется.

– Нету спичек, не курю.

– Позови горничную.

– Маша-а-а!

– Вот что, Машенька, или как вас там… Вот вам три копеечки, купите мне сразу три коробки спичек.

– Хи-хи…

– Чего вы смеетесь? Слушай, чего она смеется?

– А видишь ли… У нас сейчас три коробки спичек дороже стоят.

– Намного?

– Нет, на пустяки. На пятьсот рублей.

– Только-то? Гм! Чего ж оно так?

– Да, понимаешь, за последнее время много поджогов было. Пожары все. Спрос большой. Вот и вздорожали.

– Так-с. Эва, как ботиночки мои разлезлись… Слушай, ты мне не одолжишь ли рублей пятьсот?

– На что тебе?

– Да немного экипироваться хотел: пальтецо справлю, пару костюмчиков, ботиночки, кое-что из бельеца.

– Нет, таких денег у меня нет.

– Неужели пяти катеринок не найдется?

– Теперь этого мало. Два миллиона надо.

Павлуша странно поглядел на меня и замолчал.

– Чего ты вдруг умолк?

– Да так, знаешь. Ну дай мне хоть сто рублишек. Поеду в Питер – там у меня родные.

– Они уже умерли.

– Как? Все?

– Конечно, все. Зря, брат, там в живых никто не останется.

– Ну я все-таки поеду. Хоть наследство получу.

– Оно уже получено. Теперь все наследства получает коммуна.

Взор его сделался странным. Каким-то чужим. Он посмотрел в потолок и тихо запел:

– Тра-та-та, тра-та-та,
Вышла кошка за кота.

Мне почему-то сделалось жутко. Чтобы отвлечь его мысли, я сообщил новость:

– А знаешь, твой кузен Володя служит в подрайонном исполкоме Совдепа.

Павлуша внимательно поглядел на меня и вежливо ответил:

– Ду-ю спик энглиш? Гай-ду-ду. Кис ми квик[14]. Слушай… Ну, я в Москву поеду…

[14] Вы говорите по-английски? Как поживаете? Поцелуйте меня побыстрее (*искаж. англ.*).

– Да не попадешь ты туда, чудак!

– Почему, сэр?

– Дойдешь ты до Михайловки, за Михайловкой большевики.

– Кто-о?

– Это тебе долго объяснять. Проехал ты, скажем, большевиков – начинается страна махновцев; проехал, если тебя не убьют, махновцев – начинается страна петлюровцев. Предположим, проехал ты и их… Только что въехал в самую Совдепию – возьмут тебя и поставят к стенке.

– Ну что ж, что поставят. А я постою и уйду.

– Да, уйдешь, как же. Они в тебя стрелять будут.

– За что?

– За то, что ты белогвардеец.

– Да я не военный.

– Это, видишь ли, тебе долго объяснять. Конечно, если ты достанешь мандат харьковского реввоенсовета или хоть совнархоза…

Павлуша схватился за голову, встал с кресла и стал танцевать на ковре, припевая:

Чикалу, ликалу
Не бывать мне на балу!
Чика-чика-чикалочки —
Едет черт на палочке…

– Знаешь что, Павлуша, – предложил я, – поедем прокатимся. Заедем по дороге в сумасшедший дом. Я там давеча портсигар забыл.

Он поглядел на меня лукавым взглядом помешанного.

– Ты ж не куришь?

– А я в портсигаре деньги ношу.

– Пожалуй, поедем, – согласился Павлуша, хитро улыбаясь. – Если ты устал, я тебя там оставлю, отдохнешь. Два-три месяца, и, глядишь, все будет хорошо.

Поехали.

Он думал, что везет меня, а я был уверен, что везу его.

Когда вошли в вестибюль, Павлуша отскочил от меня и, спрятавшись за колонну, закричал:

– Берите вот этого! Он с ума сошел.

Ко мне подошел главный доктор.

– Зачем вы его опять привезли? Ведь он выздоровел.

Я махнул рукой.

– Опять готов!

Павлуша вышел из-за колонны, расшаркался перед доктором и вежливо сказал:

– Простите, сэр, что я до сих пор не удосужился поджечь ваш прелестный дом. Но спички стоят так дорого, что лучше уж я стану к стеночке.

* * *

Взяли Павлушу. Повели.

Слава богу: хоть одного человека я устроил как следует.

Миша Троцкий

Как известно, у большевистского вождя Льва Троцкого – есть сын, мальчик лет 10 – 12.

Не знаю, может быть, у него еще есть дети – за истекший год я не читал «Готского альманаха», – но о существовании этого сына, мальчика лет 10 – 12, я знаю доподлинно: позапрошлым летом в Москве он вместе с отцом принимал парад красных войск.

Не знаю, как зовут сына Троцкого, но мне кажется – Миша. Это имя как-то идет сюда.

И когда он вырастет и сделается инженером, на медной дверной доске будет очень солидно написано:

«Михаил Львович Бронштейн, гражданский инженер».

Но мне нет дела до того времени, когда Миша сделается большим. Большие – народ не очень-то приятный. Это видно хотя бы по Мишиному папе.

Меня всегда интересовал и интересует маленький народ, все эти славные, коротко остриженные, лопоухие, драчливые Миши, Гриши, Ваньки и Васьки.

И вот когда я начинаю вдумываться в Мишину жизнь – в жизнь этого симпатичного, ни в чем не повинного мальчугана, – мне делается нестерпимо жаль его…

За какие, собственно, грехи попал мальчишка в эту заваруху?

Не спорю, – может быть, жизнь этого мальчика обставлена с большою роскошью, – может быть, даже с большею, чем позволяет цивильный лист: может быть, у него есть и гувернер – француз, и немка, и англичанка, и игрушки, изображающие движущиеся паровозы на рельсах, огромные заводные пароходы, из труб которых идет настоящий дым, – это все не то!

Я все-таки думаю, что у мальчика нет настоящего детства.

Все детство держится на традициях, на уютном, как ритмичный шелест волны, быте. Ребенок без традиций, без освященного временем быта – прекрасный материал для колонии малолетних преступников в настоящем и для каторжной тюрьмы в будущем.

Для ребенка вся красота жизни в том, что вот, дескать, когда Рождество, то подавайте мне елку, без елки мне жизнь не в жизнь; ежели Пасха – ты пошли прислугу освятить кулич, разбуди меня ночью да дай разговеться; а ежели яйца не крашеные, так я и есть их не буду – мне тогда и праздник не в праздник. И я должен для моего детского удовольствия всю Страстную есть постное и ходить в затрепанном затрапезном костюмчике, а как только наступит это великолепное Воскресение, ты обряди меня во все новое, все чистое, все сверкающее да пошли с прислугой под качели! Вот что-с!

Да что там – качели! Я утверждаю, что для ребенка праздник может быть совсем погублен даже тем, что на глазированной шапке кулича нет посредине традиционного розана или сливочное масло поставлено на праздничный стол не в форме кудрявого барашка, к чему мальчишка так привык.

Я не знаю, какие праздничные обычаи в доме Троцких – русские или еврейские, – но если даже еврейские, и еврейская пасха имеет целый ряд обольстительно-приятных для детского глаза подробностей.

Увы, я думаю, что Миша Троцкий – живет без всяких традиций чем так крепко детство, – без русских и без еврейских. Я думаю, папа его совсем запутался в интернационале – до русских ли тут, до еврейских ли обычаев, – когда целые дни приходится толковать с создателями новой России – с латышами, китайцами, немцами, башкирами, – это тебе не красное яичко, не розан в центре высокого, обаятельно пахнущего сдобой кулича.

* * *

Что Миша читает?

Совершенно не могу себе этого представить. Мальчик без Майн Рида – это цветок без запаха.

А Миша Майн Рида не читает.

Может быть, когда-нибудь ему и попались случайно в руки «Тропинка войны» или «Охотники за черепами», и, может быть, на некоторое время околдовало Мишу приволье и красота ароматных американских степей. Может быть, чудесной музыкой заиграли в его ушах такие заманчивые своей звучностью и поэзией слова:

«Сьерра-Невада, Эль-Пасо, Дель-Норте!..»

Но, прочтя эту книжку, принялся бродить притихший зачарованный Миша по огромным пустым комнатам папиного дворца, забрался в папин кабинет и, свернувшись незаметно клубочком на дальнем диване, услышал от представляющихся папе коммунистов и латышей совсем другие слова, почуял совсем другие образы:

– С тех пор, как, – серым однотонным голосом бубнит коммунист, – с тех пор, как мы ввели уезземелькомы, они стали в резкую оппозицию губпродкомам. Комбеды приняли их сторону, но уездревкомы приняли свои меры…

Потом подходит к столу латыш.

– Ну что, Лацис? Всех допросили…

– 28 человек. Из них 19 уже расстрелял, остальных после передопроса.

Лежит Миша, притихнув на диване, и меркнут в мозгу его образы, созданные капитаном Майн Ридом.

Какая там героическая борьба индейцев с белыми, вождя Дакоты с охотниками Рюбе и Гареем, какое там оскальпирование, когда вот стоит человек и, рассеянно вертя в руках пресс-папье, говорит, что он сегодня убил 19 живых людей.

А на красивые, звучные слова – Эль-Пасо, Дель-Норте, Сьерра-Невада, Кордильеры – наваливаются другие слова – тяжелые, дикие, похожие на тарабарский язык свирепых сиуксов: Губпродком, Центробалт, Уезземельком.

Поднимается с дивана Миша и, как испуганный мышонок, старается проскользнуть незаметно в детскую.

Но папа замечает его.

– А, Миша! Что ж ты не здороваешься с дядей Лацисом. Дай дяде ручку.

Эта операция не особенно привлекает Мишу, но он робко протягивает худенькую лапку, и она без остатка тонет в огромной, мясистой, жесткой «рабочей» лапе дяди Лациса.

– Ну иди, Миша, не мешай нам. Скажите, а с теми тремя, арестованными позавчера, вы кончили или…

Но Миша уже не слышит. Опустив голову, он идет в детскую с полураздавленной рукой и вконец расплющенным сердцем.

* * *

В конце концов, если у меня и есть на кого слабая надежда – так это на Мишину мать.

Авось, она не выдаст Мишу, и одним своим прикосновением ласковой руки к горячей голове расправит измятые полуоборванные лепестки детского сердца.

За обедом спросит:

– Чего ты такой скучный, Миша? Чего ты ничего не кушаешь?

– Мне скучно, мама.

В разговор ввязывается папа:

– Его уже нужно в училище отдать, так ему тогда не будет скучно. Хочешь, я тебя отдам в Первую Коммунистическую Нормальную Школу, а?

И вдруг коммунистическая мать вспыхивает и взлетает, как ракета.

– Ты! Ты! – кричит она, сжигая сверкающими глазами коммунистического папу. – Ты мне эти штуки с моим ребенком брось! Я знаю ваши «Нормальные» школы для мальчиков и девочек!! Ты там можешь себе проводить какую хочешь политику, но в семью этой дряни не вноси. Чтобы я послала своего сына на разврат? Лева, слышишь? Об этом больше нет разговора!

– Ну хорошо, ну ладно. Раскудахталась. Миша! Ну, если тебе скучно, поедем опять принимать парад красных войск – хочешь?

– Что ты со своими паршивыми парадами к ребенку пристал? Он же один, ему же нужны товарищи, а ты ему своими парадами-марадами голову морочишь!

– Ему нужны товарищи! Так чего же ты молчишь? Хочешь, я к нему пришлю поиграть сына Лациса – Карлушу?

– Лева! Я же тебе в тысячный раз повторяю: оставляй свою политику на пороге нашего дома! Чтобы я позволила моему сыну играть с этим латышонком, с сыном палача, который…

– Со-ня!!! Или ты замолчишь, или я уйду из-за стола! Что это за разговоры такие?

За столом – тяжелое, душное молчание.

Миша сидит, положив на тарелку вилку и ножик, не притронувшись к цыпленку, и смотрит невидящими глазами в стену.

– Что ты? – озабоченно спрашивает отец. – О чем задумался?

– Папа, ты знаешь, что такое Эль-Пасо и Дель-Норте?

– М… М… Не знаю. Я думаю, это сокращенное название какой-нибудь организации.

– А знаешь ты, что такое «Охотники за черепами»?

Лицо папы сначала бледнеет, потом краснеет:

– Послушай, ты! Дрянь-мальчишка… Если ты еще раз позволишь себе сказать что-либо подобное, я не посмотрю на тебя, что ты большой, – выдеру как сидорову козу! Понял?

Нет, Миша не понял.

На совести Мишиного папы тысячи пудов преступлений.

Но это его преступление – гибель Мишиной души – неуследимое, неуловимое, как пушинка, – и, однако, оно в моих глазах столь же подлое, отвратительное, как и прочие его убийства.

Перед лицом смерти

Кусочек материала к истории русской революции

Сколь различна психология и быт русского и французского человека.

Французская революция оставила нам такой примечательный факт:

Добрые, революционно настроенные парижане поймали как-то на улице аббата Мори. Понятно, сейчас же сделали из веревки петлю и потащили аббата к фонарю.

– Что это вы хотите делать, добрые граждане? – с весьма понятным любопытством осведомился Мори.

– Вздернем тебя вместо фонаря на фонарный столб.

– Что ж вы думаете – вам от этого светлее станет? – саркастически спросил остроумный аббат.

Толпа, окружавшая аббата, состояла из чистокровных французов, да еще парижан к тому же.

Ответ аббата привел всех в такой буйный восторг, что тут же единогласно ему было вотировано сохранение жизни.

Это французское.

А вот русское[15].

[15] Факт этот рассказан автору одним вполне заслуживающим доверия харьковцем. (*Прим. авт.*)

* * *

В харьковской чрезвычайке, где неистовствовал «товарищ» Саенко, расстрелы производились каждый день.

Делом этим, большею частью, занимался сам Саенко…

Накокаинившись и пропьянствовав целый день, он к вечеру являлся в помещение, где содержались арестованные, со списком в руках и, став посредине, вызывал назначенных на сегодня к расстрелу.

И все, чьи фамилии он называл, покорно вздыхая, вставали с ящиков, служивших им нарами, и отходили в сторону.

Понятно, что никто не молил, не просил – все прекрасно знали, что легче тронуть заштукатуренный камень капитальной стены, чем сердце Саенко.

И вот однажды, за два дня до прихода в Харьков добровольцев, явился, по обыкновению, Саенко со своим списком за очередными жертвами.

– Акименко!

– Здесь.

– Отходи в сторону.

– Васюков!

– Тут.

– Отходи.

– Позвольте мне сказать…

– Ну вот еще чудак… Разговаривает. Что за народ, ей-богу. Возиться мне с тобой еще. Сказано отходи – и отходи. Стань в сторонку. Кормовой!

– Здесь.

– Отходи. Молчанов!

– Да здесь я.

– Вижу я. Отойди. Никольский! – Молчание. – Никольский!!

Молчание. Помолчали все: и ставшие к стенке, и сидящие на нарах, и сам Саенко.

А Никольский в это время, сидя как раз напротив Саенко, занимался тем, что, положив одну разутую ногу в опорке на другую, тщательно вертел в пальцах папиросу-самокрутку.

– Никольский!!!

И как раз в этот момент налитые кровью глаза Саенко уставились в упор на Никольского.

Никольский не спеша провел влажным языком по краю папиросной бумажки, оторвал узкую ленточку излишка, сплюнул, так как крошка табаку попала ему на язык, и только тогда отвечал вяло, с ленцой, с развальцем:

– Что это вы, товарищ Саенко, по два раза людей хотите расстреливать? Неудобно, знаете.

– А что?

– Да ведь вы Никольского вчера расстреляли!

– Разве?!

И все опять помолчали: и отведенные в сторону, и сидящие на нарах.

– А ну вас тут, – досадливо проворчал Саенко, вычеркивая из списка фамилию. – Запутаешься с вами.

– То-то и оно, – с легкой насмешкой сказал Никольский, подмигивая товарищам, – внимательней надо быть.

– Вот поговори еще у меня. Пастухов!

– Иду!

А через два дня пришли добровольцы и выпустили Никольского.

* * *

Не знаю, как на чей вкус…

Может быть, некоторым понравился аббат Мори, а мне больше нравится наш русский Никольский.

У аббата-то, может быть, когда он говорил свою остроумную фразу, нижняя челюсть на секунду дрогнула и отвисла, а дрогни челюсть у Никольского, когда он, глядя Саенко в глаза, дал свою ленивую реплику, – где бы он сейчас был?

Античные раскопки

Когда шестилетний Котя приходит ко мне – первое для него удовольствие рыться в нижнем левом ящике моего письменного стола, где напихана всякая ненужная дрянь; а для меня первое удовольствие следить за ним, изучать совершенно дикариные вкусы и стремления.

Наперед никогда нельзя сказать, что понравится Коте: он пренебрежительно отбросит прехорошенькую бронзовую собачку на задних лапках и судорожно ухватится за кусок закоптелого сургуча или за поломанный ободок пенсне… Суконная обтиралка для перьев в форме разноцветной бабочки оставляет его совершенно равнодушным, а пустой пузырек из-под нашатырного спирта приводит в состояние длительного немого восторга.

Сначала я думал, что для Коти самое важное, издает ли предмет какой-либо запах, потому что и сургуч, и пузырек благоухали довольно сильно.

Но Котя сразу разбил это предположение, отложив бережно для себя металлический колпачок от карандаша и забраковав прехорошенький пакетик саше для белья.

Однако обо всяком подвернувшемся предмете он очень толково расспросит и внимательно выслушает:

– Дядя, а это что?

– Обтиралка для перьев.

– Для каких перьев?

– Для стальных. Которыми пишут.

– Пишут?

– Да.

– А ты умеешь писать?

– Да, ничего себе. Умею.

– А ну-ка, напиши.

Пишу ему на клочке бумаги: «Котька прекомичный пузырь».

– Да, умеешь. Верно. А это что?

– Ножик для разрезания книг.

Молча берет со стола книгу в переплете и, вооружившись костяным ножом, пытается разрезать книгу поперек.

После нескольких напрасных усилий вздыхает:

– Наверное, врешь.

– Ах, вру? Тогда между нами все кончено. Уходи от меня.

– Ну не врешь, не врешь. Пусть я вру – хорошо? Не гони меня, я тебе ручку поцелую.

– Лучше щечку.

Мир скрепляется небрежным, вялым поцелуем, и опять:

– Дядя, а это что?

В руках у него монетница белого металла с пружинками – для серебряных гривенников, пятиалтынных и двугривенных.

– Слушай, что это такое?

– Монетница.

Нюхает. Подавил пальцем пружинки, потом подул в них.

– Слушай, оно не свистит.

– Зачем же ему свистеть? Эта штука, брат, для денег. Вот видишь, сюда денежка засовывается. – Долго смотрит, прикладывая глазом.

– Она же четырехугольная!

– Кто?

– Да эти вот, которые… деньги.

Сует руку в боковой карманчик блузы и вынимает спичечную коробку – место хранения всех его капиталов.

Недоверчиво косясь на меня глазом (не вздумаю ли я, дескать, похитить что-либо из его денежных запасов), вынимает измятый, старый пятиалтынный.

– Видишь – вот. Как же положить?

– Чудак ты! Сюда кладут металлические деньги. Твердые. Вроде как эта часовая цепочка.

– Железные?

– Да, одним словом, металлические. Круглые.

– Круглые? Врешь ты… Нет, нет, не врешь… Я больше не буду! Хочешь, ручку поцелую? Слушай, а слушай…

– Ну?

– Ты показал бы мне такую… железную. Я никогда не видел…

– Нет у меня.

– Что ты говоришь? Значит, ты бедный?

– Все мы, брат, бедные.

– Дядя, чего ты сделался такой? Я ведь не сказал, что ты врешь. Хочешь, поцелую ручку?

– Отстань ты со своей ручкой!

Снова роется Котя в разной рухляди и – только в действительной жизни бывают такие совпадения – вдруг вытаскивает на свет божий настоящий серебряный рубль, неведомо как и когда затесавшийся среди двух половинок старого разорванного бумажника.

– А это что?

– Вот же они и есть – видишь? Те деньги, о которых я давеча говорил.

– Какие смешные. Совсем как круглые. Сколько тут?

– Рубль, братуха.

Денежный счет он знает. Из своей спичечной коробки вытаскивает грязный, склеенный в двух местах, рубль, долго сравнивает.

Из последующего разговора выясняется, до чего дьявольски практичен этот мальчишка.

– Слушай, он же тяжелый.

– Ну так что?

– Как же их на базар брали?

– Так и брали.

– Значит, в мешке тащили?

– Зачем же в мешке?

– Ну, если покупали мясо, картошку, капусту, яблоки… разные там яйца…

– Да мешок-то зачем?

– Пять-то тысяч штук отнести на базар надо или нет? Мать каждый день дает пять тысяч!

– Э-э… голубчик, – смеясь, прижимаю я его к груди. – Вот ты о чем! Тогда и парочки таких рублей было предовольно!

Смотрит он на меня молча, но я ясно вижу – на влажных губах его дрожит, вот-вот соскочит невысказанная любимая скептическая фраза: «Врешь ты, брат!..»

Но так и не слетает с уст эта фраза: Котька очень дорожит дружбой со мной.

Только вид у него делается холодно-вежливый: видишь, мол, в какое положение ты меня ставишь, – и врешь, а усумниться нельзя.

Мой первый дебют
(*из сборника «Отдых на крапиве»*)

Между корью и сценой существует огромное сходство: тем и другим хоть раз в жизни нужно переболеть.

Но между корью и сценой существует и огромная разница: в то время как корью переболеешь только раз в жизни – и конец, заболевание сценой делается хроническим, неизлечимым.

Более счастливые люди отделываются редкими припадками вроде перемежающейся лихорадки, выступая три-четыре раза в год на клубных сценах в любительских спектаклях; все же неудачники – люди с более хрупкими организмами – заболевают прочно и навсегда.

Три симптома этой тяжелой болезни: 1) исчезновение растительности на лице, 2) маниакальное стремление к сманиванию чужих жен и 3) бредовая склонность к взятию у окружающих денег без отдачи.

* * *

Гулял я всю свою жизнь без забот и огорчений по прекрасному белому свету, резвился, как птичка, и вдруг однажды будто злокачественным ветром меня прохватило.

Встречаю в ресторане одну знакомую даму – очень недурную драматическую артистку.

– Что это, – спрашиваю, – у вас такое лицо расстроенное?

– Ах, не поверите! – уныло вздохнула она. – Никак второго любовника не могу найти…

«Мессалина!» – подумал я с отвращением. Вслух резко спросил:

– А разве вам одного мало?

– Конечно, мало. Как же можно одним любовником обойтись? Послушайте… может, вы на послезавтра согласитесь взять роль второго любовника?

– Мое сердце занято! – угрюмо пробормотал я.

– При чем тут ваше сердце?

– При том, что я не могу разбрасываться, как многие другие, для которых нравственность…

Она упала локтями и головой на стол и заколыхалась от душившего ее смеха.

– Сударыня! Если вы способны смеяться над моим первым благоуханным чувством… над девушкой, которой вы даже не знаете, то… то…

– Да позвольте, – сказала она, утирая выступившие слезы. – Вы когда-нибудь играли на сцене?

Не кто иной, как черт, дернул меня развязно сказать:

– Ого! Сколько раз! Я могу повторять, как и Савина: «Сцена – моя жизнь».

– Ну?.. Так вы знаете, что такое на театральном жаргоне «любовник»?

– Еще бы! Это такие… которые… Одним словом, любовники. Я ведь давеча думал, что вы о вашей личной жизни говорите…

Она встала с видом разгневанной королевы:

– Вы нахал! Неужели вы думаете, что я могу в личной жизни иметь двух любовников?!

Это неопределенное возмущение я понял впоследствии, когда простак сообщил мне, что у нее на этом амплуа было и четыре человека.

– В наказание за то, что вы так плохо обо мне подумали, извольте выручить нас, пока не приехал Румянцев, – вы сыграете Вязигина в «После крушения» и Крутобедрова в «Ласточкином гнезде». Вы играли Вязигина?

Ее пренебрежительный тон так задел меня, что я бодро отвечал:

– Сколько раз!

– Ну и очень мило. Нынче вечером я пришлю роль. Репетиция завтра в одиннадцать.

Очевидно, в моей душе преобладает женское начало: сначала сделаю, а потом только подумаю: что я наделал!

* * *

Роль была небольшая, но привела меня в полное уныние.

Когда читаешь всю пьесу, то все обстоит благополучно: знаешь, кто тебе говорит, почему говорит и что говорит.

А в роли эти необходимые элементы отсутствовали.

Никакой дьявол не может понять такого, например, разговора:

Явление 6
Ард. В экипажах и пешком.
А, княжна Мэри.
Ард. Этого несчастья.
Спасибо, я вам очень обязан.
Ард. Его нужно пить.
Это вы так о ней выражаетесь…
Ард. Капризам.
В таком случае я способен переступить все границы.
Гриб. Две чечетки.
Надо быть во фраке.

Кто эти «Ард.» и «Гриб.»? Родственники мои, враги, старые камердинеры или светские молодые люди?..

Я швырнул роль на стол и, хотя было уже поздно, побежал к одному своему другу, который отличался тем, что все знал. Это был человек, у которого слово «нет» отсутствовало в лексиконе.

– Ты знаешь, что нужно, чтобы играть на сцене?

– Знаю.

– Что же? Скажи, голубчик!

– Только нахальство! Если ты вооружишься невероятной, нечеловеческой наглостью, то все сойдет с рук. Даже, пожалуй, похлопают.

– По ком? – боязливо спросил я.

– До тебя не достанут. Ладошами похлопают. Но только помни: нахальство, нахальство и еще раз оно же.

Ушел я успокоенный. На репетиции я заметил, что героем дня был суфлер. К нему все относились с тихим обожанием. Простак даже шепнул мне:

– Ах, как подает! Чудо!

Я удивленно посмотрел на суфлера: он ничего никому не подавал, просто читал по тетради. Однако мне не хотелось уронить себя:

– Это что за подача! Вот мне в Рязани подавали – так с ума сойти можно!

Я совсем не знал роли, но с некоторым облегчением заметил, что вся труппа в этом отношении шла со мной нога в ногу.

Актер, игравший старого графа, прислушался к словам суфлера и после монолога о том, что его сын проиграл десять тысяч, вдруг кокетливо добавил:

– Ах, я ни за что не выйду замуж!

– Это не ваши слова, – сонно заметил суфлер. – Дочка, вы говорите: «Ах, я ни за что не выйду замуж».

Дочка рабски повторила это тяжелое решение.

В путанице и неразберихе я был не особенно заметен, как незаметен обломок спички в куче старых окурков.

* * *

– Побольше нахальства! – сказал я сам себе, когда парикмахер спросил, какой мне нужен парик.

– Видите ли… Я вам сейчас объясню… Представьте себе человека избалованного, легкомысленного, но у которого случаются минуты задумчивости и недовольства собой, минуты, когда человек будто поднимается и парит сам над собой, уносясь в те небесные глубины…

– Понимаю-с, – сказал парикмахер, тряхнув волосами, – блондинистый городской паричок.

– А? Во-во! Только чтоб он на глаза не съехал.

– Помилуйте! А лак на что? Да и вошьем.

– Побольше нахальства! – сказал я сам себе, усаживаясь в вечер спектакля перед зеркалом гримироваться.

Увы!.. Нахальства было много, а красок еще больше. И куда, на какое место какая краска – я совершенно не постигал.

Вздохнул, мужественно нарисовал себе огромные брови, нарумянил щеки – задумался.

Вся гримировальная задача для новичка состоит только в том, чтобы сделаться на себя непохожим.

«Эх! Приклеить бы седую бороду – вот бы ловко! Пойди-ка тогда, узнай. Но раз по смыслу роли нельзя бороды – ограничимся усами».

Усы очень мило выделялись на багровом фоне щек.

* * *

В первом акте я должен выбежать из боковых дверей в белом теннисном костюме. Перед выходом мне сунули в руку какую-то плетеную штуку вроде выбивалки для ковров, но я решил, что эта подробность только стеснит мои первые шаги, и бросил плетенку за кулисами.

– А вот и я! – весело вскричал я, выскочив на что-то ослепительно яркое, с огромной зияющей дырой впереди.

– А, здравствуйте, – пропищала инженю. – Слушайте, тут пчела летает, я бою-юсь. Дайте вашу ракетку – я ее убью!..

Я добросовестно, как это делалось на репетициях, протянул ей пустую руку.

Она, видимо, растерялась.

– Позвольте… А где же ракетка?

– Какая ракетка? (Побольше наглости! Как можно больше нахальства!) Ракетка? А я, знаете, нынче именинник, так я ее зажег. Здорово взлетела. Ну как поживаете?

– Сошло! – пробормотал я, после краткого диалога вылетая за кулисы. – До седьмого явления можно и закурить.

* * *

– Вам выходить! – прошипел помощник режиссера.

– Знаю, не учите, – солидно возразил я, поглаживая рукой непривычные усы.

И вдруг… сердце мое похолодело: один плохо приклеенный ус так и остался между моими пальцами.

– Вам выходить!!!

Я быстро сорвал другой ус, зажал его в кулак и выскочил на сцену.

Первые мои слова должны быть такие:

– Граф отказал, мамаша.

Я решил видоизменить эту фразу:

– А я, мамаша, уже успел побриться. Идет? Не правда ли, моложе стал?

Усы в кулаке стесняли меня. Я положил их на стол и сказал:

– Это вам на память. Вделайте в медальон. Пусть это утешит вас в том, что граф отказал.

– Он осмелился?! – охнула мать моя, смахнув незаметно мой подарок на пол. – Где же совесть после этого?

Сошла и эта сцена. Я в душе поблагодарил своего всезнающего друга.

* * *

В третьем акте мои первые слова были:

– Он сейчас идет сюда.

После этого должен был войти старый граф, но в стройном театральном механизме что-то испортилось.

Граф не шел.

Как я после узнал, он в этот момент был занят тем, что жена била его в уборной зонтиком за какую-то обнаруженную интрижку с театральной портнихой.

– Он сейчас придет, мамаша, не волнуйтесь, – сказал я, покойно усаживаясь в кресло.

Мы подождали. На сцене секунды кажутся десятками минут.

– Он, уверяю вас, придет сейчас! – заорал я во все горло, желая дать знать за кулисы о беспорядке.

Граф не шел.

– Что это, мамаша, вы взволнованы? – спросил я заботливо. – Я вам принесу сейчас воды. – Вылетел за кулисы и зашипел: – Где граф, черт его дери?!!

– Ради бога, – подскочил помощник, – протяните еще минутку: он приклеивает оторванную бороду.

Я пожал плечами и вернулся.

– Нет воды, – грубо сказал я. – Ну и водопроводец наш!

Мы еще посидели…

– Мамаша! – нерешительно сказал я. – Есть ли у вас присутствие духа? Я вам хочу сообщить нечто ужасное…

Она удивленно и растерянно поглядела на меня.

– Дело в том, что когда я вышел за водой, то мимоходом узнал ужасную новость, мамаша. Автомобиль графа по дороге наскочил на трамвай, и графа принесли в переднюю с проломленной головой и переломанными ногами… Кончается!

Я уже махнул рукой на появление графа и только решил как-нибудь протянуть до тех пор, пока кто-нибудь догадается спустить занавес.

Мы помолчали.

– Да… – неопределенно протянул я. – Жизнь не ждет. Вообще, эти трамваи… Вот я вам сейчас расскажу историю, как у меня в трамвае вытянули часы. История длинная… так минут на десять, на пятнадцать, но ничего. Надо вам сказать, мамаша, что есть у меня один приятель – Васька. Живет он на Рождественской. С сестрой. Сестра у него красавица, пышная такая – еще за нее сватался Григорьев, тот самый, который…

– Вы меня звали, Анна Никаноровна? – вдруг вошел изуродованный мною граф, с достоинством останавливаясь в дверях.

– А, граф, – вскочил я. – Ну как ваше здоровье? Как голова?

– Вы меня звали, Анна Никаноровна? – строго повторил граф, игнорируя меня.

– Я рад, что вы дешево отделались, – с удовольствием заметил я.

Он поглядел на меня, как на сумасшедшего, заморгал и вдруг сказал:

– Простите, Анна Никаноровна, но я должен сказать вашему сыну два слова.

Он вытащил меня за кулисы и сказал:

– Вы что?! Идиот или помешанный? Почему вы говорите слова, которых нет в пьесе?

– Потому что надо выходить вовремя. Я вас чуть не похоронил, а вы лезете. Хоть бы голову догадались тряпкой завязать.

– Выходите! – прорычал режиссер.

* * *

Могу с гордостью сказать, что в этот дебютный день я покорил всех своей находчивостью.

В четвертом акте, где героиня на моих глазах стреляется, она сунула руку в ящик стола и… не нашла револьвера.

Она опустила голову на руки, и когда я подошел к ней утешить ее, она прошептала:

– Нет револьвера: что делать?

– Умрите от разрыва сердца. Я вам сейчас что-то сообщу. – Я отошел от нее, схватился за голову и простонал: – Лидия! Будьте мужественны! Я колебался, но теперь решил сказать все. Знайте же, что ваша мать зарезала вашу сестренку и отравилась сама.

– Ах! – вскрикнула Лидия и, мертвая, шлепнулась на пол.

* * *

Нас вызывали.

Я же того мнения, что если мы и заслужили вызова, то не перед занавесом, а в камере судьи – за издевательство над беззащитной публикой.

Белая ворона
(*из сборника «Рассказы циника»*)

Он занимался кристаллографией. Ни до него, ни после него я не видел ни одного живого человека, который бы занимался кристаллографией. Поэтому мне трудно судить – имелась ли какая-нибудь внутренняя связь между свойствами его характера и кристаллографией, или свойства эти не находились под влиянием избранной им профессии.

Он был плечистый молодой человек с белокурыми волосами, розовыми полными губами и такими ясными прозрачными глазами, что в них даже неловко было заглядывать: будто подсматриваешь в открытые окна чужой квартиры, в которой все жизненные эмоции происходят при полном освещении.

Его можно было расспрашивать о чем угодно – он не имел ни тайн, ни темных пятен в своей жизни, пятен, которые, как леопардовая шкура, украшают все грешное человечество.

Я считаю его дураком, и поэтому все наше знакомство произошло по-дурацки: сидел я однажды вечером в своей комнате (квартира состояла из ряда комнат, сдаваемых плутоватым хозяином), сидел мирно, занимался, вдруг слышу за стеной топот ног, какие-то крики, рев и стоны…

Я почувствовал, что за стеной происходит что-то ужасное. Сердце мое дрогнуло, я вскочил, выбежал из комнаты и распахнул соседнюю дверь.

Посредине комнаты стоял плечистый молодец, задрапированный красным одеялом, с диванной подушкой, нахлобученной на голову, и топал ногами, издавая ревущие звуки, приплясывая и изгибаясь самым странным образом.

При стуке отворенной двери он обернулся ко мне и, сделав таинственное лицо, предостерег:

– Не подходите близко. Оно ко мне привыкло, а вас может испугаться. Оно всю дорогу плакало, а теперь утихло… – И добавил с гордой самонадеянностью: – Это потому, что я нашел верное средство, как его развлечь. Оно смотрит и молчит.

– Кто «оно»? – испуганно спросил я.

– Оно, ребенок. Я нашел его на улице и притащил домой.

Действительно, на диване, обложенное подушками, лежало крохотное существо и большими остановившимися глазами разглядывало своего увеселителя…

– Что за вздор? Где вы его нашли? Почему вы обыкновенного человеческого ребенка называете «оно»?!

– А я не знаю еще – мальчик оно или девочка. А нашел я его тут в переулке, где ни одной живой души. Орало оно, будто его режут. Я и взял.

– Так вы бы его лучше в полицейский участок доставили.

– Ну вот! Что он, убил кого, что ли? Прехорошенький ребеночек! А? Вы не находите?

Он с беспокойством любящего отца посмотрел на меня.

В это время ребенок открыл рот и во всю мочь легких заорал.

Его покровитель снова затопал ногами, заплясал, помахивая одеялом и выкидывая самые причудливые коленца.

Наконец, усталый, приостановился и, отдышавшись, спросил:

– Не думаете ли вы, что он голоден? Что «такие» едят?

– Вот «такие»? Я думаю, все их меню заключается в материнском молоке.

– Гм! История. А где его, спрашивается, достать? Молока этого?

Мы недоумевающе посмотрели друг на друга, но наши размышления немедленно же были прерваны стуком в дверь.

Вошла прехорошенькая девушка и, бросив на меня косой взгляд, сказала:

– Алеша, я принесла вам взятую у вас книгу лекций профес… Это еще что такое?

– Ребеночек. На улице нашел. Правда, милый?

Девушка приняла в ребенке деятельное участие: поцеловала его, поправила пеленки и обратила вопросительный взгляд на Алешу.

– Почему он кричит? – строго спросила она.

– Не знаю. Я его ничем не обидел. Вероятно, он голоден.

– Почему же вы ничего не предпринимаете?

– Что же я могу предпринять?! Вот этот господин (он, кажется, понимает толк в этих делах…) советует покормить грудью. Не можем же мы с ним, согласитесь сами…

В это время его взор упал на юную, очевидно, только этой весной расцветшую, грудь девушки, и лицо его озарилось радостью.

– Послушайте, Наташа… Не могли бы вы… А?

– Что такое? – удивленно спросила девушка.

– Не могли бы вы… покормить его грудью? А мы пока вышли бы в соседнюю комнату. Мы не будем смотреть.

Наташа вспыхнула до корней волос и сердито сказала:

– Послушайте… Всяким шуткам есть границы… Я не ожидала от вас…

– Я не понимаю, что тут обидного? – удивился Алеша. – Ребенку нужна женская грудь, я и подумал…

– Вы или дурак, или нахал, – чуть не плача, сказала девушка, отошла к стене и уткнулась лицом в угол.

– Чего она ругается? – изумленно спросил меня Алеша. – Вот вы – человек опытный… Что тут обидного, если девушка покормит…

Я отскочил в другой угол и, пряча лицо в платок, затрясся.

Потом позвал его:

– Пойдите-ка сюда… Скажите, сколько вам лет?

– Двадцать два. А что?

– Чем вы занимаетесь?

– Кристаллографией…

– И вы думаете, что эта девушка может покормить ребенка…

– Да что ж ей… жалко, что ли?

Содрогание моих плеч сделалось до того явным, что юная парочка могла обидеться. Я махнул рукой, выскочил из комнаты, побежал к себе, упал на кровать, уткнул лицо в подушку и поспешно открыл все клапаны своей смешливости. Иначе меня бы разорвало, как детский воздушный шар, к которому приложили горящую папироску…

За стеной был слышен крупный разговор. Потом все утихло, хлопнула дверь, и по коридору раздались шаги двух пар ног.

Очевидно, хозяин и гостья, помирившись, пошли пристраивать куда-нибудь в более надежные руки свое сокровище.

* * *

Вторично я увидел Алешу недели через две. Он зашел ко мне очень расстроенный.

– Я пришел к вам посоветоваться.

– Что-нибудь случилось? – спросил я, заражаясь его озабоченным видом.

– Да! Скажите, что бы вы сделали, если бы вас поцеловала чужая дама?

– Красивая? – с цинизмом, присущим опытности, спросил я.

– Она красивая, но я не думаю, чтобы это в данном случае играло роль.

– Конечно, это деталь, – сдерживая улыбку, согласился я. – Но в таких делах иногда подобная пустяковая деталь важнее главного!

– Ну да! А в случае со мной главное-то и есть самое ужасное. Она оказалась – замужем!

Я присвистнул:

– Значит, вы целовались, а муж увидел?!

– Не то. Во-первых, не «мы целовались», а она меня поцеловала. Во-вторых, муж ничего и не знает.

– Так что же вас тревожит?

– Видите ли… Это в моей жизни первый случай. И я не знаю, как поступить? Жениться на ней – невозможно. Вызвать на дуэль мужа – за что? Чем же он виноват? Ах! Это случилось со мной в первый раз в жизни. Запутано и неприятно. И потом, если она замужем – чего ради ей целоваться с чужими?!

– Алеша!

– Ну?..

– Чем вы занимались всю вашу жизнь?

– Я же говорил вам: кристаллографией.

– Мой вам дружеский совет: займитесь хоть ботаникой. Все-таки это хоть немного расширит ваш кругозор. А то – кристаллография… она, действительно…

– Вы шутите, а мне вся эта история так неприятна, так неприятна…

– Гм… А с Наташей помирились?

– Да, – пробормотал он, вспыхнув. – Она мне объяснила, и я понял, какой я дурак.

– Алешенька, милый… – завопил я. – Можно вас поцеловать?

Он застенчиво улыбнулся и, вероятно, вспомнив по ассоциации о предприимчивой даме, сказал:

– Вам – можно.

Я поцеловал его, успокоил, как мог, и отпустил с миром.

* * *

Через несколько дней после этого разговора он робко вошел ко мне, поглядел в угол и осведомился:

– Скажите мне: как на вас действует сирень?

Я уже привык к таинственным извивам его свежей благоухающей мысли. Поэтому, не удивляясь, ответил:

– Я люблю сирень. Это растение из семейства многолетних действует на меня благотворно.

– Если бы не сирень – ничего бы этого не случилось, – опустив глаза вниз, пробормотал он. – Это «многолетнее» растение, как вы называете его, – ужасно!

– А что?

– Мы сидели на скамейке в саду. Разговаривали. Я объяснял ей разницу между сталактитом и сталагмитом – да вдруг – поцеловал!

– Алеша! Опомнитесь! Вы? Поцеловали? Кого?

– Ее. Наташу.

И, извиняясь, добавил:

– Очень сирень пахла. Голова кружилась. Не зная свойств этого многолетнего растения – не могу даже разобраться: виноват я или нет… Вот я и хотел знать ваше мнение?..

– Когда свадьба? – лаконически осведомился я.

– Через месяц. Однако, как вы догадались?! Она меня… любит!..

– Да что вы говорите?! Какое совпадение?! А помните, я прошлый раз говорил вам, что ботаника все-таки выше вашей кристаллографии. О зоологии и физиологии я уже не говорю.

– Да… – задумчиво проговорил он, глядя в окно светлым, чистым взглядом. – Если бы не сирень – я бы так никогда и не узнал, что она меня любит.

* * *

Он сидел задумчивый, углубленный в свои новые, такие странные и сладкие переживания, а я глядел на него, и мысли – мысли мудрого циника – копошились в моей голове.

«Да, братец… Теперь ты узнаешь жизнь… Узнаешь, как и зачем целуются женщины. Узнаешь на собственных детях, каким способом их кормить, а впоследствии узнаешь, может быть, почему жены целуют не только своих мужей, но и чужих молодых человеков. Мир твоему праху, белая ворона!..»

Дюжина ножей в спину революции

Предисловие

Может быть, прочтя заглавие этой книги, какой-нибудь сердобольный читатель, не разобрав дела, сразу и раскудахчется, как курица:

– Ах, ах! Какой бессердечный, жестоковыйный молодой человек – этот Аркадий Аверченко!! Взял да и воткнул в спину революции ножик, да и не один, а целых двенадцать!

Поступок – что и говорить – жестокий, но давайте любовно и вдумчиво разберемся в нем.

Прежде всего спросим себя, положа руку на сердце:

– Да есть ли у нас сейчас революция?..

Разве та гниль, глупость, дрянь, копоть и мрак, что происходит сейчас, – разве это революция?

Революция – сверкающая прекрасная молния, революция – божественно красивое лицо, озаренное гневом рока, революция – ослепительно яркая ракета, взлетевшая радугой среди сырого мрака!..

Похоже на эти сверкающие образы то, что сейчас происходит?..

Скажу в защиту революции более того – рождение революции прекрасно, как появление на свет ребенка, его первая бессмысленная улыбка, его первые невнятные слова, трогательно умилительные, когда они произносятся с трудом лепечущим, неуверенным в себе розовым язычком…

Но когда ребенку уже четвертый год, а он торчит в той же колыбельке, когда он четвертый год сосет свою всунутую с самого начала в рот ножку, превратившуюся уже в лапу довольно порядочного размера, когда он четвертый год лепечет те же невнятные, невразумительные слова, вроде: «совнархоз», «уезземельком», «совбур» и «реввоенком» – так это уже не умилительный, ласкающий глаз младенец, а, простите меня, довольно порядочный детина, впавший в тихий идиотизм.

Очень часто, впрочем, этот тихий идиотизм переходит в буйный, и тогда с детиной никакого сладу нет!

Не смешно, а трогательно, когда крохотный младенчик протягивает к огню розовые пальчики, похожие на бутылочки, и лепечет непослушным языком:

– Жижа, жижа!.. Дядя, дай жижу…

Но когда в темном переулке встречается лохматый парень с лицом убийцы и, протягивая корявую лапу, бормочет: «А ну, дай, дядя, жижи, прикурить цигарки или скидывай пальто», – простите меня, но умиляться при виде этого младенца я не могу!

Не будем обманывать и себя и других: революция уже кончилась, и кончилась она давно!

Начало ее – светлое, очищающее пламя, средина – зловонный дым и копоть, конец – холодные обгорелые головешки.

Разве мы сейчас не бродим среди давно потухших головешек – без крова и пищи, с глухой досадой и пустотой в душе.

Нужна была России революция?

Конечно, нужна.

Что такое революция? Это – переворот и избавление.

Но когда избавитель перевернуть – перевернул, избавить – избавил, а потом и сам так плотно уселся на ваш загорбок, что снова и еще хуже задыхаетесь вы в предсмертной тоске и судороге голода и собачьего существования, когда и конца-краю не видно этому сиденью на

вашем загорбке, то тогда черт с ним и с избавителем этим! Я сам, да, думаю, и вы тоже, если вы не дураки, – готовы ему не только дюжину, а даже целый гросс «ножей в спину».

Правда, сейчас еще есть много людей, которые, подобно плохо выученным попугаям, бормочут только одну фразу:

– Товарищи, защищайте революцию!

Позвольте, да вы ведь сами раньше говорили, что революция – это молния, это гром стихийного божьего гнева… Как же можно защищать молнию?

Представьте себе человека, который стоял бы посреди омраченного громовыми тучами поля и, растопырив руки, вопил бы:

– Товарищи! Защищайте молнию! Не допускайте, чтобы молния погасла от рук буржуев и контрреволюционеров!!

Вот что говорит мой собрат по перу, знаменитый русский поэт и гражданин К. Бальмонт, мужественно боровшийся в прежнее время, как и я, против уродливостей минувшего царизма.

Вот его буквальные слова о сущности революции и защите ее:

«Революция хороша, когда она сбрасывает гнет. Но не революциями, а эволюцией жив мир. Стройность, порядок – вот что нужно нам, как дыхание, как пища. Внутренняя и внешняя дисциплина и сознание, что единственное понятие, которое сейчас нужно защищать всеми силами, это понятие Родины, которая выше всяких личностей и классов и всяких отдельных задач, – понятие настолько высокое и всеобъемлющее, что в нем тонет все, и нет разнствующих в нем, а только сочувствующие и слитно работающие – купец и крестьянин, рабочий и поэт, солдат и генерал».

«Когда революция переходит в сатанинский вихрь разрушения – тогда правда становится безгласной или превращается в ложь. Толпами овладевает стихийное безумие, подражательное сумасшествие, все слова утрачивают свое содержание и свою убедительность. Если такая беда овладевает народом, он неизбежно возвращается к притче о бесах, вошедших в стадо свиней»…

«Революция есть гроза. Гроза кончается быстро и освежает воздух, и ярче тогда жизнь, красивее цветут цветы. Но жизни нет там, где грозы происходят беспрерывно. А кто умышленно хочет длить грозу, тот явный враг строительства и благой жизни. И выражение «защищать революцию», должен сказать, мне кажется бессмысленным и жалким. Настоящая гроза не нуждается в защите и подпорках. Уж какая же это гроза, если ее, как старушку, нужно закутывать в ватное одеяло».

Вот как говорит К. Бальмонт… И в одном только он ошибается – сравнивая нашу «выросшую из пеленок» революцию с беспомощной старушкой, которую нужно кутать в ватное одеяло.

Не старушка это – хорошо бы, коли старушка, – а полупьяный детина с большой дороги, и не вы его будете кутать, а он сам себя закутает вашим же, стащенным с ваших плеч, пальто.

Да еще и ножиком ткнет в бок.

Так такого-то грабителя и разорителя беречь? Защищать?

Да ему не дюжину ножей в спину, а сотню – в дикобраза его превратить, чтобы этот пьяный, ленивый сутенер, вцепившийся в наш загорбок, не мешал нам строить Новую Великую Свободную Россию!

Правильно я говорю, друзья-читатели? А?

И если каждый из вас не бестолковый дурак или не мошенник, которому выгодна вся эта разруха, вся эта «защита революции», то всяк из вас отдельно и все вместе должны мне грянуть в ответ:

– Правильно!!!

Фокус великого кино

Отдохнем от жизни.

Помечтаем. Хотите?

Садитесь, пожалуйста, в это мягкое кожаное кресло, в котором тонешь чуть не с головой. Я подброшу в камин угля, а вы закурите эту сигару. Недурной «Боливар», не правда ли? Я люблю, когда в полумраке кабинета, как тигровый глаз, светится огонек сигары. Ну, наполним еще раз наши рюмки темно-золотистым хересом – на бутылочке-то пыли сколько наросло – вековая пыль, благородная, – а теперь слушайте…

* * *

Однажды в кинематографе я видел удивительную картину. Море. Берег. Высокая этакая отвесная скала, саженей в десять. Вдруг у скалы закипела вода, вынырнула человеческая голова, и вот человек, как гигантский, оттолкнувшийся от земли мяч, взлетел на десять саженей кверху, стал на площадку скалы – совершенно сухой – и сотворил крестное знамение так: сначала пальцы его коснулись левого плеча, потом правого, потом груди и, наконец, лба.

Он быстро оделся и пошел прочь от моря, задом наперед, пятясь, как рак. Взмахнул рукой, и окурок папиросы, валявшийся на дороге, подскочил и влез ему в пальцы. Человек стал курить, втягивая в себя дым, рождающийся в воздухе. По мере курения, папироса делалась все больше и больше и, наконец, стала совсем свежей, только что закуренной. Человек приложил к ней спичку, вскочившую ему в руку с земли, вынул коробку спичек, чиркнул загоревшуюся спичку о коробочку, отчего спичка погасла, вложил спичку в коробочку; папиросу, торчащую во рту, сунул обратно в портсигар, нагнулся – и плевок с земли вскочил ему прямо в рот. И пошел он дальше также задом наперед, пятясь, как рак. Дома сел перед пустой тарелкой и стаканом, вылил изо рта в стакан несколько глотков красного вина и принялся вилкой таскать изо рта куски цыпленка, кладя их обратно на тарелку, где они под ножом срастались в одно целое. Когда цыпленок вышел целиком из его горла, подошел лакей и, взяв тарелку, понес этого цыпленка на кухню – жарить… Повар положил его на сковородку, потом снял сырого, утыкал перьями, поводил ножом по его горлу, отчего цыпленок ожил и потом весело побежал по двору.

* * *

Не правда ли, вам понятно, в чем тут дело: это обыкновенная фильма, изображающая обыкновенные человеческие поступки, но пущенные в обратную сторону.

Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту!..

Повернул ручку назад – и пошло-поехало…

Передо мной – бумага, покрытая ровными строками этого фельетона. Вдруг – перо пошло в обратную сторону, будто соскабливая написанное, и когда передо мной – чистая бумага, я беру шляпу, палку и, пятясь, выхожу на улицу…

Шуршит лента, разматываясь в обратную сторону.

Вот сентябрь позапрошлого года. Я сажусь в вагон, поезд дает задний ход и мчится в Петербург.

В Петербурге чудеса: с Невского уходят, забирая свои товары, селедочницы, огуречницы, яблочницы и невоюющие солдаты, торгующие папиросами… Большевистские декреты, как шелуха, облетают со стен, и снова стены домов чисты и нарядны. Вот во весь опор примчался на автомобиле задним ходом Александр Федорович Керенский. Вернулся?!

Крути, Митька, живей!

Въехал он в Зимний дворец, а там, глядишь, все новое и новое мелькание ленты: Ленин и Троцкий с компанией вышли, пятясь, из особняка Кшесинской, поехали задом наперед на вокзал, сели в распломбированный вагон, тут же его запломбировали – и укатила вся компания задним ходом в Германию.

А вот совсем приятное зрелище: Керенский задом наперед вылетает из Зимнего дворца – давно пора, – вскакивает на стол и напыщенно говорит рабочим: «Товарищи! Если я вас покину – вы можете убить меня своими руками! До самой смерти я с вами».

Соврал, каналья. Как иногда полезно пустить ленту в обратную сторону!

Быстро промелькнула февральская революция. Забавно видеть, как пулеметные пули вылетали из тел лежащих людей, как влетали они обратно в дуло пулеметов, как вскакивали мертвые и бежали задом наперед, размахивая руками.

Крути, Митька, крути!

Вылетел из царского дворца Распутин и покатил к себе в Тюмень. Лента-то ведь обратная.

Жизнь все дешевле и дешевле… На рынках масса хлеба, мяса и всякого съестного дрязгу.

А вот и ужасная война тает, как кусок снега на раскаленной плите; мертвые встают из земли и мирно уносятся на носилках обратно в свои части. Мобилизация быстро превращается в демобилизацию, и вот уже Вильгельм Гогенцоллерн стоит на балконе перед своим народом, но его ужасные слова, слова паука-кровопийцы об объявлении войны, не вылетают из уст, а, наоборот, глотает он их, ловя губами в воздухе. Ах, чтоб ты ими подавился!..

Митька, крути, крути, голубчик!

Быстро мелькают поочередно четвертая Дума, третья, вторая, первая, и вот уже на экране четко вырисовываются жуткие подробности октябрьских погромов.

Но, однако, тут это не страшно. Громилы выдергивают свои ножи из груди убитых, те шевелятся, встают и убегают, летающий в воздухе пух аккуратно сам слетается в еврейские перины, и все принимает прежний вид.

А что это за ликующая толпа, что за тысячи шапок, летящих кверху, что это за счастливые лица, по которым текут слезы умиления?!

Почему незнакомые люди целуются, черт возьми!

Ах, это Манифест 17 октября, данный Николаем II свободной России…

Да ведь это, кажется, был самый счастливый момент во всей нашей жизни!

Митька! Замри!! Останови, черт, ленту, не крути дальше! Руки поломаю!..

Пусть замрет. Пусть застынет.

– Газетчик! Сколько за газету? Пятачок?

– Извозчик! Полтинник на Конюшенную, к «Медведю». Пошел живей, гривенник прибавлю. Здравствуйте! Дайте обед, рюмку коньяку и бутылку шампанского. Ну как не выпить на радостях… С манифестом вас! Сколько с меня за все? Четырнадцать с полтиной? А почему это у вас шампанское десять целковых за бутылку, когда в «Вене» – восемь? Разве можно так бессовестно грабить публику?

Митька, не крути дальше! Замри. Хотя бы потому остановись, что мы себя видим на пятнадцать лет моложе, почти юношами. Ах, сколько было надежд, и как мы любили, и как нас любили.

Отчего же вы не пьете ваш херес! Камин погас, и я не вижу в серой мгле – почему так странно трясутся ваши плечи: смеетесь вы или плачете?

Поэма о голодном человеке

Сейчас в первый раз я горько пожалел, почему мама в свое время не отдала меня в композиторы.

То, о чем я хочу сейчас написать, ужасно трудно выразить в словах… Так и подмывает сесть за рояль, с треском опустить руки на клавиши – и все, все как есть, перелить в причудливую вереницу звуков, грозных, тоскующих, жалобных, тихо-стонущих и бурно-проклинающих.

Но немы и бессильны мои негибкие пальцы, но долго еще будет молчать хладнокровный, неразбуженный рояль, и закрыт для меня пышный вход в красочный мир звуков…

И приходится писать мне элегии и ноктюрны привычной рукой – не на пяти, а на одной линейке, – быстро и привычно вытягивая строку за строкой, перелистывая страницу за страницей. О, богатые возможности, дивные достижения таятся в слове, но не тогда, когда душа морщится от реального прозаического трезвого слова, – когда душа требует звука, бурного, бешеного движения обезумевшей руки по клавишам…

Вот моя симфония – слабая, бледная в слове…

* * *

Когда тусклые серо-розовые сумерки спустятся над слабым, голодным, устало смежившим свои померкшие, свои сверкающие прежде очи Петербургом, когда одичавшее население расползется по угрюмым берлогам коротать еще одну из тысячи и одной голодной ночи, когда все стихнет, кроме комиссарских автомобилей, бодро шныряющих, проворно, как острое шило, вонзающихся в темные безглазые русла улиц, – тогда в одной из квартир Литейного проспекта собираются несколько серых бесшумных фигур и, пожав друг другу дрожащие руки, усаживаются вокруг стола пустого, освещенного гнусным воровским светом сального огарка.

Некоторое время молчат, задыхающиеся, усталые от целого ряда гигантских усилий: надо было подняться по лестнице на второй этаж, пожать друг другу руки и придвинуть к столу стул – это такой нестерпимый труд!..

Из разбитого окна дует… но заткнуть зияющее отверстие подушкой уж никто не может – предыдущая физическая работа истощила организм на целый час.

Можно только сидеть вокруг стола, оплывшей свечи и журчать тихим, тихим шепотом…

Переглянулись.

– Начнем, что ли? Сегодня чья очередь?

– Моя.

– Ничего подобного. Ваша позавчера была. Еще вы рассказывали о макаронах с рубленой говядиной.

– О макаронах Илья Петрович рассказывал. Мой доклад был о панированной телячьей котлете с цветной капустой. В пятницу.

– Тогда ваша очередь. Начинайте. Внимание, господа!

Серая фигура наклонилась над столом еще ниже, отчего черная огромная тень на стене переломилась и заколебалась. Язык быстро, привычно пробежал по запекшимся губам, и тихий хриплый голос нарушил могильное молчание комнаты.

– Пять лет тому назад – как сейчас помню – заказал я у «Альбера» навагу фрит и бифштекс по-гамбургски. Наваги было 4 штуки, – крупная, зажаренная в сухариках, на масле, господа! Понимаете, на сливочном масле, господа. На масле! С одной стороны лежал пышный ворох поджаренной на фритюре петрушки, с другой – половина лимона. Знаете, этакий лимон ярко-желтого цвета и в разрезе посветлее, кисленький такой разрез… Только взять его в руку

и подавить над рыбиной… Но я делал так: сначала брал вилку, кусочек хлебца (был черный, был белый, честное слово) и ловко отделял мясистые бока наваги от косточки…

– У наваги только одна косточка, посредине, треугольная, – перебил, еле дыша, сосед.

– Тсс! Не мешайте. Ну, ну?

– Отделив куски наваги, причем, знаете ли, кожица была поджарена, хрупкая этакая и вся в сухарях… в сухарях, – я наливал рюмку водки и только тогда выдавливал тонкую струю лимонного сока на кусок рыбы… И я сверху прикладывал немного петрушки – о, для аромата только, исключительно для аромата, – выпивал рюмку и сразу кусок этой рыбки – гам! А булка-то, знаете, мягкая, французская этакая, и ешь ее, ешь, пышную, с этой рыбкой. А четвертую рыбку я даже не доел, хе-хе!

– Не доели?!!

– Не смотрите на меня так, господа. Ведь впереди был бифштекс по-гамбургски – не забывайте этого. Знаете, что такое – по-гамбургски?

– Это не яичница ли сверху положена?

– Именно!! Из одного яйца. Просто так, для вкуса. Бифштекс был рыхлый, сочный, но вместе с тем упругий и с одного боку побольше поджаренный, а с другого – поменьше. Помните, конечно, как пахло жареное мясо, вырезка – помните? А подливки было много, очень много, густая такая, и я любил, отломив корочку белого хлебца, обмакнуть ее в подливочку и с кусочком нежного мясца – гам!

– Неужели жареного картофеля не было? – простонал кто-то, схватясь за голову, на дальнем конце стола.

– В том-то и дело, что был! Но мы, конечно, еще не дошли до картофеля. Был также наструганный хрен, были капорцы – остренькие, остренькие, а с другого конца чуть не половину соусника занимал нарезанный этакими ромбиками жареный картофель. И черт его знает, почему он так пропитывается этой говяжьей подливкой. С одного бока кусочки пропитаны, а с другого совершенно сухие и даже похрустывают на зубах. Отрежешь, бывало, кусочек мясца, обмакнешь хлеб в подливку, да зацепив все это вилкой, вкупе с кусочком яичницы, картошечкой и кружочком малосольного огурца…

Сосед издал полузаглушенный рев, вскочил, схватил рассказчика за шиворот и, тряся его слабыми руками, закричал:

– Пива! Неужели ты не запивал этого бифштекса с картофелем крепким пенистым пивом!

Вскочил в экстазе и рассказчик.

– Обязательно! Большая тяжелая кружка пива, белая пена наверху, такая густая, что на усах остается. Проглотишь кусочек бифштекса с картофелем да потом как вопьешься в кружку…

Кто-то в углу тихо заплакал:

– Не пивом! не пивом нужно было запивать, а красным винцом, подогретым! Было там такое бургундское, по три с полтиной бутылка… Нальешь в стопочку, поглядишь на свет – рубин, совершенный рубин…

Бешеный удар кулаком прервал сразу весь этот плывший над столом сладострастный шепот.

– Господа! Во что мы превратились – позор! Как мы низко пали! Вы! Разве вы мужчины? Вы сладострастные старики Карамазовы! Источая слюну, вы смакуете целыми ночами то, что у вас отняла кучка убийц и мерзавцев! У нас отнято то, на что самый последний человек имеет право – право еды, право набить желудок пищей по своему неприхотливому выбору – почему же вы терпите? Вы имеете в день хвост ржавой селедки и 2 лота хлеба, похожего на грязь, – вас таких много, сотни тысяч! Идите же все, все идите на улицу, высыпайте голодными отчаянными толпами, ползите, как миллионы саранчи, которая поезд останавливает своим количе-

ством, идите, навалитесь на эту кучку творцов голода и смерти, перегрызите им горло, затопчите их в землю, и у вас будет хлеб, мясо и жареный картофель!!

– Да! Поджаренный в масле! Пахнущий! Ура! Пойдем! Затопчем! Перегрызем горло! Нас много! Ха-ха-ха! Я поймаю Троцкого, повалю его на землю и проткну пальцем глаз! Я буду моими истоптанными каблуками ходить по его лицу! Ножичком отрежу ему ухо и засуну ему в рот – пусть ест!!

– Бежим же, господа. Все на улицу, все голодные!

При свете подлого сального огарка глаза в черных впадинах сверкали, как уголья… Раздался стук отодвигаемых стульев и топот ног по комнате.

И все побежали… Бежали они очень долго и пробежали очень много: самый быстрый и сильный добежал до передней, другие свалились – кто на пороге гостиной, кто у стола столовой.

Десятки верст пробежали они своими окостеневшими, негнущимися ногами… Лежали, обессиленные, с полузакрытыми глазами, кто в передней, кто в столовой – они сделали, что могли, они ведь хотели.

Но гигантское усилие истощилось, и тут же все погасли, как растащенный по поленьям сырой костер.

А рассказчик, лежа около соседа, подполз к его уху и шепнул:

– А знаешь, если бы Троцкий дал мне кусочек жареного поросенка с кашей – такой, знаешь, маленький кусочек, – я бы не отрезывал Троцкому уха, не топтал бы его ногами! Я бы простил ему…

– Нет, – шепнул сосед, – не поросенок, а знаешь что?.. Кусочек пулярки, такой, чтобы белое мясо легко отделялось от нежной косточки… И к ней вареный рис с белым кисленьким соусом…

Другие лежащие, услышав шепот этот, поднимали жадные головы и постепенно сползались в кучу, как змеи от звуков тростниковой дудки…

Жадно слушали.

* * *

Тысяча первая голодная ночь уходила… Ковыляя, шествовало на смену тысяча первое голодное утро.

Трава, примятая сапогом

– Как ты думаешь, сколько мне лет? – спросила небольшая девочка, перепрыгивая с одной ноги на другую, потряхивая темными кудрями и поглядывая на меня сбоку большим серым глазом…

– Тебе-то? А так я думаю, что тебе лет пятьдесят.

– Нет, серьезно. Ну пожалуйста, скажи.

– Тебе-то? Лет восемь, что ли?

– Что ты! Гораздо больше: восемь с половиной.

– Ну?! Порядочно. Как говорится: старость не радость. Небось и женишка уже припасла?

– Куда там! (Глубокая поперечная морщина сразу выползла откуда-то на ее безмятежный лоб.) Разве теперь можно обзаводиться семьей? Все так дорого.

– Господи, боже ты мой, какие солидные разговоры пошли!.. Как здоровье твоей многоуважаемой куклы?

– Покашливает. Я вчера с ней долго сидела у реки. Кстати, хочешь, на речку пойдем, посидим. Там хорошо: птички поют. Я вчера очень комичную козявку поймала.

– Поцелуй ее от меня в лапку. Но как же мы пойдем на реку: ведь в той стороне, за рекой, стреляют.

– Неужели ты боишься? Вот еще глупый. Ведь снаряды не долетают сюда, это ведь далеко. А я тебе зато расскажу стих. Пойдем?

– Ну раз стих – это дело десятое. Тогда не лень и пойти.

По дороге, ведя меня за руку, она сообщила:

– Знаешь, меня ночью комар как укусит, за ногу.

– Слушаю-с. Если я его встречу, я ему дам по морде.

– Знаешь, ты ужасно комичный.

– Еще бы. На том стоим.

На берегу реки мы преуютно уселись на камушке под развесистым деревцем. Она прижалась к моему плечу, прислушалась к отдаленным выстрелам, и снова та же морщинка озабоченности и вопроса, как гнусный червяк, вползла на чистый лоб.

Она потерлась порозовевшей от ходьбы щечкой о шершавую материю моего пиджака и, глядя остановившимися глазами на невозмутимую гладь реки, спросила:

– Скажи, неужели Ватикан никак не реагирует на эксцессы большевиков?..

Я испуганно отодвинулся от нее и поглядел на этот розовый ротик с будто чуть-чуть припухшей верхней губкой, посмотрел на этот ротик, откуда только что спокойно вылетела эта чудовищная по своей деловитости фраза, и переспросил:

– Чего, чего?

Она повторила.

Я тихо обнял ее за плечи, поцеловал в голову и прошептал на ухо:

– Не надо, голубчик, об этом говорить, хорошо? Скажи лучше стихи, что обещала.

– Ах, стихи! Я и забыла. О Максе:

Максик вечно ноет,
Максик рук не моет,
У грязнухи Макса
Руки, точно вакса.
Волосы, как швабра,
Чешет их не храбро…

Правда, комичные стишки? Я их в старом «Задушевном Слове» прочитала.

– Здорово сработано. Ты их маме-то читала?

– Ну, знаешь, маме не до того. Прихварывает все.

– Что ж с ней такое?

– Малокровие. Ты знаешь, она целый год при большевиках в Петербурге прожила. Вот и получила. Жиров не было, потом эти… азотистые вещества тоже в организм не… этого… не входили. Ну, одним словом, коммунистический рай.

– Бедный ты ребенок, – уныло прошептал я, приглаживая ей волосы.

– Еще бы же не бедный. Когда бежали из Петербурга, я в вагоне кроватку куклиную потеряла, да медведь пищать перестал. Не знаешь, отчего это он мог перестать пищать?

– Очевидно, азотистых веществ ему не хватило. Или просто саботаж.

– Ну ты прямо-таки прекомичный! На мою резиновую собачку похож. А ты можешь нижней губой до носа достать?

– Где там! Всю жизнь мечтал об этом – не удается.

– А знаешь, у меня одна знакомая девочка достает; очень комично.

С противоположного берега дунуло ветерком, и стрельба сразу сделалась слышней.

– Вишь ты, как пулеметы работают, – сказал я, прислушиваясь.

– Что ты, братец, какой же это пулемет? Пулемет чаще тарахтит. Знаешь, совсем как швейная машина щелкает. А это просто пачками стреляют. Вишь ты: очередями жарят.

Ба-бах!

– Ого, – вздрогнул я, – шрапнелью ахнули.

Ее серый лукавый глаз глянул на меня с откровенным сожалением:

– Знаешь, если ты не понимаешь – так уж молчи. Какая же это шрапнель? Обыкновенную трехдюймовку со шрапнелью спутал. Ты знаешь, между прочим, шрапнель, когда летит, так как-то особенно шуршит. А бризантный снаряд воет, как собака. Очень комичный.

– Послушай, клоп, – воскликнул я, с суеверным страхом оглядывая ее розовые пухлые щечки, вздернутый носик и крохотные ручонки, которыми она в этот момент заботливо подтягивала спустившиеся к башмачкам носочки. – Откуда ты все это знаешь?!

– Вот комичный вопрос, ей-богу! Поживи с мое – не то еще узнаешь.

А когда мы возвращались домой, она, забыв уже о «реагировании Ватикана» и «бризантных снарядах», щебетала, как воробей, задрав кверху задорный носик:

– Ты знаешь, какого мне достань котеночка? Чтоб у него был розовенький носик и черные глазки. Я ему голубенькую ленточку с малюсеньким таким золотым бубенчиком привяжу, у меня есть. Я люблю маленьких котенков. Что же я, дура! Я и забыла, что мой бубенчик был с маминым золотом в сейфе, и коммунисты его по мандату комфина реквизировали!

* * *

По зеленой молодой травке ходят хамы в огромных тяжелых сапожищах, подбитых гвоздями.

Пройдут по ней, примнут ее.

Прошли – полежал, полежал примятый, полураздавленный стебелек, пригрел его луч солнца, и опять он приподнялся и под теплым дыханием дружеского ветерка шелестит о своем, о малом, о вечном.

Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина

Ровно десять лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого, гнусного хозяина-кровопийцы поденную плату за 9 часов работы – всего два с полтиной!!!

«Ну, что я с этой дрянью сделаю?.. – горько подумал Пантелей, разглядывая на ладони два серебряных рубля и полтину медью… – И жрать хочется, и выпить охота, и подметки к сапогам нужно подбросить, старые – одна, вишь, дыра… Эх ты, жизнь наша распрокаторжная!!»

Зашел к знакомому сапожнику: тот содрал полтора рубля за пару подметок.

– Есть ли на тебе крест-то? – саркастически осведомился Пантелей.

Крест, к удивлению ограбленного Пантелея, оказался на своем месте, под блузой, на волосатой груди сапожника.

«Ну вот остался у меня рупь целковый, – со вздохом подумал Пантелей. – А что на него сделаешь? Эх!..»

Пошел и купил на целковый этот полфунта ветчины, коробочку шпрот, булку французскую, полбутылки водки, бутылку пива и десяток папирос – так разошелся, что от всех капиталов только четыре копейки и осталось.

И когда уселся бедняга Пантелей за свой убогий ужин, так ему тяжко сделалось, так обидно, что чуть не заплакал.

– За что же, за что?.. – шептали его дрожащие губы. – Почему богачи и эксплуататоры пьют шампанское, ликеры, едят рябчиков и ананасы, а я, кроме простой очищенной, да кон-

сервов, да ветчины – света божьего не вижу… О, если бы только мы, рабочий класс, завоевали себе свободу!.. То-то бы мы пожили по-человечески!

* * *

Однажды весной 1920 года рабочий Пантелей Грымзин получил свою поденную плату за вторник: всего 2700 рублей.

«Что ж я с ними сделаю, – горько подумал Пантелей, шевеля на ладони разноцветные бумажки. – И подметки к сапогам нужно подбросить, и жрать, и выпить чего-нибудь – смерть хочется!»

Зашел Пантелей к сапожнику, сторговался за две тысячи триста и вышел на улицу с четырьмя сиротливыми сторублевками.

Купил фунт полубелого хлеба, бутылку ситро, осталось 14 целковых… Приценился к десятку папирос, плюнул и отошел.

Дома нарезал хлеба, откупорил ситро, уселся за стол ужинать… и так горько ему сделалось, что чуть не заплакал.

– Почему же, – шептали его дрожащие губы, – почему богачам все, а нам ничего… Почему богач ест нежную розовую ветчину, объедается шпротами и белыми булками, заливает себе горло настоящей водкой, пенистым пивом, курит папиросы, а я, как пес какой, должен жевать черствый хлеб и тянуть тошнотворное пойло на сахарине!.. Почему одним все, другим – ничего?..

* * *

Эх, Пантелей, Пантелей… Здорового ты дурака свалял, братец ты мой!

Короли у себя дома

Все почему-то думают, что коронованные особы – это какие-то небожители, у которых на голове алмазная корона, во лбу звезда, а на плечах горностаевая мантия, хвост которой волочится сажени на три сзади.

Ничего подобного. Я хорошо знаю, что в своей частной, интимной жизни коронованные особы живут так же обывательски просто, как и мы, грешные.

Например, взять Ленина и Троцкого.

На официальных приемах и парадах они – одно, а в своей домашней обстановке – совсем другое. Никаких громов, никаких перунов.

Ну, скажем, вот:

* * *

Серенькое московское утро. Кремль. Грановитая палата.

За чаем мирно сидят Ленин и Троцкий.

Троцкий, затянутый с утра в щеголеватый френч, обутый в лакированные сапоги со шпорами, с сигарой, вставленной в длинный янтарный мундштук, – олицетворяет собой главное, сильное, мужское начало в этом удивительном супружеском союзе. Ленин – madame, представитель подчиняющегося, более слабого, женского начала.

И он одет соответственно: затрепанный халатик, на шее нечто вроде платка, потому что в Грановитой палате всегда несколько сыровато, на ногах красные шерстяные чулки от ревматизма и мягкие ковровые туфли.

Троцкий, посасывая мундштук, совсем, с головой, ушел в газетный лист; Ленин перетирает полотенцем стаканы.

Молчание. Только самовар напевает свою однообразную вековую песенку.

– Налей еще, – говорит Троцкий, не отрывая глаз от газеты.

– Тебе покрепче или послабее?

Молчание.

– Да брось ты свою газету! Вечно уткнет нос так, что его десять раз нужно спрашивать.

– Ах, оставь ты меня в покое, матушка! Не до тебя тут.

– Ага! Теперь уже не до меня! А когда сманивал меня из-за границы в Россию, тогда было до меня!.. Все вы, мужчины, одинаковы.

– Поехала!

Троцкий вскакивает, нервно ходит по палате, потом останавливается. Сердито:

– Кременчуг взят. На Киев идут. Понимаешь?

– Что ты говоришь! А как же наши доблестные красные полки, авангард мировой революции?..

– Доблестные? Да моя бы воля, так я бы эту сволочь…

– Левушка… Что за слово…

– Э, не до слов теперь, матушка. Кстати, ты транспорт-то со снарядами послала в Курск?

– Откуда же я их возьму, когда тот завод не работает, этот бастует… Рожу я тебе их, что ли? Ты вот о чем подумай!

– Да? Я должен думать?! Обо всем, да? Муж и воюй, и страну организуй, и то и се, а жена только по диванам валяется да глупейшего Карла Маркса читает? Эти романчики пора уже оставить…

– Что ты мне своей организацией глаза колешь?! – вспылил Ленин, нервно отбрасывая мокрое полотенце. – Нечего сказать – организовал страну: по улицам пройти нельзя: или рабочий мертвый лежит, или лошадь дохлая валяется.

– А чего ж они, подлецы, не убирают… Я ведь распорядился. Господи! Простой чистоты соблюсти не могут.

– Ах, да разве только это? Ведь нам теперь и глаз к соседям не покажи – засмеют. Устроили страну, нечего сказать; на рынке ни к чему приступу нет – курица 8000 рублей, крупа – 3000, масло… э, да и что там говорить!! Ходишь на рынок, только расстраиваешься.

– Ну что ж… разве я тебе в деньгах отказывал? Не хватает – можно подпечатать. Ты скажи там, в экспедиции заготовления…

– Э, да разве только это. А венгерская социальная революция… Курам на смех! Твой же этот самый придворный поэт во всю глотку кричал:

Мы на горе всем буржуям,
Мировой пожар раздуем…

– Раздули пожар… тоже! Хвалилась синица море зажечь. Ну, с твоей ли головой такой страной управлять, скажи, пожалуйста?!

– Замолчишь ли ты, проклятая баба! – гаркнул Троцкий, стукнув кулаком по столу. – Не хочешь, не нравится – скатертью дорога!

– Скатертью? – вскричал Ленин и подбоченился. – Это куда же скатертью? Куда я теперь поеду, когда благодаря твоей дурацкой войне мы со всех сторон окружены? Завлек, поиграл,

поиграл, а теперь вышвыриваешь, как старый башмак? Знала бы, лучше пошла бы за Луначарского.

Бешеный огонь ревности сверкнул в глазах Троцкого.

– Не смей и имени этого соглашателя произносить!! Слышишь? Я знаю, ты ему глазки строишь, и он у тебя до третьего часу ночи просиживает; имей в виду: застану – искалечу. Это что еще? Слезы? Черт знает что! Каждый день скандал – чаю не дадут дома спокойно выпить! Ну довольно! Если меня спросят – скажи, я поехал принимать парад доблестной красной армии. А то если этих мерзавцев не подтягивать… Поняла? Положи мне папирос в портсигар да платок сунь в карман чистый! Что у нас сегодня на обед?

Вот как просто живут коронованные особы.

Горностай да порфира – это на людях, а у себя в семье, когда муж до слез обидит, можно и в затрапезный шейный платок высморкаться.

Хлебушко

У главного подъезда монументального здания было большое скопление карет и автомобилей.

Мордастый швейцар то и дело покрикивал на нерасторопных кучеров и тут же низкими поклонами приветствовал господ во фраках и шитых золотом мундирах, солидно выходящих из экипажей и автомобилей.

Худая деревенская баба в штопаных лаптях и белом платке, низко надвинутом на загорелый лоб, робко подошла к швейцару.

Переложила из одной руки в другую узелок и поклонилась в пояс…

– Тебе чего, убогая?

– Скажи-ка мне, кормилец, что это за господа такие?

– Междусоюзная конференция дружественных держав по вопросам мировой политики!

– Вишь ты, – вздохнула баба в стоптанных лапотках. – Сподобилась видеть.

– А ты кто будешь? – небрежно спросил швейцар.

– Россия я, благодетель, Россеюшка. Мне бы тут за колонкой постоять да хоть одним глазком поглядеть: какие-таки бывают конференции. Может, и на меня, сироту, кто-нибудь глазком зиркнет да обратит свое такое внимание.

Швейцар подумал и, хотя был иностранец, но тут же сказал целую строку из Некрасова:

– «Наш не любит оборванной черни»… А впрочем, стой – мне что.

По лестнице всходили разные: и толстые, и тонкие, и ощипанные, во фраках, и дородные, в сверкающих золотом сюртуках с орденами и лентами.

Деревенская баба всем низко кланялась и смотрела на всех с робким испугом и тоской ожидания в слезящихся глазах.

Одному – расшитому золотом с ног до головы и обвешанному целой тучей орденов – она поклонилась ниже других.

– Вишь ты, – тихо заметила она швейцару. – Это, верно, самый главный!

– Какое! – пренебрежительно махнул рукой швейцар. – Внимания не стоит. Румын.

– А какой важный. Помню, было время, когда у меня под окошком на скрипочке пиликал, а теперь – ишь ты! И где это он так в орденах вывалялся?..

И снова на лице ее застыло вековечное выражение тоски и терпеливого ожидания… Даже зависти не было в этом робком сердце.

* * *

Английский дипломат встал из-за зеленого стола, чтобы размяться, подошел к своему коллеге-французу и спросил его:

– Вы не знаете, что это там за оборванная баба около швейцара в вестибюле стоит?

– Разве не узнали? Россия это.

– Ох, уж эти мне бедные родственники! И чего ходит, спрашивается? Сказано ведь: будет время – разберем и ее дело. Стоит с узелком в руке и всем кланяется… По-моему, это шокинг.

– Да… Воображаю, что у нее там в узле… Наверное, полкаравая деревенского хлеба, и больше ничего.

– Как вы говорите?.. хлеб?

– Да. А что ж еще?

– Вы… уверены, что там у нее хлеб?

– Я думаю.

– Гм… да. А впрочем, надо бы с ней поговорить, расспросить ее. Все-таки мы должны быть деликатными. Она нам в войну здорово помогла. Я – сейчас!

И англичанин поспешно зашагал к выходу.

* * *

Вернулся через пять минут, оживленный:

– Итак… На чем мы остановились?

– Коллега, у вас на подбородке крошки…

– Гм… Откуда бы это? А вот мы их платочком.

* * *

Увязывая свой похудевший узелок, баба тут же быстро и благодарно крестилась и шептала швейцару.

– Ну, слава богу… Сам-то обещал спомочь. Теперь, поди, недолго и ждать.

И побрела восвояси, сгорбившись и тяжко ступая усталыми ногами в стоптанных лапотках.

Эволюция русской книги

Этап первый (1916 год)

– Ну, у вас на этой неделе не густо: всего три новых книги вышло. Отложите мне «Шиповник» и «Землю». Кстати, есть у вас «Любовь в природе» Бельше? Чье издание? Сытина? Нет, я бы хотел саблинское. Потом, нет ли «Дети греха» Катюль Мендеса? Только, ради бога, не «Сфинкса» – у них перевод довольно неряшлив. А это что? Недурное издание. Конечно, Голике и Вильборг? Ну нашли тоже, что роскошно издавать: «Евгений Онегин» – всякий все равно наизусть знает. А чьи иллюстрации? Самокиш-Судковской? Сладковаты. И потом формат слишком широкий: лежа читать неудобно!..

Этап второй (1920 год)

– Барышня! Я записал по каталогу вашей библиотеки 72 названия – и ни одного нет. Что ж мне делать?

– Выберите что-нибудь из той пачки на столе. Это те книги, что остались.

– Гм! Вот три-четыре более или менее подходящие: «Описание древних памятников Олонецкой губернии», «А вот и она – вновь живая струна», «Макарка Душегуб» и «Собрание речей Дизраэли (лорда Биконсфилда)»…

– Ну вот и берите любую.

– Слушайте… А «Памятники Олонецкой губернии» – интересная?

– Интересная, интересная. Не задерживайте очереди.

Этап третий

– Слышали новость?!!

– Ну, ну?

– Ивиковы у себя под комодом старую книгу нашли! Еще с 1917 года завалялась! Везет же людям. У них по этому поводу вечеринка.

– А как называется книга?

– Что значит как: книга! 480 страниц! К ним уже записались в очередь Пустошкины, Бильдяевы, Россомахины и Партачевы.

– Побегу и я.

– Не опоздайте. Ивиковы, кажется, собираются разорвать книгу на 10 тоненьких книжечек по 48 страниц и продать.

– Как же это так: без начала, без конца?

– Подумаешь – китайские церемонии.

Этап четвертый

Публикация:

«Известный чтец наизусть стихов Пушкина ходит по приглашению на семейные вечера – читает всю «Полтаву» и всего «Евгения Онегина». Цены по соглашению. Он же дирижирует танцами и дает напрокат мороженицу».

Разговор на вечере:

– Слушайте! Откуда вы так хорошо знаете стихи Пушкина?

– Выучил наизусть.

– Да кто ж вас выучил: сам Пушкин, что ли?

– Зачем Пушкин. Он мертвый. А я, когда еще книжки были, так по книжке вызубрил.

– А у него почерк хороший?

– При чем тут почерк? Книга напечатана.

– Виноват, это как же?

– А вот делали так: отливали из свинца буквочки, ставили одну около другой, мазнут сверху черной краской, приложат к белой бумаге да как дават – оно и отпечатается.

– Прямо чудеса какие-то! Не угодно ли присесть! Папиросочку! Оля, Петя, Гуля – идите послушайте, мусье Гортанников рассказывает, какие штуки выделывал в свое время Пушкин! Мороженицу тоже лично от него получили?

Этап пятый

– Послушайте! Хоть вы и хозяин только мелочной лавочки, но, может быть, вы поймете вопль души старого русского интеллигента и снизойдете.

– А в чем дело?

– Слушайте… Ведь вам ваша вывеска на ночь, когда вы запираете лавку, не нужна? Дайте мне ее почитать на сон грядущий – не могу заснуть без чтения. А текст там очень любопытный – и мыло, и свечи, и сметана – обо всяком таком описано. Прочту – верну.

– Да… все вы так говорите, что вернете. А намедни один тоже так-то вот – взял почитать доску от ящика с бисквитами Жоржа Бормана, да и зачитал. А там и картиночка, и буквы разные… У меня тоже, знаете ли, сын растет!..

Этап шестой

– Откуда бредете, Иван Николаевич?

– А за городом был, прогуливался. На виселицы любовался, поставлены у заставы.

– Тоже нашли удовольствие: на виселицы смотреть!

– Нет, не скажите. Я, собственно, больше для чтения: одна виселица на букву «Г» похожа, другая – на «И» – почитал и пошел. Все-таки чтение – пища для ума.

Русский в европах

Летом 1921 года, когда все «это» уже кончилось, в курзале одного заграничного курорта собралась за послеобеденным кофе самая разношерстная компания: были тут и греки, и французы, и немцы, были и венгерцы, и англичане, один даже китаец был…

Разговор шел благодушный, послеобеденный.

– Вы, кажется, англичанин? – спросил француз высокого бритого господина. – Обожаю я вашу нацию: самый дельный вы, умный народ в свете.

– После вас, – с чисто галльской любезностью поклонился англичанин. – Французы в минувшую войну делали чудеса… В груди француза сердце льва.

– Вы, японцы, – говорил немец, попыхивая сигарой, – изумляли и продолжаете изумлять нас, европейцев. Благодаря вам слово «Азия» перестало быть символом дикости, некультурности…

– Недаром нас называют «немцами Дальнего Востока», – скромно улыбнувшись, ответил японец, и немец вспыхнул от удовольствия, как пук соломы.

В другом углу грек тужился, тужился и наконец сказал:

– Замечательный вы народ, венгерцы!

– Чем? – искренно удивился венгерец.

– Ну как же… Венгерку хорошо танцуете. А однажды я купил себе суконную венгерку, расшитую разными этакими штуками. Хорошо носилась! Вино опять же; нарезаться венгерским – самое святое дело.

– И вы, греки, хорошие.

– Да что вы говорите?! Чем?

– Ну… вообще. Приятный такой народ. Классический. Маслины вот тоже. Периклы всякие.

А сбоку у стола сидел один молчаливый бородатый человек и, опустив буйную голову на ладони рук, сосредоточенно печально молчал.

Любезный француз давно уже поглядывал на него. Наконец, не выдержал, дотронулся до его широкого плеча:

– Вы, вероятно, мсье, турок? По-моему, одна из лучших наций в мире!

– Нет, не турок.

– А кто же, осмелюсь спросить?

– Да так, вообще, приезжий. Да вам, собственно, зачем?

– Чрезвычайно интересно узнать.

– Русский я!!

Когда в тихий дремлющий летний день вдруг откуда-то сорвется и налетит порыв ветра, как испуганно и озабоченно закачаются, зашелестят верхушки деревьев, как беспокойно завозятся и защебечут примолкшие от зноя птицы, какой тревожной рябью вдруг подернется зеркально-уснувший пруд!

Вот так же закачались и озабоченно, удивленно защебетали венгерские, французские, японские головы; так же доселе гладкие зеркально-спокойные лица подернулись рябью тысячи самых различных взаимно борющихся между собою ощущений.

– Русский? Да что вы говорите? Настоящий?

– Детки! Альфред, Мадлена! Вы хотели видеть настоящего русского – смотрите скорее! Вот он, видите, сидит.

– Бедняга!

– Бедняга-то бедняга, да я давеча, когда расплачивался, бумажник два раза вынимал. Переложить в карманы брюк, что ли?

– Смотрите, вон русский сидит.

– Где, где?! Слушайте, а он бомбу в нас не бросит?

– Может, он голодный, господа, а вы на него вызверились. Как вы думаете, удобно ему предложить денег?

– Немца бы от него подальше убрать. А то немцы больно уж ему насолили… как бы он его не тово!

Француз сочувственно, но с легким оттенком страха жал ему руку, японец ласково с тайным соболезнованием в узких глазках гладил его по плечу, кое-кто предлагал сигару, кое-кто плотней застегнулся. Заботливая мать, захватив за руки плачущего Альфреда и Мадлену, пыхтя, как буксирный пароход, утащила их домой.

– Очень вас большевики мучили? – спросил добрый японец.

– Скажите, а правда, что в Москве собак и крыс ели?

– Объясните, почему русский народ свергнул Николая и выбрал Ленина и Троцкого? Разве они были лучше?

– А что такое взятка? Напиток такой или танец?

– Правда ли, что у вас сейфы вскрывали? Или, я думаю, это одна из тысячи небылиц, распространенных врагами России… А правда, что, если русскому рабочему запеть «Интернационал», он сейчас же начинает вешать на фонаре прохожего человека в крахмальной рубашке и очках?

– А правда, что некоторые русские покупали фунт сахару за пятьдесят рублей, а продавали за тысячу?

– Скажите, совнарком и совнархоз опасные болезни? Правда ли, что разбойнику Разину поставили на главной площади памятник?

– А вот, я слышал, что буржуазные классы имеют тайную ужасную привычку, поймав рабочего, прокусывать ему артерию и пить теплую кровь, пока…

– Горит!! – крикнул вдруг русский, шваркнув полупудовым кулаком по столу.

– Что горит? Где? Боже мой… А мы-то сидим…

– Душа у меня горит! Вина!! Эй, кельнер, камерьере, шестерка – как тебя там?! Волоки вина побольше! Всех угощаю!! Поймете ли вы тоску души моей?! Сумеете ли заглянуть в без-

дну хаотической первозданной души славянской. Всем давай бокалы. Эх-ма! «Умру, похоро-о-нят, как не жил на свете»…

Сгущались темно-синие сумерки.

Русский, страшный, растрепанный, держа в одной руке бутылку «Поммери-сек», а кулаком другой руки грозя заграничному небу, говорил:

– Сочувствуете, говорите? А мне чихать на ваше такое заграничное сочувствие!! Вы думаете, вы мне все, все, сколько вас есть, мало крови стоили, мало моей жизни отняли? Ты, немецкая морда, ты мне кого из Циммервальда прислал? Разве так воюют? А ты, лягушатник, там… «Мон ами, да мон ами, бон да бон», а сам взял да большевикам Крым и Одессу отдал. Разве это боновое дело? Разве это фратерните?[16] Разве я могу забыть? А тебе разве я забуду, как ты своих носатых китайских чертей прислал – наш Кремль поганить, нашу дор… доррогую Россию губить, а? А венгерец… тоже и ты хорош: тебе бы мышеловками торговать да венгерку плясать, а ты в социалистические революции полез. Бела Кунов, черт их подери, на престолы сажать… а? Ох, горько мне с вами, ох, тошнехонько… Пить со мной мое вино вы можете сколько угодно, но понять мою душеньку?! Горит внутри, братцы! Закопал я свою молодость, свою радость в землю сырую… «Умру-у, похоронят, как не-е жил на свете!»

И долго еще в опустевшем курзале, когда все постепенно, на цыпочках, разошлись, долго еще разносились стоны и рыдания полупьяного одинокого человека, непонятного, униженного в своем настоящем трезвом виде и еще более непонятного в пьяном… И долго лежал он так, неразгаданная мятущаяся душа, лежал, положив голову на ослабевшие руки, пока не подошел метрдотель:

– Господин… Тут счет.

– Что? Пожалуйста! Русский человек за всех должен платить! Получите сполна.

[16] Братство (*фр.*).

Записки простодушного

Предисловие простодушного (как я уехал)

– Ехать так ехать, – добродушно сказал попугай, которого кошка вытащила из клетки.

Осенью 1920 года мне пришлось наблюдать в Севастополе редкое климатическое явление…

Именно, когда уже наступили прохладные дни, обещавшие с каждой неделей делаться все прохладнее и прохладнее, пока вся эта вереница суток по исконным правилам календарей не закончилась бы зимой, в эти осенние дни ко мне пришел знакомый генерал и сказал:

– Вам нужно отсюда уезжать…

– Да мне и тут хорошо, что вы!

– Именно вам-то и нельзя оставаться. Скоро здесь будет так жарко, что не выдержите…

– Жарко?! Но ведь уже осень, – чрезвычайно удивился я.

– Вот-вот. А цыплят по осени считают. Смотрите, причтут и вас в общий котел… Говорю вам – очень жарко будет!

– Я всегда знал, что климатические условия в Крыму чрезвычайно колеблющиеся, но, однако, не до такой степени, чтобы в октябре бояться солнечного удара?!

– А кто вам сказал, что удар будет «солнечный»? – тонко прищурился генерал.

– Однако…

– Уезжайте! – сухо и твердо отрубил генерал. – Завтра же рано утром чтобы вы были на борту парохода!

В голосе его было что-то такое, от чего я поежился и только заметил:

– Надеюсь, вы мой пароход подадите к Графской пристани? Мне оттуда удобнее.

– И в Южной бухте хороши будете.

– Льстец, – засмеялся я, кокетливо ударив его по плечу булкой, только что купленной мною за три тысячи… – Хотите кусочек?

– Э, не до кусочков теперь. Лучше в дорогу сохраните.

– А куда вы меня повезете?

– В Константинополь.

Я поморщился.

– Гм… Я, признаться, давно мечтал об Испании…

– Ну вот и будете мечтать в Константинополе об Испании.

В тот же день я был на пароходе, куда меня приняли с распростертыми объятиями. Это действительно правда, а не гипербола, насчет объятий-то, потому что, когда я, влезши на пароход, ослепу покатился в угольный трюм, меня внизу поймали чьи-то растопыренные руки.

На пароходе я устроился хорошо (в трюме на угольных мешках); потребовал к себе капитана (он не пришел); сделал некоторые распоряжения относительно хода корабля (подозреваю, что они не были исполнены в полной мере) и, наконец, распорядился уснуть.

Последнее распоряжение было исполнено аккуратнее всего…

Путешествие было непродолжительное, но когда мы подошли к Константинополю, то меня ни за что не хотели спускать на берег.

Я сначала думал, что команда и капитан так полюбили меня, что одна мысль расстаться с таким приятным человеком была им мучительна, но на самом деле случилось наоборот: не пускала на берег союзная полиция, а команда не прочь была бы даже выкинуть нас всех за борт, только чтоб развязаться с беспокойным непоседливым грузом.

Не желая быть в тягость – ни команде, ни полиции, – я ночью потихоньку перелез на стоявший подле русский пароход-угольщик, где старые морские волки приняли меня как родного…

Милые вы люди! Если вы сейчас где-нибудь в плавании по бурному океану – пусть над вами ярко и ласково сияет солнце, а под килем нежная морская волна пусть нежит вас, как колыбель, – крепко желаю вам этого!

* * *

Приступая к «запискам», я прежде всего хочу сказать несколько теплых слов – в защиту одного господина…

Того самого, который, по утверждению старинной русской легенды, прегорько рыдал на свадьбе и весело плясал на похоронах.

Этого господина легенда окрестила ярким исчерпывающим именем:

– Дурак.

Да полно! Так ли это! Не произошло ли в данном случае жестокой исторической несправедливости? Дурак!.. Не наоборот ли? Не мудрец ли этот русский, проникший светлым умом в самые глубинные тайны русского бытия.

Человек горько плачет на свадьбе… Да ведь он прав! Ему, конечно, жалко эту безумную пару, бросающуюся, очертя голову, рука об руку в пучину, из которой и одному-то не выбраться!

Человек веселится на чужих похоронах… Да ведь и тут он тысячу раз прав, этот мудрец, тихо радующийся, что вот, дескать, хоть один человек, наконец, устроился как следует: не нужно ему ни пайка, ни визы, ни перескакивания с одного берега на другой.

Пора, пора – давно пора – пересмотреть наше отношение к дураку. Он мудрец. Может быть, раньше это было трудно понять, но теперь, когда вся Россия вывернулась наизнанку и сидит на чемоданах и узлах, мы многое должны пересмотреть и переоценить.

Впрочем, если быть искренним, то за «бывшего» дурака, а ныне мудреца я распинаюсь не без тайной цели: попутно я хочу оправдать и себя, потому что отныне я тоже решил «улыбаться на похоронах»…

Первый день в Константинополе

…Я забрал с парохода свои вещи, сел в лодку и поехал к Галатскому берегу.

И едва лодка клюнула носом каменную плиту пристани, и едва в лодку свалился живой клубок разнокалиберных тел – я понял, что меня здесь знают. Потому что так орать и спорить из-за сомнительной чести тащить мои чемоданы могут только люди, искренно чтущие любимого писателя.

Эти восточные поклонники быстро расхватали мои вещи – и мы понеслись в голубую неизвестную даль, короче говоря, на Перу, а еще короче говоря, в ту маленькую комнату, которую мне наняли заранее.

На Пере среди грохота и гвалта меня остановила какая-то божья старушка – столь же уместная тут, как цветочек незабудки в пасти аллигатора.

– Что вам, бабушка?

– Голубчик мой, а где ж тут турки?

– Которые?

– Да ведь это, чай, Турция.

– Чай, она.

– А чего ж турка ни одного нет?

Чтобы успокоить эту мятущуюся душу, я ткнул пальцем в какого-то господина в феске, свирепо пожиравшего слоеную дрянь с лотка.

Это был единственный турок на горизонте.

– Вот этот? Вы чего ж, батюшка, в германскую войну давеча втемяшились?

Турок пожал плечами и отвечал:

– Эх, тетя! Нешто не признали? Вместе на «Сиаме» из Севастополя ноги уносили…

И обернулся к продавцу:

– Комбьен сетт гато?

– Бешь груш.

– Олл райт. А риведерчи, тетушка[17].

Как во время настоящего приличного столпотворения все говорили на всех языках.

Однако больше всего ухо улавливало французский язык. Говорили на нем беженцы так, что даже издали слышался густой запах нафталина, как от шубы, которая долго лежала в сундуке без употребления и которую наконец-таки извлекли на свет божий и стали перетряхивать.

Около ресторана Сарматова я слышал такой диалог.

Господин сделал испуганное лицо и, подбирая французские слова с таким страхом, с каким неопытная барышня впервые заряжает револьвер, спросил прохожего:

– Комм же пуве алле дан л'амбассад рюсс?

Спрошенный ответил:

– Тут-де сюит. Вуз алле ту а гош, а гош, апре анкор гош, е еси[18] будут… гм… черт его знает, забыл, как по-ихнему железные ворота?

– Же компран[19], – кивнул головой первый. – Я понимаю, что такое железные ворота. Ла порт де фер.

– Ну вот и бьен[20]. Идите все а гош – прямо и наткнетесь.

* * *

В этот вечер я заснул рано, а проснулся еще раньше: ужасный, нечеловеческий вопль прорезал утренний воздух под самым моим окном.

Мой компаньон по комнате вскочил с кровати и поглядел на меня диким взглядом:

– Понимаете, что это значит? Кемалисты вошли в город.

– Н-да, въехали мы в историю, – пробормотал я. – Из огня да в полымя. Однако пойдем на улицу. Вы не боитесь?

– Ну вот, не видал я этих резнев. Чего там бояться. Русские, чай.

А крики, вопли, стоны и мольбы о помощи все неслись и неслись с улицы. Чувствовалось, что там, за стеной, растут целые гекатомбы свеженарезанных тел, обильно орошенных кровью.

Мы не могли больше… Мы выбежали на улицу.

Молодой грек стоял около корзиночки, на дне которой терялось полдесятка полудохлой скумбрии, и, разинув рот, ревел во все горло…

Мы остолбенели.

– Слушайте, а ведь это он кричит.

– Но ведь его не режут.

---

[17] От *фр.:* Combien cette gateau? (Сколько стоит это пирожное?), *турецк.:* bes (пять), *англ.:* All right (хорошо), *итал.:* arrivederci (до свидания).

[18] Как я могу пройти к русскому посольству? (*фр.* Comme je pouvais aller dans l'ambassade russe?) – Сейчас. Идите все время налево, налево, потом еще налево и здесь… (*фр.* Tout de suite. Vous aller tout a gauche, a gauche. Après encore gauche, et ici…).

[19] Я понимаю (*фр*. Je comprend).

[20] Хорошо (*фр.* bien).

– А надо бы. Не кричи, каналья.

– Товар продает. Известно, трудно им.

– Однако послушайте… Если, продавая только полдесятка дохлой скумбрии, он так орет, какие же он издаст звуки, если ему поручить продать шестиэтажный дом?

Рев, крики, стоны и вопли неслись уже со всех сторон.

Зверь встал на задние лапы, потянулся и, широко раскрыв огромную пасть, оглушительно заревел: зверь хотел кушать.

Галантная жизнь Константинополя

Шел я недавно по той улице, на которой живу, – вдруг мое праздное внимание привлек один большой ярко освещенный дом. Изнутри доносилась странная, чисто восточная музыка и слышался топот чьих-то танцующих ног. В окнах мелькало много женских теней.

– Э! – сказал я сам себе. – Это, наверное, гарем какого-нибудь константинопольского вельможи! Очевидно, он справляет день рождения и захотел повеселить бедных гаремных затворниц! Вот они где – чарующие тайны загадочного Востока!

Не успел я этого подумать, как из дверей выпорхнула очаровательная женская фигурка и, схватив меня за рукав, ясно показала, что ей хочется втащить меня внутрь таинственного дома.

Надо сознаться, что я славлюсь своей скромностью по всему Анатолийскому побережью, но надо также сознаться, что в тот момент пикантное приключение совсем вскружило мне голову.

Возможность проникнуть в гарем знатного вельможи на секунду очень соблазнила меня, и я даже сделал движение по направлению к дверям, но тут же одумался.

А что дальше?

А что, если паша вдруг неожиданно поймает меня в гареме? Я человек храбрый – и не за себя я боялся!.. Нет, я боялся за жизнь этого кроткого, застенчивого, полудикого создания, которое так доверчиво тащило меня за рукав, очевидно, чрезвычайно очарованное моей респектабельностью и манерами. Я боялся, что не взойдет и два раза луна на небе, как эта женщина будет лежать в мешке на дне Босфора. Мой коллега Пьер Лоти неоднократно писал о таких штуках.

Эти соображения охладили меня. Я освободил свой рукав, сделал селям бедной затворнице и быстро удалился, давая дорогу четырем английским матросам – очевидно, близким друзьям паши, потому что они вошли в дом без доклада, как близкие люди.

На другой день утром – о, слабость человеческая! – я решил похвастать перед друзьями своим головокружительным успехом у турецкой дамы и рассказал все приключение, не утаив ни капельки…

Мне случалось видеть, как смеются люди, я сам люблю иногда хихикнуть в подходящем случае – но это был не смех! Это было сокрушительное ржание обезумевших жеребцов.

– Не понимаю, что здесь смешного, – пожал я плечами. – Конечно, одни мужчины имеют больший успех у женщин, другие – меньший, но…

– Знаете, что это за дом? – спросил один приятель, отдышавшись.

И шепнул на ухо словцо, которое заставило вспыхнуть меня до корней волос.

– Быть не может! – воскликнул я в ужасе. – Ведь на этой же улице находится моя квартира!!

– Ну что ж такое. Подобное соседство здесь бывает зачастую.

– Нет! Ни одного дня моя нога не останется в этой квартире. Как? Не предупредить меня, когда я снимал комнату? Сейчас же иду и выскажу своей хозяйке все, что я о ней думаю!!

Разгоряченный, я выскочил из кафе на улицу и… тут же – одно веское соображение приковало меня к месту. На каком языке я выскажу хозяйке негодование? Она говорит только по-

гречески, а мой запас слов на этом языке был чрезвычайно ограничен: кали-мерос, Венизелос и малиста – вот те три слова, которыми мог я орудовать и которые в самой остроумной комбинации все-таки не могли быть материалом для продолжительной морально-этической беседы.

На мое счастье, я тут же наткнулся на древнюю согбенную гречанку, продавщицу спичек, предлагавшую товар на ломаном русском языке.

– Нет, бабушка, – сказал я. – Мне ваших спичек не надо. Но если вы переведете моей хозяйке все то, что меня обуревает, – я вам заплачу пол-лиры.

Предложение оказалось соблазнительным – и мы через минуту уже шагали рука об руку к моему дому.

– Как по гречески «нога»? – спросил я. Она ответила каким-то бесформенным, клейким, как рахат-лукум, словом.

– Ну вот. Так скажите, что мое это самое у нее в доме не будет!

На звонок нам открыла сама хозяйка.

И вдруг, увидев нас, она подняла такой крик, что, вероятно, слышно было на Пере.

– Что она кричит? – спросил я старушку, которая вдруг сразу расцвела от хозяйкиного рева и даже кокетливо поправила выцветшую косынку на безволосой голове.

– Ма, она говорити, сто вы не моги приводить себе на квартиру даму! Она говорити, сто эта неприлицна, сто эта цестный дома, сто нельзя дами водити…

– Какую даму? – остолбенел я. – Я никого не приводил.

– Она эта говорити на меня. Я – дама.

И, польщенная этим диким предположением, она игриво толкнула меня полуразрушенным локтем.

Я сочно выругался, вынул пол-лиры и сунул ей в руку.

– Пошла вон, старая ведьма. Будьте вы обе прокляты.

И тут же заметил на лице хозяйки чувство сожаления ко мне, как к человеку, который заплатил за любовь деньги, не насладившись в то же время радостями этой любви…

Деловая жизнь

Ознакомившись с городом, я решил заняться делами. Узнав, что все деловые люди собираются в специальном кафе на Пере, я пошел туда, потребовал чашку кофе и уселся выжидательно за столик – не наклюнется ли какое дельце.

На ловца, как говорится, и зверь бежит. Ко мне подсел неизвестный господин, потрепал меня по плечу и сказал:

– Здравствуйте, господин писатель. Не узнаете меня?

– Как не узнаю, – с вялой вежливостью возразил я. – Очень даже хорошо узнал. Как поживаете?

– Дела разные ломаю. А вы?

– Я тоже думаю каким-нибудь делом заняться.

– Лиры есть?

– Немножко есть, – хлопнул я себя по карману.

Лицо моего собеседника выразило напряженное внимание.

– Гм!.. Что бы мне для вас придумать?.. Гм!.. Есть у меня одно дельце, да… Впрочем, поделюсь с вами. Скажите! Вы знаете, сколько весит баран?

– Какой баран? – удивился я.

– Обыкновенный. Знаете, сколько он весит?

– А черт его знает. Я до сих пор писал рассказы, а не взвешивал баранов.

– Как же вы не знаете веса барана? – с упреком сказал незнакомец.

– Не приходилось. Впрочем, если нужно, я как-нибудь на днях… когда будет свободное время…

– Ну так вот! Знайте же, что средний баран весит три пуда!!!

Я изобразил на своем лице напряженное удовольствие.

– Смотрите-ка! Кто бы мог подозревать.

– Да, да… Три пуда. А вы знаете, сколько стоит фунт баранины? Пятьдесят пиастров.

– Да… вообще сейчас жизнь очень запуталась… – неопределенно заметил я.

– Ну, для умного человека жизнь проста как палец. Итак, продолжаю. А знаете ли вы, сколько стоит целый баран в Кады-Киое?! Десять лир! Итак – вот вам дело: вы даете двадцать лир и я двадцать лир – я покупаю двух овец, режу их…

– Не надо их резать, – сентиментально попросил я. – Они такие хорошенькие.

– А как же иначе мы их на мясо продадим? Я их сам зарежу, не бойтесь. Итак, на ваши двадцать лир вы будете иметь шесть пудов овечьего мяса, по розничной цене – шестьдесят лир!!! Да шкура в вашу пользу, да рога.

Хотя я до сих пор рогатых овец не встречал, но это была, очевидно, особая местная порода. Я кивнул головой с видом знатока:

– Очень хорошее дельце. А когда прикажете внести деньги?

– Да хоть сейчас! Чем скорее, тем лучше. Сколько тут у вас? Ровно двадцать? Ну вот и спасибо. Завтра утром бараны уже будут у нас. Хотите, я приведу их к вам показать?

Я замялся.

– Не знаю, удобно ли это… Вдруг ни с того ни с сего бараны заходят на квартиру… Да еще моя хозяйка против этих посторонних визитов… Нет, лучше их просто зарежьте. Только не мучайте, хорошо?

Мой новый компаньон заверил, что смерть этих невинных созданий будет совершенно безболезненна и легка, как сон, и, пожав мне руку, умчался с озабоченным лицом.

С тех пор прошло 8 дней. Пока я не вижу ни моего компаньона, ни баранов, ни прибыли. Очевидно, с компаньоном что-нибудь случилось… Иногда по ночам меня мучит совесть: прав ли я был, поручив этому слабосильному человеку опасную процедуру умерщвления баранов? А что, если они по дороге сбежали от него? А что, если они перед смертью вступили с ним в борьбу и, разъяренные предстоящей участью, растерзали моего бедного компаньона?..

* * *

Вчера со мной произошел удивительный случай. Иду по улице – вдруг вижу: мой компаньон навстречу. Я радостно кинулся к нему.

– Здравствуйте, голубчик! Ну что слышно с баранами?

Он удивленно взглянул на меня:

– Какие бараны? Простите, я вас совершенно не знаю!

– Ка-ак? Да ведь мы же вместе хотели заработать на баранах?

– Простите, я вас в первый раз вижу. Я иногда зарабатываю на баранах, но зарабатываю один.

И, отстранив меня, он пошел дальше.

«Однако какое удивительное сходство, – бормотал я себе под нос, провожая его взглядом. – То же лицо, тот же голос и даже на баранах зарабатывает, как и тот!»

Много тайн хранит в себе чарующий загадочный Восток.

Русские женщины в Константинополе

Я спросил своего приятеля, разбитного малого и доку по здешним делам:

– Слушай… Я все вижу только одну уличную, по-моему, очень неприглядную жизнь… А где здесь, например, хорошее русское общество?

– А вот зайдем… Здесь есть за углом кабачок. Вот оно и будет хорошее русское общество.

– В кабаке?

– Ну уж и «в кабаке». Нужно, милый мой, выражаться мягче: «в кабачке», «в ресторанчике»… А то, что это за скифское: «кабак».

Мы подошли к каким-то дверям и… с этих пор мой приятель повел себя крайне странно: расцеловался с бравым швейцаром, дружески пожал руку бородатому буфетчику за стойкой и, усаживаясь за столик, потер руки с тем непередаваемым значением, когда русский человек собирается хватить рюмку водки с подобающей этому напитку закуской:

– Ну-с… Полбутылочки очищенной, селедочку в горчице и балычка с перчиком.

Я осмотрелся. В одном углу за столиком сидела с кавалером известная всему Петербургу Динка-Танцуй, в другом Манька-Кавардак, в третьем два именитых столичных шулера, битых в свое время так, что выдубленная кожа на их лицах сделалась нежной и гладкой, как атлас.

– Вот это, по-твоему, хорошее русское общество?! – ахнул я.

– Да не это, чудак. Ты на слуг обрати внимание.

Прехорошенькая дама в кокетливом передничке подошла к нам с карточкой.

– Честь имею приветствовать вас, графиня, – изысканно расшаркался приятель. – Позвольте, графиня, представить вам моего друга писателя Простодушного.

– Ну как же, знаю, – милостиво сказала графиня, протягивая очаровательную ручку. – Когда мой муж был товарищем министра, мы часто в сумерки читали вас вслух. Бывало, заеду к Вольфу…

– Катя, – подошла к графине другая дама с крайне озабоченным видом. – Тебя к седьмому номеру просят. Неси им шницель.

– Поспеют с козами на торг! Потом я вас часто видела в Мариинском на премьерах. У нас был абонемент в третьем ряду, а у вас… Зиночка, запиши там, пожалуйста, сорок пиастров за камбалу! Однажды даже около Фелисьена, когда мой автомобиль испортился, вы предоставили любезно свой эки… Маруся, смотри, твой гость, кажется, уходит, не заплативши!.. Вот жулье! Да, позвольте! Ведь вы даже танцевали со мной однажды на балу в итальянском посольстве… Пошли ты хозяина к черту, Зинка! Как я пойду в кабинет, когда там все пьяные, как зюзя! Пусть сам принимает заказ! Вы не знакомы? Зинаида Николаевна, баронесса фон Толь. Присаживайся, Зинка. Верите ли, господа, так редко теперь настоящих культурных людей. Иногда только с нашим швейцаром перекинешься словом…

– Почему… со швейцаром… – растерялся я.

– Он бывший профессор Бестужевских курсов.

– Может, и человек у вешалки бывший полковник? – пошутил я.

– Нет, что вы! Генерал. У нас только один буфетчик из разночинцев: бывший настоятель Покровского собора.

Мы еще посидели с полчасика с графиней и баронессой; выпили графинчик водки, поговорили о последнем романе Боборыкина; съели сосиски с капустой; поспорили о Вагнере; закончили чашкой турецкого кофе и обсуждением последних шагов Антанты.

Целуя на прощанье дамам руки, я спросил:

– А ваш супруг, графиня, тоже здесь?

– То есть где? Да, он в Константинополе, но здесь не бывает.

– Тяжело? – тихо спросил я.

– Нет, здешний хозяин не пускает. Мужьям вообще вход воспрещен. Как гость, конечно, может, но ему, понимаете ли, не до того: газеты на Пере продает.

Когда мы вышли, приятель мой сказал:

– Ну вот и повращались в обществе.

Встретил около Токатлиана друга своего Филимона Бузыкина. Правду сказать, это была дружба наполовину: только он считал меня своим другом, я же относился к нему с той холодной унылостью, которая всегда является следствием колебания: пожать ли ему руку или дать пинка в живот.

Звали его Филимон Бузыкин – бывший оптовый торговец бычьими шкурами и солеными кишками.

Именовал он себя «ходоком насчет женского пола», но в какие места ходил Филимон Бузыкин за этим священным делом, я не рискнул бы указать печатно.

– Писатель! – заревел он наподобие одного из его быков во время операции сдирания шкуры. – Вот здорово! И вы туточки?! Ну как насчет женского пола?

– Подите к черту, – посоветовал я.

– Нет, серьезно. Вот, знаете, где нашему брату – лафа! Такие, брат, бабеночки, и все русские, и все русские! Княгиня – пожалуйста! Баронесса – пожалуйста!

И, согнувшись в виде буквы «Г», он оглушительно захохотал.

Своим хохотом он занял весь тротуар, потому что тротуары здесь очень узенькие, а буква «Г» вовсе не такая буква, чтобы дать кому-нибудь проход своей верхней перекладиной.

Проходивший англичанин наткнулся на эту живую преграду, постоял, крякнул, смел стеком смешливого Филимона на мостовую и – длинный, прямой, холодный, как палка, – проследовал дальше.

Я разогнул Филимона и попросил его держать себя тише и прямее.

– Ой-же-ж, не могу, до чего тут хорошие бабенки в ресторанчиках!

– Осел вы, – строго сказал я. – Из-за того, что приличные женщины, по нужде, пошли служить в ресторан, вовсе не надо взвизгивать и икать на всю Перу.

– Приличные?! Ой, вы ж меня уморите. Да любая из них даст вам поцелуйчик! Я одну поцеловал – она так разнежилась: «Ах ты, говорит, стюпидик мой, со, говорит, ты мое!»[21] – так и режет по-французски.

– Филимон, ты глуп, – нетерпеливо сказал я.

– Я глуп? А хотите, вот сейчас пойдем в эту кабачару – тут есть прехорошенькая. Если не сорву поцелуйчика – я вас угощаю «Моэт-Шандоном», сорву – вы меня.

Это был редкий случай, когда честь женщины колебалась на горлышке шампанской бутылки.

Филимон втащил меня в ресторан, плюхнулся за столик и, вертя корявым пальцем, подозвал к себе пышную золотоволосую блондинку в традиционном передничке.

– Маруся! Подь-ка сюды.

– Я не Маруся, – спокойно возразила дама, глядя холодными застывшими глазами поверх головы Филимона Бузыкина.

– А кто же вы? – спросил Филимон, разглядывая ее с тупой раздумчивостью.

– Я – баронесса Тизенгаузен. Меня зовут Елена Павловна.

– А! Очень приятно. Каково прыгается? Присели бы, а?..

– Не могу, простите. Должна принять заказ на другом столе.

Филимон толкнул меня в бок и обратился к даме чертовски фривольным тоном:

– О, сетт аффре![22] В таком случае я должен вам сказать два слова по секрету.

Он вскочил, взял растерявшуюся от его бурного натиска даму за локоть и отвел за дверь пустого кабинетика.

Первое мгновение там была мертвая тишина, но потом разразился звук, очевидно, поцелуя, потому что расторопный Филимон ручался мне в этом.

---

[21] От *англ.* stupid и *фр.* sot – дурак, болван, глупец.

[22] Это ужасно! (*фр.* C'est affreux).

Однако никогда в жизни не приходилось мне слышать более отчетливого поцелуя. За дверью будто сговорились дать мне ясно понять, что пропала моя бутылочка «Кордон-Вэр'а».

Я вздохнул, печалясь не столько о бутылке, сколько о баронессе…

Дверь отворилась. Мимо меня быстро прошла баронесса и скрылась в буфетной. За ней вышел Филимон, по своему обыкновению, цепляясь носком одной ноги за каблук другой.

– Слышали? – спросил он с вялым торжеством в голосе.

– Да. Звук отчетливый. Позвольте, Филимон! Ведь она поцеловала только один раз?

– Один, – с досадой огрызнулся он. – Не сто же. Я больше и не хотел.

– В щеку поцеловала?

– Да, этого… в щечку.

– Странно: один поцелуй, а на щеке пять красных следов.

– Губы накрашены, – угрюмо пробормотал Филимон, глядя в угол.

– Нет… Вы видите, краска все бледнеет и бледнеет… Вот уже и сошла. Нет, это не губная помада, Филимон! В чем же дело, Филимон?

– Отстаньте.

– Позвольте… Пора же суммировать все происшедшее… Что случилось? Человек решил за дверью сорвать у дамы поцелуй. Сказано – сделано. Я услышал за дверью звук. Но звук был один, очень отчетливый звук, а следов на щеке пять. Как же это понять, Филимон, а?..

– А может, у нее рука накрашена, – сказал Филимон, но тут же спохватился, вспыхнул и повесил голову. – Скверная бабенка, – со вздохом сказал он. – Невоспитанная.

– Ну что вы! Я ее немного знаю по Петербургу. Она окончила Смольный институт.

– И чему их там в этом институтишке учат? – сердито буркнул Филимон и, постучав согнутым пальцем по столу, гаркнул: – Эй, гарсон, унь бутыль кордону веру и апре кельк-шоз юнь жареный миндаль. Плю вить поворачивайся![23]

Я налил первый бокал и, не чокаясь с Филимоном, тихо в одиночестве выпил. Выпил за скорбный, покрытый кровью, слезами и грязью, неприветливый путь нынешней русской женщины.

Иди, женщина русская, бреди по колена в грязи. Дойдешь же ты, наконец, или до лучшего будущего, или… до могилы…

Там отдохнешь от жизни.

У меня на глазах стояли слезы.

Надо отдать Филимону справедливость: рассчитывался он за шампанское тоже со слезами на глазах.

Русское искусство

– Вы?

– Я.

– Глазам своим не верю!

– Таким хорошеньким глазкам не верить – это преступление.

Отпустить подобный комплимент днем на Пере, когда сотни летящего мимо народа не раз толкают вас в бока и в спину, для этого нужно быть очень светским, чрезвычайно элегантным человеком.

Таков я и есть.

Обладательница прекрасных глаз, известная петербургская драматическая актриса, стояла передо мной, и на ее живом лукавом лице в одну минуту сменялось десять выражений.

[23] Официант, бутылку кордон вэр'а и потом что-нибудь жареный миндаль. Побыстрей поворачивайся! (*Смесь русского и ломаного фр.*)

– Слушайте, Простодушный! Очень хочется вас видеть. Ведь вы – мой старый милый Петербург. Приходите чайку попить.

– А где вы живете?

Во всяком другом городе этот простой вопрос вызвал бы такой же простой ответ: улица такая-то, дом номер такой-то.

Но не таков городишко – Константинополь!

На лице актрисы появилось выражение небывалой для нее растерянности:

– Где я живу?.. Позвольте… Не то Шашлы-Башлы, не то Биюк-Темрюк. А может быть, и Казанлы-Базанлы. Впрочем, лучше дайте мне карандашик и бумажку – я вам нарисую.

Отчасти делается понятной густая толпа, толкущаяся на Пере: это все русские стоят друг против друга и по полчаса объясняют свои адреса: не то Шашлы-Башлы, не то Бабаджан-Османлы.

Выручают обыкновенно карандаш и бумажка, причем отправной пункт – Токатлиан: это та печка, от которой всегда танцует ошалевший русский беженец.

Рисуют две параллельные линии – Пера. Потом квадратик – Токатлиан. Потом…

– Вот вам, – говорила актриса, чертя карандашом по бумаге, – эта штучка – Токатлиан. От этой штучки вы идете налево, сворачиваете на эту штучку, потом огибаете эту штучку – и тут второй дом, где я живу. Номер 22. Третий этаж, квартира барона К.

Я благоговейно спрятал в бумажник этот странный документ и откланялся.

На другой день вечером, когда я собирался в гости к актрисе, зашел знакомый.

– Куда вы?

– Куда? От Токатлиана прямо, потом свернуть в одну штучку, потом в другую. Квартира барона К.

– Знаю. Хороший дом. Что ж это вы, дорогой мой, идете в такое историческое место – и в пиджаке.

– Не фрак же надевать!

– А почему бы и нет. Вечером в гостях фрак – самое разлюбезное дело. Все-таки это ведь заграница!

– Фрак так фрак, – согласился я. – Я человек сговорчивый.

Оделся и, сверкая туго накрахмаленным пластроном фрачной сорочки, отправился на Перу – танцевать от излюбленной русской печки.

Если в Константинополе вам известны улица и номер дома, это только половина дела. Другая половина – найти номер дома. Это трудно, потому что 7-й номер помещается между 29-м и 14-м, а 15-й скромно заткнулся между 127-б и 19-а.

Вероятно, это происходит потому, что туркам наши арабские цифры неизвестны. Дело происходило так: решив перенумеровать дома по-арабски, муниципалитет наделал несколько тысяч дощечек с разными цифрами и свалил их в кучу на главной площади. А потом каждый домовладелец подходил и выбирал тот номер, закорючки и загогулины которого приходились ему больше по душе.

Искомый номер 22 был сравнительно приличен: между 24-м и 13-м.

На звонок дверь открыла дама очень элегантного вида.

– Что угодно?

– Анна Николаевна здесь живет?

– Какая?

– Русская. Беженка.

– Ах, это вы к Аннушке! Аннушка! Тебя кто-то спрашивает. – Раздался стук каблучков, и в переднюю выпорхнула моя приятельница, в фартуке и с какой-то тряпкой в руке. Первые слова ее были такие:

– Чего тебя, Ирода, черти по парадным носят?! Не мог через черный ход приттить?!

– Виноват, – растерялся я. – Вы сказали…

– Что сказала, то и сказала. Это мой кум, барыня. Я его допрежь того в Питербурхе знала. Иди уж на кухню, раздевайся там. Недотёпа!

Кухня была теплая, уютная, но не особенно пригодная для моего элегантного фрака. Серая тужурка и каска пожарного были бы здесь гораздо уместнее.

– Ну садись, кум, коли пришел. Самовар, чать, простыл, но стакашку еще нацедить – возможное дело.

– А я вижу, вы с гран-кокет перешли на характерные, – уныло заметил я, вертя в руках какую-то огромную ложку с дырочками.

– Чаво? Я, стало быть, тут у кухарках пристроилась. Ничего, хозяева добрые, не забиждают.

– На своих харчах? – деловито спросил я, чувствуя, как на моей голове невидимо вырастает медная пожарная каска.

– Хозяйские. И отсыпное хозяйское.

– И доход от мясной и зеленной имеете?

– Законный процент. (В последнем слове она сделала ударение на «о»). А то, может, щец похлебаешь? С обеда остались. Я б разогрела.

Вошла хозяйка.

– Аннушка, самовар поставь.

Во мне заговорил джентльмен.

– Позвольте, я поставлю, – предложил я, кашлянув в кулак. – Я мигом. Стриженая девка не успеет косы заплести, как я его ушкварю. И никаких гвоздей. Вы только покажите: куда насыпать угля и куда налить воды.

– Кто это такой, Аннушка? – спросила хозяйка, с остолбенелым видом разглядывая мой фрак.

– Так, один тут. Вроде как сродственник. Он, барыня, тихий. Ни тебе напиться, ни тебе набезобразить.

– Вы давно знакомы?

– С Петербурга, – скромно сказал я, переминаясь с ноги на ногу. – Аннушка в моих пьесах играла.

– Как… играла? Почему… в ваших?

– А кто тебя за язык тянет, эфиеп, – с досадой пробормотала Аннушка. – Места только лишишься из-за вас, чертей! Видите ли, барыня… Ихняя фамилия – Простодушный.

– Так чего ж вы тут, господи! Пожалуйте в столовую, я вас с мужем познакомлю. Мы очень рады…

– Видала? – заносчиво сказал я, подмигивая. – А ты меня все ругаешь. А со мной господа за ручку здороваются, к столу приглашают.

С черного хода постучались. Вошел еще один Аннушкин гость, мой знакомый генерал, командовавший третьей армией.

Он скромно остановился у притолоки, снял фуражку с галуном и сказал:

– Чай да сахар. Извините, что поздно. Такое наше дело швейцарское.

* * *

Мы сидели в столовой за столом, покрытым белоснежной скатертью. Мы трое – кухарка, швейцар и я.

Хозяин побежал в лавку за закуской и вином, хозяйка на кухне раздувала самовар.

А мы сидели трое – кухарка, швейцар и я – и, сблизив головы, тихо говорили о том, что еще так недавно сверкало, звенело и искрилось, что блистало, как молодой снег на солнце, что переливалось всеми цветами радуги и что теперь – залилось океаном топкой грязи.

Усталые, затуманенные слезами глаза тщетно сверлят завесу мглы, повешенную господом богом… Какая это мгла? Предрассветная? Или это сумерки, за которыми идет ночь, одиночество и отчаяние?

Константинопольский зверинец

– Послушайте, Простодушный, – обратился ко мне приятель. – Хотите посмотреть зверинец?

– А разве в Константинополе есть?

– Есть.

– С удовольствием. Я обожаю зверей.

– Ну, это надо делать с разбором, – наставительно процедил сквозь зубы приятель. – Так пойдем. Сейчас как раз час их кормления.

Конечно, я Простодушный. Но не до такой же степени, чтобы не отличить простой обыкновенный зверинец от простого ресторана.

А место, куда привел меня приятель, как раз и было препошлейшим рестораном, в котором если и были звери, то на тарелках и в самом неузнаваемом виде…

– Что ж вы меня дурачите? – строго спросил я. Он усмехнулся в усы.

– Не сердитесь, Простодушный. Уверяю вас, это самый настоящий константинопольский зверинец. В крайнем случае – Паноптикум. Что ни фигура – то редкая зоологическая разновидность.

– Ну что, например, интересного в том рыженьком с фиолетовым галстуком?

– В нем-то? Да это, если правду сказать, – единственный человек в мире, который ухитрился сам себя за волосы над землей приподнять.

– Но ведь сейчас он не в этом приподнятом состоянии?

– Нет. Опустился порядочно. Но, вообще… Знаете ли, что этот человек ухитрился три года пробыть военнопленным у русских?

– Ничего нет удивительного. Немец?

– Русский.

– Но воевал-то – в рядах немцев?

– В русских рядах.

– Да, тогда это действительно что-то странное. Русский – и очутился в русском плену? Может, врет?

– Нет, эту историю я знаю досконально. Видите ли, попал он в качестве русского солдата на передовые позиции. Ну сами понимаете, – холодно, иногда голодно, а вообще – страшно; стрельба, атаки и прочие жуткие вещи. А тут однажды выслали его часовым в сторожевое охранение. И когда остался парень глухой ночью один, когда между ним и австрийцами не было никакой преграды – такая жуть взяла его, что он чуть не взвыл от страху… Так испугался, что бросил ружье и побежал куда глаза глядят. И вдруг – трах! – наткнулся на что-то. Смотрит – убитый австриец, совсем холодный. Почесал наш воин свой промерзлый затылок, раздел австрийца, надел все это на себя, захватил ружье – и твердыми шагами пошел обратно – прямо в штаб соседнего полка. Набежали наши, схватили, привели: «Ты кто?» – «Славянин. Не желаю воевать. Желаю в плен. Я люблю русских». – «Ну молодец». Угостили водкой, отослали в тыл, а потом и отправили в Сибирь, в лагерь военнопленных. Три года прожил как у Христа за пазухой.

– Гм… да. Любопытный зверь. А это кто?

– Этот? Тоже штучка. Помните крымскую эвакуацию? Легко было тогда списаться на берег? То-то оно. И рекомендацию требовали, и поручительство, и отзыв о поведении… А он сделал проще: подстерег, когда французская комиссия на пароход приехала – да и запутался между французами в качестве переводчика. Суетился, переводил больше всех… Совсем подкупил французов… Те и спрашивают: «А вы тут что делаете?» – «А я, – говорит, – с вами приехал с берега – родственника хочу взять». – «А вы сами кто такой?» – «Помилуйте – у меня тут свой завод, я его туда инженером пристрою – на тысячу лир в месяц… Он замечательный человек!! Идеальная личность! Я его хочу на всю жизнь обеспечить. Вот и паспорт его – поставьте штемпелечек!» Да и подсунул свой паспорт. Они видят, такое солидное лицо ручается – поставили!

– Да… – задумчиво заметил я. – Вот это я называю самодеятельностью… Сам себя расхвалил, сам себя взял на поруки и сам же себя списал на берег… Ваш зверинец начинает меня заинтересовывать! Что это, например, за редкая черная птица?

– О нем – два слова. Буквально два. Я даже не скажу их, а только покажу его визитную карточку.

Приятель бесцеремонно подошел к жгучему брюнету, пестро одетому, попросил визитную карточку и, улыбаясь уголками рта, вернулся ко мне.

– Глядите – характеристика всего в два слова: «Христофор Христолидис – комиссионер удовольствий». – Я даже присвистнул.

– Да разве есть такая профессия?

– Очевидно.

– Ну какое же удовольствие может доставить мне этот «комиссионер удовольствий»?.. Скажем, для меня лучшее удовольствие, когда я лягу в постель, почитать рассказы Андреева или Куприна. Что ж, он будет сидеть около меня и читать?

Приятель рассмеялся.

– Поистине, вы с честью носите свою кличку Простодушного! Нет, Христо комиссионер совсем не таких буколических удовольствий… Дайте ваше ухо.

– Ну раз ухо – тогда я понимаю и без уха. Хорошая птица!.. И лицо этакое… выразительное… и клюв на месте… А вон у того господина, наоборот, очень приличный вид.

– Еще бы! Импресарио Шаляпина.

– А-а! Возил Шаляпина?

– Нет, не возил.

– Но вы же говорите – импресарио.

– Видите ли… Он устраивал во всех городах концерты Шаляпина, но ему всегда не хватало одной маленькой подробности: самого Шаляпина.

– Однако это ведь очень густо пахнет тюрьмой…

– Помилуйте, за что же! У него все это было без уголовщины. Скажем, приезжает он в Кременчуг, выпускает афиши: «Концерт Ф.И. Шаляпина» – публика валом валит в кассу, однако там уже аншлаг: все билеты проданы. Все в отчаянии, но тут выходит этакий благодетель – он же самый – и шепчет на ухо тому, другому, третьему: «Есть у меня десятирублевые билетики, да только меньше 15 никак не могу продать». «Голубчик, продайте». Продает. А когда все билеты проданы из-под полы за полуторную цену – новый анонс: «Ввиду болезни Шаляпина концерт отменяется. Деньги за билеты можно получить обратно в кассе». И честно возвращает: на билете – 10, получи 10, на билете – 20, получи 20. До копеечки со всеми расплачивается.

– Черт его знает, – опасливо покосился я на импресарио. – Мы тут сидим, разговариваем, как ни в чем не бывало, а ведь они все не в клетках. На свободе.

И как будто в подтверждение моих слов на меня сзади накинулся один зверь, щелкая зубами и сверкая глазами.

– А-а, – кричал он, – кого я вижу! Сколько лет, сколько зим! Я ведь вас по Питеру еще знаю. Говорят, недурно устроились. Случайно есть замечательно выгодное для вас дело.

– Если замечательно выгодное, – серьезно сказал я, – то заранее иду на него.

– Вот и прекрасно! Видите ли, у меня в Орле есть дом. Так как там большевики, а мне нужны деньжата, то я бы вам его дешево продал. За три тысячи лир. Даже за полторы. Я вам и адрес дам. Дайте пока 500.

– Согласен! – весело вскричал я. – Дом беру. Тем более что у меня около Орла есть именьице, на которое я не прочь поменять дом. Ваш дом стоит 3000, мое именьице 3200. Доплатите мне 200 лир и забирайте все именьице. Там и адреса не нужно – всякий дурак знает. Спросите «Аверченковку». Коровы есть, павлины.

Но он не слушал. Шептал уже что-то за другим столиком.

Мой приятель смеялся.

– Ничего, – говорил он. – Это не страшно. Иногда даже можно просунуть руку сквозь прутья клетки и пощекотать их за ухом.

О гробах, тараканах и пустых внутри бабах

Как-то давно-давно мне рассказывали забавный анекдот… Один еврей, не имеющий права жительства, пришел к царю и говорит:

– Ваше величество! Дайте мне, пожалуйста, право жительства!

– Но ведь ты же знаешь, что правом жительства могут пользоваться только ремесленники.

– Ну так я ремесленник.

– Какой же ты ремесленник? Что ты умеешь делать?

– Уксус умею делать.

– Подумаешь, какое ремесло, – усмехнулся скептически государь, – это и я умею делать уксус.

– И вы умеете? Ну так вы тоже будете иметь право жительства!

Прошли идиллические времена, когда рождались подобные анекдоты: настали такие времена, когда не только скромные фабриканты уксуса, но и могущественные короли не имеют права жительства…

Некоторое исключение представляет собой Константинополь: человек, который умеет делать уксус, здесь не пропадет. Искусство «делать уксус» в той или другой форме все-таки дает право на жизнь.

Вот моя встреча с такими «ремесленниками, имеющими право жительства», неунывающими, мужественными делателями «уксуса».

* * *

Они сидели рядышком на скамейке в саду Пти-Шан и дышали теплым весенним воздухом – бывший журналист, бывший поэт и бывш… чуть по привычке не сказал – бывшая сестра журналиста… Нет, сестра журналиста была настоящая… Дама большой красоты, изящества и самого тонкого шарма…

Всем трем я искренно обрадовался, и они очень обрадовались мне.

– Здорово, ребята! – приветствовал я эту тройку. – Что поделываете в Константинополе?

Все трое переглянулись и засмеялись:

– Что мы поделываем? Да вы не поймете, если мы скажем…

– Я не пойму? Да нет на свете профессии, которой бы я не понял!

– Я, например, – сказал журналист, – лежу в гробу.

– А я, – подхватил поэт, – хожу в женщине.

– А я, – деловито заявила журналистова сестра, – состою при зеленом таракане.

– Все три ремесла немного странные, – призадумался я. – Делать уксус гораздо легче. Кой черт, например, занес вас в гроб?..

– Одна гадалка принаняла. У нее оккультный кабинет: лежу в гробу и отвечаю на вопросы клиентов. Правда, ответы мои глубиной и остроумием не блещут, но все же они неизмеримо выше идиотских вопросов клиентов.

– А вот вы… который «ходит в женщине». Каким ветром вас туда занесло?

– Не ветром, а голодом. Огромная баба из картона и коленкора. Я влезаю внутрь и начинаю бродить по Пере, неся на себе это чудовище, в лапах которого красуется реклама одного ресторана.

– Поистине, – сказал я, – ваши профессии изумительны, но они бледнеют перед карьерой Ольги Платоновны, состоящей при зеленом таракане!

– Смейтесь, смейтесь. Однако зеленый таракан меня кормит. Собственно, он не зеленый, а коричневый, но цвета пробочного жокея, которого он несет на себе, – зеленые. И потому я обязана иметь на правом плече большой зеленый бант: цвет моего таракана. Да что вы так смотрите? Просто здесь устроены тараканьи бега, и вот я служу на записи в тараканий тотализатор. Просто, кажется?

– Очень. Все просто. Один в гробу лежит, другой в бабе ходит, третья при таракане состоит.

Отошел я от них и подумал:

«Ой, крепок еще русский человек, ежели ни гроб его не берет, ни карнавалье чучело не пугает, ежели простой таракан его кормит…»

Это одна сторона – прекрасная сторона – русского характера…

А вот другая сторона…

Еще гроб

Иногда – ни с того ни с сего – накатывает такое веселое, радостное настроение, что ходишь, внутренне подпрыгивая, как козленок, что хочется весь мир обнять, что внутри – будто целая стая воробьев щебечет.

В такие минуты любо беспричинно бродить по улицам, обращая умиленное внимание на всякий пустяк, попадающий в поле зрения: на турка, исступленно выкрикивающего свой товар; на деловитого грека, бегущего из харчевни с тарелочкой, на которой горсточка вареного риса, возглавленного крохотным кусочком баранины; на фотографическую витрину с усатыми, толстоногими гречанками, любящими сниматься непременно у фальшивого бутафорского рояля или около белой картонной лошади, шея которой обвивается топорной рукой самым шаловливым и грациозным образом, – все привлекает праздное, благодушное внимание, все заставляет или мимолетно усмехнуться, или мимолетно задуматься…

В таком безоблачном настроении любо зайти в светлый чистенький ресторанчик, проглотить кружку холодного пива и уничтожить какую-нибудь отбивную котлету, бродя рассеянно глазами по вечному портрету Венизелоса на стене, обильно засиженному мухами, и по разложенным листам бумаги от мух, девственно чистым – на зависть облюбованному летучей армией Венизелосу.

Недавно зашел я в таком бодром, искрящемся настроении в ресторанчик, уселся за стол; подошла очень недурная собой русская дама и, сделав независимое лицо аристократки времен французской революции, ведомой на гильотину, кротко спросила:

– Чего вы хотите?

– Обнять весь мир, – искренно ответил я, еле сдерживая бурлящую внутри молодую радость жизни.

– Отчего все мужчины думают, – грустно сказала дама, – что если мы служим здесь кельнершами, то нам можно делать всякие предложения…

Я заверил ее, что в отношении к ней лично у меня нет никаких агрессивных планов, и заказал телячью котлету и пиво.

– Салату желаете? – осведомилась она таким душераздирающим тоном, будто спрашивала: сейчас меня будете расстреливать или потом?

– О, да! Украсьте салатом мою сиротливую жизнь, – игриво отвечал я, желая немного развлечь ее. – Вы, наверное, беженка?

– Ах, и не говорите. Сейчас принесу пиво, а потом котлету.

Когда она вернулась, я сказал ей:

– Если вам не скучно, посидите со мной, поболтаем.

– Не скучно! А какое, спрашивается, веселье?.. Чему радоваться? Ах, вы знаете – раньше у меня были свои лошади, я приемы делала, а теперь… ботинок не на что купить.

Я отхлебнул пива. Оно показалось мне горьковатым.

– Сестра лежит с ангиной. Хозяева дома, греки, оскорбляют, потому что мы русские…

Я сделал второй глоток. Пиво как будто сделалось еще горче.

– Ничего. Даст бог, все уладится. Опять будем жить хорошо.

– Не верю я. Ни во что не верю. Наверное, скоро все перемрем. Муж в Совдепии остался. Наверное, убили.

Отхлебнул, опустил голову.

Решительно, черт их возьми, пивные заводы стали беззастенчиво прибавлять желчь в пиво.

– А может, муж и жив, – утешил я.

– А если и жив, так с голоду умер.

Я сочувственно покачал головой, отломил поджаренную хрустящую корочку булки и, посолив, положил в рот.

– Гм… Вот белый хлеб, – со стоном заметила кельнерша. – У нас тут его сколько угодно, белого, мягкого, свежего, а там серый, как глина, со щепочками, с половой, со жмыхами. Да если бы этакую порцию туда перенести, так хватило бы на четырех человек. Да и рыдали бы, пережевывая.

Все это было совершенно справедливо, но почему деревцо за окном вяло опустило ветки, портрет Венизелоса скривился на сторону, солнечное пятно на стене погасло и прожеванный кусочек хлеба никак не хотел, несмотря на мои судорожные усилия, проскочить в горло… Я облил его глотком пива вкуса хины, мучительно улыбнулся и заметил:

– Но ведь если я сейчас не буду есть этого хлеба, я им этим не помогу?..

– Им уже ничто не поможет. Как мучаются! Как мучаются! От голода распухает лицо и все тело покрывается кровоточащими струпьями…

Она встала и пошла за котлетой.

Котлета оказалась на редкость сочная, в сухариках, с картошечкой, нарезанной этакими столбиками.

Я отрезал кус, мазнул горчицей и увенчал кусочком огурца.

– Я читала, что от голода шея начинает пухнуть и гнить. Отчего бы это?

– Не знаю отчего, – угрюмо промолвил я. Мне показалось, что кусочек котлеты на вилке покраснел, распух и в нем что-то зашевелилось…

– Да… Вот вы, например, можете себе позволить здесь удовольствие съесть две или три жареные котлеты, а там даже дров нет, чтобы сварить головку ржавой селедки…

Ах, как все это было справедливо!.. Но котлета покоробилась, съежилась и сделалась вялой, неаппетитной…

– Дайте счет, – со вздохом попросил я.

Она черкнула что-то в книжечке, сардонически улыбаясь:

– Иногда пишешь счет, да как вспомнишь, чем была раньше, как роскошно жила, так слезы и застилают глаза: цифр даже не вижу…

– Прощайте, – пробормотал я.

– Куда ж вы так скоро?

– Пойти на кладбище, что ли, повеситься.

– Да уж теперь это только и остается, – с готовностью одобрила она.

* * *

Вчера снова накатило на меня такое бодрое бурливое настроение. Я шел по улице, чуть не приплясывая, и, наконец, решил:

– Не зайти ли в ресторанчик?.. Только – дудки! В этот уж не пойду. Эта милая девушка снова доведет меня до логической мысли привязаться веревкой за шею к перилам Галатского моста, да и спрыгнуть вниз…

Поэтому я, насвистывая нечто мелодичное, вошел в другой ресторан и… первое, на что я наткнулся, была та давешняя кельнерша.

– Вы… Здесь? – оторопел я.

– Да… Садитесь. Представьте, мне тот хозяин отказал. Вы, говорит, не умеете обращаться с публикой… А я уж, можно сказать, всякого, как родного, встречаю. Все, что есть на душе, все выложишь. Что будете кушать? А у сестрицы, представьте, кроме ангины еще и дезинтерия… Несчастье за несчастьем… Садитесь! Куда ж вы?!

Русские в Византии

Этот осколок константинопольской жизни мне хочется написать в благородной форме исторического романа – так он красочен…

* * *

Стояло ясное погожее утро лета 1921 года.

Впрочем, нет. Стоял вечер.

Автор начинает с утра только потому, что все русские исторические романы начинаются этой фразой.

А на самом деле стоял вечер, когда произошла завязка правдивого бытового романа.

Граф Безухов, не доложившись, неожиданно вошел в комнату жены и застал последнюю (она же была у него и первая) в объятиях своего друга князя Болконского.

Произошла ужасная сцена.

– Милостивый государь! – вскричал взбешенный муж.

– Милостивый государь?

– Вы знаете, что вами осквернен мой семейный очаг!!

– Здесь дама, прошу вас не возвышать голоса. Орет, сам не знает чего.

Закусив нижнюю губу, бледный граф молча сдернул со своей руки перчатку, сделал два шага по направлению к князю и бросил перчатку прямо в лицо врагу.

– Надеюсь, вы понимаете, что это значит?! – угрюмо сказал он.

– Готов к услугам, – холодно поклонился князь Болконский.

– Мои секунданты будут у вас в 10 часов утра.

– Хоть в 9, – с достоинством ответил князь, отыскивая свою шляпу.

* * *

По соглашению сторон поединок решен был на завтра, на дуэльных пистолетах.

Выработав все условия и подробности, секундант графа, полковник Н., спросил у княжеского секунданта, гусарского корнета Ростова:

– Теперь – последний вопрос: у вашего доверителя есть дуэльные пистолеты?

– Никаких нет.

– А у вас?

– Откуда, голубчик? Я из Севастополя эвакуировался с маленьким ручным чемоданчиком… До дуэльных ли тут пистолетов!

– И у моего нету. Что ж теперь делать? Нельзя ли у кого-нибудь попросить на время? Например, у барона Берга?..

– Нашли у кого просить! Барон на Пере «тещиными языками» торгует с лотка – неужели, вы думаете, у него удержится такая ценная штука, как ящик с дуэльными пистолетами. Загнал!

Огорченные, разошлись секунданты по своим доверителям:

– Ну что? – нетерпеливо спросил бледный, с горящими глазами граф Безухов. – Все готово? Когда?

– Черта с два готово! Пистолетов нет.

– Вот тебе раз! У барона Берга нет ли?

– «Тещины языки» есть у барона Берга. Не будете же вы драться «тещиными языками»!

– Может, в магазине можно купить? Если недорого…

– Ваше сиятельство, что вы! В константинопольском магазине?! Дуэльные пистолеты? Да на кой же шут их будут держать? Для греков, торгующих маслинами и халвой?.. Нашли тоже Онегиных!.. Они больше норовят друг друга по шее съездить или – еще проще – обчистить на «пенды-грош», а не дуэль! Заверяю вас, что среди местных греков нет ни Ленских, ни Печориных…

– Гм! Дьявольски глупо… Не отказываться же из-за этого от дуэли!

– Впрочем, попытаюсь пойти еще в одно место: в комиссионный магазин «Окказион» – не найду ли там?..

* * *

– Здравствуйте. Чем могу служить?

– У вас есть дуэльные пистолеты?

– Помилуйте, все есть! Ковры, картины, бриллианты, курительные трубки…

– Ну на кой мне черт курительная трубка. Из нее не выстрелишь.

– Пардон, стреляться хотите? Дуэль?

– Не я. Я по доверенности.

– Ага. Так, так. Присядьте! Ну, желаю удачи. А пистолетики найдутся. Вам пару?

– Не четыре же! Это не кадриль танцевать.

– Нет, я в том смысле спросил, что, может, одним обойдетесь.

– Что вы за чушь городите! Какая же это дуэль с одним пистолетом?!

– А почему же? Сначала первое лицо стреляет, потом, ежели не попал, передает партнеру, тот стреляет, и так далее. Экономически-с.

– Подите вы! Сколько стоит пара?

– Для вас? Двести лир.

– Вы с ума сошли! Они и шестидесяти не стоят!

– Не могу-с. А пистолеты такие, что поставьте в затылок пятерых – пятерых насквозь пронижет.

– Ну, вот! Что ж мы для вашего удовольствия еще четыре пары дуэлянтов подбирать будем? Уступите за сто.

– И разговору такого нет.

* * *

– Ну что?!

– Черт его знает – с ума сошел человек! Он, может, из человеколюбия, но нельзя же драть двести лир за пару! Скажите, сколько вы ассигнуете?

– Мм… Могу отдать все, что имею – сорок лир.

– Впрочем, с какой стати вы сами будете нести все расходы. Вот еще! Пусть противник принимает на себя половину!

– Послушайте! Удобно ли обращаться… по такому поводу!

– В Константинополе все удобно! Я с него и за доктора половину сдеру!..

* * *

Колесо завертелось.

Полковник Н. пошел к корнету Ростову и потребовал, чтобы его доверитель, князь Болконский, заплатил свою долю за пистолеты – 40 лир; корнет пошел к князю – у князя нашлось только 25 лир; корнет отправился к полковнику, но полковник нашел, что шансы не равны, и предложил взять доктора – на счет князя; потом оба пошли в комиссионный магазин и стали торговаться…

Хозяин уступал за полтораста (без зарядов); секунданты давали 60 с зарядами; не сойдясь, оба разошлись по своим доверителям за инструкциями; граф предложил полковнику Н. взять пистолеты напрокат; полковник отправился к корнету Ростову; оба отправились в комиссионный магазин; хозяин согласился напрокат, но просил залог в полтораста лир; оба снова разошлись по доверителям; один из доверителей (граф) согласился дать в залог брошку жены (100 л.) с тем, чтобы князь Болконский доплатил остальное; корнет Ростов отправился к князю, но у князя оказалось всего-навсего 15 лир; граф передал через своего секунданта, что князь саботирует дуэль, а князь ответил через своего секунданта, что бедность не саботаж и что он если и задолжает графу за пистолеты, то впоследствии, когда будут деньги, отдаст; граф чуть было не согласился, но жена его возмутилась: «С какой стати, – говорила она, – раз шансы не равны: если он тебя убьет, он этим самым освобождается от долга, а если ты его убьешь – ты с него ничего не получишь… Я вовсе не желаю терять на вашей дурацкой дуэли!»; граф возразил, что это не дурацкое, а дело чести; графиня ответила в том смысле, что, дескать, какая честь, когда нечего есть; из комиссионного магазина пришел мальчик и простодушно спросил: «А что теи господа будут стрелять друг у друга или отдумали, потому как, может, найдутся другие покупатели – так отдавать или как?» Граф послал его к князю Болконскому, графиня послала его к черту, а он вместо этого раскрыл зонтик от дождя и побежал домой.

Наступала осень.

* * *

О, Ленские, Печорины, Онегины и Грушницкие! Вам-то небось хорошо было выдерживать свой стиль и благородство, когда и пистолеты под рукой, и камердинеры собственные, и

экипажи, и верховые лошади… «Дуэль? Пожалуйста! Такое-то место, такой-то час, деремся на пистолетах»… А попробуйте, милостивый государь господин Ленский, пошататься по «окказионам», да поторговаться до седьмого поту, да войти в сношения с Онегиным на предмет взятия на себя части расходов, да получить от Онегина отказ, потому что у него «юс-пара» в кармане… Так тогда – не «умру ли я, стрелой пронзенный» запоете, а совсем из другой оперы:

Помереть не померла,
Только время провела.

* * *

Бедные мы сделались, бедные…
И прилично ухлопать-то друг друга не имеем возможности!

Аргонавты и золотое руно

С тех пор как осенью 1920 года пароход покинул берега Крыма, и до самого Константинополя они так и ходили нераздельно вместе – впереди толстый, рыжебородый со сложенными на груди руками, за ним, немного сзади, двое: худощавый брюнет с усиками и седенький, маленький. Этот вечный треугольник углом вперед напоминал стаю летящих журавлей.

Только один раз я увидел их не в комбинации треугольника: они дружно выстроились у борта парохода, облокотясь о перила, и поплевывали в тихую воду Черного моря с таким усердием, будто кто-нибудь дал им поручение – так или иначе, а повысить уровень черноморской воды.

Я подошел и бесцельно облокотился рядом.

– Ну что, юноша, – обратился вдруг ко мне седенький. – Как делишки?

– Ничего себе, юноша, – приветливо ответил я. – Дрянь делишки.

– Что думаете делать в Константинополе?

– А черт его знает. Что придется.

– Так нельзя, – наставительно отозвался черноусый мужчина. – Надо заранее выработать план действий, чтобы не очутиться на константинопольском берегу растерянным дураком. Вот мы выработали себе по плану – и спокойны!

– Прекрасное правило, – пришел я в искреннее восхищение. – Какие же ваши планы?

Седенький одарил морскую гладь искусным полновесным плевком и, поглядывая на удалявшиеся с глаз плоды губ своих, процедил сквозь энергично сжатые губы:

– Газету буду издавать.

– Ого! Где?

– Что значит – где? В Константинополе. Я думаю сразу ахнуть и утреннюю, и вечернюю. Чтобы захватить рынок. Вообще, Константинополь – золотое дно.

– Дно-то дно, – с некоторым сомнением согласился я. – Только золотое ли?

– Будьте покойны, – вмешался черноусый. – На этом дне лежат золотые россыпи, только нужно уметь их раскопать. Впрочем, мои планы скромнее.

И две стороны треугольника сейчас же поддержали третью:

– Да, его планы скромнее.

– Журнал будете издавать? – попытался догадаться я.

– Ну что там ваш журнал! Чепуха. Нет, мне пришла в голову свежая мыслишка. Только вы никому из других пассажиров не сообщайте. Узнают – сразу перехватят.

Я твердо поклялся, что унесу эту тайну с собой в могилу.

– Так знайте: я решил открыть в Константинополе русский ресторан.

– Гм… Я, правда, никогда до сих пор не бывал в Константинополе, но… мне кажется, что… там уже в этом направлении кое-что сделано.

– Черта с два сделано! Разве эти головотяпы сумеют? Нет, у меня все будет особенное: оркестр из живых венгерцев, метрдотель – типичный француз, швейцар – швейцарец с алебардой, а вся прислуга – негры!

– И вы всю эту штуку назовете русским рестораном?

– Почему бы и нет? Кухня-то ведь русская! Щи буду закатывать, кулебяки загибать, жареных поросят зашпаривать. На всю Турцию звон сделаю.

– Но ведь для этого дела нужны большие деньги!

– Я знаю! Тысяч десять лир. Но это самое легкое. Найду какого-нибудь богатого дурака-грека – в компании с ним и обтяпаем.

Молчавший доселе бородач вдруг захохотал, одарил морскую гладь сложнейшим плевком с прихотливой завитушкой и дружески ударил меня по плечу.

– Нет, это все скучная материя – дела, расчеты, выкладки. Вот у меня план так план! Знаете, что я буду там делать?

– А бог вас знает.

– То-то и оно. Ничего не буду делать. Сложа руки буду сидеть. Валюту везу. Ловко, а!

– Замечательно.

– Да-а. Узнает теперь этот Константинополишка Никанора Сырцова! Ей-бо, право! Палец о палец не ударю. Сложу руки и буду сидеть. Поработали, и буде. Ежели встречу там где – шампанеей до краев налью. Да просто заходи в лучший готель и спроси Никанора Сырцова – там я буду! А може, я в Васькиной газете публиковаться буду: «Такой-то Никанор Гаврилов Сырцов разыскивает родных и знакомых на предмет выпивки с соответствующей закуской». А в кабак мы с тобой будем ходить только в Петькин: пусть нам там негры и венгерцы дурака ломают. Поддержим приятеля, хе-хе! Хай живе Украина!

Журавлиный треугольник отделился от перил, взмахнул крыльями и плавно понесся в трюм на предмет насыщения своих пернатых желудков.

* * *

Пока все беженство кое-как утряслось, пока я лично устраивался – никто из журавлиного треугольника не попадался мне на глаза.

Но однажды, когда я скромно ужинал в уголку шумного ресторана, ко мне подлетел головной журавль – Никанор Сырцов.

– Друг! – завопил он. – Говорил, шампанеей налью – и налью. Пойдем до кабинету. Какие цыгане – пальчики оближешь. Как зальются – так или на отцовскую могилу хочется бежать, или кому-нибудь по портрету заехать. Благороднейшие люди.

Он сцепился со мной на абордаж, после долгой битвы победил меня и, взяв на буксир, отшвартовался «до кабинету», который оказался холодной дымной накуренной комнатой, наполненной людьми. В руках у них были гитары, на плечах линялые кунтуши, на лицах – скука непроходимая.

– Эй, брат! – воскликнул Сырцов, становясь в позу. – Люблю я тебя, а за что, и сам не знаю. Хороший человек, чтоб ты сдох! Веришь совести – вторую тысячу пропиваю!.. А ну вы, конокрады, ушкварьте «Две гитары за стеной!».

Пел Сырцов, рыдал Сырцов в промежутках и снова плясал Сырцов, оделяя всех алчущих и жаждущих бокалами шампанского и лирами.

– Во, брат, – кричал он, путаясь неверными ногами в странном танце. – Это я называю жить сложа руки! Вот она, брат, и есть настоящая жизнь! Ой, жги, жги, жги!..

Последний призыв Никанора цыгане принимали вяло и вместо поджога только хлопали бокал за бокалом, зевая, перемигиваясь и переталкиваясь локтями. Впрочем, и сам Сырцов не мог точно указать, какой предмет обречен им на сжигание.

– Постой, – попытался я остановить пляшущего Никанора. – Расскажи мне лучше, что поделывают твои приятели? Открыли ресторан? Издают газету?..

– А черт их знает. Я восьмой день дома не был – так что мне газета! На нос мне ее, что ли?

* * *

Шел я однажды вечером по Пти-Шан. Около знаменитого ресторана «Георгия Карпыча» раздался нечеловеческий вопль:

– Интер-ресная газета «Пресс дю Суар!». Купите, господин!

Я пригляделся: вопил издатель из журавлиного треугольника.

Очевидно, вся его издательская деятельность ограничилась тем, что он издавал вопли, с головой уйдя в несложное газетное дело сбыта свежих номеров.

– Что же это вы чужую газету продаете, – участливо спросил я. – А своя где?

– Дело этого… налаживается, – нерешительно промямлил он. – Еще месяц, два и этого… С разрешением дьявольски трудно!..

– А что ваш приятель? Как его дело с рестораном?

– Пожалуйте! Тут за углом, второй дом, вывеска. Навестите, он будет рад.

«Слава богу, – подумал я, идя по указанному адресу, – хоть один устроился!..»

Этот последний, действительно, увидев меня, обрадовался.

Подошел к моему столику, обмахнул его салфеткой, вынул из кармана карточку и сказал:

– Вот приятная встреча! Что прикажете? Водочки с закусочкой, горячего или просто чашку кофе?

– Вы что тут, в компании? Нашли дурака-грека с деньгами?

– Нет, собственно, он нашел меня, дурака. Или, вернее, я его, конечно, нашел, ну так вот… Гм!.. Пока служу. У него, впрочем, действительно есть большие деньги. Я только… этого. Не заинтересован.

– А венгерцев и негров нет?

Он отвернулся к окну и стал салфеткой протирать заплаканное стекло.

– И швейцар ваш без алебардов, безоружный, в опорках…

– Шутить изволите. Может, винца прикажете? Хорошее есть.

Еще месяц с грохотом пронесся над нашими головами.

Проходя мимо греческого пустынного ресторанчика, я иногда видел дремлющего у стены с салфеткой под мышкой смелого инициатора дела, построенного на венгерцах, неграх, швейцарцах и алебардах.

И по-прежнему издатель на углу яркой улицы издавал стоны:

– «Пресс дю Суар!»

Вчера, остановившись и покупая газету, я спросил простодушно:

– А что же ваша собственная газета?

– Наверное, скоро разрешится.

– Ну а что ваш приятель Никанор Сырцов? По-прежнему сидит сложа руки?

– Сложа-то сложа… Только не сидит, а лежит. От голодного тифа или что-то вроде – помер. Все деньги на цыган да на глупости разные проухал! У меня, в конце концов, по пяти

пиастров перехватывал! Да мне тоже, знаете, взять их неоткуда. Вот тебе и «сложа руки»! Много их, таких дураков.

И когда он говорил это – у него было каменное неподвижное лицо, как у старых боксеров, которых другие боксеры лупили по щекам огромными каменными кулачищами, отчего лицо делается навсегда непробиваемым.

Жестокий это боксер – Константинополь! Каменеет лицо от его ударов.

Развороченный муравейник

Разговор в беженском общежитии:

– Здравствуйте… Я к вам на минутку. У вас есть карта Российской империи?

– Вот она. На стенке.

– Ага! Спасибо. А почему она вся флажками покрыта? Гм! Для линии фронта – флажки, кажись, слишком неряшливо разбросаны…

– Родственники.

– Ага! Родственники это сделали?

– Какие родственники! Я это сделал.

– Родственникам это сделали? Для забавы?..

– К черту забаву! Для собственного руководства сделал.

– В назидание родственникам?

– Плевать хочу на назидание!

– А при чем же родственники?

– Выдерните флажок из Екатеринослава! Ну? Что там написано?

– «Алеша» написано.

– Так. Брат. Застрял в Екатеринославе.

– Позвольте… А где же ваша вся семья?

– А вот следите по карте… Отправной пункт – Петербург – застряла больная сестра. Служит в Продкоме, несчастная. «Москва» – потеряли при проезде дядю. Что на флажке написано?

– Написано: «Дядя».

– Правильно написано. Дальше – «Курск»: арестована жена за провоз якобы запрещенных 2 фунтов колбасы. Разлучили, повели куда-то. Успел вскочить в поезд, потому что там оставались дети. Теперь – ищите детей… Станция Григорьевка – Люся… Есть Люся? Так. Потерялась в давке. Еду с Кокой. Станция Орехово. Нападение махновцев, снова давка – Коку толпа выносит на перрон вместе с выломанной дверью. Три дня искал Коку. Пропал Кока. Какой флаг на Орехове?

– Есть флаг: «Кока на выломанной двери».

– Правильный флаг. Теперь семья брата Сергея… Отправной пункт бегства – Псков. Рассыпались кистью, вроде разрыва шрапнели. Псков – безногий паралитик дедушка, Матвеевка – Грися и Сеня. Добронравовка – свояченица, Двинск – тетя Мотя, сам Сергей – Ковно, его племянник где-то между Минском и Шавлями – я так и флажок воткнул в нейтральную зону… Теперь – гроздь флажков в ростовском направлении – семья дяди Володи, тонкая линия с перерывами на сибирское направление – семья сестры Лики!.. Пук флажков по течению Волги… Впрочем, что это я все о своих да о своих… Прямо невежливо! Вы лучше расскажите – как ваша семья поживает?

– Да что ж рассказывать… Они, кроме меня, все вместе – все 9 человек.

– Ну слава богу, что вместе.

– Вы думаете? Они на Новодевичьем кладбище в Москве рядышком лежат…

Трагедия русского писателя

Меня часто спрашивают:

– Простодушный! Почему вы торчите в Константинополе? Почему не уезжаете в Париж?

– Боюсь, – робко шепчу я.

– Вот чудак… Чего ж вы боитесь?

– Я писатель. И поэтому боюсь оторваться от родной территории, боюсь потерять связь с родным языком.

– Эва! Да какая же это родная территория – Константинополь.

– Помилуйте – никакой разницы. Проходишь мимо автомобиля – шофер кричит: «Пожалуйте, господин!» Цветы тебе предлагают: «Не купите ли цветочков? Дюже ароматные!» Рядом: «Пончики замечательные!» В ресторан зашел – со швейцаром о Достоевском поговорил, в шантан пойдешь – слышишь:

– Матреха, брось свои замашки, скорей тангу со мной пляши…

Подлинная черноземная Россия!

– Так вы думаете, что в Париже разучитесь писать по-русски?

– Тому есть примеры, – печально улыбнулся я.

– А именно?..

Не отнекиваясь, не ломаясь, я тут же рассказал одну известную мне грустную историю —

О русском писателе

Русский пароход покидал крымские берега, отплывая за границу.

Опершись о борт, стоял русский писатель рядом со своей женой и тихо говорил:

– Прощай, моя бедная истерзанная родина! Временно я покидаю тебя. Уже на горизонте маячит Эйфелева башня, Нотр-Дам, Итальянский бульвар, но еще не скрылась с глаз моих ты, моя старая добрая, так любимая мною Россия! И на чужбине я буду помнить твои маленькие церковки и зеленые монастыри, буду помнить тебя, холодный красавец Петербург, твои улицы, дома, буду помнить «Медведя» на Конюшенной, где так хорошо было запить расстегай рюмкой рябиновой! На всю жизнь врежешься ты в мозг мне – моя смешная, нелепая и бесконечно любимая Россия!

Жена стояла тут же; слушала эти писательские слова – и плакала.

* * *

Прошел год.

У русского писателя была уже квартира на бульваре Гренель и служба на улице Марбеф, многие шоферы такси уже кивали ему головой, как старому знакомому, уже у него было свое излюбленное кафе на улице Пигаль и кабачок на улице Сен-Мишель, где он облюбовал рагу из кролика и совсем недурное «ординэр»…

Пришел он однажды домой после кролика, после «ординэра», сел за письменный стол, подумал и, тряхнув головой, решил написать рассказ о своей дорогой родине.

– Что ты хочешь делать? – спросила жена.

– Хочу рассказ написать.

– О чем?

– О России.

– О че-ем?!

– Господи боже ты мой! Глухая ты, что ли? О России!!!

– Calmez-vous, je vous en prie[24]. Что ж ты можешь писать о России?

– Мало ли! Начну так: «Шел унылый, скучный дождь, который только и может идти в Петербурге… Высокий молодой человек быстро шагал по пустынной в это время дня Дерибасовской…»

– Постой! Разве такая улица есть в Петербурге?

– А черт его знает. Знакомое словцо. Впрочем, поставлю для верности – Невскую улицу! Итак: «…Высокий молодой человек шагал по Невской улице, свернул на Конюшенную и вошел, потирая руки, к «Медведю». – «Что, холодно, monsieur?» – спросил метрдотель, подавая карточку. – «Mais oui[25], – возразил молодой сей господин. – Я есть большой замерзавец на свой хрупкий организм!»

– Послушай, – робко перебила жена. – Разве есть такое слово «замерзавец»?

– Ну да! Человек, который быстро замерзает, – суть замерзавец. Пишу дальше: «Прошу вас очень, – сказал тот молодой господин. – Подайте мне один застегай с немножечком poisson bien frais[26] и одну рюмку рабиновку».

– Что это такое – рабиновка?

– Это такое… du водка.

– А по-моему, это еврейская фамилия: Рабиновка – жена Рабиновича.

– Ты так думаешь?.. Гм! Как, однако, трудно писать по-русски! – И принялся грызть перо. Грыз до утра.

* * *

И еще год пронесся над писателем и его женой.

Писатель пополнел, округлел, завел свой авто – вообще, та вечерняя газета, где он вел парижскую хронику, щедро оплачивала его – «сет селебр рюсс»[27].

Однажды он возвращался вечером из ресторана, где оркестр ни с того ни с сего сыграл «Боже, царя храни»… Знакомая мелодия навеяла целый рой мыслей о России…

«О, нотр повр Рюсси![28] – печально думал он. – Когда я приходить домой, я что-нибудь будить писать о наша славненькая матучка Руссия».

Пришел. Сел. Написал:

«Была большая дождика. Погода был то, что называй веритабль петербуржьен![29] Один молодой господин ходил по одна улица, по имени сей улица: Крещиатик. Ему очень хотелось manger. Он заходишь на Конюшню сесть на медведь и поехать в restaurant, где скажишь: garçon, une tasse de[30] рабинович и одна застегайчик avec[31] тарелошка с ухами…»

* * *

Я кончил.

Мой собеседник сидел, совсем раздавленный этой тяжелой историей.

Оборванный господин в красной феске подошел к нам и хрипло сказал:

---

[24] Уймитесь, прошу вас (*фр.*).

[25] Да, конечно (*фр.*).

[26] Очень свежая рыба (*фр.*).

[27] Этого знаменитого русского (*фр.* Cette clèbre russe).

[28] Наша бедная Россия (*фр.* Notre pauvre Russie).

[29] Подлинно петербуржская (*фр.* Veritable pétérburgien).

[30] Чашку (*фр.*).

[31] С (*фр.*).

– А что, ребятежь, нет ли у кого прикурить цыгарки!

– Да, – ухмыльнулся мой собеседник. – Трудно вам уехать из русского города!

Язык богов

Маленькая грязная комнатка, с гримасой бешенства сдаваемая маленькой грязной гречанкой одному моему безработному знакомому.

Он слишком горд, чтобы признать отчаянное положение своих дел, но, зайдя к нему сегодня, я сразу увидел все признаки: вымытую собственными руками рубашку, сушившуюся на портрете Венизелоса, тарелку, на которой лежал огрызок ужасающей жареной печенки с обломком семита – отложенные в качестве ужина, грязная закопченная керосинка с какой-то застывшей размазней в кастрюле.

Обитатель комнаты так углубился в чтение книги, что даже не заметил моего появления…

– Что ты сидишь, как сыч, нос в книгу уткнул. Захлопывай книгу, пойдем по взморью на лодке кататься. Погода изумительная!

Поднял он от книги тяжелую голову, поглядел на меня ничего не видящими глазами – опять уставил их в книгу.

– Ну что же ты?

– Сегодня не могу, книжку читаю.

– Подумаешь, важность – книжка! Что это: откровение великого мыслителя, что ли?

– Подымай выше! Видишь, не могу оторваться.

– Поэма Эдгара По?

– Убирайся ты со своим По!

– Бешеная фантазия Гастона Леру?

– Откровенно говоря, я не знаю, как эта книга и называется: первые несколько листов оторваны. Знакомый газетчик дал.

– Да с чего же начинается?

– А вот послушай: «…вообще, на рынках и в лавках купить хороших, сытых, т. е. откормленных, цыплят – большая редкость. Ежели хотите иметь хороших цыплят, то, купив их живыми, следует покормить недельки две дома гречневой крупой, заваренной кипящим молоком, и содержать всех в тесном месте, чтобы цыплята не бегали. Но ежели хотите побаловать себя цыплятами на славу (тут голос моего приятеля дрогнул от волнения), то покормите их вареным на молоке рисом! Цыплята будут объедение: белое, нежное, тающее во рту мясо, с косточками, как хрящики. Правда, такое кормление молочным рисом обходится немало – рубля 3 – 4».

Я проглотил слюну и нетерпеливо воскликнул:

– Постой! Да ведь это простая поваренная книга!!

– Простая?! Нет, брат, не простая! Послушай-ка: «Главный подвоз рябчиков – вологодских и астраханских – начинается с установившегося зимнего пути. Лучшие сибирские рябчики – кедровики, то есть питающиеся кедровыми орехами. Когда выбираете дичь – она должна быть чиста, чтоб дробинки, так сказать, нигде не было видно. Это тем особенно важно, что тогда, во время жаренья жирной птицы, сало и сок из ее ранок не вытекают, отчего она не высохнет и не потеряет во вкусе. Хороший рябчик должен быть: бел, сыт, т. е. мясист. Аромат его – приятно-смолянистый».

– Ну так едем, что ли?

Я внутренне лукаво улыбнулся и добавил:

– Марья Григорьевна тоже едет.

– Марья Григорьевна? Ага. А ты вот это послушай: «Бывают случаи, что люди самые опытные ошибаются в выборе рыбы – да еще как ошибаются-то! Плавают, например, в садке или окаренке две стерляди; рост у них, правильнее – мера, – одинаковая, обе толстые, брюшко у обеих желтое, обе без икры, яловые, что вкуснее. Вы просите подрезать рыб снизу, к наростику, т. е. к хвосту. Подрезать обеих: и обе, как желток, жир – червонное золото. Чего еще требовать? Как еще пробовать? Между тем за столом оказывается, что одна из стерлядей вкусом удивительная, нежная, тает во рту, другая – так себе, грубая, дряблая, темновата, да и жиру в ней оказывается мало – весь он остался в рассоле, в котором варили стерлядь, и потемнела-то она во время варки. Отчего? Оттого, что стерлядь эта другой воды: первая из Оки, вторая – волжская!!»

– Н-да, – задумчиво сказал я, машинально глотая слюну. – Дела!

– Вот видишь! А ты знаешь, как телят поят?

– Подумаешь, важность; дадут ему воды – он и пьет.

– Ха-ха-ха! Слушай. «Еще не так важно отпоить теленка, как важно выбрать его для отпоя, в чем, главное, и заключается секрет троицких телятников. Именно: выбирайте для отпоя теленка на низких, а не на высоких бабках, смотрите, чтоб у него были белы белки и губы, изнутри, когда их подвернете. Теленок, выбранный для отпоя, не должен делать большого движения, для чего его ставят в тесное стойло, где бы он мог только повернуться, лечь и встать, но отнюдь не скакать и играть; подстилки не должно класться никакой: одна соломина, которую теленок будет жевать, испортит все дело. В стойле должно быть сухо, для чего пол делают наклонным, с дырьями, чистым. Ежели в молоко будет подлита хоть капля воды или подбавлена мука – телятина будет непременно красна и груба. Менее как в четыре-пять недель порядочно отпоить теленка нельзя; но поят очень хороших по три, даже по четыре месяца. Конечно, таким телятам молока от одной коровы недостаточно, и поят их от двух, трех, пяти и более коров».

– Что ты хочешь этим сказать? – угрюмо спросил я.

– Ничего! – отвечал он торжествующе.

– А Марья Григорьевна тебя два раза спрашивала; она сегодня особенно интересна. И понимаешь – на блузке совсем прозрачные рукава… А руки! Белые, пухленькие, с ямочками на локтях. Грудь…

– А это: «К масленице зернистую икру подвозят в столицы и даже почти во все города нашего отечества в огромном количестве. К сожалению любителей, хорошая зернистая икра всегда в цене (4 1/2 руб. фунт); достоинства зернистой икры следующие: малая соль, разбористость, т. е. зерно должно быть цело, не смято и отделяться одно от другого свободно, раскатываться в дробь. Белужья икра крупнее и беловатее, осетровая – мельче и с желтизной, но трудно сказать, которая лучше. Лучшая зернистая икра – багреная, т. е. та, которая вынута из рыбы, пойманной на воле багром, а не садковая, т. е. вынутая из рыбы, сидевшей уже в садках, из потомленной рыбы». Ха-ха! Понимаешь, как люди раньше жили? Икру из томленой рыбы он не лопал!..

– Послушай: замечательная погода. Море тихое, а? Поедем… Сейчас полная луна, с берега доносится музыка, волны тихо шелестят о борта лодки… Марья Григорьевна смотрит на тебя загадочным мерцающим взглядом. Стройная подъемистая ножка шаловливо выглядывает из-под края шумящей юбки…

– А это?! «Макароны Монгляс. В приготовленные и вымешанные с маслом макароны положить тертый пармезан пополам с швейцарским сыром, филеи из кур, нарезанные ломтиками, гусиные печенки, трюфели и шампиньоны, предварительно обжарив их в масле. Потом прибавить ложку белого соуса, размешать, подавать при консоме…» А? каково?

– Не спорю, – вздохнул я. – Макароны Монгляс – очень вкусная штука. Да, кстати, о Марье Григорьевне. За ней в последнее время усиленно прихлестывает Пузыренко… Если ты не поедешь – он тоже увяжется в лодку…

– Меня не это удивляет, – рассеянно возразил приятель. – Меня удивляет «Гарнир Массена». Полюбуйся-ка: «Снять с дроздов филеи, подрезать верхнюю плеву, подсолить, изжарить. Очистить свежие каштаны и, обжарив немного в сливочном масле, налить бульоном, сварить до мягкости; приготовить на двух яйцах лапшу, сварить в соленом кипятке, откинуть на решето. Когда все будет готово, сложить лапшу на растопленное масло в кастрюле, размешать, выложить на блюдо, сверх лапши уложить филеи, а средину наполнить сваренными каштанами…»

– Ей-богу, – моляще простонал я, – я дроздов не люблю. Другое дело перепелки… И Марья Григорьевна их очень любит. Знаешь, когда она ест своими беленькими зубками…

– Перепелки, говоришь? Изволь! «Гарнир Шомель. Снять филеи с 6-ти перепелок и, подрезав верхнюю кожицу, сложить на вымазанную маслом глубокую сковородку и обжарить. Выпустить в кастрюлю 10 желтков яиц, развести выкипяченным соком из перепелов, посолить, процедить, разлить в намазанные маслом формочки и сварить на пару. Нафаршировать овальные гренки фаршем из дичи № 17…»

– Постой, постой! А как делается № 17?..

– Сейчас посмотрим…

Было 2 часа ночи.

Луна, освещавшая где-то далеко на тихом взморье Марью Григорьевну и Пузыренко, заглядывала и к нам в окно. Так как мой приятель устал читать – его заменил я. Наклонившись над книгой, читал я внятно и со вкусом:

– «Артишоки, фаршированные другим манером. Приготовить артишоки, обдать их кипятком, а потом выбрать на салфетку. Приготовить фарш № 27, прибавить шампиньонов, рубленого трюфеля, рубленой зелени, раковых шеек…»

* * *

Смаковали до утра.

Что ни говори, а бедному русскому в Константинополе удается иногда попировать по-царски.

Дела

На далеких кофейных плантациях под лучами жгучего беспощадного солнца тысячи полуобнаженных людей работают, добывая миллиарды зерен кофе.

Потом этот кофе грузится на корабли.

Корабли бороздят неизмеримые пространства морей и океанов.

Потом в Константинополе тюки кофе выгружаются.

Потом его мелют.

Потом жарят.

Потом приносят в кафе.

Варят; подают посетителям, которые делают дела только за чашкой кофе.

Потом из этих дел ни черта не выходит.

И прямо-таки больно мне: стоит ли тысячам полуобнаженных людей жариться под раскаленным солнцем, пароходам – плыть, рабочим – выгружать, кому-то молоть, жарить, варить, чтобы в результате ни из одного дела, решенного за чашкой кофе, – ничего не вышло.

* * *

Вот те нижеследующие элементы, из которых слагается каждое константинопольское дело: одному человеку приходит в голову деловая мысль; он сообщает ее посреднику; при этом

в кафе пьют кофе; очарованный деловой мыслью посредник мчится к капиталисту; пьют кофе; капиталист тоже приходит в восторг от замечательной деловой идеи. Сходятся, наконец, все трое, дуя кофе изо всех чашек, которые только видны в окрестности. Торжественные клятвы положить все дни своей оставшейся жизни, все соки своего ума – на проведение замечательного дела. Расходятся.

Через три дня:

Капиталист (посреднику):

– Видите ли… Я, к сожалению, не могу внести деньги на это дело, потому что аргентинская шерсть упала по сравнению с бразильским зерном. Понимаете?

Посредник:

– Я вас понимаю. (Он ничего не понимает.) Мне самому, впрочем, сейчас не до этого дела: устраиваю метрополитен под Босфором!

Посредник (встречается с автором идеи):

– А знаете, что наш капиталистишка закинулся?

– Я чувствовал это с самого начала.

– У меня, впрочем, есть другой на примете. Если хотите…

– Нет, спасибо. Я уже без вас нашел кое-что, очень подходящее…

– Да? Ну и слава богу. Я бы все равно не мог заняться этим делом. Открываю воздушный ресторан на привязном шаре. Чудная мысль! Вот только бы капиталиста найти.

– Гм! Капиталиста? – призадумывается автор предыдущей идеи. – У меня, кажется, есть для вас кое-что подходящее.

И, о чудо! Прежнее дело безболезненно и легко забыто, инициатор предыдущего дела превратился в посредника настоящего дела, а посредник предыдущего, наоборот, – в инициатора.

Капиталист отыскивается моментально!

И снова: на кофейных плантациях кипит работа, собирают, грузят, везут, выгружают, жарят, мелют, варят – для чего? Только для того, чтобы три деловых человека поговорили, выработали проект договора, поклялись бодро идти нога в ногу по избранному деловому пути до конца своей жизни – и разошлись в разные стороны, не моргнув бровью.

* * *

Никогда не предлагайте константинопольцу верных дел – они не для него.

От дела, могущего принести 50 процентов пользы, он брезгливо отвернется.

Но в воздушный ресторан на привязном шаре он ринется с головой, с руками и ногами; но на оригинальный симфонический оркестр, составленный исключительно из гермафродитов, он убухает все денежки…

Никогда не пытайтесь убедить его минимальными цифрами затрат; боже вас сохрани прельщать его скромной, дешевой сметой расходов.

Звоните, бухайте, сверкайте, дерите – тогда он, завороженный, как кролик змеиной головой, сам бросится вам в пасть.

– Помилуйте, наша прачечная, которую я предлагаю вам открыть, будет лучшая в городе! Десять паровых машин по сорок атмосфер, двести восемьдесят прачек, 102 гладильщицы – все красавицы как на подбор! Конечно, свой мыльный завод и небольшой участочек для посева картофеля – собственный крахмал будем делать. Восемь грузовичков будут развозить белье по всей периферии города, электрическая станция, тройная испанская бухгалтерия!! Дзинь, бум, трах-та-ра-рах!

* * *

Перед своим отъездом в Чехословакию я подвел и погубил целую массу константинопольских деловых людей. Простодушный, но крепкий, как медная ступка, я получил заманчивое предложение от одного капиталиста открыть в Берлине прекрасное предприятие.

Я еще не выпил и дюжины чашек кофе, как работа у меня закипела: я привлек других капиталистов, снял с места служилых людей, организовал, устроил, но… все были мной погублены, кроме первого капиталиста; он по-прежнему безмятежно пьет свой кофе, а они:

1. Отказались от места.
2. Продали свои громоздкие вещи.
3. Перевели свои деньги на германские марки.

Они именно сделали это потому, что я крепкий и устойчивый, как медная ступка. Такой человек не подведет.

Не будь меня, они бы мирно сошлись, мирно поглотили два-три литра кофе и мирно разошлись по своим делам.

Но… нельзя упаковывать медную ступку в один ящик с хрупким богемским хрусталем; своей солидностью я их передавил, стер в порошок: места они потеряли, марки их упали, проданные вещи они прожили – в живых осталась только медная ступка да первый капиталист, который – скажи я ему, какая произошла из-за него суматоха, – только широко открыл бы глаза: вольно им, дуракам, было верить.

– Да ведь, позвольте! Сколько кофе было выпито, клялись идти об руку и, как говорилось в древности, – «на том крест целовали»!

– Что поделаешь – кофейное дело!

* * *

Эти канальи – эти полуголые негры на кофейных плантациях: сколько они хорошего народу подводят!

Заключение

Снова перечитал я свои «Записки Простодушного» и, сидя сейчас за письменным столом, призадумался…

Точно ли я теперь такой «Простодушный», каким был тогда, когда ясным ликующим взором оглядывая пеструю Галату, высаживался на константинопольский берег в полной уверенности, что ожесточенная борьба хамалов из-за моих вещей – результат радости при встрече восточных поклонников с русским писателем. Точно ли я таков теперь, каким был тогда?..

О, нет. Гляжу я искоса в зеркало, висящее в простенке, – и нет больше простодушия в выражении лица моего…

Как будто появилось что-то себе на уме, что-то хитрое, что-то как будто даже жестокое.

А может быть, эти резкие складки около губ – результат дорого приобретенной мудрости?

Во всяком случае – умер Простодушный…

Доконал Константинополь русского Простодушного.

Целый ряд лет еще промелькнет перед нами… Но все эти годы уже будут обвеяны мудростью, хитростью и, может быть, – жестокостью.

Выковали из нас – благодушных, мягких, ласковых дураков – прочное железное изделие.

Чехо-Словакия

Прага

Недавно я прогуливался в сопровождении своего импресарио по улицам Праги, погруженный в тихое умиление.

«О прекрасная старуха, милая сердцу каждого художника, – думал я, – сколько веков копила ты свои каменные сокровища, и как ты ревниво бережешь их, подобно скупому рыцарю…»

– Очень недурной городишко, – прозаично перебил мои грезы импресарио – этот человек с книжкой театральных билетов вместо сердца и с идеалами, заключающимися в красиво отпечатанной афише.

– По отношению к Праге вы могли бы выражаться почтительнее, – сурово заметил я.

– Я восхищен Прагой. Чего ж вам еще нужно… – Я просветлел.

– А-а, понимаю. Вам нравятся эти живописные серые дремлющие дома, многовековый сон которых…

– При чем тут дома… Я восхищен тем, что здесь нет этой идиотской манеры – заклеивать чужие афиши.

– Черт знает о чем вы говорите! Какие афиши?!

– Обыкновенные, театральные. Я знал города, где только что наклеишь афишу, как другой импресарио уже бежит и наклеивает на вашу афишу свою.

– Глупости вы говорите.

– Нет-с, не глупости. Да вот вам наугад одна из многочисленных историй. Приехали в один город два гастролера, и выпустили их импресарио афиши. Вышел один импресарио погулять, полюбоваться на расклеенные афиши – глядь, а они уже сплошь заклеены его конкурентом… Побежал он домой, взял новые и пошел заклеивать афиши конкурента собственноручно. Только что кончил, видит, идет конкурент с пачкой афиш под мышкой и с ведром клею. Ходит и заклеивает только что наклеенные афиши. Побежал первый домой за свежими афишами – и давай восстанавливать свои нарушенные права. Около одного пункта оба сошлись. Стоят молча друг около друга и клеят. Один наклеивает, другой искоса взглянет на него да на свеженькую афишу свою и прилепит. Полчаса они так клеили одна на другую – прямо слоеный пирог на стене получился!

– Чем же кончилось? – спросил я, не на шутку заинтересованный.

– У первого афиши раньше кончились. Посмотрел он на свои пустые руки, вздохнул, снял пиджак, мазнул по нему кистью и залепил пиджаком афишу конкурента. Обиделся тот за такое нарушение театральной этики да хвать беспиджачного кистью по голове…

– Убил?!

– Не особенно. Тот два месяца в больнице пролежал, а этот два месяца в тюрьме просидел. Сенсационнейший процесс был, но в результате оба по хорошему сбору сорвали. Знаете, я запишу, чтоб не забыть.

– Что запишете?

– Что в Праге такое хорошее правило – афиши не заклеивать. Приеду в Россию – у себя введу.

– Мне здесь другое нравится, – задумчиво сказал я. – Очень любят здесь старину и сохраняют ее. Есть дома, которые по пятьсот лет стоят, и их любовно берегут. А у нас в России на старину смотрят, как на рухлядь. Вернусь в Россию – буду пропагандировать сохранение старины. Запишите, чтобы не забыть.

– Запишу. А потом тут хорошая манера: при пивных заводах есть такие садики – дают только пиво на стол, а сосиски и ветчину посетители с собой в бумажке приносят. У нас в России хозяин пивной за это огромный скандал закатил бы. Да и посетитель считал бы моветоном и верхом мещанства – прийти в ресторан со своими продуктами. А ведь – очень удобно. Запишу в книжку, чтоб не забыть, и потом в России введу.

– А мне вот тоже нравится, что город просыпается с зарей и в шесть часов утра уже работа в полном ходу. Записать, а?..

– Запишите.

– А соколов видели? Какие молодцы! Тренированные, бодрые. Всегда с музыкой, и публика их приветствует кликами и аплодисментами. А наша русская молодежь… Я запишу, а?

– Запишите. Кстати, вот трамвай идет. Ну-ка, кто ловчее вскочит на ходу…

Я употребил ловкий, чисто сокольский прием и, как птица, взлетел на подножку трамвая. Импресарио – за мной.

Но… тут случилось что-то непонятное… кто-то крикнул, кто-то свистнул, трамвай остановился, и молодцеватый полицейский вежливо отнесся ко мне:

– С вас четыре кроны.

– Так я их кондуктору уплачу, – бодро возразил я.

– Нет, мне. Штраф. Нельзя вскакивать на ходу.

– А у нас в России…

– Вот вы в России и скачите.

Дальше мы пошли пешком.

– Записать? – спросил притихший импресарио.

– Насчет чего?..

– А вот насчет скакания. Когда в Россию вернемся, чтоб ввести.

– Гм… запишите, пожалуй, только помельче… А вот на углу русские газеты. Купите. Интересно, как поживает Ленин.

Мы развернули газеты и уткнулись в них носом с таким интересом, будто о болезни родного отца читали.

– Жив еще!

– Жив, но уже, как говорится, ни папа, ни мама не скажет.

Сзади кто-то деликатно тронул меня за плечо. Я оглянулся.

– Пожалуйте четыре кроны штрафа, – сказал полицейский.

– За что?!

– На улице читать запрещено.

– Да я и не читал.

– А что ж вы делали?

– Жарко, я хотел лицо утереть газетой. Знаете, при нашем беженском положении, когда нет носовых платков…

– Утираться газетой, на которой свежая краска! Тогда я вас оштрафую за нечистоплотность.

Я разозлился.

– Попробуйте! У меня родной дядя – Масарик.

– Не завидую ему, что он имеет таких родственников.

– Ну и насчет полиции ему тоже не повезло.

– Объяснитесь.

– Послушайте, вы меня лучше не задерживайте. Я спешу на завтрак к Бенешу и, если опоздаю…

– Ничего. Вы ему покажете квитанцию в уплате штрафа…

– Это вот такая квитанция? Могу я прочесть, что вы в ней написали?

– Можете!

Я ехидно улыбнулся:

– Да, как же я могу читать ее, когда вы сами говорите, что на улице читать запрещено.

Крупные капли пота выступили на честном полицейском лбу.

– Тогда пожалуйте за мной в участок – там в закрытом помещении и прочтете.

– Не беспокойтесь. Нате ваши четыре кроны. Кланяйтесь вашему начальнику полиции и скажите, что между нами все кончено…

Мне недавно говорили, что пражская полиция отличается гениальным искусством открывать преступления и находить преступников. Мне говорили, что за все время существования полиции только одно преступление осталось не открытым и не наказанным.

Теперь прибавилось еще другое преступление – не открытое и не наказанное: когда мы зашли за угол, я все-таки, озираясь по сторонам, дочитал газету на улице.

Омраченный импресарио спросил меня:

– Это записать? Насчет чтения на улице?

– Не надо, – угрюмо сказал я. – Незачем портить записную книжку.

P. S. Если орган, в котором будет напечатан этот фельетон, опубликует мое второе преступление с газетой и полиция явится ко мне за штрафом – я запишу этот штраф на счет редакции. Записать?

Чехи

Нет на свете человека деликатнее и воспитаннее чеха…

Он ласков. Он заботлив. Он внимателен. Невозмутим. Всегда прекрасное расположение духа. Исключительно любит нас, русских.

Я никогда не видел, чтобы чех в обществе вышел из себя. А для меня нет ничего приятнее, как взвалить на свои плечи самую трудную задачу в мире… Поэтому я решил вывести чеха из себя…

* * *

Трое чехов и я – мы сидели в углу ресторана и дружелюбно попивали пиво.

Я подстерег паузу, обвел компанию хитрыми глазами и неожиданно сказал:

– Мне ваше правительство не нравится.

Будь я на месте чеха – я бы съязвил: «Зато у вас, у русских, хорошее правительство!» Вместо этого чех кротко возразил:

– Видите ли, у нас правительство еще молодое. В будущем оно сделается старше, опытнее и, вероятно, не будет делать тех ошибок, которые вы имеете в виду.

– И Прага мне ваша не нравится, – сказал я, втайне приготовив руку для защиты на случай удара по голове со стороны соседа.

– А мне кажется – город красивый, – деликатно возразил мой сосед.

– Что толку, что красивый! Трубочист! Если трубочист, покрытый сажей, будет Аполлоном Бельведерским – все равно сквозь слой сажи красоты не видно.

– Прага – старый город.

– И напрасно. Надо бы помоложе. И потом, господа! Как вам не стыдно? Как можно на спящего человека наваливать 5 пудов?!

– Кто на вас навалил 5 пудов?! – испугался мой сосед с другой стороны.

– Помилуйте! А перины, которыми вы накрываетесь?! Внизу перина, сверху перина; получается огромный пирог, в котором тоненькая прослойка фарша, – полураздавленный

плоский человек. Мне всегда снится, что на меня обрушился глетчер и засыпал меня миллионом пудов снегу!.. Это не постель, а обвал в горах! Утром горничная долго должна искать маленькое сморщенное задохшееся существо, чтобы с помощью массажа и искусственного дыхания пробудить его к жизни!..

– Зимой под периной теплее, – робко возразил чех. – Впрочем, действительно, с непривычки, может быть, неприятно…

– Неприятно!.. Это даже не эстетично!! Вообразите молодую хорошо сложенную женщину под этой горой! Каковы получаются у нее контуры? А? А как у вас подают водку в ресторане? Вы видели хоть одного кельнера, который, несмотря на все ваши мольбы, подал бы вам водку перед обедом?! Он всегда норовит притащить водку к сладкому!! Это разве порядок?!

– Это, вероятно, потому, что наш национальный напиток – пиво…

Я кричал, жестикулировал, выдумывал самые тяжелые вещи – чехи были неизменно вежливы, кротки и безмятежны. Я головой бился об эту каменную стену деликатности, я охрип и, наконец, не найдя больше других недостатков, ворчливо сказал:

– И потом мне совершенно не нравятся ваши…

Я боюсь даже написать произнесенное мною слово, потому что едва это слово прозвучало – с моими компаньонами произошла разительная, волшебная перемена… Лица их налились кровью, глаза засверкали негодованием, и мужественные кулаки, как молоты, застучали по безвинному столу:

– Вы у нас в Чехии гость! – загремели голоса. – И поэтому невежливо говорить в Чехии такие вещи! Если вам не нравится – уезжайте к себе в Россию!

Господи! За что они так на меня напали? Ведь я только сказал, что мне не нравится такая простая вещь, как…

Нет… страшно. Лучше я напишу это слово завтра.

Кнедлики

«Кнедлики»!!!!!

Вот то слово, которое привело в возмущение и ярость моих друзей-чехов…

– Позвольте, господа, – оправдывался я. – Ну что в них хорошего? Что такое – кнедлики?! Это вареный, тяжелый, как свинец, хлеб, который кирпичом ложится в желудке. Ведь если я буду есть кнедлики каждый день – у меня в желудке будет кирпичный дом!

– У вас не в желудке кирпич, – кричал мой сосед по столу, – а в сердце у вас кирпич! Да ели ли вы когда-нибудь настоящие кнедлики?!

А другой чех – самый деликатный – сказал:

– Я и забыл, что мне нужно домой…

– Позвольте! – забеспокоился я. – Вы же говорили, что у вас свободный вечер…

– Да, но я не думал, что он так печально кончится.

– Пойду и я, – встал другой.

– И я!!

Я остался в грустном одиночестве…

Ничего не поделаешь – придется обедать одному:

– Кельнер, дайте обед!

На первое мне дали суп с кнедликом; на второе «вепшово печенье» с кнедликом; на десерт – кнедлик с яблоком внутри. Смотрел я на эти три невинные штучки, лежащие передо мною нетронутыми, и думал:

«Неужели такой пустяк может повести к международным осложнениям и к разрыву дипломатических сношений?..»

* * *

Забыл сказать: потребованную мною к предобеденной закуске водку кельнер подал вместе с кофе…

Побрел я грустно домой, разделся и подполз под перину… Может быть, здесь людская ненависть не отыщет меня!

Самый страшный притон Праги

Я спросил одного приятеля-чеха – большого знатока пражской жизни:

– Скажите, а есть у вас в Праге какие-нибудь притоны?..

– Что вы называете «притоном»? – осторожно осведомился он.

– Ну понимаете… Какой-нибудь страшный зловещий притон, где собираются воры, убийцы, грабители и их дамы – падшие женщины, обольщающие посетителя и подводящие его под нож своего друга… Есть такие места в Праге?

– Да вам зачем, Господи Иисусе?!

– Люблю сильные ощущения… Я шатался в Париже, в Риме, Константинополе по таким трущобам, где рука всегда должна быть в кармане, а палец на курке «браунинга».

– Да… Есть такие места и в Праге, – с некоторой даже гордостью промолвил чех. – Я знаю один такой притон, что, когда я туда попал, у меня кровь заледенела в жилах…

– Ради бога, адрес!..

– Ну что вам за охота рисковать?!

– Ах, вы не понимаете, какая прелесть в риске! Как туда попасть?

– Гм! Ей-богу, не советую. А впрочем, как хотите! Вот вам адрес…

* * *

С замирающим сердцем брел я по узкой темной улице, еле освещенной редкими фонарями… Грязный двухэтажный дом… В завешенных окнах видны какие-то странные силуэты… До меня донеслись звуки резкой странной музыки и чей-то хриплый смех…

Поколебавшись несколько секунд, я толкнул дверь и вошел.

Душный дымный спертый воздух, и в этом тумане кружатся в причудливом «шимми» две зловещие подозрительные пары.

При моем входе обе пары приостановились и сказали:

– Мфутета!

– Поклона!

Я в первый раз в жизни видел таких приветливых убийц, таких простодушных грабительских дам.

«Эге, – подумал я, – усыпляют мою подозрительность! А потом опоят чем-нибудь и зарежут. Ну что ж – поборемся».

Я уселся за большой стол рядом с сосущим трубку старичком самого зловещего, подозрительного вида и постучал:

– Дайте мне ликеру!

Зловещий старикашка, видя, что ко мне никто не подходит, засуетился:

– Пан верхник! Этот господин желает ликеру. Что ж вы его заставляете ждать?!

«Э, – подумал я, – мягко стелешь, да жестко спать будет». И вызывающе добавил:

– Только у меня с собой тысячекроновая бумажка! Можете потом разменять?

Дьявольская выдержка у этих чешских убийц и грабителей! Парижские или константинопольские при виде такой депозитки сразу бы перерезали горло ее обладателю, а эти даже глазом не моргнули.

– Не беспокойтесь, пан. Как-нибудь разменяем.

– Вы русский? – хитро спросил меня ужасный старик, хрипя своей огромной кривой трубкой…

– Да-с, русский! Может быть, это вам не нравится?!

– Нет, я люблю русских. Только я удивляюсь, как это русские могут носить при себе такие большие деньги! Ведь потерять можно.

– Да, – ехидно усмехнулся я. – Или какой-нибудь молодец полоснет ножом по горлу и отнимет.

Очевидно, я разгадал страшного старика, потому что он испуганно от меня отодвинулся.

Подошла подруга одного из убийц и, сев рядом, спросила старичка:

– Нет ли у вас папиросы?

– Извольте! – засуетился я с самым залихватским видом. – Может быть, и вина хотите? Ликеру?

Тут же решил поддразнить ее апаша и, если можно, вывести его из себя.

– Можно вас поцеловать в щечку?

– Если это вам доставит удовольствие – пожалуйста, – засмеялась она. («Боже, какое несчастное создание… Ну что она знает, что она читала? Бедный кусок дикого мяса!..»)

– Вы русский? – спросила она, прихлебывая ликер.

– Да, милашка, русский! И есть деньжата – ха-ха-ха!

– Я читала русских писателей. Вы знаете Чирикова?

– Неужели читали Чирикова?

– Я его много читала. И Куприна читала, и Аверченко… – «А, чтоб ты лопнула», – подумал я. Мне сделалось душно.

– Кельнер! Счет. Я ухожу.

Один из убийц принес счет. Другой – взламыватель касс – стал менять мою тысячу крон.

«Сейчас будут резать».

Дьявольская выдержка – никто даже не пошевелился.

«Крон на двести обсчитает», – явилось у меня слабое утешение.

С легкой досадой в душе я встал, причем молодой подкалыватель вежливо поднял мою упавшую шляпу.

– Мфутета, – сказал ростовщический старик.

– Поклона! Служебник! Доброй ночи, – попрощались со мной из угла двое (наверное, конокрады!).

* * *

Я вышел на темную глухую улицу. Прошел квартал. Вдруг услышал сзади себя топот чьих-то догоняющих меня ног. Оглянулся:

– Так и есть!

Молодой убийца, подругу которого я неосторожно поцеловал, догонял меня. «Гм… Вот оно! Начинается!» Я прижался к стене и приготовился к защите.

– Извините, милостивый пан, – сказало это отребье человечества, запыхавшись. – Вы, когда получали сдачу, уронили около стула пятидесятикроновую бумажку… Вот – извольте!

Схватившись за голову, я отшвырнул деньги, глухо застонал и побежал прочь от недоумевающего «отребья человечества».

* * *

Вот что такое – «самый страшный притон Праги»! Для такого большого благоустроенного города – это даже неприлично.

* * *

Родители! Если в кинематографе идет какая-нибудь очень пикантная фильма – можете послать ваших детей-подростков в этот притон.

Там – приличнее.

Русский беженец в Праге

Всякому, даже не учившемуся в семинарии, известно, что если человека, долго голодавшего или томившегося жаждой, сразу накормить до отвала или напоить до отказа – плохо кончит такой человек: выпучит глаза и, схватившись исхудалыми руками за раздутый живот, тихо отойдет в тот мир, где нет ни голодных, ни сытых.

История, случившаяся с гражданином советской республики Андрюшей Перескокиным, вполне удовлетворительно иллюстрирует это вышеприведенное бесспорное положение.

Всякому, даже не учившемуся в семинарии, известно, что долго голодавшего или жаждавшего человека надлежит откармливать или отпаивать постепенно: кусочек хлебца или мяса, глоточек воды, через час опять кусочек хлебца, глоточек воды. И эти порции усиливать только постепенно и с крайней осторожностью.

Будь моя власть, я бы на всех границах, через которые переваливают беглые советские граждане, стремясь в Белград, в Прагу и прочие места, – я бы на всех таких границах понастроил этакие предбанники, нечто вроде карантина, где беглецы подготовлялись бы к предстоящей сытой, безопасной жизни – постепенно, исподволь.

Скажем так: голодный, жаждущий, носящий на своем бренном теле шрамы от красноармейских штыков, советский федеративный бедняга с разбегу перелетел границу и ввалился прямо в мои объятия.

Такого беднягу надлежит, прежде всего, схватить за шиворот и дать два-три тумака, чтобы переход от советской жизни к обыкновенной был не так резок.

Для этой же цели надлежит потом стащить беглеца в особую казарму и там дать ему кусок белого, но черствого хлеба, сдобрив его стаканом черного, но слегка прокисшего пива.

– Ешь, собака! Пей, каналья!

Ночью рекомендуется разбудить спящего скитальца, произвести у него легкий пятиминутный обыск и ткнуть слегка штыком или прикладом в бок.

На следующий день федеративный беглец перевозится уже в более удобное помещение. Хлеб ему дается менее черствый, пиво прокисшее чуть-чуть, а вместо тычка штыком – пара снисходительных оплеух.

Когда вы заметите, что у беглеца уже появилась краска в лице и взор сделался более спокойным, а манеры самостоятельнее, рискните к мягкому белому хлебу прибавить немного жареного мяса, копченую кефаль и кусочек вареного поросенка. К этому: стаканчик казенной водки и полбутылки вкусного, свежего, пражского пива. Вместо побоев – легкий щипок или щелчок по голове, нечто среднее между болевым ощущением и игривой лаской.

На следующий день накормите беглеца супом, судаком, гусем и пирожными и, потрепав по плечу, можете уже выпустить его на свободу: вы приготовили его достаточным образом к восприятию прелестей спокойной, нормальной, сытой жизни.

Вот как нужно было делать.

А у нас в Константинополе, Белграде, Праге это дело поставлено чрезвычайно плохо… (Я говорю «у нас», потому что я теперь чувствую себя всюду у себя – Прага ли, Лондон или Мельбурн – это все мои летние виллы, в которых я спасаюсь от советской духоты…) Так вот, я и говорю – у нас дело поставлено из рук вон плохо: перескочил человек границу, почувствовал приволье и свободу, съел 10 фунтов белого хлеба, уписал поросенка и…

Впрочем, тут вполне уместно вернуться к описанию трагической истории, случившейся с Андрюшей Перескокиным…

* * *

– Андрюша, голубчик! Ты! Не чаял и видеть тебя в живых! Давно из Совдепии?

– Только сегодня, родной. Пешком в Прагу добрел, не успел еще очухаться… Фу-фу!..

– Что это у тебя в руках за свертки?

– Поросенок и бечевка для упаковки – 20 фунтов…

– Зачем это тебе?

– Замечательно дешево. Купил на всякий случай. У нас ведь в Москве бечевок совсем нет. А о поросятах даже забыли, какой он и есть. А тут за 80 крон…

– Да зачем тебе сырой? Ты бы лучше жареного купил.

– Чудак, да разве сейчас можно разбирать. Увидел: несет баба поросенка, и купил. А то еще перехватят. Угля купил два пуда. В гостинице оставил.

– А уголь тебе зачем?

– Вот оригинал! Да ведь совсем даром! А поищи-ка у нас в Москве! Эй, мальчик, что несешь? Газеты. Это не советские? Ну дай тогда десять штук. Что, одинаковые? Это, брат, неважно, зато правду всю узнаю. Все десять и прочту. Голубчик! Обойдем, пожалуйста, этот перекресток – тут нечто вроде милиционера стоит.

– Да тебе его чего ж бояться?

– А вдруг прикладом по спине треснет.

– С ума ты сошел? За что? У нас тут полиция вежливая.

– Толкуй! Эй, баба, постой! Что это, хлеб? Белый? Сколько хочешь за всю корзину? Тридцать крон. О боже! Почти пуд… Давай, милая, давай, драгоценная.

– Послушай… Ты этого хлеба и в неделю не съешь.

Но он не слушал меня. Глаза его помутнели, а руки судорожно уцепились за корзинку.

Я махнул рукой и отошел от него.

– Эй, куда ты! Стой! Можно будет у тебя сегодня переночевать?

– Да ведь ты говорил, что имеешь номер в гостинице.

– А вдруг ночью обыск? А я как назло нынче в разговоре с извозчиком осуждал советский федеративный строй… Кстати… автомобили здесь дешевы! Что ты говоришь?! Тридцать крон?! А у нас 7 миллионов за конец! Вези… Вези меня, милый!..

– Куда прикажете?

– Куда-нибудь… Главное – совсем почти даром! Хе-хе. Вези на базар: куплю сосисок, толстенькие такие у вас тут в Праге есть – куплю про запас килограммов восемь!..

И вот вчера с Перескокиным Андрюшей случилось то, чего я боялся больше всего…

Я увидел его едущим по одной из окраинных улиц Праги на возу с сеном (купил Андрюша сено очень дешево, совсем даром); в одной руке Андрюша держал жареного гуся (ошеломляющая дешевизна – сто крон!), в другой руке бутылку водки (а у нас в Совдепии за водку – расстрел!). Сидя на возу с сеном, Андрюша лихорадочно пожирал гуся, запивал водкой прямо

из горлышка, а в промежутках между жевательным и глотательным процессами на всю улицу горланил «Боже, царя храни!». Увидел меня, загадочно подмигнул – и его леденящий душу хохот огласил улицу.

– Видал-миндал?! Дорвался я теперь… Гуляй душа! В гостиницу с сеном не пускают, так я теперь тово… Крейсирую! Си-иль-ный, державный ца-арствуй на славу…

– Доктора! – крикнул чей-то озабоченный голос. – Готов паренек! Скапустился.

Сняли Андрюшу с сена… Повели…

И сидит он теперь в компании Наполеона Бонапарта, стеклянного человека и человека-петуха, хлопающего над самой Андрюшиной головой ладонями и оглушительно кукарекающего…

Андрюша уже приторговался к нему… Ведь в Совдепии петухов давно не видели…

* * *

А выдержи Андрюшу в проектированном мною подготовительном карантине – ничего бы этого и не было… Нет того, чтобы позаботиться о приезжающих.

Кипящий котел

Зачем я выпускаю «Кипящий котел»?

Человеческая память – очень странная машина, почти всегда действующая с перебоями…

Один юмористический философ разрешился такой нелестной для человеческой памяти сентенцией:

– Никогда не следует (говорил он) доверять человеческой памяти… Память моя сохранила одно очень яркое воспоминание: однажды в детстве я, гуляя, свалился в глубокую яму. Я это твердо помню. Но как я из этой ямы выбрался – решительно не помню… Так что, если доверяться только одной памяти – я должен был бы до сих пор сидеть в этой яме…

Нас было несколько сот тысяч человек, которые сидели в огромной яме, но с нами случилось не совсем так, как с моим философом: мы очень хорошо помним, как мы попали в яму и как из нее выбрались, но период нашего сидения (знаменитый, потрясающий период!) начал постепенно изглаживаться из нашей памяти, и – еще год-полтора – вся эта эпопея «сидения» станет бледным серым расплывчатым пятном без красок, фактов и очертаний.

Я хочу этой книгой закрепить период нашего годового кипения в раскаленном котле, в этой горячей яме, дно которой жгло пятки, – одним словом, я хочу, чтобы все уплывающее из нашей памяти расположилось ясными, прямыми, правдивыми строками на более прочной, чем мозг человеческий, бумаге.

Мой кипящий котел – это Крым эпохи «врангелевского сидения».

Что это за удивительный, за умилительный период: в одном котле кипели и щуки, и караси, и букашки, и таракашки, и «едоки первой категории» – и все это, кипя, ухитрялось пожирать друг друга: мелких букашек поедали караси, карасей – щуки, щук – едоки первой категории, а кипящий распад «едоков» снова поедался букашками, червячками и таракашками..

Пройдет два-три года – и до дырок будет русский человек протирать лоб, вспоминая:

– А сколько это я платил в Крыму за бутылку лимонаду? Не то 15 целковых, не то полторы тысячи? Помню, дом на Нахимовском я купил до войны за 30 тысяч… Но почему я потом за гроб для отца заплатил 800 тысяч? Как случилось, что я, имея на пальце бриллиантовое кольцо, ночевал на скамейке Приморского бульвара? Почему селедки мне заворачивали в энциклопедический словарь? А кто были наши рабочие? Большевики? Меньшевики? Как они понимали рабочий вопрос? Почему они, живя во сто раз лучше других, бастовали?

И не будет ответа! Все чудесное, курьезное, все героическое, все ироническое стерлось, как карандашная надпись резинкой…

Книгой «Кипящий котел» я все это хочу закрепить. Может быть, мои очерки иногда гиперболичны, иногда неуместно веселы, но в основе их всегда лежит факт, истина пронизывает каждую строчку своим светлым лучом – и это моя скромная заслуга перед историей.

Наши будущие дети! В заброшенной отцовской библиотеке вы найдете эту пыльную с пожелтевшими краями книгу, развернете ее – и глазенки ваши от изумления выкатятся из орбит сантиметра на два: бред сумасшедшего графомана?!

Нет, дорогие детишки! Это все правда, и мы, герои, полубоги, гомеровские отпрыски, пережили дикий «Кипящий котел» на своих многострадальных боках!..

А. Аверченко

Старый Сакс и Вертгейм

Настроение плохое, с утра серый упорный дождь, и все окружающее тоже приняло серую окраску.

Сел за письменный стол с очень определенным тайным решением: свирепо ругаться.

Довольно добродушия! Решил называть все вещи их собственными именами, ставить точки над i, ломиться в открытую дверь, плакать по волосам, снявши голову, смотреть в зубы дареному коню, кусать свои локти, развалиться не в своих санях и, вообще, гнаться за двумя зайцами – может быть, поймаю обоих и тут же зарежу, каналий, и того, и другого.

* * *

Сидел недавно в театре на концерте знаменитого артиста. Гляжу – на нем старый, порыжевший фрак.

Сначала сжалось мое сердце, а потом посветлел я: будто на карточку любимой женщины в ворохе старой дряни наткнулся.

Здравствуй, старый петербургский фрак. Я знаю, тебя шил тот же чудесный петербургский маэстро Анри с Большой Морской, что шил и мне. Хорошо шивали деды в старину.

Этому фраку лет семь, и порыжел он, и побелел по швам, а все сидит так, что загляденье.

И туфли лакированные узнал я – вейсовские.

Держитесь еще, голубчики?

Видали вы виды… Сверкали вы по залитой ослепительным светом эстраде Дворянского Собрания, сверкали на эстраде Малого зала консерватории, а иногда осторожно ступали, боясь поскользнуться, на ослепительном паркете Царскосельского, Красносельского, Мраморного – много тогда было дворцов, теперь, пожалуй, половину я и перезабыл…

А нынче вы не сверкаете больше, лакированные туфли. Вы потускнели, приобрели благородный налет старины, и долго еще не заменит вас ваш хозяин другими, хотя и получает он за выход целую уйму денег: десять тысяч.

Не заменит потому, что получает он десять тысяч, а фрак и ботинки стоят двадцать, а когда он сдерет за выход двадцать тысяч – ваши новые заместители, многоуважаемый фрак и ботинки, будут стоить сорок тысяч.

Махнет рукой ваш хозяин и скажет:

– Нет, не догнать.

И будете вы все тускнеть и тускнеть, все более покрываться налетом старины, переезжая из Севастополя в Симферополь, из Симферополя в Карасубазар, из Карасубазара в какой-нибудь Армянск – ведь пить-есть надо даже гениальному человеку!

Так призадумался я, сидя в театре, потом очнулся, обвел глазами ряды, и показалось мне, что рядом со мной, и впереди и сзади, сидят два совершенно различных сорта фарфоровых статуэток…

Одни – старые, потертые, в обветшавших, но изящных, художественно помятых, мягких шляпах и в старинных, лопнувших даже кое-где, ботинках – от Вейса, Королькевича, Петерсона… Статуэтки, нечто вроде старого Сакса или Императорского фарфорового завода, за которые любители прекрасной старины платят огромные деньги.

И другие статуэтки – новые, сверкающие, в пальто с иголочки, в дурно сшитых многотысячных лакированных ботинках с иголочки, чисто выбритые, иногда завитые.

Это – ярко раскрашенное аляповатое фарфоровое изделие от берлинского Вертгейма, выпущенное в свет в тысяче штампованных одинаковых экземпляров. Это – новые миллионеры.

Первые статуэтки элегически грустны, как, вообще, грустно все, на чем налет благородной старины, вторые – тошнотворно самодовольны.

У вторых вместо мозга в голове слежавшаяся грязь, и этой грязью они лениво думают, что наша теперешняя жизнь самая правильная и что другой и быть не может.

Да знаете ли вы, тысяча чертей и одна ведьма вам в зубы, что вы оскверняете своими свинячьими мордами это место, где творит сейчас великий артист вечную красоту!..

Как вы сюда попали? Вон отсюда!

Идите в кафе, на пристани, в мануфактурные магазины – пухните там вдвое от ваших дешевых миллионов, но не лезьте так нагло в храмы, не сморкайтесь в кулак, когда служат литургию Красоте!

* * *

Весь старый Сакс – профессора, инженеры, писатели, адвокаты, доктора и артисты – уже давно не делают себе маникюра. И, однако, как изящны линии их нервных белых рук, как красиво розовеют их выпуклые, блестящие без маникюра ногти…

Недавно я зашел в парикмахерскую… Около маникюрши маячила очередь, всё народ дюжий, с корявыми кривыми лапами, а она в это время отделывала пятерню какому-то бывшему подвальному мальчику – шершавую красную пятерню, – начищая плоские рубчатые ногти с яростью, с какой сапожный чистильщик наводит глянец на видавшие виды сапоги кругосветного путешественника.

И подумал тут я:

«Дурак ты, дурак, бывший подвальный мальчик… Если бы твоя рука по-прежнему оставалась красной рабочей рукой – я, если хочешь, поцеловал бы ее благоговейно, потому что на ней написано святое слово «труд»… Но что ты теперь будешь делать этой отлакированной лапой? Подписывать куртажную расписку на сто пудов масла по пяти тысяч за пуд или неуклюже облапишь хрупкий фужер, наполненный заграничным шампанским, завершая в кабаке выгодную сделку на партию кофе из гималайского жита?..

Хороший маникюр тебе сделали…

А ведь, судя по некоторым признакам, ой, как редко ты бываешь в бане, бывший подвальный мальчик.

Надо бы чаще…

Кстати, я тебя видел в магазине Альшванга – ты покупал за три тысячи французские духи, с хитростью дикаря стремясь заглушить ароматом Убигана природный, столь выдающий тебя запах.

И обливаешься ты этими духами так щедро, что впору бы тебе и водой так обливаться.

А джентльмен – тебе, вероятно, незнакомо это слово, подвальный мальчик? А джентльмен в потертом пиджаке уже 4 года как не душится духами – и все же от платья его идет тонкий, еле уловимый запах «Шипра» Коти – такого Шипра для вас теперь и не выделывают, – и этот еле уловимый старый, бывший запах грустен и прекрасен, как аромат увядшего, сплющенного в любимой книге цветка.

Ну что ж… Теперь вы в силе, Вертгеймовское исчадие…

Что ж… Лезьте вперед, расталкивайте нас, занимайте первые места – это вам не поможет, – так жить, как мы жили, вы все равно не умеете.

Может быть, многим из нас место не в теперешней толчее, а где-нибудь на полузабытой пыльной полке антиквара, но лучше забытая полка в углу, в полумгле, робко пронизанной светом синей лампадки перед потемневшим образом, чем бойкий каторжный майдан…»

Страна без мошенников

Три человека собрались на пустынном каменистом берегу моря, под тенью, отбрасываемой огромной скалой; три человека удостоверились – не подслушивают ли их, и тогда старший из них начал:

– Именем мошенничества и преступления – я открываю заседание! Мы все трое, бывшие завсегдатаи тюрьмы и украшение каторги, собрались здесь затем, чтобы с сего числа учредить преступное сообщество для совершения краж, грабежей и вообще всяких мошенничеств. Но… – насмешливо усмехнулся председатель, – может быть, за то время, что мы не виделись, вы уже раскаялись и хотите начать честную жизнь?

– Что ты! – укоризненно вскричали двое, бросая на председателя обиженные взгляды. – Мошенниками мы были, мошенниками, надеюсь, и умрем!

– Приятно видеть таких стойких негодяев, – одобрительно сказал председатель.

– Да! И в особенности под руководством такого мерзавца, как ты.

– Господа, господа! Мы здесь собрались не для того, чтобы расшаркиваться друг перед другом и отвешивать поклоны и комплименты. К делу! Что вы можете мне предложить?

Тогда встал самый младший мошенник и, цинично ухмыляясь, сказал:

– Я знаю, что теперь сливочное масло на базаре нарасхват. Давайте подделывать сливочное масло!

– А из чего его делать?

– Из маргарина, желтой краски, свечного сала…

Председатель усмехнулся:

– А известно ли моему уважаемому товарищу, что сейчас свечное сало и краска – дороже сливочного масла?

– В таком случае, простите. Я провалился. Тогда говори ты.

Встал второй:

– Я знаю, господа, что в одном торговом предприятии, в конторе, в несгораемом шкафу всегда лежит несколько миллионов!

– А как мы вскроем несгораемый шкаф?

– Как обыкновенно: баллон с кислотой, электричество, ацетилен, автоматические сверла…

– Где же мы их достанем?

– Раньше всегда покупали в Лондоне.

– Ну подумай ты сам; сколько будет стоить – поехать одному из нас в Лондон, купить всю эту штуку на валюту, погрузиться, заплатить фрахт, выгрузить на месте, доставить на извозчике… Я уверен, это влетит фунтов в 80, т. е. миллионов в восемь! А если в шкафу всего пять миллионов? Если три? Да если даже и десять – я не согласен работать из 20 процентов. Тогда уж прямо отдать свой оборотный капитал под первую закладную.

– Мне интересно, что же в таком случае предложит председатель – так жестоко бракующий наши предложения?

– А вот что! Я предлагаю подделывать пятисотрублевки. Во-первых, они одноцветные, голубые, во-вторых, рисунок не сложный, в-третьих…

– А что для этого нужно?

– Медная доска для гравировки, кислота, краска, бумага, пресс для печатания.

– Сколько же мы в месяц напечатаем таких фальшивок?

– Тысяч десять штук!

Средний мошенник взял карандаш и погрузился в вычисления…

– Сейчас вам скажу, во что обойдется одна штука.

– Ну что же?

– Н-да-с… Дело любопытное, но едва ли выгодное. Одна пятисотрублевка будет нам стоить 720 рублей!

– Черт возьми! А как же правительство печатает?

– Как, как?! У них бумага и краска еще старого запаса.

Долго сидели молча, угрюмые, раздавленные суровой действительностью.

– Ну и страна! – крякнул председатель. – За какое мошенничество ни возьмись – все невыгодно!

– А что, если, – робко начал самый младший мошенник, – что, если на те деньги, которые у нас есть, – купить две-три кипы мануфактуры, да сложить ее в укромное местечко, да, выждав недели три, продать.

– Что ж из этого получится?

– Большие деньги наживем.

– Постой, какое же это мошенничество?

– Никакого. Зато выгодно.

– Постой! Да ведь мы мошенники! Ведь нам как-то неприлично такими делами заниматься!

– Почему?

– Ну вот предположим, полиция узнает о нашей мануфактуре – что она нам сделает?

– Ничего.

– Вот видишь… Как-то неудобно. Я не привык такими темными делами заниматься.

– Но ведь не виноваты же мы, что это выгоднее, чем фальсификация продуктов, фальшивые бумажки и взлом касс!

– Бож-же! – вскричал председатель, хватаясь за голову. – До какого мы дошли падения, до какого унижения! С души воротит, тошнит, а придется заняться этой гадостью!

И они встали, пошли в город. Занялись.

* * *

Вот почему теперь так мало мошенников и так много спекулянтов…

Русская сказка

Отец прижал голову крохотного сына к груди и начал сказку:

– В одном лесу жил мальчик и жила Баба-Яга Костяная Нога… Впрочем, ну ее, эту Бабу-Ягу, правда?

– Ну ее, – охотно согласился ребенок.

– Вот какую сказку я лучше расскажу: жили да были дед и баба, у них была курочка-ряба… Хотя скучно это! Пусть она провалится, эта курочка!

– И дед с бабой пусть провалятся! – сверкая глазами, согласился мальчик, обуреваемый столь свойственным детям инстинктом разрушения…

– Верно. Пусть они лопнут – и дед, и баба. А вот эта – так замечательная сказка: у отца было три сына, старший умный был детина, средний был и так и сяк…

– Пусть они тоже лопнут… – внес категорическое предложение малютка, улыбаясь с веселой свирепостью.

– И верно, сын мой. Туда им и дорога. Это все, конечно, чепуха, труха. Хорошая сказка рассказывается после соответствующего разбега. А так как я уже достаточно разбежался, то… слушай!

* * *

…Жил-был твой папа, и у папы была твоя мама, и была она потому, что тогда не было сыпного тифа. И жили твои папа с мамой в квартирке из шести комнат, и даже для сына была отдельная комнатка, где стояла его колыбелька. Теперь мы с тобой и дядей Сашей живем в одной комнате, а тогда у меня было шесть.

– У кого реквизировал?

– Держи карман шире! Тогда не было реквизиций! Кто какую квартиру хотел, такую и снимал. Хоть бы двадцать комнат! И вот однажды приезжаю я…

– С фронта?

– С которого? Никакейших тогда фронтов не было!

– А что ж мужчины делали, если нет фронта! Спекулировали, небось?

– Тогда не спекулировали.

– А что же? Баклуши били?

– Дядя Саша, например, был адвокатом. Петр Семеныч писал портреты и продавал их, дядя Котя имел магазин игрушек…

– Чтой-то – игрушки?

– Как бы тебе объяснить… Ну, например, видел ты живую лошадь? Так игрушка – маленькая лошадь, неживая; человечки были – тоже неживые, но сделанные, как живые. Пищали. Даванешь живот, а оно и запищит.

– А для чего?

– Давали детям, и они играли.

– Музыка?

– Чего музыка?

– Да вот, играли.

– Нет, ты не понимаешь. Играть – это значит, скажем, взять неживого человечка и посадить верхом на неживую лошадку.

– И что ж получится?

– Вот он и сидит верхом.

– Зачем?

– Чтоб тебе было весело.

– А кто ж в это время играет?

– Фу, ты! Нельзя же быть таким серьезным. Однако – вернемся. Вот, значит, мы так и жили…

– А что ты делал?

– Я был директором одной фабрики духов.

– Чтой-то?

– Духи? Бутылочка такая. Откроешь пробочку, капнешь на костюм, а оно хорошо и пахнет.

– А зачем?

– Да так. Зря. Раньше много чего зря делалось. У меня, например, был человек, который стоял у дверей, и если кто-нибудь приходил ко мне, он шел впереди него и говорил, кто пришел.

– Да зачем тебе? Ты бы и сам через минуточку увидел бы.

– Так было принято. Много чего зря делали. Мы с мамой, например, раз в месяц бал закатывали.

– Во что закатывали?

– Ни во что. Возьмем и закатим бал. Приглашали музыку, оркестр целый… Сад увешивали цветными фонариками и под музыку танцевали…

– Чтой-то?

– Танцевать? А вот мужчина брал даму одной рукой за ее руку, другой за это место, где у тебя задняя пуговица курточки, и начинали оба топать ногами и скакать.

– Зачем?

– Зря. Совершенно зря. Пользы от этого не замечалось никакой. После танцев был для всех ужин.

– Небось, дорого с них сдирал за ужин?

– Кто?!

– Ты.

– Помилосердствуй! Кто ж с гостей за ужин получает? Это бесплатно. Я их угощал. Повар готовил ужин, шампанское, фрукты, мороженое.

– Сколько ж тебе это стоило? Небось – за… этого… закатывал в копеечку?

– Ну как тебе сказать… Помнишь, мы сегодня после обеда пили с тобой этакую чуть-чуть газированную теплую дрянь на сахарине? Ситро, что ли? Ну вот сколько мы заплатили за бутылочку, помнишь?

– Полторы тысячи.

– Правильно. Так раньше – бал с музыкой, фонариками и ужином стоил половину такой бутылки.

– Значит, я сегодня целый бал выпил?

– Представь себе! И не лопнул.

– Вот это сказка! У маленького мальчика бал в животе. Хе-хе-хе!

– Да уж. Это тебе не Баба-Яга, чтоб ей провалиться!

– Хе-хе! Не у отца три сына, чтобы им лопнуть.

– Да… И главное, не Красная Шапочка, будь она проклята отныне и до века!

Володька

Завтракая у одного приятеля, я обратил внимание на мальчишку лет одиннадцати, прислонившегося у притолоки с самым беззаботным видом и следившего за нашей беседой не только оживленными глазами, но и обоими на диво оттопыренными ушами.

– Что это за фрукт? – осведомился я.

– Это? Это мой камердинер, секретарь, конфидент и наперсник. Имя ему – Володька. Ты чего тут торчишь?

– Да я уже все поделал.

– Ну черт с тобой. Стой себе. Да, так на чем я остановился?

– Вы остановились на том, что между здешним курсом валюты и константинопольским – ощутительная разница, – подсказал Володька, почесывая одной босой ногой другую.

– Послушай! Когда ты перестанешь ввязываться в чужие разговоры?!

Володька вздернул кверху и без того вздернутый, усыпанный крупными веснушками нос и мечтательно отвечал:

– Каркнул ворон – «Никогда!»

– Ого! – рассмеялся я. – Мы даже Эдгара По знаем… А ну, дальше.

Володька задумчиво взглянул на меня и продолжал:

Адский дух или тварь земная, —
произнес я, замирая, —
Ты – пророк. И раз уж
Дьявол или вихрей буйный спор

Занесли тебя, крылатый,
В дом мой,
Ужасом объятый,
В этот дом, куда проклятый
Рок обрушил свой топор,
Говори: пройдет ли рана,
Что нанес его топор?
Каркнул Ворон «Never more»[32].

– Оч-чень хорошо, – подзадорил я. – А дальше?

– Дальше? – удивился Володька. – Да дальше ничего нет.

– Как нет? А это:

«Если так, то вон, Нечистый!
В царство ночи вновь умчись ты!»

– Это вы мне говорите? – деловито спросил Володька. – Чтоб я ушел?

– Зачем тебе. Это дальше По говорил Ворону.

– Дальше ничего нет, – упрямо повторил Володька.

– Он у меня и историю знает, – сказал с своеобразной гордостью приятель. – Ахни-ка, Володька!

Володька был мальчик покладистый. Не заставляя себя упрашивать, он поднял кверху носишко и сказал:

– …Способствовал тому, что мало-помалу она стала ученицей Монтескье, Вольтера и энциклопедистов. Рождение великого князя Павла Петровича имело большое значение для всего двора…

– Постой, постой?! Почему ты с середки начинаешь? Что значит «способствовал»? Кто способствовал?

– Я не знаю кто. Там выше ничего нет.

– Какой странный мальчик, – удивился я. – Еще какие-нибудь науки знаешь?

– Знаю. Гипертрофия правого желудочка развивается при ненормально повышенных сопротивлениях в малом кругу кровообращения: при эмфиземе, при сморщивающих плеврите и пневмонии, при ателектазе, при кифосколиозе…

– Черт знает что такое! – даже закачался я на стуле, ошеломленный.

– Н-да-с, – усмехнулся мой приятель, – но эта материя суховатая. Ахни, Володька, что-нибудь из Шелли.

– Это которое на обороте «Восточные облака»?

– Во-во.

И Володька начал, ритмично покачиваясь:

Нам были так сладко желанны они,
Мы ждали еще, о, еще упоенья
В минувшие дни.
Нам грустно, нам больно, когда вспоминаем
Минувшие дни.
И как мы над трупом ребенка рыдаем,
И муке сказать не умеем: «Усни»,

[32] Никогда (*англ.*).

Так в скорбную мы красоту обращаем —
Минувшие дни.

Я не мог выдержать больше. Я вскочил.

– Черт вас подери – почему вы меня дурачите этим вундеркиндом. В чем дело – объясните просто и честно?!

– В чем дело? – хладнокровно усмехнулся приятель. – Дело в той рыбке, в той скумбрии, от которой вы оставили хвост и голову. Не правда ли, вкусная рыбка? А дело простое. Оберточной бумаги сейчас нет, и рыбник скупает у букиниста старые книги, учебники – издания иногда огромной ценности. И букинист отдает, потому что на завертку платят дороже. И каждый день Володька приносит мне рыбу или в обрывке Шелли, или в «Истории Государства Российского», или в листке атласа клинических методов исследования. А память у него здоровая… Так и пополняет Володька свои скудные познания. Володька! Что сегодня было?

– Но Кочубей богат и горд
Не златом, данью крымских орд,
Не родовыми хуторами.
Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей!..
И то сказать…

Дальше оторвано.

– Так-с. Это, значит, Пушкин пошел в оборот. – У меня больно-пребольно сжалось сердце, а приятель, беззаботно хохоча, хлопал Володьку по плечу и говорил:

– А знаешь, Володиссимус, скумбрия в «Докторе Паскале» Золя была гораздо нежнее, чем в пушкинской «Полтаве»!

– То не в Золя была, – деловито возразил Володька. – То была скумбрия у этом, где артерия сосудистого сплетения мозга отходит вслед за предыдущей. Самая замечательная рыба попалась!

* * *

Никто тогда этому не удивился: ни приятель мой, ни я, ни Володька…

Может быть, удивлен будет читатель? Его дело.

Разговоры в гостиной

XX век. Года 1910 – 1913

– Не знаю, куда в этом году поехать за границу… Все так надоело, так опостылело… Не ехать же в эту олеографическую постылую Швейцарию, с ее коровами, молочным шоколадом, альпенштоками и пастушьими рожками.

– А на Ривьеру?

– Тоже нашли место! Это проклятое, вечно синее небо, это анафемское вечно лазурное море, эти экзотические пальмы, эта назойливая красота раскрашенной открытки!.. И в Германию я не поеду. Эта сытость животного, эта дешевка мне претит! Махнуть в Норвегию, что ли, для оригинальности? Или в Голландию…

– …Вчера я перечитывала «Портрет Дориана Грея»… Какая утонченность, какая рафинированность. Вообще, если меня в последнее время что и занимает, так это – английская литература последних лет, весь ее комплекс…

– …А я вам говорю, что ставить в Мариинке «Электру» – это безумие! Половина певцов посрывает себе голоса!..

– Читали?

– Да, да! Это какой-то ужас. Весь Петербург дрогнул, как один человек, когда прочитал о горе бедной Айседоры Дункан. Надо быть матерью…

– …Понимаете, между акмеизмом и импрессионизмом та разница, что акмеизм как течение…

– Позвольте, позвольте! А Игорь Северянин?..

– …Расскажу, чтобы дамы не услышали. После Донона поехали мы в «Аквашку», были: князь Дуду, Ирма, Вовочка и я. Ну, понятно, заморозили полдюжинки…

– …А я вам говорю, что Мережковский такой же богоискатель, как Розанов – богоборец!

– …В последнем номере «Сатирикона»…

– …Будьте любезны передать ром.

– …Вы спрашиваете, отчего вся Россия с ума сошла? От Вилли Ферреро!

– Господа, кто вызывал таксомоторы? Два приехало.

– Прямо не знаю, куда бы мне и дернуть летом… Венеция надоела, Египет опостылел… Поехать, разве, на Карпаты для шутки?..

XIII век. Год 1920

– Кушайте колбасу, граф!

– Merci. Почем покупали?

– 120.

– Ого! Это, значит, такой кусочек рублей 7 стоит…

– …Я вам советую поехать в Сербию, хотя там неудобно и грязновато, но русских принимают довольно сносно. Даже в гостиницы пускают…

– Что вы говорите?!

– …В кают-компании все стояли, прильнув друг к другу, сплошной массой, но я придумал штуку: привязал себя ремнями от чемодана к бушприту и так довольно сносно провел ночь. Благо тепло!

– Что это не видно моего кузена Гриши?

– Разве не знаете? На прошлой неделе от сыпняка кончился.

– Ах, вот что! То-то я смотрю… А булки почем покупали?

– …Представьте себе, купила я две свечи, а одна из них без фитиля.

– Что же вы?

– А я растопила стеарин в стакане, потом взяла шнурок от корсета и стала обмакивать в стакан: обмакну и вытащу. Стеарин застывает быстро. Так и получилось несколько маленьких свечечек.

– …Нет, простите! На чемодане спать удобно, только нужно знать – как. Другой осел будет пытаться спать на закрытом чемодане. А нужно так: все вещи из чемодана вынуть и завернуть в простыню; раскрытый чемодан положить крышками вверх, а сбоку, как продолжение, вынутые вещи; получается площадь в два аршина длины и в аршин ширины; впадина на ребре чемодана затыкается носками…

– Баронесса, по вас что-то ползет…

– Ах, это я с князем Сержем на грузовике каталась. Наверное, от него.

– …Лучшая мазь от этих гадов – тинктура сабадилли. Мне жених подарил на именины целый флакон.

– Дуся! Дайте подушиться!

– …Из Харькова мы ехали 28 дней. Я – с эшелоном солдат. Сначала питались орехами, у меня было 2 фунта, а потом на станции Роскошной я выменяла у жены стрелочника свою кофточку на курицу. Солдаты сварили из нее суп в цветочном горшке, и мы ели. Я ела двойной ложечкой, для заварки чаю. Неудобно только, что вся жидкость в дырочки протекала прямо на платье. Ну, я потом платье в станционной бочке выстирала.

– …Не знаю, куда мне и поехать: англичане не пускают русских в Англию, французы не пускают в Париж, немцы…

– Что это за масло у вас такое странное? Я уже второй бутерброд ем, ем и не могу разобрать…

– Это не масло. Мазь от экземы для Шурочки. Вот дура тетка! Неужели она на стол поставила? Ну ничего, тут еще немного осталось – хватит.

– Вы читали «Портрет Дориана Грея»?

– Не читал. А вы читали приказ о выселении всех, кто живет тут меньше двух лет?

– …Помню я, в толстовской «Смерти Ивана Ильича»…

– Скажите, он тоже от сыпного?

– А однажды я два дня спал на пишущей машине…

– Какой системы?..

– Если спирт и с бензином – это ничего, он годится… Надо только положить туда корицы, перечной мяты и лимонной корки. Наполовину отбивает запах.

– Не знаю, куда и поехать: туда не пускают, сюда не пускают…

Век – черт его знает какой…
Год 1923

…Собираюсь в Константинополь.

– Как же вы поедете, если пароходов нет?!

– А мы с Иваном Сергеичем собираемся вплавь. Пузыри подвяжем, пробки. Удочки берем с собой, рыбку по дороге будем ловить… Пропитаемся. Мы высчитывали – не больше трех недель плавания.

– Скажите, граф, вы читали «Письма Чехова»?

– Простите, я только по-печатному. Писанное от руки плохо разбираю.

– Слушайте, а как вы думаете, если мы поплывем с Иван Сергеичем на Батум – там англичане по шее не дадут?

– Дадут. Они же запретили русским показываться в Англии.

– …Понимаете: купила я свечу, а она вдруг оказывается с фитилем! Чуть я себе зуб не сломала!..

– Вы читали, баронесса, «Портрет Дориана Грея»?

– Чаво?

– Читали Оскара Уайльда?

– Мы неграмотные.

– …И поймал он, можете представить, на себе насекомую. С кулак величиной и весом в полтора фунта.

– Что же он?

– Натурально, зарезал, ощипал и в борщ. Наваристая, каналья.

– …Сплю я, сплю, вдруг слышу, что-то меня кусает…, высекаю я огонь и что же! – оказывается, Иван Николаич за ногу. Уже чуть не пол-икры отъел! Убил я его, повернулся на другой бок, снова заснул.

Леденящая душу история

Эту историю рассказал мне один очень симпатичный человек.

– Видите, – сказал он мне, показывая в театре на сидящего в ложе полного блондина. – Видите этого господина? Инженер Пятеркин. Замечательно светлая личность! Я очень хотел поступить к нему на службу и, представьте себе, – никак, ну, никак – не могу!

– Что ж… не хочет он, что ли? – спросил я вяло, без любопытства, как спрашивают обыкновенно, предчувствуя впереди скучный безынтересный рассказ.

– Он-то не хочет? Да он спит и видит, чтобы меня к себе залучить!

– Значит, вы не хотите?

– Хочу! С руками и ногами готов пойти!

– Понимаю! Значит, дело у вас еще не открылось?

– На полном ходу дело!

– Догадался: вакансий нет?

– Есть! Как раз для меня!

– Жалование маленькое, что ли?

– Еще вчера он предлагал мне 20 тысяч в месяц!

– Да провалитесь вы! В чем же дело?! Он хочет, вы хотите, дело интересное, жалованье большое, а поступить не можете!

И тут, отведя меня в уголок за дверью, он рассказал мне одну из самых диких историй наших диких дней.

* * *

…Этот Пятеркин обо мне очень много наслышан. Как-то встречает меня:

– Поступайте ко мне на службу!

– К вам-то? Да с удовольствием. А какое жалование?

– Три тысячи в месяц.

– Пожалуй, подходит. Закончу дела на своей теперешней службе и через две недели к вам.

Закончил я дела, собрался к инженеру Пятеркину, узнала жена, одобрила. Потом спрашивает:

– А какое жалование?

– Три тысячи.

– С ума ты сошел? Не хватит!

– Постой… А я уже две недели тому назад покончил с ним.

– То было две недели тому назад, а то теперь! Тогда масло стоило 30 рублей фунт, а теперь 45, тогда ботинки стоили тысячу рублей, а теперь полторы. И все так… Пойди, измени условия!

Прихожу: рассказываю. Инженер Пятеркин, как я уже изволил вам докладывать, – светлая личность! Да, говорит, вы правы… За эти две недели жизнь поднялась в полтора раза. Хорошо. Будете вы у меня получать четыре с половиной тысячи!

Радостный, побежал я к жене. До того бежал, что вспотел, пронизало меня ветром, пришел домой и слег. Инфлюэнца.

Две недели провалялся. Встал, собираюсь к инженеру Пятеркину.

А жена опять:

– Постой! Как же ты будешь получать четыре с половиной тысячи, когда жизнь опять вздорожала на 35 процентов. Масло, что стоило 2 недели тому назад 45, – теперь 60, ботинки вместо полторы – две тысячи!

Пошел я к этой светлой личности – Пятеркину, рассказал.

С одного слова все понял человек!

– Верно, – говорит. – Ежели, – говорит, – по маслу равняться – цена вам шесть тысяч. Только подождите две недельки. Пока вы болели, я на ваше место взял на месяц временного человека. Дослужит он и уйдет. А вы на его место.

Подождал я две недели, собираюсь идти к Пятеркину.

Жена опять:

– А какое жалование?

– Шесть тысяч.

– Что ты, милый! Как же можно на шесть тысяч прожить, когда масло уже 120, ботинки – четыре тысячи…

Прихожу к этой буквально замечательной личности – Пятеркину, рассказываю…

– Верно, – говорит. – Если уж начали мы по маслу равняться и по ботинкам, так и будем продолжать. Значит, полагается вам 9 тысяч. Контракт на 3 года, как у нас установлено…

Тут меня и осенило.

– Позвольте! – говорю. – Ежели за это время каждый месяц цены на все увеличиваются вдвое, то как же я могу застыть на одном и том же жалованье? Ведь этак я месяца через три умру с голода.

До чего это была светлая личность – сказать даже не могу.

– Верно, – кричит, – совершенно бесспорно! Тогда мы, если вы хотите, сделаем расчет прогрессивный. Два месяца тому назад сколько стоило масло?

– 30 рублей.

– Месяц тому назад?

– 60.

– Теперь?

– Значит, 120.

– Ботинки?

– То же самое: тысяча – две тысячи – четыре тысячи…

– Так, – говорит, – теперь, когда мы математически установили вздорожание жизни в месяц ровно вдвое… (ох, и математик же был, шельма! Светлая голова! Недаром – инженер!)… то теперь мы, говорит, равняясь по маслу и ботинкам, исчислим математически и увеличение вашего жалования… Этот месяц вы получите 9 тысяч, второй – 18, третий – 36, четвертый – 72, пятый – 134, шестой – 288, седьмой – 576, восьмой… ну, будем для ровного счета считать – миллион в месяц. На девятый месяц – 2 миллиона, десятый – четыре, одиннадцатый – 8, двенадцатый – 16 миллионов…

Он погрузился в вычисления, потом оторвался, покрутил головой:

– Гм… да! Выходит, что к концу второго года вы получите ежемесячно 64 миллиарда, а к середине третьего года свыше четырех биллионов в месяц.

– Многовато, – задумчиво сказал я.

– Да, дело, пожалуй, этого не выдержит.

– И возиться с ними, с такой уймой деньжищ, тоже, знаете, затруднительно. Ведь эти четыре биллиона домой привезти – обоз нанимать придется!

– И верно! А сколько миллиардов один обоз будет стоить? Да помещение для хранения нужно… Сухое, железобетонное! Да страховка от пожара, да сторожа, да счетчики…

Говорю ж вам – светлая был голова инженер Пятеркин – все высчитал, даже сторожей не забыл!

Сидим мы, молчим оба – грустные-прегрустные.

– Что ж теперь делать? – спрашиваю. – Может, плюнуть пока на эти расчеты и поступить к вам тысяч на десять!.. А там видно будет.

– А контракт на 3 года? Ведь по уставу нашего общества мы без контракта не можем.

Вздохнул я. Ушел.

И так вот до сих пор хожу я к нему. Поговорим, поговорим и разойдемся.

И мне хочется служить, и ему страх как хочется, чтобы я поступил. И прошло уже с тех пор три недели. И масло уже 180, ботинки вчера жене купил – 7000, значит, наш расчет по маслу был верен, а поступить все не могу!..

Сойдемся оба и чуть не плачем.

* * *

Голова рассказчика уныло свисла на грудь.

– А я, собственно, не понимаю, – заметил я, – почему вам было не подписать контракт на эти 4 биллиона? Получали бы вы 4 биллиончика в месяц, а ботинки стоили бы тогда биллиончика три…

– Мы-то оба понимаем, но главное – перевозка! Да наем сухого железобетонного сарая, да сторожа, да счетчики, да кассиры… Инженер Пятеркин – светлейшая голова – он уже все высчитал!

Да… Страшные, леденящие кровь драмы совершаются около нас каждый день, а мы проходим себе мимо, как дураки, и ничего не замечаем…

Борцы

На первом организационном собрании «Общества русских граждан, сорганизовавшихся для борьбы со спекуляцией» («Обспек») инициатор организации Голендухин говорил:

– Господа! Не только административными мерами нужно бороться со спекуляцией! На помощь власти должны прийти сами граждане, должна прийти общественность! Посмотрите на Англию (и все посмотрели на Англию): там однажды торговцы повысили цену на масло – всего два пиастра на фунт – и что же! Вся Англия встала на ноги, как один человек, – масло совершенно перестали покупать, всеобщее возмущение достигло такой степени, что…

– Простите… – поправил Охлопьев, – но в Англии пиастров нет. Там – пенни.

– Это все равно. Я сказал для примера. Обратите внимание на Германию (и все обратили внимание на Германию): там на рынке фунт радия стоит…

– Я вас перебью, – сказал Охлопьев, – но радий на фунты не продается…

– Я хотел сказать – на пиастры…

– Пиастры – не мера веса…

– Все равно! Я хочу сказать: если мы сейчас повернемся в сторону России (и все сразу повернулись в сторону России), то… Что мы видим?!

– Ничего хорошего, – вздохнул Бабкин.

– Именно, вы это замечательно сказали: ничего хорошего. У нас царит самая безудержная спекуляция, и нет ей ни меры, ни предела!.. И все молчат, будто воды в рот набрали! Почему мы молчим! Будем бороться, будем кричать, разоблачать, бойкотировать!!

– Чего там разоблачать, – проворчал скептик Турпачев. – Сами хороши.

– Что вы хотите этим сказать?

– Я хочу сказать о нашем же сочлене Гадюкине.

– Да, господа! Это наша язва, и мы ее должны вырвать с корнем. Я, господа, получил сведения, что наш сочлен Гадюкин, командированный нами за покупкой бумаги для воззваний, узнал, что на трех складах, которые он до того обошел, бумага стоила по 55 тысяч, а на четвертом складе с него спросили 41 тысячу… И он купил на этом складе 50 пудов и продал сейчас же в один из первых трех складов по 47 тысяч.

– Вот-те и поборолся со спекуляцией, – вздохнул Охлопьев.

– Ловко, – крякнул кто-то с некоторой даже как будто завистью.

– Именно что не ловко, раз попался.

– Внимание, господа! – продолжал Голендухин. – Я предлагаю пригвоздить поступок Гадюкина к позорным столбцам какой-нибудь видной влиятельной газеты, а самого его в нашей среде предать… этому самому…

– Чему?

– Ну этому… Как его… остро… остра…

– Остракизму? – подсказал Охлопьев.

– Во-во! Самому острому кизму.

– Чему?

– Кизму. И самому острейшему.

– Позвольте: что такое кизм?

– Я хотел сказать – изгнание! Долой спекулянтов!

Встал Охлопьев:

– Господа! Конечно, мы должны бичевать спекулянтов, откуда бы они ни появлялись… Но вместе с тем мы должны и отдавать дань уважения тем коммерсантам, которые среди этого повального грабежа и разгильдяйства сохранили «душу живу». Я предлагаю послать приветствие оптовому торговцу Чунину, который, получив из заграницы большую партию сгущенного молока, продает его по 1100 р., в то время когда другие оптовики продают по 1500, и это при том условии, что сгущенное молоко еще подымется в цене!!

– А где он живет? – задумчиво спросил Бабкин.

– А вам зачем?

– Да так, зашел бы… поблагодарить. Отдать ему дань восхищения…

– Он живет: Соборная, 53, но дело не в этом…

Встал с места Турпачев:

– Предлагаю перерыв или вообще даже… Закрыть собрание…

– Почему?

– Да жарко… И вообще… Закрыть лучше. До завтра.

– Да! – сказали Грибов, Абрамович и Назанский. – Мы присоединяемся. Закрыть.

Большинством голосов постановили: закрыть.

* * *

У ворот дома Соборная, 53 столкнулись трое: Абрамович, Бабкин и Грибов.

– Вы чего тут?!

– А вы?

– Да хочу зайти просто… От имени общества принести благодарность Чунину, этому благородному пионеру, который на фоне всеобщего грабежа, сияя ярким светом…

– Бросьте. Все равно опоздали!

– Как… опоздал?

– Свинья этот Голендухин. А еще председатель! Инициатор…

– Неужели все скупил?

– До последней баночки. А? По 1100… А я-то и пообедать не успел, и извозчика гнал.

– Возмутительно!! В эти дни, когда общественность должна бороться… Где он сейчас?

– Только что за угол завернул. Еще догоните.

Из ворот вышел Турпачев:

– Господа! Я предлагаю не оставлять безнаказанным этого возмутительного проступка представителя общественности, в то время, когда наша Родина корчится в муках, когда уже брезжит слабый свет новой прекрасной России…

– Слушайте, Турпачев… А он по 1300 не уступил бы?

– Какое! Я по 1400 предлагал – смеется! Если мы, господа, обернем свои взоры к Англии…

Но никто уже не оборачивал своих взоров к Англии. Стояли, убитые.

Торговый дом «Петя Козырьков»

Мы уже стали забывать о тех трудностях, с которыми сопряжено добывание денег «до послезавтра».

В свое время – до революции, которая поставила все вверх ногами, – это было самое трудное, требующее большой сноровки искусство.

Подходил один знакомый к другому и, краснея и запинаясь, и желая провалиться сквозь землю, тихим, умирающим голосом спрашивал:

– Не можете ли вы одолжить мне пятьдесят рублей на две недели?

– Знаете что? – находчиво возражал капиталист. – Я лучше одолжу вам два рубля на пятьдесят недель.

Иногда ловили на ошеломляющей неожиданности:

– Послушай, – запыхавшись, подлетал один к другому, – нет ли у тебя двугривенного с дырочкой?

– Н-нет… – растерянно бормотал спрашиваемый. – В… вот – без дырочки есть.

– Ну черт с тобой, все равно, давай без дырочки! – И, выхватив у сбитого с толку простака серебряный двугривенный, исчезал с ним.

Были случаи и явно безнадежные:

– Что это у вас?.. Новая сторублевка? Вы знаете, моя жена еще таких не видела. Дайте, снесу покажу ей… Да вы не бойтесь – верну. Дня через три-четыре встретимся, и верну.

А вот случай, чрезвычайно умилительный по своей беспочвенности:

– Что это вы все в землю смотрите?

– А? Полтинник ищу.

– Обронили, что ли?

– Я? Нет. Но я думаю, может, кто другой обронил.

Ах, с каким трудом раньше давали взаймы. По свидетельству старинных летописцев (да позволено нам будет выразиться по-церковнославянски), это было «дело великого поту»…

Должник приступал к этой несложной операции, будто к операции собственного аппендицита, дрожа, заикаясь и спотыкаясь, заимодавец – с наглостью и развязностью необычайной, неслыханной – третировал несчастного en canaille[33], задавая ему ряд глупых вопросов и одаривая его попутно ни к черту негодными советами:

– А? Что? Да! Взаймы просите. Вы что же думаете, что у меня денежный завод, что ли? Нужно жить экономнее, молодой человек, сообразуясь с вашими средствами! Если бы я еще сам печатал деньги – тогда другое дело!.. А то ведь я их не печатаю, не правда ли? Чего вы там бормочете? А? Что? Ничего не понимаю!

[33] Как сволочь (как жулье) (*фр.*).

Фу, какое было гадкое чувство!

* * *

А теперь у нас, в России, настал подлинный золотой век:

– А, что? Просите 7 тысяч? Да какой же это счет – 7 тысяч? Не буду же я ради вас менять в лавочке десятитысячную?! Или берите целиком десятитысячную, или подите к черту.

– Очень вам благодарен… Поверьте, что я на будущей неделе… сейчас же…

– Ладно, ладно, не отнимайте времени пустяками…

– Ей-богу, я как только получу от папы деньги…

– Да отстанете вы от меня или нет?.. Действительно, нашел о какой дряни разговаривать…

– Поверьте, что я никогда не забуду вашей… вашего…

– А, чтоб ты провалился! Не перестанешь приставать – выхвачу обратно бумажку и порву на кусочки!

– Однако… Такое одолжение… Так выручили…

Сразу видно, что это старозаветный, допотопный должник.

Новый возьмет и даже не почешется.

А если вся требуемая сумма – тысяча или две – так он это сделает мимоходом, будто, летя по своим делам, на чужой сапог сплюнул.

– Сколько стоят папиросы? Две тысячи? Сеня! Заплати, у меня нет мелких. Как-нибудь сочтемся, а не сочтемся – так тоже неважно!

И Сеня платит, и Сеня смеется, распялив рот, не менее весело, чем жизнерадостный курильщик.

* * *

Позвольте рассказать об операции, которую любой из читателей может проделать в любой день недели и которая тем не менее несет благосостояние на всю остальную жизнь…

Один ушибленный жизнью молодой человек, по имени Петя Козырьков, не имея ни гроша в кармане, лежал в своей убогой комнате на кровати и слушал через перегородку, как его честила квартирная хозяйка:

– И черт его знает, что это за человек? Другие, как люди: спекулируют, хлопочут, торгуют, миллионы в месяц зарабатывают, а этот!.. И знакомства есть всякие, и все… а черт его знает, какой неудалый! Слушайте, вы! Еще месяц я вас держу и кормлю, потому я вашу покойную маму знала, а через месяц со всеми бебехами вон к чертям свинячим! Вот мое такое благородное, честное слово…

А надо сказать, Петя не зря лежал: он дни и ночи обдумывал один проект.

Теперь же, услышав ультиматум, дарующий ему совершенно точно один месяц обеспеченной пищей и кровом жизни, Петя взвился на дыбы, как молодой конь, и, неся в уме уже выкристаллизованное решение, помчался на Нахимовский проспект.

Известно, что Нахимовский проспект – это все равно что Невский проспект: нет такого человека, который два-три раза в день не прошелся бы по нем.

И вот на этом свойстве Нахимовского построил Петя свою грандиозную задачу: стал у окна гастрономического магазина Ичаджика и Кефели, небрежно опершись о медный прут у витрины, и стал ждать…

Ровно через три минуты прошел первый знакомый…

– Афанасий Иванович! Сколько лет, сколько зим… Голубчик! У меня к вам просьба: дайте десять тысяч. Не захватил с собой бумажника, а нужно свечей купить.

– Да сделайте ваше такое одолжение… Пожалуйста. Что поделываете?..

– Так, кой-чего. Спасибо. Встречу, отдам.

– Ну какие глупости. Будьте здоровы. Почин, говорят, дороже денег.

Через полчаса у Пети было уже 70 тысяч, а через четыре часа 600.

Это была, правда, скучная работа, но Петя для развлечения варьировал ее детали: то ему нужно было купить не свечей, а винограду для именинницы, то «ему предлагали приобрести очень миленькое колечко за триста тысяч» и не хватало десяти.

Короче говоря, к шести часам вечера Петя встретил и задержал на минутку сто знакомых, что составляло по самой простой арифметике – миллион!

Пересчитал Петя добычу, сладко и облегченно вздохнул и помчался в кафе.

Уверенно подошел к одному занятому столику.

– Сгущенное молоко есть?

– Сколько надо?

– А почем?

– Оптом две тысячи.

– Пятьсот коробок.

– Ладно. Завтра утром на склад.

Свез Петя пятьсот коробок домой, сунул их под кровать, лег на кровать – и начался для него месяц самой сладкой жизни: дни и ночи лежал он на кровати, этот умный Петя, и чувствовал он, что в это самое время под ним совершается таинственный и чудный процесс постепенного, но верного обогащения его сгущенным швейцарским молоком, – не исследованный еще новыми экономистами процесс набухания и развития.

И ровно через месяц слез Петя с кровати, пошел в кафе и, усевшись за столик, громогласно сказал:

– Есть пятьсот банок сгущенного молока. Продаю. – Налетели, как саранча.

– Почем?

– А сколько дадите?

– По четыре!

– По шесть дайте.

– По пять!!

– Сделано.

Получил Петя два с половиной миллиона, расплатился с добросердечной хозяйкой, пошел на Нахимовский, стал на то же место и принялся ловить своих заимодавцев:

– Афанасий Иванович! Сколько лет, сколько зим. Что это я вас не видел давно? Там за мной должок… Вот, получите.

– Ну что за глупости. Стоит ли беспокоиться. Я, признаться, и забыл. Спасибо. Ну, что поделываете?

– Так, кой-чего. Александр Абрамович! Одну минутку. Здравствуйте… Там за мной должок.

– Ну, какой вздор. Спасибо. Что это за деньги, хе-хе. Одни слезы.

– Ну все-таки!

До вечера простоял у магазина Ичаджика и Кефели честный Петя, а на другой день купил на оставшийся миллион спичек и папирос, сунул их под кровать, сам лег на кровать, и так далее…

Если вы, читатель, ходите по Нахимовскому, а живя в Севастополе вы не можете избежать этого, вы должны заметить большой магазин, заваленный товарами, а над огромным окном – золоченая вывеска:

«Торговый дом «Петр Козырьков». Мануфактура и табачные изделия. Опт.»

Дневник одного портного

Мне нужно было заказать себе костюм. Я пришел к портному и спросил:

– Вы портной?

– Видите ли, – отвечал он. – Короче говоря, я действительный член профессионального союза «Игла».

– Костюм мне сшить можете?

– М-м-м… Пожалуй. Только ведь это очень трудная штука – сшить костюм. Вы не думайте, что это так себе, пустяк.

– Я знаю. Если бы это было «так себе», я сшил бы сам. Сколько возьмете с моим материялом?

– Триста тысяч.

– Виноват, я даю и подкладку.

– А то как же. И пуговицы за ваш счет, и нитки. А иначе, согласитесь сами… Давайте задаток. Сто.

Я дал задаток и выжидательно остановился перед ним.

– Чего ж вы стоите? Ступайте домой. Как-нибудь на днях заверните.

– Виноват… А мерку?

– Можно и мерку. Впрочем, это не важно – рост у нас один. На какой-нибудь вершок вы выше и худее.

* * *

Вернувшись домой, я спросил у соседа:

– Сколько зарабатывает теперь ремесленник или рабочий?

– А черт его знает. Тысяч триста, я думаю.

– Не может быть! С меня сейчас за шитье одного костюма взяли триста тысяч!!

– А может быть, он будет шить ваш костюм целый месяц.

– Как месяц?! Раньше в два дня шили!

– Кто?!

– Портные.

– А теперь кто шьет?

– Действительный член профессионального союза «Игла».

– Ну вот видите.

– А может, и этот, тово… В два дня… А?

– Тогда нужно предположить, что за 24 рабочих дня в месяц он зарабатывает три миллиона шестьсот тысяч.

– Это неслыханно!!

– Вот видите.

* * *

Через неделю я пошел к портному на примерку. Он сказал:

– Не готово к примерке.

Я беспомощно обвел глазами комнату, и вдруг мой взгляд упал на тоненькую тетрадку, валявшуюся на краю огромного стола. На обложке было написано:

«Дневник действ. члена проф. союза «Игла» Еремея Обкарналова»…

– Хоть стакан воды дайте, – кротко попросил я. Он пошел за водой, а я украл тетрадку, сунул ее в карман и тихо вышел.

Дома прочитал. Выписываю без сокращений и изменений.

* * *

2-го числа. Принимал сегодня заказ. Пока снимал мерку, торговался с заказчиком, глядишь – и день прошел.

3-го числа. Рассматривал материю. Какой хороший материал носят проклятые капиталисты, а? Пока пил чай, обедал, то, се – ан уж и вечер. Прямо ничего не поспеваешь делать. Засяду с завтрашнего дня!..

4-го числа. Праздник. Не работал. Отдыхал.

5-го числа. Ходил за нитками и пуговицами. Прихожу к магазину, а он закрыт. Вот черти – все бы им обедать. Вернулся домой, пил чай, пошел опять, а магазин совсем и закрылся. До чего народ дармоед пошел. Когда они и торгуют – не понимаю.

6-го числа. Воскресенье. Отдыхал.

7-го числа. Хоть голова и трещит, но работа – первое дело. Кроил штаны. Выкроил одну штанину – так разломило спину, что разогнуться не могу. Когда же, наконец, эта наглая эксплуатация нашего каторжного труда прекратится?

8-го числа. Престольный праздник. Слава богу, хоть денечек отдохнем.

9-го числа. Опять ходил за пуговицами. Три магазина обошел, пока нашел, что нужно. Так и проваландался. А здорово, черти, делают шашлык в погребе «Майская роза»! Только куда я задевал пуговицы? Неужто в «Майской розе» оставил? Пойтить, узнать.

10-го числа. Ну да – там. Как это я, ей-богу…

11-го числа. Штаны почти совсем выкроил. Разломило спину. Пьют, пьют нашу кровь, и когда это кончится – неизвестно.

12-го числа. Скроить жилетку, что ли?

13-го числа. Воскресенье. Разгибал спину.

14-го числа. Кроил жилетку. Ножницы совсем тупые. Снести поточить, что ли ча?

15-го числа. И где это я мог забыть? Неужто опять в «Майской розе»?

16-го числа. Так и есть.

17-го числа. Табельный день.

18-го числа. Собрание профессионального союза «Игла». Когда же это я за пиджак примусь?

19-го числа. Очень большой праздник.

20-го числа. Воскресенье.

21-го числа. Заказчик ругался, как какая-то собака. Побыл бы в моей шкуре! В биоскопе – картина «Зачем ты, безумная, губишь того, кто увлекся тобой». Пойтить после работы, что ли…

22-го числа. Принимал заказ от какого-то Аверченки. Очень подозрительная личность. Чуть ли не собирался торговаться. Наглеет публика, сил нет. «Мерку, говорит, сними». Смех один. Будто с покойника.

25-го…

24-го…

25-го…

26-го…

Кройка брюк, полпиджака, «Майская роза», пуговицы в лавке, в биоскопе «И сердцем, как куклой, играя, вы сердце, как куклу, разбили». Прямо чуть не плакал.

На этом дневник обрывался.

* * *

Было время, когда рабочие и ремесленники с оружием боролись за введение 8-часового рабочего дня.

Я думаю, если бы мы, буржуи, ввели теперь для рабочих и ремесленников восьмичасовой рабочий день, они оказали бы нам вооруженное сопротивление.

Сентиментальный роман

Один Молодой Человек влюбился в одну девушку. Он встретился с нею у одних знакомых, познакомился и – влюбился.

Дело известное.

А девушка тоже в него влюбилась.

Такие совпадения иногда случаются.

Они пошли в кинематограф, потом в оперу. И влюблялись друг в друга все больше и больше по мере посещения кинематографа, оперы, цирка и театра миниатюр.

Молодому Человеку пришла в голову оригинальная мысль: объясниться с девушкой и предложить ей руку и сердце.

Этот Молодой Человек был проворный малый и знал, что первое дело при предложении руки и сердца – стать на колени. Тогда уж никакая девушка не отвертится.

Но где проделать этот гимнастический акт?

В опере? В цирке? В театре миниатюр светло и людно. Всюду такие сборы, что яблоку упасть некуда, не то что Молодому Человеку – на колени.

В кинематографе? Там, наоборот, темно, но и это плохо. Девушка может подумать, что он уронил шапку и ползает в темноте на коленях, отыскивая ее. В таких делах минутное недоразумение – и все погибло.

Мелькала у Молодого Человека мысль пригласить девушку к себе, но она была застенчива и никогда бы не пошла на эту авантюру.

И вдруг Молодого Человека осенило: «Пойду к ней!»

– Можно вас навестить, Марья Петровна? – однажды осведомился он сладким голосом.

– Мм… пожалуйста. Но у меня тесно.

Молодой Человек парировал это соображение оригинальной мыслью.

– В тесноте, да не в обиде.

– Ну что ж… приходите.

– Ей-богу, приду! Посидим, помечтаем. Вы мне поиграете.

– На чем?!

– Разве у вас нет инструмента?

– Есть. Для открывания сардинок.

– Да, – печально согласился Молодой Человек. – На этом не сыграешь. Ну все равно приду.

* * *

Молодой Человек надавил пальцем пустой кружочек, оставшийся от бывшего звонка, стукнул ногой в дверь и кашлянул – одним словом, проделал все, что делают люди в наш век пара и электричества, чтобы им открыли дверь.

– Что вам угодно? – спросил его сонным голосом неизвестный господин.

– Дома Марья Петровна?

– Которая? Их в квартире четыре штуки.

– В комнате номер три.

– В комнате номер три их две.

– Мне ту, что рыженькая. В сером пальто ходит.

– Дома. А вы чего ходите в такое время, когда люди спят?

– Помилуйте, – изумился Молодой Человек, – всего 7 часов вечера.

– Ничего не доказывает. У нас три очереди на сон. Всегда кто-нибудь да спит. Идите уж.

Столь приветливо приглашенный Молодой Человек вошел в указанную комнату – и остолбенел: глазам его представилось очень большое общество из мужчин и дам, а в углу, на чемоданчике, – мечта его юных дней.

– Что это? – робко спросил он, переступая через человека, лежащего посередине пола на шубе и укрытого шубою же. – У вас суарэ[34]? Вы, может быть, именинница? Недобрая! Неужели скрыли?

– Какое там суаре! Это жильцы.

– А где же ваша комната?

– Вот она.

– А они чего тут?

– Они тут живут.

– В вашей комнате?

– Трудно и разобрать – кто в чьей: они ли в моей, я ли – в их. Садитесь на пол.

Молодой Человек опустился на пол и ревниво спросил:

– Где же вы спите?

– На этих чемоданах.

– Но… тут же мужчины?

– Они отворачиваются.

– Марья Петровна! Я хотел с вами серьезно поговорить…

– Что слышно на фронте, Молодой Человек? – спросил господин, выглядывая из-под шубы.

– Не знаю. Я вот хотел поговорить с Марией Петровной по одному интересному вопросу.

– Послушаем! – откликнулся старик, набивавший папиросы. – Люблю интересные вопросы.

– Но это… дело интимное! – в отчаянии воскликнул Молодой Человек (не могу же я перед таким обществом бухнуть перед ней на колени!).

– Что ж, что интимное. Мы тут все свои. Только… виноват! Вы своей левой ногой залезли в мою площадь пола. Если бы вы у меня были в гостях – другое дело.

– Послушайте… Марья Петровна, – шепнул ей на ухо Молодой Человек, подбирая ноги. – Я должен вам…

– В обществе шептаться неприлично, – угрюмо сказала старая дева, поджимая губы.

Из угла какой-то остряк сказал:

– Отчего говорят: «не при лично»? Будто переть нужно поручать своему знакомому.

– Марья Петровна! – воскликнул Молодой Человек, горя, как факел, в неутолимой любовной лихорадке… – Марья Петровна! Хотя я сам происхожу из небогатой семьи…

– А ваша семья имеет отдельную комнату? – с любопытством спросил старик.

Молодой Человек вскочил на ноги… Пробежал по комнате, лавируя между всеми жильцами, перескочил через лежащего на полу и, придав себе таким образом разгон, бухнулся на колени.

---

[34] От *фр.* soirée – вечеринка.

– Марья Петровна, – скороговоркой сказал он. – Я вас люблю надеюсь что и вы тоже прошу вашей руки о не отказывайте молю осчастливьте а то я покончу с собой!

Старик и господин под шубой завопили:

– Несогласны, несогласны! Знаем мы эти штуки!!

– Позвольте!.. – с достоинством сказал Молодой Человек, поднимаясь с колен. – Что значит «эти штучки»?

– Насквозь вижу вас! Просто вы хотите этим способом втиснуться в комнату седьмым! Дудки-с! Нет моего согласия на этот брак!

– Господа! – моляще сказала Марья Петровна, соскальзывая с чемодана и простирая руки к жильцам. – Мы тут в уголку будем жить потихонечку… Я его за этим чемоданом положу – его никто и не увидит. О, добрые люди! Дайте согласие на этот брак!

– К черту! – ревел жилец из-под шубы. – Он уже и сейчас въехал ногами в плацдарм Степана Ивановича! А тогда, за чемоданом, он будет въезжать головой в мое расположение. Нет нашего благословения!

– Однако, – возразил удивленный Молодой Человек. – С чего вы взяли, что я буду жить здесь? У меня есть своя комната, и я заберу от вас даже Марью Петровну.

Дикий вопль радости исторгся из всех грудей.

– Милый, чудный Молодой Человек! Желаем вам счастья! Господа, благословим же их скорее, пока они не раздумали! Дайте я вас поцелую, шельмец! Ах, какая чудная пара! Знаете, вы бы сегодня и свадьбу справили, а? Чего там!

Энтузиазм был неописуемый: старик совал в рот Молодому Человеку только что набитую папиросу. Старая дева порывисто дергала его за руку с явным намерением изобразить этим поступком рукопожатие, человек на полу под шубой ласково трепал Молодого Человека по лодыжке, а в углу у чемоданов невесты двое жильцов, рыча и фыркая, как рассерженные пантеры, планировали по-новому свои угодья, примыкавшие к участку Марьи Петровны.

А когда счастливый, пьяный от радости Молодой Человек спускался с лестницы, его догнал старик, набивщик папирос.

– Слушайте, – задыхаясь, шепнул он. – Обратили внимание на другую девушку? Она хоть и немолодая, но замечательная – ручаюсь вам. Человек изумительного сердца! Нет ли у вас для нее какого-нибудь подходящего приятеля?.. Она сделает счастье любому человеку, да и мы бы заодно избавились от этой старой ведьмы, прах ее побери!

Смешное в страшном

Извинение автора

Не преступление ли – отыскивать смешное в страшном?

Не кощунство ли – весело улыбаться там, где следовало бы рвать волосы, посыпать пеплом главу, бия себя в грудь, и, опустившись на колени возле вырытой могилы, долго неутешно рыдать?..

Вот два вопроса, которые были бы совершенно правильны, если бы… около нас был действительно настоящий труп.

Но Россия – не труп. Долго хлопотали, много сделали для того, чтобы превратить ее в неподвижное, гниющее, мертвое тело, однако – руки коротки у горе-хирургов. Пациентка все-таки жива.

У нее выпустили кровь – новая кровь разольется по жилам и могучими бодрыми толчками пробудит к деятельности затихшее сердце.

Ей выкололи глаза, а она уже начинает прозревать.

Вырезали язык, а она говорит. Пока еще тихо, бессвязно, но будет час, загремит ее голос, как гром, и многие подлецы и шулера задрожат от ужаса, а для нас это будет раскатом весеннего грома, за которым следует бодрый, теплый дождик, освежающий, смывающий всю грязь…

Ей отрезали руки, ноги… Ничего! Придет час – срастется все. Еще крепче будет.

Ну – видите? При чем же здесь битье в грудь и посыпание скорбных глав пеплом?..

Значит, смеяться можно.

Больше того – смеяться должно. Потому что у нас один выбор: или пойти с тоски повеситься на крючке от украденной иконы, или весело, рассыпчато рассмеяться.

* * *

Здесь перед вами – «очерки нового быта», выкованного мозолистыми руками пролетариата: Зиновьева, Троцкого и Ко…

Аркадий Аверченко

Голодный пикник

Глава I. С визитом

Гришка Зерентуй, советский нувориш, разбогатевший на ночных обысках без мандатов, был парень не промах.

Распухши от денег и бриллиантов, он решил, что теперь самое фартовое дело – пролезть в высшее общество.

– Богатый человек без связей – гнилая работа, – сказал он самому себе. – Дергану-ка я с визитом до самой до мадам Ульяновой – Лениной. Примет меня – клевое дело, дадут по шее – «нарежу винта». Ничего не попишешь.

Из романов он знал, что в высшем обществе визит – чистое, благородное дело. «Приеду, разденусь в вестибюле, выйдет мажордом… Спрошу: «Принимают?» – «Как прикажете доло-

жить?» – Выну карточку с золотым обрезом, скажу: «Доложи!»… «Пожалуйте в будуар!» – Очень все будет фельтикультяпно».

В действительности начало визита немного разошлось с этими изящными предположениями.

Когда он элегантно взбежал на крыльцо, откуда-то выскочил детина, обвешанный «маузерами», «наганами» и «кольтами», как рождественская елка картонажами. Детина навалился на Гришку сзади, ловко завернул руки за спину и прохрипел:

– Куда лезешь, сволочь?

– Что вы, помилуйте! Я с визитом до мадам Лениной.

– Мандат имеешь?

– Да я просто как знакомый. Какой там, к чертям собачьим, мандат?

В связи с переменой светской обстановки и с Гришки слетела вся светскость…

– Я другого так хватану за руки, что два дня вертеться будет. Твое дело доложить, а не набрасываться, как бешеный кобель.

– А мне, впрочем, что. Идите. Там все одно осмотрют.

Тяжело дыша после борьбы, Гришка вошел в переднюю и, подойдя к зеркалу, стал оправлять фисташковый атласный галстук.

Двое каких-то быстро сбежали с лестницы и, наставив что-то на Гришку, скомандовали:

– Руки вверх!

– На какой предмет? – спросил Гришка, поднимая руки.

– Оружия нет ли? Ну-ка, покажи карманы… А сзади? А за пазухой?

Обыскали. Снова спросили мандат. Узнав, что «с визитом», удивились и будто не совсем поняли.

– Ну иди, что ли. Там у товарища Лениной Троцкая сидит. Наверху проведут, куда надо. Только ежели из фарфору, аль из бронзы что сопрешь, все равно на выходе обыщем…

– Кель выражанс, – подумал Гришка, пожимая плечами и проходя по многочисленным пустым комнатам…

Глава II. Causerie[35] о голоде

– Простите, мадам, что я так нагрянул без приглашения, – расшаркался Гришка Зерентуй, целуя дамам ручки. – Позвольте вручить для ради первого знакомства…

– Что это такое?

– Три триллиончика чистоганом для ваших бедных, мадам, от неизвестного!

– О, мерси… Ах, сейчас столько бедных, столько нужды, что прямо всякий грош дорог! Вы служите?

– О, нет. Я так просто, кой-чего.

Помолчали.

– До вашего прихода мы говорили о голоде. Этот голод прямо меня угнетает.

– Да что вы! Какое безобразие, – сочувственно прочмокал языком Гришка. – Голод, оно действительно. Неприятное занятие.

– Ах, и не говорите. Я все время думаю, что они там едят, чем питаются? В газетах пишут все о непонятных продуктах: какой-то конский щавель, лебеда, суп из травы, дубовая кора, корешки, желуди…

– А вы знаете, – защебетала madame Ленина. – Мне бы так хотелось всего этого попробовать… Но где тут достать в Москве? Я просила мужа – он говорит: глупости!

[35] Непринужденный разговор, беседа (*фр.*).

В оборотистой голове Гришки мелькнула мысль: вот путь для укрепления столь нужных светских связей.

– Месдамес! – умильно сказал Гришка, прижимая порыжевший цилиндр к груди. – Разрешите, я вам это устрою?.. Желаете, могу вам предоставить настоящий голодный обед из тех самых веществ, которыми питаются мужики!..

– Серьезно?! – Оживились дамы. – Ах, это очень мило с вашей стороны. Мы так бы хотели иметь понятие… Но как это устроить?

– Месдамес! – даже застонал Гришка. – Осчастливьте! Не побрезгуйте светскими традициями – приезжайте ко мне обедать… Мой повар…

– Но, удобно ли… Ведь мы почти незнакомы…

– А знаешь что? – оживилась Троцкая. – Мы это могли бы сделать в виде пикника. Возьмем с собой Вовочку и Жоржика…

«Ейные хахаля, – подумал прозаический Гришка. – Р-ради бога, осчастливьте!..»

Глава III. Голодный обед

Шумно усаживались за большой, накрытый в саду Гришкиного особняка стол.

– Какое же меню? – спросила мадам Троцкая, кокетливо оправляя бриллиантовую брошку.

– А извольте видеть, и меню есть с золотым обрезом, не извольте беспокоиться.

– Ах, я так волнуюсь, – прощебетала Ленина. – Съесть настоящий голодный обед! Съесть то, чем питаются сейчас 25 миллионов людей и о чем пишет вся Европа! Ознакомьте же нас с меню.

– А вот-с!

«Голодный обед Григория Спиридоныча Зерентуя в честь бедных голодающих мужичков». Похлебка из лошадиного щавеля. Желуди. Дубовая кора, соус мадера. Корешки. Лебеда фрикассе. Десерт: конские каштаны.

– Пасюшьте, – спросил Вовочка. – А мы от этого не умрем?

– Будьте покойны. Даже цинги не будет.

– Господа, – кокетливо заиграла хорошенькими глазками Троцкая, – объясните мне ради Создателя, что такое – цинга?

– А это такое, когда зубы выпадают, – любезно объяснил Гришка.

– Ма фуа![36] – воскликнул общий баловень Жоржик, секретарь Лениной. – Значит, у моего дяди тоже была цинга! У него каждый вечер выпадали зубы и опускались в стакан с водой.

– Противный, – засмеялась Ленина. – Не говорите гадостей перед обедом. А вот и похлебка… Неужели это лошадиный щавель?! А знаете, очень вкусно. А это что? Кажется, половинка яйца?

– Дикое яйцо, – объяснил Гришка. – В конском щавеле на каждом шагу попадаются!..

– Чрезвычайно вкусно! И наваристо. А это что отдельно подано? Неужели желуди? Совсем вкус пирожков с фаршем.

– Домашний желудь, – сказал Гришка. – Внутре у его такая мякоть. Только наше мужичье варить не умеет.

– И подумать, что раньше этой вкусной штукой свиней кормили, – удивился Жоржик.

– Жить не умели, – улыбнулся Гришка Зерентуй. – Месдамес, можно еще желудей?.. А вот и дубовая кора!

– А как же ее есть? – удивилась Троцкая. – Она ведь твердая.

[36] Клянусь честью! (*фр.* Ma foi).

– Пустяшное дело. Верхнюю корку ножом снимите, а внутре мягкое, – любезно объяснил амфитрион.

– А ведь верно! Полная иллюзия молочной телятины! Неужели это дубовое?

– Все от повара зависит, сударыня, – самодовольно сказал Гришка. – Хороший повар из калоши «Проводник» такой бифштекс тру-ля-ля ушкварит!

– А вот и корешки. Что это за порода?

– Земляные. Повар их аспержем называет. А соуску? Есть беленький, есть желтенький.

– Прямо чудесно! Если бы не знала, что корешки, прямо бы подумала – спаржа.

– Следующий номер! – в экстазе ревел Гришка. – Лебеда!

– Послушайте… – недоуменно поднял брови Вовочка. – Какая же это лебеда? Форменная птица.

– Лебеда – птица и есть, – спокойно сказал Гришка. – Самка лебедя.

– Pardon, но самка лебедя называется лебедка.

– Не говорите глупостей, – засмеялась Троцкая. – Лебедка это такое… на пароходе. Чем вещи поднимают.

– Так это вот и есть лебеда? Чего ж мужички плачутся?.. Оно превкусно! Однако я думала, что лебеда – трава.

– Никак нет. Нешто можно было бы простую траву жрать? Хотя вот на десерт подадут конские каштаны. Кажется, ерунда с маслом, дрянь, а ежели тертые, да со сливками – так за ушами трещать будет. Месдамес! А еще лебеды кусочек? Вот крылышко!

От стола встали отяжелевшие. Ковыряя головной шпилькой в зубах, madame Троцкая облегченно вздохнула и сказала:

– Теперь я знаю, как питается мой народ! И я за него совершенно спокойна… Пока есть дубовая кора, лебеда, корешки и конский щавель – мой народ не погибнет…

Атташе Канторович

В Стамбуле на одной из кипящих разношерстным народом уличек я встретил его.

У него в руке был небольшой саквояжик. Он сказал:

– Господин, не нужно ли сигар, сигарет, русских папирос?..

– Не нужно.

– Гм… Не нужно. А я думал – нужно. Слушайте, кстати: вы не знаете, как по-французски – сигара?

– Да так и будет: ля сигар.

– Что вы говорите?.. Совсем как мерси. И по-русски мерси и по-французски – одно и то же. Я еще когда в Одессе жил – так очень удивлялся…

– Хороший город Одесса, – похвалил я.

– А что, скажите, мне ваше лицо знакомо. Вы, часом, не жили в Одессе?

– Часом не жил, а по неделям живал.

Он вдруг пристально стал в меня всматриваться.

– Гм… Острит. Бритый. В пенсне. Послушайте?! Чтоб я сдох, если вы не писатель…

– Писатель.

– Так это вы за нас написали рассказ «Золотые часы»… Помните, вывели Канторовича и Гендельмана, что один другому никак не может часов продать. Как вы тогда писали: «Странный город – Одесса. У одного есть часы, у другого – деньги. И один хочет купить часы, а другой продать… Так они не могут этого сделать, потому что они одесситы». Ой, как вся Одесса тогда с нас смеялась. Ну ничего… Нам все-таки было приятно, что мы вошли в литературу.

– Вы давно из Одессы?

– Ай, и не говорите. Чуть не пешком приплыл. Слушайте, Аверченко… (он взял меня за пуговицу). Ну что будет?

– С кем?

– С этой дрянью паршивой, с большевиками. С ума можно сойти. Вы знаете, я жил в Одессе еще при Толмачеве… Так, знаете, как мне теперь кажется Толмачев? Родной папа! Дайте мне его, я закричу «ура». Что Толмачев? Дайте мне городового нашего Бульварного участка Таганчука! И я скажу ему: «Володя, дай я тебя поцелую в глазки». И я возьму его, приведу к себе и угощу его с графинчиком водки и жареной рыбой, и мы с ним оба будем сидеть посередке комнаты и, как дураки, плакать. Это навозное сметьё говорит теперь: «Мы даем вам свободу и мир, пожалуйте в ГПУ». Или: «Для счастья пролетариата становись, жидовская морда, к стенке». Чтоб мои враги имели такое пролетариатское счастье. Когда меня Таганчук брал в участок – это стоило три рубля, когда меня Дейч берет в ГПУ – мне это стоит, извините, пули в живот. Ах, Канторович, Канторович…

– При чем тут Канторович?

– Эй, значит, вы ничего не знаете? В прошлом году приходит он ко мне и говорит: «Прости меня, Гендельман, но я поступил в идейные коммунисты». Я плюнул ему около сапога и говорю: «Ты, Канторович, идейный от слова идиет. Пошел вон!» – «Ты, – говорит он, – не ругайся, потому что эта наша революция планетарная. И я, Канторович, – тоже планетарный». «Планетарная холера тебе в кишки! Попугай несчастный. Один жулик пустил слово – тысяча дураков повторяет. Канторович, вы мне не друг! – говорю я, как Ленский в «Онегине». – «Проваливайте, пока я вам по морде не надавал». И он ушел, как буквально побитая собака. Правда, когда потом у меня делали обыск, нашли полтора фунта сахара и забрали в чека за спекулятивное хранение товаров, этот дурак притёпался до Дейча просить за меня, и меня выпустили, но… я ему даже руки не подал, чтоб я так жил!

– Где же теперь Канторович?

– Монька Канторович? Разве вы не читали в газетах? Еще, помните, когда вы записывали наш разговор за золотые часы, так там у вас есть, как этот осел поднимет глаза вверх и скажет: «Ой, Гендельман. Мне не нравится поведение Германии в Алжезираском вопросе…» А я ему: «Моня! Вы удивительный человек: где две державы воюют – вы обязательно в середку влезете. Бросьте!» «А я вам, Гендельман, говорю, что Германия еще меня вспомнит!» И что же вы думаете? Почти своего добился…

– То есть как?

– Неужели вы не читали в газете? Подержите чемоданчик, у меня есть в кармане. О! Вот… Это я одну старую газетку храню на память… «Состав советской миссии в Польше: советник посольства Леонид Оболенский, первый секретарь Лоренс, атташе Канторович»… Как вам это понравится: Монька Канторович – атташе посольства?!

– А почему бы и нет? – улыбнулся я.

– Канторович – атташе? Бросьте. Ну, представьте вы себе дипломатический прием во дворце… Швейцар докладывает: «Лорд Реджинальд Грей, граф Паулучио, виконт Сен-Жермен, Монька Канторович – прикажете принять?!» – «Дайте ему лучше по шее. Это его тоже хорошо устроит».

– Однако вы на него очень нападаете… А может быть, у него есть дипломатические таланты?

– Уйдите вы! Дипломатические? Он такой дипломат, что когда профессор оперировал у него аппендицит и по ошибке забыл в животе золотой портсигар, так потом сейчас же хватились, распороли, а там только залоговая квитанция «Одесского городского ломбарда на золотой портсигар с такими-то инициалами». Положим, для Чичерина как раз подходящий помощник: жулик на жулике и маравихером погоняет.

– Охота вам волноваться? – примирительно сказал я.

– Что значит охота? Почему Канторовичи должны делать гадости, а на Гендельманах должно отражаться? Вы думаете, мне простят «атташе Канторовича»? Гм… «Прикажете принять: маркиз делла Торрета, атташе Канторович, граф де Бюсси, Яша Цигельпирчик, герцогиня де Роган, Розочка Шмеркович»… Я вас спрашиваю, почему мы теперь должны на глаза лезть всем – вместе с Роганами и де Бюсси. Я кто? Я Гендельман. Так я сижу в уголку и так сижу, что меня ни одна собака не услышит. А атташе? Хорошее название, которое носит один Канторович, а в печенках сидеть оно будет у всего еврейского народа.

Контроль над производством

Один из краеугольных камней грядущего рая на земле – Третьего Интернационала – это контроль над производством. Твердо знаю, во что эта штука выльется.

* * *

Писатель только что уселся за письменный стол, как ему доложили:

– Рабочие какие-то пришли.

– Пусть войдут. Что вам угодно, господа?

– Так что мы рабочий контроль над производством. Выборные.

– Контроль? Над каким производством?

– Над вашим.

– Какое же у меня производство? Я пишу рассказы, фельетоны… Это контролю не поддается.

– Все вы так говорите! Мы выборные от типографии и артели газетчиков, и мы будем контролировать ваше производство.

– Виноват… Как же вы будете осуществлять контроль?

– Очень просто. Вот мы усаживаемся около вас, и… вы, собственно, что будете писать?

– Еще не знаю: темы нет.

– А вы придумайте.

– Хорошо, когда вы уйдете – придумаю.

– Нет, вы эти старые штуки оставьте! Придумывайте сейчас.

– Но не могу же я сосредоточиться, когда две посторонние физиономии…

– Простите, мы вовсе не посторонние физиономии, а рабочий контроль над вашим производством! Ну?..

– Что «ну»?

– Думайте скорей.

– Поймите же вы, что всякое творчество – такая интимная вещь…

– Вот этого интимного никак не должно быть! Все должно делаться открыто, на виду и под контролем.

Писатель задумался.

– О чем же это вы призадумались, позвольте узнать?

– Не мешайте! Тему выдумываю.

– Ну вот и хорошо. Только скорее думайте! Ну! Придумали?

– Да что вы меня в шею гоните?

– На то мы и контроль, чтобы время зря не пропадало. Ну живей, живей!..

– Поймите вы, что не могу я так сосредоточиться, когда вы каждую секунду с разговорами пристаете!

Рабочий контроль притих и принялся с любопытством разглядывать лицо призадумавшегося писателя.

А писатель в это время тер голову, почесывал у себя за ухом, крякал и наконец вскочил в отчаянии:

– Да поймите же вы, что нельзя думать, когда четыре глаза уставились на тебя, как баран на новые ворота.

Рабочий контроль переглянулся.

– Замечаете, товарищ? Форменный саботаж! То ему не разговаривай, то не смотри на него, а то он еще, пожалуй, и дышать запретит! Небось, когда нас не было – писал! Тогда можно было, а теперь нельзя? Под контролем-то небось трудно! Когда все на виду, без обману – тогда и голова не работает?! Хорошо-с!.. Так мы и доложим, куда следует!

Рабочий контроль встал и, оскорбленный до глубины души, топоча ногами, вышел.

От автора:

В доброе старое время подобные произведения кончались так:

«…На этом месте писатель проснулся, весь облитый холодным потом».

Увы! Я кончить так не могу.

Потому что – хотя мы и обливаемся холодным потом, но и на шестом году еще не проснулись.

Собачьи мемуары

43-го числа.

Если в Петербурге кто сейчас и в моде – так это мы, собаки.

О нас только и разговор, наше имя у всех на устах.

На каждом шагу слышим:

– Собачья жизнь! В квартире собачий холод! Голоден, как собака! Собаке – собачья смерть!

А однажды я сама, своими ушами, слышала:

– Писатель Горький стоит перед советской властью на задних лапках.

Так что отныне я могу называть Горького коллегой: оба пишем, оба умеем на задних лапках стоять.

* * *

53-го этого месяца.

Не только мы, но и наш язык стал входить в моду.

Один человек шел по улице и говорит другому:

– Вот пошел глав кав арм.

Услышав собачьи звуки, я вежливо ответила: «гав, гав, арр!», но потом приятельницы объяснили мне, что я ввязалась в разговор совершенно неуместно. Люди разговаривали о главнокомандующем кавказской армией.

* * *

0027-го числа.

Разговору о нас много, а жрать нечего.

Мой хозяин раньше хоть корочку хлеба швырял на пол, а теперь я по целым часам сижу против стола и все время так виляю хвостом, что он даже делается горячий. Намек прозрачный, но хозяин делает вид, что не понимает…

Хуже того – вчера я нашла на заднем дворе баранью кость с немножечком мяса, приволокла домой и спрятала под комод до ужина.

Семья хозяина увидела это, все бросились под комод, вынули кость и стали варить из нее суп, а меня выгнали из дому – я думаю, с тайной надеждой, что я приволоку еще чего-нибудь.

Ужасно как есть хочется. Как собаке.

* * *

721-го числа.

Мы вошли в такую моду, что вчера, например, приятельница по секрету сообщила мне:

– Знаешь, говорят, у хлебных лавок выросли хвосты.

– Длинные?

– С полверсты.

– Ого! Воображаю, сколько в них блох.

* * *

Число забыла.

Видела хвост хлебной лавки. Мало похож на наш. Правда, вертеть им можно, как угодно, но и только.

– Зачем этот хвост? – спросила я мизерную собачонку, шнырявшую подле.

– На хлеб. Стань сзади, и ты получишь хлеб.

Неглупо. Вежливо встала сзади всех – ждала, ждала, вдруг говорят:

– Хлеб получит только первая половина хвоста! – Хорош был бы мой хвост, если бы я одну его половину питала, а другую нет. Расходясь, все говорят:

– Собачья жизнь… Приятно, но не сытно.

* * *

Сегодняшнее.

Украла у мальчишки нищего кусочек хлеба, как дура, притащила домой – опять хозяева отняли. Меня только погладили (подавитесь вы своим глаженьем), а маленькая дочка, глотая хлеб, просила:

– Мама, отдай меня в собаки!

* * *

Число собачье.

Отчаяние и ужас! Я знаю, что все собаки отвернутся от меня с презрением, но я больше не могу: пойду на улицу просить милостыню! Мне, породистой собаке, протягивать лапу, стоять на задних лапках, как какому-нибудь Горькому!

Но… будь, что будет!

Чувствую, что вся покраснела от морды до кончика хвоста, когда, впервые в жизни, пролаяла сакраментальные слова:

– Подайте хлебца честной русской собаке!

И пошло с тех пор…

* * *

Число такое-то.

Мое место на углу Невского и Владимирского оказалось настолько интересным и доходным, что уже две собаки предлагают купить его за бараний череп и половину дохлой крысы…

Уже почти все собаки клянчат по углам милостыню.

Развратила нас коммуна.

Теория Эйнштейна и теория Ползункова (*a la совдеп*)

Дело происходило в полуразвалившейся избушке одного из оазисов дикой Совдепии…

Туземцы, одетые в звериные шкуры и в башмаки из невыделанной кожи дохлой лошади, обступили туземца, одетого довольно прилично и только что вернувшегося из служебной командировки в Европу. Исступленное любопытство было написано на всех лицах…

– Ну что? Ну как там? Есть что нового? Привезли что-нибудь свеженькое?

– Да, да, – глубокомысленно кивнул головой приехавший. – Есть масса любопытного. Вы ведь совсем дикарями сделались, от Европы отстали, а там жизнь бьет ключом.

– То есть кого бьет? – испуганно поежился скелетовидный совдепец.

– Никого. Сама по себе. Ах, какие открытия! Какие изобретения! Слышали вы, например, об открытии Штейнаха и о теории Эйнштейна?..

– Где уж нам!

– То-то и оно. Плесенью вы тут покрылись. Есть такой немец – Штейнах, – и открыл он, что всякого человека можно обмолодить как угодно. Скажем, сколько тебе лет? 50? Пожалуйте – вам уже 25 лет! Вам, молодой человек, 80? Чик, чик ножичком – извольте получить – вам уже 18 лет…

– Да как же он это делает, немецкая морда?

– А очень просто: железы старикам вырезывает.

– Которые железы?

– А черт его знает. Ему уж это видней.

– Как же он дошел до этого?

– Ну как обыкновенно ученые доходят: взял человека, вырезал ему железу, а тот – глядь-поглядь, – глаза закатил да и помер. «Давайте другого, – кричит Штейнах, – не туда ножиком заехал». Пожалуйте вам другого. Резанул другого, по другой железе – икать стал старичок. Опять не туда! «Третьего давайте!» На восьмом, не то на девятом дошел до настоящей железы.

– То есть, как дошел?

– А вот этак: вырезал он старичку одному железку, а тот как вскочи, да сестру милосердия за талию: барышня, пойдем мазурку танцевать. «Матчиш, – испанский танец, шальной и жгучий!..» Мне, – говорит, – теперь двадцать лет, и я хочу безумств!» Вырвался из рук и пошел по всей палате козла выкидывать. Ну конечно, кое-как успокоили и в среднее учебное заведение определили!

– До того обмолодился?

– До того. Но, конечно, еще более заковыристая штука – теория Эйнштейна. Я читал – прямо за животики брался. И ведь все верно, все верно, не уколупнешь!

– Он, что же, скажите: тоже насчет старости?

– Нет, почище будет; всю геометрию распотрошил! Всю математику к чертям собачьим размотал.

– А именно-с?

– Помилуйте! «Вы, – кричит, – говорите тут, что между двумя точками прямая линия самая короткая, а я вам говорю, что это брехня! Может, кривая линия короче прямой!» Начинает доказывать – и верно! Кривая короче прямой. «Вы, – кричит, – говорите, что геометрическая линия не имеет толщины, ан нет! Имеет она толщину!» Ученые глядь-поглядь – дей-

ствительно имеет. «Какой осел сказал вам, что параллельные линии, сколько бы мы их не продолжали, не сойдутся?!» Ученые, действительно, попробовали, построили параллельные линии – и что же! На шестисотом километре сошлись! «Я, – говорит, – вам все докажу! По-вашему дважды девять – восемнадцать, а по-моему, может, двадцать девять». Очень строгий мужчина! Такого накрутил, что теперича все заново нужно переделывать – и математику, и геометрию, и геодезию всякую!

– Виноват, как, вы говорите, это называется?

– Чего-с? Это? Теория Эйнштейна.

– Так-с. Слушали мы вас, слушали, а теперь вы нас послушайте! У вас теория Эйнштейна, а у нас теория Ползункова. Изволили знать Ивана Егорыча Ползункова?

– Нет-с, не знаю.

– То-то и оно. Мы, правда, от Европы отстали, но и Европа-матушка от нас отстала – корпусов на двадцать!

– Был, изволите видеть, у нас такой человек, Иван Егорыч Ползунков, по бывшему его местоположению – учитель географии в уездном училище, а по нынешнему – при рубке дров состояли, саночки на себе возили… И додумался этот русский Эйнштейн до такой теории: «Ребята, – говорит он. – Есть нам окончательно нечего, а есть надо. Шишек же еловых и сосновых в лесу сколько угодно. Африканские обезьяны их очень обожают. Если вы их сразу начнете жрать, то все передохнете в одночасье… То есть, не обезьян жрать, а шишки. Наука же говорит, что постепенно можно приучить свой организм к чему угодно. И делайте, говорит он, вы так: выдается вам хлеба в день 24 золотника, а вы съешьте 23 золотника и одну еловую шишку; на другой день введите внутрь организма 22 золотника хлеба и 2 еловые шишки, потом 21 золотник и 3 шишки. Через 24 дня уже хлеб вам не нужен – его вытеснит порцион в 24 еловые шишки, что и требовалось доказать. Так же и насчет одежды. Скоро, говорит, у вас ее совсем не будет, и вы обмерзнете, как какие-нибудь дураки! А поэтому надо завести постепенно собственную шерсть. Я, говорит, братцы, читал в «Смеси», что если лысый человек сидит в холодном помещении без шапки, то у него на голове очень просто начинают расти волоса». Вот по этой, значит, теории Ползункова и нужно постепенно приобретать волосяной покров, вроде собачьего меха. Срежьте один рукав на руке, выставьте ее гольем на холод – она через месяц обрастет, и ей будет тепло; срежьте другой рукав, обрежьте левую штанину, потом правую, на спине кус вырежьте – да через полгода вас родная мать не узнает: что это, мол, за горилла – здравствуйте вам, – по лесу ходит, еловые шишки запросто жует?! Вот оно как, товарищ приезжий из Европы!

– Вы, собственно, что же этим хотите сказать?

– А то-с. У вас там теория Эйнштейна, а у нас теория Ползункова! И наш Ползунков всегда вашего Эйнштейна крыть может, и некуда немцу будет от ползунковских козырей деваться, потому ихняя кишка, супротив нашей, – дюже тонка-с!!

Мурка

Несколько времени тому назад во всех газетах была напечатана статья советского знатока по финансам т. Ларина – о том, что в Москве на миллион жителей приходится около 120 000 советских барышень, служащих в советских учреждениях, а среди массы этих учреждений есть одно – под названием «Мурка»…

– Что это за учреждение и что оно обслуживает, – признается откровенно Ларин, – я так и не мог ни у кого добиться…

* * *

Есть в Москве Мурка, а что такое Мурка – и сам Ларин не знает.

А я недавно узнал. Один беженец из Москвы сжалился над моим мучительным недоумением и объяснил мне все.

– Что же такое, наконец, Мурка? – спросил я со стоном. – Спать она не дает мне, проклятая!

– Ах, Мурка?! Можете представить, никто этого не знает, а я знаю. И совершенно случайно узнал…

– Не тяните! Что есть – Мурка?!

– Мурка? Это Мурашовская комиссия. Сокращенно.

– А что такое – Мурашов?

– Мой дядя.

– А кто ваш дядя?

– Судебный следователь.

– А какая это комиссия?

– Комиссия названа по имени дяди. Он был председателем комиссии по расследованию хищений на Курском вокзале.

– Расследовал?

– Не успел. На половине расследования его расстреляли по обвинению в сношениях с Антантой.

– А Мурка?

– Чего Мурка?

– Почему Мурка осталась?

– Мурка осталась потому, что тогда еще дело не было закончено. Потом оно закончилось несколько неожиданно: всех заподозренных в хищении расстреляли по подозрению в организации покушения на Володарского.

– А Мурка?

– А Мурка существует.

– Я не понимаю – что ж она делает, если и родоначальника ее расстреляли?..

– Теперь Мурка окрепла и живет самостоятельно. Здоровая сделалась – поперек себя шире.

– Я вас не понимаю.

– Видите ли: когда моего дядю Мурашова назначили на расследование, он сказал, что ему нужен секретарь. Дали. Жили они себе вдвоем, поживали, вели следствие, вдруг секретарь говорит: нужна мне машинистка. Нужна тебе машинистка? На тебе машинистку. Машинистка говорит: без сторожа нельзя. На тебе сторожа. Взяли сторожа. А дядя мой предобрый был. Одна дама просит: возьмите дочку – пусть у вас бумаги подшивает, – совсем ей есть нечего. Взяли дочку. И стала Мурка расти, пухнуть и раздвигаться влево, вправо, вверх, вниз, вкривь и вкось…

Однажды захожу я, вижу – Муркой весь дом занят… Всюду на дверях дощечки. «Продовольственный отдел», «Просветительный отдел»…

– Позвольте… Неужели Мурка сама кормила и просвещала этих вокзальных хищников?!

– Что вы? Их к тому времени уже расстреляли… Для себя Мурка завела и продовольственный, и просветительный отдел, и топливный… к тому времени уже служило в Мурке около 70 барышень, а когда для этой оравы понадобились все эти отделы – пригласили в каждый отдел новый штат, и число служащих, вместе с транспортным и библиотечным, возросло до 124.

– Что ж… все они так и сидели сложа руки?

– Почему?

– Да ведь и дядю расстреляли и вокзальных воров расстреляли… Ведь Мурке, значит, уже нечего было делать?

– Как нечего? Что вы! Целый день работа кипела, сотни людей носились с бумагами вверх и вниз, телефон звенел, пишущие машинки щелкали… Не забывайте, что к тому времени всякий отдел обслуживало уже около полутораста служащих в Мурке.

– А Мурка кого обслуживала?

– Служащих.

– Значит, Мурка обслуживала служащих, а служащие Мурку?

– Ну конечно. И все были сыты.

– А не приходило когда-нибудь начальству в голову выяснить: на кой черт нужна эта Мурка и чем она занимается?

– Приходило. Явился один такой хват из ревизоров, спрашивает: «Что это за учреждение?» Ему барышня резонно отвечает: «Мурка». – «А что это такое – Мурка?». Та еще резоннее: «А черт его знает. Я всего семь месяцев служу. Все говорят – Мурка, и я говорю – Мурка!» – «Ну вот, например, что вы лично делаете?» – «Я? В отпускном отделе». – «Какие же вы товары отпускаете?» – «Не товары, а служащих в отпуск. Регулирую отпуски». – «И для этого целый отдел?!» – «Помилуйте, у нас до 300 человек служащих?!» – «А это что за комната?» – «Продовольственный отдел. Служащих кормим». – «А это ряд комнат?» – «Топливный, просветительный, агитационный, кульминационный – работы по горло». – «И все для служащих?» – «А как же! У нас их с будущего месяца будет около 500. Прямо не успеваешь». – «Так, значит, так-таки и не знаете, что такое Мурка?» – «Аллах его ведает. Был тут у нас секретарь, сторожил, тот, говорят, знал, да его еще в прошлом году за сношение якобы с Деникиным по ветру пустили». – «Ну а вы сами как лично думаете, что значит: «Мурка?» – «Гм… Разное можно думать. Может быть – морская канализация?» – «Ну что вы? Тогда была бы Морка или Мурская канализация?.. И потом, какая канализация может быть на море?» – Постоял еще, постоял, плюнул, надел шапку и ушел. И до сих пор Мурка растет, ширится. Говорят, скоро под Сестрорецком две колонии открывает: для служащих инвалидов и для детей служащих.

Помолчали мы.

– Вы помните, – спросил я, – песенку «Мурочка-Манюрочка»?

– Еще бы. Сабинин пел.

– Так вот там есть слова:

Стала Мурка – содержанка
Заправилы банка…

– Ну?

– Так разница в том, что заправила банка содержал Мурку на свои деньги, а Советская Россия содержит сотни Мурок – на народные!..

Люди-братья

Их было трое: бывший шулер, бывший артист императорских театров – знаменитый актер и третий – бывший полицейский пристав 2-го участка Александро-Невской части.

Сначала было так: бывший шулер сидел за столиком в ресторане на Приморском бульваре и ел жареную кефаль, а актер и пристав порознь бродили между публикой, занявшей все

столы, и искали себе свободного местечка. Наконец бывший пристав не выдержал: подошел к бывшему шулеру и, вежливо поклонившись, спросил:

– Не разрешите ли подсесть к вашему столику? Верите, ни одного свободного места!

– Скажите! – сочувственно покачал головой бывший шулер. – Сделайте одолжение, садитесь! Буду очень рад. Только не заказывайте кефали: жестковата.

При этом бывший шулер вздохнул:

– Эх, как у Донона жарили судачков обернуар!

Лицо бывшего пристава вдруг озарилось тихой радостью.

– Позвольте! Да вы разве петербуржец?!

– Я-то?.. Да вы знаете, мне даже ваше лицо знакомо. Если не ошибаюсь, вы однажды составляли на меня протокол по поводу какого-то недоразумения в Экономическом клубе?..

– Да господи ж! Конечно. Знаете, я сейчас чуть не плачу от радости!.. Словно родного встретил. Да позвольте вас просто по-русски…

Знаменитый актер, бывший артист императорских театров, увидев, что два человека целуются, смело подошел и сказал:

– А не уделите ли вы и мне местечка за вашим столом?

– Вам?! – радостно вскочил бывший шулер. – Да вам самое почтеннейшее место надо уступить. Здравствуйте, Василий Николаевич!

– Виноват… Почему вы меня знаете? Вы разве петербуржец?

– Да как же, господи! И господин бывший пристав петербуржец из Александро-Невской части, и я петербуржец из Экономического клуба, и вы.

– Позвольте… Мне лицо ваше знакомо!!!

– Еще бы! По клубу же. Вы меня еще – дело прошлое – били сломанной спинкой от стула за якобы накладку.

– Стойте! – восторженно крикнул пристав. – Да ведь я же по этому поводу и протокол составлял!!

– Ну конечно! Вы меня еще выслали из столицы на два года без права въезда! Чудесные времена были!

– Да ведь и я вас, господин пристав, припоминаю, – обрадовался актер. – Вы меня целую ночь в участке продержали!!

– А вы помните, за что? – засмеялся пристав.

– А черт его упомнит! Я, признаться, так часто попадал в участки, что все эти отдельные случаи слились в один яркий сверкающий круг.

– Вы тогда на пари разделись голым и полезли на памятник Александра III на Знаменской площади.

– Господи! – простонал актер, схватившись за голову. – Слова-то какие: Александр III, участок, Знаменская площадь, Экономический клуб… А позвольте вас, милые петербуржцы…

Все трое обнялись и, сверкая слезинками на покрасневших от волнения глазах, расцеловались.

– О боже, боже, – свесил голову на грудь бывший шулер, – какие воспоминания!.. Сколько было тогда веселой, чисто столичной, суматохи, когда вы меня били… Где-то теперь спинка от стула, которой вы?.. Я, чай, теперь от тех стульев и помина не осталось.

– Да, – вздохнул бывший пристав. – Все растащили, все погубили, мерзавцы… А мой участок помните?

– Это второй-то? – усмехнулся актер. – Как отчий дом помню: 18 ступенек в 2 марша, длинный коридор, налево ваш кабинет. Портрет государя висел. Ведь вот было такое время: вы полицейский пристав, я голый, пьяный актер, снятый с царского памятника, а ведь мы уважали друг друга. Вы ко мне вежливо, с объяснением… Помню, папироску мне предложили и искренно огорчились, что я слабых не курю…

– А помните шулера Афонькина? – спросил бывший шулер. – Очень хороший был человек.

– Помню, как же. Замечательный. Я ведь и его бил тоже.

– Пресимпатичная личность. В карты, бывало, не садись играть – зверь, а вне карт – он тебе и особенный салат-омар состряпает, и «Сильву» на рояле изобразит, и наизусть лермонтовского «Демона» продекламирует.

– Помню, – кивнул головой пристав. – Я и его высылал. Его в Приказчичьем сильно тогда подсвечниками обработали.

– Милые подсвечники, – прошептал лирически актер, – где-то вы теперь?.. Разворовали вас новые вандалы! Ведь вот времена были: и электричество горело, а около играющих всегда подсвечники ставили.

– Традиция, – задумчиво сказал бывший шулер, разглаживая шрам на лбу… – А позвольте, дорогие друзья, почествовать вас бутылочкой «Абрашки»…[37]

Радостные, пили «Абрау». Пожимали друг другу руки и любовно, без слов, смотрели друг другу в глаза.

* * *

Перед закрытием ресторана бывший шулер с бывшим приставом выпили на «ты».

Они лежали друг у друга в объятиях и плакали, а знаменитый актер простирал над ними руки и утешал:

– Петербуржцы! Не плачьте! И для нас когда-нибудь небо будет в алмазах! И мы вернемся на свои места!.. Ибо все мы, вместе взятые, – тот ансамбль, без которого немыслима живая жизнь!!

История двух чемоданов

В уютной кают-компании английского броненосца, куда любезные англичане пригласили нас, нескольких русских, на чашку чаю, камин горел чрезвычайно приветливо…

Мы – хозяева и гости – сгрудились около него и, прихлебывая из стаканчиков старый херес, повели тихие разговоры, вспоминая разные курьезные, смешные и страшные истории, случившиеся с каждым из нас.

– А то еще был факт… – начал старый, видавший виды моряк-англичанин, отворачивая от красных углей камина свое красное обветренное лицо.

– Расскажите, расскажите!..

– А вы даете мне честное слово, что поверите всему рассказанному?..

– Ого, какое странное предисловие! Действительно, история обещает быть из ряду вон выходящей… Но мы поверим – даем слово!

– Эта история – одна из самых таинственных и страшных в моей жизни… Семь лет тому назад я отправил из Дублина в Лондон багажом чемодан со своими вещами… И что же!

– И что же?!

– Он до сих пор не дошел до Лондона: пропал в пути!

– Ну, ну?

– Что – «ну»?

– Где же ваша удивительная и странная история?

[37] Шампанское «Абрау-Дюрсо». (*Прим. автора.*)

– Да вот она и есть вся. Понимаете: чемодан потерялся в пути! Шуму эта история наделала страшного: кое-кто из низшего железнодорожного начальства слетел, высшее начальство рвало на себе волосы… Бум был огромный!

Видя, что мы, русские, не удивляемся, а сидим молча, понурившись, старый морской волк, оглядев нас удивленным взглядом, осекся и замолчал.

– А то еще был факт… – начал русский, мой коллега по газете, отличавшийся тем, что он все знал. – Англичане, может быть, и поверят этой правдивой истории, а насчет русских – «сумлеваюсь штоп»…

– Это – факт?

– Заверяю честным словом – факт! И случилась эта история с одним бывшим министром. И потому, что это факт, – фамилии министра я не назову.

– Не тяните!

– Не тяну. Другой бы тянул, а я нет. Не такой я человек, чтобы тянуть. Другой бы… Ой, вы кажется придавили мою ногу? Так вот: в сентябре 1918 года этот министр, собираясь ехать в Крым, уложил в чемодан все, что было у него ценного: романовские деньги, золото, бриллианты, меха – по тому времени тысяч на 60, а по нынешнему – триллионов на 120. И отправил он сдуру этот чемодан по железной дороге до Севастополя – багажом.

– Неужели тоже пропал? – подскочил, как от электрического тока, старый морской волк.

– В том-то и дело, что в январе 1920 года чемодан дошел до места в целости и сохранности. Понимаете, был Скоропадский, его сверг Петлюра, потом были большевики, Махно, добровольцы, опять большевики, города горели, переходили из рук в руки, вокзалы разрушались до основания, багаж на железнодорожных складах разворовывался почти дочиста, чемоданы и корзины опоражнивались и набивались кирпичами, а министерский чемодан все полз себе и полз, как трудолюбивый муравей, и через полтора года таки дополз до конечной станции в полной целости и сохранности!.. Так верите ли, когда экс-министр в присутствии багажных хранителей открыл свой чемодан, все рвали на себе волосы… кое-кто слетел даже с места! Багажный приемщик на станции Взломовка, когда узнал, на собственных подтяжках повесился, два багажных грузчика запили мертвую… Вообще, бум – на весь юг России!

Эта история произвела на русских впечатление разорвавшейся бомбы.

Англичане же остались совершенно покойны и только переводили свои недоумевающие взоры с одного из нас на другого…

А мы, русские, смеялись, смеялись до слез.

И когда одна из моих слез капнула в стаканчик с английским хересом, мне показалось, что весь херес сделался горько-соленым.

Новая русская хрестоматия
(*Для сознательных комдеток*)

Рекомендуется при помощи «маузера» во все неучебные заведения.

Добрый пудель

У одного середнячка был пудель. Они очень любили друг друга, но благодаря кулацким элементам продналог не удался и потому животы у них были пустые, как голова социал-соглашателя.

Однажды сидел хозяин пуделя у камина и ковырял ногой холодную золу. Пудель сидел тут же. Как вдруг он подполз к хозяйской ноге и любовно вцепился зубами в икру.

– Это тебе не паюсная! – воскликнул хозяин, перегрызая горло собаки.

И что же! Бедная собака кормила хозяина три дня, не считая шкуры шерстью вверх, из которой вышли меховые сапоги.

Так отблагодарил добрый пудель своего любящего хозяина за все его заботы.

Примеры для диктанта

Хороши у Трошки сережки. Вырывай сережки с мясом – будешь есть окрошку с квасом. За сокрытые излишки вынули у Тришки кишки. За морем телушка полушка, а у нас крысенок – миллион стоит. Я буду есть пирог с грибами, а ты держи язык за зубами.

Детская песня

Мне уже 13 с гаком…
На свободных пять минут
Окручусь скорее браком,
Через часик – разведут.

Наивный Ваня

Реквизировал папа у одного агента Антанты десяток слив. Принес домой, положил на стол, ан глядь – через минуту их уже 9 штук.

– Дети, кто сливу съел? – спрашивает папа. Все дети сказали: «Мы не брали», и маленький Ваня тоже сказал: «Не я».

Папа, будучи опытным чекистом, пустился на провокацию:

– Сливы мне не жалко, но если кто съел ее с косточкой – можно умереть.

– Нет, я косточку выплюнул, – испуганно сказал Ваня.

– Ага, попался. Становись к стенке! – И все засмеялись, а Ваня заплакал:

– Эх, засыпался я!

Стихи

Нива моя, нива,
Нива золотая,
Зреешь ты на солнце,
Колос наливая…
А когда нальешься
До краев ты, колос, —
«Подавай излишки!» —
Я услышу голос.

Пословицы

С мужика – штанишки, армии – излишки, мужику в живот – пулю, населению вместо хлеба – дулю.

Ось и чека

Везли два хохла на телегах продовольствие. Вдруг у одного ломается ось, у другого чека.

– Продай мне одну чеку, у тебя две.

– Изволь, за пять миллиардов продам. – Услыхали чекисты, что идет такая спекуляция, и забрали хохлов в чрезвычайку.

И когда стали хохлы у стенки, сказали друг другу сокрушенно:

– Ось тебе и чека.

Пословицы

Если будешь начеку, чеком ты смягчишь чеку.

Еще об уме чекистов

Навозну кучу разрывая,
Петух нашел жемчужное зерно.
Вдруг – свист!
Чекист!!
Петуху в ухо,
Петуха себе в брюхо,
Зерно – в лапу.
И давай драпу!

Примеры для списывания

Была у мужика курица, а теперь одна горелая изба курится. Рыбу с чужого воза за пазуху – на завтра запас уху. «Что в вымени тебе моем?» – сказала хозяйке корова, возвратясь с выжженного поля.

Поликратов перстень

Древний человек Поликрат так был счастлив, что даже испугался. Чтобы умилостивить богов, он бросил в море любимый перстень. Пошел однажды на базар, купил на обед рыбу, нес домой, вдруг навстречу председатель исполкома. «Стой! Что несешь? Отдавай трудящемуся народу».

И унес. А был ли в этой рыбе перстень – черт его знает. К исполкомщику что попадет, то как в прорву.

Наука расширяет кругозор

«Дети, знайте, что шишки с ели —
Очень пригодны для топливной цели», —
Учил учитель деток раз…
Внимал ему притихший класс.
Набрали дети шишек с ели,
Зажарили учителя и – съели!

Рассказ, который противно читать

Один пожилой, солидный господин совсем недавно возвращался домой.

Дело было вечером, на даче, идти пришлось через небольшой лесок.

Вдруг – «стой!» – загремело у него над ухом. Из-за кустов выскочил разбойник, навел на мирного господина «браунинг» и прохрипел грубым, страшным голосом:

– Руки вверх!..

– Н… не могу, голубчик, – пролепетал мирный господин бледными трясущимися губами.

– Убью, как собаку! Почему не можешь?

– У меня ревматизм. Рукой пошевелить трудно.

– Ревматизм, – угрюмо пробурчал разбойник… – ревматизм! Раз ревматизм – лечиться нужно, а не затруднять зря занятых людей ожиданием, пока там тебе заблагорассудится поднять руки.

– Я не знаю, право, чем его лечить, этот ревматизм…

– Здравствуйте! Я же тебе должен и советы давать. Натирай руки муравьиным спиртом – вот и все.

– Что вы, голубчик! Где ж его теперь купишь – муравьиный спирт. Ни в одной аптеке нет.

– На руках кое у кого найдется – поищи.

– Да если бы я знал – где! Я бы хоть сто килограммов купил. Хорошо можно заработать.

Свирепое лицо разбойника приняло сразу деловой вид:

– Сколько дадите? У меня есть пятьдесят килограммов.

– Цена 450, франко моя квартира.

– Сделано. Я и задаточек возьму; все равно уж бумажник у вас вытащил.

– Пойдем в таком случае в кафе – условьице напишем.

– Где ж его тут найдешь в лесу, кафе это?

– Ну, пойдем ко мне домой, разбужу жену, она кофейку сварит.

– Ладно! Айда.

* * *

Как противны эти расчетливые, рассудительные зрелые годы – все бы только спекуляция, все бы только нажива.

Не лучше ли нам окунуться в мир беззаботной, прекрасной золотой молодости – поры сладких грез и безумных, пышных надежд.

Вот – двое на скамейке. Он и она…

Молодая, цветущая пара.

– Катя! Ты знаешь, что за тебя я готов отдать всю свою кровь по каплям! Прикажи – луну стащу с небосклона… Катя!.. А ты меня любишь? Скажи только одно крохотное словечко: «да».

– Глупый! Ты же знаешь… Ты же видишь…

– О, какое безмерное счастье! Я задушу тебя в объятиях. Значит, ты согласна быть моею женой?..

– Да, милый.

– Я хочу, чтобы свадьба была как можно скорее! Можно через неделю?

– Что ты, чудак! У меня и платья венчального нет.

– Сделаем! Из чего делается платье?

– Ну… муслин, шифон, атлас…

– Есть! Могу предложить муслин по 28 000 аршин, франко портниха.

– Хватил! А моя подруга на прошлой неделе брала по 23 000.

– Как угодно. Не хочешь, и не надо. Найдем другую покупательницу. Вашего-то брата теперь, невест, как собак нерезаных.

– Молодой человек! Куда же вы? Постойте!..

– Ну?..

– Фрачными сорочками, шелковыми носками не интересуетесь? Вернитесь – дешево, франко квартира…

* * *

Нет, вон отсюда! Подальше от этой жадной, захлебывающейся в своекорыстных расчетах молодости…

Дайте мне светлую, розовую юность, дайте мне прикоснуться к ароматному детству.

Вот по улице важно шествует, посвистывая, десятилетний мальчуган. Куда это он, птенчик? Гм! Стучится в дверь закопченной, полуразрушенной хижины.

– Эй! Кто есть живой человек? Не тут ли живет жулье, которое детей ворует?

– Тут, тут. Пожалуйте.

– Слушайте вы, рвань! Есть фарт[38]. Можно большую деньгу зацепить!

– Чего еще?!

– Уворуйте меня нынче вечером. Родители хороший выкуп дадут.

– А тебе, пузырь, что за расчет?

– Я из 50% работаю. Тысяч шестьдесят сдерем – вам тридцать, мне тридцать.

– Эко хватил – 50%! У нас и риск, и хлопоты, а у тебя…

– А зато я письмо пожалостливее составлю. Другого мальчика еще выкупят или нет – вопрос, а меня родители так любят, что последнее с себя стащат, да отдадут.

– Мало 50%! Нам еще делиться надо.

– А мне делиться не надо?! 15% сестренке обещал за то, что перед родителями в истерику хлопнется. Не беспокойтесь, у нас тоже своя контора…

* * *

Как?! Неужели тлетворная бацилла спекуляции отравила и розовую юность… О боже! В таком случае, что же остается нетронутым? Неужели только младенчество?..

Вот в колыбельке лежит розовый, толстый бутуз, светлые глазки глядят в потолок вдумчиво, внимательно, неподвижно.

Любящие родители склонили над ним свои головы… любуются первенцем.

– Не знаю, что и делать, – печально говорит жена. – Как же его кормить, если у меня молоко пропало?! Придется нанять мамку.

– Конечно, найми, – кивает головой муж. – Дорого, да что же делать.

Младенец переводит на них светлый, вдумчивый взгляд и вдруг… лукаво подмигивает:

– Есть комбинация, – говорит он, хихикнув. – Сколько будете платить мамке за молоко? Тысяч 60, франко мой рот…? Да прокормить ее будет стоить вдвое дороже. Итого – 180 тысяч. А мы сделаем так: покупайте мне в день по бутылке молока, – это не больше 500 обойдется. В месяц всего – 15 000. А экономию в 165 000 разделим пополам. Отец! Запиши сделку…

[38] На воровском языке – удача. (*Прим. автора*).

* * *

Охо-хо… Так вот и живут у нас.

Скорей бы уж конец мира, что ли…

Уники

Петербург. Литейный проспект. 1920 год. В антикварную лавку входит гражданин самой свободной в мире страны и в качестве завсегдатая лавки обращается к хозяину, потирая руки, с видом покойного основателя Третьяковской галереи, забредшего в мастерскую художника:

– Ну-ну, посмотрим… Что у вас есть любопытного?

– Помилуйте. Вы пришли в самый счастливый момент: уник на унике и уником погоняет. Вот, например, как вам покажется сия штукенция?

«Штукенция» – передняя ножка от массивного деревянного кресла.

– Гм… да! А сколько бы вы за нее хотели?

– Восемьсот тысяч!

– Да в уме ли вы, батенька… В ней и пяти фунтов не будет.

– Помилуйте! Настоящий Луи Каторз.

– А на черта мне, что он Каторз. Не на стенке же вешать. Каторз не Каторз – все равно, обед буду сегодня подогревать.

– По какому это случаю вы сегодня обедаете?

– По двум случаям, батенька! Во-первых, моя серебряная свадьба, во-вторых, достал полфунта чечевицы и дельфиньего жиру.

– А вдруг чека пронюхает?

– Дудки-с! Мы это ночью все сварганим. Кстати, для жены ничего не найдется? В смысле мануфактуры.

– Ну прямо-таки вы в счастливый момент попали. Извольте видеть – самый настоящий полосатый тик.

– С дачной террасы?

– Совсем напротив. С тюфячка. Тут на целое платьице, ежели юбку до колен сделать. Дешевизна и изящество. И для вас кое-что есть. Поглядите-ка: настоящая сатиновая подкладка от настоящего драпового пальто-с! Да и драп же! Всем драпам драп.

– Да что же вы мне драп расхваливаете, когда тут только одна подкладка?!

– Об драпе даже поговорить приятно. А это точно, что сатин. Типичный брючный материал…

– А вот тут, смотрите, протерлось. Сошью брюки, ан – дырка.

– А вы на этом месте карманчик соорудите.

– На колене-то?!!

– А что же-с. Оригинальность, простота и изящество. Да и колено – самое чуткое место. Деньги тащить будут – сразу услышите.

– Тоже скажете! Это какой же карман нужен, ежели я, выходя из дому, меньше двенадцати фунтов денег и не беру. Съедобного ничего нет?

– Как не быть! Изволите видеть – настоящая «Метаморфоза» – Перль-де-неж!

– Что же это за съедобное: обыкновенная рисовая пудра!

– Чудак вы человек: сами же говорите – рисовая, и сами же говорите – несъедобная. Да еще в 18-м году из нее такое печенье некоторые штукари пекли…

– Ну отложите. Возьму. Да позвольте, что же вы ее на стол высыпаете?!.

– А коробочка-с отдельно! Уник. Настоящий картон, и буквочки позолоченные. Не я буду, если тысячонок восемьсот за нее не хвачу.

– Вот коробочку-то я и возьму. Жене свадебный подарок. Бижутри, как говорится.

– Бумажным отделом не интересуетесь? Рекомендовал бы: предобротная вещь!

– Это что? Меню ресторана «Вена»? Гм… Обед из пяти блюд с кофе – рубль. А ну, что ели 17 ноября 1913 года? «Бульон из курицы. Щи суточ. Пирожки. Осетрина по-русски. Индейка, рябчики, ростбиф. Цветная капуста. Шарлотка с яблоками». Н-да… Взять жене почитать, что ли.

– Берите. Ведь я вам не как меню продаю… Вы на эту сторону плюньте. А обратная-с: ведь это бристольский картон. Белизна и лак. На ней писать можно. Я вам только с точки зрения чистой поверхности продаю. И без Совнархоза сделочку завершим. Без взятия на учет. Двести тысячонок ведь вас не разорят? А я вам в придачу зубочистку дам.

– Зачем мне? Все равно она безработная будет…

– Помилуйте, а перо! Кончик расщепите и пишите, как стальным.

– Да, вот кстати, чтоб не забыть! Мне передавали, что у Шашина на Васильевском острове два стальных пера продаются № 86.

– Да правда ли? Может, старые, поломанные.

– Новехонькие. Ижицын ездил к нему смотреть. № 86. Тисненые, сволочи, хорошенькие такие – глаз нельзя отвести. Вы не упускайте.

– Слушаю-с! Кроме – ничего не прикажете?

– Антрацит есть?

– Имеется. Сколько карат прикажете?

* * *

Этот рассказ написан мною вовсе не для того, чтобы рассмешить читателя для пищеварения после обеда.

Просто я, как добросовестный околоточный, протокол написал…

Опыт

Когда государственному человеку приходит в голову какая-нибудь государственная идея, у него нет времени самому возиться с разработкой деталей проекта.

Для этого есть специалисты, которые должны взять на себя черную работу.

Поэтому я нисколько не был удивлен, когда получил от болгарского премьер-министра Стамболийского такого рода письмецо:

«Дорогой Аркадий Тимофеевич!

У меня есть проект – устроить «опытные коммуны» для коммунистов. По моему проекту, следовало бы огородить какое-нибудь место, напустить туда коммунистов, дать им машины, одежду и продовольствие, а потом через годик взглянуть: как расцветает коммунизм в этих идеальных условиях? Вот моя мысль в сухой схеме. Прошу разработать детали».

Считая мысль Стамболийского неглупой, а предстоящую мне разработку деталей очень заманчивой, я с головой погрузился в работу…

– Везут, везут!

– Кого везут?

– А коммунистов!

– Что же их, вешать будут, что ли?

– Зачем вешать, дубовая твоя голова?! Это Стамболийский переносит их в идеальные условия.

– А ограда зачем построена?

– Чтоб со стороны никто не видал. Опять же, чтоб не разбежались.

– Гляди, гляди, ребята, в клетках они!..

– А как же? Все рассчитано! Каждую клетку вплотную подвезут к воротам, потом откроют ворота – чтоб по бокам щелей не было, потом поднимут решетку клетки, они и выпрыгнут внутрь. Ни побега, ни скандала быть не может.

– И как это, ей-богу, Стамболийскому не стыдно людей мучить?!

– Помилуйте, мадам, какое же тут мученье?! Наоборот, Стамболийский хочет поставить их в идеальнейшие условия. Ведь раз они коммунисты – они должны быть в восторге от этой идеальнейшей коммуны. Всего предоставлено в избытке – устраивайся и процветай!

– Да ведь они горло друг другу перегрызут.

– Коммунисты-то? Эх, не знаете вы, мадам, коммунистов. Это настоящее братство на земле – как в раю жить будут!

Когда вытряхивали из ворот первую клетку с коммунистами, произошел инцидент, который можно было рассмотреть сквозь прутья клетки: один дюжий парень растолкал всех других внутри клетки, дал кому-то по шее, кого-то сбил с ног и, вскочив в ворота, закричал:

– Стоп, товарищи! Я буду председателем совета народных комиссаров!

– По какому праву? – обиделся другой коммунист.

– А вот по какому, что ты у меня еще поговори. Знаешь, что бывает за восстание против советской власти? Товарищи! Прошу у меня регистрироваться. За нарушение – общественные работы и мытье полов в казармах.

К вечеру все клетки были опорожнены. Любопытная толпа стала задумчиво расходиться.

На другой день у внешней стороны ограды прохожий поднял записку, с камнем внутри, для весу:

«Товарищ Стамболийский! Вы говорили, что дадите все, что ни в чем нужды не будет – и обманули! А где же оружие? Как же совет народных комиссаров будет поддерживать порядок?? Пришлите срочно».

Оружие послали – и ночью случайные прохожие могли слышать, что в присланном продукте действительно была большая необходимость.

Одна стена ограды сделалась совсем красной. Вторая записка, перекинутая на волю через месяц, была самого отчаянного содержания:

«Не хватает машин и продуктов! Мы трестировали промышленность и социализировали продукты сельского хозяйства – и всего оказалось мало! Считаем это обманом с вашей стороны. Пришлите еще. Большая нужда в машинах для печатания кредитных билетов (прежние износились) и в рулеточной машине. Хотим государственным способом ввести азарт в берега».

Несмотря на то что на вторую записку Стамболийский ничего не ответил, – за ней через месяц последовала третья:

«Не хватает людей! Людской материал расходуется, а притоку нет. Если можно, пришлите побольше буржуазии. Товарищи коммунисты расхватали командные должности, а над кем командовать – неизвестно! И работать некому. С буржуазией же пришлите и патронов, ввиду угрозы буржуазного саботажа. В случае отказа буржуазии явиться к нам – наловите их побольше и пришлите.

С коммунистическим приветом – совет народных комиссаров».

Четвертая и последняя записка была всего в три слова:

«Настойчиво требуем интервенции». Прошел год.

Однажды Стамболийский вдруг вспомнил об опытной коммуне и сказал:

– А как моя коммуна? Пригласите представителей общественности и прессы – любопытно съездить и посмотреть внутрь, что у них там.

Поехали.

Когда подошли к воротам – внутри была тишина…

– Откройте ворота!

Не успели открыть ворота, как оттуда выскочил человек с искаженным от ужаса лицом и помчался по полю, оглашая воздух страшными криками:

– Городовой! Городовой!..

За ним вылетел другой, держа в руке нож и крича первому:

– Стой, дурак! Куда ты? Я только кусочек. Что тебе, правой руки жалко, что ли?

Их поймали.

– Куда вы бежали? Кто этот другой?

– Это командующий вооруженными морскими и сухопутными силами. Он хотел меня съесть.

– Сумасшедший, что ли?

– Какой сумасшедший – есть нечего!

– Позвольте! А ваша промышленность?! А сельское хозяйство?! А мои продукты?!

– Пойдите, поищите. Сначала социализировали, потом национализировали, потом трестировали, так все и поели.

– А где же остальные?

– Да вот остальных только двое. Третьего дня пообедали председателем комитета по распределению продуктов – последнего доели.

– А почему из ворот такая вонь?

– Ассенизации не было! Все сделались председателями, а город чистить некому.

Стамболийский закрыл нос надушенным платком, который ему дала сердобольная дама, покачал головой и задумчиво сказал:

– Такая была простая идея – устроить «опытную коммуну», и только одному мне она пришла в голову. Закройте ворота. Оттуда тифом несет.

От автора:

– Надеюсь, мой дорогой читатель согласится, что детали проекта Стамболийского разработаны мною совершенно точно.

Скорая помощь

Если бы одна из мировых конференций происходила не в роскошном палаццо, украшенном бронзой, мрамором и коврами, а происходила бы она на берегу честной русской реки, то вот бы как протекали ее заседания по русскому вопросу.

* * *

Пустынный, неприветливый, унылый берег реки…

В реке тонет человек.

Его судорожно сжатая рука то показывается на поверхности воды, то снова скрывается, а когда из воды на несколько секунд показывается голова – тихий воздух оглашается страдальческим воплем.

На берегу кучка людей.

Расселись на камушках, смотрят.

Кто посасывает коротенькую трубочку, кто жует табак, кто затягивается сигарой.

Смотрят.

– Сэр! Никак там человек в воде?

– Да, мусью, он, кажется, тонет.

– Да, и мне тоже кажется. Для простого купанья это слишком судорожно.

– Я думаю, он просто в водоворот попал. Как вы думаете, какой он национальности?

– Безусловно, русский!

– Н-да… Нет ли огонька, сэр? Проклятая сигара второй раз тухнет.

– Сделайте ваше такое одолжение. Гм… да! А ведь, знаете, может потонуть человек!

– И очень просто.

– А хорошо бы спасти его, а?

– Замечательно бы.

– Взять бы да вытащить!

– Да на сухое бы место!

– Да суконкой бы его хорошенько растереть!

– Да коньяку бы ему влить в рот!

– Пожалуй, я бы суконку дал!

– А я бы коньяку полбутылочки пожертвовал!

– Ну?..

– Что ну?..

– Вся остановка за тем, что вытащить его надо.

– Еще бы не надо. И как еще надо!

– Взять бы за волосы…

– Ну что вы. Как же можно такой некультурный способ! Да позволь я себе сделать такую грубость – рабочая партия в нашей Палате такой бы запросище двинула!

– Тогда, может быть, сделаем так: бросим ему в воду и суконку и коньяк – пусть сам разотрется и выпьет.

Бросили.

– Не долетело. Видите, потонуло.

– Н-да! Если бы у меня не новый френч, да не холодная бы вода, я бы…

– Знаете что? Мысль! Давайте бросим ему спасательный круг?

– А где он?

– Он в сторожке у старого сторожа.

– А сторож где?.. Дома?

– Нет, он в гостях у знакомых.

– Не пошел ли он в таверну «Рыбий глаз» в Нижнем Городе, а если его и там нет, надо искать у его сестры. А может, и у зятя. Можно сначала послать к его знакомым, нет его там – пошлем в таверну, нет в таверне – к сестре, нет у сестры – к зятю.

– Значит, сторожка заперта?

– Заперта. А нельзя ли взломать дверь? А то того и гляди этот потонет!

– Что вы, как же можно ломать чужую дверь? Давайте пошлем за ключом к сторожевым знакомым!

– А если он уже оттуда ушел?

– Значит, в таверне.

– А кого мы пошлем?

– А вот мальчишка бежит. Эй, мальчик, алло! Старого сторожа из сторожки, в которой спасательный круг – знаешь? Возьми у него ключ от спасательного круга. Для этого пойди сначала к знакомым, потом в «Рыбий глаз», нет его там – пойди к зятю, потом к сестре…

– Сейчас не могу: для мамы в аптеку бегу.

– Вот осел-то! Ну сбегай в аптеку, отнеси лекарство, а потом и иди за сторожем!

Когда мальчик скрылся с глаз, кучка людей успокоилась и снова вернулась к безмятежному куренью, жеванью и посасыванью.

– Сэр!

– Мусью?..

– Я думаю, что мы сделали все, что могли.

– О, yes![39]

– Мы не вытащили его за волосы!

– Потому что это было бы насилием!

– Мы не взломали двери сторожки!

– Потому что это было бы незакономерно!

– И наконец, бросили ему суконку и коньяк!

– Не наша вина, что все это потонуло!

– Глядите-ка! Не кажется ли вам, что пузыри пускает?

– Конечно: это от удовольствия, что помощь близка.

Старого сторожа нашли только к вечеру. На пленарном заседании конференции. Избранник рабочей партии, он как раз в этот день произносил очередную речь, посвященную возрождению России.

Гибель Козявкиных

Жила-была в Москве простая русская семья – Козявкиных. Одним словом, семья как семья, короче говоря:

– Советская буржуазная семья.

А еще короче говоря:

– Совсемья совбуров.

Вот сидела однажды эта семья за утренним чаем, или, короче говоря, за какой-то мутной бурдой из смеси сушеной малины и лаврового листу, а вместо сахару ели черный, осиный мед.

В одной руке отец семейства держал кусок хлеба, в другой газету.

Хлеб был грязный, как мочалка, и газета была грязная, тягучая, как мочалка.

Жена перемывала стаканы, сделанные из пивных бутылок, и перетирала их куском кретона, отодранного от дивана.

– Вот тебе, – сказал муж, – опять этот идиотический Ленин талдычит о продналоге. Ограбили бедных мужичков соверш…

Жена пошевелила головой и сделала молниеносный знак глазами…

Муж испуганно оглянулся: за спиной его стояла кухарка.

– Да… взял Ленин у этих проклятых мужичишек хлеб – так им и надо: пусть подыхают, лишь бы жила и благоденствовала симпатичная советская власть!.. Так-то, Анисья, голубчик…

– А на обед чего? – угрюмо спросила Анисья.

– Откуда же мы знаем, – пожала плечами жена, щекоча пальцем лежащего на подоконнике худого кота. – Что сегодня выдают в очереди? Картошку и мыло? Ну, значит, обед из картошки.

– Это что ж, мне, значит, пять часов в очереди стоять? – еще угрюмее спросила Анисья. – И когда же все это кончится?! – вдруг завыла она в голос. – При царе-то и картошка была, и говяда, и хлеб чистый белый, а как это жулье поналезало…

Она вдруг опомнилась, пугливо покосилась на хозяев и закончила:

[39] Да! (*англ.*)

– А как пришла народная коммунистическая власть – так и нам, народу, вздохнулось легче. Что нам – царь? Имперлист и больше ничего! Да Ленин-то наш, может, почище всякого царя – вот вам что!

Вошла свояченица, кутаясь в мужское пальто.

– В комнате у меня, – сказала она, – такой холодище, что нос из-под одеяла трудно высунуть… Дров – ни полена! И когда, наконец, этих мерзавцев-коммунистов черт унесет!!

Хозяин поглядел на нее и сделал незаметный знак, указав глазом на Анисью. Сестра ее мигнула на Анисью и мужа, а Анисья, в свою очередь, приложила палец к губам и указала подбородком на хозяйку.

– Я, собственно, не против советской власти, – поправилась сестра хозяйки. – Конечно, в недостатке дров повинны только белогвардейские банды! Но Ленин не прав в том, что слишком ослабил террор… Или нет, он – прав! Виноваты Милюков и Бурцев…

Вошел сынишка – Костя.

Он первым долгом подскочил к столу, сунул палец в осиный мед и облизал.

– Ты чего не в училище? – спросил отец.

– А чего я не видел в этом сумасшедшем доме?! Только и заставляют петь ихний паршивый «Интернационал» и молиться на портрет этого сволоча Левки Троцкого…

Ужас написался на всех лицах: мама кивнула на Анисью, Анисья – на папу, папа – на маму, мама – на тетю, – и все отвернулись друг от друга.

– …Конечно, я не спорю, – добавил Костя, – что Лев Давидович Троцкий почти гениальный человек и добрый гений России… А «Интернационал» – этот бодрый гимн пролетарского народа… который… А ну вас всех к черту!..

Он швырнул на стол недожеванную корку хлеба, заплакал и выбежал, хлопнув дверью.

– Вы на него не обращайте внимания, Анисьюшка, – робко сказал отец. – Он так переутомился, что совсем как помешанный…

– Да и я ничего такого не сказала, – возразила Анисья. – Мне-то что? Очередь так очередь! Постоим и в очереди, лишь бы хорошо жилось Совнаркому. Вот что-с!

И вышла.

– А я насчет дров продолжаю повторять, что не будь белогвардейских банд – и все было бы замечательно! Вот все, что я хотела сказать!..

И свояченица тоже вышла.

– Пойду и я на службу, – вздохнул муж. И добавил, опасливо поглядывая на жену: – А ты… никуда не пойдешь? Смотри же! Ведь я тоже ничего такого не сказал. Не спорю, есть некоторые неурядицы, но почему? Потому что власть еще в периоде мощного строительства. Кстати, напомни мне вечером, чтобы выпороть Котьку.

– Обязательно! Все-таки это лучше, чем тащить мальчишку в чека.

И она вышла вслед за мужем.

* * *

Кот остался в комнате один. Он огляделся, вспрыгнул на стол и стал принюхиваться. Сочно выругался:

– Буржуи собачьи! И мед, и хлеб – все слопали! Коту хоть бы крошку оставили. Ну ладно же! Вспомните вы меня…

Вышел в переднюю, оттуда на кухню, из кухни черным ходом во двор, на улицу – и побрел, крадучись вдоль стен.

Вошел во двор чека, пробрался к комиссару, вспрыгнул ему на письменный стол и сказал:

– Честь имею донести, что, состоя жильцом в семье Козявкиных, сегодня слышал своими ушами, как вся семья поносила всячески советскую власть: муж, жена, сын Котька, свояченица

и даже эта толстая дура – Анисья. Расстреляйте их всех, а мне за информацию прошу выдать полфунтика печенки… Жить-то ведь надо, не подыхать же с голоду!

Когда козявкинский кот возвращался домой, на морде у него было сознание исполненного долга, а на усах остатки печенки.

«Печеночки подъел, – думал он разнеженно, – да, пожалуй, когда наших поведут в чека – на кухне кой-что раздобуду. Неплохо живется умному коту в свободной стране. Вообще, здоровый эгоизм – великое дело!»

Советский словарь

Аристократ. – По советской орфографии – Ористократ. Потому, что ори русский человек сто крат, ори двести крат – все равно Европа не услышит его.

Булка. – Круглый хлеб, изготовляемый из лопуха, одуванчика и березовой коры. Две булки считается пир, три булки – спекуляция.

Виселица. – Место, где Совнарком будет чувствовать себя на высоте положения.

Голод. – Пословица говорит: «Голод не тетка, чека не дядька. Ложись без пессимизма, да и подыхай во славу социализма».

Дантон. – Старинный французский большевик. Составлен из двух слов: дан и тон. У нас в России дан тон из Берлина (1917 г.)

Един бог без греха. – Фраза Луначарского, когда его поймали в краже из публичной библиотеки редких книг.

Жемчужные серьги. – Государственный фонд, добываемый из ушей с мясом.

Зубы. – Праздные придатки во рту гражданина, выбиваемые за ненадобностью.

Идиот. – Был бы я, если бы признал советскую власть.

Керенский. – Манекен для френча модного торгового магазина «Зензинов, Минор и К⁰». Перед употреблением взбалтывать. Когда говорит – бьет себя в грудь. Так ему и надо.

Лам-ца-дрица-ца-ца. – Сокращенное наименование многих советских учреждений. Государственный язык.

Москва. – Китайский город внутри России. Внутри Москвы – Кремль, внутри Кремля – Ленин, а внутри Ленина – такое, о чем в приличном обществе не говорят.

Наган. – Единственное кушанье, которым надеются кормить голодающих. Если же обед из трех блюд, то на второе – «маузер», на сладкое – «парабеллум».

О, чтоб вас черти побрали. – Фраза, произносимая шепотом от хладных Финских скал до пламенной Колхиды.

Пипифакс. – Изделие государственного станка, испорченное уже при выходе из печати. Имеет хождение наравне с другой оберточной бумагой.

Робеспьер. – Тоже французский большевик, вроде Дантона. Тоже состоит из двух слов: Робес и Пьер. Лицам, знающим французский язык, известно, что такое робес (напр., робес эт модес). Робес – верхнее платье. Пьер по-русски – Петя. Поэтому всякий Петя, надевший кожаную куртку, считает себя Робеспьером…

Серп и молот. – Государственный герб, символ строительства и хлебопашества. Поэтому советская власть молотом хлеб жнет, серпом гвозди заколачивает.

Триллион. – Карманная мелочь советского гражданина на дневные расходы. Возится за ним на трех грузовых автомобилях.

Тумба тротуарная. – Материал для изготовления памятника. Сверху приделывается голова, снизу пишется «Карл Маркс». Лошади не пугаются, потому что их нет.

У, чтоб вас черт побрал. – Такой же крик, как и «О, чтоб вас черт побрал», но несущийся не от Финских скал до Колхиды, а от Амура до Днепра.

Финкельштейн. – Аристократическая фамилия для советского посланника. В переводе на русский язык – Литвинов.

Хабар. – Расчетная единица при столкновении с советским учреждением. Расстреливаются: 1) взявший хабара, 2) давший хабара. Впрочем, не давший тоже расстреливается.

Цинга. – Единственное кушанье, находящееся во рту всякого гражданина.

Чичерин. – Министр иностранных дел. Знаменит тем, что ввел новый стиль в язык дипломатических нот. Напр.: «В ответ на меморандум вашего идиотского правительства, имею честь сообщить, что мы плюем на вас с высокого дерева. Лучше молчите, а то мы вам надаем по морде, чтоб вас черт побрал, империалисты проклятые! С коммунистическим приветом – Чичерин, которому вы должны ноги мыть, да воду пить. Накось, выкуси».

Шапка. – Ввиду отсутствия материала заменяется суррогатом: голова покрывается вшами, скрепленными колтуном. При встрече с чекистами эта шапка из почтения снимается… вместе с головой.

Щ. – По новой орфографии не полагается. Напр., нужно писать так: «положи за счеку счи со сченком». «Эта счука боится счекотки».

Электрификация. – Испорченное слово от «электрофикция», что в переводе значит: «Электричество тебе? А к стенке хочешь?»

Юбка. – Содранная с женщины. Служит для Внешторга главным предметом вывоза.

Я. – «Я обокраден Лениным, ты обворован Троцким, он убит Дзержинским, мы от них убежали, вы от них дали деру, они от них подрапали.

Ъ. (твердый знак). – При мягкости отношения советской власти к населению не нужен.

Ь. (мягкий знак). – Остается на теле после допросов в чека.

Ѣ. – Составная необходимая часть хлѣба. Пока его писали через ять – хлѣб был. Стали писать «хлеб» – и нет хлеба, а есть одуванчики, лопух и березовая кора, как известно, буквы «ять» не имеющие.

V. – Пока ее нет, но скоро пропишут.

F. – Фу, как я устал, сочиняя этот точный словарь советских слов!

Двенадцать портретов (В формате «Будуар»)

От автора

Эта книжка портретов – нечто среднее между портретной галереей предков и альбомом карточек антропометрического бюро при сыскном отделении.

Во всем том, что происходит в России, чрезвычайно большую роль сыграл Александр Керенский. Поэтому я и отвожу ему в своей портретной галерее целых три места.

Я не дал портретов Ленина и Троцкого, потому что эти два знаменитых человека и так уже всем навязли в зубах.

Вместо них я даю портреты их жен. Это – элегантнее и свежее.

Как я ни хитрил, а в заключение должен признаться, что из всей портретной галереи мне симпатичнее всего последний портрет – балтийского матроса, в лице Шкляренко и Бондаря…

Аркадий Аверченко

Мадам ЛеНина
Лошадь в сенате

Был в Риме такой человек по имени император Калигула, а по характеру большой чудак… Была у Калигулы лошадь, которую он до того любил, что однажды приказал Сенату выбрать ее в сенаторы.

Ну раз такой человек, как Калигула, приказывает – ослушаться неловко: обидится.

И выбрали лошадь в сенаторы.

И сидела она в Сенате.

* * *

Вся деятельность российских правителей заключается теперь в «затыкании за пояс» и «утирании носа». Заткнули за пояс Нерона. Заткнули за пояс Иоанна Грозного. Утерли нос испанской инквизиции. Утерли нос Варфоломеевской ночи.

* * *

А совсем недавно очень искусно утерли нос и заткнули за пояс и лошадь Калигулы.

Да и в самом деле, что такое лошадь Калигулы? Мальчишка и щенок! Сидела она смирно, положив передние ноги на стол, и если пользы никакой не приносила, то и особого вреда не делала.

В Советской России появилась новая лошадь Калигулы – мадам Ленина, жена правителя.

Да что одна лошадь Калигулы!

Перед мадам Лениной побледнеет целый табун римских лошадей.

Газеты эпически рассказывают, что сделала эта активная «лошадь, допущенная в Сенат».

Во время первомайских торжеств около пятисот детишек, предводительствуемых новой лошадью Калигулы, – все это, кроме лошади, оборванное, голодное, истощенное – отправились на прогулку в авиационный парк.

Раз все обыкновенные парки для прогулок вырублены – ясно: лошадь должна вести своих маленьких пленников в авиационный парк.

Когда будут разобраны на дрова все обыкновенные театры – Лошадь отведет свое маленькое умирающее войско в анатомический театр.

В парке погуляли, подышали бензиновым воздухом, потом Лошадь выстроила свою босоногую команду и спросила:

– Хотите ли вы, детки, конфект? – Только тихий стон пронесся по рядам. – Ну вот. Если хотите, то становитесь на коленки и просите у вашего бога конфект.

Бедные запуганные, затурканные дети опустились на колени и завопили в небо:

– Боженька, дай нам конфект!

Лошадь сделала пятиминутную паузу и потом, хитро усмехаясь, проржала:

– Вот видите – какой же это боженька, который не исполняет вашей просьбы… Это все один обман. А теперь станьте на колени и скажите: «Третий Интернационал, дай нам конфект!»

Петербургские детишки теперь такой народ, что если ты их заставишь просить конфект у бурой свиньи гоголевского Ивана Никифоровича – они и тут покорно станут на колени.

Опустились детки на колени и, простирая руки, завопили в небо:

– Третий Интернационал! Дай нам конфекток!

И что же? О чудо! Сейчас же неподалеку поднялся аэроплан, закружился над детишками и стал осыпать их плохими паточными леденцами. Дети боролись, возились и дрались на грязной земле, чтобы больше захватить драгоценного лакомства, а Лошадь из Сената стояла тут же и, довольная, радостно ржала.

А еще вот для Лошади хороший рецепт: взять голодного ребенка и с помощью хорошей розги выдрессировать для следующей штуки: положив на нос кусочек белой булки, сказать:

– Во имя божие – ешь!

Выдрессированный ребенок стоит, как каменный, и смотрит на вас собачьими глазами.

– Во имя справедливости и милосердия – ешь!

Стоит ребенок, как каменный.

– Во имя Третьего Интернационала – пиль!

Кусочек булки моментально взлетает и через секунду хрустит на голодных зубах.

Вот настоящая забава – даже не для самого Калигулы, а для его Лошади… Калигула просто зарежет ребенка, но не станет над ним измываться.

* * *

Интересно, когда Лошадь после праздника вернулась в свою роскошную конюшню, пришла ли ей хоть на секунду в убогую лошадиную голову такая мысль:

«Мы издеваемся над именем Божиим и топчем Его в грязь. А Он нас не наказывает – значит, Его нет».

И если она это подумала, то наружно в этот момент ничего не случилось, гром не загремел, молния не засверкала и потолок не расплющил Лошади.

Но где-то в беспредельной высоте и глубине взметнулся невидимый жесткий и сухой бич и хлестнул поперек всея России…

Земля потрескалась, злаки приникли к раскаленной почве, и двадцать миллионов народа – того народа, который допустил среди себя хулу и унижения бога, – поползли с родных мест неведомо куда, устилая трупами сухой проклятый путь свой…

Мадам Троцкая
Шапка Мономаха

Сегодня мадам Троцкая никого не принимает. У нее с утра мигрень, кислое настроение, и даже ее постоянные посетители, два Аякса – Клембовский и Гутор, просидевши в передней сорок минут – уехали, не повидав своей повелительницы.

Только когда доложили о приходе ее любимца – генерала Парского, мадам Троцкая немного оживилась и приказала просить.

– Ах, мой женераль, – протянула она, капризно выпятив губки, – у меня сегодня такое настроение, что впору самой к стенке стать.

– А что такое? – озабоченно спросил Парский, склонясь к протянутой ручке.

– Скучно. Мне чего-то хочется, а чего – и сама не знаю. Знаете что, генерал. Я хочу, чтобы вы устроили мне двор.

– А что? Опять грязь развели, канальи? Сегодня же прикажу вымести и убрать пустые ящики.

– Какой вы смешной, мой женераль. Я вам не о таком дворе говорю, который из окна виден, а о настоящем придворном дворе. У нас при дворе нет настоящего блеска, настоящего изящества, а Леве хоть кол на голове теши – никакого внимания. Я пробовала сама что-нибудь сделать – ничего не выходит.

– Да, это трудно, – призадумавшись, отвечал Парский.

– Еще бы. Вы знаете, я основала благотворительное общество Красного Креста и попросила назначить себя почетной председательницей и покровительницей – а что вышло? На первом же торжественном заседании секретарь общества стащил у меня соболий палантин и выменял на полпуда сахару.

– Неужели только полпуда дали? – оживился Парский.

– Ах, мой женераль, вы совсем не тем интересуетесь, чем надо. Полпуда или пуд – сэт эгаль[40]. Пришло мне позавчера в голову – иметь своего придворного поэта – помните, как Мольер был. Я и позвала Маяковского. Посидел полчаса, выпил полторы бутылки коньяку, набил все карманы печеньем, обкусал ногти, плюнул три раза на ковер и ушел, даже не попрощавшись. Неужели и Пушкин и Лермонтов были такие? Генерал, устройте мне двор!

– Понимаете, это очень сложная вещь. Нужно, чтобы было много блестящей молодежи… У вас есть родственники?

– Конечно, есть. И в Житомире есть, и в Елисаветграде. Один племянник Сеня – он на станции Одесса-Товарная с хлебом работал – на днях заявляется ко мне и просит: «Тетя, – говорит, – вы теперь совсем как королева – сделайте меня виконтом». «Сеня, – говорю я ему, – какой из тебя может быть виконт, когда ты каучуковые воротнички носишь и у тебя всегда под носом красно». «Тетя, – говорит, – когда буду виконтом, вместо линолевых воротничков надену жабо, а что касается красного, так вы же сами знаете, что у меня хронический насморк».

– Да, – задумчиво покачал головой Парский. – Этот, пожалуй, на роль петиметра не подойдет.

– Ну разве же это не обидно? Теперь, когда мой Левочка разговаривает с державами Согласия, заложив ногу на ногу, а руки в карманах – так для этого же нужен пышный блеск. А где он? Нужна придворная жизнь, а где она? Мадам Каменева советовала мне: «Фаничка, – говорит она, – Фаничка! Набери себе побольше фрейлин, и чтобы они присутствовали при твоем ложении и вставании». Это легко сказать – набери. А как я с ними должна обращаться – я и не знаю. Могу я послать ее сбегать в Предком за сотней папирос, или для этого паж должен

[40] Это все равно (*фр.*).

быть? Должна я с ними здороваться за ручку или они мне должны целовать ручку? Прямотаки целый ряд тяжелых неразрешимых вопросов. Генерал, устройте мне двор.

– А вы хотели бы, приблизительно, в стиле какой эпохи?

– Что бы вы сказали про наполеоновский? Пышный двор, все маршалы из солдат, Лева ходит одетый в лососиновые штаны, а у меня талия высоко-высоко, совсем под груди. Мадам Каменева говорила мне: «Фаничка, вам это замечательно пойдет».

– А может быть, вам больше улыбается Екатерининская эпоха? – тоном модного портного, предлагающего ходкий фасончик, сказал Парский.

– Это тоже ничего себе эпоха. Фижмы, парики, граф Зубов. И мне нравится, что Екатерина переписывалась с Дидро и Вольтером. Я тоже, знаете, попробовала написать Анатолю Франсу, да ответа не получила. Или марку забыла наклеить, или тогда почта была лучше, чем теперь. А Луначарский даже обещал, что Пролеткульт издаст мою переписку с Анатолем Франсом. Послушайте. А что вы скажете о дворе Людовиков?

– Хорошие были дворы, – похвалил Парский.

– И знаете, вы были бы моими тремя мушкетерами: вы, Гутор и Клембовский.

– А знаете, вы действительно напоминаете лицом Анну Австрийскую.

– Серьезно? Мерси. Ах, герцог Букотам, ах, бриллиантовые наконечники! А Дзержинский был бы кардиналом Ришелье… Да… Только ведь Людовики плохо кончили. Я не хотела бы для Левы такой карьеры.

– А не хотите Людовиков – возьмите эпоху Цезарей. Вот была красота, вот блеск! Устройте цирк на сто тысяч человек и скажите Дзержинскому, чтобы он, вместо своего дурацкого «к стенке», выпускал на саботажников диких зверей. Жестоко, но красиво.

– А где же Дзержинский диких зверей достанет? Гамбургский Гагенбек на товарообмен не пойдет.

– А в Зоологическом?

– Ну действительно. Все хищные давно передохли. Остались одни филины да павлины. Так если этих зверей выпустить на голодных буржуев, так не звери их съедят, а они зверей слопают. И потом эпоха Цезарей не для нашего климата…

– А кстати, о климате. Вы мне прошлый раз обещали дать записочку на два пуда дров.

– Да ведь вы в прошлом месяце уже получили.

– Не понимаю, чего вы жметесь, ваше королевское величество. Ваши предки раздавали придворным, поддерживавшим их престол, целые города, поместья и леса, а из вас дюжину поленьев нельзя вытянуть… Пишите записку!

– Ах, мой женераль! Недаром нам, правящим сферам, приходится часто восклицать: «Как тяжела ты, шапка Мономаха!» Довольно с вас будет и пудика.

Феликс Дзержинский
Кобра в траве

Знаменитый советский чекист и палач Феликс Дзержинский, по словам газет, очень любит детей. Он часто навещает детишек в одном из приютов, находящихся в его ведении, и всегда нянчится с малютками.

В детском приюте – ликование:

– Дядя приехал! Дядя Феликс приехал!!

– Тише, детки, не висните так на мне. Вишь, ты, пузырь, чуть кобуру не порвал. Здравствуйте, товарищ надзирательница. Ну как поживают мои сиротки?

– Как сиротки? Что вы, товарищ Дзержинский! У них у всех есть отцы и матери.

– Хе-хе. Были-с. Были да сплыли. Этого беленького как фамилия?

– Зайцев.

– Ага, помню. Это совсем свеженький сиротка. С позавчерашнего дня. Впрочем, папочка его держал себя молодцом. Не моргнул папочка. Как его зовут? Кажется, Володя? Володя! Хочешь ко мне на коленку? Покатаю, как на лошади. Вот так. Ну целуй дядю. А это что за дичок? Почему волчонком смотришь?

– Это Чубуковых сынишка. Все к маме просится.

– Это какие Чубуковы?.. Ах, помню! Она какие-то заговорщицкие письма хранила. Препикантная женщина! И с огоньком… Мой помощник хотел за ней во время допроса приволокнуться, так она, представьте, полураздетая – прыг в окно да вниз. Вдребезги! Передайте от меня сынишке шоколадку. Ну а ты, карапуз? Как твоя фамилия?

– Федя Салазкин.

– А, Салазкин! Твой папа, кажется, профессором?

– Н… не знаю. Его зовут Анатолий Львович.

– Во-во. В самую точку попал. Бойкий мальчуган и, кажется, единственный – не сиротка. Ты по воскресеньям-то дома бываешь?

– Бываю.

– А папа письма какие-нибудь получает?

– Получает.

– Что за прелестный ребенок! Так вот, Федя, когда папочка получит письмецо – ты его потихоньку в кармашек засунь, да мне его сюда и предоставь. А я уж тебе за это, как полагается: и тянучка, и яблоко, румяненькое такое, как твои щечки. Только мамочке не проболтайся насчет письмеца, ладно? Ну пойди попрыгай!.. А ты, девочка, чего плачешь?

– Папу жалко.

– Э-э… Это уже и не хорошо: плакать. Чего ж тебе папу жалко?

– Его в чека взяли.

– Экие нехорошие дяди. За что же его взяли?

– Будто он план сделал. А это и не он вовсе. К нам приходил такой офицерик, и он с папочкой…

– Постой, постой, пузырь. Какой офицерик? Ты садись ко мне на колени и расскажи толком. Как фамилия-то офицерика?..

– Какая у тебя красивая цепочка. А часики есть?

– Есть.

– Дай послушать, как тикают.

– Ну на. Ты слушай часики, а я тебя буду слушать.

– Постой, дядя Феликс! Ты знаешь, у тебя точно такие часы, как у папы. Даже вензель такой же… и буквочки. Послушай! Да это папины часы.

– Пребойкая девчонка – сразу узнала! Твой папочка мне подарил.

– Значит, он тебя любит?..

– Еще как! Руки целовал. Ну так кто же этот офицерик?

* * *

Уходя, дядя Феликс разнеженно говорил:

– Что за прелестные дети, эти сиротки! Только с ними и отдохнешь душой от житейской прозы…

Петерс
Человек, который убил

Есть такие классические фразы, которые будут живы и свежи и через 200, и через 500, и через 800 лет. Например:

– Побежденным народам нужно оставить только одни глаза, чтобы они могли плакать, – сказал Бисмарк.

– Государство – это я! – воскликнул Людовик XIV.

– Париж стоит мессы, – рассудил Генрих IV, меняя одно верование на другое.

Впрочем, этот король показал себя с самой выгодной стороны другим своим альтруистическим изречением:

– Я хотел бы в супе каждого из моих крестьян видеть курицу!

Мы не знаем, что хотели бы видеть в супе каждого из своих крестьян Ленин и Троцкий, но знаменитый глава чрезвычаек Петерс выразился на этот счет довольно ясно и точно, и изречение его мы считаем не менее замечательным, чем генриховское.

Именно, по сообщениям газет, когда к нему, как к главе города, явились представители ростовских-на-Дону трудящихся и заявили, что рабочие голодают, Петерс сказал:

– Это вы называете голодом?! Разве это голод, когда ваши ростовские помойные ямы битком набиты разными отбросами и остатками?! Вот в Москве, где помойные ямы совершенно пусты и чисты, будто вылизаны – вот там голод!

Итак, ростовские рабочие могут воскликнуть, как запорожские казаки:

– Есть еще порох в пороховницах! Есть еще полные помойные ямы – эти продовольственные склады Советской власти!

Почему-то фраза Петерса промелькнула в газетах совершенно незаметно: никто не остановил на ней пристального внимания.

Это несправедливо! Такие изречения не должны забываться…

Моя бы власть – да я бы всюду выпустил огромные афиши с этим изречением, высек бы его на мраморных плитах, впечатал бы его в виде отдельного листа во все детские учебники, мои глашатаи громко возвещали бы его на всех площадях и перекрестках:

– Пока в городе помойные ямы полны – почему рабочие говорят о голоде?..

* * *

Интересно, осматривал ли Г. Д. Уэллс во время своего пребывания в Москве – в числе прочих чудес советской власти – также и помойные ямы?

Если осматривал, то, наверное, пришел в восхищение:

– Вот это санитария! Вот это чистота! Да на дне этой помойной ямы можно фокстрот танцевать, будто на паркете.

– А у нас, в Англии, в помойных ямах делается черт знает что: огрызки хлеба, куски рыбы, окурки сигар, птичьи потроха, высохшие сандвичи, корки сыру! Нет, советская власть имеет большое, великое будущее, если даже в грязной, неряшливой Москве она ввела такую идеальную чистоту!

* * *

Интересно мне также, как тов. Петерс будет организовывать продовольственную помощь из помойных ям? Выдачу пайками? Но ведь пайки бывают трех или четырех категорий.

Очевидно, в первую голову будут допущены к пышному фрыштику[41] рабочие-коммунисты – первая категория. Когда они снимут самые сливки – селедочные головки и колбасную кожуру, – робко подойдет вторая категория, просто рабочие. Выберут картофельную шелуху и мостолыгу лошадиной ноги, а все остальное пусть доедает третья категория – буржуи и саботажники.

* * *

Если бы я был не писателем, а тюремщиком, и если бы Петерс попал ко мне в тюрьму, я устроил бы ему роскошную жизнь! Я кормил бы его до отвалу. Я бы каждый день закатывал ему обеды из семи блюд, со сладким.

Он бы у меня не голодал, ибо он сам замечательно выразился:

– Пока существуют помойные ямы – голода не может быть!

Меню бы у Петерса было такое:

Закуска:

Икра из ваксы, жестянка от анчоусов, яичная скорлупа, фаршированная зубочистками обернуар.

Суп:

Консоме из мыльной воды а-ля Савон с окурками, пирожки из папиросных коробок с пепельным фаршем…

Рыба:

Селедочный позвоночный столб с грибками, которые на стенках.

Мясо:

Фрикассе Ра-Мор, жаренное на шкаре в мышеловке.

Зелень:

Все, что уже позеленело. Приготовлено а-ля масседуан.

Птица:

Перо от старой дамской шляпы, соус сюпрем.

Сладкое:

Шоколадные обертки, яблочная кожура, кофейная гуща.

* * *

Я не думаю, чтобы Петерс имел право отказаться от такого обеда.

Потому что, если даже такие великие люди, как Наполеон, Суворов и Петр Великий, честно ели пищу из общего котла, то какое имеют право отказаться от общего котла наши циммервальдские Наполеоны, устроившие из всей Великой России один общий котел:

Помойную яму.

Максим Горький
Хлеб в выгребной яме

У Максима Горького есть один рассказ, который заканчивается так:

– Море смеялось.

[41] Завтраку (*искаж. нем.* frühstuck).

Ах, многоуважаемый, талантливый Алексей Максимыч! Что там море! Недавно вы сделали нечто такое, от чего не только море – сухая потрескавшаяся русская земля могла рассмеяться до истерики, деревья в лесу, нагибаясь к земле и держась ветками за ствол, скрипели от душившего их смеха, мелкие рыбешки в реке вздулись, полопались и поиздыхали от хохота…

Ах, как вы можете рассмешить, Алексей Максимыч!..

Если рассказать вульгарной прозой то, что сделал знаменитый пролетарский «буревестник», так вот как оно звучит:

Без малого четыре года буревестник, «ломая крылья, теряя перья» от усердия, – без малого четыре года славословил буревестник советскую власть.

Державинские хвалебные оды казались щенками перед тем огромным распухшим слоном, коего создал Максим Горький, написав ликующую, восторженную оду Ленину…

В той компании привычных каторжников и перманентных убийц, которые правят Россией, Максим Горький был своим, хорошо принятым человечком:

И в почетному углу
Было место ему…

Правда, он был только зрителем этого нескончаемого театра грабежей и убийств, но сидел он всегда в первом ряду по почетному билету и при всяком курбете лицедеев – он первый восторженно хлопал в ладошки и оглашал спертый «чрезвычайный» воздух мягким пролетарским баском:

– Браво, браво! Оч-чень мило. Я всей душой с вами, товарищи!

Он милостиво и снисходительно улыбался, когда его пылкие друзья половину интеллигенции, людей искусства и науки выгнали за границу, четверть – оптом поставили к стенке, а оставшуюся четверть, как кроликов, приготовленных для вивисекции, заперли в душные вонючие клетки, приставили к ним сторожем и «хранителем этого кроличьего музея» бывшего директора кафешантана Адольфа Родэ – все это Горький глотал даже не как горькую пилюлю, а подобно – да простят мне это сравнение – подобно той Коробочкиной свинье в «Мертвых душах», которая мимоходом съела цыпленка и сама этого не заметила.

И вот, когда несчастные ученые кролики, доведенные до этого положения на одну десятую, сотую, тысячную тем же Горьким, стали умирать от бескормицы, Горький растрогался, сердце его умягчилось и пошел он к финнам:

– Вот что, братцы… Там у нас в питомнике ученые содержатся, так того-этого… Мрут шибко! Не будет ли способия какого? Пожевать бы им чего, или из бельишка старенького, или там сапожишек. Подайте, Христа ради, знаменитым русским ученым и писателям!..

Растрогались сумрачные финны.

– Извольте, – говорят. – Мы вам дадим кой-чего для ученых, но так как все ваше начальство – воры и могут украсть для себя, то мы все собранное повезем сами.

Привезли в Дом ученых и писателей и стали делить:

– Александр Пушкин! Вам полусапожки и две банки сгущенного молока! Иван Тургенев! Получайте исподнее, фунтик сахару и четверку чаю. Выпейте за здоровье богатой и могучей Финляндии! Менделеев! Свиного сала фунт, банка какао и пиджачная тройка – совсем почти еще крепенькая!

Получили Пушкины, Лермонтовы, Менделеевы и Пироговы по сверточку, как дворницкие дети на богатой елке, и, сияющие от счастья, снова расползлись по своим клеткам.

Зашел потом Горький – тоже сияющий, – собрал всю обшарпанную компанию Гоголей, Островских и Лесгафтов и гаркнул:

– Ну что, ребята! Довольны тем, что я вам схлопотал?

– Много довольны, ваше пролетарское величество! – гаркнули в ответ полумертвые от голода ребята, прижимая к груди драгоценные сверточки.

– То-то и оно. Вы уж старайтесь, а я вас не забуду. Молочка там или фуфайку какую из сосновой шерсти – завсегда устрою.

– Благодарим покорнейше.

– А впрочем, что мне из вашей благодарности – шубу шить, что ли? Вы бы мне такой аттестатик выдали, адресок, где отписали бы, что так, мол, и так, чувствительно благодарны и не забудем по гроб жизни. А я его в рамочку да на стенку – пусть себе висит; вам написать – раз плюнуть, а мне приятно!

И вот тогда-то и появилась эта потрясающая «благодарность Максиму Горькому от имени писателей и ученых».

Писали, очевидно, голодные ученые эту благодарность, глотали соленые слезы, а сами думали:

«Черт с ним, напишем пожалостнее!.. Все-таки с Лениным за ручку здоровается и с Троцким на «ты». Поблагодарим, а он, может, опять по полфунтика колбасы выдаст да по связке баранок – оно, глядишь, дня три еще протянуть и можно…»

Голод – не тетка. Написали очень хлестко.

– Зарубежная эмигрантская Русь неправильно оценивает благородную работу Горького. Мы стоим ближе к делу и свидетельствуем…

Бедные вы, бедные… Свидетельствуете! А свободно ли вы свидетельствуете, знаменитые ученые кролики, запертые в вонючую клетку на предмет вивисекции?

И когда писали вы – не звучала ли в ваших ушах знаменитая фраза Сквозника-Дмухановского:

– А если приедет ревизор, да будет спрашивать – всем ли довольны, то чтоб отвечали «всем довольны»… А то я другому недовольному такое неудовольствие покажу, что…

Море смеялось…

Море смеется, Горький смеется, у Ленина, по свидетельству того же Горького, «мелодичный детский смех» – а нам всем отсюда, издали – плакать хочется…

Федор Шаляпин
Хамелеон

Некто переводил и объяснял слово «хамелеон» так: «Хамелеон – это хам, желающий получить миллион». Не совсем грамотно. Но, в общем, верно.

* * *

Одесские газеты сообщали:

«Во время исполнения в Мариинском театре оперы «Евгений Онегин» Ф. Шаляпин, певший Гремина, сорвал с себя офицерские погоны и бросил их в оркестр – в знак протеста против наступления белогвардейцев на Петербург».

* * *

Вот маленькая история, которая заставила меня призадуматься.

Ибо, как сказал Шекспир, «в этом безумии есть нечто методическое».

До сих пор все такие зигзаги Шаляпина объясняли просто его повышенной артистической нервностью, влиянием момента, грандиозным подъемом и невероятным напряжением

нервов на одну минуту. «Сделал, мол, но сделал, как в бреду, сам еще за пять минут до этого не зная, что сделает»…

Так было объяснено неожиданное пение Ф. Шаляпиным революционной «Дубинушки» в 1905 году.

Так было объяснено неожиданное коленопреклонение на сцене Мариинского театра перед государем в 1909 году.

Так будет, вероятно, объяснено и срывание погон со своего офицерского мундира.

Нет, позвольте! Случай с погонами – и именно случай с погонами – наводит на самые категорические подозрения: не были ли все три поступка поступками, строго обдуманными и заранее тщательно выношенными, не были ли все три поступка «экспромтами, приготовленными за неделю»?..

Вот мои соображения.

Многие, вероятно, знают, что когда происходит тяжелая процедура разжалования офицера, то ее казовую, самую эффектную сторону подготовляют заранее: где-нибудь в уголку подпарывают погоны и подпиливают посредине шпагу…

Понятно, для чего это делается: карающая власть, прочтя приговор, должна быстро и эффектно сорвать с виновного погоны и бросить их на пол; должна вынуть из ножен шпагу и, ударив ею слегка о колено, далеко отбросить обе половинки в разные стороны…

Предварительные приготовления делаются именно для того, чтобы не было смешного циркового, фарсового трюка, когда уцепился человек за крепко пришитые погоны – тянет-потянет – оторвать не может. Нельзя же таскать за собою человека за погон, минут пять пыхтя и надсаживаясь, нельзя же возиться со шпагой десять минут, обливаясь потом, колотя ею о распухшее от усилий колено, наступая на нее ногой и приглашая для завершения усилий двух помощников из публики.

Шаляпин слишком хороший, учитывающий все эффекты, все театральные условности, все красивые места, актер: Шаляпин очень хорошо знает, что театральный портной, создавая мундир, создает его на десятки лет, и поэтому все части пригнаны очень крепко; портной, в свою очередь знает, что мундиру князя Гремина никогда не будет предстоять операция срывания погон; поэтому погоны пришиты на десятки лет, на совесть!

И поэтому я утверждаю, что эффектная операция срывания Шаляпиным погон не была экспромтна, не была следствием бурно налетевшего экстра-переживания…

Шаляпин никогда бы себе не позволил на сцене некрасивого пыхтения и возни с неподатливыми погонами.

Нет! В этом безумии было что-то методическое.

– Гаврила! – сказал за день до спектакля знаменитый бас своему портному. – Гаврила! Подпори на мне погоны в мундире Гремина!..

– Да зачем это вам, Федор Иваныч?

– Не твое дело, братец! Тут, брат, высокая политика, а ты – гнида! Сделай так, чтоб на честном слове держались.

* * *

Но тогда – позвольте! Тогда и экспромтная история с «Дубинушкой» подмочена; тогда и казус с коленопреклонением очень мне подозрителен: да точно ли это бурные, неожиданные, сразу налетевшие шквалы?!

Не было ли так:

1905 год. Кабинет жандармского полковника…

Курьер докладывает:

– Господин Шаляпин хотят видеть!

– А-а… Проси, проси!.. Какому счастливому событию обязан удовольствием видеть вас, Федор Иваныч?

– Да так… зашел просто поболтать, – сочным басом отвечает знаменитый певец. – Ну что, революцией все занимаетесь, крамолу ловите, хе-хе-хе?

– Да, хе-хе-хе! Приходится.

– Дело хорошее. Небось, все молодежь, все горячие головы?..

– Да… большей частью.

– Небось, все «Дубинушку» поют?

– Бывает.

– Что ж вы им за эту «Дубинушку»? Небось, в каталажку?

– Ну что вы! «Дубинушка» – дело у нас невинное… Ну сделаешь замечание, ну поставишь на вид…

– Только-то? Ну я пойду. Не буду мешать.

И в тот же день Шаляпин бодро, грозно, эффектно, с большим революционным подъемом спел «Дубинушку».

А окружающие объясняли: такая минута подошла, когда даже камни вопиют.

* * *

А в лето 1909 года позвал однажды Шаляпин своего портного, вероятно, того же самого Гаврилу, и сказал ему:

– Завтра к спектаклю нашей мне на коленки штанов, которые будут на мне, нашей изнутри по ватной подушечке. Так, чтобы на самые колени приходилось!..

– Да ведь некрасиво, Федор Иванович… Выпучиваться будет.

– А ты не рассуждай. Политика, брат, дело высокое, а ты – кто? Смерд. Илот.

* * *

Такое мое мнение, что, когда Юденич войдет в Петроград, в первом ряду восторженного населения будет стоять Шаляпин и, сверкая чудесными очами, запоет сочным басом «Трехцветный флаг» Мирона Якобсона.

– Вот тебе и Шаляпин, – благоговейно скажут в толпе. – Не выдержало русское сердце – запел экспромтом что-то очень хорошее!

А экспромт этот был задуман в тот самый день, когда Гаврила погоны подпарывал: Гаврила погоны подпарывал, а Исайка в этот самый момент по поручению своего патрона тихо пробирался через границу в зону расположения Добровольческой армии – за свеженьким экземпляром «Трехцветного флага».

* * *

Ах, широка, до чрезвычайности широка и разнообразна русская душа!

Многое может вместить в себя эта широкая русская душа…

И напоминает она мне знаменитую «плюшкинскую кучу». У Гоголя.

Помните? «Что именно находилось в кучке – решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки; заметнее прочего высовывались оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога»…

Так и тут: все свалено в самом причудливом соприкосновении: царская жалованная табакерка с вензелем и короной, красная тряпка залитого кровью загрязненного флага, грамота на звание «солиста его величества», ноты «Интернационала» – и тут же заметно высовывается краешек якобсоновского «Трехцветного флага».

Мала куча – крыши нету!

Керенский
(*Первый портрет*)
Человек со спокойной совестью

Существует прекрасное русское выражение:

– Со стыда готов сквозь землю провалиться.

Так вот: я знаю господина, который должен был бы беспрерывно, перманентно проваливаться со стыда сквозь землю.

Скажем так: встретил этот господин знакомого, взглянул ему знакомый в глаза – и моментально провалился мой господин сквозь землю… Пронизал своей особой весь земной шар, вылетел на поверхность там где-нибудь, у антиподов, посмотрел ему встречный антипод в глаза – снова провалился сквозь землю мой господин и, таким образом, будь у моего господина хоть какой-нибудь стыд – он бы должен всю свою жизнь проваливаться, пронизывая собою вещество земного шара по всем направлениям…

Но нет стыда у моего господина, и никуда он ни разу не провалился; вместо этого пишет пышные статьи, иногда говорит пышные речи, живет себе на земной коре, как ни в чем не бывало, и со взглядами встречных перекрещивает свои взгляды, будто его хата совершенно с краю.

А ведь вдуматься – черт его знает, что взваливает жизнь на плечи этого человека:

Умер поэт Блок – он виноват.

Расстреляли чекисты 61 человека – ученых и писателей – он виноват.

Умерли от голода 2 миллиона русских взрослых и миллион детей – он виноват в такой мере, как если бы сам передушил всех и каждого своими руками.

Миллионы русских беженцев пухнут от голода, страдают от лишений, от унижений – он, он, он – все это сделал он.

Господи боже ты мой! Да доведись на меня такая огромная, нечеловеческая страшная ответственность, я отправился бы в знаменитый Уоллостонский парк, выбрал бы самое высокое в мире дерево, самую длинную в свете веревку, – да и повесился бы на самой верхушке, чтоб весь мир видел, как я страдаю от мук собственной совести.

А мой господин, как говорят хохлы: и байдуже!

Наверное, в тот момент, как я пишу, сидит где-нибудь в ресторанчике «Золотой Праги», кушает куриную котлетку с гарниром и, запивая ее темным, пенистым пражским пивом, не моргнув глазом, читает известия из России:

– До сих пор голод унес до трех миллионов русских. К декабрю должны умереть около десяти миллионов, а к марту, если не будет помощи извне – перемрет вся Россия. («Общее Дело». Письмо из Петербурга.)

Котлетку кушаете?

Приятного вам аппетита, Александр Федорыч! Неужели не подавитесь вашей котлеткой?

Счастливый народ – эти люди без стыда, без совести… Невинностью дышит открытое лицо, ясные глазки простодушно поглядывают на окружающих, и весь вид так и говорит:

– А что ж я? Я ничего. Вел я себя превосходно, был и главнокомандующим, и митрополитом, и если мне еще не поставили в России памятника, то это только потому, что нет пророка в отечестве своем…

Пока вы безмятежно кушаете котлетку, Александр Федорыч, позвольте мне ознакомить вас с вашим формуляром, и если хоть один прожеванный кусок застрянет в вашем горле, значит – есть еще бог в небе и совесть на земле…

* * *

Знаете ли вы, с какого момента Россия пошла к погибели? С того самого, когда вы, глава России, приехали в министерство и подали курьеру руку.

Ах, как это глупо было и, – будь вы другой человек – как бы вам должно быть сейчас мучительно стыдно! Вы тогда думали, что курьер такой же человек, как вы. Совершенно верно: такой же. И глаза на месте, и кровообращение правильное. Но руки ему подавать не следовало, потому что дальше произошло вот что: в первый день вы ему, курьеру, протянули руку, во второй день уже он с вами поздоровался первый (дескать, свой человек, чего с ним стесняться), а на третий день, когда вы сидели в кабинете за министерским столом, он без зова вошел вперевалку, уселся на край стола и, закурив цигарку, хлопнул вас по плечу:

– Ну, Сашка-канашка, что новенького?

Еще и тогда был неупущенный момент: дать ему по шее, сбросить со стола и крикнуть:

– Ты забываешься, каналья! П-шел вон! – Вы этого не сделали; наверное, хихикнули, прикурили от его папироски и ответили: – Да вот помаленьку спасаю Россию.

Ах, как стыдно! Ну на кой черт вы полезли со своим рукопожатием к курьеру? Разве он оценил? Взобрался вам же на шею, гикнул и погнал вас вскачь не туда, куда бы вам хотелось, а туда, где ему удобнее.

Не спорю, может быть, персонально этот курьер – обворожительно светский человек, но вы ведь не ему одному протянули руку для пожатия, а всей наглой, хамской части России.

Вскочил на вас хам, оседлал, как доброго скакуна, и погнал прямо на границу – встречать Ленина и Троцкого.

Не скажете ли вы, что в прибытии Ленина и Троцкого виноваты немцы? Голубчик вы мой! Да ведь они воевали с нами. Это было одно из средств войны. Так же они могли бы прислать и поезд с динамитом, с баллонами удушливого газа или с сотней бешеных собак.

А вы этих бешеных собак приняли с полковой музыкой и стали охранять так заботливо, как любящая нянька – шаловливых детей.

Ну что я могу сказать немцам? Скажу: зачем вы прислали нам такую ошеломляющую дрянь?

А они мне ответят:

– Вольно же вам, дуракам, было принимать. Мы бы на вашем месте тут же на границе их и перевешали, вроде как бывает атака удушливых газов и контратака.

А вы? Обрадовались! Товарищи, мол, приехали! «Здравствуйте, я – ваша тетя! Говорите и делайте, что хотите, у нас свобода».

И еще один момент был упущен, помните, тогда, у Кшесинской? Одна рота верных солдат – и от всей этой сволочи и запаху бы не осталось. И никто не роптал бы – так бы и присохло.

А вы вместо этого стали гонять вашего министра Переверзева на поиски новой квартиры для Ленина и Троцкого.

Александр Федорович! Какая у вас завидная натура… Ведь одно это так стыдно, будто вас всепарадно на столичной площади высекли. А вы теперь, вместо Уоллостонского парка, котлетку кушаете, как гоголевский высеченный поручик когда-то ел пирожок.

Много есть людей, у которых ужасное прошлое, но ни одного я не знаю, у кого бы было такое стыдное прошлое, как у вас. Еще, я понимаю, если бы вы за это деньги получили, но ведь бесплатно!

У вас в руках был такой козырь, как восстание, когда озверевшая толпа (я сам видел) разрывала большевиков на части – как вы ликвидировали это настроение? Вы, глава государства, запретили печатать документы, уличающие Ленина и Троцкого в получении от немцев денег! Троцкий сидит в тюрьме – вы его выпустили, Корнилов хотел спасти Россию – вы его погубили. Клялись умереть с демократией – удрали на автомобиле.

«Волю России» издаете? Куриные котлетки кушаете?

С таким-то прошлым?

Да ведь только два пути и существует: или самое высокое дерево Уоллостонского парка, или монашеский клобук, вериги и полная перемена имени и фамилии, чтобы в маленьком монастырьке не пахло и духом того человека, который так тщательно, заботливо и аккуратно погубил одну шестую часть земной суши, сгноил с голоду полтораста миллионов хорошего народу, того самого, который в марте 1917 года выдал вам авансом огромные, прекрасные векселя.

Ловко вы обошлись с этими векселями!..

Ну прощайте. Приятного вам аппетита!

Керенский
(*Второй портрет*)
Добрый товарищ

Однажды мне снился сон… А, впрочем, к чему там жеманничать: никакого сна мне не снилось. Все было наяву, а на сон писатели обыкновенно сваливают потому, что это считается щегольским литературным приемом.

Дешевый прием, по-моему.

Итак, наяву произошло вот что:

* * *

Александр Керенский сел в вагон поезда, идущего из Парижа, намереваясь проехать всего четыре станции, и заговорился – проехал гораздо дальше.

Собственно, заговаривался он и прежде, но не с такими ужасными для него последствиями, как на этот раз.

А именно: когда он заканчивал перед столпившимися любопытными пассажирами свою одиннадцатую речь о величии будущей России, поезд вдруг остановился, и в вагон ввалилась толпа пограничников…

Ошибиться было невозможно: все они были увешаны ружьями, револьверами, на груди у всех красовались красные звезды, а на звездах было написано черным по красному: «Р. С. Ф. С. Р.»…

Керенский даже икнул от неожиданности и зашатался от ужаса.

«Господи! – подумал он. – Ныне отпущаеши раба твоего… Отречемся от старого мира… Крестьянин ахнуть не успел, как на него медведь насел… Мелькнула шашка – раз и два – и покатилась голова…»

– Товарищи! – проревел чей-то радостный голос. – Никак сам Керенский?! Важного карася поймали! Волоки его к самому к Троцкому – он за его, может, тыщу пайков отсыпет на рыло!

Повели.

* * *

Сколько времени прошло и как и по каким дорогам его вели – Керенский даже долгое время спустя не мог вспомнить.

Очнулся впервые он только тогда, когда охрана, топоча ногами, ввела его в приемную и сказала:

– Подожди тута. Сичас, брат, сам Троцкий выйдет.

– «Сам Троцкий»… – вздохнул Керенский. – Интересно, как он будет мучить меня?.. Наверное, папиросками будет жечь тело и запускать под ногти деревянные лучинки… А то и просто застрелит, как собаку.

Дверь из кабинета быстро распахнулась. Керенский покосился одним глазом и увидел в одной руке Троцкого револьвер, в другой – широкий нож.

«Начнем, пожалуй», – вспомнились ему слова Ленского перед смертельной дуэлью.

Но, приглядевшись, он заметил, что не револьвер был в руке Троцкого, а портсигар, и не широкий нож в другой руке, а самого симпатичного вида безобидная коньячная бутылка.

«Сейчас ахнет бутылкой по голове», – подумал страдалец.

– Господи! Кого я вижу! Саша, голубчик!! Какими судьбами?.. Пойдем ко мне в кабинет. Вот-то нечаянная радость! А мне как раз нынче всю ночь красный попугай снился! К чему бы это, думаю. Все клювиком меня за ухом щекотал. Ну, брат, разодолжил. Рад, очень рад тебя видеть. Как живешь? Папироску можно? Сигарку? А то, может, коньячку рюмочку трахнешь с дороги? Как дела? Да ты садись, чудак, – чего стоишь? А мы тебя, брат Саша, часто с Володей и Анатолием вспоминаем! Да-а… Хорошие времена были. Помнишь, как мы с Володькой с балкона Кшесинской мантифолии разводили… Подумать только – на четыре года моложе были. А помнишь, как ты – ах-ха– ха! – гонял министра Переверзева для анархистов помещение подыскивать? Да, брат Саша, много воды утекло.

«А он, однако же, не гордый, – совсем успокоившись, подумал Керенский словами гоголевского героя. – Обо всем расспрашивает».

– Кстати, Саша! А я перед тобой в долгу.

– А что такое?

– Да за газету-то, что вы в Праге с Зензиновым выпускали… здорово поддержали, шельмецы.

Троцкий подошел к огромному железному шкафу, звякнул около него ключами и, обернувшись, спросил:

– Сколько?

– Чего сколько?

– Сколько я тебе за газетку должен?..

– Что ты, – смутился Керенский. – Мы… совершенно бесплатно.

– Да что ты?! Прямо первый раз слышу. А с нас, брат, всякий тянет, кому не лень. И «Дэйли-Геральд», и «Юманите», и всякая там рвань. Ну спасибо. Поддержал. Да у тебя чего вид такой нездоровый? Устал?

– Да с дороги, знаешь… Кхм!

– Ты береги здоровье, Саша. Оно пригодится. Хочешь, мы тебе профессора пришлем?.. Да! А ведь я тебя забыл, шельмеца, за самое главное поблагодарить!

– А что такое?

– Да за Врангеля. Если бы не твоя заграничная работишка – едва ли бы мы с ним справились. Ловко ты его угробил.

Троцкий снова подошел к тяжелому шкафу, снова мелодично звякнул ключами и обернулся:

– Сколько?

– Чего сколько?

– Да за Врангеля. Мы, брат, в долгу никогда не остаемся – всякий труд должен оплачиваться.

– Помилуй, – смутился снова Керенский. – Да я совершенно бесплатно.

– Черт вас знает, что вы за народ, – засмеялся Троцкий. – Не от мира сего. Я понимаю, если уж продавать что-нибудь – так гони за это монету, а продавать и ничего не получать – на это способны только круглые идио… идеологи! Гм… да. Вот мы тогда с Володей маханули у этого немчуры пятьдесят миллиончиков чистоганом, глазом не моргнул, каналья, – дал!

– А вы моргали? – пошутил Керенский.

– За нас, брат, другие наморгались достаточно. Да-а… Ну а мы, брат, так вот и живем, хлеб жуем. Воюем вот все. Кстати! А ведь я тебя за главное забыл поблагодарить – совсем из ума вон. Прямо, брат, ты золотой человек у нас, на руках тебя, канашку, носить бы надо!!

– За что?

– А за резолюцию об интервенции. То есть так кстати, так кстати…

И снова около кассы послышался мелодичный звон ключей:

– Сколько?

– Лева, ты меня обижаешь…

– Ну не буду, не буду. Надеюсь, ты поживешь у нас, погостишь, осмотришься?

«Это, однако же, хорошо, – подумал Керенский, – оставят они меня у себя, а я возьму и покажусь населению. Сейчас же меня подхватят на руки, устроят восстание, свергнут советы, народ выберет меня…»

– Право, поживи. Ты не бойся, мы тебе охрану дадим – сотню красных башкир…

– От кого охрану? – удивился Керенский.

– Как от кого? От населения. Я ведь ихнее настроение знаю: увидят тебя – в клочья! И пуговицы потом не отыщешь.

– Нет, лучше я назад, за границу поеду, – печально сказал Керенский.

– И то поезжай. Там ты гораздо больше пользы принесешь, чем здесь. А знаешь, что мы сделаем? Мы тебя за границу в пломбированном вагоне отошлем. Ха-ха-ха! Вот будет штука! Они тогда нас, а мы им теперь тебя. Работай, голубчик, работай, не покладая рук!! А если там понадобятся деньжата или что…

– Лева, ты меня оскорбляешь. Я разве из-за денег? Я единственно из-за чистоты партийной программы…

– Впрочем, нам один черт – из-за денег ли, из-за чистоты ли… Еще дешевле! Ну, всех тебе благ! Зензинова от меня чмокни в щечку, Лебедеву кланяйся… Эй, кто там есть! Вагон товарищу Керенскому! Да запломбируйте его покрепче, чтобы по дороге никакая дрянь его не обидела… да ковров ему положите, чтобы помягче было, да чтоб тепло ему было – угля побольше, угля-то! Ну, трогай! Эх вы, залетные!

Керенский
(*Третий портрет*)
Ряд волшебных изменений милого лица…

Однажды Александр Керенский сидел среди блестящего заграничного общества и блестяще говорил:

– Большевизм – это свирепый чугунный колосс на глиняных ногах! Подрубите ему ноги – и он рухнет. Мы, старые революционеры…

Мрачный чернобородый нахмуренный человек вдруг завозился в кресле и быстро перебил:

– Чего, чего?..

– Я говорю, что большевизм – это чугунный колосс на глинян…

– Нет, не это! А чего вы сказали: старый – чего?

– Я говорю, что я, как старый революционер…

– Это вы-то?

– Ну да, я, а то кто же?

– Послушайте… – вдруг совсем тихо, пониженным голосом и очень задушевно заговорил чернобородый. – Ну какой вы революционер? Как за копейку постоять. Разве такие революционеры бывают? Большевизм уже четвертый год, как сел на шею России – а как вы с ним боролись? Палец о палец не ударили! Только и делали, что под ногами путались – сначала у Корнилова, потом у Деникина, у Колчака, а в конце концов – у Врангеля… «Мы, старые революционеры». Эх, вы! Молчали бы лучше!

– Однако, послушайте…

– Да чего там слушать! Четыре года слушаем вас, а говорите вы и пишете так, будто чешется у меня правая нога, а вы скребете левую.

– Слушайте, я не советовал бы со мной таким тоном…

– Действительно, стану я с вами тон подбирать! Цаца какая! «Старый революционер!» Нет, брат, если ты старый революционер – так не болтайся здесь, за границей, не путайся между ногами у занятых людей, а поезжай в Россию и устраивай там революцию… А то отсюда-то, брат, легко кукиши всем сучить…

Чернобородый был тверд, резок, даже груб, но говорил он таким тоном, что нужно было или трахнуть его кулаком по темени, или покрыть еще более твердым тоном, чем тот, которым говорил он.

Керенский выбрал второе:

– И поеду!

– Куда?

– А в Россию.

– Ой, заливаешь?

– Виноват, я вас не понимаю…

– Да чего там понимать. Я тебе, Саш, скажу так… (Чернобородый перешел определенно на «ты», и голос его потемнел, сделался нежным.) Я тебе, Саша, скажу вот что: ежели ты да действительно поедешь в Россию – первым ты для меня человеком будешь!

– И поеду. А ты что думаешь? Мои рабочие, чай, заждались меня! Вот-то кому заварю. Я понимаю, что им действительно настоящий вождь нужен; а без вождя они что? Поеду! Так что-то. И когда я приеду, большевики у меня ко всем чертям полетят! Вот уж теперь я церемониться не буду… Не-ет, брат! Сам-с-усам.

– Вот это по-нашему! Люблю парня за ухватку. А я, брат, с тобой вместе поеду. Со мной не пропадешь. Когда едем? Завтра?

– Ну уж ты тоже скажешь – завтра… Вот бороду отпущу – и поедем.

– И верно. Отпусти ее, Сашенька, бог с ней. Так едем, Саша? Ай, молодца!

Расцеловались.

* * *

Керенский сидел дома и никого не принимал:

– Дома барин?

– Так точно, дома. Только они заняты.

– Чем?

– А бороду отпускают.

– Послушай, голубчик, какое же это занятие – отпускать бороду? Ведь он может со мной говорить, а борода все равно в это время будет отпускаться.

– Все вы так говорите. Не приказано принимать – значит, не приказано.

* * *

Пароход вез Керенского и его нового чернобородого друга из Константинополя в Севастополь.

Оба – Керенский и Чернобородый – стояли, опершись о борт, и разговаривали.

Разговор был несколько односторонний, так как говорил только Керенский:

– Большевизм нужно раздавить одним могучим ударом. Когда я подниму своих рабочих и вообще весь сознательный пролетариат, они должны сразу накинуться на эту зловонную стоголовую гадину и сразу отсечь все сто голов. Только один натиск – но быстрый, как молния. И все эти воры и насильники треснут, как пустой орех.

– Гм… да, – согласился Чернобородый. – А вот и Севастополь виден.

– Уже?! Скоро. Интересно, удастся нам проскочить с фальшивыми паспортами или, не дай бог, задержат? Собственно, я того мнения, что большевизм в своем чистом виде штука не плохая, и если бы его так не исказили люди, присосавшиеся…

– Какая красивая бухта, – перебил Чернобородый.

– Что бухта! Вы возьмите, какая красота некоторые тезисы учения Карла Маркса… Я понимаю, почему коммунисты считают Маркса своим Евангелием.

– Сторонись! Сходни ставят.

– Ах, уже сходни… Какое быстрое это морское дело. Я теперь понимаю, почему матросы так много сделали для Великой Русской Революции… Вообще, если буржуазия и раздавлена, то только благодаря мощной поддерж…

– Ну разговорились не вовремя! Тащите чемодан!

– Уже? Ах, какой красивый город! И какой порядок, чистота. Вот, думаю, при Врангеле тут безобразие было… Вообще, эта контрреволюция…

* * *

Ехали на север поездом.

– Какая станция? – спросил Керенский дремлющего Чернобородого.

– Мелитополь.

– Уже? Как скоро. Третий день всего едем – и уже Мелитополь. А раньше какое безобразие – чуть не 15 часов нужно было тащиться. Нет, что касается порядка и системы, то в большевизме есть хорошие семена. Конечно, я террора не одобряю… и удушение печати не одобряю… А что рабочие стали хорошо работать – это нужно коммунистам отдать должное.

* * *

Ехали, ехали.

– Какая станция?

– Харьков.

– Уже? Да ведь только двадцать первый день едем. Мальчик, какая у тебя газета? Коммунистическая? То-то. А если бы была белогвардейская, я б тебе штанишки спустил и по спине похлопал – таково больно: не торгуй белогвардейщиной! Конечно, я террора не одобряю, но с печатью, по-моему, поступлено правильно. Действительно: если меня же, правителя в моей

же стране, ругают – неужто я буду молчать? Нет, товарищи, нужно войти в положение Ленина и Троцкого!!! Им тоже не сладко бремя власти. Для народа только и взвалили себе на плечи.

– Тула!

– Тьфу ты, черт! Это не товаро-пассажирский, а какой-то поезд-молния, прости господи! Второй месяц всего едем, и уже Тула. А почему так быстро? Потому что рабочий народ в страхе божьем держат. Некоторые говорят: «Террор, террор!» А что такое террор – и сами не знают. Террор, да ежели с толком применять – так это первая штука. Я не спорю, без толку не нужно… Меня, например, скажем – за что трогать? Никому я зла не делаю, советскую власть уважаю, давеча даже их во дворец Кшесинской пустил: живите, мне не жалко. Я такой человек. Я – добрый. Я знаю – коммунисты хорошие люди, тихие и хмельным не зашибают. Что это за станция, товарищ? Москва? А скажите, товарищ, как пройти на то место, где похоронены усопшие при исполнении обязанностей наши товарищи-коммунисты? Я хотел бы поклониться их святому праху.

Чернобородый почесал бороду, крякнул, сплюнул и, молча, как ошпаренный, выскочил из вагона.

Балтийский матрос
Жизнь и смерть Шкляренки и Бондаря

До октябрьской революции образ балтийского матроса был ясен и прозрачен, как стекло…

Вот он:

«Боцманмат с «Авроры» Никита Шкляренко сдвинул на затылок шапку, выплюнул табачную жвачку, зашел в портовый кабак «Три якоря», хватил одним духом полпинты рому и, ахнув могучим кулаком между лопаток своего приятеля Егора Бондаря, пустился с ним посреди кабака в пляс, оглашая воздух боевой матросской песней».

Я очень любил этот бесхитростный образ. Давно любил. Еще с тех пор, как в юности прочел незабвенный стивенсоновский «Остров сокровищ».

Я очень любил эту цельную здоровую натуру – могучего, грубоватого и добродушного матроса, сожженного солнцем тропиков, пропитанного морскими запахами, широкоплечего, немного неуклюжего на суше, покачивающегося во время ходьбы увальня.

Революция совершенно преобразила эту цельную монолитную натуру.

Началось с простого: вдруг матрос совершенно забросил свой корабль, перешел на сушу, вооружился ружьем, перепоясался пулеметной лентой и стал таскаться по всем подъездам, обыскивая и расстреливая.

В дальнейшем эволюция матроса пошла еще больше вглубь и вширь: некоторые неуклюже вскарабкались на коней и образовали совершенно неслыханную в природе «матросскую кавалерию»; кое-кто причалил к тихой пристани: устроился комиссаром в какой-нибудь Губчека; а большинство застряло в «Красном Питере» и образовало кадры новой аристократии.

Уже в 1918 году можно было видеть на улицах Петербурга эту изысканную публику, одетую в штаны до того широкие, что казалось, на ногах болтались две женских юбки; одетую в традиционные голландки, но с таким огромным декольте, на которое светские дамы никогда бы не осмелились.

Эти странные матросы были напудрены, крепко надушены; на грубых лапах виднелись явные следы безуспешного, но усиленного маникюра; на ногах – туфли с высокими каблуками и чуть ли не с лентами; на груди приколота роза.

Так вырядился и выродился честный простой русский матрос.

Ясно, что на полпути он остановиться не мог: газеты сообщали, что в столичных театрах большинство публики – декольтированные матросы, напудренные, с подведенными глазами и накрашенными губами; на руках – браслеты, на груди – бриллиантовая брошка.

О, бывший могучий Никита Шкляренко, обвеянный всеми ветрами, согретый тропическим солнцем и пропитанный морским соленым запахом, – о, Никита Шкляренко! Отсюда даже вижу весь «трэн»[42] твоей нынешней столичной жизни.

Не узнать тебя, о, Никита, выпивавшего одним духом полпинты крепчайшего рому и храбро вступавшего в бой хоть с полдюжиной задиристых коллег с английского угольщика.

Вот пришел ты со своим приятелем Егором Бондарем в Александрийский театр, с наигранной светской усталостью уселись вы оба на места в ложе и тут же стали вы оба разглядывать публику: Егорка Бондарь в перламутровый дамский бинокль, ты же, о Никишка Шкляренко, в лорнет.

Сощурили вы оба подрисованные глаза, сжали пренебрежительно накрашенные губы и, почесав могучей пятерней пышное свое декольте, – покачали в такт завитыми головами:

– Публика севодни – не охти чтобы какая.

На барьере вашей ложи стоит коробка шоколаду, и вы оба, отставив могучие, кривые от бывшей возни с канатами мизинцы, то и дело запускаете руку в коробку.

– Жарко! – говорит Шкляренко, утирая напудренный лоб. – А я веер дома забыл. Ах, знаешь, кстати, какую я брошку намедни видел у одного товарища! Прямо – с блюдце! Полгруди закрывает. Я на свое колье предлагал менку – не хочет, сволочь. А што говорють, что быдто теперь у волосах диадемы уже стали носить. А что такое диадемы – я и не знаю: чи то в роде звезды, чи то, как на манер рога.

– Никишка, черт собачий, – нервно перебивает размечтавшегося друга Бондарь. – Ты опять Верой Виолетой надушился?! Головизна от него трещать начинает. Накарай меня господь – сейчас упаду в обморок.

– При чем тут моя Вера Виолета? Просто я говорил тебе – не затягивай так корсет! А ты зашпаклевался до отказу!

– Ладно там! Сотри-ка лучше с бакборта румяны: на самый глаз въехали.

– Это я спешил: понимаешь, какая теперь дрянь ажурный чулок пошел: как натянешь, так у коленки – хрясь! Напополам, к чертовой матери!

– Да… трудно теперь матросу по-настоящему одеться!.. Ни тебе кружева к панталонам, ни тебе шелковых завязок до туфлей…

* * *

Тихо плещется у горячего песчаного берега далекий– далекий зеленый океан…

С жемчужным шорохом догоняет одна волна другую и шепчет ей:

– …Однажды несколько лет тому назад, во время бури, долго носила я на своем хребте прекрасный русский корабль… Очень хотелось мне утянуть его на дно, но команда корабля сражалась с бурей, как стая львов. Что это были за молодцы! И среди них два самых могучих отчаянно-храбрых льва – во время минуты затишья я подслушала имена их – то были: матрос Егор Бондарь и боцманмат Никита Шкляренко!..

Докатилась зеленая волна до берега, разлилась кружевом по желтому горячему песку и вздохнула в последний раз:

– Где-то теперь они?

Эх, зеленая кружевная океанская волна! Не знаешь ты, матушка, какие на свете чудеса бывают…

---

[42] Ход (*фр.* train), образ жизни (*фр.* train de vie).

Хочешь, расскажу?

Вот лягу грудью на песок у самого того места, где ты, обессиленная зноем, растекаешься томным ленивым веером у самых моих губ и поведаю тебе окончание этой чудесной, диковинной, по-русскому, сказки.

* * *

Шли однажды по Невскому два декольтированных матроса в лаковых туфлях – Никита Шкляренко и Егор Бондарь… Беседовали о своих неоматросских делах.

– Говорят, что теперь самое модное – какой-то файф-о-клок чертячий. А где его купить и на кое место нацепить – так никто и не знает.

И наткнулись они в этот момент на группу людей, окруживших кого-то.

– А ну расступись, шпана, – гордо сказал Егор Бондарь. – У чем тут дело?

– Мальчишка с голоду на мостовой помирает, вот тебе и дело.

Бондарь притих немного.

– Чего ж это он! Неужто есть так-таки совсем и нечего?

– Кому как, – ответил из группы едкий голос. – Которые с брошками на грудях, с лаком на лапах – те едят первый сорт. А настоящий народ шибко мрет.

– А что ж я, по-твоему, не настоящий народ? – обиделся Бондарь.

– Ты? Да ты бы в зеркало на себя поглядел. – Шкляренко обернулся на друга, поглядел на него новыми, свежими глазами и вдруг шумно расхохотался: – А ведь и верно – чучело с огорода.

– А ты себя-то видел?

Потом Шкляренко сделался серьезен.

– Скидывай брошку; отдай мальчишке! Скидывай усе. Айда на корабль – рожи мыть. Я им, сволочам, покажу ихний коммунизм! До чего довели, а? Простите, православные, а мы это усе по-новому справим!

И два друга, порывистые, темпераментные во всем – и в боях с матросами угольщика и в обсуждении диадем и файф-о-клоков – помчались, как вихрь.

* * *

Балтийский лед скован на диво. Крепок. Ему не трудно и целый полк выдержать.

А тут всего два человека.

Лежат на бескрайном ледяном поле.

Раскинулись они по-богатырски: руки, ноги в стороны, головы закинуты.

И оба голые до пояса. Это уж такой обычай матросский: при такой драке, которая должна быть последней, и голландку и тельник сбрасывают… Потом все равно не надо, а драться куда способней.

Лежат неразлучные благоприятели.

И у Никиты Шкляренко уже не румяна на щеке, а что-то потемнее и погуще.

И Бондарь украшен рубиновым знаком в том самом месте на груди, где раньше сверкала брошка.

Расплатились честно морячки и за румяна, и за брошки.

Поработали – отдыхают. Такой крепкий сон, что хоть сто склянок бей над ухом, и ухом не повернут. Потому стоят уже на другой вахте…

* * *

Волна выслушала, вздохнула и, пересчитав камушки, как старуха – четки, когда молится за близких покойников, откатилась, удовлетворенная, в океан.

Пантеон советов молодым людям

От автора

Молодые люди! Я вижу – некому о вас позаботиться по-настоящему… Вас с детства учат истории, географии, геометрии и тригонометрии, но скажите по совести: разве все эти науки помогают вам в обычной вашей светской и сердечной жизни? Нужна ли вам тригонометрия, когда вы объясняетесь в любви дорогой вашему сердцу женщине? И зачем вам география, если вас пригласили на свадебный обед или на похороны вашего друга, или вы приступили к изложению смешного, для забавы общества, анекдота?..

Светская жизнь – очень хитрая, запутанная штука, и не всякому удается проникнуть в ее прихотливые изгибы и завитушки.

Я проник! Я проник во все: и в психологию хорошенькой женщины, и в психологию жениха, и даже в психологию тетки жениха с материнской стороны. Я могу заботливо сопровождать вас по скользкому житейскому пути, деликатно поддерживая под руку, чтобы вы не шлепнулись носом о мать-сыру землю.

Я все могу.

Вы желаете сделаться журналистом и составлять заметки, которые вызовут сенсацию, – пожалуйста. Я вас научу этому. Желаете сказать речь над могилой вашего друга – говорите. С моей стороны никаких препятствий – сплошная поддержка. Вы, скажем, тщеславны в военном смысле слова и желаете сделаться полководцем… Кто вас научит этому? кто наставит, как не я – ваш вечный, ваш мудрый, ваш неизменный друг.

Вот оно, какие дела.

Ну всего хорошего – желаю вам успеха.

Арк. Аверченко

Умение держать себя в обществе и на званом обеде

Как часто видим мы, что человек – даже способный, даже талантливый – проигрывает в жизни только потому, что не умеет держать себя в обществе…

Один известный нам господин – автор гениального труда «Нравы и привычки ихтиозавров» – погиб во мнении приличного общества только потому, что однажды на официальном обеде не только резал спаржу вилкой, но еще и пил ликер из большой рюмки, как известно, предназначенной для белого вина, а, высосав тремя мощными глотками весь ликер, утер губы краем пышного газового рукава своей дамы, хотя для этой цели у него был под самым носом край скатерти.

Человек, изумительно изучивший нравы и привычки ихтиозавров, не знал нравов и привычек светского общества – и общество это сурово на другой же день закрыло перед ним двери.

Конец его был ужасен. Осматривая однажды с научной целью мыльный завод, он нечаянно упал в котел с кипящим мылом и сварился там, как курица в супе.

Читатели! Если не хотите, чтобы вас постигла такая же участь, изучите нижеследующие советы, как держать себя в обществе, и следуйте им. Советы эти пригодны для любого общества – даже для «Общества Шкодовских заводов» или «Общества кролиководства», учрежд. в 1895 году.

Приглашение на обед

Получив приглашение на званый обед, вы отнюдь не должны тащить на этот обед всех ваших приятелей, не получивших приглашения, радушно уговаривая их:

– Да пойдем, господа! Какого дьявола вы ломаетесь. Они ребята хорошие – всех накормят.

Явиться вы должны только в том количестве, которое указано в приглашении, и явиться вы должны только за 15 минут до указанного вам часа. А то другой светский молодой человек способен забраться к хозяевам званого обеда вечером предыдущего дня, захватив с собой халат и ночные туфли и мотивируя свой поступок так:

– Я, знаете, уж решил пораньше… Чтоб и переночевать у вас. А то знаю я ваших гостей – опоздай на пять минут, так они родного отца слопают, не только обед.

Форма одежды – фрак или смокинг. Пижама – даже из дорогого тончайшего шелка – не произведет на присутствующих того впечатления, на которое она рассчитана в других случаях…

Войти вы должны чинно, не запыхавшись и не восклицая испуганно еще в передней:

– Не опоздал я? Вот-то волновался!! Все время подгонял вагоновожатого трамвая…

О трамвае не принято говорить в обществе. Самое лучшее – это дома вычистить брюки бензином, а когда гости потянут подозрительно носом воздух, беззаботно заявить:

– А я сейчас свой новый автомобиль пробовал!

В передней очень рекомендуется для хорошего тона потрепать снимающую с вас пальто горничную по щечке и ущипнуть за подбородок… С лакеем это делать не принято, равно как и с хозяйкой, хотя щечки и подбородок были бы у нее самые располагающие к этому игривому жесту.

Войдя в гостиную, вы не должны осведомляться с лихорадочным любопытством:

– А что у вас сегодня готовили на обед?

Самое лучшее завести светский разговор или похвалить хозяйских детей, которые обыкновенно до обеда вертятся тут же.

Впрочем, и о детях нужно говорить с толком…

Нам известен один господин, который не нашел ничего лучшего, как пошевелить носком сапога возившегося на ковре малютку и, зевая, спросить хозяйку:

– Ваш ребеночек?

– Мой, – расцвела хозяйка.

– От кого?

– Что значит «от кого»? – смутилась хозяйка. – От мужа!

– Ну да! Все вы так говорите. Неужели от мужа? Вот не думал! А мальчишка – вылитый секретарь вашего супруга. Здравствуй, секретаренок!

Вместо такого бестактного разговора самое лучшее – это восхищаться ребятами, для чего особого ума не требуется.

– Ваш сынишка? Какая прелесть!! Говорит уже?

– Помилуйте – ему десятый год.

– Да вы что? Гениальный ребенок! В университете?

– Куда ж ему – он еще маленький.

– Совершенно верно – совсем грудной!

Пусть этот разговор бессмыслен, но от него так и пышет хорошим тоном.

Когда посреди этих светских разговоров лакей возвестит: «Кушать подано», не рекомендуется, перепрыгнув через кресло и оттолкнув стоящую на пути даму, мчаться с воинственным кличем в столовую. Подобный искренний порыв нужно затаить в глубине души, а вместо

этого, сделав равнодушное лицо и мило упрекнув хозяйку: «Ах, зачем вы, право, тратитесь!» – предложить даме руку:

«Осчастливьте меня разрешением быть вашим соседом».

На суп рекомендуется не набрасываться с торжествующим ревом, а есть его тихо. Некоторые имеют пагубную привычку втягивать суп губами из ложки с таким свистом – будто бы вблизи работает паровозный поршень. Один англичанин рассказывал пишущему эти строки, что они ходили компанией для развлечения в один лондонский отель «слушать, как иностранцы едят суп». Читатели – запомните этот ужас!!

Не рекомендуется также есть мясо или другую какую пищу с ножа, хотя бы после этого на губах порезов и не наблюдалось.

В книге «Светский тон» ясно сказано:

– …Дали тебе, подлецу, вилку – так ты и ешь вилкой. – Жестоко, но верно.

Во время обеда не следует задавать хозяйке меркантильных вопросов вроде:

– Почем покупали рыбу?

И если даже хозяйка ответит:

– По 5 ½ марок.

Не следует просить моляще:

– Ну дайте мне еще кусочек пфеннигов на шестьдесят!

Когда подадут десерт – не надо спрашивать разочарованно:

– Уже сладкое? Это и весь обед?! А я думал – еще цыплята будут!.. Знал бы, так лучше к Мамевкиным пошел!

Мы знали таких рассеянных гостей, которые, пообедав, стучали ножом о тарелку и бодро кричали:

– Человек! Счет!

От этого следует удерживаться, хотя в глубине души такой результат обеда и был бы приятен хозяевам дома.

Уходить нужно не сразу после обеда, дожевывая в передней грушу. Посидите еще минут 20 и только потом, как будто случайно взглянув на часы, озабоченно вскрикните:

– О, ля-ля!! Уже седьмой час… А меня на заседании ждут.

Уходя, не забудьте поцеловать руку хозяйке и дайте горничной на чай. Если перепутаете эти два светских поступка, то вызовете тем неудовольствие и хозяйки, и горничной…

Со своей стороны, рекомендуем хозяевам провожать гостей до самой передней…

Во-первых, это вежливо, во-вторых, и гость не утянет вместо своего чужое пальто.

Как держать себя на свадьбе

Самая существенная разница между свадьбой и похоронами та, что на похоронах плачут немедленно, а после свадьбы только через год. Впрочем, иногда плачут и на другой день.

В великосветских кругах празднуют только свадьбу. Развод не принято праздновать. Хотя радости во втором случае, конечно, больше.

Нижеследующие советы – как держать себя на свадьбе и на похоронах – очень пригодны как вообще для пытливого ума читателя, так и для тех людей, которые без подобного руководства способны заплакать на свадьбе или заплясать на похоронах.

Положение жениха на свадьбе неизмеримо затруднительнее, чем положение приглашенного гостя: гость в крайнем случае может и не приехать, а отсутствие жениха в венчальной процедуре иногда основательно омрачает общее веселье.

Впрочем, я знал жениха, который перед самой свадьбой заявил с беззаботным видом своей невесте:

– Я на часок поеду по делам. А если опоздаю в церковь – начинайте без меня.

Если я скажу, что жених этот был почетным членом Археологического Общества – читатель не будет очень удивлен вышеизложенным бессмысленным заявлением.

Итак, «вернемся к нашим баранам», как говорят французы. Вернемся к жениху.

Если выразиться возвышенным слогом – положение его самое дурацкое. Представьте себе молодого человека, с растерянным, искаженным лицом, бледного, с трясущимися руками, заключенного в черный фрак и в цилиндр, замкнутого в белый шелковый жилет, зажатого в лаковые ботинки, выслушивающего идиотские поздравления и шуточки друзей, наставления родителей, и безмолвное, остолбенелое, истерическое любопытство полдюжины горничных, прачек с ближайшего квартала и мальчишки из бакалейной лавки, забравшихся спозаранку в церковь, чтобы «видеть жениха и невесту».

Один очень культурный умный человек рассказывал мне, что для него было самым трудным в жизни – это выдержать инквизиторский осмотр нескольких горничных и мальчика – продавца папирос, которые (не папиросы, а эта публика) подвергли его в церкви ураганному огню перекрестных взглядов и критических замечаний.

– Бедненький, – вздохнула пожилая кухарка, – такой молоденький! Губы-то как трясутся, не сладко, поди, ему!

– А ты думаешь! У нас намедни в лавочке говорили, что невеста-то – чужая жена. Застал их муж да пистолетом и уговорил его жениться.

– Да что ты! А он хорошенький…

– Тоже – нашла красоту. Одна ноздря, и больше ничего.

– Свинячий жених, – строго осудил папиросный мальчишка, толкнув горничную в грудь локтем, чем снискал полное ее сочувствие.

От этой падкой на зрелища публики не скроется ничто. Малейший штрих будет осмотрен острыми глазами и обсужден:

– У невесты-то, гляди, гляди!.. Глаза красные.

– Нос у нее красный, а не глаза.

– А губы намазала так, что краска сыплется.

– А у жениха сбоку лаковый башмак лопнул! Хи-хи! Видали!

Я лично думаю, что под такими инквизиторскими взглядами сам Мунэ-Сюлли не мог бы сохранить присутствие духа и импозантность…

Знавал я женихов, которые в этих случаях или прятались, смущенные, в церковный притвор, или (что еще хуже) пытались с наружной беззаботностью насвистывать веселую мелодию.

Вернемся к свадебному гостю.

Главное, что от него требуется, – это неувядаемая жизнерадостность и умение сказать во время свадебного пира приличный случаю тост.

На свадьбу он должен явиться также во фраке, в белом жилете и в белых перчатках с веселым лицом, даже в том случае, если он только что вернулся с похорон любимого друга.

В руках – букет белых роз (хотя бы и стащенный украдкой с гроба того же безропотного друга).

Подлетев к невесте и передавая ей букет, гость должен сказать небольшую речь:

– Дорогая такая-то, пусть эти чистые невинные цветы будут залогом вашего чистого будущего счастья и символом вашей нынешней невинности и целомудрия…

Последние слова можно говорить даже в том случае, если невеста до свадьбы прожила десять лет на иждивении владельца дровяного склада…

Подаренный букет нельзя отбирать обратно, хотя бы за свадебным пиром вас обнесли мороженым или подсунули кислое вино.

А то человек, одержимый мелким самолюбием, может перед уходом подойти к невесте и заявить на ухо:

– Ну и накормили! Ну и напоили! Не вино, а уксус. Я вам там дал букет, так вы его, голубушка, верните-ка мне обратно. У меня через два дня еще одна свадьба. Полью букетик водичкой – и опять он, голубчик, у меня в работу…

Застольные речи на свадьбе – очень тонкая штука. Нужно сказать так, чтобы никого не обидеть, чтобы всем было приятно.

Я помню то неблагоприятное впечатление, какое произвела речь сатирически настроенного гостя на свадьбе одного моего знакомого.

– Ну-с, – сказал он. – Позвольте и мне поздравить новобрачных. Я бы мог пожелать жениху долгой жизни, если бы не боялся, что тот… гм! гм! образ жизни, который жених вел до брака, сделает мое пожелание совершенно бесцельным. Ох, нужно тебе, Вася, заняться своим здоровьем, ох, как нужно! Я бы мог пожелать невесте пару хорошеньких деток, если бы она уже не поторопилась до свадьбы наполовину исполнить мое это пожелание!.. Поздравляю я также и родителей невесты! И есть с чем поздравить! Экую обузу с плеч свалили… Правда, домик, что дали мужу в приданое, строен в полтора кирпича, да и фундамент уже осел от сырости, но так как, полагаю, дом этот будет немедленно заложен сияющим новобрачным – так о чем же тут говорить?! Желаю я счастья и уважаемой матери жениха. Льщу себя надеждой, что сын ее не будет поступать так со своей женой, как его папаша, разбивавший о голову своей супруги любые предметы стеклянного производства, находившиеся в районе военных действий. Рад я и за двух теток невесты – наконец-то они поедят сегодня как следует, да и не только поедят, а еще и дома что-нибудь останется… Хотя должен предупредить, что сунутые в ридикюль две столовые ложки суть не серебряные, а фраже… Хе-хе – ошибочка, тетеньки, вышла… Я кончаю, господа! Пью за здоровье всех присутствующих и очень сожалею, что большинство из них не может мне ответить тем же, потому что публика уже налилась до краев… Ур-ра!!!

Констатирую, что эта речь не только не имела успеха, а, наоборот, в прихожей при разъезде неизвестный оппонент ударил оратора по голове эмалированной плевательницей…

Во избежание таких недоразумений я предлагаю образец вполне благопристойной свадебной речи, которая должна удовлетворить многих:

– Милостивые государи и милостивые государыни! Я вижу под сенью этой крыши цветущую молодость и мудрую старость, которые соединились здесь роскошной причудливой гирляндой. Что же за день такой, что это за событие?! Вы скажете – очень просто: Петр Николаич женится на Верочке и берет за ней сорок пять тысяч приданого, не считая перин и столового серебра… О, господа! Как вы поверхностно смотрите на то, что здесь происходит. Перед вами, господа, творится великая тайна – тайна зарождения будущей плодотворной ячейки, из которых составляется государство!! (Одобрение присутствующих.) Петр Николаич исполнил наконец-таки свой долг перед государством и перед обществом. И если вы посмотрите на очаровательную невесту, то скажете: «И какой приятный долг!» Да, господа… я и сам был бы не прочь… гм… гм… (Общий смех, рукоплескания.) Но для меня путь этот закрыт, отчасти потому, что я – закоренелый женоненавистник, отчасти же потому, что, к сожалению, я уже женат 18 лет… (Движение налево, где жена оратора.) Господа! Я поднимаю тост за жениха, за этого мужественного благородного человека и прекрасного друга, я пью за невесту, которая, дожив до 19 лет, ухитрилась донести до семейного очага свою чистоту и невинность, я пью за будущих детей, которые, если унаследуют характер своих родителей, будут сплошь членами парламента и министрами-президентами!! И за родителей невесты я пью, за родителей, щедрой рукой (45 тысяч и 3 перины) снабдивших цветущую пару земными благами… (Восторг родителей, аплодисменты…) Пью я и за престарелую тетку жениха, которая сумела вынести под сердцем такое сокровище, как ее сынишка Федя, из скромности уже полчаса как скрывшийся и лежащий под этим обильным столом… И наконец, последний мой тост за того неизвестного мне господина, который, пролив красное вино на скатерть, усиленно засыпает пятно

солью, – это настоящий друг семьи, который ни в чем не нанесет ущерба… (Аплодисменты, крики, переходящие в овацию.)

Здесь оратор должен отпить из своего бокала и шаловливо крикнуть: «Горько», что, как известно, по русскому обычаю, влечет за собой поцелуй жениха и невесты, чтобы «подсластить» это горькое вино.

Этот русский обычай применяется только на свадьбе. Впоследствии он видоизменяется: уже не муж с женой целуется, когда посторонний господин кричит «горько», а посторонний господин целует его жену, и кричать «горько» приходится мужу…

Но вот свадьба окончена. Все, безусловно, должны разъехаться по домам, и нельзя напрашиваться переночевать в комнате новобрачных, хотя бы на том основании, что я «старый друг и не могу стеснить»…

Следующий очерк – «Как держать себя на похоронах» – я напишу, если к тому времени не буду занят на собственных похоронах.

Как держать себя на похоронах

В смерти есть тайна. Поэтому к похоронам нужно подходить благоговейно, деликатно. Шутки здесь неуместны. Меня почему-то считают юмористом, но я умею быть серьезным.

Меня однажды очень обидели слова моего друга писателя, с которым мы встретились на каких-то похоронах… Увидев меня, он подошел и сурово спросил:

– Зачем вы здесь?

– А почему же мне не быть здесь?!

– Гм. Что же здесь смешного?!

Этот грубый человек забыл, что у меня, кроме смеха, есть еще и сердце. На упомянутых похоронах я рыдал так, что дал вдове сто очков вперед, а на кладбище обскакал ее на две головы, закатив такую истерику, что распорядитель попросил меня выйти вон, чтобы не нарушать благолепия церемонии.

– Попробуйте только меня тронуть, – кротко возразил я распорядителю. – Сами покойником будете!

И я остался, и я говорил речь на могильной насыпи, и эту речь я считаю одним из лучших своих литературных произведений.

– Кого мы хороним?! – воскликнул я, обведя присутствующих горестным взглядом.

На этот вопрос любой из присутствующих мог бы ответить, что «хороним мы Игнатия Фомича Зябкина, а если я не знаю такой простой вещи, то лучше бы мне и не взбираться на могильный холм»…

Но все промолчали, потому что поняли: такая фраза всегда говорится ораторами для разгона.

– Кого мы потеряли?! – взывал я (промолчали и на этот вопрос). – Игнатия Зябкина мы потеряли – вот кого! Ты среди нас сиял, как солнце… (по правде сказать, сиял не весь покойник, а только самая верхушка – лысина, но фраза вышла очень звучная… Правда?) Ты озарял этими лучами всех, кто тебе был близок (жену, любовницу и четырех детей от той и от другой), ты своим талантом поднимал и украшал русскую промышленность и торговлю (покойник имел скобяной и москательный магазины), и вот – ты на небесах оказался нужнее, чем на этой грешной земле, и Всевышний потребовал тебя к себе (удар пивной бутылкой по темени в трактире «Балканы» ускорил это желание Всевышнего).

Так спи же, Игнатий, – ты, чудный человек, отец и гражданин!! Земля тебе пухом, и пусть ангелы небесные охраняют последний кров твой… не тяните за рукав – пальто порвете!.. (Последняя фраза относилась, конечно, к распорядителю, который сгонял меня с могилы, не могши перенести моего шумного успеха.)

Вот случай, который доказывает, что бывают моменты, когда и я умею быть серьезным, и поэтому о похоронах я буду писать с полным знанием дела.

* * *

Вы, скажем, узнаете, что умер ваш приятель. Вы надеваете на рукав креповую повязку (она стоит совсем гроши) и, выработав себе перед зеркалом выражение лица, полное тихой скорби и уныния, отправляетесь к вдове покойника.

Она, прижав платок к глазам, спросит:

– Слышали вы, какое у меня горе?

Отвечаете:

– Да, да. Вполне разделяю вашу скорбь. Но… ему там лучше будет…

Лучше или хуже – это неважно, но вышеуказанные слова очень успокоительны. Можете еще добавить:

– Бог дал. Бог и взял. Или:

– Все под богом ходим.

Если вдова осведомится у вас для порядка:

– На похоронах будете?

Не надо расшаркиваться и радостно восклицать:

– Я-то? Да с наслаждением! За удовольствие почту!

Надлежит свесить голову и скорбно ответить:

– Это мой долг.

Тут к вам подойдет другой сочувствующий, и так как говорить о чем-нибудь постороннем, вроде премьеры в «Варьете» или биллиардном проигрыше в близлежащей пивной, не принято, то он скорбно осведомится:

– Будете на похоронах Ивана Николаевича?

Вы не должны задорно возражать:

– Вот еще, с какой стати! А он на моих похоронах будет?..

Ибо перед отверстой могилой умолкают все мелкие светские счеты визитами…

* * *

На кладбище идите с печально опущенной головой, изредка вздыхая и покачивая ею; перемигиваться со встречной барышней – хотя бы и царственно прекрасной – не следует. Если устанете – можете влезть в медленно движущуюся сзади карету. Если все кареты уже заняты – не пытайтесь взлезть на катафалк к покойнику, хотя бы под тем предлогом, что вы с ним были на «ты». Будет время – еще успеете наездиться в катафалке.

В момент последнего печального обряда зорко следите за вдовой, потому что эта публика любит рваться к отверстой могиле и кричать: «Пустите меня к нему!»

Вы должны ловко подхватить ее под руку и успокоительно шепнуть:

– Куда вы? Ведь покойник изменял вам на каждом шагу и в пьяном виде бросал вам в голову все предметы домашнего обихода. Вспомните-ка! Да и ваши отношения с репетитором сынишки таковы, что лучше я вас к нему пущу, к репетитору. Хотите?

Эти правдивые слова могут пролить бальзам на самое измученное, разбитое сердце.

Речей старайтесь не говорить, потому что вам до меня далеко и такую речь, какую произнес я на могиле скобяного Игнатия, вам произнести не удастся.

Пусть говорят другие, а вы стойте в стороне и учитесь. Еще один совет: если произнесенная кем-либо прочувствовавшая речь привела вас в восторг, пожалуйста, не аплодируйте

и не кричите одобрительно: «Бр-раво! Бис!! Ловко, шельмец, зашпаривает!» Помните – здесь витает душа усопшего, да и распорядитель по головке не погладит.

Вообще, похороны – вещь серьезная, и ничто не должно нарушать их строгой величавости… Когда пьяный механик в кинематографе, демонстрируя похороны какой-нибудь знаменитости (я это видел однажды), начинает вертеть ручку аппарата шибче, чем нужно, получается зрелище совершенно непристойное: впереди радостно скачут священники, будто Максы Линдеры, убегающие от погони, за ними резвой рысью летят погребальные лошади, увлекая молниеносно мчащийся катафалк, а сзади стремительно несутся друзья покойного, будто опасаясь пропустить поминальный обед.

В довершение всего пианист, сослепу не разобрав, в чем дело, начал с треском наигрывать очень милую в других случаях песенку:

Сегодня я не в духе,
Ужасно колет в ухе,
Вчера один нахал
Мне ухо искусал!.. —

и, таким образом, все благолепие и пышность погребального обряда свелись в упомянутом мной случае на нет.

В петербургской хронике имеется факт еще неприличнее – петербуржцы и до сих пор помнят его. Везли однажды по Садовой покойника – и вдруг из-за угла стремглав выскочил трамвай; налетел на катафалк, опрокинул его, выбросил на мостовую гроб, и вдруг все с ужасом заметили, что из гроба вылез покойник и, потирая ушибленную ногу, завопил:

– Черти полосатые! Ездить не умеете. Мало вас, скотов, штрафуют.

Это непредвиденное обстоятельство совершенно испортило похороны: покойник, заботливо и хозяйственно собрав остатки дорогого дубового гроба, уехал на извозчике домой, духовенство и провожавшие сконфуженно рассеялись кто куда, пустую могилу пришлось засыпать, а вторую половину поминального обеда выбросили – испортилась, хотя все радостное семейство покойного и загубило себе желудки первой половиной. Я бы не хотел умереть так двусмысленно.

* * *

Кстати, о поминальном обеде.

Мне часто случалось присутствовать на таких обедах, и должен сознаться, что они проходят превесело…

Я так и не мог докопаться до разгадки этой странности: то ли вернувшиеся с похорон рады, что не их закопали, то ли они довольны, что развязались-таки, наконец, с никому не нужным мертвым телом, а может быть, вкусная закуска с выпивкой веселит все сердца, – не знаю; но я заметил, что все на поминальных обедах бывают очень оживленны и, пожирая пироги и закуску, не успевают даже бросить вдове или врачу небрежную обязательную фразу:

– Там ему (или ей) лучше будет! – Или:

– Бог дал, бог и взял.

Не до того друзьям. Кончают иногда и тем, что поднимают тост за здоровье усопшего, рассказывая препикантные анекдоты из его сердечных похождений… Забавная скотина – человек. Веселая скотина.

* * *

В заключение я должен сознаться в своей неопытности в одном смысле: я прекрасно знаю ритуал обыкновенных старинных похорон: с гробом, катафалком и могилой, но теперь пошла мода на сжигание трупов в крематориях, и как при этом нужно себя держать – совершенно неизвестно.

Ритуал еще не выработался, не окостенел.

Вообще, я против таких похорон.

Один очень скромный достойный молодой человек со скорбью и ужасом рассказывал мне, как он вычистил собственные зубы собственной бабушкой.

Приехал он к родным, когда бабушку уже сожгли в крематории по новой моде, погоревал с полдня (много ли нужно для старушки), а вечером отошел ко сну… Проснулся рано утром, приступил к умыванию – хвать-похвать – зубного порошку нет.

Стал шарить по комнате – видит: на подоконнике стоит сигарная коробка, а в ней – полно пепла.

Вспомнил, что пеплом тоже хорошо чистить зубы – вычистил.

А к чаю, когда за столом собралась вся семья, мать его и говорит:

– Слава богу, наконец-то мраморщик привез заказанную урну!..

– Какую урну?

– А для бабушки. Пепел в урну положим. А то держать его в сигарной коробке – прямо-таки неуважение к покойнице!

Читатель, может быть, усомнится. Но клянусь честью – это факт.

Жизнь любит иногда подшутить и посмеяться даже над смертью.

Видел же я в городе Орле наклейку на окне одного гробовщика:

«Здесь продаются модные гробы «Танго»…» Смерть опошлили, начиная с гроба и кончая траурной креповой повязкой на руке. Еще счастье носителей повязок, что ширина повязки не должна быть прямо пропорциональна скорби об усопшем.

А то – многим пришлось бы перевязать руку черной швейной ниткой.

Советы начинающим полководцам (*Как выигрывать войны*)

Введение

Теперь, когда почти весь мир грозно бряцает оружием, когда международные тучи сгустились до невозможности, мои советы начинающим полководцам должны сделаться настольной книгой для всякого неопытного полководца…

Все мы знаем, что у всякого военачальника во время войны есть только одно безудержное стремление: победить врага!

Но как это сделать, с чего начать и чем кончить? Неопытный человек решительно не знает.

А неопытность в военном деле – ужасная вещь.

Пока такой человек раздумывает, да примеривается, да взвешивает – у него постепенно отбирают крепости, потом броненосцы, забирают в плен всех солдат, и вот наш неопытный полководец в один прекрасный день видит себя одиноко сидящим на лошади или миноносце, размахивающим победоносно золотым оружием «За храбрость», – но без войска, броненосцев и крепостей.

Что остается делать такому полководцу?

Извиниться перед родиной – выйти в отставку и заняться выпиливанием по дереву, игрой на окарине или коллекционированием почтовых марок – три поприща, которые почему-то привлекают сердца всех неудачников…

Чтобы этого не случилось – я позволяю себе дать ряд полезных советов и указаний на предмет:

«Как вести войну».

Как найти средства для ведения войны

Надлежит изготовить в главном штабе около десятка планов мобилизации, расположения крепостей, диспозиции и статистических данных о количестве и месте расположения ваших войск. Все изготовленное поручить наиболее расторопному и плутоватому чиновнику штаба продать соседним державам, содрав с них за такой лакомый кусок несколько десятков миллионов.

Вообразите же себе удивление и злость этих держав, когда все планы и сведения окажутся фальшивыми, а вы имеете лишних несколько миллионов для ведения победоносной войны…

Как обезопасить свою страну от вторжения врага

Наиболее действенным можно признать следующий способ: на границе устанавливается ряд деревянных столбов через каждую сажень с прибитыми к верхушке каждого столба дощечками, на которых написано: «Вход посторонним строго воспрещается».

Можно легко представить себе ярость и бессильный гнев противника, когда он, дойдя до этой естественной преграды, остановится и, потоптавшись на месте, должен будет уйти восвояси…

Некоторые стратеги, кроме того, советуют еще применять способ с зеркалом, заключающийся в следующем: на поле устанавливается громадное, в несколько верст, зеркало. Неприятель, победоносно шагая по полю, вдруг видит против себя другого неприятеля, шагающего ему навстречу не менее победоносно…

Тогда настоящему неприятелю ничего не остается сделать, как повернуться и убежать от своего собственного отражения.

Мы не рекомендуем этого способа по одной причине: а вдруг неприятель не испугается, а начнет стрелять… Что тогда? И хитрость будет раскрыта, и дорогое зеркало испорчено.

Нет, это не научный способ, это – утопия.

Первый способ ведения войны

Выследив место расположения неприятеля, вы начинаете возводить вокруг него высокую крепкую стену. Сначала неприятель будет только радоваться этому, видя в такой стене удобную крепость для себя. Но радость его – преждевременна.

Ясно, что, когда вы замкнете неприятеля этой стеной, он очутится как в ловушке, и ему ничего не останется, как сдаться на позорных условиях или помереть с голодухи.

Второй способ ведения войны (бескровный)

Для задуманной вами цели нужен специальный человек, но, мы полагаем, среди вашей многочисленной армии найти его нетрудно. Вы даете ему инструкции, он идет к аванпостам и заявляет, что его прислали вести переговоры с вражеским военачальником…

Военачальник обыкновенно ловится на эту удочку: принимает вашего посланника, который оказывается лишь ловким гипнотизером. Полчаса глаз на глаз – и остальное ясно: вражеский начальник приказывает своей армии сдаться, отдает свои пушки, провиант и сам попадает в плен. Конечно, никому и в голову не придет, что это дело рук загипнотизировавшего его вашего посланника.

Морской бой

Принцип всякой морской кампании – это вывести из строя как можно больше неприятельских судов.

Вот способ, который почти всегда удается: узнав тот фарватер, в котором крейсирует неприятельская эскадра, вы выбираете самое глубокое место и насыпаете на дно громадную земляную гору, чуть-чуть выдающуюся из воды…

Вообразите же удивление броненосца, когда он, идя на всех парах по известному на картах глубокому месту, вдруг со всего размаху налетает брюхом на мель.

Самый хитрый способ ведения войны

Вы изобретаете пушку, ядро которой летит несколько десятков тысяч верст по прямой линии, не останавливаясь, и продаете с самым невинным видом через подставное лицо это ужасное изобретение неприятелям.

Они не замечают той страшной ловушки, которую вы им готовите, и, устроив такую пушку, стреляют в вас. Ядро преспокойно летит, огибая весь земной шар, возвращается с противоположной стороны на старое место и бьет несчастных артиллеристов прямо по затылку. Вообразите же их удивление, когда и т. д.

Средство против аэропланов

Существует мнение, что борьба с вражеской воздушной эскадрильей совершенно невозможна.

Но и тут умный полководец может найтись.

Как известно, у всех неприятельских пилотов есть подробные карты вашей страны, в которых указано местоположение городов, лесов и направление рек.

Что же делаете вы?

Да очень просто: стоит только вам перевести города совсем в другое место, выдернуть с корнем лесные деревья и вкопать их на место городов, а русло рек отвести совсем в другую сторону. Что же получится? Ясно: неприятель покрутится-покрутится, полетает-полетает, да и плюнет на все это дело.

Вернется на свои позиции и заявит начальству:

– Мы ничего не понимаем. Очевидно, это совсем другая страна, с которой мы не воюем.

Заключение

Вот те несколько военных приемов, применяя которые молодой полководец всегда выиграет войну.

Но, конечно, еще с большей уверенностью можно гарантировать полководцу выигрыш войны, если все предлагаемые мною вышеизложенные приемы будет применять не он, а неприятель…

Хозяйственные советы
(*Как составлять смесь*)

Всякому из вас, друзья мои, приходилось встречать в журналах и газетах такой отдел, который носит название:

– «Смесь».

В этом глубоко интересном отделе вы встречали, вероятно, помимо научных сведений, много разных полезных советов: «как вскипятить в игральной карте воду», «как лечиться от укуса гремучей змеи», «лучшее средство против тайфуна» – одним словом, на все случаи жизни человеческой в отделе «Смесь» предусмотрительно даются советы.

Всякий читатель наизусть знает: «как склеивать разбитый фарфор», «способ изготовить самому себе карманные часы», «приготовление молока из вишневых косточек» и прочее…

И тем не менее, в «Смеси» в отделе полезных советов я наблюдаю колоссальный пробел…

Нигде не сказано:

– Как изготовить самому себе «Смесь»!

Иногда семья ваша, или ваши знакомые, хотят почитать отдел «Смеси», а под рукой нет журналов или газет, а если и есть, то без отдела «Смеси», или с отделом, но неинтересным или затасканным.

Вот в этом случае мои советы: как самому себе изготовить «Смесь» – могут быть прямо-таки драгоценны.

Все, что я приведу ниже, основано на собственном опыте (первые шаги моей литературной деятельности были – именно составление «Смеси» для еженедельных журналов и газет), а также на многочисленных наблюдениях…

Вот оно, значит, как!

«Смесь» можно разделить на следующие отделы:

1) вообще научные сведения;
2) этнографические штришки;
3) удивительные курьезы природы;
4) статистика;
5) успехи техники;
6) об американских миллиардерах;
7) еще об уме животных;
8) странности великих людей и; наконец;
9) полезные советы.

Вообще научные сведения

Если вы хотите надолго приковать внимание читателя к вашей скромной заметке, вы просто пишите:

– Один ученый в штате Миссури (Арканзас) по имени Пайкрафт открыл удивительное свойство серебра: терять вес, если его покрыть особым составом из двухлористого гелия (H4 G – 7Do) и цинковой обманки (проц. обманки в цинке – пока секрет ученого).

Обмазанная этим составом серебряная монета настолько теряет свой вес, что может быть помещена в воздухе на любой высоте.

Этим любопытным открытием заинтересовались многие научные авторитеты штата Иллинойс.

Нечего и говорить, что новооткрытое свойство этого металла произведет целый переворот в текстильной промышленности.

Перед вами – заметка, составленная вполне скромно, научно (химическая формула, ссылка на авторитеты и указания на переворот в текстильной промышленности).

Конечно, всякий, кто прочтет заметку, призадумается… Открытие действительно интересное, полное заманчивых перспектив.

Вы мне возразите, что читатель, прочтя заметку, может попробовать проверить на опыте это открытие? Это невозможно!

Во-первых, в заметке предусмотрительно скрыт проц. цинковой обманки, а во-вторых, его сразу испугает такая сухая научная формула – H4 G – 7Do.

Вообще, эта заметка, если в нее вчитаться, составлена очень предусмотрительно: ученый живет в штате Миссури, и, если бы кто-нибудь даже заинтересовался открытием, то ехать для этого в Америку отыскивать ученого Пайкрафта лишь на основании пустякового сообщения в отделе «Смесь» было бы безумием.

Если такой сорт заметки все-таки вам почему-либо не нравится, можете изготовить другую… Например: «Свойство некоторых пород ясеня растворяться в воде, насыщенной азотнокислыми соединениями аммиака, открыто профессором Бруком – лауреатом Кентуккийской высшей школы (штат Кентукки)».

Этнографические штришки

Тут вам дается полный простор.

Вы можете описать свадебные обычаи на островах Спасения или на острове Тристан д'Акунья. Можете привести даже самые нелепые обычаи: в день свадьбы, например, жениха обваривают кипятком, после чего он, по туземному поверью, будто бы горячее любит жену, а невесте вырывают передние зубы и вставляют их на место глаз (символ верности; отметить полный контраст дикарской психологии с культурным русским поверьем: «возьмите глаза в зубы»). Можете добавить, что празднование свадьбы продолжается пять месяцев, и на свадьбе все приглашенные с аппетитом едят белую глину, смешанную с листьями араукарии (туземное лекарство).

Эта заметка тоже совершенно безопасна в смысле достоверности. Ни один из ваших читателей не устроит себе такой свадьбы, а дикари островов Спасения или Тристан д'Акунья не будут писать писем в редакцию с опровержением, потому что ваше издание едва ли попадет к ним в руки.

Дело кончится тем, что читатель, прочтя заметку, вздохнет и скажет жене:

– Смотри, Маруся, какие есть ужасные обычаи! И чего только на свете не делается. Как все премудро устроено Создателем!

Вы его заставили призадуматься! Он уже философствует! В этом ваша заслуга.

Боже вас сохрани сообщать сведения о каких-нибудь мюнхенских или кавказских свадебных обычаях. Легко может случиться, что читатель там был и поэтому обругает вас лгуном и мошенником.

Этого – избегать.

Удивительные курьезы природы

Здесь вы можете не заезжать в Американские штаты. Опытные составители «Смеси» ограничиваются обыкновенно Венгрией.

Почему Венгрией – мне доподлинно неизвестно. Но это любопытный штрих в психологии составителей «Смеси».

Именно в деревушках Венгрии рождаются все младенцы с тремя головами, все одноглазые телята и зебровидные жеребята, а на венгерских огородах произрастают картофелины, формой напоминающие группу детей, идущих в воскресную школу, или памятник Виктору Эммануилу в Риме, или просто машинку для стрижки волос.

Если же вы, из-за совершенно неуместной добросовестности, не захотите выдумывать, – то и тут можете сообщить факты, хотя и достоверные, но для поверхностного взгляда кажущиеся ошеломляющими.

Например:

> «В одной из деревень Восточной Венгрии у крестьянки родился удивительный ребенок: он имеет две головы, четыре ноги, четыре руки, два туловища и два сердца. Любопытно, что туловища эти – несросшиеся, равно как и другие части тела».

Кажется, любопытно? А ведь тут говорится о самых обыкновенных двойнях. Или:

> «Игра природы. Один венгерский крестьянин (Западная Венгрия) нашел на огороде картофелину, очень напоминающую по форме лошадь с всадником, только без ног, без рук и без головы. Заметна только шпора на ноге всадника».

Согласитесь – курьезно! А ведь самая обыкновенная картофелина может подойти под это определение.

Вообще, с Венгрией стесняться нечего… Я своими глазами читал заметку (кажется, в приложении к «Ниве») об одном венгерском мальчике, у которого на лбу из прыщика вырастало каждые шесть месяцев перо – не сказано, птичье или стальное, – которое потом отпадало на радость родителям. В заметке, конечно, было сказано, что многие ученые заинтересовались этим феноменом (еще бы!).

В заключение замечу, что в Венгрии иногда рождаются дети, форма головы которых напоминает кирпич, в графстве Сюррей (Англия) изредка появляется девочка, которая может говорить ухом (редкий случай перемещения голосовых связок), а в штате Небраска (Америка) любопытствующие могли бы найти доктора под названием «человек-термометр», или «человек-зебра», или просто «обжора Дик».

Все это приковывает внимание читателя.

Статистика

Статистика – наука точная, и поэтому здесь нужно с фактами обращаться особенно осторожно. Остерегайтесь придумывать статистику вооружений европейских стран или сравнительную таблицу ввоза и вывоза.

Это все уже известно и без вас.

Если вы все-таки соблазнились отделом статистики, сообщайте следующие безобидные сведения:

> 1) «По статистике, потребление Норвегией соли равняется трем пятым потребления этого же продукта Персией».

Или:

2) «Количество раздавленных автомобилями на парижских бульварах в текущем году превысило на 20 проц. таковых же за прошлый год. Вот он, современный Вавилон, Молох, пожирающий свои жертвы!»

3) «В австралийских колониях в 1891 году насчитывалось слепых 1327 человек».

Это, правда, читателя не увлекает, не будоражит, но статистика ведь вообще скучная, сухая вещь.

Успехи техники

«Один ливерпульский механик изобрел машину, которая сама сеет лен, поливает его, выращивает, снимает с поля, очищает, сучит нитки, ткет льняную материю и сама же снашивает ее; льняное же масло, добываемое машиной из семян, идет на смазку частей машины».

Ясно, что этот ливерпульский механик – просто дурак. Кому нужна такая машина?! Но читатель не будет задаваться таким вопросом. Его внимание привлекает просто сложность такой удивительной машины.

Если хотите быть вполне научными, напишите что-нибудь об Х-теории или радии (броненосец в 18000 тонн можно, по словам ученых, приводить в движение одним миллиметром радия; или: «радий, как средство от бессонницы»).

Остерегайтесь писать что-нибудь о рентгеновских Х-лучах. Они вышли из моды.

Потому что «Смесь» имеет свою моду, свою этику, свои законы.

Об американских миллиардерах

Этот отдел распадается на такие ясно очерченные подотделы:

а) Карьера миллиардера. (Миллиардер Джон Гуд был сапожным подмастерьем, или продавцом сигар вразнос, или угольщиком. Но, скопив немного денег, он открыл небольшое дело; его ум и предприимчивость сделали то, что и т. д.).

б) Пожертвование миллиардера Карнеджи на… (можно писать на что угодно – в зависимости от вкусов и наклонностей пишущего).

в) Причуды миллиардера. – Главным образом – устройство специальных обедов…

Например – «тигровый обед». Пишется так:

На днях Пятая Авеню была позабавлена оригинальным «тигровым обедом», устроенным королевой пуговиц, мистрисс Адью Снобе. Обед происходил в громадной тигровой клетке, устроенной из железных прутьев… Все обедающие лежали на тигровых шкурах, а лакеями были настоящие индусы шикарри (охотники за тиграми); ели сырое мясо, терзая его зубами. Одеты все обедающие были в полосатые костюмы; из драгоценных камней допускался только тигровый глаз. На стене висела карта реки Тигр. Оркестр играл старинный романс «Тигренок».

Конечно, то, что вы выдумали, – очень глупо, но ведь и выдумки американских миллиардеров особым остроумием, вероятно, не отличаются.

В крайнем случае, обругают, и то не вас, а американцев. И поделом.

Можете описать, если хотите: «Людоедский обед», «Жемчужный обед», «Обед убийц» и «Собачий ужин».

Еще об уме животных

«Еще» – значит, уже многое об уме животных писалось: таким образом, нужно что-нибудь экстравагантное.

Никто вам не мешает рассказать о диковинной собаке, живущей в бассейне реки Ориноко (пойди-ка, поищи!). Собака эта очень недурно пишет масляными красками и недавно написала такой схожий портрет хозяина, что многие ученые заинтересовались ею (ученые обязательно должны интересоваться такими вещами); эта же собака поворачивает зубами электрические осветительные кнопки, когда ее сажают в темную комнату, и недавно исправила даже испортившийся электрический звонок.

Скажете – невероятно! Самый простодушный читатель не поверит?.. Пове-е-ерит!

Вот что написал я однажды в отделе «Смесь» (в одной харьковской газете):

«Еще об уме слонов. В гамбургском зоологическом саду содержался слон Джипси – общий любимец… Недавно он заметил, что несколько дней подряд к нему подходил грустный бедно одетый симпатичного вида незнакомец и, лаская его, кормил вкусными булками. Но однажды он пришел еще более грустный и похудевший; пошарив по карманам, он вздохнул и отвернулся. Сердце слона разрывалось от жалости. Но в это время к друзьям приблизился какой-то незнакомец жестокого вида и стал кричать на печального господина, показывая ему белую продолговатую бумагу; нужно ли говорить, что это был вексель симпатичного господина, которому (векселю) наступил срок. Бедняк печально смотрел на вексель, предвидя разорение, но – слон мигом сообразил, в чем дело… Протянул хобот, выхватил из рук заимодавца вексель и в один миг… съел его! Нужно ли говорить, что все окончилось ко всеобщему благополучию, и обезумевший от радости должник долго ласкал своего спасителя».

Кажется – невероятно? А я даю честное слово, что восемь провинциальных газет напечатали этот вздор с самым серьезным видом; одна даже поместила «Случай со слоном» в отделе телеграмм от собственного корреспондента.

В заключение позволю себе рассказать следующий характерный случай:

«У одного акцизного чиновника (штат Калифорния) была собака – пудель Тобби. Собака все время слышала, как хозяин плакался на бедность и говорил:

– О, если бы у меня были деньги в банке!

И что же! Однажды, когда ее послали в мелочную лавочку за сигарами (она часто это проделывала), собака прибежала в лавочку, прыгнула на прилавок, схватила какой-то предмет и помчалась к хозяину.

Каково же было всеобщее удивление, когда она принесла к ногам хозяина стеклянную банку из-под леденцов, в которой лежали данные ей хозяином на сигары деньги!

Умная собака слышала разговор людей и устроила так, чтобы у хозяина были «деньги в банке».

Странности великих людей

Пишите смело:

«У всех великих людей были свои странности: Россини мог творить, только держа ноги в холодной воде, Вольтер писал, нюхая испорченные яблоки, Веласкес надевал тесные ботинки, а Наполеон все письма писал на барабане, держа правую руку за бортом сюртука, а левой размахивая в такт».

Ничего, если вы Россини заставите нюхать испорченные яблоки, а Вольтеру наденете тесные ботинки – мертвые не говорят.

Полезные советы

Давайте только радикальные советы, и вы заслужите внимание читателей. Умный человек может дать совет на всякий случай жизни.

Например, пятно на скатерти.

«Нужно взять скатерть и слегка помочить запятнанное место рисовой водкой; потом, присыпав тальком, вынести скатерть на улицу и положить около дома на тротуарной тумбе. А самому – уйти домой… Не пройдет и получаса, как пятно исчезнет».

Составленные советы обратят внимание читателя и вызовут в нем интерес к печатному слову.

* * *

Вот и все.

Читатель видит, что с помощью этих деловых практических советов всякий может на дому приготовить какую угодно «Смесь» для своих домашних и знакомых, не прибегая к дорогостоящей выписке журналов и газет, где все это может быть подано точно так же, если не хуже.

А я за это не хочу себе никакой награды, никакого памятника.

Несколько десятков тысяч золотых рублей, собранных почитателями по подписке, или скромная статуя на Невском проспекте, изображающая меня, будут мне лучшими памятниками.

Приложение к «Пантеону советов молодым людям»

Пасхальные советы

Введение

О, лучший из праздников, когда колокола, сладко волнуя сердце мелодичным и гулким звоном, будят в душе грустные ласковые воспоминания о былом, о празднике пышной весны, когда ароматные почки на деревьях радостно распускаются… впрочем, им хорошо распускаться, когда никаких расходов они не несут, а мы, люди, и тому должны заткнуть глотку, и этому, да подарки разные, да «на чай»… И что это еще такое за «на чай»?! Один разврат. И без чаев хороши будут.

Об ароматных почках да и мелодичных колоколах это у меня к слову пришлось, а вообще я человек деловой и подхожу к пасхальным вопросам с утилитарной точки зрения…

Цель моя – научить читателей, как по-христиански, но безубыточно отпраздновать Пасху, когда колокола мелодичным звоном будят в душе… – впрочем, об этом я уже говорил. Ни к чему это все. Главное – практичность. Вот, например:

Праздничные подарки

Жену имеете? И детей? И кухарку?

И напрасно. Не такое теперь время, чтоб на своей шее всю эту публику держать.

Но раз глупость уже сделана – нужно подумать, как же выйти из этого положения? Жена-то, небось, спит и видит бриллиантовое колечко, да и детишки, как молодые крокодилята, пасти пораскрывали на ящик с красками или на собрание сочинений Жюля Верна. А кухарка уже целую неделю страшно щелкает крепкими зубами, предчувствуя впереди сарпинку на кофточку.

Сарпинку тебе? О душе нужно подумать, матушка!

Для того чтобы избежать всех этих расходов, хозяин должен обзавестись сущими пустяками: одним анонимным письмом, изготовленным собственными средствами, одним дохлым мышонком и надтреснутым бракованным блюдом, которое за гроши можно купить в любом посудном магазине.

И вот, скажем, приходите вы в Страстную пятницу домой к обеду с дохлым мышонком в одном кармане, с анонимным письмом в другом и с треснутым блюдом, завернутым в бумагу, – под мышкой.

– Обедать! – радостно кричите вы. – Обедать! Я голоден как волк… А я сегодня, друзья мои, по случаю купил чудную, замечательную вещь – старинное блюдо Императорского фарфорового завода. Цены нет этому блюду! Ну-ка, Миша, разверни.

Ваш сынишка доверчиво начинает распутывать накрученную вами бечевку и снимать с блюда несколько слоев бумаги…

Развернул? Ну-ка, полюбуйт… Это что такое? Почему трещина?! Разве тебе можно поручать что-нибудь, паршивец этакий!!! Расколол!!!

Орите во все горло:

– Нежная старинная вещь!! Пятьсот рублей стоит, а ты, как ломовик, набросился. Разве я тебя для того рожал, чтобы ты мне блюда бил… Сегодня блюдо разбил, завтра всю посуду перебьешь, а послезавтра отца начнешь бить… Это что?! Слезы?! Вон из-за стола!! Блюдо

полторы тысячи стоит, а он своими копытами… Вон! (эквивалент ящика с красками и Жюля Верна, глядишь, и в кармане остался).

Если жена кротко запротестует – орите дольше:

– У людей дети, как дети, а у нас… На кого же я, спрашивается, работаю, минутки свободной не имею?! Вот, например, утром еще получил письмо – до сих пор пяти минут не имел прочесть! Ты позволишь, милая?

– Читай, – кротко говорит жена. – Какие там церемонии.

Вы извлекаете из конверта анонимное письмо и начинаете громко читать:

«Здравствуйте, обманутый дурак! В то время, как вы заботитесь о семье, хлопочете, ваша жена дарит своей благосклонностью другого… Спросите у нее – у кого она была позавчера и почему ее головные шпильки очутились на подзеркальнике известного донжуана Пробиркина?! Прощайте, тупой осел!»

Жена, конечно, заплачет, но… ничего. Женские слезы, как говорится, вода, а колечко так и останется торчать в витрине ювелира. Вот вам и экономия!

Наконец, подают суп. Пользуясь тем, что жена продолжает рыдать в салфетку, выньте дохлого мышонка и подсуньте его в свою тарелку…

Орите:

– Что это?! Мертвое животное в супе?!! Чумная крыса?! Отравить нас хотят?! Аксинья!! Поглядите-ка!.. Надеюсь, сама понимаешь…

И меркнет, тухнет в пылких кухаркиных очах долгожданная сарпинка…

До сарпинки ли тут, когда барина колесом от ярости скорчило.

* * *

Если же вы по доброте душевной считаете эти остроумные приемы жестокими, то так и быть, сделайте своим домашним такие подарки: жене – коробочку хороших сигар или бритвенный прибор, сынишке лампу для гостиной или материи на халат, а кухарке – собрание сочинений Эмиля Золя. Не знаю, как им, но вам эти подарки доставят тихую радость…

Устройство пасхального стола

О, сколько красоты и поэзии в праздничном столе, накрытом белоснежной скатертью!..

Сколько дразнящего, будящего аппетит в этих группах разноцветных водок и вин; каким дьявольски соблазнительным топазом сверкает мартелевский коньяк, как сочно и плотно лежат в коробке ле-маршановские сардины! А этот огромный запеченный окорок, украшенный курчавой разноцветной бумагой, с румяной коркой, художественно утыканной черненькими пятнами гвоздички?! А эта зернистая икра, свежая, пахнущая морем, в круглой большой жестянке?! Да-с! Хорошо-то оно хорошо, а пойдите, купите – без рубашки останетесь.

А разве визитер оценит? Он думает – все это так и полагается! По-моему, достаточно ему рюмки водки и куска вареной колбасы. Пусть и за это будет благодарен…

А стол все-таки украсьте как у людей.

Делайте же это так:

Вина. Поставьте несколько запечатанных бутылок (можно взять в магазине напрокат), достаньте пустую бутылку из-под коньяку, налейте ее чаем и поставьте на видное место. Других же вин не откупоривайте – ради бога! Потому визитер твердо помнит правило: раз вино откупорено – его надо пить. И водки выпьет – хорош будет.

Окорок. Срежьте с окорока все мясо, спрячьте его подальше, покройте масталыгу кожей – пусть стоит.

Сардины. Металлический язычок, что торчит в одном углу коробки, незаметно подпилите напильником.

Яйца. Вымажьте их красными и черными ализариновыми копировальными чернилами. Рекомендую: дьявольски линяют.

Зернистая икра. В пустую коробку из-под икры налейте доверху жидкого столярного клею. Плотно закройте крышкой. Дайте высохнуть.

Вот и все праздничные хлопоты.

Теперь предположим, пришли визитеры…

Вы (радостно):

– А-а, гости дорогие! Христос Воскресе! Воистину! Ну не грех и закусить чем бог послал… Вам чего прикажете? Водочки?

– Нет, уж, знаете, я коньяку…

– Пожалуйста!! Настоящий Мартель (берете в руку, смотрите на свет. Любовно подбрасывая, как ребенка, нечаянно роняете на пол с расчетом, чтобы бутылка разбилась…) Ах, черт возьми! Какое несчастье! Что ж теперь делать? Придется уж водочки. Закусите, пожалуйста. Ветчинки?!

Режьте, господа, сами, не стесняйтесь, будьте как дома! Что?.. Одна кость там? А! Это до вас Петр Иванович был – так он, тово… Хе-хе… Весь окорочок усидел. А может, яичек? Не хотите? А вот сардинки. Сейчас открою! Где ключ?.. Тр-рах!!

Эх, неудача. Язычок сломался. Теперь как ее откроешь, проклятую… Икры вам предложить, что ли? Открывайте банку, накладывайте столовой ложкой! Что? Плотно закрыта? А вы покрутите. Нет? Что? Не открывается? Гм… Разве в теплую воду поставить, может, отойдет через часик крышка. А пока колбаски рекомендую – дивная колбаса! Трипль – сек. За ваше здоровье!..

– Уже уходите? Ну – всего вам, всего-всего хорошего. Спасибо, что не погнушались хлебом-солью.

Прилично вышло? Прилично. Дешево. Ну так чего ж вам еще?!

Как изготовить дешевый сытный обед

На праздники хочется пообедать особенно вкусно и особенно сытно.

Как же изготовить себе наиболее дешевый и наиболее вкусный обед?

Вот один из самых приемлемых способов, которых не найдете ни в одной поваренной книге…

Взять столовую ложку бензину. Взять чистенькую тряпочку. Взять свои брюки и сюртук. Почистить их. Накрыть сверху шляпой. Пойти к знакомым, которые еще не читали моих советов. Норовить попасть к обеду. Будете есть:

Куриный бульон.
Пирожки.
Отварную лососину.
Соус тартар.
Жареных цыплят.
Салат.
Спаржу.
Суфле яблочное.
Кофе, вина, водки, ликеры.

Правда, вкусно?

Как сэкономить на чаевых

На первый день праздника, едва вы откроете сонные глаза, как к вам нагрянет вереница поздравителей с недвусмысленным выражением, начертанным на лице кистью великого мастера: дай, собака, на чай.

Придут: три дворника, швейцар, трубочист, приказчик из бакалейной лавки, человек, который в прошлом году выводил у вас тараканов; почтальон, шофер, переехавший вашу тетку; неизвестный, которого вы на Страстной неделе били в биллиардной кием; ловец бродячих собак.

Как же с ними со всеми устроиться наиболее прилично и экономно?

Существует до сих пор только два способа, наиболее практичных и радикальных:

а) Уехать перед праздником в Аргентину.

б) Заболеть сыпным тифом.

В этом случае ничего другого для вас придумать не могу.

Искусство рассказывать анекдоты

Истинно светские люди могут иметь успех в обществе и свете – помимо всех других качеств – только в двух случаях: или когда они хорошо рассказывают анекдоты, или когда они анекдотов совсем не рассказывают…

Насколько хороший анекдотист пользуется шумным, заслуженным успехом, насколько общество фигурально носит его на руках – настолько же плохой, бездарный претендент на «анекдотский престол» видит кругом плохо скрытое отвращение и тоску, настолько общество, выражаясь фигурально, топчет его ногами!

Существует старинное распределение рассказчиков анекдотов на четыре категории:

1. Когда рассказчик сохраняет серьезное выражение лица, а слушатели покатываются со смеху…

2. Когда смеются и сам рассказчик, и слушатели…

3. Когда рассказчик за животик держится от смеху, а слушатели, свесив головы, угрюмо молчат…

4. Когда слушатели, вооружившись стульями и винными бутылками, хлопотливо бьют рассказчика.

Вот те поистине ужасные последствия, которые могут обрушиться на голову плохого рассказчика. В американской газетной хронике (штат Иллинойс) был по этому поводу рассказан поистине леденящий душу факт: компания вакеросов, выслушав подряд семь отвратительных тягучих анекдотов, так освирепела, что схватила рассказчика, облила его керосином и подожгла, выплясывая вокруг него веселый джиг; потом обгоревшего неудачника вакеросы купали в реке, а потом, зацепив за шею веревкой, долго волочили при свете факелов по городским улицам, и разбуженные шумом матери поднимали с постелек своих детей и подносили их к окнам со словами: «Глядите, детки, – вот вам пример: никогда не рассказывайте глупых старых тягучих анекдотов. А то и с вами будет то же, что с этим куском жареного мокрого мяса!»

И – наоборот.

Пишущий эти строки знал одного молодого человека, ничем особенно не отличавшегося, кроме искусства замечательно рассказывать анекдоты (см. первую категорию рассказчиков). И что же?! Все женщины города ласкали и целовали его, мужчины угощали водкой и папиросами лучших фабрик, а начальство повышало его по службе так, как в 1923 году повышался доллар в Германии. Однажды, рассказывая в поезде какой-то уморительный анекдот, он свалился с площадки вагона под колеса, и ему отрезало обе ноги, за что железная дорога уплатила счастливчику огромную премию, и он прожил свой век в богатстве и роскоши, окруженный любовью и почитанием современников.

* * *

Всякий рассказчик должен помнить три основных правила своего изящного искусства:

1. Анекдот должен быть краток.

2. Блестящ по передаче.

3. В конце – неожидан.

Самое главное – пункт первый (краткость).

Длинный анекдот напоминает Эйфелеву башню, на которую вас заставили взобраться пешком, без лифта… С самой верхушки башни вид-то, может быть, очаровательный, но вы так устанете, взбираясь, что вам и на свет божий глядеть противно.

Затем ненужные, не имеющие к анекдоту отношения – подробности – могут довести слушателей до молчаливой ярости, до преступления.

Пишущий эти строки слышал один анекдот в передаче директора департамента народного здравия.

– Вот я вам расскажу хороший анекдот, – пообещал он. – Дело было в небольшом торговом городке. Городок был, как я уже сказал, небольшой, но оживленный. Потому что стоял он на берегу Волги и там перегружали муку, соль, ну, конечно, лес тоже сплавлялся… Население преимущественно торговое. Поэтому в городке была пропасть трактиров, и в этих трактирах целый день толокся торговый люд, попивая чай, пиво и водку. Так вот, в один из таких трактиров – не помню, как он назывался – не то «Китай», не то «Большая Парижская Гостиница», – в один из таких трактиров пришел подпивший купец. Ну вы сами знаете, русская душа – разгулялся, потребовал еще водочки, закусочки, селяночки на сковородке с осетриной. Ест, пьет, а над ним в клетке в окне заграничная канарейка поет, заливается. Ну так-с. Слушал ее купец, слушал – пришел в восторг. Потому, вы же знаете, канарейки иногда очень хорошо поют. Недаром даже Канарские острова по их имени названы. Вот послушал он эту канарейку и зовет слугу. Слуга прибежал – этакий русский молодец, румянец во всю щеку, и волосы подстрижены в скобку. «Что прикажете?» – «Сколько стоит канарейка?» – «Триста рублей». – «Зажарь мне ее в масле». Слуга видит, что купец богатый, значит, может заплатить за свою причуду, беспрекословно снял канарейку, снес на кухню, зажарил. Приносит. «Готово». – «Отрежь на три копейки».

Присутствующие вежливо посмеялись, полагая, что директорский анекдот окончен. Но директору жаль было расстаться со своим длинным, как пожарная кишка, анекдотом.

Пожевал губами и продолжал:

– Да… «Отрежь, – говорит, – на три копейки». Тот поднял крик: «Как так?! Неужели зря дорогую канарейку загубил?!» – «Что ты кричишь, чудак… Мне надо только на три копейки!..» Ну, конечно, шум был, скандал. Полицию позвали. Кажется, протоколом кончилось. Ну, купец дал околоточному, не помню – не то десять, не то пятнадцать рублей…

Все исступленно молчали, а один из слушателей тихо вышел в переднюю, отыскал директорское пальто и сигаретой прожег на спине преогромную дыру.

Кто упрекнет его за то, читатели?!

* * *

Вот как не надо рассказывать.

Излагайте анекдот приблизительно так:

В двери шикарной кондитерской просовывается чья-то голова: «Скажите, есть у вас сдобный хлеб с цукатами и миндалем?» – «Есть, есть, пожалуйте». Протискивается вся фигура. Снимает шапку, жалобно: «Подайте хлебушка Христа ради, бедному. Три дня не ел!»

Или: «Цедербаум, это совершенно неудобно: весь город говорит, что Кегельман живет с вашей женой!» Муж: «Э! Подумаешь, какое счастье! Захочу – так я тоже буду жить с ней!..»

Или: «Яша, чего ты за щеку держишься?» – «Понимаешь, один шарлатан хотел ударить меня по морде!» – «Так он же только хотел! Чего ж ты держишься?» – «Так он уже ударил!» – «Чего ж ты говоришь – «хотел»?» – «Ну, если же бы он не хотел, он бы не ударил!»

Или:

«На парижском аэродроме к пилоту подходят два еврея: «Послушайте! Вы сейчас в Лондон летите. Возьмите нас». – «А вы кто такие?» – «Так себе, обыкновенные евреи». – «О-о, евреи! Ни за что не возьму. Евреи – такой темпераментный народ, что начнут кричать, за плечи меня хватать – еще катастрофа будет». – «Но мы не будем кричать, ей-богу! Абраша, правда, не будем?» – «Ей-богу, – говорит Абраша, – не будем!» – «Ну я вас возьму, но с условием: за каждое сказанное слово – вы платите мне фунт стерлингов! Согласны?» – «Абраша, ты согласен?» – «Согласен!» Сели. Полетели. Прилетели в Лондон, пилот спустился, слез, мотор осматривает. Подходит к нему один из пассажиров: «Теперь уже можно разговаривать?» – «Теперь можно». – «Абраша в воду упал!..»

А начните вы, передавая эти анекдоты, описывать место действия, наружность и возраст действующих лиц, и анекдот уже погиб, завял, покрылся скучной пылью!..

Нет ничего трагичнее рассеянных, забывчивых рассказчиков…

– Вот расскажу я вам анекдот… Было это в тысяча восемьсот девяносто… Нет! В тысяча девятьсот… девятьсот?.. Постойте!.. В каком же году это было?..

– Да неважно! – кричат слушатели. – Дальше!..

– Ну-с. Был в городе Елабуге один еврей… нет, не еврей. Армянин, кажется? Или, что ли? По фамилии… гм. Как же его фамилия? Гм! Дай бог памяти…

– Неважно! Дальше!! – ревут слушатели.

– И поехал этот мужичок пароходом… Нет!! Позвольте… не пароходом, а пешком он пошел…

– Аэропланом!!!

– Нет, тогда еще аэропланов не было. Встречается со старухой NN. Впрочем, нет… Это было ее свадебное путешествие… Значит, молодая. Постойте!.. Тогда почему же у нее зубов не было?.. Но этот же анекдот, кажется, построен… Или нет?.. Ах, да!

За убийство такого рассказчика не судят, а выдают премию, как за удачное санитарное мероприятие…

А есть и такие рассказчики: начнет в обществе передавать что-то вязкое, тягучее, а на половине вдруг вспыхнет, как маков цвет, и замолчит.

– Ну? Что же дальше?!

– Простите – дальше неприлично, я и забыл совсем… А тут дамы.

* * *

Ужасная язва общества – так называемые «подсказчики анекдотов».

– Иван Петрович! Расскажите тот анекдот, который рассказывали на прошлой неделе… Вы так хорошо рассказываете…

– Какой анекдот?!

– Да помните, о том еврейском мальчике, который просил у учителя отпуск на завтрашний день, а когда тот спросил «зачем?», мальчик ответил: «Папа говорил, что у нас завтра дома пожар будет». Расскажите!

Что тут рассказывать бедному анекдотисту?

Иногда можно рассказывать старый, затрепанный анекдот, но смотря где. Если общество захудалое, провинциальное – можете перетряхивать в их присутствии всякое старье.

Но в изысканном, изощренном, насыщенном модными анекдотами кругу – остерегайтесь.

…За столом сидели шесть человек – три актера, два журналиста и адвокат. Я подсел к ним и принялся рассказывать анекдоты – все, какие знал.

И после каждого анекдота присутствующие вынимали из карманов белые платки и прикладывали к ушам концами, так, что все лица были окаймлены белыми платками.

В конце концов я не выдержал и спросил:

– Что это значит?

– Это? Белая борода!

– Почему?

– Все анекдоты, рассказываемые вами, так стары, что имеют седую бороду!!!

Очень было обидно.

* * *

При выборе анекдота нужно считаться с составом слушателей.

Есть анекдоты для барышень. Есть для дам. Есть специальные «мужские». Третью категорию иногда можно рассказывать второй категории, предварительно деликатно нащупав почву, но не дай бог обрушить третью категорию на головы благоуханной девственной первой категории.

Один негодяй при пишущем эти строки рассказал целому цветнику светских, невинных, кротких молодых девушек такое:

– Молодому еврею из Житомира сват предложил житомирскую девушку в жены. «Она (говорил он) очень хорошая девушка – общая любимица». Познакомился с ней жених через свата, поехал в театр. Все друзья и знакомые, увидев их вдвоем, набросились на жениха: «С ума вы сошли? Что это за компания для вас – с ней весь Житомир путался!» И побежал молодой человек в ярости к свату… «Слушайте!! – кричит. – Вы! Мерзавец! Кого вы мне сосватали?! Мне говорят, что с ней весь Житомир жил…» – «Э, вы скажете тоже, – хладнокровно говорит сват, – уже и весь Житомир! В Житомире 50 000 жителей. Так считайте – половина женщин. Из 25 000 – 10 000 детей. Потом 5000 стариков, калек, нищих… остается 10 000… Так это, по-вашему, – весь Житомир?!»

Слушательницы испуганно переглянулись, а я отыскал хозяев и сообщил им, что вышесказанный молодой человек украл из столовой две серебряные ложки.

* * *

Вот, читатель, мой тебе подарок.

Пытаясь занять общество анекдотами, всем вышеизложенным руководствуйся. Тогда – процветешь…

Советы, как иметь успех у прекрасного пола

Как часто видим мы очень интересных молодых людей, красивых, изящных, но – увы! Эти молодые люди не имеют никакого успеха у женщин.

И наоборот: не встречали ли вы рыжих, веснушчатых молодцов с кривыми ногами, расплющенным носом и заплывшими жиром глазами, которые (не глаза, а эти молодцы) имеют среди прекрасного пола бешеный, потрясающий успех?!

А почему? Очень просто: первые (красавцы) не знают, с какого боку подойти, как взяться за дело, вторые же (кривоногие) обладают этим священным даром в такой же степени, как Кубелик играет на скрипке.

И вот я хочу пойти навстречу назревшим нуждам неопытных красавцев. Кривоногие же пройдохи и без меня обойдутся. Им мои советы не нужны. Они сами много чего могут мне посоветовать.

* * *

Вначале – маленькое разъяснение: я вовсе не хочу идти против Священного Писания, которое гласит:

«Не пожелай жены ближнего твоего».

Что здесь главное? То, что он «ближний». Жены ближнего и не желайте.

Но если жена в Кишиневе, а муж, скажем, во Владивостоке, то он уже делается дальним, и, значит, всякое нарушение священной заповеди отпадает.

Из этого, конечно, не следует, что всякий молодец, влюбившийся в замужнюю женщину, должен таскать под мышкой глобус и, осведомившись о местопребывании мужа, начать вслух рассчитывать расстояние, тыча пальцем в разные места глобуса.

Это слишком наглядно, а всякое чувство требует тайны.

* * *

Влюбившись, вовсе не нужно моментально напяливать фрак, белый галстук, зажимать в мокрой от волнения руке букет цветов и, явившись к предмету своей страсти, преклонить перед ней колено со словами:

– Ангел мой! Я не могу жить без тебя. Будь моей женой!!

– Что вы, помилуйте. Да ведь я замужем!

– Я вас разведу с мужем!

– Но у меня дети…

– Детей отравим. Новые будут.

Глупо и глупо. Женщина никогда не пойдет на эту примитивную приманку.

Вот как сделайте: явитесь в сумерки с визитом к дорогой вашему сердцу женщине, припудривши лицо и подведя глаза жженой пробкой, явитесь и, севши в уголок, замрите.

– Что это вы сегодня такой грустный?.. – спросит хозяйка.

– Так, знаете. Нет, нет. Лучше не расспрашивайте меня.

– Дела плохие?

– Что для меня дела. (Вздох.) Я о них даже и не думаю.

– Вы что-то сегодня бледны…

– Ночь не спал.

– Бедный!.. Почему же?

– Вы мне снились всю ночь.

Даю слово, что самая умная женщина не обратит внимания на резкое несоответствие между первой фразой («не спал всю ночь») и второй («вы снились всю ночь»).

– Я вам снилась?.. – задумчиво скажет она. – Вот странно. – И довольно на сегодня. Конец. Маленькая, крохотная зацепка уже сделана. Уйдите, оставив ее задумчивой. На другой день:

– Вы сегодня опять какой-то бледный… (пудра «Клития» – замечательное вспомогательное средство для влюбленного человека).

– Бледный, я? Гм… Отчего бы это? Может быть, потому, что опять плохо спал?

– Бедняга! А теперь кто вам снился?

– Догадайтесь… (В этом месте можно рискнуть взять ее за руку. Полагаю, опасности особой нет.)

– Ну как же я могу догадаться… (Врешь, милая! Уже догадалась. Иначе зачем бы он взял тебя за руку?..)

– Не догадываетесь? Вы, такая чуткая, такая красивая… – Красота тут, конечно, ни при чем, но – каши маслом не испортишь.

Скачите дальше:

– Вы… не догадываетесь? Вы, у которой сердце звучит, как Эолова арфа, под малейшим порывом налетевшего ветерка, Вы, у которой глаза, как зеркальная лазурь Лаго-Маджиоре, проникающая, как стрела, в самую глубину сознания бедного больного человеческого сердца, бьющегося в унисон с теми тонкими струнами… которая…

Такой разговор требуется минут на шесть.

Ничего, что глупо. Зато складно. Тут тебе и Эолова арфа, и Лаго-Маджиоре, и унисон. Советую напирать не на смысл, а, главным образом, на звук голоса, на музыку.

Очень рекомендуется, не окончив фразы, нервно вскочить, махнуть рукой и, наскоро попрощавшись, уйти.

Это производит впечатление. А кроме того, и из запутанной фразы выкрутитесь.

На третий день смело входите и говорите такую на первый взгляд странную фразу:

– Мэри! (Или Ольга, или Эльза). Что вы со мной делаете?!

– А что такое? Что я с вами делаю?

– Посмотрите на меня (не нужно забывать: еще в передней смахнуть платком пудру с лица. Но – осторожно: жженая пробка под глазами может размазаться). Вы видите?!

– Да, вид у вас неважный… Но разве я виновата?..

– Вы виноваты! Только вы. Вы приходите ночью к моему изголовью, и… и… я больше так не могу!!!

По общечеловеческой логике нужно бы ответить на это так:

– Чего вы ко мне пристали с вашим изголовьем? Мало ли какая ерунда будет вам сниться? Что ж, я за это должна и отвечать?!

Но… ни одна женщина не скажет так. Нужно знать женщину.

Она только воскликнет:

– Боже мой! Но разве я этого хотела?! Мне самой тяжело, что вы так мучитесь…

Слышите? Ей тяжело! Она, значит, вам сочувствует. Она, значит, как говорят профессиональные рыболовы, «зацепилась на крючок».

В этом месте я подхожу к самому деликатному вопросу, о котором мне, при моей застенчивости, трудно и слово вымолвить.

Вы должны ее поцеловать. Только, ради бога, не сразу.

Не обрушивайтесь на нее, как глетчер, не рычите, как бегемот.

Тихо, деликатно возьмите за руки. Приблизьте свои глаза к ее глазам (губы, как известно, покорно следуют за глазами – деваться им некуда). Ближе… Ближе… Загляните в таинственную бездну ее глаз.

И вот – в этой позиции сразу и не разберешь: вы ли ее поцеловали, она ли вас.

Конечно, дальнейших советов я не могу давать. Я слишком скромен для этого. Можете даже, поцеловав, пойти домой – и на этом успокоиться.

* * *

Знавал я одного человека, который всю рассказанную мною поэтичную процедуру невероятно упрощал. Именно, оставшись с женщиной наедине, бросался на нее, точно малайский пират, и принимался ее целовать.

Я как-то спросил его возмущенно:

– Как можешь ты так по-разбойничьи вести себя с женщиной? А если получишь отпор? Скандал?!

– Отпор бывал часто. А скандалу не было. Женщина предпочитает молча, без крику, отвесить пощечину.

– Ага! Значит, ты получал пощечины?!

– Ну, от женщины не считается. И потом на 100 женщин – только шестьдесят дерутся. Значит, я работаю в предприятии из 40% чистых. Этого не приносят владельцам даже самые лучшие угольные копи или учетный банк.

– А вдруг жена пожалуется мужу?

– Побоится! Ты не знаешь мужей. Муж никогда не поверит, чтобы человек ни с того ни с сего полез целоваться. «Ага, – скажет он. – Значит, ты перед этим кокетничала, значит, дала повод?!» Нет, это штука безопасная.

Этот пример я привел для того, чтобы сказать, что я отношусь к такой манере ухаживать с отвращением. Я – поэт и нахожу, что всякое красивое чувство не должно быть оптовым – с исчислением процентов прибыли.

Как поэт еще раз говорю: лучший прием для успеха, это – «вы мне снились». Долбите, как детям, пока не подействует.

* * *

Другой мой знакомый, как он сам выражался, «работал фарфором». Прием, по-моему, тоже дешевый.

Однажды купил он на аукционе прескверную фарфоровую кошку и китайца, которого если ткнуть в затылок – он начинал мотать головой. С тех пор владелец этих вещей говорил всем дамам, на которых имел виды:

– Старинный фарфор любите?

Какая уважающая себя дама осмелится ответить «не люблю»?

– Люблю, – ответит она.

– Очень?

– Ах, ах, ужасно люблю!!

– У меня есть очень недурная коллекция старинного фарфора. Не хотите ли зайти осмотреть?

– Гм!.. Удобно ли это? Впрочем…

Часто дама, уже собираясь уходить и надевая перед его зеркалом шляпу, вспоминала:

– Да! А где же этот твой знаменитый фарфор?

– А вот там стоит.

Ткни китайца в затылок. Видишь, как забавно? Настоящий, брат, алебастр!

И долго еще после ухода парочки китаец с задумчивой иронией качает видавшей виды головой.

Последний совет: женщина, даже самая бескорыстная, ценит в мужчине щедрость и широту натуры. Женщина поэтична, а что может быть прозаичнее скупости?..

Любящая женщина, которая с негодованием откажется от любой суммы денег, ни слова не возразит вам, если вы купите ей билет в театр или заплатите за нее в кафе.

Один известный мне человек сразу погиб во мнении любящей женщины после того, как, расплачиваясь в кафе, стал высчитывать:

– Два стакана кофе с булочками – 3 ½ марки. Ты пила белый кофе, я черный – значит, с меня на ½ марки меньше. Да ты откусила своими очаровательными белыми зубками у меня кусок пирожного, приблизительно одну треть, – значит, с тебя еще 20 пфеннигов. С тем, что я платил за тебя в трамвае – с тебя, царица души моей, 2 марки 35 пфеннигов.

Нужно ли говорить, что на таком пустяке этот идиот сломал себе шею, хотя и был красив как бог!

* * *

Кстати, вы, может быть, спросите: а где же советы, как ухаживать не за дамами, а за девушками.

Этих советов я не могу дать.

Потому что за девушками не «ухаживают».

Им делают предложение и женятся.

После же женитьбы молодой человек может прочесть мое руководство сначала.

И то, руководство это будет полезно не тому, который женился, а другому молодому человеку – постороннему.

Современники об Аркадии Аверченко

Н. Тэффи

Началось это приблизительно в 1909 году. Точно не помню. Я годы различаю не по номерам (год номер тысяча девятьсот такой-то), а по событиям.

Время тогда было строгое. Смех не имел права на существование. Допускался только так называемый «смех сквозь незримые миру слезы», пронизанный гражданской скорбью и тоской о несовершенстве человечества.

Как раздражали эти «незримые слезы» Достоевского!

«Никогда еще не было сказано на Руси более фальшивого слова, чем про эти «незримые слезы».

А ведь как ценил Достоевский Гоголя! Как жил Гоголь в его подсознательном! Не знаю, заметил ли кто-нибудь, что мать Раскольникова звали Пульхерия Ивановна и что в письме своем к сыну упоминала она о купце Афанасии Ивановиче, с которым вела дела. Ведь эти два имени-отчества теперь уже стали нарицательными, дать их Достоевский нарочно никак не мог. Они выскочили оба вместе из его подсознательного, из той потайной душевной кельи, где любовно запечатлелись.

А вот этих «незримых слез» он вынести не мог. Но в русской литературе требование на них укоренилось надолго.

Да, ирония, сатира на нравы – это извольте, но свободный смех, о котором Спиноза сказал, что он «есть радость, а потому сам по себе благо», – это было неприемлемо. Очаровательные юмористические рассказы Антоши Чехонте были прощены автору, только когда он прославился художественной грустью своего таланта.

Где-то на задворках чуть дышали «Стрекоза» и «Осколки». Грубый лейкинский юмор мало кого веселил. В газетах на последней странице уныло хихикал очередной анекдот и острые намеки на «отцов города, питающихся от общественного пирога». При этом были и картинки. У действующих лиц изо рта вылезал пузырь, а на пузыре выписывались слова, которые это лицо произносит. Юмористические журналы продергивали тещу, эту неистощимую тему, свободную от цензурного карандаша.

Не могу указать точно, когда это началось, но в то время, о котором сейчас идет речь, газеты по понедельникам не выходили. И вот один предприимчивый журналист – Василевский Не-Буква (этот странный псевдоним произошел оттого, что брат журналиста писал под именем «Василевский Буква») – задумал выпускать по понедельникам литературную газету. Газета имела успех. Я тоже принимала в ней участие, помещая мои первые рассказы. Тогда впервые появились остроумные фельетоны, подписанные именем Аверченко.

Мы спрашивали у Не-Буквы, кто это такой.

– А это один остряк из провинции. Он даже собирается сюда приехать.

И вот как-то горничная докладывает:

– Пришел Стрекоза.

Стрекоза оказался брюнетом небольшого роста. Сказал, что ему в наследство досталась «Стрекоза», которую он хочет усовершенствовать, сделать литературным журналом, интересным и популярным, и просит меня сотрудничать.

Я наши юмористические журналы не любила и отвечала ни то ни се:

– Мерси. С удовольствием, хотя, в общем, вряд ли смогу и, должно быть, сотрудничать не буду.

Так на этом и порешили. Недели через две опять горничная докладывает:

– Стрекоза пришел.

На этот раз Стрекозой оказался высокий блондин. Но я, зная свою рассеянность и плохую память на лица, ничуть не удивилась и очень светским тоном сказала:

– Очень приятно, мы уж с вами говорили насчет вашего журнала.

– Когда? – удивился он.

– Да недели две тому назад. Ведь вы же у меня были.

– Нет, это был Корнфельд.

– Неужели? А я думала, что это тот же самый.

– Вы, значит, находите, что мы очень похожи?

– В том-то и дело, что нет, но раз мне сказали, что вы тоже Стрекоза, то я и решила, что я просто не разглядела. Значит, вы не Корнфельд?

– Нет, я Аверченко. Я буду редактором, и журнал будет называться «Сатирикон».

Затем последовало изложение всех тех необычайных перспектив, о которых мне уже говорил Корнфельд.

Так произошло знакомство с Аверченко.

Встречались мы не часто. Я на редакционные собрания не ходила, потому что уже тогда не любила никакую редакционную кухню. Что они там стряпали, о чем толковали, что именно выбирали и что браковали, меня не интересовало.

Сам Аверченко производил очень приятное впечатление. В начале своей петербургской карьеры был он немножко провинциален – завивался барашком. Как все настоящие остряки, был всегда серьезен. Говорил особенно, как-то скандируя слова, будто кого-то передразнивал. Вокруг него скоро образовалась целая свита. Все подделывались под его манеру говорить и все не переставая острили.

Приехал Аверченко из какого-то захолустья Харьковской губернии, если я не путаю, со станции Алмазной, где служил в конторе каких-то рудников помощником бухгалтера. Еще там затеял он какой-то юмористический журнальчик и стал посылать свои рассказы в «Понедельник». И наконец решил попытать счастья в Петербурге. Решил очень удачно. Через два-три месяца по приезде был уже редактором им же придуманного «Сатирикона», привлек хороших сотрудников. Иллюстраторами были только что окончивший академию Саша Яковлев, Ремизов, Радаков, Анненков, изящная Мисс. Журнал сразу обратил на себя внимание. Впоследствии его статьи цитировались даже в Государственной думе.

Года через два встретился он как-то случайно в поезде со своим бывшим начальником, бухгалтером. Тот был от литературы далек и очень укорял Аверченко за легкомысленный уход со службы:

– Вы могли бы получать уже тысячи полторы в год, а теперь воображаю, на каких грошах вы сидите.

– Нет, все-таки больше, – скромно отвечал Аверченко.

– Ну неужто до двух тысяч выгоняете? Быть не может! Я сам зарабатываю не больше.

– Нет, я около двух тысяч, только в месяц, а не в год. – Бухгалтер только махнул рукой. Он, конечно, не поверил. Ну да Аверченко известный шутник.

* * *

Аверченко любил свою работу и любил петербургскую угарную жизнь, ресторан «Вена», веселые компании, интересных актрис. В каждом большом ресторане на стене около телефонного аппарата можно было увидеть нацарапанный номер его телефона. Это записывали на всякий случаи его друзья, которым часто приходило в голову вызвать его, если подбиралась подходящая компания.

Аверченко был молодой, красивый и приятный и, конечно, немало времени отдавал жизни сердца. Он долго дружил с милой актрисой Z, но, конечно, не был суров и по отношению к другим поклонницам своего таланта. Среди них оказалась очень видная представительница петербургского демимонда, прозванная «Дочерью фараона», потому что отец ее был городовым, а у нас тогда городовые носили кличку фараонов. Эта «Дочь фараона» часто бывала за границей, много читала и выровнялась в элегантную светскую даму.

Как-то Аверченко сговорился с ней позавтракать. Сказал своей актрисе, что у него очень важный деловой завтрак. И вот как раз, когда он под ручку с «Дочерью фараона» входил в ресторан, мимо проезжала на извозчике та самая актриса и увидела их.

– Вы говорили, что у вас деловое свидание? Так вот, я видела, с каким деловым человеком вы пошли в ресторан! – укоряла его Z.

– Видели? – невинно спросил Аверченко. – Чего же тут удивительного. Эта дама и есть тот деловой человек, с которым мне очень важно было поговорить Она ведь… очень известная… это самое… она антрепренерша нескольких театров на юге… то есть в Харькове, в Ростове… и вообще. Уговорил ее поставить мои пьесы.

– Антрепренерша? – оживилась актриса. – Ради бога, познакомьте меня с ней. Я мечтаю поиграть один сезон в Харькове.

– Ну конечно, с удовольствием. Только она сегодня утром уже уехала.

Актриса очень жалела. Месяца через три были именины Аверченко, которые он всегда многолюдно праздновал в ресторане «Вена».

Дирекция «Вены» всегда подносила ему огромный торт с надписью шоколадными буквами «Аркадию Сатириконскому». Среди гостей оказалась и «Дочь фараона». Она поднесла имениннику золотой портсигар с бриллиантовой мухой – ну как же можно было не пригласить такую «поклонницу таланта».

Но тут произошел неожиданный пассаж. Как только вошла в кабинет актриса, так тотчас же и узнала знаменитую антрепренершу всех южных театров. Сейчас же подсела к ней и начала очаровывать. Как выкрутился из этой истории Аверченко, он мне не рассказывал, но, очевидно, «вырвался» благополучно, или выручил кто-нибудь из друзей.

Аверченко был очень спокойный человек. Его трудно было чем-нибудь расстроить.

– Я кисель. Никакой бритвой меня не разрежешь.

* * *

«Сатирикон» раскрепостил русский юмор. Снял с него оковы незримых слез. Россия начала смеяться. Стали устраивать вечера юмора: «НАШИ ЮМОРИСТЫ: ГОГОЛЬ, ЧЕХОВ, АВЕРЧЕНКО, ОСИП ДЫМОВ, О.Л. Д'ОР, ТЭФФИ…»

Стали печатать книги юмористических рассказов. Спрос был большой, предложений мало. Оказалось, что во всей огромной России не нашлось ни одного остроумного незнакомца. Кроме маленькой группы «Сатирикона». Постоянное ядро «Сатирикона» составляли талантливый поэт-сатирик Саша Черный, Осип Дымов, Сергей Горный, Аркадий Бухов. Очень редко присылал кто-нибудь случайную вещь, которую можно было напечатать. Я была скорее гастролершей, чем постоянной сотрудницей. И очень скоро бросила «торговать смехом». Я очень люблю писателей с юмором, но специалистов-юмористов, старающихся непременно смешить, совсем не люблю.

Помню одно газетное начинание, само по себе анекдотическое. Редактор – издатель «Биржевых ведомостей», покорный духу времени, решил оживить свою газету юмором.

– Я сам напишу.

И – напечатал внизу перед покойниками:

МАЛЕНЬКАЯ УМОРИСТИКА.
– Где вы берете ваших папирос?
– Это вы берете. Я покупаю.

Вот и все.

Сотрудники очень повеселились.

* * *

Все воспоминания, связанные с Аверченко, всегда веселые и забавные.

Одна молодая дама рассказывала, как он не успел проводить ее из театра и представил ей почтенного господина, инспектора какого-то училища:

– Вот это мой друг Алексеев, он вас проводит.

Инспектор всю дорогу говорил ей самые приятные вещи, а когда уже подъезжали к дому, вдруг схватил ее за плечи и поцеловал. Она успела только наскоро шлепнуть его по лицу, распахнула дверцу автомобиля и выскочила. Виновный прислал ей на другой день целую корзину мимоз с запиской «От виновного и не заслуживающего снисхождения».

Дама тем не менее очень обиделась и сразу же позвонила Аверченко:

– Как вы смели представить мне такого хама!

– А что?

– Да он меня в автомобиле поцеловал!

– Да неужели? – ахал Аверченко. – Быть не может! Ну как мог я подумать… что он такой молодчина. Вот молодчина.

* * *

«Милостивый государь господин Аверченко. Обращаюсь к Вам как ученик жизни к учителю жизни. Помогите мне разобраться в сложном психическом процессе души моей жены. Положение безвыходное. Вы один как учитель жизни можете направить и спасти. С вашего разрешения позвоню Вам сегодня по телефону. Благодарный заранее,
А.Б.

P.S. Мне сорок шесть лет, но положение требует немедленного облегчения.
А.Б.»

– Вот, – сказал Аверченко, дочитав письмо. – Все, наверное, воображают, что только к Толстому да к Достоевскому шли читатели обнажать душу и спрашивать указаний. Вот это уже не первое письмо в таком роде.

– Что же вы – примете этого А.Б.?

– Придется принять. Посоветую ему что-нибудь.

– Что же, например?

– А это зависит от случая. Может быть, просто дать денег на «Сатирикон».

– Все-таки следовало бы отнестись серьезнее к этому делу, – сказал один из тяжелодумов, которые водятся даже в редакциях юмористических журналов. – Человек идет к вам душу выворачивать, так высмеивать его грех.

– С чего вы взяли, что я буду его высмеивать? – с достоинством ответил Аверченко. – Я намерен именно отнестись вполне серьезно.

– Вот это было бы интересно послушать, – сказала я.

– Отлично. Приходите в редакцию к четырем часам. Будете присутствовать при разговоре и потом можете засвидетельствовать мое серьезное отношение к делу.

– Да ведь он, пожалуй, не согласится открывать при мне свою душу.

– А уж это я берусь уладить.

На другой день ровно в четыре часа в редакторский кабинет всунул голову рассыльный и доложил:

– Господин пришел.

Я сидела в углу за столом и была «погружена в чтение рукописей». Аверченко сидел в кресле у другого стола.

– Пусть войдет.

Вошел пожилой человек с рыжеватой бородкой, в руках форменная фуражка с кантиками – кажется, акцизного ведомства.

– Я вам писал, – начал он плаксивым тоном.

– Да-да, – отвечал Аверченко. – Я готов вас выслушать.

– Но я… я хочу наедине.

– Можете не стесняться, – перебил его Аверченко. – Эта дама – моя секретарша.

– Я не могу, у меня дело личное.

– Ах, чудак вы эдакий! Да ведь она глухонемая. Разве вы не видите? Ну-с, приступим к делу. На что вы жалуетесь? – спросил он тоном врача по внутренним болезням.

– Я жалуюсь, увы, на жену! Это остро психологический случай. Женат я два года на младшей дочери протоиерея. И вот особа эта, забыв сан своего отца, ведет себя крайне легкомысленно. С утра поет, приплясывает и даже, видите ли, свистит.

– С утра? – мрачно сдвинул брови Аверченко.

– С утра. С утра до вечера. Бегает в кинематограф, в оперетку, и все с мальчишками, все с мальчишками. Треплет, одним словом, мое имя.

– А как ваше имя? – деловито осведомился Аверченко.

– Балюстрадов.

– Гм… Действительно, это не годится его трепать.

– Я человек занятой, у меня служба. Я просил племянника, студента, присмотреть за ней. А она его потащила на каток, да оба и пропали до вечера! Укажите мне, где здесь справедливость и где здесь выход?

– Так вы говорите – потащила племянника на каток? – переспросил Аверченко и покачал головой. – Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Куда мы идем! Ведь эдак недолго расшатать окончательно семейные устои, на которых зиждется государство. Это все ужасно. А скажите, она хорошенькая, ваша жена? Или, чтоб вам было понятнее, обладает ли она внешней красивостью?

– Д-да! – горестно выдавил из себя чиновник. – Этим делом она вполне обладает.

– Брюнетка? – очень строго спросил Аверченко.

– Д-да!

– Скольких лет?

– Двадцати двух.

– Это уж форменное безобразие! Ну и что же вы намерены делать?

– Вся надежда на вас, господин Аверченко. Вы учитель жизни, вы читаете в душах, вы все можете.

– Пожалуй, я действительно кое-что смог бы. Вот что, дорогой мой, пришлите-ка вы ее ко мне. Я ее хорошенько проберу. В самом деле – что же это такое! Куда мы идем! Какой пример! Действительно, тяжелая картина! Непременно пришлите ее ко мне. Может быть, еще не поздно.

Балюстрадов восторженно привскочил.

– Я знал, что в вас я не ошибусь! – воскликнул он. – Завтра же виновница торжества – впрочем, какое уж тут торжество! – завтра же она будет у вас. Я ее заставлю. Спасибо, спасибо, вечное спасибо! Низко кланяюсь. Объясните вашей глухонемой, чтоб она никому ничего.

Через несколько дней встречаю Аверченко:

– Ну что, прислал вам этот чудак свою жену?

Он сначала притворился, будто не понимает, о ком я говорю. Потом ответил неохотно:

– Да, да. Вполне порядочная женщина. И очень серьезная. Мне удалось на нее повлиять, и она обещала, что больше с мальчишками на каток бегать не станет.

– Чудеса! Значит, муж ее оклеветал?

– То есть это все было, но теперь она изменилась.

– Муж доволен?

– Гм… он, чудак, почему-то уверен, что она по-прежнему не сидит дома. Вообще, это очень тяжелый случай и придется еще немало поработать.

– Хорошенькая?

– Недурна. И главное, вполне почтенная женщина. Очень такая любящая, привязчивая, постоянная. Может каждый день за завтраком есть баранью котлетку. Нет, вы не смейтесь, это тоже своего рода признак устойчивой натуры. Вообще достойна всякого уважения.

Недели через полторы, как-то в один из вторников – день, когда я принимала своих друзей, – явилась ко мне какая-то робкая, но пламенная «почитательница таланта».

Это была маленькая франтиха, довольно хорошенькая, но с чересчур большими густорозовыми щеками.

Она поднесла мне букет фиалок, пролепетала что-то лестное, потом долго сидела молча и только облизывалась, как кот. В руках она держала большую горностаевую муфту, из которой все время что-то сыпалось – флакончики, коробочки, платок, кошелек, карандашик. И она каждый раз всплескивала руками и бросалась подбирать. Вообще дамочка, видимо, нервничала. Смотрела на часы, вертелась, отвечала невпопад.

«Чего она засела?» – удивлялась я. Никого из моих гостей она не знала, в общем разговоре участия принять не могла, а меж тем сидит и сидит. Что бы это могло значить?

Гости стали расходиться. Остались двое-трое близких друзей. Наконец прощаются и они. А та все сидит. Как ее выкурить?

Я вышла в переднюю проводить последних гостей.

– Что это за особа? – спрашивают они.

– Не знаю. Какая-то читательница.

– Чего ж она не уходит?

– Не знаю.

– Да гоните ее вон!

– Да как?

– А вот как, – придумала моя приятельница. – Иди в гостиную, а я тебя позову.

Я пошла в гостиную, и тотчас моя приятельница появилась в дверях и громко крикнула:

– Так переодевайся же скорее, мы будем ждать тебя у Контана. Пожалуйста, поторопись.

– Хорошо, хорошо, – ответила я.

Тогда наконец поднялась моя бедная упорная гостья.

– До свиданья, – растерянно пролепетала она.

– Ах, я очень жалею, что должна торопиться, – светским тоном ответила я. – Надеюсь, когда-нибудь вы еще доставите мне удовольствие, мадам… мадам…

– Балюстрадова, – подсказала дама и облизнулась, как кот.

И в тот же миг влетел в комнату запыхавшийся журналист «Петербургской газеты»:

– Ради бога, умоляю! Всего два слова для нашей газеты. Я был уже два раза и все не заставал! Клянусь, только два слова.

Пока он суетился, Балюстрадова успела уйти. Беседу с журналистом прервала горничная, передав мне огромную коробку и письмо, принесенные посыльным.

И то и другое оказалось от Аверченко. В коробке – ливонские вишни от Иванова, в письме – загадка: «В отчаянье, что так и не успел забежать к вам сегодня – задержали в типографии».

Это вступление очень удивило меня. Аверченко никогда не бывал на этаких вторниках, и я совсем его и не ждала.

Читаю дальше:

«Целую ваши ручки и по-товарищески очень прошу передать тем, кто у вас сидит, что я целую их ручки и умоляю их сказать мне поскорее по телефону, как они к этому отнеслись».

«Эге! – думаю. – Это, значит, было условленное свидание с обращенной на путь истины Балюстрадовой. Ну так подожди же».

– Это письмо от Аверченко, – сказала я репортеру. – И, признаюсь, очень странное письмо. Наверное, оно и вас удивит. Аверченко просит меня передать вам, что он целует ваши ручки и умоляет, чтобы вы поскорее сказали ему по телефону, как вы к этому относитесь.

– Это… это… – растерялся репортер. – Это форменное декадентство. Боже мой! Боже мой! Что же мне теперь делать?

– А уж это ваше дело, – холодно сказала я.

И с чувством исполненного долга принялась за конфеты. Ведь он же не назвал Балюстрадову, а написал: «тем, кто у вас сидит».

А сидел репортер.

Не знаю, чем это дело кончилось, но до сих пор считаю, что поступила правильно и по-товарищески.

Петр Пильский

Аверченко приехал к нам три года тому назад. Это было в феврале 1923 года. Вместе с актером Искольдовым и его женой, актрисой Раич, он совершал театральное турне: ставил свои пьесы, сам в них играл, со сцены читались его рассказы. Вечера проходили с успехом. Почти тотчас же по приезде он пришел в редакцию. Мы встретились после многих лет разлуки, не видав друг друга более пяти лет. Аверченко был все тот же.

Ах, конечно, я говорю не о человеке, не о друге, не о писателе. Тут не могло быть никаких неожиданностей, никаких превращений и утрат. Но и внешне он оставался таким же, каким я знал его семнадцать длинных лет.

Между прочим, за весь этот период судьбе было угодно сводить нас в самых неожиданных местах. В 1909 году я попал в Харьков, туда приехал Аверченко. Потом, через несколько лет, мне пришлось пожить в Киеве, и тут опять произошла наша встреча. Через некоторое время мы снова сидели в его номере в одесской «Лондонской» гостинице. Затем я жил в Москве, но судьба занесла Аверченко ко мне и сюда.

Теперь последнее свидание произошло уже в Ревеле, и опять все дни его пребывания здесь мы провели, не разлучаясь, вместе.

Ни выражение лица, ни общий тон речи и отношение к жизни, ни доверчивая искренность, ни веселый, чуть-чуть лукавый смех, ни его льющееся остроумие – ничего не утратили в своем прежнем облике и своей светлой красоте.

Эта неделя мне особенно памятна. Ему Ревель понравился. Его прельщала старина, эти узкие улицы, древние здания, ратуша, люди. Но и ревельцы сумели окружить его лаской, теплом и любовью. Аверченко приглашали наперерыв.

Потом, когда он уехал, о нем долго и много вспоминали, и я часто получал поручения посылать ему поклоны и приветы в письмах, и однажды две милые дамы приказали мне передать ему «поцелуй в лоб». Я ему об этом написал. В своем юмористическом ответе (все его письма ко мне носят юмористический характер) он выражал недоумение:

– Ты пишешь: «Н. и Н. целуют тебя в лоб» (?!)… Милые старомодные чудачки! Не могли найти другого места. О, как они выгодно выделяются на нашем разнузданном фоне» и т. д.

Мой глаз приятно подмечал в Аверченко ту мягкую естественную, природную воспитанность, которая дается только чутким и умным людям. Его очарование в обществе было несравнимо. Он умел держать себя в новой и незнакомой среде легко, в меру свободно, неизменно находчивый, внимательный, ясный, равный и ровный со всеми и для всех. Это большое искусство, им может владеть только талантливая душа, и Аверченке был дан дар пленительного шарма. Он покорял. Но рядом с этой веселостью, внешней жизнерадостностью теперь в его отношение к людям вплелась еще одна заметная нить: он был внимателен и заботлив к другим. Правда, отзывчивость всегда была одной из его прелестных черт. Теперь она стала углубленной, преобразившись из готовности откликнуться в искание возможности понять, помочь и услужить. Прежде он не мог отказывать, сейчас он не мог отказать себе в удовольствии быть полезным.

Из его писем я знаю, какие хорошие воспоминания он сохранил о Ревеле. Через год я его звал сюда для общей работы в газете. Между прочим я прибавлял, что крупного аванса ему не вышлют. Он ответил мне все в том же юмористическом тоне:

«…Письмо твое я получил, но что я мог ответить, если в главном месте своего письма ты тихо и плавно сошел с ума. Будь еще около тебя ну… пощупал бы лоб, компресс приложил, что ли. А что можно сделать на расстоянии? Ты, конечно, с захватывающим интересом ждешь: что же это за место письма такое? А место это вот какое (ах, ты ли это писал?): «Разумеется, о том, чтобы выслать тебе большой аванс, не может быть и речи». Скажи: друг ты мне или нет?

Как же у тебя повернулась рука написать такое? Да где же это видано, чтобы человека с моим роскошным положением и телосложением приглашали, как полубелую кухарку?»

И заканчивал тоже юмористически:

«Эх, брат, горько мне! А получи я гарантию – да я бы к тебе на бровях дополз…»

Тогда он уже был очень недурно устроен в Праге, и все-таки это согласие перебраться в Эстонию у него было не простым словом вежливости, а действительно выражением самого искреннего желания.

И в смысле художественном, и в смысле материальном выступления Аверченко проходили с отличным успехом и завидными результатами. Он сделал несколько прекрасных сборов и в Ревеле и в Юрьеве, отовсюду унося с собой самые отрадные впечатления. Слегка, чуть-чуть его огорчила только Нарва. Ему показалось, что с его спектакля взяли слишком большой налог. И со своей обычной беззаботностью, добродушно посмеиваясь, он написал об этом фельетон, а в нем говорил:

«Все знают, что я известен своей скромностью по всему побережью. Но вместе с тем не могу удержаться, чтобы не похвастать: есть такой город, который я содержу на свой счет! Этот город – Нарва. Я приезжаю в город, привожу свою труппу, выпускаю афишу, снимаю театр, в день своего вечера играю пьесы, читаю рассказы, получаю за это деньги и потом… все деньги аккуратно вношу нарвским отцам города. На мои деньги эти отцы благоустраивают мостовые, проводят электричество, исправляют водопровод и… ах, да мало ли у города Нарвы насущных нужд! И обо всем я должен позаботиться, все оплатить. Хлопотливая штука!»

Конечно, и тут не было никакой гневности. Аверченко шутил. Нарвцы это так и поняли. Кто-то прислал оттуда ответную полемическую статью, но и она тоже была не злобной, а веселой. Редакция не поместила ее, не желая длить полемику между нашим гостем и городом, взыскавшим все же совершенно законный налог.

Во всяком случае, турне по Эстонии для него не было утомительным. Для него эта неделя прошла незаметно. Его не беспокоили, к нему не стучались, ему не надоедали. Но вообще эта новая профессия, временная профессия актера, для него была тяжела.

Всю свою жизнь Аверченко провел независимо, оставаясь вольной птицей, издатель и редактор собственного журнала, широко расходившегося, приносившего большие и легкие деньги. Как страстно ни любил Аверченко театр, крепко связанный с ним многоразличными узами автора, зрителя, друга, доля кочующего актера была не по нем и не для него.

Перед началом первого спектакля я зашел к нему в уборную. Он был почти готов к выходу и стоял перед зеркалом. На нем был чудесно сшитый фрак. Когда я ему об этом сказал, он с улыбкой, поправив свое неизменное пенсне, ответил:

– Да, все воспоминания прошлого хороши. Теперь уж такого не сшить.

И вот тут, в эти короткие минуты, оставшиеся до поднятия занавеса, он пожаловался мне на свою актерскую тяготу. Ему были неприятны эти однообразные повторения одних и тех же пьес, эти переезды, упаковки и распаковки чемоданов, номера гостиниц, афиши, хождения за визами. Особенно надоедало играть свои собственные вещи.

Последний раз мы пообедали в «Золотом льве», там же, где он остановился. Все было уже уложено. Чемоданы стояли внизу, в передней. Поезд отходил в шесть вечера.

Мы поехали на вокзал и там простились.

Смеясь, он, между прочим, сказал мне:

– Лучший некролог о тебе напишу я. – И шутливо прибавил: – Вот увидишь.

– Подожди меня хоронить, – ответил я. – Мы еще увидимся.

Но увидеться было не суждено, и некролог пришлось писать не ему обо мне, а мне о нем.

Сейчас я смотрю на его карточку. Сильная кисть правой руки, чуть-чуть собранная в полукулак, уперлась в подбородок. Сквозь пенсне без шнурка смотрят задумчивые, добрые

глаза; милая голова милого человека чуть– чуть склонилась вниз. На другой стороне карточки смелая и правдивая надпись, продиктованная верным сердцем.

Библиография

Произведения Аркадия Аверченко и воспоминания о нем печатаются по следующим изданиям:

«ВЕСЕЛЫЕ УСТРИЦЫ». Юмористические рассказы. Второе издание. С.-Петербург, 1910. Издание М.Г. Корнфельда.

«КРУГИ ПО ВОДЕ». Рассказы. Издание четвертое. С.-Петербург, 1912. Издание М.Г. Корнфельда.

«О ХОРОШИХ, В СУЩНОСТИ, ЛЮДЯХ». Издание «Нового Сатирикона». СПб., 1914.

«СОРНЫЕ ТРАВЫ». СПб., 1914.

«ВОЛЧЬИ ЯМЫ». Пг., 1915.

«ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ». Пг. Издание десятое, 1916.

«ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ПИЛЮЛИ». Пг., 1916.

«ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ». Рассказы. Петроград, 1916.

«РАССКАЗЫ ДЛЯ ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИХ». Пг., 1917.

«СИНЕЕ С ЗОЛОТОМ». Пг., 1917.

«ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ». Пг., 1918.

«НОВАЯ ИСТОРИЯ» (из «ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ, ОБРАБОТАННОЙ «САТИРИКОНОМ»). СПб., 1910.

«НЕЧИСТАЯ СИЛА», Книга новых рассказов. Издательство «Новый Сатирикон». Севастополь, 1920.

«ДЮЖИНА НОЖЕЙ В СПИНУ РЕВОЛЮЦИИ». Париж, 1921.

«КИПЯЩИЙ КОТЕЛ». Издательство «Культура», Константинополь, 1922.

«ЗАПИСКИ ПРОСТОДУШНОГО». Книгоиздательство «Север». Акц. общ. Берлин, 1923.

«СМЕШНОЕ В СТРАШНОМ». Книгоиздательство «Север», Акц. общ. «Берлин», 1920 – 1923.

«ДВЕНАДЦАТЬ ПОРТРЕТОВ (В ФОРМАТЕ «БУДУАР»). Издательство «Internationale Commerciale revue». Париж – Берлин – Прага – С.-Петербург, 1923.

«ОТДЫХ НА КРАПИВЕ». Варшава, 1924.

«РАССКАЗЫ ЦИНИКА». Прага, 1925.

«ПАНТЕОН СОВЕТОВ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ» Издательство «Арбат». Берлин, 1924.

«ШУТКА МЕЦЕНАТА». Юмористический роман. Изд. «Пламя». Прага, 1925.

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО. Литература русского зарубежья от А до Я. Том первый, том второй. М.: «Лаком», 2000.

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО. БРИТВА В КИСЕЛЕ. Москва. Издательство «Правда», 1990.

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО. ТРАВА, ПРИМЯТАЯ САПОГОМ. М.: «Дружба народов», 1991.

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО. ЗАПИСКИ ПРОСТОДУШНОГО. М.: А.О. «Книга и бизнес», 1992.

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО. ХЛОПОТЛИВАЯ НАЦИЯ. М.: Политиздат, 1991.

«САТИРИКОН». Антология сатиры и юмора России XX века. М.: «ЭКСМО-Пресс», 2001.

ТЭФФИ. Воспоминания. Париж, 1932.

ПЕТР ПИЛЬСКИЙ. Затуманившийся мир. Рига: Трамату «Драукс», 1929.

«СТОЛИЦА», 1990, №1.

«ЮНОСТЬ», 1988, №11.

«ДАЛЬНИЕ БЕРЕГА». М.: «Республика», 1994.

«ЯИЧНИЦА ВСМЯТКУ». Юмористические рассказы. М.: Издатели «Британский Бизнес-Клуб». «Российский независимый институт социальных и национальных проблем», 1992.